Янис Ниедре

ВЕТЕРАН



Анне Алексеевне от
Лены В[redacted]
в день рождения.
1977 год.



ЯНИС НИЕДРЕ

ВЕТЕРАН

ТРИЛОГИЯ

Перевод с латышского Д. Глезера



МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1977



Трилогия известного латышского прозаика Яниса Ниедре «Ветеран» посвящена жизни и деятельности П. И. Стучки, председателя первого советского правительства Латвии в 1919 году, видного деятеля международного рабочего движения, соратника В. И. Ленина.

Автору удалось передать колорит эпохи, революционный накал, создать яркий, запоминающийся образ коммуниста-ленинца.

В 1972 году трилогия Я. Ниедре, состоящая из романов «Каждому свое счастье», «Островок в бушующем океане» и «Я вернусь...», была отмечена Государственной премией Латвийской ССР.

Н $\frac{70303\text{-}431}{083(02)\text{-}77}$ 279—77



КАЖДОМУ СВОЕ СЧАСТЬЕ

1. «НА БРЕГЕ ДАУГАВЫ КРУТОМ...»

Отец и его друзья так увлеклись разговорами и песнями, что Петерису удалось незаметно улизнуть.

Вот он уже стоит перед босоногим мальчуганом пастухом — тот в лубяной шляпе и залатанной рубахе, с длинной холщовой торбой через плечо. В руках у него игрушечное мельничное колесо из колышков и прутьев. Во втулку оси вделаны восемь похожих на ложки лопастей. В дно ручейка воткнуты две опоры — на них будет вертеться колесо.

Петерис долго следил с высокого берега за постройкой мельницы. Пока гости уписывали яства, радуясь усердию матушки Даугавы, рвущейся вперед по скалистому руслу, и предлагали друг другу выпить за здравие народа, пока городским дядюшкам, смаковавшим домашнее пиво, еще не надоело восторгаться окрестностью и разговоры не сменило нестройное пение, отец держал Петериса как на привязи. Никуда ни на шаг! Соси, пожалуйста, рижские конфеты, грызи крендели, только не вздумай податься к плотовщикам, что внизу перед камышовыми шалашами костры жгут! Нечего тебе смотреть и на работников на лугу! И к мальчишкам на берег не бегай! Будь возле дядюшек, тут, в священных местах богов наших предков. Петерис ничего не понимал ни в богах, ни в их местах и томился от скуки. Один из гостей — бородатый детина с вьющимися волосами, в завязанном широким узлом шейном платке и золотом пенсне — так размахивал руками, словно хотел поднять ветер, и без умолку провозглашал громовым голосом: «По преданию, на этом самом месте латышский богатырь повстречал дочь солнца. В предании говорится...» Остальные гости, которых отец величал советниками

и поэтами, махали шляпами и носовыми платками на утопающий в зелени высокий курземский берег, серебристо мерцающее течение Даугавы, на Бебрулеясский бор, где была лесосека Яниса Стучки. Время от времени они затягивали песню:

На горах и равнинах Балтики дубы зеленеют;
И не перевелись там мужи им под стать.

— Здорово вертится? — спросил Петерис пастуха. И потянулся к колесу — потрогать. — Я дома тоже мельничное колесо сделал. Только в «Вецбирзниеках» ручей зарос, и вода тихо течет.

— Мое вертится, как волчок. — Паренек отнес колесо к протоке.— Вот гляди!

Течение встряхнуло колесо, словно пытаясь сорвать его с оси,— вдруг оно быстро-быстро завертелось.

— Здорово! — обрадовался Петерис. — Как на большой мельнице шестерни мукомольного постава.

— Не знаю, какой на мельнице постав,— сказал мальчишка. — Я настоящую мельницу только раз видел. Хозяину надо было два воза зерна смолоть, а все работники на заливном лугу ворочали, так мне велели второй лошадью править. Только в самую мельницу не пустили. Пока мешки сгружали, я внизу, у плотины, посмотрел большое водяное колесо.

— В мукомольне полно всяких шестерен да гребенчатых валов. — Петерис присел рядом с пастушком. —Одно — большое, со скрипом вокруг оси вертится, другое — совсем маленькое. Дома я четыре шестерни напильником выпилил. Для машины. У меня своя мастерская за клетью.

Сын Яниса Стучки, хозяина «Вецбирзниеков», Петерис принялся рассказывать, какой у него инструмент для поделок из дерева и железа. Какие он строит машины и какие еще построит, когда вырастет большим и выучится. Тут же через Даугаву он с кокнесских круч перекинет к курземскому берегу мост с решетчатыми перилами, чтобы людям в любое время года безопасно было переходить.

Как всем хозяйским детям, Петерису запрещалось водиться с отпрысками батраков или бедняков, и он соскучился по приятелям, с которыми можно было бы играть или что-нибудь строить. Он спешил поделиться всем тем, что накопила его детская фантазия в часы одиноких игр.

Он помог новому приятелю согнать разбредшихся коров и хворостиной принялся чертить на песке, чтобы показать, какие чудесные построит мосты.

Пастух хмуро слушал Петериса.

— Ну, когда всякий инструмент есть... — пробурчал он. — Я настоящего, кованого ножа сроду в руке не держал. Вот этот сам из старого железного обода сделал... — Он показал ко-

со наточенное, изъеденное ржавчиной лезвие в полторы пяди, с деревянным черенком, плотно обмотанным, точно пятка косы, тонкой бечевой.

— Ну конечно,— рассудительно, по-взрослому, сказал Петерис. — С таким, конечно, ничего не сделаешь...

Сунув руку в карман пиджака, он что-то нашарил там.

— «Фискар».— Он раскрыл ладонь. На ней оказался складной нож с двумя лезвиями. — На! Возьми!

— Это мне? Почему?

— Да бери — и все. У меня хватает всякого инструмента. Этим «фискаром» сделаешь настоящее мельничное колесо. И шестерни, что вертят мукомольный и круподирный постава. Ну, бери, бери! Он почти как новый.

— Да, совсем новый. — Паренек дохнул на тонкое лезвие, и оно запотело, словно зеркало. — Ой, какой! А мне тебе что дать?

— Мне ничего не надо.

— Погоди. Я сейчас. — Мальчик, перепрыгнув через ручеек, побежал к обрыву и принес закатившийся в траву серый, как заяц, камень. — Я тебе громовую стрелу дам...

— Что это?

Ответа Петерис не расслышал. Вверху, на берегу, дядюшки подобрали звонкую мелодию к новому стихотворению Андрея Пумпура[1] и запели, словно пытаясь заглушить грохочущую на порогах Даугаву:

На бреге Даугавы крутом
Цветут деревья в зелени.
Там парень обувается,
Чтоб на чужбину уходить.

— Смотри, вот!

Пастушок подал Петерису серый камень: точь-в-точь секира — пни рубить. Дугообразно заточенный каменный топор с отполированным до блеска отверстием для топорища.

— Нашел на горке, где дорожные рабочие гальку загребают. Дедушка соседского Екаба говорил, будто видел, как в грозу Громовержец точно такие стрелы запускал с неба в баронскую карету. Барин, понимаешь, черту сродни приходится, и Громовержец его преследует. И Екабов дедушка говорит...

Петерис перекладывал громовую стрелу с ладони на ладонь, трогал ее гладкую поверхность и слушал про леших, злых духов, дьяволов. «Кто не знает, тому черта от немецкого барина не отличить. У черта, точно у немца, горбатый нос, бородка клином, на голове котелок. Ходит дьявол в черном

[1] Пумпур Андрей (1841—1902) — латышский поэт, виднейший представитель движения младолатышей, автор эпоса «Лачплесис».

городском сюртуке, сигары покуривает и, как староста имения, крестьян дубинкой лупит».

Петерис эти побасенки уже слыхал. Бабка его большая мастерица сказки рассказывать.

— Петерис! Сынок!

По склону, размахивая руками, огромными шагами спешит вниз отец. Без шапки, без шейного платка. Пиджак и жилет расстегнуты. Волосы растрепаны, лицо грозное, как у Громовержца, о котором только что говорил пастух. «Вид у него всегда был лихой...» — говаривала бабушка Петериса, рассказывая знакомым, каким отец был в молодости. Заносчивую Лигерниете — такой слывет старая хозяйка — точил червь недовольства. Зять ей попался бродяга какой-то, не из потомственных хозяев. Правда, башковитый. Все книжные премудрости превзошел, церковным причетником сделался, потом учителем... Начал лесом поторговывать. Теперь на людях в грубом, домотканом платье его не увидишь, без манишки в гости не пойдет. Когда усадьбу «Вецбирзниеки» купил, взял к себе и Евиных родителей из «Пакулей». Батраков и батрачек в строгости держит, не хуже потомственного хозяина.

И все-таки...

— Как ты посмел? — Отец схватил Петериса за плечо и встряхнул, словно мешок с мякиной. — Как ты посмел уйти не спросясь? А это что такое? — Он увидел у сына в руке серый камень. — Где взял?

— Это громовая стрела,— ответил Петерис, глотая слезы, которые жгли глаза, в горле щипало.

— Громовая стрела? — Отец подкинул на ладони каменный топор. — Стрела, ты говоришь? Ратная секира прадедов наших. Такими секирами наши предки врагам черепа крошили. Ты нашел это? — обратился он к пастуху.— Здесь, в нашей местности? Знаешь, тебя за эту находку наградить надо.

— Меня уже наградили. Вот! — Паренек гордо раскрыл перочинный нож, счастливый, что неожиданно все так хорошо обернулось. Грозный на вид хозяин оказался славным дяденькой.

— Ты отдал «фискар», который я тебе купил? — накинулся Стучка на сына.

Стучка шагнул вперед, и сверкающий нож оказался у него в руке. Но славный дяденька все же не обидел пастушка. К пареньку в торбу полетел большой складной нож с белым деревянным черенком.

— Держи! Добрый нож плотовщика. Хотел отдать какому-нибудь молодому плотогону, но пускай уж тебе будет. Дорогой «фискар» не для пастуха. Подрастешь, выучишься в волостной школе, в люди выйдешь — сам всякие «фискары» да «золингены» покупать будешь. Если у тебя, конечно, деньги найдутся.

* * *

Помахав на прощанье уехавшим гостям, Янис Стучка, держа сына за руку, прошел в станционный буфет первого класса. Хозяин «Вецбирзниеков» и кокнесский волостной старшина не попусту явился сюда. Пускай торчащие тут голодранцы пруссаки видят, что латышский землевладелец ничуть не хуже немцев. Пускай видят, что состоятельный латыш может зайти в те же двери, что и спесивый немец, может у господской стойки любой напиток заказать.

Янис Стучка велел подать лишь стакан сельтерской воды. Он потягивал воду и громко, словно распоряжаясь на дворе батраками, объяснял сыну, какие почтенные латыши господа, которых они только что проводили. Рижский домохозяин и владелец столярной господин Пагаст, фабрикант и заведующий театром Рихард Томсон [1], учитель высшей школы Атис Кронвалд [2], начальник печати курземского губернатора писатель Юрис Материс [3], учитель и поэт Екаб Пилсатниек, саукский учитель и писатель Юрис Дауге. Врут те, кто называет латышей крестьянской голью! Латыши — народ! У латышей есть свои образованные вожди, свои ремесленники, торговцы, фабриканты. Латыш Кришьянис Валдемар [4] в столице по поручению самого великого князя распоряжается мореходным ведомством Российской империи.

Петерис стоял прямо против отца и, благоговейно слушая, одновременно косился на немцев в охотничьих костюмах. Им и предназначались эти вдохновенные речи. Но по поведению пруссаков трудно было судить, слушают ли они вообще Стучку. Они что-то тихо лопотали между собой. Махнут друг другу пивной кружкой, поднесут ее к губам и снова захлопнут бугристую крышку.

— Пошли к экипажу! — Отведав сельтерской, отец сунул буфетчику серебряную монету. И, важно выступая, повел сына к двери, распахнутой перед ним половым с белым полотенцем через руку.

---

[1] Томсон Рихард (1834—1884) — буржуазный общественный деятель, фабрикант, журналист, организатор первых латышских театральных представлений.

[2] Кронвалд Атис (1837—1875) — видный деятель движения младолатышей, педагог, публицист. Один из основоположников латышского языковедения.

[3] Материс Юрис (1845—1885) — буржуазный общественный деятель, журналист, газетный издатель, автор патриотических сентиментальных романов.

[4] Валдемар Кришьянис (1825—1891) — идеолог латышского буржуазного национального движения, журналист, основатель и руководитель первой латышской газеты «Петербургас авизес» (1862—1865). Организатор судоходства в Латвии, управляющий делами Общества Российского торгового флота.

— Латыши на земле своих предков должны быть господами,— говорил Янис Стучка, когда они уже сидели в бричке, грохотавшей по мощеной станционной дороге. — Тяга к состоятельности, к просвещению — первая заповедь евангелия латышей. Шестьсот лет латыши были рабами немцев. Шестьсот лет немцы держали латышей в нищете и духовном мраке. Теперь, когда мы свободны, когда всюду возникают фабрики, железные дороги, пароходства и торговые заведения, нам пора избавиться от бесправия. Латыши, что поусерднее и с головой на плечах, норовят вырваться из крестьянского сословия. Твой отец, стукманский батрак на государственной усадьбе Сала, начал лодочником, плотогоном. Ранней весной с первыми струговщиками — вверх по Даугаве, а там на плоту в Ригу. Затем снова вверх — и опять в Ригу. Железных дорог тогда и в помине не было, принимать лес топали на своих двоих. И я топал. И насмотрелся, что подрядчики делают. Как лес закупают, как рабочих нанимают, как в городах бревнами торгуют. И сказал себе: чем ты хуже этих чужаков подрядчиков? Голова у тебя хорошая. В Валкской учительской семинарии ты все экзамены с отличием сдал. (Только с нотными знаками заминка вышла. Но в Цесисе зато, у Терауда, ты и по нотам и по пению первым был!) Зимой, пока топор отдыхал, книжные премудрости в голову себе вбивал. А теперь? Пускай какой-нибудь пруссак со мной в достатке и знаниях потягается. У того ничего нет, у кого ума не хватает. Кто без ума, тому и господь благословения не дает. Только против больших немецких господ моих знаний мало. Чтоб немецких фонов и ландратов за грудки взять, надо университетские премудрости превзойти.

Забыв, что его слушателю нет еще и девяти лет, хозяин «Вецбирзниеков» принялся перечислять один за другим параграфы разных привилегий прибалтийских помещиков и подсчитывать, во что это обходится латышским крестьянам, торговцам и предпринимателям. Никто, кроме помещиков, в деревне не имеет права гнать спирт, варить пиво, торговать напитками, содержать мельницы, открывать фабрики и торговые заведения. Только немецкие господа вправе строить рынки, проводить ярмарки, взимать рыночные сборы. Даже на такой, казалось бы, пустяковой привилегии, как охота и рыбная ловля в границах крестьянских угодий или вырубка леса во владениях латышских хозяев, немцы обогащаются, а видземские усадьбовладельцы теряют сотни тысяч.

— Вот почему нам, латышам, чтобы выплыть на поверхность, надо в университетах учиться. Более усердные и просвещенные должны привлечь своих соплеменников под национальное знамя и заставить немцев дать нам те же права, что у них. Потому-то мой сын должен учиться в гимназии и шту-

дировать вместе с барчуками. Если нужно будет, то и в самом престольном городе.

— Я, отец, хотел бы стать инженером. Мне очень строить хочется.

— То, что тебе хочется, меня не интересует. Мой сын станет тем, кем я захочу.

Щелкнул кнут, вороной рванулся вперед. Едва удержавшись на сиденье, мальчик прижался к отцу.

* * *

В гостиной «Вецбирзниеков» скатерти, половики, цветастая обивка кресел и длинных соф горько пахнут, словно увядшие после Янова дня венки и высохшие березовые ветви. В комнате, в которую в будни обитатели батрацкой и ногой ступить не смеют, в воскресные и праздничные утра все домочадцы собираются на большую молитву. Члены семьи хозяина и люди постарше рассаживаются на мягких сиденьях, остальные — вокруг стола посреди комнаты. А хозяин «Вецбирзниеков» поднимает темную сверкающую крышку рояля, откидывается на спинку стула и всеми десятью пальцами ударяет по клавишам. Гремит торжественное вступление к церковному хоралу.

«Вецбирзниеки» живут в ногу со временем. Землю обрабатывают английскими лемешными плугами, хлеб молотят конной молотилкой, поля удобряют суперфосфатом и костяной мукой. Батраки и батрачки получают жалованье деньгами, каждому работнику раз в месяц полагается свободный день. Даже батрацкую освещают керосиновыми лампами, а не допотопными лучинами. В «Вецбирзниеках» выписывают латышские газеты, батраки, работающие круглый год, вместе с жалованьем получают по семейному календарю, а у кого дети — и азбуки и школьные учебники. Но, несмотря на это, патриархальная домашняя молитва тут непреложный закон. Хоть в слывущей просвещенной Кокнесской волости не много найдется хозяев, мучающих своих работников заунывными проповедями (к чему зря самим стараться, к чему тратить дорогое время, если все равно и деньгами и натурой платишь за содержание причетников), в доме Стучки воскресная утренняя молитва — один из незыблемых устоев, и хозяин следит за ней не меньше, чем за тем, насколько высохли поля весной, или за надвигающимися с горизонта тучами в сенокос.

В воскресное утро работники и работницы, как только приберут в хлеву скотину, собираются на молитву. В чистых рубахах и кофтах, сидят они, торжественно серьезные, и, как

во времена дедов и прадедов, часами бормочут или поют молитвы. Единственное отступление от старинного патриархального ритуала — это то, что хозяин «Вецбирзниеков» не постукивает во главе стола деревянной крышкой раскрытой книги проповедей или Библии, а читает христианские нравоучения и дирижирует песнопениями, сидя за роялем. Это отступление понятно и оправданно. Рояль на хуторах богатых латышских крестьян появился только недавно. Раньше рояли были даже не во всех прибалтийских немецких имениях. Хозяин «Вецбирзниеков» в бытность свою учителем и церковным причетником играл на органе и фисгармонии на богослужениях и уроках закона божьего.

А вообще обитатели «Вецбирзниеков» могут быть рады, что им аккомпанирует такой умелый музыкант, как Янис Стучка. В Кокнесе слыхали и музыкантов, набивших себе руку в рижских и курземских школах, но далеко не каждому из них по силам тягаться с хозяином из Кокнесской волости, причетником и учителем Стучкой. В молодости, провалившись в Валкской учительской семинарии по нотному пению, он, учась в Цесисском приходском училище, превзошел в музыкальном мастерстве не только своих экзаменаторов — за пять-шесть лет сумел занять достойное место даже и среди латышских хоровых деятелей, регентов и музыкантов (основал Кокнесское певческое общество и возглавлял его, принимал участие в хоре Певческого общества Петербургского форштадта в Риге). Тяжелые, крестьянские пальцы папаши Стучки легко управляются и с замысловатыми аккордами.

Но церковные песни, которые поются домашними «на свою собственную мелодию», видимо, недостойны его старательного исполнения. Божественное полагается петь жалобно, протяжно, а его аккомпанемент назойливо резок.

От утренней молитвы Петерис страдает, как от самого тяжкого наказания, и переносит ее болезненнее оплеух отца. Младшей сестричке Лизине, правда, влетает реже, но достается и ей. Папаша Стучка натура горячая. Он может взорваться во время любого разговора, а иногда и веселой болтовни и обрушить свой гнев на того, кто не угодит ему.

Тяжелой руки хозяина боятся все домашние, но больше всех — Петерис, когда идет на утреннюю воскресную молитву. Со сложенными вместе ладонями, его усаживают рядом с мамой и сестренкой Лизиней. Уже после первого хорала голова тяжелеет, и все труднее удержать ее. Она свешивается то на один, то на другой бок, пока не ткнется носом в стол. Этого почти не слышно, но все же отвлекает молельщиков от неземных сил, к которым обращены их молитвы и вздохи. Папаша Стучка не может, разумеется, оставить безнаказанным такое неуважение к священному писанию, к устоям церкви. Два-три болезненных тычка разгоняют сонливость Петериса,

но если этого недостаточно, то чуть погодя ему достается снова. Иной раз мальчика за ухо волокут в угол, где он должен отстоять до конца святых мучений.

В каждый субботний вечер Петерис перед сном нашептывает молитву собственного сочинения. В ней одна-единственная просьба: чтобы вездесущий боженька не дал ему задремать во время молитвы. И каждый раз в канун воскресенья Петерис все страстнее и отчаяннее молит господа. И, наконец, молитва его в беспрестанном нагнетании переходит в угрозу. Если, мол, ты, бог, меня и на этот раз не послушаешь... я с тобой больше не вожусь.

Если спросить Петериса, откуда у него эти безрассудные, греховные мысли — он не объяснит. Никто ни из домашних, ни из гостей в «Вецбирзниеках» не осмеливается восстать против господа. Тут все безропотно повинуются воле невидимого небесного владыки.

И теперь, накануне утренней молитвы в Троицу, Петерис, ложась спать, изо всех сил прижимал к груди руки и, опасаясь громким вздохом разбудить уснувшую сестренку, шептал пылающими губами: «Боженька, дорогой, послушай меня! Послушай хоть один-единственный раз... хоть только раз...»

Утром Петерис встал свежий и бодрый. Умылся. Помог сестренке перевязать лентами косы и вместе с ней и матерью медленно направился в полную людей гостиную. Теперь-то он бодро высидит всю долгую молитву! Не позволит же бог разувериться в нем! Вездесущий, всемогущий господь, без ведома которого и волосок с головы не упадет.

Стоял ясный весенний день. На окнах играло солнце, в его лучах сверкала крышка рояля, ослепительно блестели скатерть, светлые кофточки женщин, белые рубахи мужчин. Солнечные лучи доставали до края стола, где сидел Петерис. Мальчика пригревало, как в зимний вечер на лежанке.

Становилось тепло, начинало клонить ко сну.

— Ты!.. Ты мне! — Громовержец запустил свою стрелу прямо Петерису в голову. Голова стукнулась обо что-то жесткое. Он открыл глаза и увидел разъяренное лицо отца. Лизиня с перепугу расплакалась. Такого во время утренней молитвы с ним еще никогда не бывало. Как кузнечные клещи, затылок стиснула рука отца и потащила. И вот он уже в углу. На коленях.

«Я говорил, что не вожусь больше с тобой, если...— мысленно погрозил Петерис тому, кого сейчас не переставая призывал отец, уставясь в толстую церковную книгу. — Я вчера вечером говорил тебе...»

Пол в «Вецбирзниеках» прибит крупными коваными гвоздями. Шляпка одного из них больно впилась мальчику в колено.

* * *

Во второй половине дня, после праздничного обеда, в то время как папаша Стучка со своим гостем, балтийским немецким газетным издателем и арендатором имения Оскаром фон Гроссбергом, устроились на веранде дома за бутылкой, мать села с детьми за рояль.

Осторожно, бесшумно она подняла крышку рояля, молча взглянула на блестящий черно-белый ряд клавиш, затем легко-легко коснулась их.

Ее манера играть — полная противоположность резкой, властной манере мужа. Как противоположны и характеры обоих. Хрупкая и миловидная вецбирзниекская Ева, которую никто не называет Стучкиной Евой, кажется, только для того и живет, чтобы скрашивать жизнь домашних. Хозяева усадьбы «Пакули» дали дочери хорошее образование. Лучшее, какое в позднюю пору крепостничества мог себе позволить арендатор средней усадьбы, у которого одну руку связывало имение, а другую — всякие нехватки. С литературой и музыкой ее познакомил домашний учитель. Ева Стучка участвует в жизни волостного и окрестных латышских обществ, пишет в латышские газеты и очень старается привить детям любовь ко всему прекрасному и возвышенному, к музыке.

«Музыка — вторая душа человека»,— говорит она. Как только выпадает свободная минута, она играет малышам какую-нибудь народную мелодию или классическую пьесу. И спокойным, тихим голосом объясняет содержание музыки: «Вот мы слышим шелест деревьев, а теперь — стремительный бег вешних вод... Вот человек ликует, а теперь грустит о чем-то. Может, по родине, может, по близкому другу...»

Привыкнув песней скрашивать и свою собственную трудную жизнь, мать пыталась теперь, насколько это возможно, музыкой развеять огорчения своих любимцев.

В первый день троицы, как известно, не полагается наигрывать светские мелодии. Но Петерис, казалось, еще не оправился от утренних переживаний, и мать начала с любимого детьми Шуберта.

«На зеленом пригорке, перед воротами липа стоит...» — пела она, аккомпанируя себе. Осторожно, приглушенно, чтобы слова и музыка не слышны были на веранде.

2. «РИГА, РИГА, ИНЫЕ КРИЧАТ, КУДА БОГАТЫЕ ГОСПОДА СПЕШАТ...»

— Извозчик!

— Jawohl, mein Herr! [1]

[1] Слушаюсь, мой господин! *(нем.)*

— Мне латыша! Эй, латышский извозчик! — Папаша Стучка оставил сына стеречь неуклюжую плетеную корзину и, выйдя к бровке тротуара, уставился на вереницу извозчиков на другой стороне привокзальной площади: не отзовется ли кто с какой-нибудь рессорной пролетки?

Стучки только что прибыли динабургским поездом из Кокнесе. За ними из настежь распахнутых вокзальных дверей валили и растекались в разные стороны дамы в шляпах и пледах, господа в котелках и цилиндрах. Носильщики и лакеи, согнувшись, тащили чемоданы и баулы. Мимо городового, стоявшего, раскорячив ноги, с красным шнуром вокруг шеи и шашкой на портупее. Другие тоже звали извозчиков. Но никто не искал, как отец Петериса, извозчика-соплеменника.

Петерису было неловко, ему казалось, что люди посмеиваются над отцом, и мальчик жался к плетеной корзине, куда мать сложила его белье, две смены одежды и всякие необходимые школьнику вещи.

Наконец подкатил извозчик-латыш. Поклажу пассажиров он поставил себе под ноги. Причмокивая и присвистывая, погнал сивую лошаденку в сторону бульвара Наследника.

— Стало быть, вам крюк сделать угодно? — не то с недоверием, не то с недоумением оглянулся извозчик через плечо на седоков. Отвислые пышные усы слегка вздрогнули. Странно: латыши, и трезвые как будто, а вздумали по городу кататься, точно немецкие хлыщи или русские купчики с мамзелями...

В свои приезды на годовщины Певческого общества Петербургского форштадта папаша Стучка уже не раз показывал Петерису Ригу, но сегодня поездка, по его мнению, имела какой-то особый смысл. Сын хозяина «Вецбирзниеков» наконец-то поступит в гимназию. Это значительно приблизит папашу Стучку к его заветной цели. А сыну, прежде чем сесть на школьную скамью, надо еще разок как следует посмотреть, что представляет собою эта Рига и какой ей следовало бы стать в будущем.

Уже сегодня Рига не только немецкая крепость с узенькими улочками ганзейского города, насыщенного духом прусских лавочников. Повсюду чувствуется хватка, цепкость, хозяйственность латышей. Огромные каменные дома на улице Паулуччи, на бульваре Наследника, на Александровской и Мариинской улицах построены или строятся латышами. Не немецкая бюргерская готика с ее островерхими крышами, зарешеченными окнами и звериными головами и лапами на порталах, а итальянский ренессанс и благородная русская классика стали образцами для архитекторов и мастеров из латышского народа — Кристапа Берга, Яниса Бауманиса, Кристапа Морберга. Строительный мастер и домовладелец Кристап Морберг для Яниса Стучки — образец делового латыша. Чело-

век из бедности и темноты пробился к верхам общества. Примерно в ту пору, когда Петерис появился на свет, сын крестьянина Кристап Морберг прошел через ворота на Карловской улице. В постолах и с краюхой ржаного хлеба в торбе. Нанялся на стройку подсобным рабочим, выслужился до кладовщика. Благодаря бережливости сумел накопить денег, чтобы платить за частные уроки профессорам Политехнического института. Потом добился в Берлине диплома архитектора. Вернувшись в Ригу, догадался скупить земельные участки на месте только что срытых рижских валов и начал там строить дома — один другого роскошнее. А теперь — прочь с его дороги, немецкие бюргеры!

Только уж очень этот Морберг равнодушен к национальной культуре, к Латышскому обществу, к его праздникам и сходкам. Не то что архитектор Бауманис, или фабрикант Рихард Томсон, или домовладелец Кристап Берг. Те тоже люди денежные, но ревностно участвуют в духовной жизни латышей. Некоторые из них в латышском театре играют. И понятно это. Не одной коммерцией народное дело творится. Ибо, как говорят Кришьянис Валдемар и Трейланд-Бривземниек[1], надо усердно трудиться, чтобы поднять достоинство народа, поскольку просвещение и пробуждение душевной чуткости — суть корни народного благополучия.

Когда извозчичья пролетка на улице Паулуччи прокатила мимо Верманского парка, папаша Стучка велел на минутку остановиться перед зданием Рижского латышского общества.

— «Матушка»![2] Твердыня латышского народа! — Он приподнял шляпу, словно приветствуя трехэтажное каменное здание в стиле ренессанса за чугунной оградой. — На редкость единодушны оказались латыши, когда строили этот дом. Точно муравьи, каждый приносил, что мог, и делал, что умел.

— Каждый приносил, что мог, и делал, что умел, а не каждого теперь туда пустят,— пробурчал извозчик.— Попробуй я ступить в эту народную твердыню, так вон тот самый в галунах, что уставился на нас, мне пальцами глаза выколет. Когда строили здание это, начальник Дирикис[3] все твердил: «Дом будет открыт для каждого, кто пожелает помогать в про-

---

[1] Трейланд Фрицис (Бривземниек) (1846—1907) — латышский поэт, переводчик произведений русских классиков, педагог, один из первых виднейших латышских фольклористов.

[2] «Матушка» (Рижское латышское общество, основанное в 1868 г.) — первая латышская национальная организация в Риге. Содержало первый латышский театр, книжное издательство, специальную научную комиссию. До восьмидесятых годов девятнадцатого века имело прогрессивное значение. Начиная с девяностых годов становится цитаделью реакционной буржуазии.

[3] Дирикис Бернгард (1831—1892) — один из идеологов национальной буржуазии, основателей Рижского латышского общества, журналист, известный издатель и редактор буржуазной газеты «Балтияс Вестнесис».

свещении и развитии латышей, кто сам пожелает учиться чему-нибудь, для каждого, кто пожелает пристойным, подобающим образом проводить там время». Но попробуй кто-нибудь без черного сюртука и набитого кошелька в этом доме пристойно время проводить!

— Общество всегда будет отдавать предпочтение тем, кто стоял у его колыбели, кто поддерживал его средствами,— наставительно изрек папаша Стучка.

— Да разве мы, простые люди, не поддерживали общество средствами? Я сам господину Томсону чистым серебром сколько отвалил... Да что говорить-то... — поморщился извозчик. Затем еще круче повернулся к пассажирам и спросил: — Прикажете тут обождать? Там в буфете весь день отпускают.

— Поехали! Дальше поехали! — Папаша Стучка откинулся на сиденье. — Давай направо, по Александровской — до Елизаветинской. А там опять направо — до Суворовской.

Петерису хотелось спросить: а как же с гимназией? Дома отец говорил, что повезет прямо к гимназическому начальству. Обо всем условится с классным наставником, с инспектором И уплатит, если что еще полагается («Чтоб у немчуры этой повода не было над латышской бедностью глумиться!»).

Домашний учитель, который целый год готовил Петериса после волостной школы в гимназию, правда, уверял, что молодой хозяин знает гораздо больше, чем за четвертый класс. Особенно древние языки — латынь и греческий. Но Петерису уже известно, как его, сына крестьянина, встретят в гимназии. Он может оказаться там единственным «мужиком» среди благородных. Это допускали и мать и домашний учитель. Дома часто вспоминались школьные злоключения Кришьяниса Валдемара, Кришьяниса Барона[1], Атиса Кронвалда и других латышских просветителей. Чего только барчуки не выкидывали, чтобы выжить крестьянских детей из гимназии и университетов.

«Ты должен вырваться из сословных ограничений, которые тебе насильно навязали,— говорили обычно домашние. — Это неправда, что сын пахаря не может по уму соперничать с дворянами! Это неправда, что потолок черной лачуги — вершина крестьянских стремлений!»

По натуре своей Петерис не из робких. Барчукам с ним, деревенским пареньком, не тягаться ни в силе, ни в выдержке. Но у них, у барчуков, власть, и притом их много. А Петериса воспитывали скромным и обходительным, ему внушали уважение к нравам других, приучали к сдержанности.

---

[1] Барон Кришьянис (1835—1923) — идеолог младолатышей, журналист, писатель, редактор «Петербургас авизес». Собрал, систематизировал и издал (на средства Российской академии наук) капитальное собрание латышских народных песен, «Латышские дайны».

Мать все твердила сыну, как он должен вести себя, чтоб не оступаться в жизни: «В чужой стороне будь всегда благоразумен, не будь опрометчив. Присматривайся, как ведут себя другие, не навязывай своего мнения. И запомни: то, что годилось вчера, может завтра оказаться негодным. Помни, как высмеивается в народной сказке недотепа, маменькин сынок, который в гостях хочет ножом горошинку пополам разрезать. Любой самонадеянный умник может в такой смешной рассказ угодить».

Вели отец сразу поехать в гимназию, Петерис приметил бы там кое-что полезное для себя на будущее...

— Приехали! — Отец остановил извозчика у двухэтажного здания на углу Елизаветинской и Суворовской. Неказистый на вид дом чем-то походил на сельский сарай, чердачные надстройки напоминали Петерису совьи головы — из-под маленьких островерхих крыш, как зоркие глаза, смотрели по два круглых люка. — Тащи-ка свой багаж! Здесь и будет твой пансион.

Чуть погодя Петерис очутился в комнате верхнего этажа, окна которой выходили на перекресток улиц и парк доктора Вермана. Под высокими воротами парка с ноги на ногу переминался грозного вида бородач в сине-черной ливрее со сверкающими пуговицами и в расшитой золотом фуражке. Судя по платью и поведению посетителя, он пропускал его в парк, поклонившись ему или же просто посторонясь. С людьми в потертых пиджаках он становился не менее суровым, чем сам городовой на привокзальной площади, и, преграждая им дорогу, гнал прочь.

К парку на извозчике подкатил франтоватый господин с двумя барышнями в широкополых шляпах, похожих на солнечные зонты. Франт ссадил своих красоток с пролетки, и все вместе, горделиво выступая, направились к воротам, подобострастно приветствуемые бородатым привратником. Из парка, из-за кустарника, лились звуки духовой музыки.

— Какие красивые,— сказал себе Петерис, глядя на женщин, и сам испугался произнесенных вслух слов.

Отойдя от окна, он принялся осматривать комнату — свое будущее жилье. Комната совсем не мала, даже попросторнее, чем у учителя в кокнесской волостной школе. Обстановку тоже бедной не назовешь. Шкаф с резным цветочным венком на дверце, полированная кровать, стол и стулья с точеными ножками, этажерка для книг. За дверью — вешалка. Посреди комнаты с потолка, на латунной цепи, свисает керосиновая лампа с абажуром, украшенным стеклянными сосульками. Видимо, чтобы скрасить однообразие сине-розовых обоев, против окна повешена на стену олеография под стеклом «Твоя добрая хранительница» — дева-ангел, расправив лебединые снежно-белые крылья и вскинув одну руку, витает над двумя

пухленькими малышами, ступающими по перекинутому через пропасть мостику.

Петерис поискал глазами свою корзину, но ее в комнате не оказалось. Должно быть, осталась в прихожей. Он направился в смежную комнату, где отец с хозяином квартиры сидели за столиком, на котором стояла тминная водка и другие угощения.

— Корзина на лестнице,— кивнул ему отец и снова повернулся к содержателю пансиона (тот когда-то арендовал имение в Калснавской округе). Хозяин развалился на стуле с рюмкой в огромной, как медвежья лапа, руке.

— Я стоял и буду за Юриса Материса стоять,— словно выстукивая молотком, говорил Стучка. — Это верно, Латышское общество — наша матушка, а мы — ее дети, но не пристало все же вожакам общества ради мест в думе с немцами якшаться. Не выношу я этого.

— Неужто не выносишь? — переспросил хозяин.

— Да, не выношу. Как и не выношу, когда наши лучшие фамилии с немцами роднятся.

— А что тут плохого? А где ты латышек с образованием и хорошими манерами найдешь?

— Что касается манер, так наши стабурагские красотки тоже лицом в грязь не ударят.

— Так у твоих стабурагских красоток ведь никакого приданого. Мало радости от такой. Она тебе ни именьица, ни торгового заведения с собой не принесет, да и подпись ее дядюшки под векселем тоже ничего не стоит. Банк такого и не знает. А немка — дочь купца или цехового старосты — тебе и капиталы и кредит обеспечит. Не согласен? Так отчего же ты с фон Гроссбергом водишься?

— У нас с Гроссбергом общие дела. Гроссберг солидный компаньон.

— Вот в том-то и дело, что солидный. Денежный немец всегда солиднее латыша будет. А я вот как полагаю: всякие там народные общества, пестование латышского духа необходимы нам, чтоб на наших фабриках и в строительных артелях своих рабочих удержать. И чтобы, приехав в город, латышский хозяин мог изъясняться на языке предков, когда продает свой лен, хлеб или закупает в лавках необходимое по хозяйству.

— Ты на мир смотришь с крыльца мужицкой клети! — распалился папаша Стучка. — Одного этого для дела латышского народа мало. Латышам необходимо свое духовное самосознание. Если так однобоко, как ты, рассуждать, то нам вовек всеобщего процветания не добиться. Так нам долго еще не поднять затонувшего дворца света, как это нам предками завещано. А Иманта еще семьсот лет под Синей горой почивать будет.

— Велика важность! Пускай почивает себе на здоровье! — засмеялся хозяин.

На нижнем этаже хлопнула дверь, на лестнице загудели шаги, затем в прихожей раздались веселые мужские и женские голоса.

— Das war entzückend!.. Schönen Dank für die Kompanie! Bis zum Morgen! [1] — донеслось из коридора. Затем стукнула дверь и шаги заглохли где-то в глубине коридора. Обитатели пансиона разошлись по своим комнатам.

«А отец разве не знал, что тут живут немцы?»

* * *

Петерису рижская гимназия показалась библейским рвом львиным, в который был брошен пророк Даниил.

Поначалу львы, то есть сынки немецких господ, не позволяли себе ничего такого, что можно было бы обозначить словом «подлость». Только постоянно давали чувствовать, что для них сын латышского крестьянина неполноценный человек. Он латыш и поэтому был и останется простолюдином. Более низким созданием, достойным внимания не больше, чем дерево в лесу или столб на шоссе.

Но так продолжалось недолго. Вскоре, когда Петерис попадался на пути какому-нибудь барчуку, тот, закрывая носовым платком нос или рот, начинал чихать и давиться. «Мужицким духом разит?» — участливо спрашивал следовавший за немчиком приятель.

Или Петерис подает однокласснику какую-нибудь вещь, а тот, брезгливо морщась, берет ее самыми кончиками пальцев: как бы не испачкаться от общения с «простолюдином»...

На парте Петерис сидел один. На уроке, в гробовой тишине, в него вдруг невесть откуда летел комок жеваной бумаги. И когда Петерис вскакивал или — сохрани бог! — взвизгивал от неожиданности, на него обрушивалось всеобщее негодование. И учитель читал Петерису длинную нотацию о нормах поведения в общественном месте, уснащенную примерами из Библии, истории и сочинений античных авторов. Пока классный наставник пробирал толстокожего Петериса за непристойное поведение, тот должен был стоять точно соляной столп, в который, по библейскому преданию, превратилась грешная жена праотца евреев Лота.

На некоторых уроках ученики вообще должны были превращаться в каменные изваяния. Прежде всего — на законе божьем. Гимназисты, словно немые, сидели с молитвенно сложенными на парте руками, уставясь на обер-учителя — обер-

[1] Это было восхитительно!.. Большое спасибо за компанию! До завтра! *(нем.)*

пастора немецкого Домского прихода, монотонным, нудным голосом толковавшего о заповедях и Евангелии. У церковника веки прикрыты, лысый череп обращен к классу. Кажется, что преподобный отец целиком погрузился в созерцание жития Иисуса. Но стоило кому-нибудь из ребят только повернуть голову к окну, за которым призывно покачивались высаженные на берегу канала деревья, как тут же его поражал суровый окрик пастора: «Встать! Стоять! Десять минут стоять!»

Урок закона божьего был труднейшим испытанием. Тем более — для Петериса, сына крестьянина. Ибо что-что, а повод покарать какого-то «Пэтэра Сту-учку» уж найдется. Счастье еще, что господин пастор не являлся в класс каждый день.

Гимназисты изучали латынь и греческий, немецкие перфектумы, постигали законы математики, зубрили даты рождения Юлия Цезаря, царя Константина, королей Фридриха Барбароссы, Вильгельма Завоевателя и сотен других ниспосланных богом монархов и полководцев.

Немецкую литературу преподавал обер-учитель Гросс. Он заставлял величать себя господином профессором. Гросс патетичен, любит разбирать стихи с точки зрения этики, нравственности и патриотизма. Он неустанно твердит воспитанникам об исторически-патриотическом долге немцев, об идеальной германской верности фатерланду и рыцарским добродетелям. Но, несмотря на все это, с немецкой литературой Гросс знакомил неплохо.

Учитель русского языка и литературы славист Аким Крылов на своих уроках побочными темами не увлекался. Он анализировал язык и содержание литературных произведений. Читал ученикам наизусть или по книге поэтические тексты, то повышая, то снижая голос. Разбивал отдельные строки стихотворения на предложения и показывал, что произойдет, если отобранные автором слова заменить другими, хоть и схожими по смыслу. Как при этом поблекнет картина, распадется образ, улетучится аромат поэзии.

На уроках обер-учителя Крылова Петерис забывал про ров львиный и отдыхал от прусской казарменной дисциплины. У «москвитянина»-слависта можно было вертеться на парте и, слушая, подпирать кулаками подбородок. Он не одернет, не распечет, если его перебить вопросом, возгласом одобрения или недоумения. Аким Крылов не накажет ученика, даже если тот самовольно вскочит с места и скажет: «Мне непонятно... Не понимаю, что это такое?»

«Так, так...— Обер-учитель только вынет из кармана в заднем разрезе вицмундира необычно большой носовой платок и протрет им стекла очков.— В таком случае...»

И примется разъяснять абсолютно очевидные истины. Терпеливо, сдержанно, порою с едва заметной иронической ухмылкой. Он знал, что русский язык не в чести в семьях прибалтийских баронов и немецких патрициев. В Прибалтике домашнему учителю русского языка найти работу трудно, несмотря на то что Лифляндия и Курляндия — губернии Российской империи, в Риге находится генерал-губернаторская резиденция, а царский двор и государственные ведомства в Петербурге так и кишат отпрысками прибалтийских дворян.

Уроки русского языка и литературы позволяли забывать отравленную классную атмосферу.

После урока Крылова Петерис безразлично пропускал мимо ушей скабрезную болтовню однокашников о похождениях в публичных домах, посещение которых для барственных гимназистов было неоспоримым признаком зрелости.

В свободное от школы время Петерис сидел над книгами в своей комнате на Елизаветинской улице. Учил уроки, при этом часто забегал вперед. Много читал. В книжной лавке Кюммеля в Старой Риге можно было приобрести произведения Тургенева в издании Немецкой универсальной библиотеки, стихи Гейне, романы Эмиля Золя. На русском языке — басни Крылова, стихи и прозу Пушкина, рассказы Гоголя. И книги по химии, архитектуре и технике. Петерис еще лелеял тайную надежду: может, отец все-таки позволит ему перейти из классической гимназии в реальное училище, пустит его потом в Политехнический институт... Реальное училище помещалось под одной крышей с гимназией, в крыле того же здания, с такими же классами и кабинетами.

* * *

Двадцать первого октября Латышское общество решило провести на Катлакалнском кладбище поминовение Гарлиба Меркеля[1]. Десять лет назад, то есть двадцать первого октября восемьсот шестьдесят девятого года, в столетие со дня рождения автора «Свободных латышей и эстонцев» и «Ванема Иманты», предводители общества от имени латышского народа, на средства, вырученные от продажи портретов Меркеля, открыли памятник забытому в Прибалтике писателю.

---

[1] Меркель Гарлиб (1769—1850) — писатель и публицист, по национальности немец, уроженец Латвии, автор резко антифеодальной книги «Латыши» (1797). Произведения Меркеля и своей тематикой, и идеями, и материалом содействовали творчеству многих прогрессивных латышских писателей, в том числе и А. Пумпура и Я. Райниса.

В шестьдесят девятом году латыши переживали мощный подъем национального самосознания. Только что созданное Латышское общество тогда считалось чуть ли не идейным руководителем народа, и любое начинание этого общества находило широкий отклик. В то время еще не знали о естественном делении народа на «лучшие фамилии» и «простых людей».

Теперь, на пороге восьмидесятых годов, слава Рижского латышского общества сильно померкла. Как и цвета национального знамени, которое в праздники и на всяких торжествах выносилось из комнаты предводителей. Уже некоторое время неимущие члены возмущались богатыми соплеменниками — барскими замашками лучших фамилий, их родственными связями с немцами, отстранением рядовых тружеников от дел общества, голодным жалованьем латышских рабочих и служащих латышских же фирм, товарных складов, фабрик и строительных предприятий. Теперь Рижское латышское общество частенько хулили. Елгавский газетчик Юрис Материс и Адольф Алунан [1], тот, что сочинял и ставил комедии, оба латышских поэта Аусеклис [2] и Пумпур поносили в разных стишках и вещицах вождей общества. Аусеклис — тот, слава господу, почивал уже в алойских песках, и уже не станет его перо над кем-то глумиться. Зато Адольф Алунан пишет куплеты один другого гнуснее. А сумасшедший елгавец Материс как будто вздумал написать про сынов «Матушки» длинную ругательную вещь. Лакеи и приказчики выучили стишки Андрея Пумпура «Знаменитые соплеменники» наизусть, и всякий, кому не лень, твердит их, точно библейский стих:

Нет такой души,
Которая болела бы за народ!

В первые годы «Матушки» поминовение Гарлиба Меркеля удалось на славу. Поэтому-то предводители общества и решили повторить его. В сто десятый год рождения «маленького видземца» они хотели устроить выезд на Катлакалнское кладбище. Пригласить побольше латышей младшего поколения — воспитанников городской гимназии, реального училища и других школ. Ибо у латышей более низкого сословия, копеечных членов общества — у всяких приказчиков, кельнеров питейных заведений, строительных и фабричных рабочих — нет необходимой душевной чуткости. А латышской учащейся молодежи

---

[1] Алунан Адольф (1848—1912) — организатор и руководитель латышского театра, основоположник оригинальной латышской драматургии.

[2] Крогземис Микелис (Аусеклис) (1850—1879) — латышский поэт, виднейший представитель прогрессивного направления народного романтизма.

нужно идти тем же путем, каким шли деятели старшего поколения. Ведь ей когда-нибудь все равно придется продолжать дело, начатое сегодняшними вождями.

Петериса Стучку на поминовение Меркеля пригласили два воспитанника городского реального училища — юнцы с едва пробившимся пушком над верхней губой и студенческими тростями в руке.

— Том Винклер.

— Янис Шлесер.

— Рад познакомиться.

Петерис пододвинул гостям стулья и, когда они уселись, устроился сам напротив, на краю стола.

— Мы явились к вам по поручению Латышского общества,— сказал тот, что назвался Томом Винклером.— С патриотическим заданием. Предводители общества знают ваших достопочтенных папашу и мамашу как истинных творцов народного дела и поэтому считают, что и ваше место среди ревнителей начинаний общества. Исполняется сто десять лет со дня появления на свет Гарлиба Меркеля, воспевшего Громовержца, Пикола и Потримпа.

— Вы, полагаю, наслышаны о Меркеле? — заговорил теперь другой.— Весьма возвышенные строки вы прочтете о нем в «Балтияс вестнесис» [1].

Манера реалистов держать себя невольно напомнила Петерису о его спесивых одноклассниках. Казалось, реалисты подражали немецким бюргерам. Они оба развалились на стульях, заложили ногу на ногу, подбоченясь, точно бароны или графы в театральных представлениях труппы Адольфа Алунана на сцене Латышского общества.

— Кое-что из Меркеля я читал. «Ванема Иманту», «Видземскую старину»,— ответил Петерис.

Гости переглянулись.

— В таком случае тем более... господину Стучке следовало бы присутствовать на этой торжественной церемонии.

— И мне думается,— уже не так лихо вставил Том Винклер,— господину Стучке надо бы присоединиться к нашему «Кружку чтений».

— И я так думаю,— согласился Янис Шлесер.

— Простите, только я слышу об этом кружке впервые.

— Позвольте довести до вашего сведения,— оживился Винклер,— что мы, латышские юноши из реального училища и других учебных заведений, решили ближе познакомиться с духовным богатством латышского народа. Мы это делаем путем товарищеского общения. Раз в неделю, чаще всего по воскресеньям, мы, члены «Кружка чтений», собираемся на под-

---

[1] «Прибалтийский вестник».

ходящей для этого квартире и обсуждаем книги и статьи о латышском деле. Читаем друг другу речи, которые намереваемся где-нибудь произнести, делимся наблюдениями на патриотическом поприще. Лучшие материалы мы предлагаем газетам для прославления сердца и разума народного. У кружка есть своя библиотека. На приобретение новых книг каждый член ежемесячно вносит по пятидесяти копеек.

— Мы учимся осознавать, почему латышам надлежит держаться вкупе,— вставил Янис Шлесер. — И не брезгаем нравами предков.

— Господин Шлесер хочет сказать, что мы не пренебрегаем и кружкой пива и фехтованием на рапирах. И это относится к проявлениям народного духа. Итак — мы надеемся увидеть вас в нашем кружке.

— Благодарю за приглашение. Только сомневаюсь, смогу ли я быть вашему кружку чем-либо полезным.

— Со временем все это придет само собою,— великодушно махнул рукой Винклер. — Мы еще поговорим с вами по дороге в Катлакалн. Мы поедем туда в колясках.

* * *

— Сам всевышний благоволит благородному делу латышей, — громко сказал руководитель Латышского общества, выйдя на крыльцо здания. Он приподнял сверкающий цилиндр, словно приветствуя осеннее солнце и участников катлакалнского выезда, толпившихся перед зданием общества, вокруг частных экипажей и извозчичьих пролеток. За экипажами предводителей общества кучера подгоняли и роскошные коляски и простые брички. В экипажах уже сидели дамы предводителей в огромных, похожих на аистовые гнезда, шляпах, с перевязанными лентами букетами цветов в руках.

Сами предводители еще вертелись в отдельной группке и с торжественной сосредоточенностью здоровались со знакомыми, приподнимая котелки и цилиндры, и время от времени косились то в сторону Верманского парка, то перекрестка Суворовской и Паулуччи, где маячили присланные полицмейстером городовые. Сколько же все-таки собралось народу, чтобы поглазеть на выезд? Мало, очень мало! И это после таких усилий, такой рекламы патриотического начинания! Главное — значительно больше могло быть молодежи, латышской молодежи!

Молодежи в самом деле могло быть больше. Такое невнимание молодых латышей к столь большой исторической личности, как Меркель, задело даже Петериса Стучку. Как бы ни было, но «маленького видземца» надо уважать.

На прошлой неделе Петерис перечитал «Ванема Иманту», а когда он с письмом матери сходил к Бернгарду Дирикису, этот друг отца, который содержал пансион для школьников, дал ему заглянуть в запрещенную в Прибалтике книгу «Латыши». Серый томик открывается гравюрой: монах подносит к устам латыша церковную чашу, а рыцарь в это же время одной рукой замахнулся на него мечом, а другой поджигает факелом соломенную крышу его дома. Потрясающая картина. Посланец божий — союзник рыцаря-разбойника. На одной из страниц «Латышей» Петерис прочитал: «Проповедники Евангелия! Глашатаи правды! Слушайте и краснейте!.. Каждый из вас — негодяй! Заслуживающий кары клятвопреступник!..»

Сын пастора, Гарлиб Меркель осуждает прибалтийских священников вовсе не потому, что они немцы (которых должны сменить пасторы латышской национальности, как уверяют единомышленники отца), а потому, что проповедники христианства — божьи пророки — сами преступники и покрывают преступления других.

Еще мальчиком Петерис к религии был почти равнодушен. В церкви или дома, на молитвах, он присутствовал по привычке или же из страха перед тумаками отца. Но до сих пор его еще никогда не занимали размышления (только в отрочестве человек начинает интересоваться так называемыми великими загадками) о святости пасторов, об их лицемерии, о лживости церковных истин. А теперь его все преследовала и не давала ему покоя мысль: «Надо искать ясности! Искать правды!»

О поисках правды писал и Меркель. Говорят, что вольнодумство Меркеля идет от французских философов-атеистов. Так утверждают прибалтийские немцы, так уверяет хозяин пансиона, у которого живет Петерис и который тоже не согласен с крамольным «маленьким видземцем».

А что, если попросить кое-какие вольнодумческие книги у приказчика Кюммеля — Эмиля Дауге? Эмиль — сын друга отца, саукского учителя Юриса Дауге, перелагающего на латышский язык немецкие рассказы. Петерис с Эмилем хорошо знаком. В Кокнесе, в «Вецбирзниеках», Дауге гостили не раз (отец Петериса охотно принимал у себя литераторов и артистов). Эмиль, окончив в Риге городскую школу, нанялся в самую крупную книжную торговлю в Старой Риге. Когда Петерис в последний раз рылся в грудах антикварных томов, Эмиль шепнул ему, что шеф получает из-за границы и запретные книги, которыми снабжает верных клиентов.

А что, если попросить Эмиля?

Очень близкими друзьями они с Эмилем не были. Правда, кое-что их все же сближало. Эмиль, как и он, страстный книжник. Ему тоже нравятся Гейне, Эмиль Золя, Гоголь.

А «Записки охотника» Тургенева он выучил чуть ли не наизусть.

«Видимо, и Эмиль Дауге участвует в сегодняшнем выезде. Ведь он один из завсегдатаев театра Латышского общества, гордится дружбой с руководителем театра Алунаном. Хвастает, что читает вместе с ним «Ванема Иманту». Отец латышского театра собирается переработать это в пьесу...»

Петерис прошелся в сторону Александровской и вдруг увидел того, кого искал. Эмиль беседовал с каким-то плечистым офицером.

«Подойти?.. — Офицера Петерис видел впервые. — Неудобно помешать».

Но Эмиль Дауге увидел Петериса.

— Петерис! Иди сюда!

— Подпоручик Айзуп. Карлис Айзуп. — Офицер крепко пожал Петерису руку. — Рад познакомиться. Мой сослуживец поэт Пумпур хорошо знаком с Янисом Стучкой. Говорил, что у того в Кокнесе растет многообещающий наследник.

— На чем поедешь? — спросил Эмиль.

— Меня обещали взять реалисты.

— Обещали? Их коляски, наверно, и без тебя забиты до отказа, а нас только двое. Поехали с нами!

— Идемте к нам. Так вам будет удобнее,— поддержал Айзуп.

Петерис задумался. Как-то неловко перед реалистами. Они обещали во время поездки рассказать о кружке чтений. Но в колясках реалистов в самом деле и без него народу много. А ему еще о книгах с Эмилем поговорить надо.

* * *

Два раза в неделю Петерис брал уроки игры на фортепьяно. Еще весною, как только в «Вецбирзниеках» решили послать наследника в немецкую гимназию, мамаша Петериса попросила рижских знакомых подыскать для сына хорошего учителя музыки (предпочтительно приезжего немца). И вот у него педагог. Уважаемый в городе директор «Schule für Tonkunst» [1] профессор Пагот. Его музыкальная школа помещается на Суворовской улице, неподалеку от Рижского латышского общества.

Поначалу, пока профессор еще не успел проверить способности нового ученика, Петерис наигрывал гаммы в одном из классов школы Пагота. Но вскоре профессор заменил ноты начальных упражнений другими. Прослушав затем Петериса,

---

[1] Школа музыкального искусства *(нем.)*.

он сказал: «Впредь будете заниматься у меня дома». И протянул визитную карточку, на которой рядом с именем, фамилией и званием директора карандашом были приписаны дни и часы, в которые Пагот принимает учеников на дому.

Пагот жил в новом немецком районе, в одном из домов современного стиля, в которых селились банкиры, судовладельцы, адвокаты, врачи, журналисты. Люди тут дружили с солнцем, любили прогулки по улицам и близлежащим Стрелковому и Царскому садам. Тут щеголяли парижскими пледами и тростями, хорошим тоном считалось поведение, отличающееся от принятого в бюргерской Риге.

В солнечные дни и если некуда было торопиться, Петерис ходил на уроки музыки пешком. Шел окольным путем, до Портового парка, что сразу за губернаторским замком и цитаделью. Там Даугава покачивала парусные суда, разукрашенные флагами расцвечивания. (Кто знает, может, на одном из этих кораблей ходил Паганель из «Детей капитана Гранта»?) По обе стороны улицы тянулись склады строительных материалов и всяких других товаров. Около них толклось множество усталых, озабоченных, бедно одетых людей. Изо дня в день они глазами голодных зверей смотрели на двери складских контор, на сторожа, открывавшего и закрывавшего железные ворота таможенного двора, а завидев вдали подъезжавших на извозчиках господ, срывали с голов полинявшие от непогоды и времени шапки.

Почему они себя так ведут?

Кто они такие?

«Лодыри и бездельники! — возмутился содержатель пансиона, когда Петерис заговорил с ним об этих людях. — Понабежали отовсюду, точно тараканы на теплый запечек. А теперь вопят, что вместо земли обетованной опять же на землю, политую пóтом, попали. Пристроишь по доброте своей этакого на работу, а ему черт знает, какого рожна надо. Никак хозяин не угодит на него. Привередничает! В прошлом году мне на заезжем дворе второй дворник и конюх понадобился. Говорю этакому, что повсюду пороги обивает: «Поди, парень, да за метлу и совок возьмись! Сыт будешь и еще на чаевых хорошо подзаработаешь — от тех, что лошадей оставляют, от посетителей кабака». А он только зубы скалит. Ему, говорит, твердое жалованье положи, квартиру дай. В людской или вместе с приезжими не согласен. Послал я его туда, откуда пришел. И, думаешь, легко мне было порядочного, работящего человека подыскать? Пороть их, бродяг этаких, пороть, да и только! Чтоб знали, как жить надо!»

В квартире профессора музыки много картин и книг. В кабинете, за стеклами шкафов мореного дуба, заманчиво поблескивают позолотой корешки пухлых томов, в углу — круглый стол с ножками, изогнутыми как корни сосен в дюнах, его ок-

ружают резные стулья с высокими спинками. Стулья эти кажутся такими же надменными, как супруга хозяина дома, обычно встречающая посетителей и учеников мужа. В зависимости от их общественного положения она или протягивает для поцелуя руку, или же холодно кивает на дверь комнаты с роялем. У профессора седая бородка, редкие волосы и болезненно бледное лицо. Рядом с моложавой, цветущей супругой он кажется преждевременно состарившимся.

Уроки игры на фортепьяно, обучение музыкальной технике Пагот совмещает с анализом содержания мелодии. Говорит, как следует понимать критику Шумана вагнеровских сочинений, что ее не следует путать с завистью Сальери к Моцарту.

Возможно, Пагот увидел в Петерисе одаренного юношу? Возможно. Но профессор прямо сказал, что господин Стучка навряд ли станет артистом. «Вы для этого чересчур рациональны. Но вас все же нельзя причислить к юношам из состоятельных семей, занимающихся искусством лишь ради хорошего тона. Вы всегда спрашиваете: «Почему? Для чего?» Симпатичная черта. Признак самостоятельного мышления. Этим, к сожалению, не может похвастать большая часть зажиточного общества нашего времени».

«Может быть, попытаемся работать не так, как обычно? Обратимся к книгам. При изучении любой дисциплины прежде всего надо ознакомиться с первоисточниками. Прежде чем взяться за произведение какого-либо автора, вы должны прочитать все имеющиеся о нем исследования. Мой книжный шкаф всегда в вашем распоряжении».

«Спасибо, господин профессор! Я охотно воспользуюсь вашей любезностью»,— поклонился Петерис, не зная, как еще выразить свою благодарность. К музыке его влечет не меньше, чем к художественной литературе, к технике или архитектуре. Порою кажется, что даже больше, чем к точным наукам.

Но он не совсем уверен, будет ли это так всегда.

Теперь он как опьяненная весенним воздухом птица. Вырвавшись на волю из-под постоянной опеки отца, он стремился ко всему, что обогащает душу, воображение. А ничто другое так не окрыляет фантазию, как искусство.

И Петерис до того увлекся музыкой, что иногда просиживал лишние часы за «регистрами музыкального сознания» Пагота и за профессорским роялем. Он так увлекался, что пропускал очередные «вечера чтений», забывал сходить к Эмилю Дауге.

А у Эмиля Дауге были запрещенные в России книги. «История пугачевского бунта» Пушкина и книга Давида Фридриха Штрауса «Жизнь Христа». Эмилю Дауге известно, что в библиографических справочниках Штраус считается близким

левым гегелианцам. Евангельские притчи Штраус считал мифами, которыми христиане окутали Иисуса Христа. Вообще Штраус вместо библейского бога рекомендует понятную и близкую людям идею божественной человечности. Штраус даже допускает отрицание христианства — основы основ существующего до сих пор человеческого мировоззрения.

В таком случае на чем же должны основываться отношения между людьми? Понимание добра и зла?

* * *

Незадолго до окончания семестра в терцию — в шестой класс гимназии — зачислили двух новеньких: верхнекурземского польского помещика — Леона Дорошкевича и сына арендатора имения из той же округи — латыша Яниса Плиекшана [1].

Оба новичка — приятели: они приходили в школу и уходили из нее вместе, на переменах вместе прогуливались по коридору. В классе всегда поддерживали друг друга. Петерис Стучка, уже успевший обогнать в науках барчуков и бюргерских сынков и сидевший теперь на скамье первого ученика, с тайной завистью посматривал на новичков. Такие они довольные, даже беспечные. Особенно румянолицый Плиекшан. У него высокий лоб, пытливый, задумчивый взгляд. Уже на второй день он на школьном дворе на руках взобрался по приставной лестнице к самой крыше. И заливисто рассмеялся. «Ну, кто за мной? — казалось, бросил он в азарте вызов. — Давайте соревноваться!»

«Какой наивный! Еще не понимает, куда попал. — Петерис с опаской поглядывал на проделки Плиекшана. — Этим ты им ближе не станешь. Ты, друг, попал в среду холодно презирающих тебя спесивых фонов и бюргеров. Они не шляхтичи, их с паном Дорошкевичем равнять нельзя. Твоему соседу по парте доставляет удовольствие смотреть, как ты, точно белка, карабкаешься по лестнице, а отпрысков прусских рыцарей это только злит...

Смейся! Когда ты опустишься на землю, они сочтут ниже своего достоинства по-человечески ответить тебе, если ты заговоришь с ними, несмотря на то, что у тебя прекрасное немецкое произношение и на уроках латыни учитель Броке хвалит

---

[1] Плиекшан Янис (Я. Райнис) (1865—1929) — народный поэт Латвии, один из первых руководителей движения демократической интеллигенции «Новое течение». Активно участвовал в революции 1905 г. в Латвии. С 1906 г. проживал и работал в эмиграции, в Швейцарии. С 1920 г. жил в Латвии.

тебя, когда ты скандируешь периоды из Юлия Цезаря и Цицерона...»

Но, вопреки предсказаниям Петериса, озорство Плиекшана одноклассникам пришлось по душе. «Ловкий ты малый!» — хвалили они его. «Ловкий? Надо быть ловким!» — отозвался Плиекшан.

«Может быть, барчуки одумались,— рассуждал про себя Петерис,— может быть, они стали понимать, как нечестно и несправедливо нападать на товарища только потому, что он другого сословия и у него другой родной язык? Или, может, они изменили свое поведение потому, что в классе теперь стало больше латышей?»

При всей своей наивности четырнадцатилетнего паренька Петерис знал, какой лютой ненавистью немецкая знать ненавидит латышей, пытающихся выбиться из крестьянских низов. «Борьба между духом рыцарей и духом свободы»,— говорилось в одном стихотворении, которое отец читал в «Вецбирзниеках». Но и помимо этого Петерис чувствовал себя одиноким. В Кокнесе Петерису запрещалось водиться с детьми батраков, а в школе его отталкивали одноклассники.

Петерис видел, что фоны дружат с Янисом Плиекшаном. «Плиекшан, пойди послушай, что рассказывает наш коллега из Талсов!.. Плиекшан, ты знаешь анекдот про русского попа и святого голубя?.. Плиекшан, книги, которые профессор не велел читать, лучше с собой не носи, это патронам не нравится...»

Ладят, точно перчатка с рукой, как сказала бы бабка в «Вецбирзниеках».

— Тебе завидно повезло... Они с тобой как с равным, а мне за эти месяцы всякое проглотить пришлось,— как-то сказал Петерис Плиекшану, когда они случайно вышли вместе из школы.

— Они оскорбляли тебя, били? Да? — Плиекшан вздрогнул.

— Разве обязательно бить?

— Я знаю... Оскорбительные слова, незаслуженные обиды ранят глубже всего. Они острее кинжала, больнее удара палкой.

— Значит, ты тоже видишь их породу.

— Порода оборотней... В Биркенгагене, в краю моего детства, за Динабургом, есть древняя курная рига. Мрачная, как тайна. Тамошние жители рассказывают, что по ночам покойный барин лазил в ригу сосать кровь молодых работников. Живой выжимал из них все жизненные соки, лупил батраков палками, а мертвый в полночь впивался в жилы на шее.

— У латышей немало таких жутких преданий. О барах. Они нападали в поле, в молотьбу в риге, в полночь на

висельной горе и дюнах в бору. Чаще всего, конечно, ночью в риге. В нашей стороне, в Кокнесе, об этом поется в древней песне: «Ад, ад господская рига...»

— Такие песни знают и в литовской стороне. И рушонцы в Динабургском уезде. Об аде и господах из имений мне довелось слышать песни и от других земляков, даугавских плотовщиков, белорусских и литовских бродячих рабочих.

— Если хочешь, будем друзьями... — сказал Плиекшан, чуть помолчав.

— Если хочу? — ответил вопросом приятно удивленный Петерис. — Именно этого я и хочу. — И он вдруг посреди тротуара бурно и крепко, по-крестьянски, обхватил Плиекшана и завертел вокруг себя.

— Ах! Господи Иисусе! — испуганно воскликнула шедшая позади кумушка и засеменила прочь с тротуара. — Полиция! Городовой! — завопила она.

— Живей сматываем удочки! — сказал Петерис, отпустив товарища. — А то как бы в самом деле не пришлось с фараонами дело иметь.

— Бежим! — Плиекшан рванул Петериса.

Прыжок, еще прыжок — и побежали. И они уже были далеко от опасного места.

— Где ты живешь? В какую тебе сторону? — спросил Петерис.

— Мне мимо церкви идти. Я живу в польском пансионе, у знакомых Дорошкевича.

— Сделаем крюк. Ты и не представляешь себе, как я истосковался по дружеской беседе.

— Ладно, сделаем крюк! — отозвался Плиекшан. — Пошли, будем бродить, сколько душе угодно, пока ноги несут.

В районе новых домов, в начале Большой Невской, уже немало побродив по улицам, юноши остановились. Какая-то расфуфыренная красотка замедлила шаг. Оглянулась. У афишного столба она тоже остановилась и бесцеремонно попыталась убедиться, смыслят ли что-нибудь эти юнцы в женской красоте.

Но они в самом деле ничего не смыслили. Деревенщина, сразу видать!

* * *

В свободное от занятий время Плиекшан и Стучка ходили друг к другу. К Плиекшану иногда присоединялся Дорошкевич. Они вместе посещали спектакли Латышского театра и немецкой труппы, которая по большей части играла на разных городских складах (на тех же подмостках из-за недо-

статка подходящих помещений состоялись и концерты и балаганные представления). Совместно готовили лекции для вечеров «Кружка чтений», на которых Плиекшан отличался знанием народного творчества.

Друзья также посещали поручика Айзупа. Он рассказывал им о будущей России. Скоро ее передовые люди заставят говорить о себе. Как Гарибальди в Италии, как противники рабства в Америке, как польские борцы за освобождение. Айзуп старался втолковать юношам, что теперь священный долг каждого патриотически настроенного латыша — быть другом тайной России. И поэтому нужно научиться хорошо владеть оружием.

У Петериса и Яниса Плиекшана не было друг от друга никаких секретов. Они говорили о внутренних муках, испытываемых человеком, задумывающимся о своем месте в жизни, о своей судьбе. Они были недовольны своими отцами, настойчиво требовавшими от сыновей, чтобы они в будущем приумножали семейные богатства, становясь старостами в имениях и надсмотрщиками на предприятиях. Странные люди эти отцы. Смысл жизни они видят в богатстве.

«Разве это достойно человека? — рассуждали друзья. — Прожить свой век без истинной радости, предоставляя событиям развиваться своим ходом. Пускай, мол, все идет своей чередой. А мы посмотрим, что принесет нам будущее!»

— Черт бы подрал такую жизнь! — распалился Плиекшан. — Мне такой жизни не надо.

— А какой же, по-твоему, должна быть жизнь? Такой, какой ее изображают ребята в «Кружке чтений»?

— Я еще не знаю, какой именно она должна быть. Этого не знает, наверно, и Эмиль Дауге. Так что же мне делать? Почему же я должен постоянно корить себя за то, что не способен придумать ничего разумного?

— Если бы я верил в бога,— задумчиво сказал Плиекшан,— я не постыдился бы молиться ему. Я знаю, тогда мне стало бы легче. Но от бога я отошел.

— У меня большое желание все, что я чувствую, выразить словами или звуками,— сказал Петерис. (Уже поздний вечер, они сидят в комнате Плиекшана.) — Чтобы возникли стихи или песни... Как у сиротки, что утешается песнями.

— И ты? — Плиекшан схватил Петериса за плечи. —И ты так думаешь? Посмотри мне в глаза! Да, я тебе верю, — сказал он. — В таком случае ты мне настоящий друг. Руку!

Он изо всех сил пожал Петерису руку и кинулся в другой конец комнаты, к окованному сундуку. Откинул его крышку, порылся в нем, достал какую-то тетрадь и подал Петерису.

— Я начал пробовать еще в гривской школе. Пытаюсь писать, пытаюсь утешиться.

Петерис прочел на последней странице:

Трудно груди дышать
Из-за солнца пламени,
Трудно груди дышать
Из-за мыслей горячих.
Дождь выпил солнца пламя,
Так пускай слезы погасят те мысли.
Или нет, пускай слезы горят
Еще жарче — в жарких мыслях.

3. «ДРУЗЬЯМИ БЫЛИ, ДРУЗЬЯМИ ОСТАЛИСЬ...»

Друзья жили теперь на одной квартире, у редактора латышской газеты, владельца типографии и книжной торговли, надворного советника Дирикиса.

Арендатору Ясского имения Кришьянису Плиекшану был не по душе польский пансион, в котором Янис жил в прошлом году. Полячишки эти все назад, на прошлое, оглядываются, никак не забудут своих бунтарских вожаков — всяких там Сераковских, Калиновских, Домбровских, злорадствуют, если крестьяне в Верхней Курземе немцам красного петуха подпустят, и противятся царским слугам. В доме редактора «Балтияс вестнесис» господина Дирикиса никаких крамольных разговоров не услышишь.

А у хозяина «Вецбирзниеков» в его приезды в Ригу всегда возникали размолвки с квартирным хозяином Петериса. Узнав, что Плиекшан устроил своего сына у видного рижского латыша, папаша Стучка не стал возражать, когда Петерис попросил разрешить ему перебраться к однокласснику. Пансионом Дирикиса, правда, заправляла теща надворного советника — немка фон Фолкен, но папаше Стучке эта даже не говорящая по-латышски дама казалась менее опасной, чем обитательница пансиона на Елизаветинской фрейлейн Гертруда фон Розенберг, начавшая уделять слишком много внимания молодому человеку из «Вецбирзниеков». От папаши Стучки не ускользнуло и то, что фрейлейн не раз просила Петериса о каких-то услугах. Увидев, что Петерис любит мастерить всякие поделки из железа или дерева, она повадилась таскать ему в починку всякий хлам — закапризничавший зонт, шкатулку для рукоделия, у которой отвалилась стенка. Отец немало постарался, чтобы отбить у сына охоту к неблагородной работе (ведь Петериса ждали в жизни столь великие обязанности!), а эта фрейлейн считала парня чуть ли не каким-то подмастерьем.

Теперь Янис с Петерисом весь день были вместе. Вместе готовили уроки, вместе рылись в книжных шкафах надворного

советника, на полках его книжной лавки (этой же лавкой поэт Пумпур пытался обеспечить себе существование, но, запутавшись в долгах, махнул на нее рукой и покинул родину). Мальчики читали вместе Овидия, Лессинга, восхищались Тургеневым и Гоголем, ходили в книжную лавку Николая Кюммеля в Старой Риге, к Эмилю Дауге, узнать о новых иностранных книгах и что из них просеялось сквозь сито местной цензуры.

В доме Бернгарда Дирикиса Стучка и Плиекшан сдружились с братом надворного советника. Андрей Дирикис[1] занимался журналистикой, какое-то время жил за границей.

Андрей — человек тонкий, можно сказать, даже аристократичный, одет по-западноевропейски, курчавая голова благородно вскинута. И в то же время он весьма душевен и прост; особенно хорошо Андрей чувствует себя в обществе молодежи. Не среди националистических пустомелей, вроде Тома Винклера и Яниса Шлесера, которых он как раз застал на квартире старшего брата, вернувшись из Болгарии (Андрей служил чиновником по особым поручениям при софийском губернаторе). Андрея Дирикиса привлекают молодые мятежные души, правдоискатели, книголюбы. Увидев, что оба подопечных госпожи Фолкен листают «Историю Прибалтики», хроники Генриха Ливонского, Дитлепа Алнпеке, письма Мирбаха, Дирикис-младший вовлек их в беседу. Чтобы подогреть разговор, очень кстати оказались несколько бутылок пива — настоящий мужчина от пива никогда не откажется. За кружкой мартовского лучше всего толковать о латышско-литовской и древнепрусской старине.

— Очень приятно, что молодые друзья так вдумчиво прочли Меркеля и «Древнепрусскую мифологию» Манхарта. Но этого еще мало. А знают ли молодые друзья, что о древней Прибалтике писали древние авторы? Александриец Птолемей, например? Приходило ли вам в голову, что древние легендарные обитатели южной России — скифы — могли бы быть сродни нашим родоначальникам? Да, так утверждает Каспар Биезбардис[2]. Если бы господа гимназисты заглянули в балтийскую филологию и попытались сравнить литовский язык с латышским...

— Литовцев я немного знаю. В детстве я слышал, как они поют. Литовская песня — это песня души,— вставил Янис Плиекшан.

— Песня души, ты говоришь? — оживился Андрей Дирикис. — Ты знаешь литовский язык? Тогда у меня есть идея... Видишь, я пишу литовско-латышскую грамматику, потом хочу

---

[1] Дирикис Андрей (1853—1888) — латышский публицист, переводчик и пропагандист литовской литературы в Латвии.

[2] Биезбардис Каспар (1806—1886) — младолатышский публицист и языковед. Один из первых латышских общественных деятелей, обратившихся к материалистической философии.

составить литовско-латышский словарь. Литовцы когда-то были могущественной нацией, а Литва — великим государством. Немецкие рыцари трепетали при одном упоминании о литовских воинах. Мы и литовцы — дубы одного корня. У нас, быть может, впереди еще славное будущее.

У меня возникла мысль объединить молодых людей для исследования латышской и литовской этнографии. Надо разобраться в страницах истории наших предков, выявить красоту и богатство их языков. Индрикис Лаубе[1] совершенно справедливо пишет в газете «Балсс»[2], что Глюк и другие немецкие церковники вовсе не сберегли для нас силу и богатство латышской речи, а сильно исказили ее, переиначили на немецкий лад. Поэтому необходимо изучить народное наследие. В сердцах соплеменников надо разжечь огонь гордости, тягу к истинной свободе.

Когда латыши поднимутся повыше, попытаются увидеть дальше своего частокола, взглянуть на мировые просторы, на дворы других народов, они устыдятся узости своего кругозора. То, что теперь повелось называть народным, отнюдь не составляет народной гордости. Мы радуемся арендованному у немцев имению, корчме или заезжему двору. Мы трубим об этом, как о невесть каком народном достижении, хотя в действительности...

Посмотрите, как в то же время действуют патриоты других стран, болгары, например, которым помогли русские добровольцы. Болгары призывают к просвещению и более низкие народные слои. Прежде всего они пестуют дух, свободный народный дух.

Петерис, слушая Андрея Дирикиса, не переставал удивляться, насколько тот противоречит своему старшему брату. «Только в молодости человека возмущает несправедливость, а созрев, он привыкает к ней, старается не роптать. Нельзя всю жизнь кричать и возмущаться»,— говаривал надворный советник. Когда в Риге военный суд допрашивал подпоручика Айзупа, которого вместе с поэтом Пумпуром обвиняли в антимонархистской деятельности, и гимназисты пребывали в постоянном волнении, старый Дирикис метал громы и молнии: «Айзуп замешан в политику! Айзуп, которого мы приняли в Латышское общество! Как теперь на нас, латышей, будет смотреть правительство? Что скажут о нашем обществе лучшие рижские фамилии? А что, если Айзуп и на самом деле водился в Илукстском уезде с бунтарями? С теми, что в Слокенберге сожгли ригу и клеть с хлебом предводителя уездного дворянства фон Рекке?»

---

[1] Лаубе Индрикис (1841—1889) — латышский буржуазный журналист, литератор, языковед и литературный критик.

[2] «Голос».

Петерис помнил, как во время суда над Айзупом надворный советник нападал на поэта Пумпура: «На что стихотворцу, сочинителю рифмованных сказок, в политику лезть?» Ум Петериса восставал против такой нелепости. Разве поэты — потому, что они не торгуют коноплей, льном и телячьими шкурами, не владеют домами, амбарами и шикарными выездами, — менее достойные люди?..

Недавно из Петербурга в Прибалтику прибыл сенатор Манассеин со свитой. С ревизией курземской и видземской администрации. И опять у старого надворного советника за завтраком стоит на столе стакан с водой и пузырек с каплями. Из верных источников известно, что рижские рабочие собираются подавать сенатору жалобу на своих хозяев. Морят, мол, рабочих голодом, эксплуатируют, все соки из них выжимают. Рабочие хотят, чтоб царь ко всем одинаково справедлив был. Правдоискатели нашлись! У самих ничего за душой нет, живут тем, что бог послал, а вздумали равняться с теми, кто усердием и трудом своим нажил что-то.

Андрей Дирикис никогда такого не говорил. Он считал, что у всех от рождения одинаковые права. И как большие государства не вправе угнетать малые, так богатые не смеют использовать неимущих. Человек должен гордиться родом людским! А где этой гордости нет, ее нужно будить, воспитывать — самоотверженным трудом на благо народа, просвещением. Повсюду есть люди, стремящиеся к этому. В России их называют друзьями народа. И ошибаются те, кто говорит, что умеренность в мыслях и упражнения тела и духа — основа всей жизни и благополучия. «Без грома земля не пробуждается, а без ее пробуждения не бывает цветения».

Но к упражнениям в стрельбе, как подпоручик Айзуп, Андрей Дирикис юношей не призывал. «Ищите в книгах, думайте... Будьте непримиримы к равнодушию и беспечности окружающих!»

Брат надворного советника с головой ушел в языкознание и этнографию. Может быть, ему поэтому некогда было заниматься молодежными кружками.

Петерис порою жалел о распавшемся кружке Айзупа... Романтическая таинственность, совместное чтение запрещенных книг, поиски оружия. Подготовка к чему-то особенному, таинственному... Янис Плиекшан Айзупа, казалось, вспоминал редко. Весь свой досуг он посвящал книгам по этнографии и археологии, балтийской мифологии и санскриту.

— И это тебя удовлетворяет? — не вытерпел как-то Петерис.

— Удовлетворяет?.. Я увлечен! Порою мне кажется, что я заглянул в сказочный, волшебный мир. Смотрю и млею. Там все сияет и переливается... Солнце, свет. Бледный лунный свет, мигают тысячи звезд.

— Ты утопаешь в поэтическом восторге.

— По-твоему, в этом разве что-нибудь плохое?

— Нет, я так просто. Я уже говорил тебе, мой профессор музыки считает, что я чересчур рационален.

— В таком случае посвяти себя мелодиям...

— Я в самом деле эти полгода лениво занимался музыкой.

Но Петерис не сказал всей правды. В его «лености» была повинна гимназия. Ведь столько времени проводишь над книгами, на вечерах кружков, а надо еще выкраивать его и для школьных уроков. До сих пор Петерис никому не уступал скамьи первого ученика. Однажды завоеванное первенство оставалось неоспоримым. И если ради этого приходилось что-то менять в своих планах, то страдали занятия музыкой.

«А что, если мне по утрам раньше вставать?»

* * *

Знойное, цветущее лето сменили тихие сентябрьские дни. В Риге пустовавшие летом квартиры наполнились гомоном. Передвигали мебель, натирали и начищали все покинутое на лето без присмотра.

Оба гимназиста прибыли в свой пансион на день раньше, чем ждала госпожа Фолкен. В комнате мальчиков еще шла большая уборка, и друзьям предложили час-другой посидеть в гостиной надворного советника. Или же погулять по городу. В небе ни облачка, дождя бояться нечего.

— Побродим,— необычно громко отозвался Петерис на предложение хозяйки, привыкнув так разговаривать в деревне. Он про себя удивился, как за эти месяцы вырос его друг. Заметно раздался в плечах и загорел. («А он, негодяй, все уверял меня, что от рождения бледнолиц, солнце и кончиками лучей не тронет его кожи!»)

— Побродим,— согласился Плиекшан. И в свою очередь окинул пытливым взглядом товарища. Казалось, он обнаружил в Петерисе что-то новое, чего не замечал в нем весною, когда они уезжали на каникулы. То ли это ломка голоса, то ли еще что-нибудь?

— Я тебя очень ждал. Я вслушивался в грохот каждой телеги на дороге, когда из Рушон доносились гудки петербургского поезда. — Плиекшан с чувством пожал руку товарища. — Когда пришло твое письмо, Целминь уже ждал меня в условленном месте. И мы пошли вдвоем, без тебя. Мы хорошо попутешествовали... — продолжал он. — Прошли до Виеталвы, затем через Пиебалгу в Цесис. В Виеталве мы на несколько дней остановились у друга твоего отца, у Юриса Калниня-Праткописа. Прекрасный старик. Он пишет хронику о латышах. Потолковали, ознакомились с дискуссией гостеприимного хозяина

с пастором Дебнером. Калнинь показал нам и свои напечатанные статьи против этого церковного ворона. А также письма, полученные от немцев и латышей.

Юрис Калнинь напоминает Атиса Кронвалда. Только у Праткописа поменьше божественного огня, чем у того. Но кое-кто увидел в нем нового вождя,— должно быть, из-за близости Бебров. Там крестьяне поднялись против господ с кольями и камнями, вмешались войска, крестьян гнали сквозь строй, пороли до смерти. В бебрской округе в каждом дворе земля пропитана кровью и слезами. Господа и черный поп Дебнер думали, что им удалось подавить мятежный дух. И тут учитель Калнинь заговорил чуть ли не голосом Аусеклиса. Потому его стихи и вызвали такой широкий отклик.

— Но все же — почему ты не приехал?

Янис был вправе упрекнуть его. Ведь они твердо условились вместе пройти по наиболее живописным и примечательным местам родины — побывать в округах, где живут и работают знаменитые ревнители народной старины. Они решили это в прошлом году, когда Янис вместе с Петерисом приехали в «Вецбирзниеки» и обошли Кокнесе, побывали у водопада на Персе и вместе со студентом консерватории Фришбиром до хрипоты распевали латышские песни. Задуманная экскурсия потом не раз обсуждалась. Обсуждалась также на «вечерах чтений» рижских школьников, где к этому благородному почину (в молодости родину обошли пешком Кришьянис Валдемар, Кришьянис Барон, Юрис Алунан [1] и другие зачинатели движения латышских патриотов) присоединился их знакомый — лубанец Целминь.

Петерис уже было собрался в Рушоны, когда внезапно заболела мать, а отца в эту пору охватила страшная ярость. В тяжбе по лесопромышленному делу какой-то адвокат из своих причинил Стучке большой убыток. В такую минуту бросать мать одну нельзя было, и Петерис остался дома.

Ему и в самом деле было жаль, что не пришлось поскитаться по Видземе. Накопил бы сведения о народной жизни для докладов на вечерах кружка (членам кружка полагалось выступить с двумя докладами в год). Исследовал бы быт, обычаи.

Нет, Петерис не написал бы очередного этнографического обзора — о божествах, яствах предков, о полосах на юбках,— которыми докучают лекторы на патриотических вечерах. И от которых издали разит затхлостью. Он не стал бы гоняться за какой-нибудь еще не записанной народной песней, сказкой или легендой. Хоть и приятно послушать незамысловатые старинные вирши, без слащавости и болезненных стенаний, свойствен-

---

[1] Алунан Юрис (1832—1864) — основоположник латышской национальной поэзии, младолатышский публицист, первый редактор «Петербургас авизес».

ных Стендеру [1] или Мартиню Лапе [2] в «Балтияс вестнесис». Но для Петериса народная жизнь, народная история — не идиллия. Уж больно много в ней волнующих событий.

— К нам, в «Вецбирзниеки», этим летом явился дальний родственник,— делился Петерис своими летними впечатлениями. — По фамилии тоже Стучка. Наш род, оказывается, очень разветвлен. Некоторыми ветвями он уходит в отдаленные округи. И что примечательно — среди нашей родни много арендаторов, плотогонов, сельских работников. И этот был не из зажиточных. Непонятно, чего ради его понесло в такую даль. Денег он не просил, от предложенных бабушкой бока копченой свинины и куска сала отказался. Не просил и поручиться за него в какой-нибудь кассе или перед каким-нибудь барином. Мы с ним вместе спали в клети и, прежде чем уснуть, долго разговаривали. Как-то он меня спросил, что мне известно о крейцбургском батрацком бунте. Слышал ли я у нас дома что-нибудь об этом. Я ответил, что ничего не слышал, и тогда он рассказал мне, что в ту пору батраки по всей волости восстали против хозяев. Прогнали избранного хозяевами волостного старшину. Навешали своим на шею казенные бляхи и собрались делить землю между безземельными. Только из дележа этого ничего не получилось. Господа и хозяева вызвали царские войска. Батраков выпороли, их вожаков сослали в Сибирь. Одного из них звали Стучкой. Крейцбуржцы его по сей день поминают...

Незадолго до моего отъезда к отцу приперся урядник. Допытывался, что отцу известно об Андрее Лукисе, батраке с соседнего хутора. Лукис будто народ смущал. Говорил о насильниках, что людям на шею сели. Не исключено, что Лукис этот с нашим дальним родственником встречался.

Перейдя по мостику через канал, гимназисты свернули с Александровской улицы к лысому бугру против Пороховой башни. Этот бугор назывался Бастионной горкой. Ее насыпали из земли срытых в конце пятидесятых годов городских валов. Посреди города она казалась весьма неприглядной. Недавно городское управление садов начало высаживать здесь деревья и кусты. К вершине горки спиралью ведет тропинка. Но только подует ветер посильней, как в глаза летит песок. Но тем не менее сюда охотно ходит рижская школьная молодежь. С вершины Бастионной горки открывается вид на Старый город с вьющимися между островерхими черепичными крышами сумеречно-душными улицами, в которые со всех сторон рвется современная торговля и промысловая суета. Отсюда виден и

---

[1] Стендер Готхард Фридрих (1714—1796) — известен под именем Старого Стендера, пастор немецкой национальности в Латвии, наиболее видный автор феодально-дидактической литературы для латышей.

[2] Лапа Мартинь (1841—1909) — латышский буржуазный журналист, переводчик, автор сентиментально-лубочной поэзии и прозы.

Рижский канал с его темными водами и недавно высаженными над ним местными и чужеземными кустами и деревьями. С горки видны новые дома, строительные площадки, скверы, сады, зеленые лужайки, еще не застроенные участки, большой песчаный пустырь за городской гимназией, где в будни, растирая зубами гонимый ветром песок, печатают парадный шаг и проделывают приемы рукопашного боя солдаты городского гарнизона. Где в многочисленные царские праздники проходят смотры войскам.

С высоты Бастионной горки приятно взглянуть на толчею рижских улиц, слушать цокот конских копыт по мостовой, извозчичьи выкрики, щебет барышень с их кавалерами, голоса расхваливающих свой товар уличных торговцев.

Видимо, уже в самой натуре человека заложено влечение подниматься порою вверх. Хочется устремиться в даль, унестись в полете мыслей. Кому о чем, а двум юношам, пытающимся освободиться от уз гимназических предрассудков, хочется поговорить о целях человеческой жизни, о ее смысле. Ведь блага жизни, которыми они пользуются, добыты трудом многих других людей. Оба они существуют от потребления плодов чужого труда. Разве это не ужасно? В журнале «Отечественные записки», который молодой Дирикис тайно дал им, в статье о видземцах об этом совершенно прямо сказано: прослойка зажиточных латышских крестьян-землевладельцев, хоть немецкие помещики притесняют и ее, все же пользуется благами жизни только благодаря поту батраков, благодаря труду наемных работников. Безземельные крестьяне-батраки составляют большинство населения Видземе, а поставлены на самую низкую ступень социальной лестницы. Голод вынуждает батраков заключать с землевладельцами так называемые добровольные трудовые контракты, но если это так (а что это именно так, они убедились на родной стороне), то смеют разве Петерис и Янис жить на родительские деньги? Смеет ли человек жить в свое удовольствие, когда он знает, какой ценой это дается? Чем они могут оплатить труды этих и многих других людей?

Почему в жизни надо решать столько сложных загадок?

За время школьных каникул очертания Бастионной горки сильно изменились, появился новый зеленый павильон. Вокруг него расставлены плетеные столики и стулья. В павильоне есть стойка с оловянными, медными, стеклянными и глиняными, покрытыми глазурью кружками и огромные пивные бочки.

Среди многочисленных посетителей почти одни мужчины. Между столиками, точно ласточки, снуют официанты в черных пиджаках и белых манишках, с перекинутыми через руку белыми полотенцами. Они разносят любующимся видом города посетителям горьковатое пиво.

Кое-кто из посетителей, наподобие любителей минеральных вод в Верманском парке, беседуя, бредет стариковским шагом

по вершине горки, держа в руке пивную кружку, которую время от времени подносит к пересохшим от умных разговоров устам. Среди гуляющих, между почтенными отцами семейств, деловыми людьми, встречаются и студенты и школьная молодежь. Теперь тут кружили и школьники, знакомые по вечерам чтений, — Гайдулис и Пекшен. Видимо, прогулка на лоне природы с пивной кружкой в руке слыла теперь последним криком моды, а молодое поколение Латышского общества от моды не отставало.

— Ко-миль-тоны! — замахали они кружками, увидев Петериса и Яниса. — Идите к нам!

«Комильтоны» они произносят по-немецки. Видимо, этого требуют правила хорошего тона.

— Эй, кельнер! Служивая душа! Тащи по большой кружке для наших друзей. Только самого лучшего!

— Значит, господа прибыли на несколько дней раньше? Прекрасно, даже весьма. Сможем обсудить материалы чтений на патриотических вечерах. В прошлые годы посетители наших вечеров были недостаточно активны, когда мы обсуждали произведения наиболее видных латышских писателей.

— Землемерную повесть братьев Каудзите[1], что ли?

— Почему землемерную? Разве достопочтенные господа Александр Вебер и Геральд в «Балсс» не дали своего неодобрительного отзыва? Содержание «Времен землемеров» черпалось не из чистых источников латышской жизни, а из илистых болот.

— Однако Латышское литературное общество, немецкие доктора с господином предводителем Биленштейном во главе, удостоило повесть братьев Каудзите денежной премии «Друзей латышей»,— обрадовался Петерис случаю, чтобы уязвить представителей Латышского общества, возносивших Елгавское немецкое общество.

— Премия, премия эта... — проворчал Пекшен. — Премировать можно что угодно. Никто не оспаривает заслуг деятелей нашего общества братьев Каудзите. Однако если окинуть взглядом ниву национальной словесности, то мы должны почтительно склонить головы перед такими сочинениями, как, скажем, латышское сказание Лаутенбах-Юсминя «Невеста Ужа». Это сочинение так и светится нитями поэтических жемчужинок. Например:

Солнце уже катило пó морю
В ясной золотой колеснице,
Колеса чистого золота
Катились по морюшку.

---

[1] Каудзите Рейнис (1839—1920) и Каудзите Матис (1840—1926) — в литературе известны как братья Каудзите — латышские писатели, авторы первого латышского реалистического романа «Времена землемеров».

— В самом деле, невыносимо красивенькие жемчужинки! — посмеялся Плиекшан.

— Лаутенбах-Юсминь случайно не писал под именем Якобуса? — спросил Петерис с легко уловимой иронией в голосе.

— Как же,— вмешался Гайдулис, довольный, что и он может что-нибудь вставить,— господин Лаутенбах печатал свои творения и под именем Якобуса. Господин Лаутенбах теперь занимает должность лектора латышского языка в Дерптском университете. Господин Лаутенбах — первый латыш, обучающий иноплеменников латышскому языку.

— В таком случае... — у Петериса в глазах мелькнул зеленоватый отсвет,— в таком случае позвольте спросить, должны или не должны сочинители значительных произведений изящной словесности ценить чувство прекрасного у читателя?

— Чувство прекрасного? Как это понимать?

Петерис со стуком поставил свою кружку на ближний столик.

— Чувство эстетического, или прекрасного, как писал Юсминь, определяя красивые душевные переживания читателя. Я с этим согласен. Ощущение прекрасного вызывают все истинно художественные произведения. В произведениях Гёте, Шиллера или Пушкина мы никогда не найдем неизящных, неблагозвучных выражений. В то время как сочинитель «Невесты Ужа» высиживает пошлости, как наседка яйца. Лаутенбах-Юсминь пишет: «Весьма мясистый, приятный парень». — Казалось, Петерису доставляло удовольствие, что посетители Бастионной горки начали прислушиваться к их разговору, и он повысил голос. — Поэзию автор «Невесты Ужа» называет жвачкой. А прекрасную женщину, которая, выражаясь словами Гёте, возвышает нас, господин дерптский лектор называет слабым инструментом. Вы протестуете?.. Ах, в поэзии, как и в музыке, есть разные звуки, есть голоса разных инструментов? Правильно, у поэзии много общего с музыкой. Только в музыке звуки, голоса инструментов, подчинены гармонии, законам благозвучия. Это святая святых искусства. И мне хотелось бы знать, в чем благозвучие стихов, где героиня «Невесты Ужа» восхищается порубленными животными, которых скармливают грязным свиньям?

— Господи! — сказал Гайдулис задрожавшим от волнения голосом. — Господи! Вы чересчур много себе позволяете. О ваших непристойных выпадах мы поговорим в другом месте и при других обстоятельствах. А продолжать этот разговор здесь мы считаем ниже своего достоинства. Пошли, комильтон...

— Пошли! — Пекшен пренебрежительно поморщился.

— Петерис, ты завидно цепок, когда хватаешь за шиворот этих комиков,— посмеялся Плиекшан,— и встряхиваешь их, точно чучела, перед людьми, и без всякого волнения, даже

с легкой усмешкой, кидаешь в хлам. Только этот обмен мнениями, наверно, дойдет до ушей предводителей Латышского общества. Я уже предвижу весьма серьезный разговор с господином надворным советником.

— Ну и пускай! Стоит ли из-за этих сановников кровь себе портить? Меня только одно беспокоит...

— Что?

— Иногда я бываю чересчур легкомыслен. Ведь я послал свое стихотворение в редакцию той самой иллюстрированной газеты, которую редактирует Юсминь-Якобус.

* * *

В немецкой городской гимназии учился еще один простолюдин — сын учителя Саукской волостной школы, брат Эмиля Дауге — Пауль [1]. Он года на четыре моложе Петериса Стучки, очень мал ростом, но отчаянный, как серый дворовый воробей. Сознание того, что он в классе меньше всех ростом, как будто доставляло Паулю озорную радость. Так, во всяком случае, казалось Петерису. Когда Пауль Дауге врывался к гимназистам (он учился в реальном отделении), то часто сам говорил об этом.

— Я самый маленький реалист,— хвалился он.— Многие не верят, что я уже в терции, а не в приготовительном.

— И ты можешь угнаться за взрослыми? — Стучке нравилось подзадоривать малыша.

— То, чему нас учат, я прошел уже с домашним учителем. Он еще в прошлом году хотел отдать меня сюда. Но господа отказали. Чересчур мал, не дорос, мол... Думаешь, эти переростки, эти здоровенные оболтусы читали Гёте или Шиллера? Спроси их — так далеко не каждый названия книг знает. А я... одолел всю отцовскую библиотеку, да еще книжный шкаф лесничего — Гёте, Шиллера, Кернера, Уланда, Лессинга, Лонгфелло, Вальтера Скотта, Фенимора Купера, греческие и римские мифы.

Прошлогодний отказ, видимо, глубоко ранил парня. Зачастую, как только разговор заходил о нем или о его классе, Пауль снова принимался рассказывать, как его и его отца в прошлом году *там, внизу*, допрашивали. Как он отвечал экзаменаторам и как все-таки остался за порогом. При этом он

---

[1] Дауге Пауль (1869—1946) — ученый, журналист, литератор, переводчик марксистской литературы, один из организаторов латышской социал-демократии. Член РСДРП с 1903 г.; в 1918—1929 гг. член коллегии Народного комиссариата здравоохранения РСФСР, член Коммунистической академии.

настойчиво доискивался **истинной причины** — почему ему тогда отказали?

— Это они из-за моей национальности не приняли меня,— объяснял он по-латышски. И, склонив набок лохматую голову, цедил сквозь зубы: — Почему вы разговариваете между собой по-немецки, а не как принято в «Кружке чтений»?

— Ах, и о кружке тебе известно?

— Известно?.. Я уже принят. К нам, к Эмилю, пришли реалисты старших классов. Рассказали, чем и зачем там занимаются. Что такое латышество, достоинство латышей, и как его надо пестовать. И сказали, что я для борьбы за народное дело уже совершенно созрел... Ах, да, завтра там состоится какое-то внеочередное чтение,— зашептал он. — Ты зашел бы за мной, пошли бы вместе. Понимаешь, мне туда одному не очень идти хочется. А мой брат Эмиль не может. Он вечером занят. Пообещай, будь другом!

— Ладно, если хочешь.

Петерис простился с малышом и стал искать Плиекшана. Вот уже несколько дней, как Плиекшан избегал его и все бывал вместе с Леоном Дорошкевичем. Плиекшан обиделся. Он принялся за перевод русских писателей, и, когда перекладывать на латышский язык взялся и Петерис, собираясь перевести какой-то рассказ Гоголя, Янис рассердился: «Ты нечестно поступил!.. Ты ведь знал, что Гоголь мой автор!» Он выбежал из комнаты и весь вечер провел на половине госпожи Фолкен. А после этого ни слова больше не проронил, кроме сухих «да», «нет», «не знаю». Ради примирения Петерис на глазах у Яниса порвал свой набросок перевода, а книжку Гоголя запихнул в самую глубину полки. Но прежней близости между ними уже не было. Как это глупо! Ведь они были закадычными друзьями, жили душа в душу — и вдруг такое нелепое недоразумение...

— Пауль Дауге говорил о внеочередном собрании кружка. Должно быть, обещанный вечер Лаутенбаха,— сказал Петерис Плиекшану. — На этом вечере нам неплохо бы побывать.

— Вот и сходи.

— А ты ведь изучил всю стряпню Юсминя, сличал вирши Якобуса со стихами Аусеклиса. Тебе и книги в руки. Вот и пошел бы.

— Ну, как тебе сказать...

Начался урок физики. Одно из самых нудных занятий. Казалось, школьное начальство для этого предмета нарочно подыскало особенно слабого учителя. Человека без всякого желания дать ученикам хоть капельку больше того, чем они могут вычитать сами. Объясняя новый урок, физик читал ребятам несколько страниц из учебника, затем указывал, от какого до какого абзаца нужно заучить к следующему разу, а спрашивая

урок, водил пальцем по строчкам, проверяя, насколько буквально ученик зазубрил текст.

«Дубина ты этакая...» — мысленно ругал Петерис физика. И сетовал на свою судьбу первого ученика. Вынужден сидеть перед самым носом учителя и делать вид, что внимательно слушает. Тогда как другие, кто сидит подальше, проводят время с пользой: что-нибудь читают, готовятся к следующему уроку. А первый ученик должен оставаться недвижимым, как сфинкс. Даже не может черкнуть записку другу.

— На вечер мы все же сходим,— снова сказал Петерис Плиекшану на перемене. — Побудем в другой среде. Где-то я читал, что иногда неплохо побывать в необычном для себя окружении. Набраться новых впечатлений, а то можно заплесневеть. Я, кажется, уже понемногу плесневею, становлюсь невыносимым для окружающих.

— Как тебе сказать... — Янис видел, что Петерис перекинул через ров отчуждения еще один мостик. — Быть может, внеочередной вечер чтений окажется и внеочередным турниром по фехтованию. А у моей рапиры эфес совсем расшатался.

— Я починю тебе. Ты же знаешь, это я умею...

— Было бы хорошо. — Ну, теперь он стал уже совсем прежним Янисом. И сам удивлялся своему приступу обидчивости. Даже странно, что так получилось. И он принялся рассказывать, как подробно описал своим домашним вечера чтений латышских школьников, как оправдывал необходимость упражняться в фехтовании: «Мы так готовимся к студенческой жизни. Там непременно придется померяться силами с сынками немецких помещиков. Уж латыши заставят поплясать немецких господ...» — Я в письме своем так увлекся боем на рапирах, что сестре написал лишь привет, не осталось места. Огорчится, бедняжка,— закончил Янис.

— Так напиши ей отдельно! — Петерис был доволен, что отчуждение было наконец преодолено. — Ведь у тебя удивительно славная сестренка.

— Она такая славная! Чудесная! Когда приедешь к нам в Ясское имение и познакомишься с ней поближе, так тоже поймешь, какое это сокровище.

В условленный вечер Пауль Дауге встретил друзей перед домом на Новой улице, в котором жили братья.

— Петерис всегда жалуется на нашу крутую винтовую лестницу,— посмеялся Пауль,— поэтому я решил избавить вас от нее. Вернее, Эмиль выставил меня за дверь. Ему на одну ночь дали какую-то абсолютно тайную книгу, о которой никто ничего не должен знать. Только помните: я вам ни слова не сказал. Эмиль говорит — страшно умная книга. Введение в какую-то политическую экономию. При случае вы невзначай спросите его, о чем там. Уж очень умная книга...

4. «ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ»

В открытую форточку врывается горячий поток летнего воздуха, а чуть погодя грохочет гром, короткий, обрывистый, без рассыпающихся вдали раскатов.

Петерис подошел к окну и недоуменно посмотрел на рябящую под июльским солнцем улицу, на чистое голубое небо над сверкающими белизной домами и дворцами. Никаких признаков грозы.

«Так это же пушка Петропавловской крепости,— сообразил он, усмехнувшись,— возвестила о наступлении полудня». На всякий случай он взглянул еще на свои мозеровские карманные часы. Взглянул и поднес к уху. Часы эти ему подарила мать в день отъезда. Совсем новые, и идут почти бесшумно. Потому Петерису и показалось, что они остановились.

«До закрытия университетской канцелярии осталось всего лишь два часа...» Он подошел к столу, на котором между газетами и иллюстрированными журналами валялся пухлый желто-серый конверт.

— Jacta alea esto! — Петерис взял конверт и постучал им об стол. Жребий брошен! Разговоры кончились, началось дело. Другой возможности нет: надо изучать специальность, выбранную отцом.

«В Политехнический институт тебя с дипломом классической гимназии все равно не примут, а чистая философия тоже не твое призвание. А если останешься без студенческого матрикула, то сразу увидишь кислую гримасу матери жизни. Ты, дорогой, приписан к крестьянскому сословию. А поскольку в российской империи сословия подчиняются установленным еще при феодализме обязанностям и повинностям, то тебя под охраной волостного урядника укатают в солдатские казармы. Будут гонять под окрики драчливого ефрейтора или фельдфебеля. Достаточно ты в Риге насмотрелся на муштру на песках Лагерной площади. А излюбленная молодежью песня времен турецкой войны «Отправимся в поход с трубами, фанфарами...» режет тебе ухо.

Правда, ты мог бы на время отвертеться от солдатского ранца, вшей и амуниции, надев хвостатый учительский мундир. Если, конечно, выдержал бы экзамены на народного или домашнего учителя. Так поступит Пауль Дауге. Только такое спасение от бремени своего сословия — это виляние. Поиск компромисса. Чтобы работать учителем, необходимы какие-то педагогические способности. Пора причетников, церковных органистов, натаскивающих детей, прошла! А работа в школе какого-нибудь прихода или городка, даже в наиболее развитой округе, не даст тебе удовлетворения. Только приглушит твою жажду к исканиям справедливости. Ни одному учителю, даже

самому энергичному, не доступны такие книжные богатства, какие доступны столичному студенту. А где еще лекции профессоров, музеи, выставки, вечера, где общества и кружки! Несмотря на зубрежку государственного, гражданского, римского и других прав, несмотря на лишенные человеческих эмоций рассуждения и формулировки, ты, учась в Петербурге, можешь со временем постичь, какие скрытые силы определяют общественные взаимоотношения. Дознаться, отчего и как они возникли. И тогда ты, может быть, получишь ответ на терзающие тебя «почему?» и «ради чего?».

Друг Плиекшан не сомневается, что именно так это и произойдет.

«Я верю, есть место, в котором заколдованный круг будет разбит. И меч света мрак разрубит!» Jacta alea esto! Итак, буду изучать право!

Буду учиться вести судебный процесс, применять и обходить статьи и параграфы законов. Но не для цели, которую выбрал отец, обещав давать средства на учение».

«Петерис будет адвокатом. Самым знаменитым на всю Ригу, на всю Видземе и Курземе»,— говорил отец гостям, приехавшим в «Вецбирзниеки» праздновать Янов день. Много в то лето съехалось в Кокнесе гостей. Соплеменники из придаугавских волостей, из Ляудоны, Виеталвы, Пиебалги, Цесиса. И из Риги и Елгавы. Учителя, музыканты, поэты, арендаторы, торгаши. Вокруг «Вецбирзниеков» чуть ли не на каждом пригорке горели огни. На высоких шестах с треском пылали просмоленные деревянные колеса. «Мой Петерис выучится на доктора права,— хвастал отец гостям,— будет одним из первых законоведов. В гимназии он лучше всех учился. Получше немецких барчуков, всяких там пруссачишек. Так отчего же ему и первым штудентом не быть? Вот получит Петерис диплом, тогда пускай все эти господа Гроссвальды, Калнини, Вейнберги в дворники идут. Главные дела в губернии будет правовед Стучка вести, владелец латышской адвокатской конторы Петерис Стучка. Тогда немецкие баре уже не станут спокойно посиживать в своих «аристократических» имениях и будут счастливы, если смогут с латышами по-хорошему ладить. И я не буду я, если мой Петерис не станет одним из поборников латышской состоятельности!»

«Не выйдет, отец! Для этого вместо живого, чуткого сердца должен быть кусок льда или камень. Как у твоего гостя, помощника присяжного поверенного, что на Янов день приезжал: отказал в совете латышскому рабочему парню, которому хозяин гостинской скотобойни не уплатил за работу. «Мой совет стоит пять рублей. Мои знания — капитал, а всякий капитал должен приносить проценты». А просителя этого к господину помощнику адвоката привел он, Петерис Стучка. Парень этот в детстве был тем пастушком, который мастерил колесо для водяной

мельницы, ему Петерис тогда подарил карманный нож. Человек издалека пришел за советом, чуть ли не бегом бежал на ночь глядя. Ведь он большую семью кормить должен... «Вот как, отец! Тебе придется примириться с тем, что жизнь течет по своим особым законам. А я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы тебе не пришлось попрекать меня: «Жертвовал собой, потратил на твое учение уйму денег...» Буду брать от тебя только самое необходимое».

Петерис пошел к двери, но, дойдя до середины комнаты, обернулся, обвел ее взглядом.

Изношенная, потертая мебель, низкая настольная лампа под тускло-зеленым стеклянным колпаком, выцветшие обои на стенах, в углу столик с тазом в разводах и кувшином для умывания. Только листок отрывного календаря ободряюще и весело смотрит с пустой стены.

«Июль, 8 число, 1884 год».

Самый полдень, улицы огромного города полны гомона. Цокая подковами, по деревянной брусчатке мостовой мчатся лошади, запряженные в сверкающие медью, никелем и лаком кареты и коляски. Парами лошади волокут конку, позвякивает покачивающийся в верхнем углу открытого пассажирского вагона колокол. Широкими потоками по тротуарам в обе стороны текут пешеходы. В начале Садовой инвалид торгует газетами. Точно половой полотенце, он перекинул через руку целую кипу их. На первых страницах, сразу же под названиями газет, словно сложенными из кубиков буквами кричащие заголовки: «Высочайшим повелением в университетах вводятся новые положения...» «Правила строгого режима студенческой жизни...»

* * *

Столичное студенчество переживало беспокойные дни. В то время как студенты-новички Петерис Стучка и Янис Плиекшан занимались улаживанием своих университетских дел, подыскивали себе комнату в подходящем пансионате и носились с левого берега Невы на правый и обратно, восхищаясь дворцами разных стилей, овеянными романтизмом скульптурами Клодта на Аничковом мосту, Медным всадником и творениями итальянских мастеров в Летнем саду, для них оставалось незамеченным начавшееся среди петербургских студентов брожение. Словно попав из мрака в яркий свет, они видели в панораме города, в университетской жизни лишь все поверхностное — празднично-возвышенное. Но когда познакомились с предписаниями университетской администрации и царского министерства об ограничениях в студенческой жизни, когда они начали искать профессоров, чтобы записаться на лекции, друзья сразу

же заметили: спокойствие в стенах столичной alma mater — лишь видимость.

Аудитории, кабинеты и коридоры были битком набиты взволнованными молодыми людьми, которые старались друг друга в чем-то убедить, толковали друг другу о чем-то особенном, важном. Порою они начинали нервничать, шуметь. В присутствии новичков или посторонних споры сразу же затихали.

Как только в коридоре появлялся студент с номером свежей газеты, его обступала толпа (газета стоит пять копеек, и не каждому по карману такая роскошь). Наклонившись, изогнувшись или же поднявшись на носки, студенты, обступившие владельца газеты, вместе с ним впивались глазами в официальную и неофициальную информацию, обменивались только им одним понятными репликами. А таких, как Петерис Стучка и Янис Плиекшан, они и не замечали. Оба латыша охотно с ними поговорили бы, расспросили о студенческих землячествах и сходках литературно-научного общества, о котором упоминается в уведомлениях администрации. Но «старикам» теперь не до них.

Наконец, в начале октября, товарищ обоих первокурсников-юристов по гимназии Дорошкевич повел их к своему приятелю — студенту старшего курса физико-математического факультета. Посреди скромной комнаты стояла корзина с пивными бутылками, с кружками и стаканами. Вновь прибывших встретили несколько студентов русской и польской национальности. Наполнили стаканы.

— За наше знакомство! Да здравствует и процветает дружба студенческой молодежи!.. Да будем свято хранить академические традиции!

— Студент всегда должен чувствовать локоть товарища! И подставлять ему свое плечо... Студент не должен замыкаться в одиночестве... В наше время науки не постигаются в кельях, в монастырском уединении. В наше время наука должна служить народу. И к этому мы идем... — говорили они, чокаясь с новыми знакомыми.

Но не все. Какой-то брюнет с греческим профилем, в черной косоворотке говорил совсем другое. Засунув руки глубоко в карманы, он, словно проверяя прочность пола, раскачивался с каблука на носок.

— Служить народу? Во имя чего? Если так будет продолжаться, то всех нас скоро обрядят в мундиры и погоны с вензелями и лычками. И фельдфебель каждый день будет проверять, хорошо ли надраены пуговицы. А мы будем тянуться перед ним и брать под козырек.

— Семен Иванович любитель гипербол,— вставил хозяин квартиры, приятель Дорошкевича. — Семен Иванович видит в спектре только самые мрачные цвета. Правда, царская кама-

рилья сейчас разбушевалась. Патриотизм измеряется черным Катковым... Но в России еще есть и наследники декабристов. Есть интеллигенция, идущая в народ, несущая ему духовное сознание.

— Достоевский со своими «Бесами»...

— Достоевский написал также «Униженных и оскорбленных» и «Записки из Мертвого Дома». Памятная нам встреча Достоевского с Победоносцевым еще не дает права осуждать писателя.

— Ваши аргументы — лишнее доказательство тому, что, погрязая в диалектике Гегеля, человек начинает терять способность логически мыслить,— усмехнулся Семен Иванович. — Обер-прокурор Синода Победоносцев — ближайший советник императора Александра. Он предлагает огнем и мечом искоренять носителей свободомыслия. Я не верю в развитие путем борьбы диалектических противоположностей, которой вы так восхищаетесь. Я смотрю в корень. А корень политики империи сейчас в ликвидации либерализма. Указ об усиленной и чрезвычайной охране существует? Существует! Временные положения о печати есть? Есть! К тому же они вовсе не временные, а останутся навечно. Пока... Но об э т о м и говорить не стоит.

— Почему же не стоит?

— Недавно закрыли журнал «Отечественные записки». Мотивы: журнал в известных кругах общества проповедовал неуважительное отношение к существующему государственному строю. Открыто писать о Белинском запрещено. Одно упоминание Чернышевского или Добролюбова уже само по себе является уголовным преступлением, вроде участия в разбойничьей банде, орудующей на большой дороге. По недавно разосланным циркулярам, из общедоступных библиотек, как вредные, подлежат изъятию книги Салтыкова-Щедрина, Глеба Успенского, Гончарова и многие произведения Пушкина.

— Так в чем же в данном случае заключается, как говорят немцы, краткий смысл длинной речи уважаемого коллеги?

— Странный вопрос! — пожал плечами спрошенный. — Когда вся мыслящая интеллигенция России борется за моральную чистоту, за ответственность перед народом, когда выдвинуто требование о более справедливом общественном строе... Наш катехизис...

— Одними заповедями катехизиса на свете ничего не изменишь. По-моему, мы, студенты, мыслящая интеллигенция, оскверним благородные принципы своих предшественников, если не будем бороться против нового университетского закона.

— Если не будем бороться?

— Друзья, прошу поближе. — Хозяин квартиры предложил

отодвинуть в сторону корзину с пивом. — Известно, что новый закон ликвидирует автономию университета — отменяет выборность профессоров. Они будут назначаться каким-нибудь чиновником, убогим персонажем из «Недоросля» Фонвизина. Наиболее авторитетные профессора уже осудили этот позорный для науки закон. Либеральный, далекий от всяких бунтов профессор Менделеев на днях красиво и смело сказал об этом на лекции: «Наука свободна. Науку нельзя подчинить циркулярам. Были папские буллы, отменявшие науку, но эти буллы умерли, а Ньютоны и Галилеи бессмертны». Стало быть, мыслящие профессора не собираются капитулировать. Но этого еще мало. Вот почему возникла мысль организовать студенческие демонстрации. Явиться большой массой в аудитории, на лекции принципиальных, порядочных профессоров — ботаника-дарвиниста Бекетова, химика Менделеева, приват-доцента Косевского, физиолога Сеченова, филолога Ореста Миллера. И в конце лекции устроить им овации. По существующим положениям студентам, правда, запрещается проявлять симпатии или антипатии к профессорам. А мы проявим! Разумеется, демонстрации должны проходить дисциплинированно, без излишнего крика, на должном академическом уровне. С убедительной силой. От всего сердца. Вы поняли меня? А теперь корзину на место. И песню!

— Славные люди. Я, наверно, их всех полюблю. И этого брюнета, в котором, видать, пульсирует кровь террориста,— сказал Плиекшан Петерису, когда они поздно вечером возвращались домой.

Между одетыми в гранит берегами течет черная Нева. Пахнет водорослями, соленым морем. Блекло-желтоватым светом горят газовые фонари. Точно блуждающие огоньки, мерцают фонари извозчиков.

* * *

Еще задолго до начала лекции в большой аудитории физико-математического факультета ни одного свободного места. Слушателям на скамьях тесно, как селедкам в бочке. За последними рядами студенты стоят вплотную друг к другу.

Когда Петерис Стучка вместе с другом вошли в аудиторию, им осталось выбирать между проходом посредине и узким просветом между окнами и скамьями. Тем, кто пришел к самому звонку, пришлось стоять на площадке сбоку от кафедры лектора.

Открылась дверь, и в переполненный зал словно ворвался завывающий над городом морской ветер. На кафедру торопливыми шагами взошел человек среднего роста, лет пятидесяти, с окладистой бородой, седеющей шевелюрой, продолговатым,

скуластым лицом, высоким лбом, длинноватым носом, глубоко посаженными глазами. Столь переполненная аудитория профессора, видимо, ничуть не удивила. Химия — наука будущего, источник силы будущей России, а этих молодых людей (он в этом не сомневается) заботит будущее родины.

Профессор взял с кафедры мелок и сразу же приступил к начатой на предыдущей лекции теме:

— В прошлый раз мы констатировали интересное явление...

Вначале Петерису трудно было уследить за смыслом слов профессора. И не только из-за специфики предмета. У профессора трудная манера изложения, он как-то необычно строит фразу — бесконечный период с глаголом на конце. Будто он немец, не знающий порядка слов в русских предложениях. Или буквально переводит с немецкого. Иногда Менделеев долго не может найти точное определение, делает паузу, но как только нужное слово найдено, какое-то время говорит плавно и темпераментно, вышагивая по возвышению кафедры и жестикулируя. И тогда даже таких профанов в химии, как Петерис Стучка, увлекают выводы лектора, ясность его мыслей.

«А какие сухари читают лекции на юридическом факультете... Хотя крупных специалистов правоведов мы, новички, еще и не слышали».

Лекция закончилась одновременно со звонком. Чуть ли не посреди фразы Менделеев взял свой портфель, едва заметно поклонился и произнес:

— На сегодня все, господа.

А для «господ» это не все. Вскочили на ноги сидевшие на скамьях. Зашевелились стоявшие за ними, словно в толпу запустили стрелу. Замелькали сотни ладоней.

— Браво! Браво представителю свободной науки!

Дрожат оконные стекла, колышется раскаленный воздух аудитории.

— Браво! Браво!

После первых раскатов аплодисментов Менделеев слегка вздрогнул и погрозил аудитории пальцем. Но когда раздались возгласы, он приосанился, точно оскорбленный патриарх.

— Господа, что вы делаете? Господа! Опомнитесь!

Аплодисменты стихли, но с разгоряченных лиц студентов не исчезало выражение удовлетворенности. Продемонстрировали, мол! Здорово продемонстрировали!

— Господа, я... чувствую себя глубоко оскорбленным! — произнес Менделеев. И исчез за дверью.

— Профессор, кажется, обиделся всерьез,— сказал Петерис своему соседу, уже не молодому, но очень темпераментному русскому студенту.

— Его угнетает пиетет к общепринятым нормам поведения и установленному порядку,— усмехнулся незнакомец. — Но на это нечего обращать внимания. Так что, после обеда бежим в западное крыло? Приветствовать Ореста Миллера? Говорят, наш историк литературы совсем неплохо выступил на собрании литературно-научного общества.

В коридоре Петерис встретил Плиекшана.

— Возьмем в гардеробе наши пледы и пойдем.

— Почему? Что же случилось?

— Делай, что велят. Поговорим по дороге.

— Ты сегодняшний «Вестник», наверное, еще не видел? — спросил он, когда они уже вышли из университета. — Не видел? Есть сообщение о ликвидации преступной партии «Народная воля». По всей России идут аресты.

— И в университете?

— Аресты коснулись и университета. В академической библиотеке я встретил Фрициса Бергманиса [1] и Сирмайса [2],— объяснил Плиекшан. — Бергманис шепнул мне, что седьмого октября тут же, на Невском проспекте, арестован главный вожак партии «Народная воля». В руки жандармерии попали чрезвычайно важные конспиративные документы — списки членов организации, адреса и многое другое. Взято уже более ста человек. Бергманису говорили, что следует ожидать арестов и тех, кто был близок к уже арестованным. И еще Бергманис сказал: один из арестованных был вместе с нами на квартире в тот вечер, когда говорилось о демонстрации,— я ему о том вечере рассказывал. Дорошкевич очень озабочен.

* * *

— Петерис, твоя музыка становится заунывной и скорбной.

— Бах. Церковная мелодия не может быть веселой.

— Тогда сыграй что-нибудь другое. От мрачных мыслей и без того тошно.

— Могу выбрать и что-нибудь другое...

Петерис перевернул открытую нотную страницу, принялся перебирать композиции, лежащие на сверкающей крышке рояля, и поставил одну из них на пюпитр. Бетховен. Соната де-моль. У этой сонаты куда более бодрый ритм, чем у фуги Баха эс-моль. Петерис, правда, не очень уверен, что у него и мелодия Бетховена не звучит протяжно и печально.

В Петербурге он очень истосковался по хорошо настроенному инструменту, но занятиям музыкой теперь мешают при-

---

[1] Бергманис Фрицис (1860—1898) — адвокат, мелкобуржуазный журналист.

[2] Сирмайс Янис (1863—1895) — языковед и фольклорист.

глушенные голоса гостей хозяина дома — учителя Дависа Кажока. Петерис не может не прислушиваться к ним. Гости Кажока говорят о том же, о чем все время думает и он,— о сложных событиях в общественной жизни России.

Правда, аресты студентов прошли для него без последствий. Ни его, ни Плиекшана не тронули. Но все же на душе неспокойно.

В аудиториях, в студенческой чайной, на сходках в обществах молодежи теперь только и разговору, что о крушении идей тайной России. Конечно, народники были легендарно смелы, отважны, самоотверженны. Но все же они работали вхолостую. Для голодных, темных поселян крестьянская революция была и остается миражем. Чересчур крепка власть романовской помещичьей иерархии. И все сильнее поэтому звучат голоса: «Хватит борьбы! Пускай все идет своим ходом!» Надо выждать перемен. Ведь и в диалектике Гегеля говорится о постепенности количественного роста.

Так рассуждали многие. И те латыши, с которыми Петерис и Плиекшан познакомились в университете, в Латышском благотворительном обществе, куда приглашают на вечера латышскую интеллигентную молодежь. А также в доме очень либерального учителя Дависа Кажока, куда они с Плиекшаном охотно заходят — узнать, как у хозяина идут дела с изданием рукописи покойного Аусеклиса. Кажок симпатичен им своим бескорыстием, преданностью поставленной перед собой цели. «Произведения Аусеклиса должны дойти до народа,— говорит он. — Книги поэта должны быть как можно дешевле. Потому что Аусеклис одинаково боролся как против немецких, так и против латышских мракобесов. Чтобы напечатать Аусеклиса, надо создать группу издателей-меценатов. И я такую создам,— для этого я готов самому черту рога обломать!» Но и Давис Кажок и его постоянные гости — свободомыслящий кандидат прав Фрицис Бергманис и студент-филолог Янис Сирмайс поддерживают многих противников народнической революции.

Подпольной работе России пришел конец. В семидесятых годах ей нанесла смертельный удар афера Нечаева, а теперь — конспиратор Лопатин. Сунув список членов в лапы жандармов, Лопатин подорвал всякую веру в нелегальную работу. Какая теперь у людей гарантия, что и другие организаторы конспиративной работы, начав объединение рассеянных оппозиционных сил, умышленно или неумышленно не окажутся предателями? Народовольцы гордятся своей мастерски созданной заговорщической сетью. А какая от нее польза? Поэтому нам, много перестрадавшей латышской интеллигенции, нечего связываться с русскими политиканами. Только зря подставим головы под секиры царских опричников. Мы, латыши, должны найти свой путь борьбы. В народной песне говорится: «Своей тропой утром иду, своей — поздно вечером».

«Может, так и лучше? — рассуждал Петерис. — Все же у каждого народа свой, отличающий его от других, самостоятельный организм. Борец за народные права прежде всего должен знать душу своего народа. Об этом еще в Риге говорил Андрей Дирикис. Друг Плиекшан начал изучать энтографию и языкознание. Собирает народные духовные ценности... Почему бы и мне не пойти по тому же пути? К тому же, когда я встречаюсь с русскими коллегами, мне делается стыдно за свои жалкие познания в русской литературе. Из Чернышевского, Добролюбова я читал лишь некоторые статьи, Льва Толстого, Салтыкова-Щедрина знаю слабо («Сказки» Салтыкова считаются запрещенной литературой!). Ничего я толком не знаю и из западных авторов — Смита, Рикардо, Мальтуса, Лассаля и Бокля. «Историю цивилизаций в Англии» Бокля юристы упоминают почти на всех диспутах!..

Надо учиться. Учиться самостоятельно!»

— Госпожа Кажок,— Петерис берет другую нотную страницу,— с вашего позволения, я сыграю что-нибудь более темпераментное.

5. НЕБО ВЫСОКО

Здороваясь, она не приседает, как другие гимназистки. Она и не говорит банальных слов: «Очень рада... Имею честь...» — и, разговаривая с незнакомым студентом, которого привел с собой ее брат, не изображает робкого смущения.

Она также не говорит: «Янис мне о вас много рассказывал».

В этой только что окончившей гимназию шестнадцатилетней девушке простота и непринужденность совмещаются с интеллектуальностью. В ее манерах, улыбке нет ничего жеманного, нет ни тени самолюбования. Ее поведение не покалечено «тонкими манерами», которым уделяется такое внимание в немецких женских гимназиях. Дора уже почти взрослая девушка. Она очень похожа на Яниса: у нее такой же высокий лоб, такие же доверчивые глаза и такая же она душевная с людьми.

«Яблоневый цвет на солнышке»,— подумал про себя Петерис.

А этому яблоневому цвету, казалось, хотелось прильнуть к своему рослому брату-студенту. Хотелось обнять за шею и припасть к его груди. Но она не сделала этого, наверно, только потому, что была теперь в Ясском имении за хозяйку.

— Идемте в дом! Если вы что забудете в бричке, то Мейкулис принесет,— сказала она, чуть приотстав от мужчин. Доре, видимо, хотелось посмотреть на друзей со стороны. Хо-

телось проверить суждения домашних о товарище брата. В Ясском имении Петерис Стучка бывал уже не раз. И в зимние и в летние каникулы он по пути домой из Петербурга сходил, по настоянию Яниса, с поезда в Рушонах и какое-то время гостил у Плиекшанов. Со старыми Плиекшанами Петерис уже успел сдружиться, а со старшей сестрой Яниса Эльзой он музицировал. Часто Петерис развлекал домашних забавными историями и песнями. Но любимицу Яниса, его младшую сестренку Дору, которую тот называл Малышкой, Петерису видеть еще не довелось. В предыдущие приезды Дора была или в гривской гимназии, или же в арендуемом Плиекшаном имеьнице под Динабургом. И несмотря на восторженные рассказы Яниса о своей Малышке, Петерис особого желания повидать девочку не испытывал. Он представлял себе Дору такой же, как ее старшая сестра Эльза, которая, несмотря на начитанность, все равно по характеру своему была типичной домашней хозяйкой. Правда, Янис рассказывал, что в детстве они с Дорой играли героев книг Вальтера Скотта, Фенимора Купера и Гомера. Воевали, затевали походы, сражались на турнирах, лазили по деревьям. Такие игры обычно не во вкусе девочек. Но бывают же девчонки с мальчишескими повадками. Но это еще не значит, что подружка по литературным играм не может потом превратиться в обычную кисейную барышню.

— Налево, налево! — Дора обогнала мужчин. — Гостю приготовлена та же комната, что в прошлый раз.

Когда домашние вышли к петербуржцам, она в разговоре участия не принимала. За обедом Дора молча, без особого любопытства, слушала веселые рассказы друзей о столичной жизни, о студенческих похождениях и мытарствах. А когда обед подошел к концу, поспешила помочь служанке убрать посуду.

— Дорочка, господин Стучка нам сыграет,— напомнила мамаша.

— Я, мамочка, приду...

Дора не проявила при этом никакого восторга. Петериса это даже чуть задело. Только чуть, но все-таки.

— В обеих столицах теперь пожинает лавры композитор Чайковский,— рассказывал Петерис. —У меня есть несколько его вещей. Если не возражаете, то я сыграю...

— Спасибо,— сказала Дора, когда Петерис кончил играть. — Большое вам спасибо! В прошлую осень в Динабурге нам в гимназии довелось послушать один этюд Чайковского. Правда, исполнение было очень посредственным.

Под вечер студенты отправились бродить по окрестностям Ясского имения, и Дора пошла с ними.

Друзья продолжали говорить о столичных событиях, о латышском студенческом кружке, о Латышском обществе. В начале февраля Петерис Стучка, Янис Плиекшан и еще де-

сять других латышских студентов приняты кандидатами в члены Латышского благотворительного общества. Там уже собралось немало молодых свободомыслящих людей. Теперь можно будет предпринять и уже нечто большее, чем эти надоевшие традиционные балы и семейные вечера. Например, в русских союзах, хотя бы в том же студенческом земляческом и научно-литературном обществе, жизнь бьет ключом. Вопреки новым казарменным законам для университетов, в русских обществах обсуждаются вопросы государственной жизни, статьи западноевропейских мыслителей. Молодежь читает Джона Стюарта Милля, «Формирование характера человека» Роберта Оуэна, «Историю материализма и значение ее критики в наше время» Ланге. И, насколько можно догадаться, порою также более радикальные произведения. В то время как наши дорогие латыши...

— Поют о молодцах и жеребчиках и красотках ягодках,— вставила Дора.

— Да, поют о жеребчиках, о молодцах и взахлёб пьют из чаши самодовольства,— отозвался Янис.— В народных сказках говорится о сосуде силы, из которого черпают бодрость богатыри. Наши народные сынки смастерили себе сосуд самодовольства и стараются над ним засучив рукава.

— Мне все больше кажется, что наши славные латышские соплеменники ничем не лучше нами же высмеиваемых немецких бюргеров-мещан,— сказал Петерис. — Только у последних хотя бы есть какие-то идеалы.

— А наши довольствуются половиной идеала. Они лишь... полуидеалисты,— посмеялся Плиекшан.

— В народных сказках есть третий сын, который идет освобождать мир от нечисти. На рохлей он натравливает оводов,— вставила Дора.

— Послушай!— Петерис схватил друга за руку. — Оводы — это не плохо... Как ты считаешь?

— «Оводы» назывался сатирический сборник Аусеклиса. Если хорошенько подумать...

И они стали примериваться к названию задуманной ими книжки. Потом снова говорили о студенческих кружках, о неразрешенных в Петербурге спорах. Если, мол, согласиться со взглядами Фридриха Ланге, высказанными в его критике истории материализма, то получится...

— Что общество развивается не по тем же закономерностям, как биологические процессы. А человек является продуктом природы только частично. В основном — он продукт общества, то есть продукт воспитания, получаемого от других людей. На совещании земляческих кружков это очень точно сформулировала Екатерина Константиновна.

— А кто такая Екатерина Константиновна? — спросила Дора.

— Курсистка. Слушательница медицинских курсов. В Петербурге на вечера университетских студентов иногда приходят и слушатели академий и слушательницы Высших женских курсов.

— Латышки тоже?

— Разве латышки, то есть дочери наших богатых хозяев, позволили бы себе такое? — усмехнулся Петерис. И, обращаясь к другу, добавил: — Помнишь девицу в «Подпольной России» Степняка? Дворянка, а как героически борется! В истории русского народа она не одна.

— Как видишь, Петерис, мы пришли в противоречие с самими собою. — Плиекшан остановился. — На первом курсе мы, сразу же после разгрома «Народной воли», держались наших робких либеральных земляков. Чурались сотрудничества с русскими студентами, варились в собственном соку. И все рылись в сундуках народного приданого. Не отрицаю, есть какая-то польза и от этнографических исследований, и от истории, и от фольклора. Но отчасти это было ошибкой.

— По крайней мере, о себе я могу это смело сказать.

Взгляд Петериса невольно скользнул по Доре. Глаза девушки, казалось, говорили, будто и она вместе с братом и Петерисом была в Петербурге и тоже поступала неправильно. «Необыкновенная девушка, очень даже необыкновенная...» Петерис почувствовал, что младшая сестрица Яниса начинает привлекать его внимание. Гораздо больше, чем Эльза или еще кто-нибудь. Странно — почему?

Чтобы не думать об этом, он сменил разговор:

— Как тебе кажется, что́ историк Семевский станет читать дальше по курсу истории русского крестьянства? Не прогнали бы доцента из университета, из-за наплыва студентов его лекции придется перенести в большой актовый зал. Знаешь, что мне пришло в голову на одной из лекций Семевского? Надо написать историю латвийских рабов. Ведь события прошлого проливают свет и на настоящее. Такой очерк или книга о латышском крестьянстве были бы потрясающей историей народных мук, отчаяния, заблуждений, беспрерывных бунтов. Конечно, в такой работе надо соответствующим образом показать борьбу против юрисдикции немецких завоевателей, но главным, как и в истории русского крестьянства, была бы отчаянная борьба бесправных и голодных за другую долю. Если я не ошибаюсь, то крестьянские бунты не раз были причиной экономических реформ и законодательных актов.

— Чтобы написать такую книгу, надо основательно изучить развитие народного хозяйства Прибалтики, статистику и юрисдикцию. И еще многое другое. Поосновательнее, чем это делают в кружках студентов-экономистов, — прибавил Плиекшан. И тут же беспечно-весело воскликнул: — Хватит

философствовать! Петерис, похлопай в ладоши: «Последняя пара, выходи!» Бежим, Дорочка!

Петерис едва сдержался, чтобы не кинуться обгонять друга. Ну, пускай брат ловит свою сестрицу!

* * *

Зимние каникулы подходят к концу. Студенты возвращаются в учебные заведения.

В поле, за леском, где дорога круто сворачивает к Персе, на седокоов налетел встречный ветер, и в лицо тяжело забил снег. Петерис и отец втянули шеи в воротники шуб, опустили головы и замолкли.

Порывы ветра Петерис воспринял с чувством облегчения. Не надо было больше отвечать на вопросы отца, выслушивать его наставления. Когда сани минуют мостик через Персе и вороной начнет пугливо прядать ушами, вслушиваться в доносящийся с железной дороги грохот, расспросы станут невозможными. У станции всегда толчется народ, и хозяин «Вецбирзниеков» не станет при чужих спорить с сыном о вещах, до которых посторонним дела нет.

Петерис недвусмысленно сказал: нет, не пойдет он по стопам тех, сочинения которых красуются на почетном месте в отцовском книжном шкафу и чьи портреты в овальных рамах мореного дуба развешаны по стенам, точно портреты предков в кабинетах и оружейных залах немецких баронов.

Неверно связывать нужды всего латышского народа с покупкой имений и угодий, с завоеванием должностей уездных начальников, пасторов и судей, с владением банками, фабриками, лавками. Большинство народа — это те, кто пашет и сеет, кто кует лемехи, отливает чугунные колеса, строит дома, обеспечивает светом и теплом город, праздничным уютом усадьбы. Им от этих имений, должностей и чинов ни холодно ни жарко. Недавно, в сочельник, в «Вецбирзниеки» заехал какой-то дальний родственник Стучек, поденщик, с сыном, тезкой Петериса. А ты, отец, вертясь среди своих именитых гостей, даже не заметил, какими они выглядели пришибленными, лишними среди богатых хозяев и торговцев. Но ведь и они латыши, да еще и того же родословного древа, что наша семья. Когда твои чванливые гости вместе с Гроссбергом провозгласили в честь тебя здравицу, Стучки-поденщики поднялись со своих мест в самом конце стола и отправились домой, в свою хибарку в Трентелберге. Потом кухарка Маде передала, что сказал, уезжая, родственник:

«А что нам там делать-то? Землевладельцы толкуют о пшенице, о ценах на лен, а нам того же хлеба с мякиной до нового обмолота не хватит...»

С прошлой осени ты, отец, выписываешь новую латышскую газету «Диенас лапа» [1], одобряешь ее свободомыслие, хвалишь редакцию, которая старается подкинуть нам кое-что из новинок Западной Европы. Но, видимо, ты упустил из виду то, что говорится в «Диенас лапе» о тружениках, об их женах и детях, которые работают от темноты до темноты, а получают гроши и все равно всегда в долгу перед хозяевами. Не от хорошей жизни бедняки бунтуют, идут с кольями и камнями против полиции и войск. Голодный человек от отчаяния хватается за оружие. А ведь далеко не обо всем пишут в газетах, не все творящееся на свете становится достоянием гласности. Есть такое учреждение — цензура, которая все, что печатается, просеивает, как сквозь решета мукомольного постава. Не будь этого, мы, узнав о том, что делается вокруг, посходили бы с ума.

Значит, отец, надеясь на адвокатские доходы Петериса, влез в долги? А обработка земли, торговля лесом начали приносить ему убытки... Он, Петерис, не хочет обижать семью, но ради этого он на сделку с совестью не пойдет, не станет потакать судебным заседателям, присяжным поверенным, лавочникам и крупным землевладельцам латышского происхождения.

Отцу это явно не по душе, но — ничего не поделаешь.

Отец, правда, каждый год давал Петерису на учение по четыреста рублей, однако на себя он, Петерис, тратил мало и добился к тому же казенной стипендии. Так вот, израсходованную на образование сумму он считает личным долгом, который обязан вернуть — до единой копейки. Как? Своим трудом. Тяжелым повседневным трудом. Так же изнурительно и тяжело работая, как в своей юности работал отец, когда сплавлял через даугавские пороги плоты, а по ночам, при свете коптилки, впивался воспаленными, слезящимися глазами в потрепанный учебник немецкого языка, пытаясь осилить произношение «mir» и «mich».

Правда, забота о своей семье — долг каждого, из несмышленыша-малютки семья выращивает человека. Но помимо семьи у человека еще есть единомышленники, члены многих и разных семей, держащихся одних и тех же взглядов. Это великая сила человеческого племени.

Видел бы отец, как в феврале прошлого года, в двадцать пятую годовщину отмены крепостного права, в Петербурге, на Волковском кладбище, четыреста университетских студентов поминали умерших борцов против мракобесия! И как осенью полторы тысячи студентов отправились в паломничество к мо-

---

[1] «Диенас лапа» (1886—1905) — латышская ежедневная газета демократического направления, выходила в Риге. С 1893-го по 1897 г. организационный центр «Нового течения», легально пропагандирует марксизм. В 1905 г. неофициальный орган Латышской социал-демократической рабочей партии.

гиле Добролюбова. Недалеко от Невского проспекта полиция и казаки отрезали демонстрантам обратный путь, окружили их. Поток студентов с возгласами «Долой!» оттеснил вооруженных до зубов стражей насилия. Вдохновленные кипучей активностью русских и польских студентов, он, Видинь и Янис Плиекшан однажды сцепились вечером на улице с городовыми. Одному из них Плиекшан влепил несколько затрещин. Всех троих отдали под суд. А окружной куратор Новиков сразу исключил их из казенной коллегии. Но все они вели себя мужественно. Все за одного, один за всех!

Постукивая оглоблями саней, вороной рысил по кокнесскому большаку. Стоявшие по обе стороны дороги деревья хорошо защищали седоков от ветра. Стучки смахивали снег с лица и воротников, поудобнее устраиваясь на сиденьях.

Петерис исподтишка поглядывал на отца. Обветренное, коричневое лицо чем-то озабочено. Глаза прищурены, губы плотно стиснуты — хозяин «Вецбирзниеков» сосредоточенно думает о чем-то.

— От людей из другой волости, от крейцбуржцев, мне приходилось слышать, что там в шестидесятых годах среди вожаков батрацких волнений был некий пришлый по имени Стучка,— вдруг заговорил отец. — Я им всегда отвечал: «У кокнесских Стучек не было и не будет ни родственников, ни знакомых из тех, кто против власти». Ты понял меня, Петерис?

— Не совсем. К чему ты мне говоришь это?

— Чтобы ты раз навсегда запомнил. И не забывал, что божья мельница мелет медленно, но верно.

Петерис сжал губы и отвалился на спинку сиденья. «Так. И что еще ты скажешь?..»

Вороной свернул на гладко накатанную аллею, которая вела вдоль железнодорожного полотна к хорошо знакомой коновязи, где уже хрупали сено другие рысаки.

Хозяин «Вецбирзниеков» остановил вороного против самой середины коновязи и медленно, словно убеждаясь, насколько точно он подъехал, вылез из саней. Пока он вешал вороному на шею торбу с овсом, Петерис отвалил верх сиденья и достал свой чемодан и собранный матерью узел.

— Здравия желаю, господин волостной старшина! —Гремя волочащейся по мерзлому снегу саблей, к Стучкиным саням шел урядник, полы его шинели похлопывали по голенищам начищенных сапог. Он все еще величал Стучку волостным старшиной, хотя тот в этой должности уже не состоял.

— А-а, молодой хозяин, опять в Петербурх собрались? Позвольте пособить?

— Возьмите. — Петерис нехотя отпустил пальцы от ручки чемодана. Любой полицейский вызывал в нем отвращение, но местный урядник старый знакомец отца, а пассажирам второ-

го класса не к лицу самим багаж таскать, и Петерис уступил слуге самодержавия.

— Давай тащи, тащи! — Папаша Стучка поздоровался за руку с услужливым полицейским и впереди остальных зашагал к залу ожидания первого класса.

Там оказался один-единственный пассажир, усталого вида господин в лисьей шубе и такой же шапке.

Хозяин «Вецбирзниеков» сунул полицейскому на чай, купил Петерису билет и, когда все нарастающий гул возвестил о приближении поезда, достал из-за пазухи две сторублевые ассигнации.

Величественным жестом он протянул деньги сыну, так, чтобы это видел станционный дежурный, буфетчик и господин в лисьей шубе. Пускай думают, что у Стучек сторублевки куры не клюют, что у латышского землевладельца и крупного торговца денег побольше, чем кое у кого из немцев. Пускай люди не болтают, что в эту трудную пору банкротств и аукционов и Стучку прижимают долги по векселям и закладным.

Петерис всегда стыдился хвастовства отца. К чему это? Зачем обманывать и прикидываться?

В купе уже сидели трое: какой-то торговец или арендатор фольварка, не часто наряжавшийся в черную, сшитую городским портным тройку (уж очень мешковато сидела та на нем), господин в охотничьем костюме, с пенсне на кривом носу и флегматичный старикашка с белыми как лунь волосами и такими же отвислыми усами,— видимо русский чиновник или разорившийся мелкопоместный польский шляхтич.

Они втроем, должно быть, что-то живо обсуждали, даже спорили о чем-то — лица их горели от возбуждения. Нового спутника они встретили не очень дружелюбными взглядами.

Петерис сделал вид, что не заметил этого. Снял пальто, раскрыл чемодан и принялся рыться в нем. Где же, черт возьми, осталась книжка стихов? Ведь он положил ее вместе с кипой рукописей, с листами «Маленького овода», которые они вместе с Янисом Плиекшаном готовили к изданию. К Третьему всеобщему празднику песни они выпустят рой бойких «оводков». Пускай пожалят столпов «всеобщего дела», болтунов-пустозвонов, рижских и елгавских адвокатов и «деловых людей», а заодно и мракобесов из Петербургского латышского общества! Так где же все-таки эта книжка в серой обложке?

Наконец Петерис нашел ее, закинул чемодан на багажную полку, уселся в стороне от своих спутников и принялся листать отпечатанную мелким готическим шрифтом книжку.

Гейне... Гейне теперь читают многие столичные студенты. Его дарят лучшим, самым близким друзьям. Последним желанием отважного Александра Ульянова было — почитать Гейне. Последним желанием — прежде чем палач оборвал жизнь

храбреца. Он хотел избавить Россию от деспота-самодержца. Смело, без оглядки, он шел вперед. Перед лицом судей он от имени угнетенного народа провозгласил новое евангелие. Теперь его читает почти все мыслящее студенчество столицы. В русском народе, по словам Ульянова, всегда найдутся люди, верные до конца своим идеям и так переживающие несчастье своей родины, что смерть за правое дело не покажется им жертвой. А таких людей ничем не запугать!

Петерис открыл стихотворение, которое знал наизусть: «Мы новую песнь, мы лучшую песнь теперь, друзья, начинаем...»

Новую, лучшую песню... для многих, для большинства. Чтобы у людей возникла тяга к человечности, к лучшей, более справедливой жизни. Чтобы на свете не было столько бесправных, измученных работой и нищетой, страдающих физически и морально людей...

Как этого добиться?

Прибалтийские феодалы-помещики продолжают выжимать из крестьян все соки. От немцев по жестокости не отстают и свои соплеменники — арендаторы имений и усадьбовладельцы. И каждый пытающийся перечить им труженик, который осмеливается сказать: «Я тоже человек!» — карается, как преступник. Сурово судьи наказывают непокорных, проклятьями осыпают их с церковных кафедр пасторы. Ибо в писании сказано, что бедность, как и богатство, — от господа бога. И богом же ниспосланы государи и исполнители их воли.

Батраки и поденщики бегут в города. Клянчат работу у фабричных ворот. Счастливы, когда им и их детям удается работать, выбиваясь из сил, по четырнадцати — шестнадцати часов в пыльных сараях. Тысячи тружеников в отчаянии взирают на небо, ожидая оттуда помощи. Помощи, которая никогда не придет.

«Мы новую песнь, мы лучшую песнь теперь, друзья, начинаем...» Какую песню, с какими словами?

— Лучшие латышские фамилии пользуются теми же привилегиями в торговле, в промышленности, в банковском деле и в управлении землей, что и местная русская и немецкая знать,— размышления Петериса перебил возобновивший разговор господин в мешковатой черной тройке.

— Ах, лучшие латышские фамилии? — усмехнулся тот, что в пенсне. — В каком смысле лучшие? Разве потому, что умеют без зазрения совести обирать легковерных соплеменников? Когда уполномоченные его величества, чиновники его светлости сенатора Манассеина, находились в Риге, то они были крайне возмущены хищностью адвокатов из лучших латышских фамилий. Брать за составление обыкновенного прошения или за копию с прошения по триста — пятьсот рублей могут только окончательно опустившиеся люди.

— Неправда! Чиновники господина сенатора не могли этого сказать. Лучшие латышские фамилии — патриоты империи.

— Чиновники сенатора сказали гораздо больше того,— вмешался флегматичный господин с отвислыми усами, судя по выговору — поляк. — Говоря о вашей игре в национализм, чиновники его светлости назвали вещи своими именами — назвали эту игру шкуродерством в отношении своих соплеменников. Да, да, именно так русские чиновники назвали ваши проделки. И, кроме того, скажите, пожалуйста, разве не патриотические латышские землевладельцы требовали введения в Прибалтике закона о посылке сельскохозяйственных рабочих на принудительную трудовую повинность к хозяевам? Ваши же лучшие фамилии, которые еще лет десять назад называли барщину в имениях ужасным рабским трудом.

— Это... это... что-то неслыханное! — взволнованно зажестикулировал господин в черной тройке.— Это оскорбление, которое требует удовлетворения.

— В самом деле? — насмешливо спросил господин в охотничьем костюме.

«Интересно, что этот патриот теперь делать станет?..» Петерис Стучка следил за спором со все нарастающим вниманием.

Переждав с минуту в нерешительности, господин в черном схватил с вешалки шубу и шапку и вышел.

Петерис тоже вышел в коридор. Патриот исчез в крайнем купе вагона. Петерис остался у окна.

За окном бежали заснеженные поля, заметенные по крыши крестьянские дома.

«Если бы Янис не остался в Петербурге, я на день остановился бы в Ясском имении... Всю эту зиму Дора там. Дора?.. Но почему я думаю о Доре? Что за причуда?..»

6. «УКАЖИ МНЕ ТАКУЮ ОБИТЕЛЬ...»

В 1888 году, недолго отдохнув в «Вецбирзниеках», сразу же после Третьего всеобщего латышского праздника песни Петерис Стучка прибыл в Ригу на постоянное жительство.

В городе своего отрочества он не был четыре года. За это время Рига сильно изменилась. Вокруг Старого города возникли новые четырех- и пятиэтажные дома. На Петербургском форштадте понастроили далеко тянущиеся бурые, мрачные, казематоподобные фабричные корпуса, появилось довольно много одноэтажных домишек в Шрейенбуше и за Даугавой. Улицы вымощены булыжником, по Александровской, точно в Петербурге, грохочет конка — вагончики с парой серых лошадей в упряжке. Видать, праздник для всего немецкого в Риге кончился. На табличках с названиями улиц, на вывесках мага-

зинов над немецкими надписями появились русские, в витринах книжных лавок, точно платочки на выставках товаров, разложены русские журналы с невиданными ветвистыми буквами на зеленых обложках. На улицах часто слышна русская речь, больше стало городовых и других блюстителей незыблемости монархии.

А в остальном?

Лавочники-националисты по-прежнему отвешивают, насыпают и отмеряют созданные латышскими руками товары. Содержатели трактиров и заезжих дворов — где огромной жестяной вывеской над дверью, а где просто надписью во всю стену — предлагают селянам останавливаться у соплеменников, закупать соль, железо, кожу на постолы и спички у латышей. И каждый, встречая заезжего, предостерегает его от евреев, которые завладели базаром на углах Мельничной, Мариинской и Елизаветинской, отстроенным разорившимся теперь латышом Бергом.

По-прежнему круглые сутки открыт буфет Рижского латышского общества. По вечерам перед зданием «Матушки» останавливаются сверкающие латунью и черным лаком ландо и извозчичьи пролетки, которые привозят почтенных господ и затянутых в корсеты, увешанных лентами и кружевами барынек и девиц. Они хотят посмотреть спектакль театра Латышского общества, которым теперь руководит «просвещенный» комедиант-немец Роде-Эбелинг, а не свой неуч Алунан, послушать лекцию какого-нибудь предводителя «Матушки» о святости «всеобщего дела» и посидеть в компании за столом.

В павильоне Верманского парка, точно как восемь лет назад, когда Петерис поступал в гимназию, после обеда играет бравурные марши духовой оркестр. По усыпанным гравием, выровненным граблями дорожкам прогуливаются господа и дамы высшего света. А вечером, с наступлением темноты, когда под липами за оградой появляются «профессиональные мамзели», Верманский парк закрывают, гасят фонари возле павильонов и скамеек перед клумбами. И тогда место прогулок в самом центре города кажется покинутым, как роскошный дом, обитатели которого в отъезде.

Все как бы говорит о том, что рижане пытаются жить прежней жизнью. Годы идут, а люди не меняются.

Прежними остаются поведение, привычки, мышление...

Но так кажется только на первый взгляд. Человеку, который еще не успел по-настоящему присмотреться.

Петерис Стучка снял квартиру на улице Паулуччи, 50, рядом с домом Латышского общества.

В будущем адвокатском жилище стучали мастера и подмастерья. Когда хозяин квартиры завел с ними разговор уже не о своих нуждах, а на бытовую тему, то в словах мастеровых уловил много ранее не слышанного.

Хозяину столярной фирмы — знакомцу хозяина «Вецбирзниеков» Мартиню Пагасту вовсе не по душе газета «Диенас лапа».

— Куда такая задиристая газетенка годится? Только вражду в собственной семье разжигает. А кто этот листок делает? Полунищие ремесленники, борзописцы, студентики. И еще к солидным латышским фирмам пристают, чтоб объявления давали! Правда, рекламировать свое дело надо везде, где только люди вертятся. Но все же...

— Латышскому народу нужен сильный дух сплочения, а не раскол! — Черная окладистая борода мастера вздрогнула.

— А борьба младолатышей [1] со старыми латышами? Как с этим обстоит? — Петерис слышал, чью сторону держит в Латышском обществе Пагаст.

— И тут не то сделали. Совсем не то. И с пастором доктором Биленштейном, и с немецким обществом «Друзья латышей». Выступление немцев — сущая чепуха по сравнению с тем, что делают новоиспеченные общества. Наши предводители подсчитали, что в Риге уже набралось около двухсот латышских раскольнических братств. Шестьдесят восемь обществ вспомоществования, девяносто два общества взаимопомощи. Помощи — кому? Тому, кто сам делать ничего не хочет. Голодранцам, пустомелям всяким, что собирают людей на вечера, где заумные вопросы разъясняют. Советуют другим, как жить.

Когда квартира уже оборудована, приходит столяр отполировать подержанную мебель. Для кабинета и гостиной, где Стучка будет принимать клиентов, он заказал новую мебель, а в жилых комнатах обойдется подержанной, купленной по дешевке (ведь это разница — шестьдесят пять рублей за ясеневый буфет отдать или сорок два!). Полировщик — еще молодой мастеровой, любитель куплетов Адольфа Алунана и ярый приверженец ремесленной артели и кассы взаимопомощи. Он считает, что молодому «аблокату», может, придется вести и «процессы» ремесленного общества.

— Эти толстяки хотят нас угробить всякими судебными штучками. — Натирая мебель, он толкует о том, чего могут добиться рабочие люди, если они сообща подставят плечо и скинут свою копейку. — Если бережливый труженик, отказывая себе во всем, хочет сколько-нибудь накопить про черный день или на домишко на острове Кундзиню или Екатерининской дамбе, то ему денежки в своей же кассе хранить надо. В больших банках этих, где всякие патриоты засели, денежки трудяг раз-два — прахом пойдут. Господам довериться — это то же, что волков в овчарню пустить.

[1] Младолатыши — идеологи буржуазно-национального движения пятидесятых — шестидесятых годов, выступавшие против феодальных прав немцев в Прибалтике, боровшиеся за капиталистическое развитие Латвии.

Снова намочив тряпку политурой, он тоненьким, немужским голоском затянул куплет из Адольфа Алунана:

Уже годами спор идет:
Кто настоящий патриот?
Кто все в мошну себе сует
Иль тот, кто честь свою блюдет?
Хоть был латыш он настоящий,
А с голоду подох.

Начальство рижских судебных ведомств, которому Петерис Стучка по своему адвокатскому положению обязан был, нарядившись в визитку, «засвидетельствовать свое почтение», напомнило «неопытному еще коллеге», что юридическая консультация или составление прошений для неимущих собратьев «не может быть оценена ниже, чем...».

Другие стороны жизни нового правоведа его коллег не интересовали. Как и то, кого из присяжных поверенных он выбрал себе в патроны на время своего кандидатского стажа. По их мнению, все это вопросы сугубо частного характера. А вознаграждение за юридическую консультацию с кухарок, горничных, кучеров и фабричных касается самих устоев правоведческого цеха.

Едва Петерис Стучка устроился кое-как в квартире и стал подумывать о том, чтобы дать объявление в местные немецкие и русские газеты («Абсольвент юридического факультета Петербургского университета покупает полный комплект — можно и подержанный — Российского уголовного и гражданского кодексов вместе с разъяснениями Сената»), как настойчиво постучали в дверь.

Гости. С угощением. Они втащили корзину пивных бутылок. Старший брат Пауля Дауге Александр[1] (он несколько лет учился в Петербургском реальном училище церкви св. Анны), дерптский студент Каспарсон[2] и еще двое незнакомых Петерису юношей. Бледный студент лет двадцати, с очками в дешевой оправе и коренастый, румяный паренек с темно-русыми густыми волосами и очень живыми темными глазами, одетый в гимназическую куртку.

— Да благословит господь твое прибытие в Ригу! Да посыплется на тебя его благодать, как манна небесная!

Александр простер над Стучкой руки, точно благословляющий свою паству пастор.

— Мир с вами! Да будут ровны стези ваши, дети Ханаана! — ответил Петерис с комической серьезностью.

---

[1] Дауге Александр (1868—1937) — педагог и литератор, брат революционного марксиста П. Дауге. В молодости примкнул к движению новотеченцев.

[2] Каспарсон Карлис (1865—1962) — врач, литератор. Активный участник «Нового течения». В буржуазной Латвии — буржуазный общественный деятель.

— Вейденбаум[1],— назвался очкастый студент.

— Рад познакомиться!.. (Так вот каков собой этот прославленный дерптский вольнодумец!)

— Янис Янсон[2]...— склонил голову гимназист.

— Чем богаты, тем и рады, друзья. — Петерис усадил гостей на подержанные, еще не отполированные стулья. — Господь мое появление в этой обители еще не очень щедро благословил.

— Зато, когда слава доктора прав Стучки прогремит на весь мир, в его салоне будет вдоволь всего потребного для души и плоти,— посмеялся Дауге.

— Сомневаюсь, будет ли это у человека, который собирается отстаивать справедливость и правду.

— Вы собираетесь защищать угнетенных? — спросил Вейденбаум.

— Считаю это единственным оправданием своей профессии.

— Это благородно...

Взгляд Петериса задержался на Вейденбауме. Болезненно-сухощавое лицо, в голосе оттенок иронии.

Но теперь Петерис должен был спешно доставать стаканы и все остальное, без чего в таких случаях никак не обойтись.

У Карлиса Каспарсона оказался при себе здоровенный пробочник, и он принялся на деле доказывать полезность такого орудия. Александр Дауге, помогая застелить стол газетами (адвокатский стол все-таки!), рассказывал, как они, люди с разных сторон, оказались вместе. Ничего удивительного! Дом «Матушки» находится рядом с типографией и экспедицией «Диенас лапы».

Каспарсон с Вейденбаумом хотят выклянчить у общества пособие на учение, сам Дауге собирается в Дерпт. Будет изучать там филологию. А молодой лиепаец Янсон хочет познакомиться со студентами российской столицы. Янису нужны книги для кружка самообразования. О новейших течениях в Западной Европе. О реализме, экономизме и социальных движениях. О том, о чем иногда пишет и «Диенас лапа». Да и школьникам в своих кружках надоело пробавляться давно приевшейся националистической стряпней.

— Группа дерптских студентов решила основать научно-литературное общество. В противовес скоморошеской корпорации «Леттонии»,— сказал Каспарсон и, наполнив стакан, обратился к Вейденбауму: — За наш успех, Эдуард!

Мир богат и просторен,
Может пищу земля в изобилье давать... —

---

[1] Вейденбаум Эдуард (1867—1892) — первый революционный латышский поэт.

[2] Янсон Янис (Браун) (1872—1917) — первый латышский марксистский литературный критик, публицист и историк. Один из руководителей «Нового течения» и организатор Латышской социал-демократической рабочей партии. Первый редактор органа социал-демократии Латвии «Цини».

ответил Вейденбаум, уставясь в зажатую в руке кружку с отливающим медью пивом. Казалось, он погрузился в трудные размышления и товарищу ответил только приличия ради.

«Должно быть, комиссия предводителей Латышского общества не захочет помогать пособием деревенщине,— размышлял Петерис. — И как же это знатные соплеменники откроют свои кошельки блудному сыну, не вернувшемуся в отчий дом с покаянием?»

— Поговаривают, что Бергманис уходит с поста редактора «Диенас лапы»,— заговорил Каспарсон.— Что собирается начинать новый шеф газеты?

— До этого еще далеко,— Петерис понял, что вопрос адресован ему.

— Говорят, что согласие уже дано.

— Еще не окончательно.

— Тогда надо дать.

— Неужели это так спешно?

— Разумеется, спешно,— отозвался Вейденбаум. — Отказавшийся от должности редактор по-настоящему руководить газетой уже не может. К тому же таким, как мы, которые думают и ищут, позарез нужна инициативная современная газета. Латышский «Современник».

— И место встреч, когда мы бываем в Риге. Когда возвращаемся в свои школы, в свои alma mater,— вставил Янсон. — Нам, молодым, незачем обивать пороги конюшен народных молодцов. А от заплесневевшего листка надворного советника Дирикиса нас уже мутит.

— Надо подумать.

— Больше думать некогда!

* * *

Пост редактора «Диенас лапы» прежний руководитель газеты предлагал Стучке еще в мае, как только он, после окончания курса, вернулся из Петербурга. Бергманис, провожая Петериса на динабургский поезд, пригласил его в станционный буфет первого класса посидеть до второго звонка за рюмкой «крепенького» и пытался втолковать ему, насколько юристу для карьеры необходима популярность в народе.

«Ты можешь надеяться на клиентуру, если твое имя упоминается не только в платных газетных объявлениях или в приложениях к календарю, если о тебе говорит широкая публика. И на своевременную выплату своих долгов тогда надеяться можешь. А от долгов ты, милый друг, никуда не уйдешь. Одно устройство адвокатской конторы влетит тебе тысячи в две. Сам посчитай: квартирная плата — рублей триста, мебель — семь или восемь сот. Мундир — триста. Кодексы законов, специаль-

ная литература, даже если ты приобретешь ее у букиниста,— двести пятьдесят, не меньше. А где еще реклама, прислуга! И отвечающий твоему положению образ жизни! Как ни вертись, без двух тысяч не обойдешься! А на какой ты можешь рассчитывать месячный доход? Рублей сорок — пятьдесят в месяц, не больше. Вначале ты должен послужить помощником присяжного поверенного, довольствуясь тем, что тебе подкинут».

«А что советует коллега?»

«Заняться журналистикой. Редактор «Диенас лапы» получает твердый оклад — три тысячи в год».

«Насколько мне известно, у «Диенас лапы» есть свой опытный редактор — Фрицис Бергманис, сиречь Фрицис Калниек, который написал очерк модного направления «Фабричный рабочий». Первую книгу для латышей о капиталистах-поработителях и о стремлениях западноевропейских и североамериканских рабочих улучшить свое материальное положение. Значит, редактор «Диенас лапы» знает, что такое товарное хозяйство, наемный труд и фабричное производство и что такое капитал!»

«Кое-что знает, видимо. Но у кандидата права Фрициса Бергманиса к редактированию душа не лежит. За два года газетной работы он уже успел снискать необходимую юристу популярность. И может теперь заняться непосредственно судебной практикой. И еще потрудиться на ниве науки. Над книгой. Об уходе из газеты Бергманис с издателями уже договорился. Поэтому «Диенас лапе» нужен новый редактор. Знающий человек, с острым пером, с политически незапятнанной репутацией».

«Значит, это у меня политически незапятнанная репутация?»

«Любознательный воробей залетел на господский двор со стороны кухни. Попрыгал, поклевал — и зобик пустым не остался...»

«Твое предложение оказалось для меня совершенно неожиданным. Должен его как следует обдумать».

Через неделю Стучка имел такой же разговор с одним из издателей газеты — Петерисом Бисниеком.

«Диенас лапа» не меньше, чем в печатной бумаге, нуждается в зорком редакторе. В таком, который не свернет с правильного курса, который будет бороться с пятящимися назад матушкинцами, с чванством лучших фамилий, который восстанет против издевательства над латышской культурой. Разве может так продолжаться? По проповеди матушкинцев, латышское — это сборчатые кафтаны с постолами, национальная похлебка и жевание сухого гороха. Да еще езда на повозках с деревянными осями. Петерис Стучка — человек с острым пером. От «Маленьких оводов», которые он выпустил вместе с Янисом Плиекшаном, у матушкинцев вздулось немало шишек и на лбу и на шее. Петерис Стучка в «Диенас лапе» уже печатался. Ему, как говорится, и карты в руки».

«Все ли?» — посмеялся Петерис.

Но Бисниек не отставал. И Петерис там же, на столе директора Рижского ремесленного ссудосберегательного общества, написал прошение в Петербургское ведомство печати: «Его превосходительству, начальнику Управления печати Министерства внутренних дел, действительному статскому советнику...»

«В самом деле, почему бы не попробовать силы в публицистике? Цель моей жизни — защита справедливости и правды. А у популярной ежедневной газеты в этом отношении много преимуществ. Теперь «Диенас лапа» щеголяет обычной либеральной одежей. Потолкует о трудностях сельских рабочих, о классовом расслоении хозяев и батраков и о трудных временах для всех народов. Вот и все. Но биение сердца газеты можно ускорить. Свежие порывы ободряют и седовласых мужей, а «Диенас лапе» до старости еще далеко. Если только...» Если только губернатор да петербургские синие мундиры не будут ставить ему палки в колеса. В биографии Петериса Стучки есть несколько неприятных мест: участие в студенческой демонстрации в день смерти Добролюбова, а семнадцатого сентября 1887 года он вместе с другими латышскими студентами на Невском проспекте якобы надавал пощечин городовому, за что был отдан под суд. В связи в этим имеется требование куратора просвещения Петербургского округа — выгнать крамольного студента из царского университета. Правда, после обжалования высшая инстанция Петериса Стучку оправдала, наказание понес один Плиекшан, который и надавал-то пощечин городовому. Но при всем при том...

Когда дерптские студенты и лиепайские школьники ушли, Стучка испытал нечто вроде гимназического волнения. Ребята правы, — редакция «Диенас лапы» может стать центром искателей новой правды. На твоей квартире тебя разыщет только по-настоящему близкий знакомый, и то не всегда. В Российской империи жилища граждан, которые часто посещаются, быстро становятся предметом жандармского надзора. Так, в Питере, если к студенту почаще заглядывают товарищи, то к нему вскоре наведываются полицейские чины. Говорят, что в губерниях средней полосы даже богатые помещики, приглашая к себе в гости окрестных учителей, врачей и земских чиновников, должны представить уряднику список приглашенных. С этим надо считаться. А редакция от этого обезопашена.

* * *

Фрициса Бергманиса в конторе «Диенас лапы» уже не было. Ушли и остальные сотрудники газеты. В редакции теперь хозяйничал филолог Янис Сирмайс. Видимо, сочинял очередной длинный опус — на конторке, рядом с настольной лампой

без абажура, стояла бутылка пива, а под столом — еще несколько.

Когда Петерис зашел, Янис Сирмайс потягивал из длинного горлышка коричневой бутылки. Рыжеватые волосы и эспаньолка вздрагивали вместе с костлявой рукой, державшей бутылку. Сирмайс — тщедушный, сухощавый человек с близорукими глазами, в поношенной студенческой куртке, под которой виднеется синяя косоворотка. Филолог Сирмайс — одна из самых светлых голов молодого латышского поколения и отпетый алкоголик. Без «жидкого хлеба» он и дня прожить не может. Чтобы работать, править корреспонденции, давать уроки отстающим гимназистам, громить языковедческие трактаты придворного филолога матушкинцев Мюленбаха, чтобы переводить с разных языков, Сирмайс должен выпить свою норму пива. В тех случаях, когда нужно написать статью подлиннее, заказчики или друзья должны обеспечить его немалым запасом этого напитка. Из расчета — бутылка на час работы.

— Здорово, Янис. Ты один тут хозяйничаешь? — Стучка по пути в заднюю комнату заглянул в исписанные Сирмайсом листы бумаги. Сирмайс может и не ответить. Своей неразговорчивостью он превосходит великого молчальника из народных шуточных рассказов. «Чего мне зря языком трепать?» — обычно говорит Сирмайс.

Бросив рижскую православную духовную семинарию, Янис Сирмайс жил впроголодь и изучал в Петербурге филологию, поражая профессоров и студентов своей феноменальной памятью, способностью запоминать все, что он лишь раз прочитает или услышит. На экзаменах Сирмайс мог привести любой текст из Платона, Аристотеля или другого античного автора, указав при этом страницу. Сирмайсу предсказывали блестящее будущее. Но он оступился. Оступился на бутылках. И остался без университетского диплома, стал чуть ли не бродягой. Пропил все свои пожитки, даже платье, которым его обеспечили друзья. Но зато стоит Сирмайсу заинтересоваться какой-нибудь темой — и он весь уходит в работу.

— Садись, патрон! — крикнул Сирмайс Петерису, кинув очередную пустую бутылку за стул. — Патрон, говорю я!

Он деревянно поднялся с шаткого сиденья, такого же замызганного, как его тужурка.

— Тебя тщательно взвесили и сочли, что ты достаточно тяжел. Через несколько дней ты будешь редактором. И тогда мне, бедному прощелыге и бродяге, придется взывать к твоему милосердию, просить записку к конторщику Юритису, чтоб тот подкинул мне целковый на несколько бутылок и тминный сырок.

— Что это ты так усердно строчишь?.. Если не секрет, конечно... — Петериса удивляла разговорчивость Сирмайса. Какая тому радость оттого, что он, Стучка, будет редактором?

— Какие у меня могут быть секреты? — пожал Сирмайс

плечами. — Я... — Он замолчал и тут же быстро и громко продолжил: — Я страшно обозлен. Нашим провинциализмом, нашим, латышей, скудоумием. Мы гудим, как шарманщики на ярмарке: «Народное благополучие... Всеобщий прогресс, всеобщая культура...» Сокрушаемся из-за пасынков нашего времени — фабричных рабочих. Трудно, мол, беднягам, страх как трудно! А большего понять мы не в силах. Не в силах. Или не хотим.

Пишу очерк о судьбе народов, источниках их существования, трудовых обычаях, вопросах быта, языческих верованиях и обрядах в доисторические времена. Как они развивались до наших дней,— пробормотал Сирмайс и, кажется, пожалел, что разговорился, потратил много энергии на слова.

— Желаю тебе удачи!

Петерис не стал больше мешать ему. Стоит Сирмайсу из-за пустяка прервать начатую работу, как с ним случается приступ с тяжелыми последствиями. Недавно Сирмайс уже чуть было не закончил свою дипломную работу по теории поэтики Аристотеля. Друзья одели его в новую студенческую форму, купили ему билет в Петербург, дали на какое-то время денег, а через несколько дней опять встретили его в Риге. Без формы и без копейки в кармане. Оказалось, что перед самой сдачей дипломной работы ему кто-то помешал, и Сирмайс запил.

«Очень обозлен нашим провинциализмом... скудоумием нашим... — Оставив редакцию, Петерис слонялся по притихшим улицам вечерней Риги. — В сущности, взгляды Сирмайса ничем не отличаются от того, что говорили дерптцы, что рекомендовал лиепаец Янсон. Мыслящая интеллигенция (и не только она одна!) уже не удовлетворяется старым, привычным. Латышская мыслящая интеллигенция хочет разжечь костер, искры которого летели бы высоко в небо. Им мало локальной оппозиционности. Их не удовлетворяют сюсюкающие статьи «Диенас лапы» о реализме в Западной Европе и русском искусстве. Не удовлетворяет уже болтовня о том, как фабричные рабочие в Западной Европе и Северной Америке стремятся улучшить свои жизненные условия рекомендованными немцем Шульцем-Деличем товариществом взаимного кредита и потребительскими обществами. Мыслящая интеллигенция относится скептически к совету «Диенас лапы» — учиться у капитализма, вместо того чтобы сплачиваться для борьбы против него. Но чего именно хотела бы она? И что тут должна сделать газета? Этого я не знаю».

* * *

Этого не знал и его друг Плиекшан. Он теперь часто наезжал из Латгалии в Ригу. Интересовался вакансиями для юристов, расспрашивал польских и литовских знакомых о возмож-

ностях в судах Виленской губернии, заглядывал в типографию, где набирались его сатирические «Опевальные песни к Третьему всеобщему певческому празднику» (хотя праздник уже прошел). Посиживал в кругу друзей на квартире Петериса, у которого он останавливался, и, точно в гимназические и студенческие годы, мучился неразрешенными философскими вопросами.

— Мне еще долго и много придется трудиться, пока не приду к новому убеждению, к новой вере,— говорил он. — Я будто догадываюсь о новой правде, но она мне еще не совсем ясна. Во мне еще не выкорчеваны глубокие корни старого. На лекции по теории философии права профессор Коркунов как-то сказал, что индивид может быть счастлив, может осуществить категорический императив Канта и без свободы. А индивид ведь никогда не бывает абсолютно свободным. Тысячи причин, многие еще задолго до того, как я, да и мой отец, появился на свет, влияли на формирование моей психики, моей воли. Прежде чем дать другим новое, я должен сперва победить в себе старое...

Охотнее всего Янис говорил о латышской литературе, о ее нуждах. И о роли латышских газет в ее развитии.

— Газета должна способствовать появлению хорошей оригинальной литературы. Но мы, латыши, еще не обмолотили своего хлеба и поэтому должны занимать его у других. Надо печатать переводы, правда основательно отбирая их. Надо переводить литературу, окрыленную новыми стремлениями и идеями. От литературы всегда должно веять бодростью, духовной свежестью. Ибо новые идеи в свою очередь опять породят новые. Так мы, отбирая самое лучшее и остерегаясь надоедливой односторонности, неуемно будем расти духовно.

У Яниса уйма планов относительно современной литературы и латышской литературы будущего. Екаб Апситис и Рудольф Блауман[1] идут по пути реализма. После «Времен землемеров» братьев Каудзите они написали лучшее, что есть в нашей прозе. Но они еще не могут перешагнуть межу землевладельца. Не то что Тургенев, Толстой. Великие русские писатели взирают на жизнь с идейных высот.

Когда Петерис спросил, что нового, помимо опевальных песен, написал он сам, Янис с раздражением ответил:

— Сын помещика составляет рыночные списки и перечень закупок. Подгоняет работников при копнении сена, а по вечерам подсчитывает сложенные за день копны. В помещичьем гнезде поэзия неуместна.

— Но в вашем помещичьем гнезде есть такое разумное создание, как Дора.

---

[1] Блауман Рудольф (1863—1908) — выдающийся писатель-реалист, прозаик и драматург, классик латышской литературы.

— Разумное создание собирается изучать медицину. Латынь она в школе не проходила, и брат должен исполнять обязанности репетитора.

— Тогда конечно...

Петерису хотелось услышать о Доре поподробнее. Но коль скоро друг сам ничего не сказал...

* * *

Превратившаяся после затяжных летних ливней в глиняное месиво дорога из «Вецбирзниеков» к Кокнесской церкви, где гроб с покойником должны были оставить до завтра, до погребения, оказалась не по силам даже хорошо упитанным вороным умершего хозяина.

Еще в границах усадьбы устланные сине-черными узорчатыми покрывалами и задрапированные черным крепом похоронные дроги с гробом увязли, и мужчинам пришлось тащиться назад за досками, кольями и лопатами.

Мытарились и у опушки леса и чуть ли не на каждом втором повороте, где глина, точно вязкая смола, облипала колеса.

Провожатые намучились больше, чем на молотьбе в риге. Мужчины толкали, подпирали дроги, то задабривая лошадей, то покрикивая на них. Люди измазали, забрызгали грязью праздничное платье, и когда возле кокнесской станции похоронная процессия наконец выбралась на мостовую, у нее был уже совсем жалкий вид. Взмыленные вороные лишь в глубокие сумерки дотащили гроб к лютеранской церкви — часы уже показывали ровно одиннадцать.

Надвинулась новая туча, и носильщики, ухватившись за граненый дубовый гроб, на котором уже облупились украшения из бронзового картона — крест с пальмовыми ветвями и стихами из священного писания,— неподобающе торопливо, вразлад со степенной торжественностью хорала (хор Кокнесского певческого общества, разместившись на клиросе, встречал своего многолетнего председателя), потащили его к сооруженному перед алтарем, задрапированному черной материей помосту.

Хоть время было позднее, а погода вконец испортилась, в церкви народу собралось больше, чем по великим лютеранским праздникам или на проповедях самого пробста.

Разукрашенный елками и вереском храм заполнили кокнесовцы, приезжие из соседних волостей и Риги. Было и много любопытных, которые, обычно никем не приглашенные и никем не званные, непременно всегда и всюду присутствуют.

Ведя под руку убитую горем мать, Петерис вспоминал, как уверенно она еще совсем недавно говорила об ожидаемой ею гостье — смерти. Мать уже так скрутил ее недуг, что она порою только насилу поднималась по утрам с постели. В то время как муж ее Янис был, как говорят, олицетворением здоровья,

Но вот это олицетворение здоровья схоронят завтра на Ритерском кладбище. А хворая мать кинет на крышку его гроба три прощальные горсти сырой земли.

Смерть отца пришла неожиданно.

Еще в первые дни июня, приехав в Ригу, он принес сыну, в «Диенас лапу», для напечатания объявление Певческого общества Петербургского форштадта Риги. На праздник Лиго затевался выезд на лодках по Даугаве, из Стукманисов до Кокнесе, мимо легендарного Стабурага. Отец гордился задуманным им столь глубоко народным делом.

Накануне Янова дня отец вместе с гостями на лодках, увитых гирляндами из дубовых листьев, пустился через пороги Даугавы. Веселый и удалой. А уже под утро его на руках внесли в усадьбу «Вецбирзниеки».

Одна из лодок села на мель. Отец, вспомнив, что он когда-то был лодочником, хотел шестом оттолкнуть лодку от камня. Он поскользнулся и, падая, сломал ногу. После неожиданного купания заболел воспалением легких и через несколько дней скончался.

Проводить отца пришло много народу. Всякие люди. Еще на дворе «Вецбирзниеков» и по дороге Петерису пришлось услышать, что кого занимало на похоронах.

Именитые люди из Риги и Елгавы интересовались имущественными делами Яниса Стучки. Что будет теперь с его состоянием? Оставил ли покойный в бумагах и в книгах записи о ссуженных суммах и ценностях? Возможно ли по записям этим взыскать судом?

«Тысячи, которые вложены в газету «Балтияс земкопис» [1], наследники Материса, разумеется, не должны возвращать. После банкротства Материса Стучка ни с какими претензиями в суд не обращался. К тому же покойный сумасбродному елгавскому писаке выдавал деньги без всяких расписок. А пособия латышским юношам, студентам, которые уже давно в люди выбились и успели на теплые местечки устроиться или выгодно жениться? Как с теми? У молодого Стучки петербургский диплом, молодой «аблокат» свое дело знает. Послушать только, как он правовые вопросы разъясняет на вечерах на рижских окраинах — в обществах «Ионатан» и «Павасарис» и в зале Карлевица... [2] И как судебные дела ведет...

Если покойный у себя в шкафу долговые расписки или

---

[1] «Балтийский земледелец».

[2] Общество «Ионатан» — общество взаимной помощи задаугавских рабочих Риги (основано в 1869 г.). Общество «Павасарис» — общество взаимной помощи саркандаугавских рабочих Риги (основано в 1872 г.) В пору «Нового течения» в этих обществах (и в зале Карлевица, в центре Риги) велась легальная пропаганда идей марксизма в виде разъяснения вопросов.

письма оставил, в которых его за доверие благодарят, то должникам этим молотка судебного пристава не миновать».

«А что касается доходов от изданных старым Стучкой «Песенных сокровищ» Яниса Цимзе, которые он отписал пастору для передачи кассе вспомоществования детям неимущих, то наследники могут завещание и изменить. Как хотите, но «Песенные сокровища» издателю немалые денежки принесли. В свое время, когда Цимзе собрал ноты всех мелодий, латышские и немецкие издатели не решались в такое неверное дело капиталы вкладывать. А старый Стучка не побоялся. Старый-то знал, как латыши в Видземе и Курземе до всяких хоров охочи. А сейчас и в приходских и в волостных школах пению обучают. Да где еще всякие там праздники, семейные вечера...»

Стукманцев, земляков отца, заботит наследство вообще. «Правда, усадьбу «Вецбирзниеки» покойный на свои заработанные деньги приобрел. Но когда он приходское училище посещал и в Валкскую учительскую семинарию готовился, брат и свою лепту внес. По отчим и божьим законам и родственников со счетов не скинешь».

Противно было все это слышать, а тем более отвечать на прямые вопросы. Хотя в общем-то люди вели себя пристойно. Хвалили покойного. Подталкивая гроб, роняли по скорбной слезе. И жалобно, протяжно вздыхали о быстротечности земной жизни.

Временами Петерису казалось, что он смотрит комедийное представление, а не присутствует на похоронах, среди людей, вместе с которыми его отец, Янис Стучка, хотел создать братство латышской Латвии, не жалея на это ни времени, ни сил, ни средств.

Нельзя, конечно, сказать, чтобы у отца была золотая душа. Но он все же имел свои идеалы. Он был своенравен, горяч (и «строг», как говаривала бабушка). Но, несмотря на все это, смысл его жизни все же не заключался лишь в приумножении достатка. Янис Стучка стремился быть таким, какими были первые национальные идеологи — Валдемар, Барон, Кронвалд. Стремился к укреплению достоинства и сил своего народа. Несомненно, отец держался абсолютно неверных взглядов на законы развития. Но плотью от плоти своры националистических стяжателей не был.

У катафалка, сразу же за высокими канделябрами в головах гроба, стояла скамья, на которую Петерис усадил мать.

— Останься со мной,— сказала она не своим голосом, удерживая сына. — Уж без тебя распорядятся. Сколько всего-то осталось до утра, до часа расставанья...

Петерис остался возле нее. И ему, по правде говоря, так было лучше. Придется меньше толкаться среди людей и меньше слушать лицемерные пересуды о всяких там счетах и расчетах, связанных с наследством.

Когда часы пробили час ночи, кокнесский хор уже успел спеть положенные церковные хоралы и скорбные народные песни, а церковные старосты и учителя — вдоволь начитаться «духовных утешительных и заупокойных слов». Свечи в канделябрах под церковными сводами погасли. Люди уже удовлетворили свое любопытство, в церкви остались лишь близкие покойного. Но и они переминались с ноги на ногу, не зная, куда девать себя. До нового дня, до последнего прощания, впереди еще длинная ночь и утро.

— Идите, милые, отдохните, вздремните немного,— увещевала их мать. — В волостном правлении накрыты столы. Сено постлано, поспать можно. А мы с Петерисом подождем вас до завтра.

— А разве вам, мамаша, отдохнуть не надо? — пытался возразить кое-кто из соседей. Но только так, приличия ради.

И вскоре мать с сыном остались возле покойника одни. Одни в темной, холодной церкви, где пахло хвоей, оплывающим воском, вянущими цветами и плесенью.

Петерис встал, чтобы сменить выгоревшие свечи. Вместе с ним со скамьи поднялась и мать — вецбирзниекская Ева. Склонившись над желтым, осунувшимся лицом усопшего, она, словно раскрывая покойнику тайну, тихо сказала:

— Нелегкую я прожила с тобой, Янис, жизнь. Редко мы говорили друг другу душевные слова. Наши будни всегда были полны суровых забот. Но ты был моей первой любовью, а я — твоей. И нам не в чем упрекнуть друг друга. Нелегко жилось мне с тобой, но таков удел женщины.

У меня, сын,— обратилась она теперь к Петерису,— есть к тебе просьба. Единственная просьба матери, прежде чем я уйду по усыпанной хвоей дорожке. Не судись, сын, с теми, кто злоупотреблял его добротой или остался ему должен. Отец всегда верил в порядочность людей. Верил, что всякий облагодетельствованный им когда-нибудь и сам сделает добро, что со временем добро в людях все равно возьмет верх над злом. Обещай, сын, что ты удовлетворишься тем, что останется после того, как продадут «Вецбирзниеки». А если и ничего не останется...

— Ради имущества, то есть ради наследства, я судиться не стану. Хотя... хотя оставленные отцом дела и требуют этого... — Петерис не договорил всего, ибо хотел сказать: «Хотя я и не верю в то, что отец уповал на всесилие человеческого благодеяния. При строе, при котором мы живем, наивно надеяться, что человек сам по себе может измениться к лучшему. Но речь теперь не об этом. И тебе, мамочка, не понять этого». — Будет по-твоему,— добавил он, укутав своим пиджаком плечи матери. И холодно же в Кокнесской церкви!

Днем, часам к двенадцати, церковь опять заполнили люди. Из Риги приехали хористы Певческого общества Петербург-

ского форштадта, приехал Фрицис Бергманис и другие товарищи Петериса по «Диенас лапе». Прибыл представитель Отдела полезной книги Латышского общества (покойный сотрудничал в этом издании), друзья и знакомые из окрестных волостей. Пришел ревнитель народной музыки — профессор Юрьян. Постояв с минуту у гроба с поникшей головой, он поднялся на хоры, откуда в торжественную тишину вскоре полились зовущие голоса органа.

Когда пастор Хилнер говорил свое слово («Учитесь у покойного! Это был добродетельный человек, почитаемый и в лачугах и в замках!»), распорядители похорон вызвали Петериса во двор. В церемониале обнаружилась неполадка. Видите ли, правление Кокнесской волости, Кокнесское певческое общество, Певческое общество Петербургского форштадта прислали ответственных ораторов, а от Рижского латышского общества будет всего лишь один-единственный человек с венком. А покойный ведь был долголетним членом «Матушки»! Не попросил бы Петерис того же посланца Отдела полезных книг Волдемара Залитиса выступить от имени всего общества? Как-никак он тоже принадлежит к латышским деятелям пера.

— Отец не признавал выклянченной дружбы,— ответил Петерис. — Коль скоро господин Залитис приехал от Отдела полезных книг, то он от книгоиздателей и говорить будет!

Петерис вернулся к катафалку, обождал, пока кончились долгие песнопения, и рука об руку с матерью пошел за похоронными дрогами к дальнему кладбищу.

Когда Залитис начал прощальное слово: «Я слышу, как Стабураг зовет Яниса Стучку: «Иди ко мне, к остальным деятелям! Не вознаградить тебя детям земли за труды твои...» — Петерису вспомнился зимний вечер в «Вецбирзниеках». Он уже школьник. Отец читает семье повесть братьев Каудзите «Времена землемеров». Читает с ироническим оттенком в голосе. Монолог Крустиня Пиетуки...

7. НАПОР «НОВОГО ТЕЧЕНИЯ»

Должно быть, Петерис чересчур мощно ударял по клавишам и нарушил елгавскую провинциальную тишину. На улице мимо квартиры помощника присяжного поверенного Яниса Плиекшана, прислушиваясь, сновали всякие людишки. Пройдут мимо окна, и тут же вернутся, и снова пройдут.

Недавно, когда Петериса Стучку вез со станции на тряской пролетке бородатый извозчик, город казался чуть ли не вымершим. Но только Петерис, пока Дора и Янис накрывали на стол,

уселся за рояль, как ветер, задирая на окнах цветастые занавески, донес с улицы в комнату звуки, которые возникают, когда дергают на воротах засов или же запирают дверь. Вскоре послышались и шаги.

— Кажется, я взял непривычное для здешней тишины фортиссимо,— сказал Петерис Доре.

— В самом деле! — Она подошла к окну, потом к другому и закрыла их. — Вы, Петерис, и представить себе не можете, что за курятник эта тихая, благопристойная столица курземского герцогства! Елгавцы согласны сухой корочкой питаться, лишь бы им сосватать и поженить кого-нибудь из местных или заезжих молодых людей и барышень. Только бы уговорить кого-нибудь полезть в ярмо брака с намеченным ими партнером.

Когда Янис из Вильны перебрался сюда, елгавцы увидели в нем одинокого молодого человека, который мог бы стать подходящей фигурой в разгадке брачного ребуса. И вдруг в один прекрасный день на квартире господина адвоката появляется девица, то есть я, и по вечерам господин Плиекшан под ручку прогуливается с ней по берегу Дриксны. Общее смятение — это чересчур мягко сказано!

Я ничуть не преувеличиваю. Тут, в Елгаве, для всех, кажется, существует только одна достойная разговора тема: кому кого следовало бы окрутить и кто когда и кого окрутит.

— Неужели поголовно для всех? — Плиекшан вышел из кухни с запотевшей бутылкой вина. — Ты, сестрица, забыла школьников и фабричных, что приходили к нам.

— Школьники и фабричные — это еще не весь город.

— Но они его будущее.

— Знаю,— ответила она, посерьезнев, и искоса взглянула на Петериса: не создалось ли превратное представление о ней? — Нет, я, ей-богу, понимаю, что такое будущее и роль школьников, которые тайком почитывают «Силу и материю» Бюхнера, «Историю развития человечества» Эрнеста Геккеля, «Моисея и Дарвина» Доделя. И какую играют роль рабочие, которые судят о том, «насколько неправдиво написана Библия», и пытаются найти рычаги «хитрой механики общества».

— А теперь, дорогой, к столу! — пригласил Плиекшан. Слово «дорогой» он почти прошептал Петерису на ухо, совсем как в гимназические годы, когда клялся ему в товарищеской верности. — Прости меня, что я рассердился на тебя,— сказал он,— за то, что ты в апреле согласился на свое избрание директором банка ремесленного общества, погорячился я тогда. Глупо вообразил, что тебя мог бы смутить звон серебра и золота. Не вникнув в суть дела, я затаил на тебя обиду, точно сыновья библейского Якова на младшего брата Иосифа. И только когда ты предложил мне место редактора «Диенас лапы», я снова понял, насколько ты великодушен. И теперь

мне стыдно, страшно стыдно... Ты понял мое угнетенное состояние, хотел помочь мне,— продолжал Плиекшан.— Ты знал, как я страдаю, отсиживая часы в постылом чиновничьем кресле и строча жалобы в суд одного уважаемого в обществе мошенника на другого. Редактируя газету, ты написал не одну хорошую, нужную книжку. А я в Вильне, погрязая в делах, смог состряпать всего-навсего несколько газетных статей. Человек, когда не занимается творческим трудом, мельчает!

Чокнемся! Вино это береглось в доме Плиекшанов до особого случая. Считаю, что случай этот настал!

У наружной двери кто-то властно дернул шнур звонка. Вошла служанка Розалия и объявила:

— Какой-то человек от господина Стерсте по срочному делу.

— Я скоро вернусь. — Янис скомкал салфетку и бросил ее на стол.

— Не так-то скоро,— уверенно сказала Дора. — Срочные дела господина Стерсте так быстро не решаются.

— Когда Янис станет редактором, все пойдет по-другому.

— Газета даст Янису большое моральное удовлетворение. Спасибо вам, Петерис! Огромное-преогромное спасибо! Только хотелось бы знать, почему это господин Стучка решил сменить пост редактора на кресло директора сберегательной кассы?

— На это есть свои причины.

— Однажды мне довелось послушать разговор брата с одним думающим елгавцем, очень разумным рабочим — Давидом Бунджей [1]. Тот возмущался тем, что «Новое течение» [2] топчется на месте. Уж очень оно придерживается экономизма и утопического социализма. Надо идти дальше. Надо переоценить все ценности, искать глубже. Скажите, Петерис, вы сами не собираетесь искать глубже? Или, может быть, редактируя «Диенас лапу», вы лишены этой возможности?

— Вы сами пришли к такому выводу?

— А разве это так трудно?

— В таком случае вы... фея-всезнайка.

— В самом деле?— Она просияла. — Но фее-всезнайке все же непонятно,— задорно начала она,— непонятно, почему Пе-

---

[1] Бунджа Давид (1873—1901) — рабочий, организатор нелегальных кружков латвийских рабочих, революционер, публицист. Во время арестов участников «Нового течения» эмигрировал в США, где издал первый латышский марксистский журнал «Аусеклис» (1900).

[2] «Новое течение» — идейное движение латышской прогрессивной интеллигенции, которое установило связи с рабочим движением и способствовало распространению марксизма в Латвии в девяностых годах XIX века. Росту «Нового течения» содействовали связи латышской интеллигенции с революционным движением Западной Европы и России. Наиболее выдающиеся руководители «Нового течения» П. Стучка, Я. Плиекшан, Ф. Розинь, Я. Янсон, П. Дауге. Организационным центром «Нового течения» была газета «Диенас лапа».

терис обманул своих друзей? Почему не свозил нас, как обещал, на троицу в Кокнесе? Почему он вдруг исчез из нашего дома, в то время как мы условились ехать после обеда на станцию?

— Виноват.

— Только виноват? Отвечайте: почему все же вы тогда так бесцеремонно удрали... как мальчишка?

— К вам тогда пришли гости.

— Ну и что с того?

— Как я понял, гости пришли с определенной целью.

— «Дядюшка» Янинь?

— Ну хотя бы «дядюшка». Этот «дядюшка» был в полном параде: черный костюм с белой манишкой, весь надушенный и с букетом в руке. И еще с огромным тортом в другой. А Розалия сказала, что такой огромный, украшенный сливами и клубничным желе торт в Елгаве принято подносить, когда сватаются,— сказал Петерис и покраснел.

К счастью, вернулся Янис.

— Простите, я задержался дольше, чем предполагал... Ну что вы тут без меня успели? Ничего даже не попробовали? И почему вы так притихли? Дора, должно быть, опять жаловалась на Петербургский медицинский институт, который отклонил ее прошение: чересчур много набралось желающих, прошения о принятии подали тысячи девиц из высшего света.

— Да, теперь мне только остается Цюрих или Берн,— подхватила Дора. — Доктор Новицкий говорил про девушку из Балдоне, которая собирается в Цюрихский университет. Но и она не знает еще по-настоящему, какие там условия приема. Нужно ли сдавать вступительные экзамены? А если да, то по каким дисциплинам и на каком языке? И как с латынью, если по этому предмету в аттестате нет отметки? Дорога в Цюрих стоит как-никак тридцать пять рублей...

— За справками неплохо бы обратиться непосредственно в швейцарские университеты,— сказал Петерис.

— Надо туда написать. Чем же Дора Плиекшан хуже этой балдонской девицы?

— Правильно, сестрица! Wille zur Macht über sich selbst [1]. Кажется, так сказал Ницше,— улыбнулся брат.

* * *

«За справками и сведениями всегда следует обращаться к первоисточникам. Всегда нужно изучать первоисточники...» Уже долгое время эта мысль преследовала Петериса Стучку. Как затяжной недуг, который все точит и точит и не отпускает.

Добился он, правда, уже очень многого. Редакция «Диенас

[1] Стремление к силе через самопреодоление *(нем.)*.

лапы» стала теперь местом встреч искателей социальной справедливости, центром латышских новотеченцев.

В летние и зимние школьные каникулы воздух в редакции становится иссиня-черным от табачного дыма, напускаемого страстными спорщиками. Дерптские и московские студенты, а также лиепайские, елгавские и кулдигские школьники — любители пошуметь, поспорить.

«Смотри! И этот явился! Ну как там теперь, в ваших краях? Выкладывай, выкладывай!..» — раздается всякий раз, как только в редакции появляется какой-нибудь представитель беспокойного племени. Пять-шесть рук одновременно извлекают портсигары, чиркают спичками. Люди, попыхивая папиросками и покашливая, наперебой расспрашивают прибывшего: «А как народ? Трудовой люд? А как с библиотекой вашего кружка?.. А лекции?..»

Сотрудники «Диенас лапы» могут сколько угодно морщиться от отчаяния — в школьные каникулы, когда здесь толчется молодежь, сотрудники газеты должны уметь работать и в неумолчном гомоне и шуме. И должны быть еще рады, что эти темпераментные ребята прямо с вокзала направляются сюда, на Елизаветинскую, 16. Карманы потертых студенческих тужурок всегда набиты пестрящими правкой рукописями. Это корреспонденции с мест, а иногда обзоры статей из новейших русских и немецких журналов или научных изданий.

Когда номер газеты подготовлен и сотрудники расходятся по домам, гости перебираются на квартиру Петериса Стучки. Редактор живет в том же доме, где помещается «Диенас лапа». У Стучки для студентов и школьников, которые вынуждены считать каждую копейку, всегда накрыт стол с завтраком, обедом, ужином, и там можно угощаться без стеснения (прислуга Стучки тогда дважды на дню отправляется с большой корзиной на рынок за провизией). На квартире шефа можно и переночевать. К тому же в домашних условиях легче продолжать начатые в редакции разговоры. О важнейших событиях в общественной жизни России и Западной Европы. Прежде всего — Западной Европы. Теперь там в большой чести идеи социализма, учение Карла Маркса. Социал-демократическое движение утверждается по всей Европе. В 1889 году в Париже состоялся Международный конгресс социалистических рабочих. На нем присутствовали делегаты двадцати двух стран. Появились социал-демократы и на американском континенте. Влияя на ход рабочих волнений, социалистические партии западных стран уже отвоевали у буржуазных правительств и предпринимателей немало экономических и политических прав. Так, германское правительство вынуждено было отменить чрезвычайные законы, изданные в 1878 году канцлером Бисмарком. Германские рабочие участвуют теперь в политической жизни страны, выдвигают своих кандидатов в парламент. Западно-

европейские социал-демократические партии разработали новые программы борьбы. Провозгласили новое евангелие труда.

Точно так же в Западной Европе происходит борьба между разными социалистическими уклонами. Бернштейн или Энгельс? Постепенное мирное развитие, ведущее к социалистическому будущему, или же обострение классовых противоречий до революционного взрыва? Если строго придерживаться первичности экономического базиса общества, то эволюционизм может показаться более предпочтительным, чем открытая революционность. Эволюция общества все же кажется куда более близкой открытому Дарвином эволюционизму природы. Но это ведь означает, что бернштейнианство...

«Нет, говорю я: бернштейнианцы шалят.— Дерптский студент, бывший лиепайский гимназист Фрицис Розинь [1] — самый решительный противник эволюционизма общества.— Гениальный Карл Маркс учит, что движущей силой в развитии общества являются общественные классы. Они господствуют над средствами производства. Форму общественного строя определяет исход классовой борьбы. В Дерпте один студент-поляк дал нам почитать материалы Парижского съезда Интернационала. Оказывается, от имени марксистов России на конгрессе выступил Георгий Плеханов. Он сказал, что и революционное движение России может победить только как революционное движение рабочих».

«Характер российской революции нам еще не совсем ясен. Каким видят будущее России такие гениальные умы, как Толстой и Достоевский?» Бывший лиепаец, студент Московского университета Янис Янсон любит щегольнуть эрудицией в литературе («Книгу песен» Гейне он знает наизусть и при случае никогда не преминет процитировать что-нибудь из нее!).

«В действительности Россия запуталась и погрязла в бесчисленных противоречиях,— утверждает Янсон.— А как обстоит с сегодняшней величайшей бедой России — с голодом в губерниях средней полосы? Тысячи, сотни тысяч мрут с голоду. А что делает русская интеллигенция?»

«Клеймит правительство, государственный аппарат помещиков и капиталистов. Обращает внимание общественности на необходимость революционных перемен,— отзывается елгавский гимназист Янис Ковалевский [2]. — Чтобы убедиться в этом,

---

[1] Розинь Фрицис (Азис) (1870—1919) — один из основателей КПЛ и первых организаторов латышской революционной печати. В 1917 г. избирается председателем первого Советского правительства Латвии — Исколата. В 1918 г.— член президиума ВЦИКа. В 1919 г.— комиссар земледелия Советской Латвии.

[2] Ковалевский Янис (1873—1921) — филолог, журналист, новотеченец, сотрудничал в редакции «Диенас лапы». В 1898 г. вместе со Стучкой выслан из Латвии, в 1903 г. вернулся в Латвию и работал как профессиональный журналист.

достаточно почитать рассказы Владимира Короленко, его публицистику. По правде говоря, современная Россия бурлит, как огромная плавильная печь, из которой вот-вот пойдет чистый металл для литья».

«Пойдет. Но только не так скоро...»

«И не в Курземе или Видземе. Мы, балтийцы, из-за нашего географического положения и психического склада являемся исключением. Хоть логика западных свобод и нам диктует свои условия»,— самоуверенный красавчик, лиепайский гимназист Пауль Калнинь[1] всегда норовит подчеркнуть особые условия Латвии.

«Ну нет!» — Фрицис Розинь и другие решительно возражают против такого толкования латышской сущности.

Петерис Стучка участвует в беседах своих гостей и товарищей по застолью. В критическую минуту он метко и остроумно, анекдотом, сатирическим или шутливым стишком, успокаивает разгорячившихся спорщиков. Петерис внимательно прислушивается к разговорам. А когда гости расходятся, он остается один в утихшей квартире с тлеющим в сердце чувством неудовлетворенности.

Что сделано по-настоящему значительного «Диенас лапой» за те два года, которые он редактирует ее? Что сделано значительного для революционизирования общественной мысли? Совершенно прав молодой Ковалевский, подчеркивая это как самое главное!

Ну хорошо, под руководством Петериса Бирзниека, то есть Стучки, либерально-прогрессивная «Диенас лапа» превратилась в радикально-демократическую газету. Прежняя программа газеты — «народное благополучие», «прогресс», «всеобщий культурный подъем» — теперь обрела другое содержание.

Уже не может быть никакого примирения с кругами Рижского латышского общества, с националистическими дельцами и их газетами «Балтияс вестнесис», «Балсс» и «Тевия»[2]. Между двумя лагерями идет необъявленная война. Выкрутасы матушкинцев с обычаями предков, любование жеребчиками и молодцами благодаря «Диенас лапе» стали смешными в глазах большинства народа. Как и «аристократизм» матушкинцев, их онемеченная речь и статьи. Этим дурачествам «Диенас лапа» противопоставляет исследование вопросов истории, культуры, языка и традиций латышского народа на уровне современной науки. «Пока существуют полтора миллиона латышей, не знающих другого языка, кроме латышского, мы считаем своим священным долгом заботиться о его развитии»,— писал Петерис.

---

[1] Калнинь Пауль (1872—1945) — врач, новотеченец, один из лидеров меньшевистской партии Латвии. В буржуазной Латвии председатель сейма.

[2] «Отчизна».

Особое приложение к «Диенас лапе» «Этнографические сведения о латышах» должно содействовать собиранию языковых материалов и свидетельств древней культуры. «Диенас лапа» старается направить латышскую художественную литературу по живительному руслу реалистического искусства, уводя ее от избитой слащавой романтики. Газета требовала, чтобы публикуемые романы заключали в себе передовые идеи, то есть чтобы литература жила вместе с народом, показывая разные течения и эпохи его жизни.

В газете новотеченцев появлялись статьи, в которых говорилось о все чаще вспыхивающих в Европе рабочих волнениях, заставляющих правительства предпринимать шаги, в какой-то мере удовлетворяющие требования рабочих. Писалось о «сейме» берлинских рабочих, который обсудил условия германского правительства о труде на рудниках, об облегчении женского и детского труда, обеспечении воскресного отдыха. К таким сообщениям редакция присоединяла свои замечания: решения «рабочего сейма», например, в рабочий вопрос не вносят ничего нового, но зато теория этого вопроса дает больше, нежели постановления «сейма» (под теорией рабочего вопроса надо было понимать теорию социализма).

Редактор Стучка заботился о том, чтобы в «Диенас лапе» появлялось побольше статей о буднях западноевропейских рабочих, о решениях Парижского конгресса, о значении праздника Первого мая и о восьмичасовом рабочем дне. О пробуждении или эмансипации женщин, о конгрессах и конференциях западноевропейской социал-демократии. Постольку, поскольку это дозволялось красным цензорским карандашом и поскольку по этим вопросам были доступны первоисточники.

А первоисточники были весьма скудны. И очень односторонни.

Может, это оказалось случайным совпадением, но теорию социализма Петерис Стучка знал больше по произведениям Фердинанда Лассаля. Карл Маркс, первый том «Капитала» которого он читал в Петербурге, показался Петерису крупным авторитетом в общественной экономике, а Фридрих Энгельс — в истории развития государства и семьи. Но вот дерптцы упоминают теоретические труды Маркса и Энгельса. А он этих трудов не знает.

Чтобы влиять своей деятельностью на общественные взгляды, надо ознакомиться с первоисточниками учения социализма. Надо найти нужную литературу — и исследовать, учиться...

А для этого Петерис Стучка должен освободиться от своих обязанностей в «Диенас лапе». Плиекшан будет руководить газетой ничуть не хуже его. В каком-то смысле даже лучше! Конечно, чтобы уберечь газету от причуд издателей, их поползновений изменить ее направление, надо самому стать ее

издателем. Тут в его руках есть сильный козырь — пост директора кассы Рижского ремесленного общества — ведь касса является гарантом газеты! Но стоит подумать — не стать ли самому Стучке издателем «Диенас лапы»? Хотя бы одним из них?

После смерти отца Петерис, как единственный законный наследник «Вецбирзниеков», вправе распоряжаться оставленным состоянием. Много отец не оставил, но все же...

Состояние, добытое трудами и по́том вецбирзниекских тружеников, надо превратить в пищу, которая даст трудящимся силы на их пути к свободе.

* * *

Станционный колокол оборвал гомон голосов отъезжающих и провожатых. Второй звонок!.. До отхода поезда остались считанные минуты. Провожающим надо спешить с пожеланиями и напутствиями. Еще несколько минут — и они крикнут вслед уходящему поезду два-три слова, которые все равно никто, наверно, не услышит. Военный оркестр, выстроившийся перед вагоном первого класса, вскинул трубы — сейчас грянет марш в честь какого-то высокопоставленного губернского начальника.

— Прощай, Петерис! Спасибо тебе за все! Будь здоров! — и Пауль Дауге уже ухватился за вагонные поручни. Пассажирам четвертого класса определенное место не полагается, да и количество их не ограничено. Сколько влезет в вагон, столько и едет. Зато проезд до Берлина четвертым классом стоит семь с полтиной, а третьим — семнадцать с половиной рублей. Четвертый класс — это для тех, у кого кошелек потоще, кто пускается в путь, чтобы превзойти науки или изучить ремесло.

«Желаю удачи в этом необычном деле»,— мысленно добавил Петерис. И повернулся к обратившемуся к нему человеку:

— Да, знакомого проводил. Школьного товарища. Едет в Германию учиться на зубного врача. В этой области немцы нас сильно опередили... Ах, вам угодно знать, когда мы за Европой угонимся? Я ведь не провидец... Извините, мне некогда.

Любопытный какой! Человек неопределенного возраста и неопределенной профессии. Он в котелке и поношенном, лоснящемся пиджачке. Такой к пассажирам первого или второго класса или к их провожатым не пристанет. Вообще пассажиров высших классов, если только нет особого указания, шпики не беспокоят. Надо напомнить об этом любопытному Паулю, когда будет собираться из Германии домой.

Правда, Пауля голыми руками не возьмешь. Так ловко отвертелся от воинской повинности. Разузнал, что в одной

комиссии сидит свободомыслящий врач, и добился вызова именно на эту комиссию! А доктору шепнул: «Не хочу в солдаты, собираюсь учиться за границей!» Пауль хорошенько продумал, как познакомиться с социал-демократами Германии, как организовать перевозку литературы. Если Пауль загорится каким-нибудь делом, то уж непременно доведет его до конца. Непременно!

А если ему все-таки не удастся, то нужные связи с заграницей попытается наладить Плиекшан. Янис собирается в конце лета навестить сестру в Швейцарии. У Яниса свой план. В Швейцарии, во Франции и Германии находятся редакции социал-демократических изданий. И, как пишет Дора, она уже нашла там единомышленников. По ее письмам можно судить о том, как вольно ей там дышится. О своих глубоких раздумьях о жизни и задачах человека она говорит откровеннее, чем допустимо в письмах из-за границы, которые проверяются жандармами, куда более дошлыми, чем тот тип, что слонялся возле берлинского поезда.

Что верно, то верно: в политической проницательности Доре не откажешь. Произведения французской литературы, переведенные для «Диенас лапы», отбирала она сама (и превосходно перевела!). И вот совсем недавно Янис открыл еще одну тайну: находясь в Риге, Дора встречалась с русскими студентами Политехнического института, высланными за политическую деятельность из внутренней России.

«Познакомилась раньше других новотеченцев...»

Петерис взглянул на часы.

До семи, когда ему надо быть на вечере вопросов общества взаимопомощи «Ионатан», времени еще довольно много.

Куда деваться?

Вернуться на квартиру или отправиться в редакцию, посмотреть, как бедняга Сирмайс трудится, потягивая из пивной бутылки. И дома и в редакции найдутся десятки мелочей, которые снова будут напоминать ему о н е й.

Случилось неизбежное: он влюбился...

Хоть и любовь эта должна остаться без взаимности. Он должен пережить традиционное фиаско первой влюбленности. Потому... потому... что Дора видит в Петерисе лишь друга семьи, да и только. Когда они остаются наедине, то разговаривают только о серьезных вещах, иногда шутят или музицируют. Вот и все.

Быть может, ему не надо было скрывать свои чувства, когда он понял, что случилось? Быть может, надо было признаться, объясниться? Но он избегал объяснений. Боялся, что в случае отказа отношения с Дорой испортятся и — кто знает,— может, перестанут быть такими непринужденными и с Янисом.

Да и он, Петерис, еще никогда ни с одной девушкой не говорил о любви.

Кроме того, есть еще одна причина.

Дора хочет получить университетское образование, хочет встать в общественной работе рядом с мужчинами. Это много, очень даже много. В достижении столь благородной цели Доре ничего не должно помешать.

При столкновении личного и общественного человек идеи всегда должен знать, чему отдать предпочтение.

Только человек
На невозможное способен.
Он ищет, выбирает,
Рядит и судит.

Так, наверно, писал любимый Дорой великий веймарец. И Олимпиец считал, что личное должно молчать...

А теперь до начала вечера в обществе «Ионатан» он может скоротать время и в более шумном месте, где никто не станет навязываться ему с любезностями и любопытством. Скажем, в павильоне Верманского парка. Там вроде клуба немецких богачей и чиновников. Играет один из лучших рижских оркестров.

Метрдотель проводил господина адвоката, директора сберегательной кассы к свободному столику у простенка между окнами, неподалеку от оркестра. Посетителей в зале было мало, тут народ собирается только по вечерам. В зале сидело не больше полутора десятка человек. Они мирно беседовали и посмеивались. И краем уха слушали музыку.

Струнное трио наигрывало не слыханное до сих пор попурри из песен Шуберта, сложенное, по-видимому, первой скрипкой оркестра — каким-то неудачником с дипломом консерватории.

Ажурная, лениво плывущая мелодия не гармонировала со стуком вилок и ножей и деловыми разговорами. Петерис устроился за своим столиком так, чтобы перед глазами не мелькали сидящие в зале люди, и попытался вслушаться в музыку. Слить в плавную, гармоничную мелодию такие отдельные яркие и выразительные композиции может только одаренный человек.

Музыка уже переходила в приглушенную концовку, словно в предвечерний отзвук, когда за столик позади Петериса села какая-то пара. Их тоже проводил к столику метрдотель.

Растаяли последние аккорды, и зал, словно набежавшие на морской берег волны, захлестнули голоса.

— Мы — новые вольнодумцы, открытым фронтом мы выходим на борьбу, сокрушать все старое. Как на знаменитой картине «Рыцарь против черта и смерти»,— услышал Петерис знакомый голос. — Нам принадлежат новые, яркие мысли, мы преисполнены экстаза, чтобы бороться и погибнуть за свои идеалы...

Друг Плиекшан! За соседним столом Плиекшан! И эту белокурую красотку, по внешности актрису, он тоже где-то видел!

— Вы думаете, что у других таких чувств нет? — услышал Петерис, как спросила дама Плиекшана.— Я тоже стараюсь перекинуть мост к звездам, по которому хоть на мгновение могла бы подняться будничная душа.

«Черт подери, так это ведь Эльза Розенберг! [1] Молодая поэтесса Аспазия!» Петерис еле сдержался, чтобы не обернуться. Несколько ее стихотворений было напечатано и в «Диенас лапе». Небывало благозвучный язык. С романтическим пафосом, чем-то родственным Байрону, Шиллеру или Лермонтову. Говорят, что Аспазия написала пьесу в духе Зудермана или Ибсена и большую поэму. В последнее время поэтессе протежирует Бирзманис из театральной комиссии «Матушки». Дает средства на постановку символико-романтической пьесы «Весталка», хочет привлечь Аспазию в свою комиссию. Несомненно, у Бирзманиса относительно этой талантливой поэтессы свои планы. Но друг Плиекшан, кажется, хочет привлечь Розенберг к диенаслаповцам. В самом деле — столь интеллектуальной женщине в вертепе матушкинцев не место!

— Как видите, мы идем к одной и той же цели. Но каждый своим путем.— Это говорит Плиекшан.

— Моя цель — прекрасное на высшей ступени, которое выражалось бы через мою личность, как через медиум.

— Моя — добро в самом широком понимании, могущее найти воплощение только в человеческой общности.

— Значит, вы коллективист, теряющийся в массе, как дерево в лесу. Ваша личность может только отсвечивать, как радуга, которая на какое-то время появляется и исчезает.

«Она романтик,— сделал вывод Петерис.— Ну да, вот она завела разговор о воплощении греческих идеалов в индивидуалисте и в коллективисте, о «прекрасно-добром» Сократе...»

* * *

Эльза Розенберг теперь почти каждый второй день бывает в редакции «Диенас лапы». «Духовные вожди» новотеченцев, как называют редакторов газеты матушкинцы,— ревностные поклонники ее таланта. «Ярчайшая звезда латышской поэ-

---

[1] Розенберг Эльза, впоследствии Плиекшан (Аспазия) (1868—1943) — выдающаяся латышская поэтесса и драматург романтического направления. Спутница жизни Я. Райниса. Под влиянием «Нового течения» написан ее лучший сборник стихов «Красные цветы», а под влиянием революции 1905 г. — стихи и пьеса «Серебристая вуаль».

зии»,— говорят они о поэтессе, о ее поэме «Дочь солнца», древнеромантической «Весталке». И аплодируют ее пьесе «Утраченные права», которая так взбудоражила «лучшие латышские фамилии». Но, общаясь с поэтессой, сотрудники редакции по-прежнему называют ее госпожой Розенберг.

Она, видимо, предпочла бы, чтобы ее называли по литературному псевдониму (знакомясь с сельскими новотеченцами, она представляется: «Я — Аспазия»). Правда, она на сотрудников редакции за «госпожу Розенберг» не обижается. Только иногда смеется: «Вы, дорогие, все страшные буквоеды...»

В редакцию «Диенас лапы» поэтесса обычно влетает с бурной стремительностью. Игриво слегка коснется пальцев рук мужчин, опустится в кресло против редакторского стола и, откинувшись на спинку, с минуту наблюдает за газетчиками, спешащими разделаться с неотложными делами. Затем спрашивает с неотразимой самоуверенной улыбкой:

— Расскажите, мудрые друзья, что нового, интересного произошло в этом дряхлом мире?

Ее вопрос — это лишь намек сотрудникам редакции, чтобы они кончали черкать набор, перестали скрипеть биржевыми перьями и гонять рассыльного в типографию с каждым исписанным листом. Поэтессе не терпится поговорить с мудрецами новотеченцами (руководителей «Диенас лапы» она искренне считает умнейшими латышскими интеллигентами!). Она только что опять читала Шелли, комкая в руке носовой платок, проводила часы над Байроном и Лермонтовым. Она вдруг открыла для себя ранее не увиденную самобытность прекрасной поэзии Шиллера... Она также изучила неоднократно упоминавшиеся новотеченцами очерки Ипполита Тэна о зависимости больших личностей от физических, социальных, духовных условий и от влияния конкретных элементов. Однако постулаты Тэна кажутся ей чересчур примитивными, топорными. Она, правда, не привыкла копаться в сложных теориях, как эти мудрецы: «У человека чувств от теорий начинает трещать голова».

— Послушайте, вы, дорогие мои...

«Дорогие мои» она произносит с такой душевностью, что все в редакции откладывают газетные полосы с цензорскими помарками и обступают гостью, точно играющие дети цветочный куст.

— Сударыня... Многоуважаемая поэтесса...— Каждый пытается привлечь к себе ее внимание. Иной — литературными каламбурами, иной — декламацией стихов, иной — талантливым пересказом какого-нибудь события.

Янис Янсон смешит поэтессу пародиями на старомодных писателей. Он издевается и над «Балтияс вестнесисом», в котором великие соплеменники никак не перестают совестить Аспазию за ее «аморальные» произведения, написанные на

манер пьес Зудермана и Ибсена. Петерис Стучка не прочь пошутить над философскими рассуждениями поэтессы, а редактор газеты Плиекшан охотнее всего говорит о ее новых стихах. Может, она принесла что-нибудь? Не позволит ли взглянуть? Или сама прочитает? Ведь она читает свои стихи с бо́льшим чувством, чем актеры театра «Матушки».

— Если господам угодно...

Просьба Плиекшана ей льстит.

Ее вопросительный взгляд скользит по присутствующим, задерживается на Петерисе.

— И мудрый господин Стучка?

Этот вопрос можно воспринять и как ироническую шпильку (пускай не смеется над философскими рассуждениями) и как... Да, и как косвенное проявление благосклонности. Особенно когда такие вопросы умышленно повторяются.

И Янис Янсон не был бы самим собой, если бы первым не заметил этого и не сказал об этом другу прямо в глаза. К Аспазии Янсон неравнодушен, не один присланный им букет роз украшал комнатку поэтессы.

— Звезда нашей поэзии все чаще светит в твою сторону.

— Не болтай глупостей.

— Не притворяйся. Кто же, кроме тебя, в «Диенас лапе» годится в Аполлоны, о ком еще все хористочки «Матушки» шушукаются? Стан Геркулеса. Мудр. Остроумен. Знаменитый адвокат...

— Среди диенаслаповцев, дорогой, есть и другой мудрый и знаменитый адвокат. И куда более талантливый!

— Только он не отвечает тому идеалу мужской красоты, который пленит поэтессу. Она знает себе цену. А о ее взглядах на взаимоотношения мужчины и женщины можно прочесть в новеллетте «Борьба за будущее». Ее идеал — гармоничное развитие, необходимое для достижения согласного сожительства идеально полноценных партнеров — мужчины и женщины.

— Ты, друг, по-моему, глубоко заблуждаешься. Червь ревности гложет тебя не в том направлении.

— Ну, знаешь...

— У меня трезвые глаза. И такими они должны быть,— сказал Петерис, но подумал, что было бы несправедливо слова Янсона объяснять только ревностью. Петерис и сам догадывается, что в щедром внимании Аспазии кроется нечто большее, чем игривый отклик на тон, которым он говорит о философских рассуждениях поэтессы. Когда он иронизирует над неведомыми, недоступными далями и целями, непостижимыми идеалами, неопределенными стремлениями — Эльза Розенберг не обижается на него. Только не сводит с Петериса своего влажно мерцающего взгляда. Взгляд этот будит тревогу. Не в силах мужчины оставаться холодным как лед перед лицом такой красавицы.

...Всякий раз, когда Янис Плиекшан заговаривает о своей сестре Доре, Петерис жадно ловит каждое слово друга. Петериса охватывает радостное волнение, когда в письме из Франции Дора передает ему привет.

— Приходите завтра ко мне на небольшое семейное торжество,— сказала однажды поэтесса Петерису, прощаясь после концерта.

— На какое торжество, смею я спросить?

— Это не имеет значения! — улыбнулась она, смахнув с виска прядь волос.— Торжество в самом-самом тесном семейном кругу. Приходите ровно в семь.

«Торжество в самом-самом тесном семейном кругу... Интересно, кто же приглашен из наших? Янис тоже?»

В назначенное время он с букетом алых роз и изящно упакованной коробкой конфет позвонил у квартиры поэтессы. И, ожидая, пока его впустят, пытался представить себе, кого он там встретит.

Дверь открыла сама госпожа Эльза. Она отступила, чтобы пропустить гостя. Здороваясь, театрально склонила голову. В волосах у нее сверкает роскошная пряжка. Тонкие белые кружева окаймляют воротник и манжеты платья.

— Это очень мило с вашей стороны, что не заставили себя ждать.— Она протянула руку для поцелуя.

— Я, наверно, самый первый? — Вручив розы, Петерис огляделся вокруг.

— Д-да... Как видите, остальные гости пунктуальностью похвастать не могут. Но не будем из-за этого портить себе настроение. Садитесь, пожалуйста, вон на тот стул у диванного столика. В ожидании вас я перелистывала альбом с фотографиями. Совсем как благовоспитанная девица из сентиментального романа. В альбоме собрано все мое прошлое. Вот так выглядит моя родина. Отцовский дом в зaлениекских Даукшах...— Она пододвинула к стулу Петериса круглый пуфик. Совсем-совсем близко. Сквозь тонкий муслин Петерис почувствовал плечом ее теплое плечо.— Эта солидная дама в черном чепце — моя матушка. Надменное, одержимое демоном сознания своего превосходства существо. Я кое-что унаследовала от ее характера. А это мой отец... Безликий человек. А тут я зажата между воспитанницами Елгавской женской школы Доротеи, противными спесивыми немками. А тут ваша Эльза уже одной ступенью выше — в Елгавской женской гимназии, где началась моя неотразимая любовь к Шиллеру, Байрону, Шелли, Лермонтову и Пушкину.

— Шелли и Лермонтов, кажется, и пробудили вашу музу,— заметил Петерис.— По крайней мере, в некоторых ваших стихотворениях заметны близкие им мотивы.

— В самом деле? Интересно...

— Например, ваше:

Только то, что потеряли,
Мы дорогим признаем.

Мне это напоминает стихотворение Шелли о том, что грустим по поводу того, чего у нас нет. Наши нежнейшие песни — те, что говорят о самых печальных чувствах. Точно так же ваше «О, дайте мне мысли исполина...» напоминает известное лермонтовское стихотворение «Гляжу на будущность с боязнью».

И он читает его.

— Петерис, вы удивительно хорошо знаете поэзию! Вы так чудесно читаете Лермонтова! Прочитайте, пожалуйста, еще что-нибудь!

— Да какой из меня знаток! — отнекивается он.— Знаю «Бородино», «Воздушный корабль», который теперь зубрит наизусть каждый мальчишка в приходской школе. Но есть люди, которые в самом деле могут прочесть наизусть всего Лермонтова. Вот сестра Яниса Плиекшана Дора. Она прочтет вам любое стихотворение и даже большие поэмы — «Мцыри» и «Демон».

— Сестра господина Плиекшана, наверно, приедет скоро на каникулы. Тогда, я надеюсь, и мне представится возможность познакомиться с созданием, которым ее брат так восхищается. — Голос Аспазии вдруг утратил свой бархатистый оттенок.

— Да, она необычная,— не уловив холодности поэтессы, продолжал Петерис.— У нее такая же светлая голова, как у брата. И к тому же она обладает необычным для женщины острым восприятием сущности социальных явлений.

— Кажется, гости мои в самом деле забыли о моем приглашении. — Поэтесса тоже встала. — Я принесу кофе. Вам, наверно, неплохо будет промочить пересохшее от восторгов горло?

* * *

Дора в Риге! Дорины каблучки цокают по тем же выложенным елочкой кирпичам тротуара, которые изо дня в день топчут ноги Петериса. Дорины руки скользят по тем же лестничным перилам в доме по Елизаветинской улице, на которые опирается он, возвращаясь с работы или заходя в редакцию «Диенас лапы». Дора отражается в тех же витринах магазинов, в которые смотрит Петерис, дышит тем же теплым летним воздухом, что и он. В скверах ветер осыпает ее той же пыльцой липового цвета.

В часы утренней спешки, в полуденной тишине, в вечерней сутолоке Дора бывает вместе с теми же людьми, с которыми встречается Петерис. Он ощущает ее повсюду — как

свет, как освеженный весенним дождем звонкий воздух, как живой пульс самого города.

На людях — в концертах, театре или на вечерах вопросов новотеченцев в зале «Ионатана» или в «Карлевице» — Дора появлялась вместе с братом-редактором, открыто восхищавшимся сестрицей.

«Француженка» отличалась простотой и естественной непринужденностью. В ее манере держать себя и одеваться не было ничего кричащего, ничего безвкусного. Темный облегающий студенческий костюм, на вечерах — простое, но со вкусом сшитое платье, единственное украшение — брошка в виде гвоздики или живой, раскрашенный заморозками лист на груди.

У Доры коротко подстриженные волосы, как у мятежных «эмансипированных» девушек, но гладкая прическа делает ее лицо еще привлекательнее.

Говорит Дора спокойно, уверенно, не стремясь обращать на себя внимание.

— Dem Reinem alles ist rein [1],— говорит она, улыбаясь, критику Теодору Зейферту, которому диспут, затеянный студентами и молодежью, толпящейся в зале «Матушки», кажется непристойным для женщин.— Не будет ли деление тем на мужские и женские предрассудком? Женщина — коллега мужчины, его товарищ.

Гимназисткам, которые с блестящими от восхищения глазами протискиваются к заграничной студентке, Дора терпеливо разъясняет, кто такая Ада Негри, о которой теперь начали писать. И чем объяснить, что стихи Негри — о совершенно обыденных вещах. О жизни работниц больших фабрик, о том, как пыль и копоть заводов поедают молодые жизни. Было бы неверно утверждать, что Ада Негри стремится расчувствовать читателей изображением многострадальной жизни работниц. В стихах итальянки слышится голос новой, становящейся, общественно активной поэзии. Ее стихи перекликаются с промышленным веком и социальной борьбой и в духе сурового реализма передают гаммы чувств.

О событиях литературной жизни Латвии Дора, правда, осведомлена весьма поверхностно. Но она того же мнения, что и те, которые считают своевременной критику, высказанную в «Мыслях о литературе новейшего времени» ниспровергателем пошлой псевдонародной литературы Янсоном. Речи на собрании недавно организованной матушкинцами Комиссии знаний — ответ на лекцию Янсона — оказались совсем несерьезными. Только пигмеи могут возмущаться критикой. Настоящий талант и резкие суждения воспринимает рассудительно. Как Рудольф Блауман. На серьезных писателей, говорит он, Янсон своей критикой оказал глубоко стимулирующее влияние.

---

[1] Для чистого все чисто *(нем.)*.

Дора привезла с собой доклад о новейших взглядах по женскому вопросу за границей. Она передала его Певческому обществу Петербургского форштадта. Сама она не выступила. За это взялась выпускница женской гимназии Нина Улпе. Дора сидела среди слушателей, между Янисом Янсоном и Паулем Дауге.

Петерис спрятался за спиной Доры. И неотрывно смотрел на нее.

Не может быть, чтобы Дора не чувствовала его настойчивого взгляда.

Но Дора даже не шевельнется. Словно каменная. Петерису стоило огромных усилий, чтобы не протянуть руку и не коснуться Доры.

«Дора, милая... Милая Дора!»

Увлекательно написанную лекцию люди слушали затаив дыхание. И когда Улпе покинула кафедру, со всех концов зала раздались аплодисменты. Фабричные работницы, рабочие, перекрикивая друг друга, выражали свою признательность сестре редактора «Диенас лапы». Спасибо, спасибо за столь близкие нам речи! И этому немцу Бебелю, который призывает женщин к разумным делам, тоже спасибо! Вдруг какая-то девушка, сидевшая напротив кафедры, сорвала с головы косынку, махнула ею и начала декламировать переложенное на латышский язык стихотворение Некрасова:

Укажи мне такую обитель...

— Не раз-ре-шаю! — раздался грозный окрик. Декламацию перекрыла трель полицейского свистка.— Не разрешаю! Запре-щаю! — заорал помощник пристава.— Раз-зой-дись!

— Как это так — разойдись? — Петерис Стучка пробрался вперед среди притихшей от неожиданности публики.— На каком основании вы запрещаете дозволенное собрание?

— Дозволенное собрание уже кончилось. На стишки разрешения нет. И кто вы такой, что вмешиваетесь?

— Кто я такой? Вы не знаете, кто я такой?.. Не знаете? — встряхнул Стучка шевелюрой и сам при этом словно раздался в плечах.

— Да, кто вы такой? — блюститель самодержавия кричал уже не так громко.

— Господин пристав в самом деле не знает? — Стучка казался вконец изумленным. Повернулся к притихшим от внимания слушателям и развел руками. Смотрите, мол, ну и дела!

— Кто же?

— Делегат,— небрежно, но сурово бросил Стучка.

— Никаких делегатов я не знаю.

— В самом деле? Господин пристав не знает? В таком случае он не знает предписаний общественного циркуляра. Об-щест-вен-ного.

— Не привелось ознакомиться...— Полицейский как будто растерялся.

— Придется ознакомиться! Непременно придется.

— Придется! Ха-ха-ха! В самом деле придется! — загоготали студенты.

— Вы мне! — погрозил кулаком помощник пристава.

Он догадывался: тут что-то не так... Но что именно? И как ему теперь поступить? Эти образованные, эти студенты всегда какую-нибудь злую шутку выкинут.

— Вечер закрыт! У меня насчет этого строгая инструкция.— Он говорит это довольно грузному господину в визитке и белой накрахмаленной манишке — делегату, как тот назвал себя. Вообще-то у этого господина следовало бы потребовать документы. Но кругом такая толпа...

— Ну, раз строгая инструкция, тогда конечно.— Стучка — сама серьезность.— Пошли, друзья!

— Уж он у себя в участке теперь задаст своим писарям баню! — торжествовали диенаслаповцы.— За этот самый общественный циркуляр. Чего это вы, такие-сякие... от начальства важную бумагу скрыли?

Дора тихо смеялась. И когда ноги Петериса и ее стали вязнуть в рыхлом песке пригородной улицы, она взяла руку Петериса, осторожно согнула в локте и зацепилась за нее своей.

— Иногда тупость держиморд стоит выставить напоказ какой-нибудь студенческой шалостью,— сказала она друзьям, шедшим вместе с ними.

— Стоит, конечно.— И Янсон принялся во весь голос рассказывать фривольный московский студенческий анекдот.

Когда приходилось переступать через ухабы, Дора плечом касалась руки Петериса.

Кто-то из спутников попросил барышню Плиекшан рассказать еще что-нибудь о западноевропейских социалистах. Какое впечатление на нее произвело первое знакомство с пропагандой идей свободы? И Третий конгресс Интернационала? Редактор «Диенас лапы», правда, докладывал о заключительной речи Энгельса на конгрессе, о друге латышских марксистов Августе Бебеле... Но господин редактор был на конгрессе всего лишь один день, а барышня Плиекшан — от начала до конца. Кроме того, говорят, будто у нее друзья среди польских эмигрантов-социалистов.

— Я говорю по-польски, а язык ведь сближает.

Теперь она лишь кончиками пальцев держалась за локоть Петериса.

Там, за границей, прогрессивных людей влечет друг к другу. У тебя возникает желание стать лучше, сделать что-нибудь для блага своих сограждан, то есть для страдающих от соци-

альной несправедливости. И больше знать, учиться (не только в своем ремесле). Учиться у народа, по книгам, которые за границей доступны благодаря библиотекам. Учиться на диспутах, на праздниках организаций, шествиях. Когда она в прошлом году впервые участвовала в демонстрации рабочих и студентов, ее охватило несказанное чувство. Тысячи и тысячи людей движутся сомкнутыми рядами. А над ними — пылающее от бесчисленных знамен небо. Звучат революционные песни. Город гудит от шагов демонстрантов. И ты охвачена теми же мыслями, что прокопченные горькими фабричными дымами рабочие, работницы в красных косынках, что неуклюжие парни — ломовые извозчики: «Мы — великая трудовая армия, мы — оплот народного будущего!»

— Когда мы доживем до этого у нас? — грустно спросил один из спутников.

— Этот день уже не за горами,— ответила Дора.— Надо посмотреть вокруг. И почитать историю. Что было в Западной Европе, когда провозгласили Коммунистический манифест? Что — после революции сорок восьмого года? А что произошло в семидесятых годах, когда парижане штурмовали небо? Или возьмем хоть близкую нам Германию...

Посреди Мариинской улицы Янсон предложил попутчикам проститься, пожелал Доре и Петерису счастливого пути и сам торопливо, словно желая что-то наверстать, повернул в противоположную сторону. Петерис не был уверен, что парню нужно именно туда, но от души благодарил про себя Яниса за то, что оставил его наедине с Дорой.

— Дора, я должен тебе что-то сказать...— Молчание уже стало невыносимым, мучительным.

— Что?

— Дора, я...

— Ну что?..

— Дора, я...

— Я знаю, друг. Знаю это со времени нашего разговора в Елгаве. Когда ты не сумел скрыть своей ревности к «дядюшке» Яниню.

— А ты?

— Я была несказанно рада.

— Была?

— Ты... такой!

И он узнал, что все началось еще при их первой встрече в Ясском имении. Этому способствовали обстоятельства. Ее близкие. Родители и сестра Эльза не могли нахвалиться, когда говорили о друге Яниса. Какой чудесный человек! Такой милый, воспитанный, музыкальный!

— И когда я увидела тебя, мне только оставалось присоединиться к хору твоих почитателей.

— Но ты вела себя со мной как королева с холодным

сердцем из немецкой сказки. Ни взглядом, ни жестом, ни интонацией не дала мне понять, что я тебе не безразличен.

— Я хотела себя проверить, смогу ли я, как друг и соратник, стать рядом с тобой. Вы с Янисом восхищались женами декабристов, польскими революционерками. Я поняла, каков твой идеал женщины. Поэтому... Погоди с выводами... Я еще не такая, какой должна стать.

Они прошли до канала, повернули в аллею, переполненную шелестом лип. Казалось, этой ночью тысячи пчел вылетели из ульев, из выдолбленных в деревьях дупел, чтобы жужжать вокруг двух счастливцев.

Когда Петерис и Дора оказались на улице Паулуччи, против дома, где жил редактор Плиекшан, Петерис снял шляпу и, наклонившись, долго грел губами Дорину руку.

— До завтрашнего вечера, Петерис! — простилась она.— Янис, наверно, уже заждался. Хотя... может, его и нет дома... Петерис, я хотела тебя о чем-то спросить.— Она вернулась.— Приятельницу Яниса ты хорошо знаешь? Какая она? Видишь, когда я приехала из Монпелье, я у брата застала Эльзу. Она экзальтированно кинулась обнимать меня и заверять в своей любви. Меня всегда раздражает театральность, а тут еще такой сюрприз! И я очень резко ответила ей: «Мы ведь еще совсем незнакомы». Мне всегда хочется, чтобы человеческие отношения были естественными и ясными. Или я тогда неправильно повела себя?

* * *

— Этот вечер господин Винклер всю жизнь помнить будет.

— И уже дедушкой, постукивая клюкой об пол, внукам наказывать не навязываться людям с проповедями бережливости.

— Скажет: «А то этот неотесанный народ, эти неучи освищут вас. Как меня в девяносто пятом в обществе «Ионатан»...»

— «Не тычьте, господин Винклер, пожалуйста, пальцем в своего бога — в капитал! — подражал Янис Янсон Петерису Стучке.— Не гневайте господа! Ха-ха-ха! Что значит быть бережливым? — говорил он с интонацией Петериса.— Да что, собственно, фабричному рабочему беречь-то? Все его достояние — рабочие руки. А захотели бы вы, чтобы ваши рабочие берегли себя? Согласны вы им тогда сполна платить? И захочет ли рабочий еще туже пояс затягивать и семью голодом морить, чтоб фабрикант на его поте экономил — то есть лишний рубль урывал?»

— Молодчина, Петерис, ей-богу, молодчина!

— А ответ Яниса этой дамочке разве не произвел впечатления? — добавил кто-то из компании.— «Разные бывают сновидения. Трудящимся, например, снится равноправие рабочего

класса. А именно — восьмичасовой рабочий день, бо́льшие заработки. Снится полноценная человеческая жизнь. Верить таким снам — долг каждого рабочего. И он должен приложить все свои физические и духовные силы, чтобы эти сны стали явью».

— «Так это же грубый материализм...— Фрицис Розинь имитировал возмутившуюся барыньку.— Грубый материализм!»

— Грубый, совсем грубый!.. Ха-ха-ха!

Вся компания была в веселом настроении — уж очень удался вечер социалистической агитации в зале Задаугавского общества.

Под бдительным оком двух полицейских они сумели разъяснить, что такое капиталистическая эксплуатация, от которой кое-кто богатеет, в то время как истинные труженики прозябают в нищете. Они сказали, что слова о неизбежной гибели насильника, выведенные на стене невидимой рукой во время пира вавилонского царя Навуходоносора, относятся и к сегодняшнему дню. Капитализм поработил трудовой народ насильно и насильно же должен быть свергнут. Последнее они, разумеется, сказали только намеками. Но достаточно понятно, чтобы это дошло до рабочих и учащейся молодежи.

Теперь герои вечера в зале общества «Ионатан» собрались в редакции «Диенас лапы». А где же еще свободно обсуждать такие важные вопросы? Редакция «Диенас лапы» всегда была и останется центром новотеченцев. Тут судят о вновь возникших взглядах, которые потом распространяются многотысячным тиражом. Кроме того, все собравшиеся в редакции сотрудничают в этом «бунтарском листке» (так газету новотеченцев называют националисты из «Матушки»).

— Завтрашний номер уже сверстан? — спросил Янис Янсон молодого сотрудника, который работал вместо Матиса Арона (для Арона «Диенас лапа» стала чересчур радикальной!).— Покажи! — сказал он.

Снял пиджак, повесил его на спинку стула, расстегнул накрахмаленные манжеты и, засучив рукава сорочки, удобно уселся в редакторское кресло с видом хозяина-мироеда. Хотя по внешности он на такого никак не походил. У Янсона чистый высокий лоб, добрые, пытливые глаза, приоткрытые губы улыбаются,— кажется, они и строгого слова вымолвить не могут. Рядом с Янсоном близорукий, очкастый Фрицис Розинь, который всего лишь года на два старше, кажется пожилым дяденькой.

— Макет завтрашнего номера еще не читал редактор Плиекшан,— ответил за молоденького сотрудника филолог Янис Видинь.— Редактор очень недоволен, когда господа со стороны вмешиваются в дела газеты.

— Плиекшан давно ушел? — спросил Стучка.

— Не-ет. По правде говоря, его сегодня еще и не было.— Янис Видинь друг Плиекшана и Стучки по Петербургскому университету и привык ничего не скрывать от обоих.— Вчера утром они с госпожой Розенберг заказали извозчика и, как мне кажется, укатили в дальнюю поездку.

— Вот как? Опять ее высочество госпожа Розенберг! — проворчал Янсон.

— А отчего же нет? — спросил Розинь.— Назови мне другую латышскую интеллигентную девицу, которая дала бы беллетристике «Нового течения» столько, сколько Аспазия. Кто в последние годы руководил отделом рассказа «Диенас лапы»? Кто подбирал художественную литературу для воспитания литературного вкуса читателей? И разве новелла Аспазии «Борьба за будущее» не является хроникой «Нового течения»?

— Слабенькая хроника,— поморщился Янсон.— Хоть и Плиекшан всячески рекомендует ее. Собирается дать перевести на немецкий, французский и русский.

— Янис,— сказал Петерис Стучка Видиню,— покажи мне все-таки статьи следующего номера. Мне, как одному из издателей газеты, не мешает знать, что будут впредь печатать.

Видинь, выходя в смежную комнату, не сдержался и сказал Янсону:

— И все же я посоветовал бы тебе посмотреть, что «Диенас лапа» печатала с тех пор, как госпожа Розенберг ведет фельетон газеты.

— Словно Аспазия является альфой и омегой «Диенас лапы»!

— Омега она или не омега, но...

— Янис Видинь горой стоит за поэтессу. Для него Аспазия — Афина латышского Олимпа.— Янсон остался недовольным.

— Не хочу спорить о том, мешает ли госпожа Розенберг нашему другу Плиекшану в его редакционной работе.— Фрицис Розинь уселся против Янсона.— Но было бы неправильно, если бы мы, осуждая эгоцентризм Аспазии, ее себялюбивое стремление властвовать над одним из самых светлых умов «Нового течения», стали отрицать ее талант. Огромным достижением является то, что «Утраченные права» во всей своей мрачной серьезности показали зрителю безобразия латышской жизни. Эльза вместе с нами вступилась за нашего бедного собрата. В своих статьях Аспазия обрушилась на выскочек — сынков надсмотрщиков и господских кучеров, на «лучшие фамилии», и в этом ее большая заслуга.

— Непреходящее значение в истории прогресса — барынька, для которой теория социализма почти то же самое, что новомодная шляпка?

— Думаю, что об этом будут судить художники и философы не одного поколения.

— Вот список книг, выпущенных издательством «Диенас лапа»,— Янис Видинь подал Янсону тетрадь в твердом переплете.— Третий и четвертый сборники научно-популярных статей «Приданое», повесть Атиса Дока «Криш Лакст», «Цыганы» Пушкина, «Записки из Мертвого Дома» Достоевского, «В дурном обществе» Короленко, исторические романы «Иван и Ольга», «Последняя королева ацтеков», «Борьба за будущее» Аспазии...

А вот отредактированные статьи в следующие номера,— он положил перед Стучкой гранки набора.— Передовые и подвальные статьи по актуальным политическим вопросам местной жизни, а также социалистическую пропаганду редакция решила давать под общей шапкой «События за границей». Разорение прибалтийских мелких крестьян рассматривается в передовой «О землевладении во Франции», вопрос безработицы среди молодежи мы решаем в письме с Запада — «Общества охраны молодежи». А для освещения социальных болезней, которые волнуют как рижских, так и лиепайских рабочих, мы используем продолжение очерка Я. Бротино «Влияние цивилизации на развитие душевных болезней». Статья «О нашем хлебе насущном» составлена исключительно из местных сообщений. «Дюна цейтунг» [1], точно по заказу, опубликовала на прошлой неделе статистическую статью. В ней говорится, сколько рижане тратят на сухой хлебушек. Мы это обработали. Выяснилось, что рабочим за один черный хлеб приходится ежедневно отдавать пятнадцать процентов заработка.

А тут еще материал. О научно-популярных трудах, выпущенных в этом году Отделом полезных книг «Матушки». В издания отдела с каждым годом все основательнее проникает дилетантизм. Если издания эти рассматривать с точки зрения правильности латышского языка...

— Эту статью ты сам писал? — Стучка взялся за рукопись.

— Какой-то дерптский студент.

— Для такой работы надо бы метлу пожестче. Жаль, что среди нас больше нет Яниса Сирмайса.

— Жаль, в самом деле жаль,— отозвался Розинь.— Сирмайс не был юристом, пишущим с легкостью об археологии или этнографии, или теологом, берущимся за вопросы языкознания. Смерть Сирмайса, наверно, так и останется тайной.

— Да что ты можешь узнать, если он в тюремной больнице умер? Тебе и никто не скажет, как он попал туда. Может, в подпитии с каким-нибудь чинушей поцапался?

— В приемной какой-то человек настойчиво требует редактора. Не могли бы вы поговорить с ним? — спросил вошедший младший сотрудник.

---

[1] «Двинская газета» *(нем)*.

— По какому делу? — У Видиня не было никакой охоты замещать редактора.

— Хочет о какой-то статье узнать. Он — фабричный рабочий.

— Попроси его, — сказал Стучка.

— Редактора сейчас нет, но мы члены редакции. Вас это удовлетворит? — Стучка протянул посетителю руку.

Парень одет в синюю брезентовую блузу. У него еще совсем мальчишеское, курносое лицо, но оно уже изъедено копотью, а синие глаза холодны, как у пожилого человека.

— Отчего же не удовлетворит? — ответил парень. — Вы все на рабочих вечерах всякие вопросы разъясняете. А сами вы бывший редактор «Диенас лапы».

— Тебе, брат, вижу, все известно. — Стучка предложил юноше сесть. — А что тебе от редакции угодно?

— С проволочной фабрики я. В прошлый вторник у нас у машины рабочего убило. Атиса Грубе. Ни у трансмиссии, ни у шестерен и вообще ни у каких механизмов у нас предохранительных устройств нет. Каждому рабочему любая машина может руку или ногу отхватить.

— О несчастном случае на проволочной фабрике в «Диенас лапе», в отделе местных происшествий, напечатана корреспонденция, — объяснил Видинь.

— Корреспонденция? — сердито переспросил парень. — Размазня это, а не корреспонденция! Пожалуйста! — Он вытащил из кармана блузы сложенный в несколько раз газетный лист. Посреди столбца несколько строчек со всех сторон жирно отчеркнуты плотницким карандашом. — Вот смотрите, что тут напечатали!

«Несчастный случай... (Это называется несчастный случай!) На Мариинской улице, на проволочной фабрике, восемнадцатилетнего Атиса Грубе, работавшего на механической пиле, доской ударило в живот, из-за чего его пришлось отправить в больницу, где он в тот же день умер».

И всё! Разве так надо писать в рабочей газете о загубленном рабочем?

— Дружище, дорогой товарищ... — начал Розинь приглушенным голосом. — Ты должен понять. «Диенас лапа» не свободно печатающаяся рабочая газета. «Диенас лапа» подчиняется правительственной цензуре и выходит с разрешения полиции как ежедневное издание новостей. Писать прямо об условиях, в которых находятся рабочие, редакции не разрешают.

— Тогда нечего людям головы морочить! Не надо утверждать, что у рабочих есть своя газета!

— Вы должны согласиться: таких рабочих, как этот парень, в Риге, Лиепае, Елгаве и других местах наберется несколько

сотен, — сказал Петерис Стучка, когда юноша уже покинул редакцию. — Карл Маркс называет это пробуждением у рабочих классового сознания. Такое недовольство тружеников говорит о том, что класс в себе начинает становиться классом для себя.

* * *

Уже плотно сгустились сумерки, и участникам собрания стало трудно читать свои записи: буквы и слова расплывались в серую массу. Пора зажечь лампы. В комнате душно, накурено, и студент Ковалевский предложил перерыв — проветрить помещение и продолжать уже на свежую голову.

— И горло заодно прополоскать, — отозвался Янис Янсон. Он отодвинул свой стул чуть ли не к самой стене и ушел в угол комнаты, к столику с прохладительными напитками.

— Бедняга, еще горла не прополоскал! — удивленно покривился Кристап Валтер.

Какой-то елгавский школьник весело засмеялся, но тут же, засовестившись, кинулся открывать окна. С улицы белыми клубами повалил холодный воздух. Участники собрания вышли в смежную комнату.

— Дальше гибче работать надо, короче говорить... — Янис Янсон остановился посреди комнаты. — Сколько можно одно и то же пережевывать: налечь ли на нелегальные кружки или же делать упор на легальную пропаганду?

— Нужно и то и другое, — сказал Стучка. Он подошел к роялю, взял несколько аккордов и кивнул Янсону: — Становька, сынок, на свое дирижерское место! Споемте!

— Почему это именно мне дирижировать?

— Потому что в Москве ты к нотам, привезенным Паулем Дауге, приписал свой латышский текст. Может, начнем с «Рабочей марсельезы»? Помянем покойного Эдуарда Вейденбаума.

— «Марсельезу» можно. — Дерптовец Фрицис Розинь предложил Плиекшану и обоим представителям рабочих кружков — Давиду Бундже и Кристапу Шульцу — подойти поближе.

Эти трое упорнее всех спорили сегодня со Стучкой и Янсоном. Они считают, что рабочих нелегальных кружков у латышей уже очень много, что надо заботиться только о них. В случае конфликтов с работодателями надо выпускать нелегальные воззвания, снабжать рабочих социалистической литературой. В то время как легальная печать — «Диенас лапа» или студенческий сборник статей «Приданое» — камень на ногах движения. Теперь тысяча восемьсот девяносто пятый, а не восемьдесят восьмой год. Теперь даже такая божья коровка, как цензор Руперт, и губернские чиновники умеют отличить Августа Бебеля от инженера Нобеля и Карла Маркса от Марка Твена.

«Марсельезу» пропели довольно дружно, хоть и без патетичности. Казалось, что в эту минуту они больше думали о загубленном туберкулезом переводчике «Марсельезы», который лучше их всех сумел передать массам великую идею возрождения. Сейчас почти ни одно собрание, ни один вечер вопросов не обходится без декламации «Проснись, проснись, свободный дух!» Вейденбаума.

— Перерыв окончен! — объявил Янсон. — Закрываем окна! Ребята елгавчане, тащите настольную лампу из кабинета господина адвоката.

— Позвольте мне еще раз высказаться. Внести конкретные предложения, — сказал Фрицис Розинь, когда собравшиеся расселись по местам. Он положил на стол очки в узкой серебряной оправе и осторожно, словно впервые имел дело с такой вещью, сложил оглобельки. Наморщив лоб, посмотрел на свои белые пальцы, затем обвел взглядом молодых людей, рассевшихся вокруг овального гостиного стола. Среди них были и студенты университетов трех городов, и представители кружков лиепайских рабочих и елгавских школьников, и рижские новотеченцы — Петерис Стучка и Янис Плиекшан. Казалось, что Розинь сделал эту паузу, чтобы, прежде чем заговорить, мысленно охарактеризовать каждого из присутствующих. Тебя, мол, привели сюда неугомонный характер, мятежные искания правды, тебя — трудовые будни, тебя — благородство учения социализма, тебя — убеждение, что несправедливый жизненный уклад можно и должно преобразовать. А тебя — мнение, что великий смысл человеческого бытия заключается в воплощении возвышенной идеи. Около двадцати молодых, еще малоопытных, но решительных людей, считающих себя выразителями мыслей и воли латышской интеллигенции, рабочих и крестьян (Бригадер из Тервете и Вагнер из Олайне выступали от имени крестьян).

— Мы совещаемся не впервые, — начал Розинь. — Месяц тому назад, двадцатого декабря, мы, правда в гораздо более тесном кругу, обсуждали, как следует поступить, если ты свое служение народу хочешь согласовать с программой социал-демократии. Немецкую «Эрфуртскую программу» мы перевели и переписали — каждый по крайней мере в нескольких экземплярах — и распространили среди единомышленников. Мы гордимся тем, что примкнули именно к марксизму, а не к какой-либо другой социалистической или социологической теории, отвергнув Михайловского и Кареева, модных идеологов части русской демократической молодежи.

— Мы марксисты потому, что храним революционное наследие народников, потому, что нам доступно было очень многое из западноевропейской литературы, — вставил лиепаец Эрнест Ролав [1]. — Энгельс, Бебель, Каутский, Гед, Либкнехт,

[1] Ролав Эрнест — студент, один из руководителей «Нового течения». В 1906 г. расстрелян в Лиепае немецкими баронами.

журнал «Нейе цейт». За это большое спасибо друзьям Плиекшану и Паулю Дауге.

— Спасибо друзьям Плиекшану и Паулю Дауге, — согласился Розинь. — Но не им одним. Западноевропейскую марксистскую литературу мы получали и от польских и от русских студентов.

— Иметь дело с русскими конспираторами опасно, — отозвался Янсон. — Чуть ли не к каждому русскому революционеру приставлено по шпику.

— Теперь и в Риге, после лекции Янсона о современной литературе, после его статей против елейных стишков о мóлодцах, печатаемых в «Балтияс вестнесисе», представители лучших латышских фамилий доносят почти на каждого новотеченца как на врага государства. А что, если люди поэтому не захотят связываться с Янсоном? — спросил Стучка.

— Попрошу дать мне высказаться, — постучал Розинь очками по столу. — Насколько помню, тут недавно требовали деловитости и краткости. Ну вот... Мы примкнули к марксизму. Не потому только, что нам посчастливилось получать много социал-демократической литературы. Фабрики Риги и других городов с каждым годом все множат число пролетариев, вынуждают их к солидарности. И в то же время волны, вздымаемые мировым рынком, все сильнее и сильнее захлестывают столь мирные прежде дворы наших земледельцев. Все бóльшие толпы рабочих собирают фабричные гудки у фабричных ворот. На селе уже никакими силами не сохранить прежний патриархальный покой. Современные социалистические взгляды, которые мы популяризируем и при помощи экономического материализма и при помощи литературного реализма, бросают свои искры в рабочий класс. Новое течение из городов распространяется и на деревню.

— Ну, и что вы хотите этим сказать?! — импульсивно воскликнул рабочий Дриега.

— Хочу сказать, что ранний посев уже дал всходы. И нечего больше тратить время на словесные битвы, нечего дольше топтаться на месте, повторять то, что уже говорилось на прошлом или позапрошлом совещании. Надо сделать шаг вперед. Надо организоваться. Создать постоянно действующий организационный центр, нечто вроде рабочего комитета. Скажем, комиссию из трех человек. Я предложил бы избрать в эту комиссию Петериса Стучку, Яниса Плиекшана и... Кристапа Валтера.

— В чем заключались бы обязанности центра?

— Поддерживать связь с группами и кружками, помогать вести пропагандистскую работу. Печатью, книгами, материалами для докладчиков. Плиекшан давеча сказал: в редакцию приходит много писем с просьбой выслать тексты прочитанных

студентами докладов. Центр должен обеспечивать этими текстами.

— Плиекшан! — воскликнул Янсон. — Как ты считаешь? По-моему, Розинь дело говорит.

— Я не возражаю.

— В таком случае проголосуем. Чтобы все было так, как требует демократия.

После голосования уже никто слова больше не попросил. Пускай избранные в центр уходят в другую комнату и делят там между собой обязанности!

— Не станем обещать невесть что,— сказал Стучка, когда они втроем отделились от остальных. — Но коль скоро нас назначили, то мы должны действовать. Думаю, что обязанности между нами надо поделить традиционно: председатель, секретарь и казначей.

— Председателем поставим Петериса Стучку, казначеем — того, кому по служебному положению сподручнее всего денежными делами заправлять, — редактора «Диенас лапы». Ну, а третья должность пускай мне остается, — поспешил предложить Валтер.

— Как ты считаешь? — спросил Петерис Плиекшана.

— Предложение дельное. Согласен. И... ухожу.

— Так сразу?

— У меня дела.

Петерис пошел за Янисом в прихожую. Ему хотелось сказать другу какие-то теплые слова, но он никак не мог их подобрать. В последнее время ему нередко в разговоре с Янисом трудно было найти нужные слова. Дверь хлопнула, и Петерис остался в прихожей один.

— Ты один? — подошел Янсон. — Янис уже ушел?

— У него дела.

— Понятно. Госпожа Эльза может обидеться за столь продолжительное отсутствие.

— Ну и пусть он ушел из-за госпожи Эльзы. — Насмешливость Янсона казалась Петерису неуместной. — Разве влюбиться — преступление? Говорят, будто и Янсон не совсем равнодушен к автору «Весталки».

— Не был равнодушен, пока не раскусил скорлупку этого заманчивого орешка. Я совершенно согласен с Паулем Дауге, который это светило латышской поэзии называет субъективисткой и, к сожалению, даже интриганкой. Она кидает в чуткую душу Плиекшана семя подозрительности. Как вижу, вокруг госпожи Розенберг вьются не только матушкинцы, которые не хотят уступить своим идейным противникам Аусеклиса женского пола, но и сынки и дочки земгальских хозяев: им приятно щекочут нервы собрания школьнических кружков, а само «Новое течение» для них сводится к демоническому мечтанию и эксцентризму Аспазии.

— В твоих суждениях кое-что преувеличено. — Стучка подошел к двери большой комнаты и прикрыл ее. — Эксцентричный протест Аспазии все же неотделим от больших вопросов социальной морали. Аспазия против буржуазной этики и морали. И поэтому Аспазия нужна «Диенас лапе». На определенном этапе социалистическое движение не должно, если это ему на пользу, пренебрегать и легальными средствами. Я сторонник как легальной, так и нелегальной пропаганды социализма. Потому я и впредь буду рассматривать «Диенас лапу» как организационный центр «Нового течения».

К товарищам Стучка уже не вернулся. Надо было связаться с кем-нибудь из знаменитостей рижских клиник. Хотя дни его матери, казалось, были сочтены...

* * *

Прочитав в письме Доры, что если надо, то она в эту же пятницу может быть в Берлине, Петерис помчался на почту — телеграфировать в далекий Монпелье.

«Встречаю Тебя на Западном вокзале».

Петерис уплатил огромные деньги за билет на поезд прямого следования до столицы Германии и одним взмахом порвал со всеми обязанностями и делами.

Он передал другому юристу выгодный, тянувшийся более года судебный процесс (большинство дел адвоката Стучки — это иски бедняков), отказался от поездки в Динабург, где у нотариуса должен был уладить дело о наследстве умершего Кристапа Плиекшана. Бросил переписку по издательскому делу с Петербургским управлением печати. Оставил редактирование газеты на сотрудников и помчался на свидание с возлюбленной!

Как безрассудно!

Безрассудно во всех отношениях. С марта девяносто шестого года Петерис Стучка не только подписывал газету как редактор и издатель, но занимался также ее старыми делами. Поскольку Плиекшану пришлось срочно оставить должность редактора (друг своей несдержанностью страшно разозлил цензора и других администраторов), в хозяйстве «Диенас лапы» многое осталось недоделанным. Кроме того, в Риге стало известно, что Петербургская судебная палата за нарушение предписаний цензуры приговорила бывшего редактора Плиекшана к двадцати семи дням ареста, и, чтобы приговор не повредил юридической практике Яниса, Петерис должен был сделать много «ходов конем». Делать их надо было ловко и быстро. Причем об этом не должен был знать сам Плиекшан. Янис и так был вконец раздражен, чтобы не сказать хуже. Советам издателей газеты отказаться от поста редактора он внял лишь после долгих увещеваний. Аспазия сумела убедить Яниса, что ему приходится оставлять должность не столько по настоянию

управления печати, сколько из-за недоброжелательства его школьных и университетских товарищей.

«Вы чересчур тщеславны, хотите проявить себя духовно и одновременно стремитесь к ведущей роли, — съязвила Аспазия, когда Петерис упрекнул поэтессу за высокомерную оценку стихов Вейденбаума («Стихи Вейденбаума следует оценивать не с художественной точки зрения, а как общественно важные документы, в сущности — как изложенную стихами прозу с кое-где протканными нитями поэзии. Вейденбаум только создает то, чего требует новая публика»). Вы хотите полными пригоршнями хватать сокровища, — говорила она Петерису. — Взяв себе в помощники Янсона, вы собираете вокруг себя дерптских студентов, держа под столом корзину бутылок».

«Насколько я знаю, художники, в том числе и поэтессы, на своих литературных вечерах стаканом вина не брезгают».

«Литературные вечера пронизаны духовной струей, в то время как среди любителей пива разжигаются инстинкты зависти, — загорячилась Аспазия. — Вам известно, что идеи Маркса, Каутского, Энгельса латышам дал Плиекшан. Он привозил из-за границы марксистскую литературу. Завидуя Плиекшану, вы не сделали его главой партии, а подсунули ему мелкую роль казначея».

«Грустно, когда у большого художника оказывается мелкая душа...»

«И это вы говорите мне?..»

После этого Аспазия всюду жаловалась, что Петерис Стучка своими узурпаторскими стремлениями подавляет Плиекшана, что он вместе с послушными ему приспешниками мешает Янису стать личностью.

И впечатлительный Янис — он ведь комок эмоций — поддавался влиянию Аспазии. Становился резким даже с сестрой Дорой.

Видимо, какая-то резкость чувствовалась и в письмах Яниса к сестре. А то Дора навряд ли решилась бы писать Петерису о том, как ей больно и грустно от несдержанности брата и что она теперь чувствует себя как выпавшая из гнезда пташка.

«Дора, ты не смеешь так думать, — отвечал он. — Если ты хочешь выслушать меня, то я немедленно примчусь к тебе».

— Вы тоже по делам едете? — спросил Петериса его спутник по купе, по виду какой-то коммерсант или владелец имения.

— По делам, конечно, — ответил он, собираясь улечься.

— Так рано уже на покой? — удивился спутник.

— Завтра мне предстоит трудный день.

Говорят, что влюбленные страшно словоохотливы. Они способны вконец заговорить своих случайных слушателей. Причем не всегда угадаешь причину разговорчивости. И не всегда они заводят разговор о своих чувствах, о предмете своей любви.

Петерис, очевидно, исключение. Считая оставшиеся до часа свидания минуты, он испытывал острое желание уединиться.

...Берлин.

Их встреча состоялась при совсем не романтических обстоятельствах. Орошенный декабрьской моросью, город казался побудничному озабоченным. Уличные звонки, гудки и шумы германской столицы звучали суетливо и вместе с тем как-то отрешенно.

— Ты долго ждешь меня? — спросила первой Дора.

Он хотел сказать: «Уже десять лет», но это показалось ему банальным, и он так же деловито ответил:

— Немногим более четверти часа.

Петерис взял Дорин чемодан, и они двинулись к выходу.

Покачиваясь в извозчичьей пролетке, Дора рассказывала о своей дороге из Монпелье. Что она слышала нового в Париже. Какими грубыми показались ей после французов немецкие чиновники и пассажиры, садившиеся в поезд на станциях в Германии. Словно Петериса теперь только это и интересовало.

— Юнкерская Германия ничуть не менее противна, чем империя нашего помазанника божьего! — говорила Дора. — А там, за Рейном, все кажется таким чудесным, сам воздух как бы насыщен живительной духовной силой. Общаясь с людьми, ты смелеешь, кажешься себе сильнее и перестаешь опасаться страшного и отвратительного.

И за ужином в гостинице, и в трамвае, в котором они ехали по залитым огнями берлинским улицам, Дора продолжала вести разговор о новостях общественной, литературной и театральной жизни.

Только в кафе «Unter den Linden», куда они, продрогшие на сырых улицах, зашли обогреться и где скрипка наигрывала венгерские мелодии, а девочка-подросток в традиционном немецком костюме сновала с корзинкой цветов между столиками, Петерис улучил минуту, чтобы объясниться.

— Дора, милая... — умоляюще начал он и, точно оробевший школьник, убрал со стола руки, опустив их на колени. — Нам надо пожениться.

— Ты так считаешь? — Она опустила веки, но тут же широко открыла чистые, сияющие глаза. Лицо ее стало розовым, как у вертевшейся возле их столика маленькой цветочницы. — Так будет лучше?

— И мне и тебе.

— Должно быть.

— Дорочка!

— А то разве помчалась бы я к тебе чуть ли не через всю Европу! Может быть, оставим этот бюргерский уголок? А то как бы, упаси бог, я не пожелала букетик цветов. Как героиня из сентиментального романа Хеймбурга.

— Разве цветы — это сентиментально?

— Все-таки.

На другой день они знакомились с Берлином — Королевской оперой, церковью фон Гонтара, Старым музеем, Строительной академией, Национальной галереей, с памятниками древней архитектуры, заходили в Музей кайзера Фридриха. Тут Дора взяла на себя обязанности экскурсовода. Она читала французских, английских и немецких эстетиков-материалистов и умела объяснить взаимосвязь искусства с эпохой, показать столкновение идейных противоположностей в творчестве художника.

— Получается, что экономическая база общества своего времени является лишь одним из элементов искусства, — рассуждал Петерис вслух. — Так что при анализе явлений искусства отдельных эпох нельзя аргументировать одними экономическими условиями — что мы порой делаем у нас в Риге, пользуясь в оценке искусства всегда одним и тем же критерием — высказываниями Каутского о зодчестве и ваянии народов древней Азии.

Дора краем ладони легко коснулась руки Петериса. И, чтобы он не огорчался, принялась читать в каталоге о картине, перед которой они остановились.

Вечером они отправились в оперу, послушать «Затонувший колокол». Играл первоклассный оркестр, пели лучшие берлинские певцы. У Петериса и Доры были билеты в партерную ложу.

В антракте, когда большая часть зрителей вышла в фойе, Петерис увидел в зале Яниса с Аспазией.

Как они сюда попали?

Понятно: в ноябре, после стычки в «Диенас лапе», Плиекшан уехал с поэтессой в Шарлоттенбург. Это почти то же, что в самый Берлин.

— Подойдем поздороваемся,—сказала Дора. — Или... лучше я подойду одна.

— Так, может, будет разумнее.

Петерису хотелось поговорить с Янисом. Но рядом с ним была эта мрачно глядевшая гордячка.

Если Петерис был бы способен льстить недружелюбно настроенной к нему женщине, то он, может быть, пошел бы вместе с Дорой. И может быть, рассеял бы у Аспазии горечь неприязни. И тогда в истории латышской культуры не было бы печальной страницы о том, как два великих ума и друга на время стали чужими.

* * *

В редакцию «Диенас лапы» принесли из цензуры листы. Редактор Петерис Стучка взглянул на перечеркнутые столбцы и потемнел.

Он привык к цензорским нелепостям, но на этот раз вымарки переходили всякие границы. Перечеркнуты и такие слова, как «рабочий», «капитал», «фабрика», «класс», дважды перекрещена информация о забастовке в Петербурге, перепечатанная из «Правительственных ведомостей». Статья «Идеи и их источники» до того искажена, что уже нет никакого смысла ее печатать.

Редактор велел принести заготовленные на «чрезвычайный случай» проходные статейки — заполнить дыры, наделанные цензурой (на газетных полосах белых пятен быть не должно), подогнал запасной материал вместо вычеркнутых абзацев. Одновременно с негодованием в нем зрели тревога и опасения.

Столь нелепые вымарки красными чернилами нельзя объяснить лишь скверным настроением цензора или раболепным следованием последнему циркуляру Главного управления печати. Всю весну девяносто седьмого года над «Диенас лапой» накапливались тучи, и вот в июне они так сгустились, что каждую минуту может ударить молния. «Будьте осторожны! Ваши архипатриотические соплеменники шлют наветы на вас и вашу газету»,— предупреждал Стучку в Петербурге бывший товарищ по университету, чиновник департамента внутренних дел.

Так и есть: предводители «Матушки», черносотенец Фрицис Вейнберг и баронские писаки из «Ригаше рундшау» [1] осыпают новотеченцев гнусными обвинениями. К тому же в самом конце девяносто шестого года стряслась большая беда: в жандармские силки попался один из самых активных представителей рабочих кружков—рабочий Риго-Орловской железной дороги Янис Озол. И вместе с ним в руках жандармов оказалась записная книжка, в которой Озол, участник первой конференции делегатов рабочих кружков, описал самое собрание, его участников, отметил их адреса. Последствия плохой конспирации уже явно ощущаются. Вблизи квартир членов рабочих кружков и сотрудников «Диенас лапы» шныряют не виданные тут ранее типы, бродят нищие в старых солдатских шинелях; вечера вопросов и ответов, на которых выступают новотеченцы, посещают субъекты, всячески старающиеся выведать имена и фамилии участников собрания и где они живут. Подозрительные типы шатаются и вокруг редакции «Диенас лапы». Бывший издатель газеты Петерис Бисниек, направляясь поутру к Стучке, в одном из бродяг будто опознал жандармского офицера. После двадцатого мая в Лиепае и Риге были случаи, когда полицейские врывались в квартиры новотеченцев. В Москве задержан лиепайский рабочий Янис Пуце с партией нелегальной заграничной литературы (должно быть, в записной книжке Озола было и его имя!), а после этого жан-

---

[1] «Рижское обозрение» *(нем.)*.

дармы арестовали одного из лучших пропагандистов новотеченцев—Эрнеста Ролава.

Самое опасное то, что арест Яниса Озола и обыски мало волнуют остальных диенаслаповцев. Рабочий-пропагандист Дриега, друг Янсон, Фрицис Розинь как будто понимают опасность положения, в то время как другие... Вот хотя бы брат Яниса Пуце — Карлис. У него дома, в Лиепае, куча нелегальной литературы, брат в Москве завяз по уши, а он преспокойненько разгуливает себе по Риге. Лишь с большим трудом удалось угнать его в Лиепаю, чтобы «очистил дом».

Когда Петерис отослал в типографию исправленные материалы, ему напомнили, что в соседней комнате его ждет какой-то крестьянин.

Посетитель — батрак из Кокнесской волости Лукис. Он приходил уже дважды. По судебному делу. В волости знают: сын покойного Стучки беднякам дает советы бесплатно. Не то что другие адвокаты.

Лукис человек семейный. Женатый батрак, каких хозяева нанимают неохотно (говорят: детей орава, и в саду и на лугу шкодят). Лукису, помимо жалованья, положены еще две пурвиеты[1] вырубки, где он поставил хибарку и вскопал огородец. Так теперь хозяин гонит батрака с обработанного клочка, который хочет к своим полям присоединить. А Лукису болото дает — пускай обрабатывает.

«За эту тощую землицу на вырубке хозяин «Ратниеков» пять лет задаром жену и ребятишек моих гонял,— рассказывал Лукис Стучке,— а теперь чтоб я уходил. Он со мной точно старый барон с арендаторами, тот тоже обработанные мужиками поля к своим присоединял, а самих — на новую подсеку. Чем такой ратниецкий мироед немца-помещика лучше?» — спросил Лукис. Он уже по-стариковски горбится, медлителен, лицо изрыто заботами, натруженные руки все в узластых жилах. А ведь он всего лишь на несколько лет его, Петериса, старше.

«В самом деле, чем латышские землевладельцы немецкого барона лучше?»

Батраки в Латвии в конце столетия составляют большинство сельского населения. Из одного миллиона трехсот тысяч курземских и видземских крестьян лишь каких-нибудь шестьдесят пять тысяч — хозяев. Подавляющее большинство сельских «душ» — пролетарии и полупролетарии, которых одинаково эксплуатируют немецкие помещики в своих имениях и латышские крупные хозяева на арендуемых или купленных усадьбах. Яростнее немцев латышские землевладельцы выжимают соки из батраков. Только благодаря батрацкому труду они выручают те сотни, которые каждый год платят банкам и баронам. За счет «мушек», или «люда десятой доли» (так Фрицис Розинь

---

[1] **Пурвиета** — треть гектара.

в одной из своих статей назвал батраков), они обильно едят, посылают сыновей и дочерей в городские школы.

А «свободные» батраки доживают свой век в богадельне или же скитаются по белу свету с нищенской сумой на шее, распевая «Митисиня» Ансиса Ливентала:

> В свои, господь, возьми меня чертоги.
> Тут холод-голод нестерпим,
> Меня не держат больше ноги.
> Возьми меня к родителям моим!

— Здравствуйте, Лукис, — поздоровался Стучка с посетителем. — Ну, чего в тяжбе с хозяином добились?

— Чего добьешься? — Тяжелыми, узловатыми пальцами батрак мял вылинявшую фуражку с потрескавшимся козырьком. — Пожаловался в волостной суд, да...

— Проиграли?

— Как господин адвокат предвидел. Земля-то хозяйская.

— По закону земля принадлежит ему. Может, надумали обжаловать?

— Обжаловать? — засмеялся батрак. — Кому жаловаться-то? Тем же хозяевам и баронам, ведь они же и в судейских креслах сидят. Рука руку моет.

— Оно-то так. Так чего же вы хотели бы?

— Ясности. Прямо скажите: есть для бедняков справедливость на свете или нет ее?

— А что вы сами об этом думаете?

— Должна бы быть. Должна бы. Иначе... зачем человеку на свет-то родиться? Только справедливость эта уж больно глубоко зарыта. Как те горшки с добром, о которых в Библии сказывается. А зарыли ее, справедливость эту, господа да благодетели вроде ратниецкого хозяина. Прошлым летом к нам на каникулы один студент заходил, из тех, что по белу свету скитаются. Дал «Диенас лапу» почитать и советовал обездоленным объединиться, чтоб вместе права трудового люда защищать. Правильно это?

— Правильно.

Стучка с минуту поколебался, что-то обдумывая. Затем достал стопку тетрадок, исписанных печатными буквами, и подал одну батраку.

— Возьмите, прочтите и передайте таким, что как вы думают. Здесь написано, откуда богачи берутся, и отчего на свете такое множество бедняков, и как несправедливость одолеть. Избавить трудящихся от их бед могут только они сами. Но хозяевам, господам и всяким ищейкам о тетрадке этой знать не следует. А если кому тетрадку передавать будете, не говорите, где получили.

— Ну, известно. — Лукис спрятал тетрадку за пазуху. — Спасибо, спасибо вам.

Петерис Стучка был доволен. У батраков пробуждается классовое сознание. Сельский пролетариат становится товарищем своему брату — городскому промышленному рабочему. Подтверждается тезис неизвестного русского социал-демократа о крестьянстве как союзнике рабочего класса в российской революции (русские студенты дали Доре напечатанную на гектографе книжицу «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?»). Новое учение проникает сквозь все щели в тихую до сих пор Прибалтику. Этому можно только радоваться, радоваться от всего сердца...

* * *

Летом Стучки живут на Рижском взморье, в одноэтажной даче с мансардой. За кустами акации, жасмина и за елками постройка с улицы почти не различима. Если бы не белые окна веранды и желтая труба, то можно было бы пройти мимо, так и не заметив дома.

Кроме Стучки на даче живут еще сотрудники «Диенас лапы» Янис Янсон, Янис Ковалевский, Фрицис Розинь, Крумберг. Хозяйство на всех ведут Дора с рижской служанкой.

В сотне шагов отсюда на маленькой, как скворечник, дачке устроил зубоврачебный кабинет приехавший только что из Москвы Пауль Дауге. Диплом врача Дауге получит лишь осенью, и практиковать ему пока не разрешается, поэтому он у Стучек частый гость за обедом и ужином.

На даче на Еленинской улице нередко гостят и другие новотеченцы. Иногда сюда заходит кто-нибудь из лиепайцев с тяжелым чемоданом или узлом. Так что за столом недостатка в сотрапезниках не бывает.

По утрам Петерис идет на станцию один, а после обеда, когда возвращается из Риги, на перроне его встречает Дора. Приподнявшись на цыпочки, она губами касается щеки мужа и, взяв его за руку, уводит из толпы праздных курортников и приезжих, в которой пахнет табаком, пóтом и угольной пылью. Когда ухабистая мостовая пристанционной улицы остается позади и паровоз на путях, по-стариковски покряхтывая и меланхолично завывая, со стуком и хрипом уволакивает вереницу зеленых вагонов, Дора, прижимаясь к плечу Петериса, тихо, одним краем губ, так, что слышно только ему одному, начинает рассказывать, что в его отсутствие сделано по этому делу...

— Дома мы начали проверять друг у друга вещи и записи. Нет ли чего компрометирующего. Пауль и Фрицис трудились в поте лица, соорудили тайники. В стене и под стрехой. Запихают туда всю подозрительную литературу. А ты должен проверить их работу с технической точки зрения. Не слишком ли сыро там для книг...

Янис случайно встретил Пауля Калниня, которому какой-то помощник пристава приходится чуть ли не другом. Фараон посоветовал Калниню пожить какое-то время где-нибудь на отшибе. Синие мундиры очень интересуются адресами сотрудников «Диенас лапы».

— Я страшно беспокоюсь. — Пальцы ее судорожно сжали плечо мужа. — Порою у меня становится горестно на душе. Должна признать, что была Янису плохой сестрой. Чересчур гордой. Сгоряча сказанное мне Янисом в присутствии Эльзы так обидело меня, что я перестала отвечать на его письма, которые он писал мне чуть ли не с того конца света — из Паневежа. А я должна же была понимать, как бесконечно одиноко ему в этом глухом литовском местечке. А теперь он арестован...

— По пустяковому делу, — сказал Петерис. — Как редактор «Диенас лапы». Эти двадцать семь суток — чепуха. На этот раз особенно волноваться нечего.

— Все-таки. Ты ведь Яниса знаешь. И ты знаешь, как теперь все бурлит вокруг нас. Может быть, Янису об аресте лиепайцев ничего и неизвестно. Ни о записной книжке Озола, ни о Янисе Пуце. Сейчас в Лиепае происходит нечто невообразимое. Там допрошены и взяты под стражу члены местной народной библиотеки. А что, если Пуце проболтается?..

Ты знаешь, Янис болезненно впечатлителен и здоровье у него тоже слабое. Но какой он талантливый! Почитать только его перевод «Фауста» в последней тетради «Менешракстса»! [1] Какой прекрасный, гибкий язык! Читаешь, читаешь и не нарадуешься! А что, если мне съездить к нему в Паневеж?..

— Над этим стоит подумать. Это было бы совсем неплохо, если бы сестра навестила брата.

На даче за обедом и ужином, как и в прошлый и позапрошлый раз, домашние и гости говорили о разных формах марксистского движения в Латвии. О перспективах его приливов и отливов. Не смоет ли поток царских репрессий ростки социалистических идей, еще не пустивших по-настоящему корни? Слишком хилыми оказались всходы будущего. Хотя бы в той же Лиепае, которая казалась самым центром новотеченцев, все валится и рушится. Может быть, мы были до сих пор чересчур горячи в пропаганде марксизма? Может, следовало быть осмотрительнее, выбирать другие формы работы? Надо было, — пользуясь перефразировкой изречения старика Аристотеля, — найти правильную меру. Правильную меру надо соблюдать и в пропаганде марксизма.

— Мы, разумеется, материалисты, явления мы оцениваем конкретно. Конкретна также психика народа. И разве семьсот

[1] «Ежемесячник».

лет рабства не покалечили психику латышей? И разве латыш — стоит погрозить ему дубинкой — не начинает сразу трусливо каяться? А то чем же объяснить такую откровенность лиепайских товарищей с полицейскими шпиками?

— И все-таки нет оправдания для пессимизма, — оборвал Стучка затянувшиеся дебаты. — В истории человечества ни одно прогрессивное движение не обходилось без жертв. Никакие драконовские репрессии не в состоянии уничтожить революционную идею. И даже если правительство ликвидирует наше легальное движение, «Новое течение» уйдет в подполье. И там, уже как другое движение, будет пробиваться вперед. Течение не умирает, оно только возрождается заново.

8. «ХОТЬ ЭТИ СВОДЫ НАС И ДАВЯТ...»

Нет, не в арестах трагедия, не в том, что новотеченцы брошены в тюрьмы, загнаны в каменные подвалы. Революционные преобразования общества без человеческих жертв и временных поражений невозможны.

«Послужной список» класса угнетателей всегда заполнен пытками и казнями прогрессивных мыслителей и борцов за права народа. В Древнем Риме рабовладельцы своих противников резали, распинали на крестах, бросали на растерзание диким зверям, в средние века глашатаев нового феодальные палачи замуровывали в стены, жгли на кострах, четвертовали. Когда на башнях Европы взвились флаги разума и гуманизма, упрямых проповедников народной справедливости власть имущие вешали и гильотинировали, заточали в казематы, высылали в далекие глухие места, расстреливали.

Выступая на борьбу против социального насилия, борец должен знать, что до известной поры он может терпеть и неудачи.

Трагедия и не в том, что Петерис Стучка брошен в одиночку, — окно ее закрыто листом жести с отверстиями в горошинку, а по стенам течет вода. (За стеной уборная, из нее по коридору растекается коричневая вонючая жижа.) От мрака воспаляются глаза, через несколько дней Петерис начинает в отчаянии гнать от себя мельтешащие перед глазами огненные искры. Окрики тюремщиков, строгая изоляция, запрещение передач — приходится довольствоваться отвратительным гороховым варевом — все это влияет на физическое самочувствие, на психику. Но трагедия, как уже сказано, не в этом!

Самое тяжелое в сплетении этих удручающих событий — простодушие арестованных, граничащее порою с предательством. Большинство задержанных признались, выложив все, что им было известно, о деятельности новотеченцев.

Кто при каких обстоятельствах примкнул к движению, кто с кем встречался, совещался, кого вовлекал. Какие читал нелегальные статьи он сам, какие — его знакомые и друзья. Откуда брались эти статьи, кто их доставлял, прятал, рекомендовал. О чем говорилось и что обсуждалось в рабочих и гимназических кружках. Всё...

Болтливость арестованных школьников еще как-то можно объяснить. Подростки остаются подростками. Нет еще опыта. Подростков нетрудно и запугать, обмануть елейной лестью, фарисейскими уловками, запутать перекрестными вопросами и притворным отеческим благожелательством. Школьников легко завлечь в ловушку, как беспомощных птенцов, и попавшийся мальчишка или девчонка легко начинает каяться в своих грехах.

Но как объяснить простодушие зрелых единомышленников, друзей, соратников?

Допустим, жандармам в руки попала записная книжка Яниса Озола, у них были признания Яниса Пуце и тюки с конфискованной нелегальной литературой. Это много, очень много. Вполне достаточно, чтобы свить крепкую веревку. Но еще мало, чтобы десяткам людей накинуть на шею петлю. Для обвинения необходимы улики. Признание самих обвиняемых, вещественные доказательства.

Суду нужны неопровержимые свидетельские показания, а не одни доносы синих мундиров и частных шпиков. И все это так хорошо известно товарищам-студентам.

И все-таки они проболтались. Почему?.. Почему?..

В жандармском управлении подполковник, допрашивавший девятого июля Стучку, вскоре отказался от юридической дискуссии с арестованным и записал в протокол ответы Петериса Стучки: «Не сознаюсь», «Отрицаю», «Не знаю», «Протестую», — хотя записная книжка Озола и записанные в синюю тетрадь показания Пуце лежали перед ним на столе.

«Напоминаю вам, у меня есть признания Яниса Пуце», — уже написав протокол, подполковник помахал показаниями предателя.

«Напоминаю вам, что меня признания Пуце не интересуют, — стоял Петерис на своем. — Во время обыска у меня ничего компрометирующего не нашли».

«Пускай. Однако в этом преступном деле вы были первой скрипкой».

«Вашему высокоблагородию угодно фантазировать».

При следующем допросе перед ним положили кипу протоколов.

«Прошу ознакомиться с документами добровольного признания господина Валтера, господина Крумберга и господина Янсона. Надеюсь, вы подлинность их почерков оспаривать не станете?»

Подлинность их почерков оспаривать нельзя было... Как нельзя было оспаривать и сказанного на подписанных листах. И все же Петерис заставил своего следователя снова запротоколировать: «Не признаю», «Отрицаю», «Не знаю», «Протестую». И с подчеркнутым пренебрежением выслушал приказание подполковника начальнику тюрьмы: «Содержать обвиняемого в государственном преступлении Петра Ивановича Стучку в камере строжайшего режима».

«...Почему они так поступили? Почему капитулировали? Ведь капитулировать — это все равно что отказаться от идеи. От главной, всеобъемлющей идеи...»

Чем больше Петерис думает, тем больше охватывает его беспокойство. Нет больше сил сдерживать себя. Он вскакивает и начинает метаться из угла в угол. Сделает шаг, повернется, снова сделает шаг, снова повернется. Точно запряженная в ворот лошадь. Он отшибает себе колени и бока о нары, от спертого воздуха к горлу подступает тошнота.

«Так человек может с ума сойти. — Он опустился на нары. — Может с ума сойти... Этого не должно случиться! Идеи ради...

Социализм ведь не мираж, не пустая иллюзия. Человечество нашло социализм в страданиях сотен поколений, в отчаянных поисках правды, в муках и смерти героев. История человечества доказывает: чтобы добиться равенства, свободы, братства, нет другого пути, кроме пути, который указывает социализм».

После нескольких недель мук в одиночке (а может, и больше, — как в этой яме точно определишь время!) жандармский подполковник снова вызывает Стучку на допрос.

«Посмотрите — не вы сфабриковали этот список пожертвований на пособия рабочим либавской фабрики Тилица? Вместе с деньгами вы доставили это в Либаву прошлым летом. Ну-с, почтенный? Вы и теперь еще будете отрицать свое соучастие в преступном обществе?»

Предательская болтовня не знает пределов. И о сугубо человечном — о помощи голодающим детям рабочих — узнали полицейские ищейки.

Когда Петерис возвращается в свою темную, вонючую камеру, ему начинает казаться, что его схватили холодные, безжалостные руки и завертели вокруг. Это лишает способности сопротивляться, обволакивает мозг такой же иззелена-белой пеленой гнили, какая покрывает сырые стены его камеры.

— Не спать! На, смени белье! — Из бредового состояния Петериса возвращает к действительности тюремщик, брякнув об окованную дверь связкой ключей. — Получай! Жена чистое белье принесла.

От узелка с бельем пахнет свежестью. На теплой рубашке заново обметаны петли (чтобы не расстегивались). На белье

красным гарусом вышито «Стучка П. И.». В щель приоткрытой двери в камеру просачивается свет. Можно разобрать буквы.

«Я думаю о тебе... Я с тобой... Оставайся сильным, мой хороший!..» — как бы говорит посылка Доры. Петерис щупает вышитые мелкой стежкой русские буквы, мнет чистое полотняное белье, и шелест его отдается в ушах, вызывая чувство щемящей радости.

— Сменить белье, сказал я! — Тюремщик становится нетерпеливым.— Живей!

— Да, да... Минутку.— Он так охвачен ликованием, что забывает одернуть надзирателя: «Я только под следствием. Прошу относиться ко мне почтительнее. И незачем вам глазеть на меня нагого».

Вместе с грязным бельем надзиратель как будто унес и мрачное настроение Петериса.

И в самом деле — зачем ему падать духом? Ладно! Товарищи на допросе оступились. Их болтливость, правда, может иметь тяжелые последствия. Но сама идея — идеал социализма — ведь жива. Об нее, точно об гранит, вдребезги разбивается любой вал ошибок и предательства. К тому же конспирации надо учиться. И поэтому даже неудача может стать предпосылкой для успехов в будущем. Самое важное теперь — сохранить бодрость духа. Не поддаться апатии. Бороться! Бороться!

В последующие дни Петерис Стучка доставляет тюремной администрации и жандармскому управлению немало хлопот.

«Я протестую против режима в месте моего заключения! Подследственных нельзя держать в столь нездоровых условиях. Согласно имперскому уголовному кодексу требую светлой камеры, соответствующего питания, права получать передачи. Требую книг и письменных принадлежностей. (Буду жаловаться в вышестоящие инстанции!) Требую врача. Я и многие мои товарищи по обвинению нуждаются в помощи квалифицированного врача.

Ах, вы накажете меня за беспорядки в месте заключения? Переведете в темную камеру? Но я уже там. В единственной такой клетке на всю тюрьму,— во время утренней и вечерней проверки над глазком зажигают свечу, чтобы дежурный офицер мог разглядеть в темной яме пленника. Я протестую!..»

* * *

Плетясь по дорожке для прогулок в саду тюремной больницы, Петерис Стучка почти все двадцать полагающихся на прогулку минут не спускает глаз с зарешеченных окон корпуса. В одном из них мелькает бледное лицо друга Плиекшана. В другом виднеется курчавая голова знакомого русского студента.

Хотя во время прогулки за арестованными следит конвоир, Петерис все же ухитряется поздороваться с одним, другим, третьим. Понятным одним заключенным языком знаков и жестов они договариваются о дальнейшей связи в комнате фельдшера или умывальне. В течение месяца, с тех пор как они с Янисом Плиекшаном переведены в арестантский лазарет за Даугавой, Петерис получает достаточно ясное представление о масштабах разгрома новотеченцев, об уликах, имеющихся в руках жандармерии, о поведении каждого арестованного. Он узнал и мрачное и радостное. Да, да, есть и радостное! От ареста все же спаслись более десяти товарищей! И среди них рабочий организатор Давид Бунджа и еще несколько других бежали за границу.

Самое тяжелое обвинение выдвинуто против Петериса Стучки и Яниса Плиекшана. Их объявили вожаками преступной латышской социал-демократической организации. По их наущению Янис Пуце раз десять переправлял тюки весом от трех до шести пудов с антигосударственной литературой, которую оба вожака организации распространяли среди латышских рабочих, служащих и сельскохозяйственных рабочих.

Следователей нельзя упрекнуть в ограниченности. Они сразу правильно оценили, что́ в действиях новотеченцев опаснее всего. Они поняли, что найденные при обысках на квартирах интеллигентов экземпляры «Коммунистического манифеста» и «Будущего социал-демократии» могут пробудить революционное сознание городских рабочих и сельского пролетариата. Поэтому жандармы во время допросов с упорством борзых стараются пронюхать даже о самом незначительном пустяке, касающемся связей фабричных рабочих и белых рабов латифундий с «философствующими интеллигентами». Сами «философствующие интеллигенты», их застольный или кабинетный социализм, как издевательски говорит допрашивающий Стучку следователь, интересуют жандармов меньше. Восемьдесят семь дел обвиненных в антигосударственном заговоре интеллигентов будет передано на «правый монарший суд» именно за смущение латышских трудовых людей «подлыми» учениями социализма, направленными против бога, царя и законного правопорядка.

Вскоре после ареста в Рижской губернской тюрьме заболел Вилис Хертелис, потом пересланный из Либавской тюрьмы Янис Плиекшан, а через некоторое время общее недомогание, острая боль в глазах и лихорадка свалили на тюремные нары и Петериса Стучку. Тяжелый нервный приступ скрутил врача Крумберга.

«Человеческие условия! Медицинскую помощь!..» — требовали арестованные, но только после того, как во время проверки вынули из петли уже остывшее тело Крумберга, жандармское управление и тюремная администрация велели врачу

осмотреть «государственных преступников» и более тяжелых больных перевести в тюремный лазарет. Первым — Яниса Плиекшана, а через несколько дней также «вождя супостатов против монархии» — Петериса Стучку.

— Па-шли!

Надзиратель гремит связкой ключей и неуклюже, по-мужицки, топочет за Петерисом. Дверь камеры открыта, но порядок мест заключения требует, чтобы в ту минуту, когда заключенный подходит к своей камере, конвойный находился за дверью, держа ключ в замочной скважине, готовый резким толчком захлопнуть дверь камеры. Даже больной преступник опасен, и конвойный всегда должен быть начеку.

— Живее, живее! — торопит тюремщик. — Тащится, точно...

— Точно больной, — кончает Стучка, не ускоряя шага. Он знает: надзиратель хочет украсть хоть несколько минут из положенного арестанту времени на прогулку.

— Не раз-го-ва-ри-вать! — Надзиратель крикливой породы.

Больничная камера вдвое больше камеры губернской тюрьмы. И главное — она светлая. Чуть-чуть потемнее жилой комнаты рижского рабочего или бедного студента. Двойной крест из железных прутьев на окне поглощает много света.

Окно находится довольно высоко над полом. И все же если подойти к нему, то кроме небесной синевы, облупившихся стен противоположных домов на улице Шонеру видна еще полоска мостовой, по которой каждый день в обеденное время к лазарету идет Дора, неся на согнутой руке накрытую салфеткой корзинку. Дора несет Петерису обед. Взяв в лазаретной конторе посуду от предыдущей передачи, она той же дорогой идет обратно, поглядывая обычно на окно Петериса. Вряд ли ей издали сквозь решетку и зеленое шероховатое стекло видна фигура мужа. Но Дора всегда улыбается. Кивает головой, машет платочком.

Дора приносит Петерису и книги — дозволенные в тюрьме учебники и научную литературу, приносит на подпись срочные документы из адвокатской конторы Стучки (клиенты спешат взять обратно от неблагонадежного адвоката документы и доверенности). В лазаретной конторе бумаги, в присутствии конвойного, заключенному выдает дежурный помощник начальника, не упуская при этом случая попрекнуть арестанта в подлом злоупотреблении божьей и царской милостью.

«Вот человеку дан университетский диплом, он причислен к сословию граждан, может именем закона и по монаршьему соизволению заниматься имущественными делами мещан и благородных особ. А он?.. И что ждет такого ветреного человека в будущем? Недоверие клиентов, долги... Загубленная жизнь...»

В лазаретной камере Петерис изучает языки. Пополняет свои познания во французской лексике, фразеологии и изучает

английский. Дора купила популярные тетради Тусена Лангеншейта для изучения иностранного языка. И каждый день, не пропуская и воскресенья, он выписывает в общую тетрадь по двадцати английских слов. Учится их произносить, запоминает их прямое и переносное значение. Каждый день — двадцать новых слов. И повторяет пройденное.

За три, три с половиной месяца, если тем временем заключенных не выпустят под залог (установленную для Стучки сумму собирается добыть Бисниек), Петерис надеется научиться свободно читать по-английски и переводить. Разумеется, не тексты Шекспира,— стратфордец пользовался более чем шестнадцатью тысячами слов,— а научные и публицистические статьи. Петерис не собирается, как в гимназические годы, соревноваться с Плиекшаном в переводе на латышский язык беллетристики. У Яниса есть нечто большее, чем талант. Он — крупный литератор, чьи переводы и собственные сочинения латышские журналы печатают под именем Райниса, и в одинаковой мере — революционный философ. И то и другое совмещается довольно редко. Видимо, поэзия — великое призвание Яниса. Может быть, это нужно было увидеть еще раньше. Но, по мнению Петериса, хорошо, что Райнис не появился раньше, чем Янис Плиекшан посвятил себя борьбе за идеи Маркса и Энгельса.

Петерис Стучка приложит свои литературные способности в области общественной деятельности, необходимой в повседневной борьбе за социальное освобождение трудящихся. Английский язык ему пригодится для изучения социалистической литературы. И у Карла Маркса не один десяток произведений написан на английском языке.

Петерис подвинулся поближе к окну, из которого видно начало переулка. Там должна пройти Дора. Там она еще не пытается казаться такой бодрой, как когда выходит на улицу Шонеру и старается выглядеть более сильной. Там идет усталая, несчастная женщина, которую поддерживает лишь сознание, что без ее посещения мужу, брату и их товарищам (Янису Янсону, братьям Ковалевским) будет очень трудно, что без ее упорства старую мать Плиекшанов окончательно придавит куча несчастий (смерть мужа, затем дочери Эльзы, арест сына и зятя...).

В начале улицы Шонеру Дора на минутку останавливается. Ставит корзинку на крыльцо ближнего дома, поправляет волосы под полями шляпы, ощупывает и одергивает платье на плечах и груди и затем быстро приближается к зданию тюремной больницы.

— Дружок мой хороший...— У Петериса режет глаза, как от вскружившего песок ветра.

Он напрягает слух, пытаясь услышать ее шаги сквозь шумы тюремного лазарета и улицы.

9. «БЛИЗОК НАШ ЧАС, ДРУЗЬЯ»

(Из революционной песни)

Владельцы витебского мануфактурного дела «Братья Шмерлинги» Шмул Шмерлинг и Инда-Ицок Шмерлинг — абсолютно разные по характеру люди.

У старшего брата западноевропейские манеры, его румяные щеки всегда гладко выбриты, и одет он с иголочки, в хорошо сшитый выутюженный костюм. Разговаривает Шмул степенно, почти литературным языком, умеренно пользуясь иностранными словами и жаргонными выражениями, жестикулирует мало.

Шмерлинг-младший, Инда-Ицок, с ног до головы еврейский деловой человек. Сухощавый, с характерным горбатым носом и толстыми губами, суетливый в движениях и речи. Кажется, что Инда-Ицок не умеет ни ходить нормальным шагом, ни спокойно выслушивать своего собеседника.

«Я понимаю, я знаю...» — сыплет Инда-Ицок, как горох, слова, перебивая собеседника. Разумеется, говорит Инда-Ицок вовсе не то, что понимает и знает. Торговля как-никак близнец притворства и изворотливости, а откуда знать, что когда-нибудь не придется собеседнику что-то продать или купить у него...

Теперь братья Шмерлинги в конторе мануфактурной фирмы, в заваленной образцами и деловыми бумагами клетушке со стеклянными стенами, нанимали Петериса Стучку в юрисконсульты.

— Я знаю — это не секрет ни для одного витебского делового человека или чиновника — у Петра Ивановича Стучки, рижского адвоката, сосланного в административном порядке, с практикой обстоит совсем неважно.— Шмерлинг-младший навалился локтями на стол.— Я знаю, у Петра Ивановича денежные затруднения. В Риге наделаны долги на сумму, на которую можно купить солидное оптовое дело. Недвижимостей, предприятий, ценных бумаг или верных побочных доходов у господина Стучки нет. А жить господину Стучке нужно. Нужно есть-пить, нужна квартира, нужно одеваться, обуваться. Нужно содержать семью.

— Только не уверяйте меня, пожалуйста, что у вас за ссыльного Стучку сердце болит. Что вы из бескорыстной любви к ближнему собираетесь открыть ему свой кошелек,— ответил Петерис Инде-Ицоку.

— Этого мы делать не станем,— Шмерлинг-старший встал с высокого кресла основателя фирмы — Шмерлинга-отца.

— Петру Ивановичу не может все же быть безразлично, как он будет жить в Витебске, какие у него будут доходы,— продолжал свое младший брат.

— Я умею обращаться с напильником, гаечным ключом и другим слесарным инструментом,— отрезал Петерис, следя за бегающим взглядом Инды-Ицока.— К вашему сведению, в юности я мечтал о технике. Но давайте говорить прямо: что же все-таки побуждает принципалов фирмы «Братья Шмерлинги» предлагать политически неблагонадежному адвокату место юрисконсульта в своем предприятии? Может быть, вы думаете — человек в затруднительном положении, так он любую жабу проглотит. И за основательно пропахшие судебные дела браться будет. И за низкую плату, конечно.

— Да что вы, Петр Иванович... господин Стучка! — поморщился Инда-Ицок.

— Я хочу ясности,— жестко сказал Петерис, словно читая приговор.— Чтобы у господ не было никаких иллюзий. Заниматься закулисными делами я отказываюсь. И во время своей свободной юридической практики Стучка брался только за безупречные с этической точки зрения дела. Независимо от их прибыльности... Так что прошу ясности.

— Я вас не понимаю...

— А я понимаю,— повелительным жестом Шмерлинг-старший остановил брата. — Петр Иванович — джентльмен. Что верно, то верно, безусловно, в наших расчетах платить меньше. Не станем отрицать этого. Но мы берем вас юрисконсультом именно потому, что это вы. Политические — люди убеждения, они умеют хранить тайну. Они, можно сказать, неподкупны. Политический тайны фирмы конкуренту выдавать не станет. А что такое конкуренция в торговых делах, этого мне вам объяснять не надо — вы сами понимаете.

— Наш динабургский корреспондент отозвался о Стучке как об отличном знатоке российского местного права. Фирма «Братья Шмерлинги» из-за некоторых положений местного права потерпела ощутимые убытки. Но если мы будем знать ходы, не известные нашим конкурентам, то... Кроме того, при закупке товаров непосредственно у фабрик возникает необходимость связей с заграничными коммерсантами, надо писать письма на иностранных языках, заключать договоры о поставках и тому подобное. Тут знающий юрист — то же самое, что кредит в банке. Вас это удовлетворяет, пан адвокат?

— Удовлетворяет.

— Так что, как я понял, вы согласны работать у нас юрисконсультом?

— Если только более низкий гонорар, о котором вы говорили, не окажется жалкими нищенскими грошами.

— За составление документов — казенная ставка, за остальные услуги — по особому соглашению.

— В таком случае... я согласен.

По правде говоря, предложение братьев Шмерлингов каза-

лось Петерису почти подарком. Даже скромно оплачиваемая работа юрисконсульта гораздо лучше его теперешних копеечных доходов — непостоянных заработков от прошений и заявлений для крестьян, рабочих и всякой случайной клиентуры.

В его частную контору (адвокатская практика Петерису Стучке запрещена не полностью) приходили за советом по судебным делам рабочие табачной фабрики Колбановского и местных кирпичных заводов, когда у них возникали конфликты с работодателями. Основная адвокатская клиентура — люди, заключающие сделки по купле и продаже или ведущие тяжбы из-за наследства, предпочитали держаться подальше от политически скомпрометированного правоведа. Одобряя мужа, Дора сваливала его неудачи на квартиру — невыгодное место и неподходящее для конторы расположение комнат (Дора уже присмотрела другую квартиру — в первом районе города, недалеко от Смоленского рынка, с довольно большой приемной и отдельными входами в кабинет, гостиную и другие комнаты). Дора так говорит, но Петерис знает, что это неправда. Почтовый чиновник Петров, брату которого, рабочему, выгнанному с оптической фабрики Зелинга, Петерис составлял жалобу в суд, как-то шепнул ему, что членам Союза фабрикантов и домовладельцев будто разосланы специальные письма, в которых их предупреждают не связываться с политическими. Если бы Дора сама верила тому, в чем старается убедить мужа, то не бегала бы по купеческим и мещанским домам, предлагая уроки французского языка и латыни. Работы у нее и так хватает — она в больнице ассистирует врачам при операциях. (В Витебске Дора встретила свою подругу по университету в Монпелье, жену политического ссыльного провизора Майзеля.) Конечно, всякие можно найти объяснения (как это Дора и делает!). Можно сказать, что беготня эта необходима для устной рекламы, для вербовки адвокатской клиентуры.

— Поскольку мы с вами уже договорились, Петр Иванович, то позвольте мне ознакомить вас с одним сильно затянувшимся гражданским иском к некоему полоцкому помещику.— Шмерлинг-старший подошел к охваченному обручами железному сундуку, отомкнул его тремя ключами и достал пухлую папку.— Наш клиент — родственник губернатора, отъявленный негодяй, местные адвокаты предпочитают не связываться с ним. Ознакомьтесь, пожалуйста, но если сочтете, что вам, как политическому, это может повредить, то я не настаиваю, чтобы вы им занялись.

— Если мне может повредить? — Стучка перевел взгляд со старшего брата на младшего, потом снова на старшего. Необычный человек, кажется, этот Шмерлинг-старший. Необычный в сонме богатеев, в толпе поклонников золота и акций.

Но известно и такое. Россия — страна больших неожиданностей.

— Теперь можешь вести меня к своему домовладельцу на Госпитальную,— сказал он Доре, когда она вечером вернулась домой.— Мы эту квартиру снимем. Тогда тебе уже не придется бегать на уроки ко всяким тупицам. Мы сразу же сможем взять к нам твою маму. Напиши госпоже Розенберг в Ригу, ей самой и Янису. У Яниса в Пскове твоей маме лучше не будет.

* * *

Иногда по вечерам Стучки навещали Майзелей в доме городской аптеки, иногда семья Майзелей приходила к ним. Вернее — приходили Стучки и другие или же Майзели и другие (эти «другие» — ссыльный социал-демократ Гальперин, новотеченец Янис Ковалевский и конторщик трамвайной компании Кубенчиков). Хозяин дома — подвижной рыжеволосый Майзель, бойкий человек в поношенной студенческой куртке. Он долго отбывал заключение в Киевской крепости и теперь находился под надзором полиции в родном Витебске. У Майзеля редкая способность заводить знакомства с рабочими, интеллигентами, ремесленниками. В жаркие летние дни, когда витебчане толпами устремляются к крутому берегу, чтобы освежиться в водах Двины, Майзель купается вместе с парнями с кирпичного завода, льнопрядильной и бумажной фабрик. Купается и беседует с ними на песчаной косе. А иногда посиживает с мастеровыми или приказчиками в одной из трех чайных, посещаемых разным городским людом. Ходит в гости к рабочим в их комнатенки, по воскресеньям скитается с ними по лесу за Смоленской дорогой.

— Его высокоблагородие, начальник губернской жандармерии содержит специального филера для слежки за мной,— усмехаясь, рассказывал Майзель Стучке. — Хочет во что бы то ни стало поймать меня с поличным. Я прикидываюсь простачком, заставляю филера топать за мной через весь город и оставляю с носом. Беготня эта доставляет мне истинное наслаждение.

Однако из вас, Петр Иванович, навряд ли получится заговорщик моего типа,— говорил он не то в шутку, не то с сожалением.— Вы чересчур велики ростом, чересчур солидны на вид, чересчур мрачны и серьезны. Взглянув на вас, каждый увидит: у этого человека что-то дурное на уме. Стоит вам только появиться среди местных белорусов или бедных евреев — и подозрительные типы будут тут как тут. Для конспиративной работы, Петр Иванович, каждый должен искать себе подходящую среду. Разве это умно — на виду у людей долбить ломом фундамент здания самодержавия! За такое тебя живо закуют в кандалы да укатают в каторжную тюрьму казенных гусей

кормить. Вы не обижайтесь, Петр Иванович, но я должен как следует подумать, прежде чем взять вас с собой на какое-нибудь конспиративное дело.

Майзель революционер нового направления в России — группы «Освобождения труда». Он не согласен с пропагандистами социализма, которые ограничивают свою агитацию среди рабочих конспектированием и разбором первого тома «Капитала» Маркса.

«Посвящать от шести до семи недель раскрытию тайн, сухому теоретизированию, чего талмудически придерживаются наши интеллигенты, «идущие в народ», означает убивать живой дух марксизма. Сознанию масс социализм должен прививаться повседневными экономическими и политическими требованиями трудящихся. Только с этими требованиями, и развивая их, мы можем прийти к теории. «Суха, мой друг, теория везде, а древо жизни пышно зеленеет»,— сказал Гёте».

«Ну что, споем! — предлагал Майзель, когда разговоры затягивались.— В Киевской цитадели вместе со мной сидел один полтавчанин, виртуозный исполнитель малороссийских песен. Насколько это позволял режим, он пел и в камере, коротая так время. Я продемонстрирую вам главные номера его репертуара. Или, может быть, начнем со скорбной песенки местных башмачников?..»

Когда вместе с Майзелем у Стучки гостил и Янис Ковалевский, когда из Смоленска появлялся сосланный туда Янис Янсон, дом на Госпитальной улице покачивался в такт песням. У троих латышей — Янсона, Ковалевского, Стучки — сильные голоса. В более теплые вечера, когда ставни на окнах не закрывались, обитатели ближних деревянных домишек выходили на свои крылечки. И, удивленные, слушали незнакомые мелодии. Им и в голову не приходило, что эти веселые люди из красного кирпичного дома еще недавно вели опасные разговоры.

О революциях, о причинах их разгрома в прошлом, о видах пролетарской борьбы на будущее. Они говорили об историческом и моральном праве пролетариата на суровую расправу с врагами социальной справедливости. Возносили героизм парижских коммунаров. Люди из красного кирпичного дома были уверены, что в будущей классовой борьбе против поработителей трудового народа не может быть места отвлеченному гуманизму коммунаров. И самодержавные деспоты и «рациональная» буржуазия — поросль одного и того же племени хищников.

Казалось бы, таким заговорщикам следовало быть ниже травы и тише воды, а они пели.

И пением своим путали карты стражей государственного спокойствия и безопасности. Больше остальных — Петерис Стучка. Он не бродил вокруг фабричных казарм на другом

берегу Двины, не навещал сомнительных личностей. Если не считать Майзеля. Но Роза Майзель и Дора Стучка вместе учились во Франции. Стучка только принимал клиентов, бывал у своих работодателей — в оптовой торговле братьев Шмерлингов, в библиотеке Общества приказчиков, в городском театре. Иногда он читал лекции в Витебском обществе трезвенников или на собрании служащих. Видимо, Стучка к врагам государства был причислен по недоразумению.

— Знаете, что мне на прошлой неделе сказал его высокоблагородие городской полицмейстер Браун? — однажды (уже в начале зимы) заговорил со Стучкой Шмерлинг-старший.— Он все время был начеку в отношении ссыльного адвоката. Когда Стучка прибыл в Витебск, он даже приказал приготовить для него в тюрьме подходящую камеру. А теперь этот апартамент придется передать для общего пользования. Господин Браун не друг либерализма, но его положительным мнением следовало бы воспользоваться. Вы ничего не потеряете, если напишете в какую-нибудь высокую инстанцию или какому-нибудь высокопоставленному лицу и попросите предоставить вам право свободного передвижения.

— В самом деле?

— А почему бы вам и не воспользоваться благоприятной конъюнктурой?

— Вернув себе свободу, адвокат Стучка может из Витебска уехать. И тогда фирме «Братья Шмерлинги» придется искать себе другого юрисконсульта.

— Юрисконсульту фирмы не обязательно жить в Витебске. Большинство наших дел вполне можно уладить путем переписки. Негоцианты обычно космополиты, но и они немного понимают, что такое тоска по родине. Вы не будете отрицать, что Витебск для вас как клетка...

— Этой идеей Шмерлинга о прошении в Петербург, ей-богу, пренебрегать не следует,— сказал Петерис Доре.— Ведь я уже писал всякие прошения полицмейстерам, губернаторам, департаменту полиции, чтобы мне по состоянию здоровья указали местожительство в каком-нибудь прибалтийском округе (как-никак новотеченцев ведь не судят!). А что, если мне в самом деле еще попробовать написать в какую-нибудь высокую инстанцию, какой-нибудь высокопоставленной особе? Манипулируя при этом статьями и параграфами закона? Мы ведь жаждем выбраться отсюда домой. Да и твоя мама, несмотря на то что здесь течет рядом та же Даугава, что в Латвии, плохо переносит воздух чужбины. Как ты считаешь, попытка не пытка?

Когда Дора перед сном подала мужу очередную дозу лекарств и горячее молоко с сельтерской, Петерис сказал:

— Дорочка, милая, достань у своих еврейских знакомых в больнице еврейскую азбуку. От полицмейстера мне закосни-

рироваться удалось, так я теперь попытаюсь превзойти в ловкости нашего друга Майзеля. В Витебске большинство рабочих евреи. А о важных делах с людьми лучше всего разговаривать на их родном языке.

* * *

Поезд отходит после обеда, но Стучки заказали извозчика уже на половину двенадцатого. Прежде чем пуститься в путь на место ссылки, на север, они хотели попетлять по витебским ухабистым улицам, обвивающим и пересекающим бугры и овраги по обоим берегам Витьбы. Они хотели проститься с этим полутора- и двухэтажным русско-литовским губернским городом, который кое-какими постройками, садами и скверами напоминает родину, особенно юго-восточную Латвию. Над Витебском простирается точно такое же высокое небо, как над Прибалтикой, и, точно как там, оно вместе со сменой времен года меняет свой цвет — от мрачно-серого до нежно-голубого, как только что распустившиеся васильки. В июле и августе солнце тут такое же знойное, как на кокнесско-сельпильской возвышенности, и ласково-мягкое, как на островах латгальских озер или на зеленой курземской низменности в сентябре. Весною, как в Латвии, в садиках витебчан снегом падает яблоневый цвет. Вокруг Витебска растут, как и в Латвии, белые березы, трепетные липы, развесистые дубы, вдоль течения Двины вздымаются вязы, шумят, глубоко впиваясь корнями в береговые кручи, разлапистые сосны. Витебские ремесленники, рабочие и поденщики по одежде очень похожи на латгальских или верхневидземских батраков и плотовщиков. Часть здешних интеллигентов напоминает беспокойных гимназистов, семинаристов и студентов родной стороны Стучки, неутомимо ищущих «родственных душ» и путей, чтобы принести свет социализма в закоптелые фабричные сараи, сводчатые мастерские.

Более чем в двух тысячах километров на север, в далекой Вятской губернии, куда Петерис Стучка и его друг Плиекшан в девяносто восьмом году поселяются в административном порядке на пять лет, он уже не увидит пейзажа, похожего на родной. В лесистой местности Вятской губернии господствуют суровые зимы, там природа совсем не такая ласковая, как на западе, и там людям чужды тревоги новой эпохи. Поэтому Стучки стремятся увезти с собой в долгие годы ссылки воспоминания о солнечной родной стороне, о дыхании Даугавы.

За прошедшие месяцы, с тех пор, как именем самодержавия был объявлен окончательный приговор «по делу антигосударственной латышской организации», и с тех пор, как Петерис Стучка, обращаясь к разным высоким и средним полицейским начальникам, пытался выхлопотать себе другое место ссылки или по крайней мере отсрочить отбытие наказания, они с Дорой часто говорили о своей будущей жизни.

В девяносто седьмом году Доре пришлось бросить медицинский факультет, хотя до окончания оставался всего лишь один год. Дора думала продолжать учиться, как только Петериса освободят из-под ареста, но обстоятельства сложились так, что надо было заботиться об ослабевшем в тюрьме муже. «Если мы только с полчаса погуляем, то ему после этого надо целый час отлеживаться. Иначе он не способен работать»,— писала она брату. Доре надо было ухаживать и за хворой матерью, которая, приехав в Витебск, вскоре слегла. Накопилось много неотложных дел, а теперь, когда Петерису был объявлен приговор, о поездке во Францию не могло быть и речи. В ссылке Петерису особенно нужен будет друг, нужна будет поддержка. И помощник в борьбе за существование. Ссыльным строго-настрого запрещается заниматься юриспруденцией и педагогикой. В одиночестве ссылки, которая порою, может, мало чем будет отличаться от тюремного заключения, Петерису очень-очень нужен будет товарищ-единомышленник. Понимающий, терпеливый товарищ.

— Возможно, у меня есть журналистская искра. Может, в Риге, Лиепае или Елгаве я, как переводчица или учительница, зарабатывала бы столько, что нам хватило бы на обоих. Но я тебя одного не оставлю, — отказалась Дора от предложения Петериса вернуться в Прибалтику.— Я была бы не вправе называться твоим товарищем по жизни, по борьбе. Расставшись с тобой, я отказалась бы от самой себя. Ты, Петерис, знаешь идеал моей молодости — быть такой, какими были жены декабристов и самоотверженные подруги польских повстанцев. Так почему же ты не хочешь позволить мне хоть чуточку походить на моих кумиров? Быть может, я наивна, быть может, я поступаю неправильно, но в снежную Вятку мы отправимся вместе. Я не уверена, что мои способности и знания не пригодятся и там. Если память мне не изменяет, в вятской ссылке томились и Герцен и Салтыков-Щедрин. Томились и работали.

В конце концов Петерису ничего другого не оставалось, как согласиться с Дорой.

И вот они, собираясь вместе в дальнюю дорогу, в день отъезда отправились прощаться с городом.

Начали с кладбища. С могилы Дориной матери, на которой еще не успела по-настоящему пустить корни излюбленная латышами могильная зелень — шишкообразный полевой лук. Стучки надеялись накопить до конца года денег, чтоб поставить надгробие. Не дорогой памятник за чугунной оградой, не такой богатый, как у отца Плиекшанов на родине, но все же приличный знак памяти, который не пострадал бы от непогоды и тления.

С кладбища извозчику велели ехать через торговый район города, самый населенный, где губернская тюрьма примыкает

к рыночной площади. А оттуда вверх по берегу Двины, к охраняемому околоточными и стражниками центру. Мимо губернаторского дворца, земских судебных присутствий, церквей и управлений. И еще вверх — до Могилевского базара. Затем через мост в город на левом берегу Двины — на окраину, заселенную фабричными рабочими и ремесленниками.

Стоял жаркий июльский день. Такой жаркий, что там, где улицы поднимаются в гору, седокам ударял в лицо трепетный зной. Листья на развесистых деревьях в скверах и за заборами посерели и увяли. Солнце нещадно било в окна домов и стекла громыхавших серо-зеленых трамвайных вагонов. Проезжавшие повозки поднимали столбы пыли, пахнувшей мусором, глиной, маслами, селедочным рассолом и невесть чем еще. В этой пыли быстро глохли шумы улиц и мастерских, как стук падающих в прах поленьев.

Доре вспомнился родной край детства — базары и церковные праздники в верхневидземских городках, и она попросила извозчика ехать медленнее.

— До отхода поезда у нас времени еще достаточно.

— Но стоит нам не прибыть на станцию за час до первого звонка, как полицмейстер всех городовых бросит за нами в погоню,— ответил Петерис.— Решит, что мы бежали.

— Ну и пусть! Тем торжественнее окажется наш отъезд.

— И тем больше неприятностей будет у наших друзей. Они придут проститься, а разгневанное начальство засадит их в каталажку. В таких случаях господа горячи на расправу...

— И все-таки не будем спешить...

Они подъехали к вокзалу в ту минуту, когда чиновник, ответственный за выполнение предписания губернатора о высылке государственного преступника,— пристав первого участка,— уже приказал созвать нижних полицейских чинов.

— Ну-с, почтенный! — прошипел пристав, одергивая полы мундира.— Вы, наверно, думаете, что приказание его превосходительства может остаться невыполненным?

— Его превосходительство, может, вспомнит, что мне не выдано для следования в места ссылки причитающееся казенное пособие, что мне пришлось самому оплатить билет и другие расходы. Или его благородие господин пристав тут же вручит мне установленную сумму в высшем размере?

Вопрос Стучки ошарашил и обезоружил пристава. (Черт подери! Ну и забияка этот Стучка!)

— Какую сумму? Мне об этом совершенно ничего не известно.

— В таком случае не мешайте мне и моей супруге готовиться к отъезду. И проститься с друзьями.

— Да, да, не мешайте проститься!..

На перроне собралось неожиданно много провожающих. С цветами, с узелками и свертками. Провизор Майзель с же-

ной, политический ссыльный Гальперин, врачи и сестры милосердия городской больницы, братья Шмерлинги, члены адвокатской коллегии, еврейские ремесленники, рабочие с табачной фабрики Колбанова, бумажной и картонной фабрики Киммеля и второго кирпичного завода. И парень из оптической мастерской Зелинга, для которого Петерис на второй или третий день после своего приезда в Витебск написал на городской почте жалобу инспектору фабрик. Тут и молодежь из ближних латышских колоний.

Они все пожимали Стучке руку, благодарили (Петерис не понимал, за что именно), желали здоровья, бодрости, выдержки и встречи при других, более приятных обстоятельствах. Насовали Доре роз, цветов шиповника, гвоздик, красных маков, словно избранной на народном празднике королеве лета. Когда кондуктор открыл двери в вагон, провожатые гурьбой хлынули в купе, разложили на скамье кучу подарков.

«Другу Петру Ивановичу и дорогой Доре Христофоровне»,— можно было прочесть на прикрепленных к сверткам записках. Были узелки и без письменных пожеланий, как вот эти завернутые в клетчатую материю и обвязанные тесьмой две пары крестьянских валенок.

Приставу казалось, что прощание витебчан с крамольным адвокатом выходит за границы дозволенного («тут и политические ссыльные, и чернорабочие, и ремесленники»). Он подал знак подчиненным вмешаться и разогнать толпу перед вагоном. Только их никто не стал слушать. А чтобы применить силу, у пристава не было указаний «сверху». Но вот, к его счастью, дежурный по станции дал третий звонок. Ну и слава богу, сейчас поезд тронется.

* * *

В Вятской губернии зима ранняя и внезапная. По календарю на дворе только начало октября, деревья еще стоят в зеленой листве, как вдруг выпадает снег, ударяют морозы. Снег все идет и идет. Через несколько дней к соседям можно будет добираться только на широких вятских лыжах.

Слободской — место ссылки Петериса Стучки, Яниса Плиекшана и нескольких десятков русских, польских и латышских революционеров — в сущности, большая деревня. Когда широкие, похожие на прогоны имения, улицы (они, как и прогонные дороги, местами огорожены частоколами и плетнями, а летом на них щиплют травку овцы и козы горожан) застилает снег, по проезжей части дороги скользят на лыжах одетые в шубы слободчане. По пешеходным, шириною с лопату, тропам, расчищаемым домовладельцами по распоряжению полиции (еще до рождества по обе их стороны, точно стены, вырастают островерхие сугробы!), трудно протиснуться и без всякой но-

ши, а тем более с полными руками! А тащить на себе всякую поклажу с той или другой окраины городка слободчанам приходится ежедневно. Мелкие кустари, кожевники, скорняки, ткачи, шапочники, корзинщики, бочары постоянно бредут с коробами полуготового или готового товара — к хозяину, к скупщику, к заказчику или испольщику. А политические ссыльные, живущие на скудные гроши «казенного довольствия», вынуждены на спине таскать из лесу вязанки хвороста. Прежде всего — прибывшие на место ссылки зимою и не успевшие вовремя запастись топливом.

Ссыльные, у которых водятся деньги, не бредут в лес с топором, но бедняки вроде Петериса Стучки стараются в поте лица своего. Прежде чем потратить копейку, он несколько раз повертит ее в пальцах. И квартирная хозяйка Стучек Тетурина на Козульской, 31, с тревогой ждет начала каждого месяца, гадая, будет ли у постояльца чем уплатить за квартиру или он опять попросит подождать. А вообще-то хозяйка жильцами своими не нахвалится. Покладистые, душевные люди. Сам починил ей прохудившийся самовар. И какой ласковый, обходительный. Встретит — непременно спросит, как жизнь, как родные, все ли в порядке по хозяйству. Заодно расскажет, что в обеих российских столицах или в других краях делается (по дороге сюда, в Вятку, жильцы на несколько дней в Москве останавливались, потом на Нижегородской выставке побывали). А если кому что написать надо, сам никогда не откажет, а сама, если кто захворает, сразу поможет. Барыня, видите ли, только малость до доктора не доучилась. Аграфена Евстигнеевна от души уважает своих славных жильцов. Только беда — с деньгами у них худо.

Что верно, то верно, с деньгами у Стучек худо. Все, что они заработали в Витебске, ушло на дорогу, на неизбежные расходы на новом месте. Из Риги или из кокнесского наследства приходят одни неоплаченные счета. О том, чтобы жить на частные уроки, когда в Слободском и окрестных селах двадцать шесть ссыльных интеллигентов, нечего и думать. Местные купцы и мещане — они составляют три четверти всего населения — своим детям домашних учителей почти не нанимают. Столько, сколько пареньку потребуется, чтоб в отцовском деле работать, ему и в начальной или в городской школах в голову втемяшат. Мещанские барышни да чиновничьи жены, правда, не прочь бы какой-нибудь иностранный язык осилить, но не нанимать же им для этого врагов государевых. И Стучкам приходится перебиваться случайными заработками — перепиской бумаг, копейками, которые перепадают за напечатанное в рижских газетах. Петерис посылает в выходящую снова «Диенас лапу» статьи о реформе прибалтийских судов, о роли просвещения в борьбе с преступностью, о юриспруденции за границей. Коечто зарабатывает и Дора, обучая французскому языку семьи

членов земства или врачей. Разумеется, есть надежда, что когда-нибудь Петерис при своих знаниях законов Российской империи выхлопочет себе «казенное пособие» (на квартиру, пропитание, одежду, белье и обувь). Вопреки всему, он заставит этих твердолобых советников и столоначальников признать, что родившийся в крестьянском сословии Петр Стучка, кандидат прав с 1886 года, действительно переведен в сословие персональных почетных граждан и, согласно существующим положениям, статьям, параграфам, пунктам, ему полагается ежемесячное пособие в размере не менее шести рублей.

— То, что тебе полагается, ты у царских держиморд хоть зубами вырви,— наставлял импульсивный петербуржец Николай Алексеев Стучку, впервые появившегося на товарищеском вечере ссыльных поселенцев.— Если ты, брат, уступишь им в малом, то в другой раз они тебя, а возможно и твоих товарищей, заставят поступиться и в большом. Лозунг повседневной борьбы политических ссыльных — солидарные действия против властей. Ни в чем ни на йоту не поддаваться насильникам!

— Преследуемые и презираемые самодержавием должны жить как связанное общей клятвой братство, — поддержал Алексеева московский инженер Вашков.— У вас, латышей, в крови, Петр Иванович, чересчур много северного стоицизма, невозмутимости. В этом же уезде, в Глазове, какой-то застенчивый лифляндец уже настолько оголодал, что еле ноги волочит.

Первый по приезде Стучки в Слободской вечер ссыльных революционеров состоялся на квартире петербуржца Кугушева (Кугушев по происхождению князь!). У Кугушева есть рояль, присланный матерью-аристократкой блудному сыну. Когда разговоры за самоваром перешли к политическим темам, к роялю села похожая на девочку ссыльная в темном костюме курсистки и начала наигрывать мазурку Шопена. Ее проникновенная игра доставила бы Стучке удовольствие. Но музыка мешала расслышать, что говорит сухощавый польский интеллигент (знакомясь с ним, Стучка не расслышал его имени) в очках, с клинообразной бородкой и высоким лбом. Петерис уже хотел было встать, чтобы увести девушку от рояля, но его остановил Плиекшан:

— Так надо. Это для нежелательных любопытных...

«Ну да! Мы находимся под гласным надзором полиции. Всякие чины и соглядатаи должны докладывать по начальству о том, что каждый из нас делает и говорит...»

На чайных вечерах Петерис Стучка познакомился с ссыльными — членами петербургских и московских русских социал-демократических союзов, узнал, какие марксистские книги можно достать в читальне колонии, с кем следует дружить в городской библиотеке, чтобы получить доступ к закрытым шкафам, и как легче всего проникнуть в богатую городскую читальню.

— Мы каждую неделю устраиваем вечера с докладами. Разбираем вопросы социалистической теории.— Алексеев, один из старейших обитателей колонии, знакомил Стучку с укладом политических ссыльных в Слободском.— Конечно, если не подходит сезон грибов или охоты. А какой стихии вы подвержены? Охотитесь? И как вы относитесь к рыбной ловле? В нескольких верстах вверх по реке Вятке, там, где начинается крутой берег, удивительно много рыбы. Один из наших на двойной английский крючок за один час взял полное ведерко. Двух с половиной- и трехфунтовых налимов.

Не забывайте: слободские поселенцы устраивают доклады и диспуты. Недавно мы получили книжку Бернштейна «Основы социализма и социал-демократии». Большинство товарищей с мыслями Бернштейна не согласны. Что значит тезис: «Движение — всё, конечная цель — ничто»? Не подготовили бы и вы, Петр Иванович, какой-нибудь реферат? Если согласитесь, то соберемся как-нибудь и у вас.

— Мы всегда будем рады товарищам. Но прежде чем реферировать, я хотел бы изучить капитальные труды Маркса и Энгельса. А также более значительные работы Либкнехта, Бебеля, Каутского, если только они здесь доступны...

— А современные русские мыслители вас не интересуют?— в разговор включился интеллигентный поляк, тот самый очкастый, с клинообразной бородкой.— Недавно за границей вышло несколько изданий Российского социал-демократического союза. Книги Бельтова-Плеханова. И если вам еще не довелось прочесть, то горячо порекомендовал бы вам книгу Ильина «Развитие капитализма в России». Она написана почти с Марксовым размахом.

В длинные зимние вечера Петерис Стучка читал статьи основоположников революционной философии. Читал анализируя. Обдумывал каждую главу, конспектировал, как студент экзаменационный материал. На одной половине тетрадной страницы скупо излагал содержание труда, на другой — печатными буквами записывал формулировки и их место в тексте. Чтобы в любую минуту можно было раскрыть книгу и проверить.

Он читал до поздней ночи, а на сонных улицах, никем не тревожимый, бродил суровый северный мороз и, словно проверяя, крепко ли спят люди, постукивал ледяным топориком по стенам и ставням домов.

— Как будто пора и на покой. Часов шесть поспать все же надо, — сказал Петерис Доре и подвинул настольную лампу, у которой недавно начищенное стекло закоптело, как устье хозяйкиной печи.

— Надо поспать, — Дора отложила рукопись.

— Что ты сегодня успела?

— Не много, — вздохнула она. — Переписала начисто не-

сколько страниц для твоей брошюры. Написала несколько писем. Паулю — в Москву, рижским соседям, Розиню — в Англию. Болтливо, растянуто, но иначе, ей-богу, не умею. Корреспонденцию ссыльных обнюхивают хорошо натасканные шпики. А береженого бог бережет.

Кажется, что бродяга мороз остановился перед самой стеной дома Тетуриной. И злой же он сегодня! Стучит по бревнам — только трещит. И сквозь незаметные для глаза щели задувает в комнату ледяной воздух. Топленная весь вечер, печь прямо трескается от жара, а от пола и окон все равно тянет холодом.

* * *

В начале зимы девятисотого года Дора Стучка получила почтовую посылку из далекого Лондона. Собрание драм Шекспира. Восхитительное издание. Один из тех шедевров британской полиграфии, которыми так любят хвастать завзятые книголюбы. Со вкусом отделанное, украшенное виньетками и гравюрами издание на тонкой бумаге, вроде папиросной. Обрезы позолочены, пухлые обложки мягки, точно сделаны из замши.

Прекрасный подарок, ничего не скажешь. Но какой в нем смысл? Право, странные люди эти Ковалевские. Сами крошат черствую краюху эмигрантского хлеба, считают брошенные в камин уголья, ходят в драных туфлях (так Ольга Ковалевская[1] писала Доре), а делают княжеские подарки. За такой том Шекспира, наверно, надо отдать заработок квалифицированного рабочего за несколько недель. Чего они этим хотели добиться? Удивить, изумить людей в слободской глуши?

Через некоторое время из Лондона пришло письмо. Обычное туристское письмо домашним. В нем нет недостатка в пространных описаниях сырости и туманов Альбиона и лондонских нравов. И в рассказах из жизни семьи Ковалевских, в информации о событиях в мире искусства и литературы. В конце приписка: «Понравился ли переплет книги?»

— Переплет книги?.. — удивился Петерис. И перечитал приписку. Затем, ощупав дорогой заграничный подарок, достал сапожный нож. — Дорочка, заложи, пожалуйста, засов на двери.

Отковырнув края тонкого кожаного переплета, он увидел тайник. В обложке был вырезан четырехугольник величиною со школьную тетрадь, а в него втиснута сброшюрованная книжица.

---

[1] Ковалевская Ольга (1866—1949) — одна из первых латышских женщин-революционерок. Новотеченка, работала в редакции «Диенас лапы». В 1900 г. сослана в Витебск, в 1902 г. эмигрировала в Швейцарию. С 1920 г. работала в Народном комиссариате иностранных дел РСФСР (затем — СССР).

— «Социалдемократс», — удивленно прошептал Петерис. — Социал-демократический журнал на латышском языке. И это издали... Издали?.. Господи, но тут не указаны ни издатели, ни редакторы... Отпечатано в типографии Социал-демократической библиотеки в Лондоне... — проговорил он осипшим от волнения голосом. — Социал-демократическая типография... То есть — свободная типография. Свободная латышская марксистская типография... Дорочка, посмотри!.. Статьи без имени автора, под шифром, — иначе и нельзя. Но эту я, ей-богу, узнаю. Ты послушай: «Во всех культурных странах рабочие признали, что только классовая борьба, к которой призывает международная социал-демократия, может привести к победе... а в нашем священном государстве жандармов, казаков, цензоров и кнута так называемая легальная литература не смеет даже упоминать об учениях социал-демократов». Фрицис Розинь! Он! Его фраза, его эпитеты! А автором вот этой должен быть Ковалевский [1]. А этой — Весманис.

Да ты только подумай, Дорочка! Выходит латышский социал-демократический журнал, журнал, организующий трудовых людей! Еще шаг — и у нас будет социал-демократическая партия Латвии. Пар-ти-я! Объединяющая классовое сознание и классовую волю и руководящая ими. У поляков уже есть своя революционная партия. На демонстрациях, руководимых социал-демократической партией, польские пролетарии поют свой революционный гимн «Красное знамя». Да и наши братья-литовцы уже разработали программу своей партии.

В девяносто восьмом году состоялся Первый съезд российской социал-демократии, теперь в разных центрах России происходит стремительная консолидация революционных сил, сплочение партии на теоретических основах революционного марксизма. Мы, латыши, до сих пор сильно отставали от своих соседей. Но если у нас есть... социал-демократическая печать, то и наши пролетарии скоро ударят в набат.

В ту ночь Петерис и Дора так и не уснули. Они листали лондонский «Социалдемократс», судили и рядили, как ускорить развязанные историей события.

Посылать статьи Розиню и товарищам за границу? Это они уже делали. Писать чаще в легальную печать, на родину? В этом году Петерис напечатал брошюру о том, как законами России трактуются политические преступления. Что-нибудь более радикальное цензура не пропустит. Оставалась еще полемика с политическими растяпами. Современным архимедовым рычагом в преобразовании мирового порядка была и остается пролетарская партия...

---

[1] Ковалевский Екаб (1862—1943) — инженер, новотеченец, участник революционного движения, неоднократно находился под арестом, в ссылке. После Октябрьской революции — на хозяйственной работе в Советской Латвии и РСФСР.

Изучая Маркса, Петерис в общем ликвидировал белые пятна в своем миропонимании, ознакомился с историей борьбы пролетариата. И в нем возникло убеждение: эра свободы, братства и равенства наступит для человечества только с созданием массовой интернациональной партии трудящихся.

Значит, надо расширять переписку с единомышленниками в Прибалтике, в изгнании, за границей. Надо содействовать сотрудничеству латышских социалистов с русскими марксистами. В Риге живет один из петербургской группы революционных марксистов — Сильвин. Слободчанин Гурвич говорил о сотрудничестве Сильвина с рижскими латышами. В Латвии есть и русские и литовские марксисты. Значит... Сотрудничество курземских латышских молодежных и рабочих кружков с опытными идейными товарищами других национальностей помогло бы скорее преодолеть тамошние местнические стремления.

Но Слободской совсем не подходящее место для того, чтобы развернуть переписку. На слободской почте каждое поступающее и отправляемое письмо просверливается любопытными глазами.

Другое дело, если бы Стучки жили в губернском городе Вятке. Щедринский Глупов связан с окружающим миром железной дорогой и судоходной рекой. Из Вятки можно поддерживать связь и без помощи почтовой конторы.

— Ссыльный Стучка, который только и делает, что сидит дома над книгами, у исправника на хорошем счету, — рассуждал Петерис. — Несколько раз исправник уже разрешил мне съездить в губернский город. Там статистическим управлением ведает человек либеральных взглядов. Говорят, этот начальник не отказывается брать к себе на службу политических ссыльных. А что, Дорочка, если нам перебраться в Глупов? Врачебных свидетельств о плохом состоянии здоровья, чтобы приложить к письму губернатору, у нас с тобой больше, чем надо. А если заручиться еще помощью местных дружески настроенных горожан? И исправник нацарапает мне нейтральный отзыв.

В конце декабря Дора получила из Лондона последний номер журнала мод. Иллюстрированное издание с толстыми, склеенными вместе страницами. Дора подержала журнал над кипящей водой, клей отошел, и вывалилась газета революционных социал-демократов России — «Искра». Газета выступала за сплоченную в идейной направленности и дисциплине всероссийскую пролетарскую партию нового типа, она была за марксистскую партию, крепко спаянную с рабочим движением. «Искра» требовала, чтобы марксисты порвали с «экономистами», с «легальными марксистами», с бернштейнианцами и прочими оппортунистами.

— Вот вокруг какого знамени следует собирать латышских социалистов! — Сложив напечатанную на необыкновенно тонкой бумаге газету, Петерис вышел в сени за лыжами. — Помчусь к Алексееву. Такой клад долго держать при себе нельзя.

* * *

— Чего это мы топчемся на крыльце, точно старосветские помещики? Пошли в дом. — Янис Плиекшан стукнул тяжелой дощатой дверью, предложив Петерису переступить через высокий порог. — Эльзы нет дома, — объяснил он, думая, что друг не решается войти.

Несколько дней тому назад Петерис сказал Янису:

«Когда Эльза присутствует при наших разговорах, я с трудом сдерживаюсь, чтоб не сказать ей что-нибудь язвительное. Кардинальные вопросы будущего ей не по силам. И я при ней не хотел бы обсуждать вопросы организации».

«Она — моя жена. Она мне очень-очень многим помогла и помогает,— ответил Янис. — Без нее не было бы Райниса».

«Не было бы поэта? Кажется, ты становишься мистиком».

«Мистика и любовь, поддержка знающего друга — вещи разные. Как огонь и ночь. Если ты изучаешь Маркса, то тебе следовало бы усвоить это прежде всего».

«Все-таки, все-таки...» Он чуть было не повторил сказанное когда-то об Аспазии самим Янисом («Новое она воспринимает не из убеждения. Она облекает себя в него, как в красивое платье, и ей начинает казаться, что это ее сущность). Но хорошо, что не сказал. Что верно, то верно — поэтесса-романтик заставила ярко загореться факел райнисовского таланта.

— Эльза уехала в Вятку с почтой,— добавил Плиекшан, думая, что Петерис не расслышал его.

Хотя друзья жили на разных окраинах Слободского, они виделись часто. Иногда на вечерах поселенцев, то есть политических ссыльных, иногда навещали друг друга. Правда, Стучка больше ходил на квартиру Плиекшана (вернее — на квартиры: за неполные пять лет Янис сменил пять квартир). Плиекшан неохотно оставлял свою заваленную книгами и рукописями комнатку, свой необычно низкий столик, над которым приходилось сильно склоняться. Плиекшан жил только на литературные заработки — на гонорары за переводы стихов и романов для рижских издательств и за юридические консультации в газете «Маяс виесис». Но латышские издатели очень экономили на авторских гонорарах. И уже популярному в Прибалтике поэту приходилось трудиться пером упорнее, чем слободским рабочим каким-нибудь другим инструментом. Пли-

екшан часто жаловался на невыносимую головную боль, которая мешала ему написать намеченное на день количество строчек, сокрушался, что не осуществляет свох творческих замыслов, и неохотно поэтому выходил из дому. Уж лучше пускай Петерис ходит к нему.

Теперь спутница жизни Яниса Аспазия, или госпожа Эльза, как называли поэтессу в семье Стучек, приехала к мужу в гости, она привезла Янису много новых книг, недоступные ссыльным издания, приветы от единомышленников и друзей. Привезла приунывшему поэту весеннюю радость, бурные переживания, творческое вдохновение и — отчуждение от сестры и Петериса Стучки.

Правда, в Слободском Аспазия не позволяла себе высокомерных, язвительных замечаний, которыми она когда-то осыпала близких мужа и не угодливых с ней новотеченцев. Ну, тех, что забивали себе головы теориями Маркса и Лассаля и ухмылялись, когда поэтесса начинала проповедовать всепреобразующую силу любви: «Социальную среду надо преобразовать — говорили они. — Прежде всего люди должны стать социально свободными, и уже тогда они смогут стремиться к чему-то другому». Однако ей было трудно сдержаться, когда разговор заходил о проблемах социализма. Ее подмывало блеснуть премудростью, заимствованной у рижского философа-эклектика, редактора «Маяс Виесис Менешракстса» Петериса Залите, например: «Социалистические идеи оскверняются корыстью руководителей движения...», «Трагедия века заключается в том, что благородных целей хотят добиться неблагородным оружием».

— У меня, правда, не прибрано,— извинялся Янис, складывая раскиданные по стульям принадлежности туалета. — Пока Эльза у меня, я лентяйничаю. Видимо, таков по своей натуре человек — ленишься, если знаешь, что за тебя сделает это другой.

— Ты не начал писать пьесу? — Взгляд Петериса остановился на исписанных листках. Диалоги, персонажи с латышскими именами: Андрей, Скродер, Гриета.

— Я набросал драматургическую ситуацию. — Янис поспешно убрал рукопись.

Нет, делиться замыслами, как когда-то на берегу Вятки, где он читал Петерису свои стихи, Плиекшан не был настроен. Но Петериса это не задело. Он пришел обсудить вопрос, связанный с социалистическим движением, и рад, что не должен остерегаться ее.

— Программа «Искры»... — Петерис достал из обложки записной книжки узкие исписанные полоски бумаги. — Программа борьбы «Искры» за сплочение Всероссийской социалистической рабочей партии и дискуссии, которые велись в связи с этой программой в нашей колонии, кажется, сделали нас

особенно прозорливыми. Так бывает, когда рассматриваешь затейливые рисунки или решетчатые картинки,— если так можно перевести немецкое «Wexierbilder», на которых мы долго и тщетно пытаемся найти: «Где собака?», «Где спрятался охотник?», «Куда залез заяц?» Но только тебе покажут нужную линию, как ты удивляешься, что не заметил ее раньше. После этого мы уже не можем быть слепыми, не видеть этой тайны. Сейчас очертания единой Всероссийской партии нам показаны, и необходимость такой партии для нас стала почти аксиомой.

— Но каким образом во Всероссийскую социалистическую партию объединятся национальные марксистские организации? Ведь у каждой из них, в конкретном случае — у латышской социал-демократии, помимо общей цели, есть и свои особенности. Обусловленные историей народа, его языком...

— Обусловленные историей народа, его языком,— согласился Петерис.— Только история народа, язык не одно и то же, что классовые особенности. С одной стороны, язык — элемент, объединяющий разные классы в нацию, с другой,— разъединяющий братьев по классу разных народов. Национальному, как мы знаем, свойственно скатываться к националистическому. Когда-то Карл Маркс критиковал Готскую программу немецкой социал-демократии именно за узконациональный подход к рабочему движению. Марксисты отличаются от буржуазных идеологов еще и тем, что учатся на ошибках, не списывают их и не повторяют снова. Мне не дает покоя вопрос о форме, в какой латышская социал-демократия войдет во всероссийскую организацию. На каких началах?

— Не знаю. — Плиекшан как бы сник. — Мне неясно, чего ради ты придаешь этому вопросу такое принципиальное значение. В программе общественного движения всякие условия и ограничения могут стать поводом для нежелательных споров. Я много думал о человеке будущего: каким мы его себе представляем и каким он должен был бы быть? В «Росмерсхолме» Ибсена меня привлекло такое место: «Ах, какая радость была бы тогда жить! (Это когда был бы человек будущего). Никаких отравленных ненавистью споров. Только соревнование. Взоры всех устремлены к общей цели. Воля каждого, мысль каждого обращены вперед — вверх, каждый — на своем собственном, естественно необходимом ему пути. Счастье всех создано силами всех». Красиво, не правда ли?

— Красиво, но — иллюзорно. Красивое может стать реальностью, только если уничтожить корни зла. А уничтожить зло невозможно без борьбы. Без длительной, требующей напряжения всех сил борьбы. Вот посмотри, что получается, если сравнить две программы немецкой социал-демократической партии. Я беру в основу новую, Эрфуртскую программу немецких социалистов. Вот первый параграф...

— Этими параграфами, Петерис, ты просто начинен. Послушай, не взять ли тебе «Параграф» псевдонимом?

— Почему бы и нет? В «Параграфе» есть хотя бы социальный подтекст, чего не скажешь о подписи «Петерис Бирзниек».

10. «ДАЛИ ПРЕОДОЛЕВАТЬ, ЧТОБ ХОТЬ НА ПЯДЬ БЛИЖЕ К ЦЕЛИ СТАТЬ»

(Я. Райнис)

Мимо вагонных окон все чаще пробегают холмы, купы сочно-зеленых кустов, массивы еловых лесов, тяжелые рогатые дубы на буграх и пригорках. Перестукивая колесами, поезд прогрохотал по зелено-серому мосту, и Петерис увидел знакомую с детства местность. Тут же за указательным столбом, за ельником показалась станция Кокнесе.

Петерис вышел на площадку вагона. В Кокнесе желто-зеленый скорый поезд должен догнать воинский эшелон, и если кокнесцы в самом деле так патриотичны, как об этом писали рижские газеты, то это должно как-то проявиться. Петерис точно не помнил, какой именно из националистических листков — не то «Балтияс вестнесис», не то «Ригас авизес»[1] Фрициса Вейнберга — сравнивал верность кокнесцев царю с патриотизмом их отцов в русско-турецкую войну. В те времена волостное начальство предложило, а плательщики подушной подати согласились безвозмездно сдавать казне лошадей для армии. В семидесятых годах кокнесцы содержали на станции стол для проезжих солдат и раненых. За это его величество выразил волости свою всемилостивейшую благодарность, а волостному старшине пожаловал серебряную медаль.

Казалось, некоторые кокнесцы и в самом деле пытались устроить подобие патриотической манифестации перед воинским эшелоном. На перроне в сверкающей под июльским солнцем ризе, с обнаженной головой и с крестом в руке, стоял длинноволосый православный поп, рядом с ним — офицер в походной форме, местный полицейский с начищенной латунной кокардой на фуражке, некий тощий человечек из имения, в немецкой охотничьей куртке и шляпе с пером, и четыре богатых хозяина — разного роста, полные и грузные, как мешки с зерном. За дверью станционного здания, словно спасаясь от ветра, сбившись в кучку, вертелись со свертками в руках («Если это подарки солдатам, то уж больно их мало!») разодетые по-праздничному женщины, видимо, жены волостных богатеев. Насколько можно было разглядеть, лица у манифестантов были недовольные. Может быть, недовольство было

[1] «Рижская газета».

вызвано скорым поездом, расстроившим задуманную церемонию, или, может быть, жалким положением, в котором они очутились. Совсем не видно восторженных, завистливых зрителей. Манифестантов словно не замечали даже возчики, присматривавшие за хозяйскими вороными и чалыми у станционной коновязи. Расселись кучкой под вязами и толковали о чем-то («Должно быть, о своих батрацких или любовных делах!»).

По другую сторону, в воинском эшелоне, в отодвинутых дверях товарных вагонов, навалившись на поперечные перекладины, томились солдаты. Дымили махорочными цигарками и без всякого интереса взирали на пассажирский поезд.

— Да... Жидковатый патриотизм... — Петерис вернулся в купе.

На явно слабое проявление патриотизма обратили внимание и спутники Петериса Стучки — чиновники-латыши из Белоруссии.

Седоватый управляющий имением из Смоленской губернии, похожий на салонного социалиста Микелиса Валтера из курземской социал-демократической группы, увлек к окну служащего витебской трамвайной компании и возбужденно говорил ему:

— Либеральная политика, либеральное воспитание, почтеннейший,— это осквернение любви к родине. Это анархизм. Царскому воинству нужна поистине пылкая народная любовь. Всего народа, а не только его лучшей части. Вот смотрите: защитников родины мы провожаем на поле брани с безразличным, бесчувственным сердцем. А началось все это с бунтов фабричных рабочих. С требований повысить жалованье и сократить рабочий день. Иной сердобольный хозяин уступил кое в чем бездельникам. И сразу об этом раззвонили по всему свету. Теперь и батракам имений подавай нормированный рабочий день, более легкую работу в поле и риге. Ну и придумают же! В деревне — такой же рабочий день, как в городе!

Последнее он говорит, уже обращаясь к Стучке. Словно ищет поддержки у господина адвоката, который в судебных тяжбах, затеваемых этими наглецами против своих кормильцев, непременно должен стать на защиту порядка.

Но Петерис Стучка как будто не понял намека. Он мнет свою газету, напустив на себя занятой вид.

Он, разумеется, охотно сказал бы этому спесивому болтуну (управляющий имением, кажется, сын прибалтийского серого барона) правду в глаза. Заставил бы его лишний раз пососать сахар с валерьянкой. Но это все равно что семена на камни бросать. И главное — нельзя делать этого из-за конспирации. Если не управляющий, то другой болтун, из трамвайной компании, разнесет его слова на всю губернию. И полиция вскоре

узнает о выезде Петериса Стучки за пределы установленного для него места жительства, о его нелегальных наездах в Ригу.

После отбытия срока в вятской ссылке Петерис Стучка опять жил в Витебске. Он находился под тайным надзором полиции, и селиться в столице и других университетских городах ему запрещалось. А из Витебска до родины — рукой подать...

«Микелис Валтер... Семья Калниней... Курземская оппортунистическая группа...»

Петерис Стучка думал о последних рижских событиях.

Долгожданный, тщательно готовившийся учредительный съезд Латышской социал-демократической рабочей партии состоялся. Теперь у латышского пролетариата уже был свой боевой штаб — Центральный комитет, свой общественный организатор и пропагандист — газета «Циня», свой печатный орган за границей — журнал «Социалдемократс».

Более двух тысяч сплоченных партией социал-демократов — это сила, которая заставит трепетать самодержавный режим. К тому же эта сила будет расти и распространяться.

«Скоро грянет буря!» — скандировал Янис Янсон на съезде «Песню о Буревестнике» Максима Горького. Но Янис не остался лишь восторженным романтиком. Делегаты съезда, все одиннадцать представителей рижских, курземских и видземских организаций, говорили о ширящемся забастовочном движении рабочих. За последние годы, после стихийного бунта работниц джутовой фабрики, экономические волнения рабочих обрели явно выраженный политический характер. А затеянная царем Николаем война на Дальнем Востоке только обострила положение.

Все это так. И тем не менее съезд вызывал у Петериса Стучки двоякое чувство.

Требование Фрициса Розиня об установлении диктатуры пролетариата в программу партии записано не было. Половина делегатов съезда, среди них и докладчик Янсон, необходимость диктатуры пролетариата отклонили, сославшись на редакцию текста. («Разве мы не декларируем: «Классовая борьба неизбежно приводит к свержению капиталистического строя и созданию социалистического общества»?») Должно быть, он, Петерис Стучка, не сумел убедить товарищей в том, насколько существенно каждое высказанное или невысказанное в программе слово.

Программа не должна затуманивать идею, делать ее неясной.

Съезд избегал резких формулировок. Говорили: они повредят объединению сил трудового народа. Повредят!.. Повредили бы, если бы объединение было самоцелью, а не средством борьбы.

Объединение возможно только на определенных принципах. Ленин говорит в книге «Что делать?»: «Если уж надо было соединяться,— писал Маркс вожакам партии,— то заключайте

договоры, ради удовлетворения практических целей движения, но не допускайте торгашества принципами, не делайте теоретических уступок». А рижские товарищи изучали работу Ленина с карандашом в руке.

К тому же эпиграфом к книге Ленина взята цитата из письма Лассаля: «Партийная борьба придает партии силу и жизненность. Величайшим доказательством слабости партии является ее расплывчатость и притупление резко обозначенных границ. Партия укрепляется тем, что очищает себя».

Что очищает себя...

— По культурности латыши стоят выше средних великороссов и малороссов... — Управляющий имением из Смоленской губернии, видимо, нашел в чиновнике трамвайного управления терпеливого слушателя и не переставал излагать ему свои соображения. — Вы слыхали последнюю лекцию заведующего музеем Латышского общества Силиня? Об индийском происхождении нашего народа, о связях наших предков с финикийцами, римлянами и скандинавскими викингами? Так вот: наши предки роднились с могучими народами. Поэтому интеллектуально высокоразвитым латышам нечего слушать русских нигилистов. Нигилизм их порождается невежеством и душевной неотесанностью. По данным переписи девяносто седьмого года, Прибалтика по количеству грамотных занимает первое место в России, впереди всех губерний и обеих столиц.

«Нечто подобное делегатам партии толковал и один из ораторов курземской группы...» Петерис Стучка в мыслях опять задержался на прошедшем съезде.

«Почему съезд не дал этому курземцу заслуженного отпора? Разве мы отказались от платформы, принятой нами еще во времена новотеченцев, как единственно правильной: борьба классов, а не национальностей? Как такое могло произойти?»

В Динабурге в смежное купе сел изысканно одетый пассажир. Как только поезд тронулся, он без приглашения вошел к соседям.

— Разрешите? Как, господа, насчет партии в карты? Спать ложиться вместе с курами было бы стыдно.

— Разве что совсем маленькую,— согласился управляющий имением.

— Как господам угодно. Надо же как-то время скоротать. Чем господа изволят играть? Своими картами или моими? У меня совсем новая колода. Еще не распечатанная. Французская.

— Поиграем французской.

«Дурень я,— сердился на себя Петерис. — На что мне это?» Но все же сел играть. Хотя — что же ему было делать? За картами ведь обычно разговаривают о картах.

Обычно, но не на этот раз. Господину из смежного купе страх как хотелось почесать язык о японской войне.

— Что вы скажете о мобилизации? Какого вы мнения о генерале Куропаткине? Вижу, вы «Ниву» читаете (это сказано управляющему имением), и еще у вас какое-то нерусское издание. Ах, латышская газета «Петербургас авизес»? А что под этой ужасной фотографией написано? Ищут моряков, погибших на броненосце «Петропавловск»... Так, так. А вам не кажется, что неразумно это народу показывать?

— На то у печати есть цензура, которая знает, что разумно и что неразумно. — Стучка отложил свои карты. — Я, господа, не люблю такую рассеянную игру. Играть так играть, или я, господа, бросаю.

— Да что вы!.. Продолжаем.

Игру прервали ночью, когда до Витебска оставалось всего лишь несколько часов езды. Как раз столько, чтобы немного вздремнуть и привести себя в порядок, прежде чем оставить вагон.

— Нам с вами, кажется, в городе по дороге? — обратился франт к Стучке, когда пассажиры стали собирать свои чемоданы.

— Не знаю.

— По-моему, так. Можем поехать вместе.

— Вам так угодно? — Петерис окинул соседа беглым взглядом.

И вдруг его озарило: как же это он сразу не догадался! Сударь этот, возможно, из т о г о учреждения... И он не отстает потому, что застал Стучку во время недозволенной поездки. В канцелярию полицмейстера Брауна Петерис за разрешением не обращался.

Петерис вез с собой литературу. А что, если его задержат и обыщут в управлении полиции?

— Вы весьма любезны,— поклонился он и отступил в глубину купе, чтобы пропустить навязчивого незнакомца.

Что делать? Оставить сверток в купе? Это почти то же самое, что отдать его в руки полиции. Поехать с ним до центра, надеясь на слепой случай?.. Ни за что!

Человек! Нужен человек, который бы спас положение!

Петерис огляделся вокруг. И увидел в коридоре завсегдатая вечеров Общества приказчиков — еврея-конторщика Ханина. На лекциях Стучки он обычно сидел вместе с двоюродной сестрой Майзеля. Почти всегда на одном и том же месте.

Чуть поколебавшись, Петерис подозвал его к себе.

— Господин Ханин,— тихо сказал он и протянул удивленному конторщику сверток,— будьте добры, сберегите это у себя на какое-то время.

Ханин понимающе кивнул. Быстрое движение руки — и он уже в своем купе.

* * *

— В городе, в губернии, по всей России все летит вверх тормашками, а на квартире Петра Ивановича словно ни в чем не бывало собрались на музыкальный вечер. Хозяйка дома угощает кофе и чаем, хозяин с олимпийским спокойствием играет Бетховена...

— Небольшая корректива, уважаемый шеф. В программе сегодняшнего вечера Гуно. — Стучка встает из-за рояля навстречу лысеющему господину лет пятидесяти, в пенсне. Это присяжный поверенный Щулепников, по поручению которого помощник присяжного поверенного Стучка ведет судебные дела.

— А что уважаемого шефа все же так взволновало? — спросил Стучка, когда Щулепников уже успел пожать руки всем гостям. Говорить господину Щулепникову имена и отчества гостей нет необходимости. Разве что надо представить Чунчиня и динабуржца Опала. Но они уже сами назвали более подходящие для себя в данном случае фамилии.

Гостиная Стучек, как обычно во время домашних концертов, ярко освещена. В углах и над роялем, куда не достает свет сияющих на потолке стеклянными подвесками люстр, горят, точно огромные распустившиеся цветы, керосиновые светильники под зелеными и белыми колпаками. Одинаковые мягкие стулья расставлены полукругом, за ними, ближе к кабинету хозяина дома,— несколько простых. На случай, если гостей соберется побольше.

— Что взволновало? — Популярный в губернском городе адвокат порывисто развел руками, его накрахмаленные манжеты соскользнули. — Что сейчас творится в Российской империи! Бесконечные демонстрации, стачки, протесты... Позорная война. И позорное ее окончание... Господа...— Щулепников обвел присутствующих долгим скорбным взглядом. — На телеграф только что поступила депеша... Мирные переговоры с Японией в Портсмуте...

— ...завершились безрезультатно? — опасливо поинтересовался кто-то.

— Хуже! Россия подписала в Портсмуте самый позорный мирный договор за всю историю Русского государства. Царь велел отдать Японии половину Сахалина, Маньчжурию, так называемый Квантунский округ. Велел уплатить Японии огромную контрибуцию, предоставить права рыболовства в дальневосточных территориальных водах России. Кроме того, вся Корея становится протекторатом Японии.

— Невероятно!

Зашаркали быстро отодвигаемые стулья. Слушатели окружили адвоката, посыпались вопросы. Когда получена депеша? Кто прислал ее? Адресована ли она непосредственно губерна-

торской канцелярии или же предназначена для общего сведения? И в самом ли деле ничего не напутано или превратно понято? Какая жестокая капитуляция! Невероятный провал русской дипломатии! Те, что подписали этот договор, тем же миром мазаны, что и продажный генерал Стессель, сдавший Порт-Артур, и генерал Куропаткин, про которого даже витебские босяки озорные песни поют.

— Вы, шеф, помните наш разговор после моего приезда из-за границы? — обратился Стучка к Щулепникову. — О том, что империя Романовых загнивает? Вы тогда в моих словах усмотрели недоброжелательную к России субъективность иностранцев. Говорили, что в Германии и Швейцарии я заразился микробами русофобии. Тогда были еще только поражения на фронте и слухи о бесталанных командующих и мошенниках интендантах. Затем пришла цусимская катастрофа, и вот в завершение всего — Портсмутский мирный договор. Разве следует еще спорить о том, является или не является эта гнусная война свидетельством загнивания империи? Измученному общей хозяйственной разрухой, голодному народу наплевать на казенный патриотизм. Он протестует и, как вы говорите, подрывает устои империи!

— Подрывает, а почтенный Петр Иванович продолжает их подпирать еженедельными концертами.

— Теми средствами, которыми он располагает, патрон. Вы, кажется, мне как-то говорили, что в служении обществу каждый выбирает себе те средства, которые ему ближе всего.

— Но послушайте!

— Дамы и господа! — воскликнула хозяйка дома. Внеся поднос с чайной посудой, Дора повела к роялю стройную брюнетку. — Моя приятельница Зоя Давыдовна призналась мне, что она увлечена медитацией Гуно первой прелюдии Баха и охотно исполняет ее. Попросим Зою Давыдовну сыграть нам.

Вилиса Чунчиня и динабуржца в гостиной уже не было. Петерис помог расставить сдвинутые в кучу стулья и, как только Дорина приятельница села за рояль и заиграла, тихо выскользнул в кабинет.

Да, его уже ждали. Там был и витебский большевистский организатор Гальперин. Представитель латышского кружка партии Чунчинь взволнованно шептался с делегатом организации местного гарнизона, штабным ефрейтором Крейцем. Не было только постоянного представителя латышских военных Вакара.

— Обстановка осложнилась,— сказал Гальперин, когда Стучка закрыл за собой дверь. — Повторения «Потемкина» не будет.

— Что случилось?

— Горячие головы поторопились. — Гальперин кивнул Чунчиню и военному, чтобы они подошли. — Слушайте!

— Сделан мальчишеский выпад,— сказал ефрейтор. — Завтра, как известно, латышским ребятам должны были выдать оружие и боевые патроны, и тогда бы началось. Но вот несколько десятков молодцов, выведенных на прогулку, встретили бастующих металлистов и начали выкрикивать наши боевые лозунги. Как значится в рапорте унтер-офицера, нижние чины из латышей вызывающе кричали: «Долой самодержавие!» Крикунов, конечно, отвели в полк и допросили. И кое у кого, наверно, нашли в кармане или в ранце что-нибудь компрометирующее. И к тому же кто-нибудь, видимо, еще проболтался. Полковник доложил о случившемся по начальству, и приказ о выдаче оружия отменили. Послезавтра солдат латышской национальности погрузят в вагоны и отправят в Финляндию, в лагерь строгого режима.

— Тяжелый случай,— поморщился Стучка.— А в остальных полках?

— Ты думаешь осуществить план латышей силами других полков? — спросил Гальперин. — Военная организация против этого. Зато у товарищей латышей есть другой план.

— Другой план?

— Воинский эшелон с красными флагами. Товарищ Крейц только что объяснил. А тебе, Петр Иванович, срочное партийное задание. Необходимое количество красной материи в Витебске есть только в оптовой торговле братьев Шмерлингов. Завтра, самое позднее в семь часов утра, штуки красной ткани должны быть в портняжной мастерской Янкеля Драбкина.

* * *

Он распахнул настежь окно, из которого открывался вид на Двину, перегнулся через подоконник и в мешанине грохочущих, хаотичных городских шумов пытался услышать сотни, а может быть, тысячи ожесточенных, пылких, восторженных и яростных возгласов.

Он понимал: железнодорожная станция от его квартиры чересчур далека. Между ними большой городской район, Двина, территория заречных фабрик, ремесленные мастерские и — сырой воздух. То, что сейчас происходило у железнодорожного полотна и в отходящем от станции воинском эшелоне, он не услышал бы, даже если бы у него был слух зайца. Как прошла руководимая витебскими социал-демократами демонстрация солдат латышской национальности, Петерис Стучка узнает только после возвращения Доры. И когда встретится с товарищами из партийного комитета.

«Надо закалять терпение, Петр Иванович... В революции терпение порою обеспечивает победу, в то время как опромет-

чивость, недисциплинированность... Да вы сами лучше меня это знаете из книг теоретиков-марксистов,— сказал Гальперин, сообщив Петерису решение партийной организации: — В день акции из дома не выходить. Чем более невинным будет казаться поведение Петра Ивановича, тем лучше будет для революции. В движении у каждого свое место, свои обязанности. Там присутствие Петра Ивановича ничего не изменит. А поди знай, организации может снова понадобится послать его к мануфактурным оптовикам. С миссией, которая никому, кроме адвоката фирмы, не по плечу».

В этот раз деловой разговор с владельцем мануфактурной фирмы ничем особенно не отличался от прений сторон в суде. Товарные сделки Шмерлинг-старший поручил Инде-Ицоку, а младший компаньон в «таком деле» участвовать не хотел. «Если бы товар был нужен вам лично, я дал бы, не моргнув глазом. А товар этот пойдет я знаю на что... И кто мне поручится, что забастовку не объявят и рабочие складов и мастерских фирмы Шмерлинг? Не поднимут красные флаги и не кинутся на своих хозяев? Вы, наверно, хотите, чтобы я еще сунул стачечникам в руку пистолет, чтобы они приставили его к моей груди?»

«Пистолет к груди вам приставляет черносотенное царское воинство, стражи существующих порядков, которые учиняют еврейские погромы. Против них и борются под красными знаменами рабочие. Там, где развевается красный флаг, национальной, религиозной или расовой ненависти не место. Родственники писали господину Шмерлингу о погромах на юге России, и вам следовало бы понять, что произошло бы с евреями в Витебске, если бы не эти демонстрации с красными флагами».

Петерис Стучка не был уверен, что в случае, если партии в другой раз понадобится красная материя, ему удастся снова выпросить ее у Инды-Ицока. Шмерлинг-младший прежде всего человек расчета. По его мнению, царский манифест о созыве совещательной Государственной думы должен явиться для народа доказательством доброй воли монарха. Инда-Ицок проклинает социал-демократов, которые своей неуживчивостью поддерживают в государстве напряжение. К тому же такие нелегальные торговые сделки для фирмы совсем не выгодны. Во всяком случае, если учесть риск, с которым они связаны.

«Удалось бы нашим, удалось бы! — Стучку охватило мальчишеское волнение. — Если демонстрация латышских солдат состоится, то будет оказана большая помощь трудящимся Витебска и всей губернии. Подумать только: регулярные войска выступают вместе с революционным народом! Тот, кто до сих пор подавлял народ, стал его союзником. Моряки уже восставали на «Потемкине», бунтовали в лиепайском порту, были волнения в войсках и в других местах. И если из

Витебска эшелон с красными флагами дойдет хотя бы до ближнего крупного города... Недавно собравшийся в Риге, в июне, Второй съезд Латышской социал-демократической рабочей партии потребовал, чтобы пролетариат уже теперь с оружием в руках дал отпор любому насилию самодержавия, превратив столкновение с его прислужниками в непрекращающуюся партизанскую борьбу.

Ожидаемый Третий съезд социал-демократии России обсудит вопрос вооруженного народного восстания. «Вперед», то есть ленинская группа, выступает за сплочение всех революционных сил для сокрушительного удара по самодержавию. И самодержавие должно пасть под нажимом полков пролетариата, потому что пролетариат не ищет общего пути с буржуазными благодетелями, соглашателями и вздыхателями. Он должен сплотиться для удара... Хотя доморощенные паули калнини и феликсы циелены хотели бы утопить революционную активность народа в тихой заводи буржуазного парламентаризма. «Наша стратегия и тактика — пассивное сопротивление. — Это их кредо! — Тактика активной невооруженной борьбы». Словно новый, более справедливый общественный строй можно создать путем резолюций, петиций, собраний! Если бы самодержавие было лишь карточным домиком, то, может быть, было бы достаточно демонстраций и лозунгов. Но трудовой народ должен уничтожить препятствие к политической свободе, которое рухнет только под нажимом силы. Надо применить силу!»

— Почта, Петр Иванович. Пожалуйста, вот сегодняшняя почта. — Размышления Стучки прервала вошедшая служанка. Она положила на стол кипу газет и писем, примяв ее ладонью. Словно хотела сказать: «Читайте! Читайте сейчас же!»

Стучка принялся разбирать почту, листать газеты. Нет, волна стачек не спала. Стачки охватили всю Россию, Польшу, Прибалтику. От фабричных не отстают и курземские и видземские батраки. Стычки с полицией и казаками... Двадцать восьмого августа в Риге состоялось собрание делегатов промышленных рабочих. Первый сейм пролетариата Латвии... (Интересно, кто там задавал тон — марксисты или же сторонники пассивного сопротивления?) В Латвии продолжают разбивать портреты царя... «Ригас авизес» Фрициса Вейнберга и немецкая «Ригаше рундшау» даже приводят статистику, сколько где уничтожено портретов — в волостях, волостных школах, в городках и местечках. Цифры, надо сказать, внушительные. «Поход бунтарей против помазанника божьего... — пишет Черный Фрицис.— Начали с антигосударственных демонстраций в церквах, с изгнания пасторов, разбрасывания листовок, шествий богомольцев с красными флагами, а теперь уже покусились на особу коронованного императора... Куда мы идем?!..»

«Идем на баррикады! Наперекор объявленному курляндским губернатором военному положению!» Петерис отложил газету и распечатал бандероль с рижской печатью. Наверно, из лавки на Дерптской улице. Должно быть, последний сборник партийных статей. Или же новая книга стихов Райниса, которой так ждут товарищи. Книга революционных стихов «Посев бури». Должна была недавно выйти.

Но не успел он развернуть бандероль, как в комнату вбежала Дора.

— Удалось, удалось! — запыхавшись, проговорила она. — Только поезд набрал скорость, как состав словно охватило огнем, вырвавшимся из окон вагонов. Собравшиеся на железнодорожной насыпи витебчане махали солдатам, выкрикивали революционные лозунги, пели «Варшавянку». Из поезда кинули огромный красный флаг. Рабочие подхватили его. Потом другой, третий...

— Ты бежала, как безумная, Дорочка...

— А тебе сейчас же надо спешить в Ригу. Прибыл курьер. Товарищ Ратнер,— она ждет тебя в переулке у почты с парой лошадей. Поскольку в Витебске такие события, ты сядешь на поезд на следующей станции в сторону Полоцка. Надо полагать,— добавила она,— в Риге соберется конференция организации большевиков России.

* * *

— Станционные служащие уверяют, что следующий поезд на Ригу пойдет... У нас почти полтора часа времени. Может, прогуляемся до дюн? Послушаем, как в революцию шумит море. Или ты для этого чересчур легко одет?

— Скорее чересчур тепло. Плед, шерстяной шарф и еще кое-что теплое под жилеткой. Эльза кутает меня не хуже твоей Доры. Согласен, пошли на дюны. Я больше недели моря не видел, хоть и живу на взморье. Дни проходят в страшной спешке...

— В безумной спешке... — согласился Петерис.

Он отвернулся от порывистого ветра, который ударил в грудь, когда они вышли из-за станционного здания. Петерис держался немного впереди Яниса. Но лишь пока не появились встречные. Тогда он пошел чуть позади друга. Ведь они приветствовали революционного поэта Райниса.

Друзья встретились на станции случайно. Плиекшан направлялся на собрание учителей. Стучка шел с дачи на Еленинской улице, где у него еще со времен новотеченцев была своя тайная библиотека. Теперь, в пору крупных стачек, поезда на взморье шли с перебоями. И так у них возникла

возможность какое-то время побыть вместе и спокойно поговорить. Плиекшан жил в Риге, вернее говоря — на Рижском взморье, Стучка появлялся в Латвии ненадолго. Янис на съезд руководителей партии избран не был, и друзьям после ссылки редко случалось бывать вместе. Они виделись только на Втором съезде партии латышских социал-демократов, в июне пятого года. Но почти ничего, кроме: «Как поживаешь, как у тебя со здоровьем?», сказать друг другу не успели.

Тревожное, бурное время революции! Теперь каждые сутки должны были бы тянуться не обычные двадцать четыре часа, а гораздо-гораздо дольше. Может, тогда окунувшийся в революцию человек поспевал бы за событиями. Может, тогда он успел бы сказать свое «долой» и «да здравствует» именно там и именно в том случае, где восставший народ этого больше всего ждал.

Событий, притом небывалых в истории освободительной борьбы трудового народа, в 1905 году было неимоверно много. На Россию обрушилась революционная лавина. Вспыхивали восстания против самодержавия, против социального и национального гнета. Защитников старого режима, палачей трудового народа и шпионов атаковали отряды дружинников. Пламя пожирало замки насильников.

Но среди латышских социал-демократов подвизались и такие, как Циелен, Элиас, Клара и Пауль Калнини. Они нападали на «горячих радикалов», которые не хотели понять, какие опасные «ростки дезорганизации общества» скрывало в себе развязанное теперь необъятное забастовочное движение. Не хотели признать, что задача федеративного комитета и волостных комитетов действия — управлять, поддерживать порядок, а не заниматься политической организационной работой. Примиренцы кричали: занесенному для подавления революции оружию надо противопоставить революционную пропаганду!

— Говорят, Плиекшан часто бывает в доме Калниней, — сказал Петерис, пытаясь обойти рыхлый песок.

— А некоторые говорят, будто Стучка весьма недурно устроился в Витебске. Развернул широкую судебную практику, а в Латвии появляется только во время судебных каникул.

— Витебск — место ссылки Стучки. Но если партия захочет, то он в ближайшее время переберется в Латвию.

— Ну, так к твоему сведению: Плиекшан посещает Калниней, сопровождая туда Аспазию. Калнини с Эльзой земляки, земгальцы. Кроме того, Клара Калнинь поклонница поэзии Аспазии.

— И, несомненно, также Райниса. Назови мне прогрессивного латышского интеллигента, который не боготворил бы Райниса.

— Ты, кажется, пытаешься мне льстить?..

— У меня когда-то не хватило зоркости, чтобы по достоинству оценить твой талант. Боюсь, как бы ты не истолковал превратно мое литературное баловство в прошлом.

— И от обиды не сдружился с социалистами калнинского салона? Ведь я уже сказал тебе: туда ходит Эльза. Иногда я сопровождаю ее. Не думаю, чтобы на меня могли там повлиять. Хоть я, как и Аспазия, происхожу из мелкой буржуазии. Но духом, умом и чувством я пришел к убеждению, что жизнь свою должен отдать борьбе за социализм, социализму.

— Но поэты скорее подвержены влияниям, чем простые смертные. Может быть, ты помнишь слова Энгельса о схожести поэтов с падкими на лесть девицами?

— Помню. Только сказанное Энгельсом я истолковываю иначе. А к поэтам я вообще подхожу дифференцированно. Бывают поэты гражданственные и поэты, замыкающиеся в себе.

— В Слободском ты рассуждал о всепрощающем человеке будущего!

— О человеке-гуманисте будущего. Это нечто иное.

— Меня вот что беспокоит: часть наших товарищей препятствует слиянию латышской организации с русскими социал-демократами,— сменил Стучка тему. — Помнишь решение нашего Второго съезда? В объединенной партии России национальные организации должны сохранить свою национально выраженную самостоятельность. Не кажется ли тебе, что здесь что-то не так? Национально выраженная самостоятельность?..

— Мы — как часть тела России. Мы — ее правая рука, которую она протягивает к Европе. Без русских товарищей мы — гонимые ветром листья...

Янис хотел сказать еще что-то. Но он вдруг осекся и оглянулся назад. Их кто-то быстро догонял. Парень в полупальто и шляпе.

— Пельше[1] как будто... Роберт Пельше, организатор церковных демонстраций в Земгале. То ли он хочет догнать тебя, то ли ему понадобился я. А морем полюбоваться нам так и не придется.

— Видимо.

Они не предвидели, что только начатый разговор останется незаконченным, что события скоро разлучат Яниса Плиекшана и Петериса Стучку. Райнис будет скитаться в эмиграции, а товарищ Параграф станет нелегальным партийным работником в России. Начавшаяся в 1914 году мировая война

---

[1] Пельше Роберт (1880—1955) — деятель революционного движения, историк советского искусства и литературы, критик. Член партии с 1898 г., член ЦК ЛСДРП во время революции 1905 г. Активный деятель Октябрьской революции в Москве. В 1918—1922 гг. член Московского горкома партии, в 1930 г. избран действительным членом Академии искусствоведения.

воздвигла между соратниками и друзьями молодости непреодолимую стену, оставив им лишь совсем редкие возможности переписки. Порою они в письмах вспоминали осень тысяча девятьсот пятого года на Рижском взморье. Вспоминали о том, как много они хотели сказать друг другу, но так и не сказали.

* * *

Второе заседание Третьего съезда Латышской социал-демократической рабочей партии вел Пауль Дауге. На дворе душная жара, как это бывает в Латвии во второй половине июля, когда знойный южный ветер уже угнал тучи за море, в Скандинавию, и от жары трескается земля и желтеет трава.

Мужчины сидели без пиджаков, в расстегнутых сорочках, женщины не переставая обмахивались носовыми платочками.

Дача, на которой в 1906 году собрались делегаты латышских социал-демократов, стояла на отшибе, в Майори, на взморье, в густой листве за забором. Издалека ее даже не разглядеть. Человек сторонний не скажет, что в глубине сада, за елями, кленами и высокими кустами ирги, прячется дом, в одной из комнат которого свободно разместились около полусотни делегатов от латышских организаций, а также представители Рижского комитета Российской социал-демократической рабочей партии, еврейской, русских меньшевистских группировок и эстонский товарищ. Тут же они могут поесть и переночевать.

Когда Пауль Дауге принялся переводить на латышский язык речь русского социал-демократа из Риги — Петра Кобозева, Стучка отошел к дверям веранды, где было не так душно.

Возможно, что в комнате стояла такая жара не столько от солнечного зноя, сколько из-за горячих дебатов. Скорее всего именно из-за них. Съезд проводился конспиративно, в тяжелых условиях реакции, когда революционное движение уже схлынуло, волна стачек спала и почти не слышно было о волнениях в войсках. На селе, вблизи маленьких городков, где латвийские крестьяне и народная милиция вели бои с драгунами и другими войсками «блюстителей порядка», изрытая земля уже покрывалась крапивой и ростками вейника. Только изредка дружинники и «лесные братья» еще посылают мстительную пулю вдогонку отрядам карателей, шныряющих из волости в волость под началом почетных полицейских — прибалтийских немецких баронов, оставляя за собой пепелища и побуревшую от крови землю на местах казней. Но среди делегатов съезда есть и представители дружинников. Вырванный недавно из застенков рижского полицейского управления Лутер-Бобис, с изжелта-бледным лицом и впалыми щеками

чахоточного (на вид ему не двадцать три года, а все сорок). На съезде присутствует и легендарный дружинник Фердинанд Гprefixнинь — Бурлак[1], искуснейший конспиратор. Гринин похож на банковского чиновника, самоуверенно восседающего в своей конторе. На нем черный учительский сюртук и ослепительно-белый, как мейссенский фарфор, стоячий воротничок, густые усы завиты, как у парикмахерского подмастерья. (Блюстителям государственного порядка и спокойствия ни за что не заподозрить в нем «боевика»!) Тут же и руководители вооруженных боевых отрядов партии — «лесных братьев», или, как их называют, руководители милиции,— Гавенис, Знотинь, Барбан. Лица их опалены солнцем и ветром. На лбу и висках следы кровавого пота, словно люди эти продирались сквозь колючие кусты. Делегаты милиции слушают дебаты, стиснув губы и прикрыв глаза, точно даугавские плотовщики, пытающиеся заякорить свои плоты. По их мнению, отказаться в революционной борьбе от маузеров и бомб равносильно предательству самой пролетарской революции. И поэтому речи примиренческих делегатов действуют на них как коварное нападение с тыла. Стоит «лесным братьям» услышать, что партизанская борьба была напрасной тратой сил,— и руководители съезда уже не в силах удержать дебаты в рамках регламента: говорить коротко, спокойно и вполголоса. Словно вспугнутые казацкими пулями, «лесные братья» вскакивают на ноги и говорят громко и зло, как на массовом митинге.

Этот съезд партии очень необычен. Начался он как очередной, Третий съезд Латышской социал-демократической рабочей партии, на котором латышские революционеры, доказав, что они чужды каким-либо националистическим стремлениям, решили объединиться с Российской социал-демократической рабочей партией и распустить свою бывшую организацию. И сразу же после этого те же делегаты и гости продолжили работу уже как представители новой, объединившейся с российской социал-демократией, самостоятельной социал-демократии Латвии.

Уже при обсуждении отчетного доклада бывшей организации Фрицис Розинь и молодой энергичный организатор партийной работы и боевых групп Янис Ленцманис[2] вступили в яростную перепалку с делегатами, которые в пятом году

---

[1] Гринипь Фердинанд (Бурлак) (1884—1906) — активист Латышской социал-демократической рабочей партии. Руководил вооруженным восстанием в г. Тукуме в 1905 г. Расстрелян царской карательной экспедицией.

[2] Ленцманис Янис (Кенцис) (1881—1939) — партийный и советский работник, член партии с 1899 г., член ЦК СДЛК. В 1908 г. представитель СД Латвии в Центральном Комитете РСДРП, заместитель председателя правительства Советской Латвии в 1919 г. Член ВЦИКа первого, шестого и седьмого созывов.

имели решающее влияние в Центральном комитете. Оба ленинца нападали на большинство:

— Центральный комитет старался не привлекать к руководящей работе выросшую во время революции молодежь...

— Центральный комитет затягивал объединение Латышской социал-демократической рабочей партии с социал-демократами России...

— В работе Центрального комитета отмечались оппортунистические колебания и уступки противнику...

Это — самое главное, в чем упрекали Розинь и Ленцманис.

— Социалист так говорить не смеет! Революционный пролетариат должен быть корректным, гуманным! Ему не к лицу кровожадность, он не смеет уподобляться своим классовым противникам,— возразил единомышленник Калниней Жанис Бушевиц.

Тут делегаты-боевики и забыли про всякие съездовские регламенты.

— Стало быть, пролетариат, революционный народ, должен слюнтяйничать, идти на сговор с контрреволюцией?!—кричали они. — Стало быть, мы должны восторгаться тем, что произошло в Кокнесе и Лиелварде, где ваши представители сжалились над тридцатью шестью арестованными кровавыми псами — помещиками и их прислужниками?! Члены Центрального комитета Бушевиц и Янсон провели в доме Лиелвардского общества партийное собрание вместе с «преисполненными искреннего желания» аристократическими палачами, обменивались с ними взаимными гуманными посулами. Каждому известно, к чему привело это слюнтяйство! Освобожденные Центральным комитетом немецкие бароны встали во главе карательных экспедиций, а фон Розен, выражавший в Лиелварде от имени помещиков «искреннее желание» найти с народом общий язык в «общем деле», засел в Судебной палате и выносит революционерам один смертный приговор за другим.

— Самая гуманная — та революция, которая по возможности скорее обезвреживает своих злейших классовых врагов.— Петерис Стучка не остался, разумеется, в стороне.

«Жаль, что русский Центральный Комитет не представлен тут Лениным. Не приехал... Хотя обещал... — думал Стучка, следя за речью Кобозева, которую переводил Дауге. — Ленин сказал бы то же самое, только проще и содержательнее. Все ценное, что есть в речи Кобозева, теряется, точно жемчужинка в песке, а Ленин сделал бы это для всех зримым. Сверкающим, ясным, большим...»

В мае, сразу же после того, как организации латышской социал-демократии сочли необходимым немедленно объединиться с Российской партией, Петерис в Петербурге встретился

с Лениным, с этим удивительно прозорливым и деятельным русским марксистом. Завидными были острота мышления Ленина, его всесторонние знания. Поражало умение свободно и открыто разговаривать с людьми, выслушивать мнения других, если даже они ему, Ульянову, казались неприемлемыми. Еще до близкого знакомства, когда Петерис Стучка в четвертом году читал книги и статьи Ленина (оказалось, что некоторые из них остались для него незамеченными), он мысленно отклонял кое-какие тезисы. Он не принимал тогда мнения Ленина об участии социал-демократов в революционно-демократическом правительстве, он частично сомневался в необходимости центрального правительства после того, как пролетариат победит. Но жизнерадостный, остроумный Владимир Ульянов (он сильно отличался от покойного брата Александра, с которым Петерис познакомился в Петербургском студенческом обществе) разговаривал со Стучкой, как со школьным товарищем, и ни капельки не пытался навязывать свои взгляды. Оперировал только датами, фактами, выводами. И железной логикой склонил собеседника к определенному направлению.

«На Ленина надо полагаться. Ленину надо верить...» — сказал Петерис Доре, вернувшись в Ригу.

Оказалось, Ленин был хорошо осведомлен о политическом положении в Латвии, о взглядах большинства и меньшинства латышских социал-демократов. Ильич очень высоко ценил сопротивление, оказанное рабочими и трудовыми крестьянами Латвии царизму. По его мнению, латвийские партизаны-боевики были впереди революционеров других округов России.

«Непредвиденные обстоятельства помешали Ленину приехать... Но у нас есть его письменное приветствие, и оно колет глаза доморощенным социалистическим слюнтяям и их единомышленникам из организации Бунда и русских меньшевиков...»

Перевод речи Кобозева закончен. Делегаты начали обсуждать вопросы дальнейшей тактики партии. О вооруженном восстании, о революционном Временном правительстве, партизанской борьбе, профессиональных союзах, Государственной думе и об аграрной политике партии.

По первому вопросу докладывал член Рижского федеративного комитета, смуглый юноша Юлий Данишевский [1]. Он говорил об организационной структуре партии, о том, как проходит

---

[1] Данишевский Юлий (Пакалн) (1884—1936) — партийный и советский работник, член партии с 1900 г., член ЦК СДЛК и ЦК РСДРП, политический организатор латышских стрелков, член Московского Совета депутатов рабочих и солдат в 1917 г. В 1919 г. заместитель председателя правительства Советской Латвии.

снабжение оружием. И кончил: вооруженную борьбу надо продолжать, революционный огонь гасить нельзя!

— Абсурд! — вскочил меньшевик Валдемар Салнайс. — Сущий абсурд! Социал-демократы не должны были браться за оружие. Плеханов, крупнейший теоретик русских социал-демократов, уж конечно может судить о создавшемся положении, исходя из высших марксистских соображений. А Плеханов говорит: «Не надо было браться за оружие!» Да, не надо было! Применение оружия было ошибкой. Партия допустила тяжелую политическую ошибку.

— Вы говорите, партия допустила тяжелую ошибку? — Стучка выпрямился. — Да, верно, партия допустила ошибки. Только не те, о которых вы говорите. Ошибочными были колебания, разглагольствования партийного руководства там, где следовало энергично действовать. И самой крупной ошибкой оказалось то, что между российским и латвийским пролетариатом не было тесных связей. Не было и после событий Девятого января, когда к единению взывала лившаяся на петербургских улицах кровь пролетариата. Наша партия не сумела закрепить эти связи организационными узами. Вот в чем была наша ошибка. Но ошибки мы раскрываем не для прошлого, а для будущего. На ошибках мы учимся правильно направлять революцию.

Нападая на Салнайса, Стучка вспомнил свой разговор с Лениным: как тот подчеркивал заслуги латышских партизан-боевиков.

Пока речь переводили на русский язык, Стучка вернулся на свое прежнее место, к дверям веранды. Вдруг из смежной комнаты, где для делегатов накрывали обеденный стол, взволнованная, вбежала одна из хозяек, товарищ Крисоне, и показала на окно. Сидевшие поблизости товарищи повскакали с мест.

— Полиция! У ворот полиция!

В самом деле, со стороны улицы между кустами мелькали полицейские фуражки. Стучка видел, как кое-кто из делегатов, похватав с вешалок одежду, кинулся к двери, ведущей во двор. Некоторые распахнули окна и выпрыгнули в них. Оставшиеся в комнате толкали друг друга, словно очутились на тонущем плоту.

«Может, дача вовсе не окружена, а сюда случайно забрели несколько фараонов?..»

Стучка взял первую попавшуюся под руку шляпу (порядочный обыватель на улицу с непокрытой головой не выходит!) и степенно спустился с крыльца навстречу полицейским. Их двое, непохоже, что они затеяли облаву. Один из них, с закрученными усами прусского юнкера, держит под мышкой довольно пухлую папку.

— Добрый день! — поздоровался Стучка. — Что господам из полиции угодно?

— Проверяем, все ли дачники уплатили курортный налог. Вы владелец этого дома?

— Нет, я только дачник, но что касается курортного налога, то я уплатил его, как полагается. Даже заблаговременно. Господа могут убедиться. Квитанция должна быть у меня в кармане. Сейчас предъявлю... Минутку терпения!

Он умышленно отвечал полицейским очень громко. Чтобы его услышали товарищи и поняли, в чем дело.

Но дача уже привлекла внимание полицейских. Оттуда доносился топот многих ног. По саду, ломая кусты сирени и акации, носились люди.

— Что там такое? Почему господа так всполошились?

— Господа всполошились? Они развлекаются. Играют в «шпилькины»,— Петерису пришло в голову мещанское название озорной игры в прятки. — Да, да, господа и дамы играют в «шпилькины». Весьма занятная игра. С беготней, прыжками через препятствия, и прятаться тоже надо...

Но полицейские уже что-то заподозрили. Они оставили благодушного, разговорчивого господина и, засвистев, кинулись к воротам.

«Ну, теперь уж сомневаться нечего, скоро они появятся снова».

Петерис вернулся, постучал в крайнее окно дачи, где Дора с другими товарищами хлопотала на кухне. Он велел осмотреть помещение собрания — не оставлено ли что-нибудь — и как можно скорее уходить на пляж, в самую толчею. Сам он лесом направился в сторону станции Дубулты. Он пытался изобразить досужего любителя тишины и природы, который наслаждается долбежкой дятла, неторопливым полетом сойки, игрой солнечных зайчиков на зелени мяты. И это ему удавалось, хоть его и пугали любые шорохи в сосновой чаще, голоса гуляющих в лесу, любая зыбкая тень между деревьев.

Петерис благополучно добрался до дубултской станции. Смешавшись с пассажирами, он побрел по перрону («Подозрительных молодчиков и полицейских в форме не было!») и затем направился в буфет. Ну конечно, часть делегатов оказалась там. Они по одному сидели за бутылкой кюммельского или мартовского пива, а организатор съезда Янис Озол, прислонясь к стойке, окунал концы усов в пивную кружку. Носом Озол уткнулся в край пузатой посудины, обычно насмешливо сверкающие глаза были словно прикрыты в полудреме. Сразу видать, человек испытывает истинное наслаждение.

Петерис попросил у буфетчика большую кружку темного пива и устроился рядом с Озолом.

— Не хватил бы в такую жару кого-нибудь солнечный удар...

— Ничего такого не замечено. А если кто и свалится, так по своей же глупости. — Озол даже не удостоил собеседника взглядом.

— В Риге на всякий случай квартира приготовлена? — спросил шепотом Стучка.

— В пасторском доме, там служанкой работает наш человек. Преподобный отец проводит лето на лоне природы.

— Переберемся туда. Встретимся в Верманском парке, у павильона минеральных вод.

В Ригу Стучка ехал в отдельном купе. Вырвав из записной книжки несколько листков, он пытался восстановить текст манифеста съезда, который разорвал и зарыл во мху. Разумеется, новый текст будет отличаться от порванного. Надо создать новый документ. Еще на съезде, споря с меньшевиками, он вспоминал письмо Энгельса Конраду Шмидту. О поляризации взглядов в пору общественных кризисов.

«Год революции настолько поднял сознание народов всей России, как этого в мирную пору не сумели сделать десятилетия и столетия,— рассуждал он. — За эти несколько лет российский пролетариат в самом широком смысле достиг неожиданно высокой революционной сознательности, став в первые ряды европейского и всемирного пролетариата. Либеральная буржуазия России, напротив, за короткое время опустилась на такую ступень бюргерского контрреволюционного класса, что, по трусости и ненависти к революции, достойна быть поставленной рядом с самыми выцветшими западноевропейскими либералами...»

Отметив на полях листка факты из будней Латвии, которые следовало бы упомянуть в предстоящей речи, Стучка принялся анализировать политическое положение в партии после наступления карательных экспедиций.

«Каратели, которые в первой половине 1906 года занимались пленниками декабрьских стычек, принялись теперь громить пролетарские организации. Изнутри им помогают пораженцы, малодушные и анархистские элементы. Теперь социал-демократии приходится бороться и против дезорганизации в собственных рядах. Против хулителей дисциплины, идейной сплоченности пролетарской партии. И против тех, кто пытается направить рабочее движение по узкому руслу легальности».

Петерис Стучка писал, как всегда, размашистым почерком. Вдруг карандаш оторвался от бумаги и замер.

— Какое счастье,— прошептал он,— какое большое счастье, что Ленин задержался и не приехал на съезд...

11. МЕДЛЕННО ТЯНУЛАСЬ ЭТА ГЛУХАЯ НОЧЬ...

«Каждому свое счастье,— говорят старые люди. Для Петериса кажется счастьем быть среди зачинателей социальной революции. Среди тех, кто идет в классовую борьбу именно тогда, когда та становится особенно трудной и требует больше всего жертв. Незавидное счастье... И все-таки я рада, что судьба свела меня с этим человеком.

...Судя по газетным сообщениям, мы из Прибалтики уже высланы, хотя нам до сих пор официально ничего об этом не известно. Мы еще не решили, куда направимся.

...В последнее время я в самом деле была очень взволнованна. Вы, наверное, читали в витебских газетах об аресте Петериса, а также о его освобождении. Он...»

Дора хотела рассказать приятельнице, как все на самом деле произошло. Его арестовали в Риге, на квартире члена Государственной думы Яниса Озола, в то время, когда там происходило совещание членов Центрального Комитета РСДРП с представителем военной организации. Однако в письме, которое посылаешь по почте, надо быть осторожней. И Дора вписала нейтральное предложение: «Он вышел почти сухим из воды!»

«Это и на самом деле так,— думала она, вертя в руке перо. — У администрации верных сведений о деятельности Петериса быть не могло. В Ригу мы приехали в шестом году, когда революционное движение уже шло на убыль. Деятельность Петериса публично никак не проявлялась, он даже не редактировал какого-нибудь легального партийного издания. Видимо, власти преследуют его как предполагаемого кандидата в Государственную думу от избирательной курии рижских рабочих. Возможное выдвижение кандидатуры Петериса не является секретом. Не секрет и то, что он сказал бы с трибуны думы об ужасах карательных экспедиций в Прибалтике. Петерис начал сам и предлагал другим собирать свидетельства и документы о колонизаторских выходках «усмирителей», об их охоте на людей, о казнях, поджогах. Об инквизиторских пытках в застенках полиции и «водворителей порядка». Она, Дора, эти материалы переписывала и систематизировала. Она знает, какие разоблачающие документы Петерис огласил бы с трибуны думы.

Видимо, опасения, что Петерис может баллотироваться от рижской рабочей курии, заставили власти поторопиться с его высылкой.

«Наши рижские будни ты можешь легко себе представить... — писала Дора приятельнице. — Наши доходы — это лишь по нескольку десятков рублей в месяц от скудно

оплачиваемых статей, переводов для легальных журналов. К тому же нас еще обременяют старые долги.

Вообще по сравнению со здешней жизнь в Витебске была настоящей идиллией. Какое нервное напряжение и какой лихорадочный темп! Не помню, когда Петерис ложился бы раньше трех-четырех часов ночи. А встает он в восемь утра. Весь день проходит в спешке. И каждое утро у нас начинается с гадания, с какой стороны сегодня ожидать удара...»

Ожидать удара... От ударов нет спасения. Удары сыплются один за другим, один другого страшнее.

Сейчас для Петериса в партийной жизни самое важное — соблюдение революционной дисциплины, демократического централизма. «Чем острее момент борьбы, тем более строгой дисциплины требует социал-демократия как боевая организация,— писал он в «Цине», в партийных бюллетенях. — Товарищи должны подчиняться руководству организации независимо от того, назначено ли оно сверху или избрано. С руководством можно полемизировать. Можно выступать с ответными, критическими статьями, требовать созыва конференций и съездов. Но нельзя действовать тайно, так сказать, исподтишка...» Петерис борется за идейную сплоченность членов партии, а его упрекают в догматизме. В партии возникают уклоны. Левый, который мало чем отличается от анархизма, и правый — брат-близнец русских меньшевиков.

Многие закаленные в нелегальной борьбе, опытные товарищи загублены, или находятся в тюрьмах, на каторжных поселениях, или же эмигрировали за границу. Большинство партии теперь состоит из молодых, теоретически неподготовленных товарищей. Они лавируют, впадая в субъективизм, создают свои группировки и приятельские блоки, что всячески поощряется меньшевиками и карьеристами из руководящих органов. Даже редакционная коллегия центрального органа «Цини» не избавлена от духа групповщины.

«В редакционной коллегии товарищ Параграф больше не имеет возможности работать»,— сказал однажды Петерис, вернувшись с конспиративного совещания.

«В некоторых организациях возникли оппозиционные блоки против «интеллигентной части» партийного руководства, хотя в блоках этих интеллигентов больше, чем среди руководителей. Во всей этой дезорганизационной кутерьме сильно ощущаются чисто личные прихоти. Вылазки товарища Уне (Клары Калнинь) уже вполне ясны. Но в истории есть немало случаев, когда личное становится губительным для общественного...»

Однако не стоит так много говорить о мрачном! По своей натуре Дора уравновешенна и сдержанна. И она верит хорошему, оптимистическому в людях. И поэтому письмо прия-

тельнице в Витебск она, как всегда, кончила шутливой перефразировкой библейского текста:

«Да пребудешь ты в радости и ликовании!»

* * *

В Петербурге прожит год, но если присмотреться, что за это время сделано, то видишь только одни мелочи.

В столице Стучки поселились в конце лета девятьсот седьмого года. Вернее говоря — вынуждены были поселиться. В Латвии полиция так настойчиво преследовала Стучку, что он, не дожидаясь ссылки, спешно покинул Ригу. Он поселился в Петербурге, где типографии еще продолжали печатать,— правда, каждый раз под другим названием,— полулегальные издания латвийской социал-демократии. А также журнал «Ритс» прогрессивного книгоиздателя Ансиса Гулбиса. Журнал начал свою жизнь символическим очерком Аспазии «По пути идеи!», произведениями Райниса, биографией К. Маркса, статьями о материалистической эстетике и классовой борьбе рабочих. Стучка хотел продолжать то, что в Прибалтике стало невозможным из-за военного положения,— издавать марксистскую литературу на латышском языке.

Этим делом он занялся сразу, как только узлы с вещами были внесены в наспех снятую квартиру из трех комнаток, с совсем темной кухней и без двойных входных дверей.

Разыскав друзей — Фрицсиса Розиня и Яниса Янсона, которые жили в столице нелегально, Петерис предложил им план предполагаемого литературного издания.

— Цель: собирать и сплачивать вокруг теоретического партийного органа печати рассеянных реакцией товарищей, а также углубить теоретическое освещение практической борьбы. Скудные теоретические знания преобладающего большинства латышских товарищей всеобще известная тайна. К тому же... с началом разгрома революции в руководящие центры проникли люди, для которых такое положение кажется совершенно нормальным. По их мнению, существуют какие-то интеллектуальные руководители и масса рядовых членов. Интеллектуалы и масса... Рожденные руководители и обреченные судьбой на подчинение. И такой бред объявляют философией марксизма!

Значит, выпуск марксистской литературы... — Он отчеркнул ногтем какое-то место на исписанном листке. — Ядром деятельности издательства станет теоретический журнал. Для обмана цензуры назовем его сборником статей. К издательской работе привлечем всех не загубленных революционных пропагандистов и литераторов. А также писателей-реалистов,

которые против ренегатства, против декадентского кривлянья в искусстве. Пойдем войной против хулителей и «поправителей» марксизма. Ворвемся в псевдоидеологические джунгли товарищей Циеленов и Уне. Просто противно слышать о том, что они творят. Поворачивают плот истории по опасному течению войны народностей.

Глубокие морщины на лбу Янсона на миг разгладились. Казалось, это прежний насмешливый новотеченец Янсон, а не мрачный, покореженный переживаниями человек.

— Наш проект горячо поддерживает Центральный Комитет русских большевиков,— продолжал Петерис. — В Финляндии, в Териоках, у меня был разговор с Владимиром Ильичем Лениным. Он добился для латышского издания ссуды русских товарищей. Пятьсот рублей.

Для первой тетради журнала у меня уже есть почти готовая статья о Штутгартском международном социал-демократическом съезде и еще одна — о национальном вопросе в марксистском понимании.

Там, на Штутгартском съезде, в кулуарах, много говорилось о проблеме нации, народности в социалистическом движении. Австриец Отто Бауэр выпустил по этому вопросу довольно пухлую книжку. Марксизм и национальный вопрос в Западной Европе теперь в центре внимания. Проблема эта актуальна также в условиях Латвии. И, как я уже говорил, национальный вопрос на Штутгартском съезде был на повестке дня.

Штутгартский съезд... Международный съезд социал-демократов в Штутгарте, в августе 1907 года. Форум рабочих партий, на котором резко и остро выступили друг против друга два направления Интернационала — революционное и оппортунистическое. Восемьсот представителей социалистических партий разных стран разделились на два лагеря. Причины: отношение социал-демократов к милитаризму, империализму, колониальной политике великих держав и к тактике партии в случае войны. На съезде выяснилось, что делегаты некоторых национальных партий страдают странной потерей памяти и даже классового сознания. Они забыли о революционной сути лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и судят о развязываемых буржуазией войнах с формально правовой точки зрения. Почти как адвокаты, взвешивающие правду и справедливость на весах юридических понятий древних римлян. На Штутгартский социал-демократический съезд Петериса Стучку послали большевики России. В Финляндии, в Териоках, он сказал Ленину о своей заветной мечте — участвовать в международном рабочем форуме. И через несколько дней Владимир Ильич объявил ему:

«Собирайтесь в дорогу. Вы включены в делегацию боль-

шевистской фракции. Вас обеспечат паспортом и деньгами на дорогу. Если хотите, поезжайте вместе с Дорой Христофоровной. Только о другом билете вы, правда, должны позаботиться сами».

На съезде Стучка познакомился со многими деятелями западноевропейских партий. Из Лондона приехала и представительница латышских эмигрантов Ольга Ковалевская.

Целую неделю Петерис Стучка дышал бодрящим воздухом мирового революционного движения. Он узнал много такого, о чем раньше и не догадывался: об экономической, политической, идеологической жизни разных стран и народов, о происходящей там социальной борьбе.

Ему казалось, что он захвачен величием открывшихся перед ним далей, точно осенью девятьсот четвертого года, когда, путешествуя по Швейцарии, поднялся по скалистой тропе на горную вершину.

В комиссиях съезда, в беседах делегатских групп всех вдохновлял неутомимый оратор, руководитель русской большевистской фракции Ленин. Его энергия вызывала всеобщее восхищение. Как и то, что этот так много знающий политик, прежде чем обратиться в президиум с каким-нибудь предложением, непременно совещался с членами своей делегации, узнавал их мнение.

Приехав в столицу России, Петерис Стучка под влиянием Штутгартского съезда был полон энергии и инициативы.

— В нашей стороне многие левые интеллигенты начали смотреть на мир пессимистично,— говорил он Янсону и Розиню, когда речь зашла о необходимости издания марксистской литературы. — Но человечество пессимизмом жить не может! Правда, у нашего издания мало средств. И все же с несколькими сотнями, которые нам ссужают русские товарищи, мы можем издать две книжки, по пяти листов каждую. Главное — действовать. Новотеченцы начали с объединенных в немногих кружках нескольких десятков молодых людей, а в пятом году руководили многотысячной армией революционеров. Гарибальди вышел на борьбу во главе горстки храбрецов и добился объединения Италии. И небольшой латышской группке, сохранившейся после разгула реакции, по силам идейно закалить латышских рабочих и молодежь. Надо только хотеть, сильно хотеть — таким, кажется, был лозунг младолатышей.

Создавая задуманное издание, Петерис Стучка все-таки кое-чего не учел. Не предусмотрел, как распространять книги. А это было на сей раз чуть ли не самым решающим. Старая партийная система распространения литературы разгромлена. В Латвии частных торговцев и книгонош, которые и без того неохотно продавали социалистическую литературу, теперь и не упросишь принять заказ на «крамольные книги». Поэтому,

первая книжица издательства «Дзиркстеле» [1] — сборник статей «Поросли» — принесла изрядные материальные убытки. Вторую книжку запретили прибалтийские власти. За выпущенные экземпляры издатели выручили всего лишь сто двадцать рублей, а одни типографские расходы составляли шестьсот! Всю техническую работу — переводы, редактирование, корректуру и переписку — делала Дора. Случалось, что Петерис закладывал в ломбард свои вещи, чтобы уплатить извозчикам, тележникам, развозившим отпечатанную продукцию.

Вдруг петербургская полиция под угрозой закрытия типографий запретила принимать в набор какую-либо социалистическую печатную работу на латышском языке. И типографии начали отказывать издательству «Дзиркстеле». С таким трудом добытые избранные статьи Карла Маркса в переводах Райниса вот уже сколько времени бесцельно кочевали из типографии в типографию.

Затем провокатор донес жандармам на Фрициса Розиня (другу грозит военный суд!). А Янису Янсону пришлось бежать за границу. Ему тоже грозила смертная казнь.

И вот Петерис с Дорой, измученные беспокойной жизнью и болезнями, с опасением считают прожитые и не оправдавшие надежд дни, гадая, какие их еще ждут неприятности.

По календарю только конец августа, но осень в этом году пришла рано. С ливнями, с резкими морскими ветрами и холодом. Все еще не теряя надежды выбраться из полосы неудач, Стучки сидели на даче под Петербургом. Переводили, писали, собирали материалы для издания «Дзиркстеле». Но как долго так можно?

Петерис опустился на корточки у плиты и осторожно, чтобы не разбудить Дору, положил на тлеющие уголья поленья и хворост. В последнее время на ветхой даче можно было терпеть только, пока в плите горел огонь.

Сбор хвороста отнимал бо́льшую часть и без того чересчур короткого рабочего дня.

На дворе залаяла собака. Заливисто, словно провожая по дороге чужого, как это бывает в конце осени в дачной местности, когда каждый прохожий на обезлюдевших улицах приводит в ярость четвероногих сторожей.

Петерис посмотрел в окно. К их дому приближался одетый по-городскому мужчина.

Может, агент кредиторов. Уж очень настойчивыми они стали. За отсрочку по векселям требуют, чтобы он защищал в суде их не совсем чистые дела.

Или же — что хуже всего — нагрянет еще какой-нибудь жандарм... Петерис с опасением вспоминал штутгартских уличных фотографов во время социал-демократического съезда.

---

[1] «Искорка».

Шпионя за приезжими, они шлялись по аллеям, около магазинов, у музеев и концертных залов. И обычно появлялись именно тогда, когда меньше всего хотелось их видеть. Один такой фотограф — с усиками и шрамом на подбородке, в клетчатом пиджаке — все приставал к русским социалистам. И когда делегаты русских большевиков — Литвинов, Гольденберг, Янис Янсон и Стучка — сразу же после драматической дискуссии об империалистической войне вышли в сквер, они попали в фокус фотообъектива. Благодаря немецким товарищам Гольденбергу удалось откупить у этого типа негатив, но кто мог поручиться, что этот субъект до того не продал свой «улов» другому? К тому же помимо усатого в Штутгарте было немало и других, не уличенных в тайном фотографировании.

Пришел Якобсон, второй метранпаж типографии Бреденфельда-Неке. Метранпаж набора «Порослей». Очевидно, что-то приключилось со сборником статей Маркса.

Петерис бросил опасливый взгляд на спящую жену и на цыпочках вышел из комнаты. Ей этот разговор слышать незачем. (Якобсон пришел с вестью Иова, не иначе!)

Проснувшись, Дора рассказала, какой она видела сон. Она была в Ясском имении, у Яниса. Тот стоял за окном в одной рубашке и плакал горькими слезами.

— Откуда такой сон? О Янисе. Может быть, мне приснилось это потому, что я недавно переписывала его перевод стихотворения Фрейлиграта «Die Toten an die Lebenden»?

— Возможно,— согласился Петерис и начал рассказывать, что он сейчас надумал. (Только бы не говорить о конфискованном вчера сборнике К. Маркса!) — Пора оставить дачу. Что тут теперь за жизнь? Домохозяин, правда, уверяет, что в сентябре бывают и совсем теплые дни, чуть ли не как в Ливадии. Но на это надеяться нельзя.

И о хлебе насущном думать надо. Надо поинтересоваться в адвокатских конторах и у дверей окружного суда. В Витебск вернуться можно в самом крайнем случае.

— В самом крайнем... — согласилась Дора. — Нам изо всех сил надо держаться за Питер. Тут наш новорожденный — «Дзиркстеле». «Дзиркстеле» социал-демократов Латвии. Знаешь,— она откинула одеяло,— на днях я перелистывала выпущенный тут же, в Питере, «Ажа календарс», и у меня возникла мысль, что «Дзиркстеле» могла бы издавать и революционную беллетристику. Фрейлиграта, Георга Веерта, Горького, других русских авторов. Частично в переводе Яниса. Не правда ли, Петерис?

«Сколько все же в ней энергии!.. И воли...» Стучка смущенно отвел взгляд от болезненно пылающего лица жены. Дора совсем ослабла.

А мысль об издании революционной художественной литературы разумна. Если партийную теоретическую литературу теперь издавать нельзя, то можно взяться за художественную. Розинь в Англии издавал революционную беллетристику еще до пятого года, в Москве Пауль Дауге собирает произведения революционных поэтов.

— Может, посоветоваться с Паулем? Или — еще лучше — дать знать Янису в Швейцарию?..

В тот вечер он написал Райнису длинное письмо. Рассказал о злоключениях издательства, о беде со статьями Маркса. Но, как всегда, в оптимистичном тоне.

«...Все же отступать еще не хочется. И поэтому... я буду ждать от Тебя чего-нибудь.

Ты говорил, что для «Порослей» беллетристика неважна. Я так не считаю, не считают так и другие товарищи. А в «Порослях» нет до сих пор беллетристики по очень простой причине! Если бы мы захотели расширить отдел художественной литературы, то надо было бы создать редакцию, способную отбирать, отсеивать и воспитывать новые силы. У «Порослей» редакции нет — потому что на это нет средств. И нет людей, которых можно было бы привлечь к такой работе.

Ты ошибаешься, если пишешь, что декадентам пришел конец. Сейчас они особенно живы среди широкой публики. И не только в России, где они правят победные оргии, но и у нас, в Латвии! И там было бы уместно решительное, резкое слово, по мне, пускай и чересчур резкое. Только такое слово может вызвать в рядах декадентов смятение, без чего их не потеснить.

Разумеется, одним этим не поможешь. Лучше всего — противопоставить декадентам нечто позитивное. Поэтому Ты не должен падать духом. Когда-то Ты говорил, что партии эта работа не казалась важной... Верно, кое-кто из партийных кругов не очень разбирался в литературе, да и главные силы партии были тогда заняты другим. Но разве это что-нибудь доказывает? И сколько у нас всего-то было таких писателей? Должен признаться, что с девяносто седьмого года я в литературе отстал и недостаточно знаком с новейшими писателями. Но, перелистывая их, я нашел не одного отмеченного «призванием». Однако нашим писателем всегда был, есть и будешь, прежде всего, Ты...

Поэтому Ты не смеешь смотреть на свою работу пессимистически. Твоя связь с партией не оборвалась, ибо партия — это не тот или иной случайный человек. Точно, как я теперь, находясь вне всяких организационных связей, все же причисляю себя к партии, я всегда считал и считаю, что Ты с партией, и не поверил бы Тебе, даже если бы Ты утверждал, что это не так...»

* * *

— У меня, вернее — у нас, сегодня будет гость. Присяжный поверенный Александр Федорович Керенский пожалует собственной персоной,— сообщил Николай Соколов, когда Стучка с Козловским[1] повесили в прихожей свои пальто.

— В самом деле? — Мечислав Козловский широко раскрыл глаза.

— Господин Керенский, как мамаша, у которой дочки на выданье, старается заводить как можно больше знакомств. Если иначе нельзя, то он навязывается сам. — Стучка ткнул Козловского в бок. — Не строй, дружище, такое удивленное лицо! Словно изысканные манеры почтенного Александра Федоровича запрещают ему предлагать свое расположение даже тем, кто не жаждет этого! Разве Керенский не из тех столичных присяжных поверенных, не из тех павлинов, которых хлебом не корми, только дай им показать себя, блеснуть красноречием и осчастливить коллег незаурядным, оригинальным решением так называемой мировой загадки?

— Уже давно не тайна: Александр Федорович Керенский заигрывает с нашим триумвиратом...

«С нашим триумвиратом» — это с тремя друзьями из столичной адвокатской коллегии, популярными защитниками в политических делах и трудовых конфликтах. С конца седьмого года между ними тремя установилась семейная близость. Они вместе проводили досуг, делились клиентами, помогали друг другу в процессах, придерживались общей точки зрения в толкованиях затронутых судом общественных явлений и событий. В кругах петербургских законников Николая Соколова, Мечислава Козловского и Петериса Стучку называют и радикалами и ссыльными прометеями, хотя Николай Соколов никогда никуда и не ссылался. Сосланы были Петерис Стучка, которому царская администрация не разрешала находиться в Прибалтике, и вильненский юрист Мечислав Козловский, которому именем узурпатора Королевства Польского царя Николая запрещалось жить в воеводствах и городах родины.

Если говорить о политических взглядах, то в триумвирате они у всех в самом деле совпадали. Петербуржец Николай Соколов был кандидатом социал-демократического большинства на выборах во вторую Государственную думу от Лифляндского округа. Мечислав Козловский — известный со-

---

[1] Козловский Мечислав (1874—1927) — юрист, один из руководителей СДП Польши и Литвы. В 1917 г. член первого Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, член ВЦИКа первого созыва. После Октябрьской революции член Особой следственной комиссии, заместитель наркома юстиции, в 1918—1920 гг. председатель Малого Совнаркома.

циалистический деятель Польши и Литвы. Петерис Стучка — репрессированный в административном порядке латышский социал-демократ и журналист.

Триумвират объединил Николай Соколов. В конце седьмого года он приложил немало стараний, пока не обеспечил Стучку клиентурой, позаботился о том, чтобы Петру Ивановичу доставалось и какое-нибудь дело подоходнее. Точно так же Николай Дмитриевич помог устроиться в Петербурге польскому юристу Козловскому, поклоннику поэзии Мицкевича и Блока, постарался, чтобы у того были работа и кров.

«Видите, как у нас все хорошо оборачивается,— обычно прерывал Соколов выражения благодарности своих коллег.— Петр Иванович любит музицировать, Козловский — декламировать «Стихи о Прекрасной Даме» Блока. Так мы вполне терпимо переживем черную столыпинскую эру. Диалектика истории — это дама с характером. Преходящую победу реакции она через некоторое время возместит гораздо более мощной революционной бурей».

Соколов подал друзьям последние заграничные газеты, а сам вышел в смежную комнату. Он был одет еще по-домашнему, в просторный коричневый шлафрок с зелеными бархотными отворотами и обшлагами, перепоясанный шнуром. Элегантный в обществе и судебном зале, Соколов теперь, со здоровым румянцем на щеках, сильно напоминал русского купца.

— Н-да... Только что партии эсеров пришлось осушить горькую чашу.— Переодевшись, Соколов сел к друзьям и взял парижскую газету.— Афера Азефа тут описана с большим знанием дела. Репортер уверяет, что генерал эсеровской боевой организации еще в девяностых годах состоял на службе у департамента полиции.

— Может быть, Александр Федорович, как деятель партии эсеров, именно на эту тему и хочет поговорить с нами? — Козловский раскрыл газету.

— В какой связи? Мы в эсерах не состоим.

— Ну и что с того? Провокация Азефа теперь стала злобой дня.

— И тебе кажется, что эсеры домогаются нашего расположения?

Чуть погодя у двери загремел звонок. Соколов встал и вышел в прихожую. И сразу же вернулся вместе с гостем — улыбающимся господином небольшого роста. Несмотря на чопорность, степенную походку и костюм — произведение портняжного искусства, Керенский производил фривольное впечатление.

— Мое почтение! Мое почтение Петру Ивановичу! Мечиславу Юльевичу!

Кланяясь, он пожимал им руки. Хотя пальцы у него короткие, мужицкие, крестьянской силы в его рукопожатии не ощущалось.

— А-а, коллеги читают «Ле матен»? Петербургские адвокаты, мастера сенсационных процессов, заинтересовались злободневными политическими событиями? А я-то был уверен, что ваша ассамблея довольствуется анализом кодексов закона! Так виртуозно балансировать статьями и параграфами, как это делал Петр Иванович в деле по претензиям железнодорожных рабочих к управлению Риго-Орловской железной дороги... Если я не ошибаюсь, ведение этого дела Петру Ивановичу поручил витебский присяжный поверенный Щулепников?

— Александр Федорович удивительно хорошо осведомлен о моей клиентуре. Не собирается ли почтенный Александр Федорович привлечь меня в свою фирму? — усмехнулся Стучка.

— Петр Иванович! Голубчик!.. Чего это вы так со мной? Я в самом деле против вас ничего не имею. Каждый из нас добывает себе хлеб насущный так, как ему сподручнее, удобнее. В борьбе за существование индивид в общем одинок. Но когда мы поворачиваем в фарватер общественных отношений, то, кажется, между всеми нами нет большой разницы в нашем отрицательном отношении к прогнившему самодержавному режиму. Между прочим, ваш покорный слуга теперь находится чуть ли не на распутье. Наша партия социалистов-революционеров... Не поймите меня превратно. То, что я хочу сказать, к делу Азефа никакого отношения не имеет. Разумеется, провокация — случай очень тяжелый. Надолго неизлечимая рана в организме революции. Однако... что такое один низкий тип против всеобъемлющего священного пламени освобождения?..

Керенский зажегся красноречием, Триумвират понимающе переглянулся. Александр Федорович, мол, понимает! Трое коллег являются политически опытными радикалами. Николай Дмитриевич и Петр Иванович без пяти минут кандидаты во Вторую государственную думу. Дума вполне может послужить разоблачению тирании. Поэтому, по его мнению, таким светлым головам, как присутствующие, неплохо бы объединиться. Для общей предвыборной акции.

— Господа, я должен попросить у вас прощения... — Стучка покачал на ладони свои старомодные карманные часы. — Надеюсь, вы меня поймете. — И взгляд его, брошенный на Соколова, достаточно красноречиво говорил: «Неохота мне оставаться в обществе этой личности».

— Я... тоже прощаюсь. — Керенский привычным движением ловко одернул полы пиджака. — От души благодарен

коллеге Соколову за гостеприимство. Надеюсь, Петр Иванович не против пройтись немного вместе со мной...

На улице господин Керенский продолжал начатое на квартире. О выборах. Возможна ли поддержка его кандидатуры группой левых? У него, мол, были конфиденциальные беседы с некоторыми представителями думской группы трудовиков. Не исключена возможность, что возникнет блок, который в своей практической политике выступил бы за вероятное отчуждение помещичьих земель. Он помнит, что коллега Стучка в своих статьях требовал изменения аграрных отношений в России. Если бы платформа Петра Ивановича нашла благожелательную поддержку, то в таком случае...

«Негодяй, норовишь в мутной воде половить...» — подумал Петерис. А вслух ответил:

— Этими вопросами я уже давно не интересуюсь.

— Вот как? Но... вы могли бы...

— Неохота утруждать себя излишними хлопотами. Неохота, Александр Федорович.

— Жаль. В таком случае разрешите откланяться. И передайте, пожалуйста, мои заверения в самом глубоком почтении многоуважаемой Доре Христофоровне.

* * *

— Там-тарам-тарам, там-там!.. Тим-тирим, тирим-тим-тим...

Он вертелся, кружился, крутился, прыгал, как колдун вокруг костра, вокруг массивного письменного стола, кресел, восково-желтого дубового книжного шкафа.

Затем он заметил, что не снял еще пальто, что держит в руке шляпу и адвокатский портфель с закругленными углами. Кинув все это, он попытался увлечь Дору в свое ребяческое скакание.

Дора, испуганная, стояла в распахнутых дверях приемной, прижимая к груди кулачки.

— Петерис, безумный!.. Что с тобой?

— Растрепал! Раз-гро-мил! — Петерис хлопал в ладоши, одновременно пытаясь выстукивать ногами нечто вроде ритма мексиканского танца. — Его сиятельство князь Юсупов-Сумароков-Эльстон положен на обе лопатки!

— Выиграл дело? — радостно воскликнула Дора.

— Выиграл! Сенат отменил приговор предыдущих инстанций. Признал претензии отпрыска княжеской фамилии незаконными. Признал правоту крестьян. Закон взял под защиту крестьян магнатского имения! Под защиту царских законов — против человека самодержавного рода!.. На диспуте присут-

ствовала чуть ли не вся коллегия петербургских юристов. Пенки и сливки общества законников, как сказал бы Сервантес. Не секрет, что люди из правящего дома посулили кое-кому из корпорации правоведов кое-что существенное. Однако на сей раз в креслах слуг Фемиды сидели в основном принципиальные юристы. И защитник интересов клана Романовых получил нокаут по всем параграфам старого и нового кодекса. Да, ей-богу!.. Вот это был турнир! До-рочка! Станцуем польку. Лихую верхнекурземскую польку! Трам-тарам-там...

— Петерис, опомнись! У тебя ведь капризничает сердце...

— Ну и пускай капризничает! Давай плясать.

— Петерис, образумься! В канцелярии тебя ждет Томашевич... Он едет вечерним поездом.

— Правильно, Янис едет в Ригу.

Петерис Стучка успокоился, водворил на место брошенные вещи и пригласил к себе молодого блондина, ожидавшего в соседней комнате.

— Приготовился, как полагается? — Он шутливо оглядел секретаря своей адвокатской конторы, юношу атлетического сложения.

— Как будто. Поеду ночным поездом. Или у Петра Ивановича на этот счет свои соображения?

— Нет. Все же... В Риге ты со станции к Петерсону[1] сразу не ходи. Лучше сделай крюк-другой по городу. Зайди в несколько магазинов, потом в какой-нибудь дом, у которого есть второй выход. Только после того, как окончательно убедишься, что за тобой никто не идет, отправляйся на Суворовскую... Да, как ты повезешь материалы Пражской конференции?

— В трости.

— Покажи, пожалуйста.

Томашевич вышел и сразу же вернулся со щегольской, недавно вошедшей в моду, черной лакированной тростью с никелированным набалдашником.

— Вы, Петр Иванович, относитесь ко мне как к новичку,— Томашевич как будто обиделся.

— Друг,— тихо сказал Стучка,— в партийных делах всегда надо предполагать самое скверное. Теория вероятности — отрасль точной науки. Никто не гарантирован от неожиданностей. Мы можем не соглашаться с идеями народовольцев, но перед их искусством конспирации должны преклоняться, а одна из их заповедей конспирации — проверяй и еще раз проверяй. Дай-ка мне свою трость!

---

[1] Петерсон Карлис (1877—1926) — новотеченец, член партии с 1898 г. Активный участник революции 1905 г. Революционный руководитель латышских стрелков. После Октябрьской революции член президиума ВЦИКа. В 1919 г. военный комиссар Советской Латвии.

Он взял трость, покачал ее на ладони, подержал отвесно, сперва ручкой вверх, потом наконечником и, ничего не сказав, вышел на кухню. Стукнула крышка сундука, зазвенел металл. Инструменты.

«Будет переправлять мою работу,— Томашевич покраснел. — Ему вполне можно выдать диплом слесаря. Как умело он переделал замок в двери студента Крастиня. Никто, даже дворник, в отсутствие Крастиня не смог вскрыть дверь. А у себя на квартире сам чинит краны, трубы».

Стучка вернулся из прихожей, вытирая тряпкой наконечник трости.

— Гайка была чересчур слабо завинчена. А почта в выемке никогда не должна двигаться. Ну, желаю тебе удачи! Привет Петерсону!..

— Вы, Петр Иванович, пожалуйста, не тратьте зря время на канцелярские документы,— сказал Томашевич, не то извиняясь, не то смущаясь. — Все необходимое я сделал... А если случится что-нибудь неотложное, то вам поможет студент Крастинь. И я тоже зря не задержусь.

— Ну ладно, ладно...

Он сказал «ладно», но при этом знал, что все было бы ладно, если б сегодня, завтра и послезавтра на него не наваливалась такая уйма недоделанных срочных дел...

Требования нескольких десятков рабочих и крестьянских общин. Гонорар — слезы благодарности. (Разве покалеченные рабочие могут оплатить судебные расходы?) Цикл юридических лекций в обществе страхования от несчастных случаев, лекции в Петербургском кооперативном товариществе «Граудс», статьи для партийных изданий, подборка материалов для друга Фрициса Розиня (после бегства из ссылки «Козел» в Северной Америке готовит к печати «Историю борьбы класса пролетариев» голландской социалистки Ролланд-Холст с дополнениями). И параллельно — конспиративные дела.

Деятельность Петериса Стучки определялась партией, партийной политикой. Воля партии и была его собственным сознанием. Только так он как человек мог оправдать свое бытие, только так он мог жить, а не прозябать.

Хотя — все это трудно. Страшно трудно.

Сейчас, в тысяча девятьсот двенадцатом году, после расстрела рабочих на Ленских золотых приисках в Сибири, армия тружеников России опять поднималась, как сказочный Илья Муромец. На Руси в городах опять раздавались песни, которые нельзя было заглушить ни угрозами, ни силой:

Смело, товарищи, в ногу...

Даже члены такой почти аполитичной организации, как петербургское латышское кооперативное потребительское товарищество «Граудс», на своем собрании почтили память лен-

ских жертв и осудили насильников. Теперь щетинились иногда и некоторые из мещан, недовольные самодержавным режимом и его власть предержащими. О недавно убитом министре Столыпине ходили сотни анекдотов. Летом в Риге к Петерису в павильоне Верманского парка подсел знакомый со времен гимназии зерноторговец Шлесер и тоже издевался над Столыпиным: «Да, господин Стучка, я это вам совершенно конфиденциально...»

Петерис Стучка принялся просматривать поступившую за день корреспонденцию и приготовленные Дорой газетные вырезки. О стачках, точно ливни захлестывающих Россию. И Латвию. В первой половине мая на «Фениксе» бастовали рижские вагоностроители, потом рабочие лиепайского анилинового завода. Двадцать пятого мая в Риге произошла стычка между бастующими рабочими Юглской бумажной фабрики и полицией, двадцать восьмого мая прекратили работу лиепайские строители.

И в то же время товарищи розовые социалисты продолжают молоть лузгу. Они считают, что народ в революцию пятого года настолько истек кровью, что оправится в лучшем случае в третьем поколении. Поэтому организации, грубо выражаясь, следует хотя бы удержаться над водой. Да и только... Разве повторяя при случае кое-что из деятельности новотеченцев в легальных обществах. Интеллигенция, если ей хочется, может заботиться о просвещении ума и сердца, изучать теорию. Но только интеллигенция. «Теория была и останется ведущим компасом, подзорной трубой только для унтер-офицеров, фельдфебелей и генералов движения. Широким массам теория только в тягость»,— писал в «Дзивес балсс» [1] салонный социалист Циелен.

«Для трудящихся несознание своей беды опаснее самой беды». Стучка сложил в конверт вырезки из газет и протянул руку за книгой Пауля Дауге о немецком рабочем философе Дицгене. Пауль стал увлекаться Дицгеном. И не видит ошибок Дицгена.

— Мой друг тот, кто в своей личной деятельности стремится к социальному идеалу,— произнес он вполголоса. — А если друг заблуждается, то мой неотложный долг объяснить ему его ошибки.

«По-моему, Твоя теория неминуемо должна привести к реформизму,— писал он Дауге в Москву. — А все же — я, зная Тебя, уверен, что Ты всей своей сущностью против реформизма. Ибо из всего нашего старого круга Ты больше других сохранил молодого задора и энтузиазма, а на реформизм я смотрю как на признак старческой немощи...»

— Уже девятый час,— войдя, напомнила Дора. — Ты

[1] «Голос жизни».

обещал слушать врача и ужинать, по крайней мере, за два часа до сна.

— До сна у нас еще осталось дважды два часа. За два часа ты навряд ли прочитаешь гранки корректуры. Кроме письма Паулю, кроме завтрашнего судебного материала, я должен еще сочинить ответную статью господину товарищу Циелену. С философской аргументацией. В марксистской философии я все-таки кое-чему научился.

— «Я философию постиг, я стал юристом, стал врачом...» — прочла Дора строчку из «Фауста» Гёте.

— «Увы! С усердьем и трудом и в богословье я проник...» — процитировал Петерис следующие строки, и его взгляд скользнул по Дориным рукам, казавшимся в блеклорозовом отсвете лампы вылепленными из воска. Слабые, натруженные.

И на какое облегчение жизни она может рассчитывать в будущем? В юридической практике Петериса Стучки навряд ли что-либо изменится. За редкими исключениями, он попрежнему будет защищать обездоленных и преследуемых. А на таких делах на толстый ломоть хлеба не заработаешь. К тому же в любую ночь тебя могут разбудить повелительным стуком в дверь, могут ворваться жандармы.

«По высочайшему повелению...»

— Ну, иди же, не заставляй ждать себя,— напомнила Дора.

— Мне ничего другого не остается, как подчиниться,— ответил он с покаянной интонацией.

Они уже сидели за ужином, когда у двери кто-то позвонил. Два коротких звонка.

— Свои...

— Я впущу. — Дора поспешила к двери. И сразу же из прихожей донесся ее радостный голос: — Дома, Петр Иванович дома! Снимайте пальто, пожалуйста. И прямо к столу! У нас как раз закипает самовар. Петерис!

Стучка выбежал в коридор. И увидел плечистого человека лет сорока. Степенного, самоуверенного. Он был в дорогом облегающем костюме, стоячий воротничок с отогнутыми углами подпирал подбородок, нос прямой, усы заострены, тонкие губы решительно стиснуты. Алексей Бадаев — депутат большевиков в Государственной думе. С неделю назад Бадаев по поручению партии уехал за границу.

— Уже вернулся? — Стучка обнял гостя. — Так быстро? Когда же ты уехал из Питера? Разве встреча не состоялась?

— Почему ты так думаешь? В том, что я побыл т а м меньше, чем предполагалось, виноват мой русский характер. В гостях хорошо, а дома лучше... Да, да, как можно покрепче! — Это сказано Доре, которая наливала стакан чаю. — На Западе

я достаточно натерпелся от умеренно теплых напитков. Там во всем предпочитают умеренность. Не то что у нас.

— Значит, ты с Ильичем говорил? — Петерису не терпелось услышать, что расскажет Бадаев.

— А как же? — Бадаев сжимал горячий стакан ладонями металлиста, которые, хотя их хозяин уже давно не стоял за станком, посейчас сохранили следы въевшейся стальной пыли. — Если Ильич запланировал что-нибудь, то отменить это может только тяжелое стихийное бедствие или политический переворот. Встретились... в польской Галиции. В Ильиче по-прежнему бурлит энергия. Он в постоянном движении, в постоянной деятельности. Пишет, говорит, совещается, расспрашивает приезжих из России и других стран. Для него все важно, все интересно. И то, что ты слышал по дороге, видел в окно вагона, наблюдал в пограничном местечке в ожидании проводника, который перевел тебя через границу. Да, а представляешь себе, что было в нашем разговоре самым главным? Война! Больше всего он говорил об угрозе войны. Да, да! Ильич говорил о возможном военном столкновении. Ссылался на Энгельса, который писал, что будущая война принесет классовым государствам политическую, военную, экономическую и моральную катастрофу, но — может также развязать шовинизм и национальную вражду. Социал-соглашатели Второго Интернационала, гносеологическими корнями которых, как он выразился, являются догматизм, буржуазный объективизм и замена материалистической диалектики вульгарным эволюционизмом, не способны или не хотят понять переменчивого характера современного капитализма. При случае они могут открыть путь явно националистической стихии. Поэтому большевики должны готовиться к борьбе, чтобы уберечь народ от шовинизма. Мы должны своевременно пресечь вспышку болезни национального патриотизма.

Бадаев замолк и с усердием проголодавшегося человека принялся за ужин.

— Дорочка, ты попросила бы Марту посмотреть, что творится на нашей лестнице. И внизу, в будке старшего дворника. И на улице, около дома... Поздние гости на квартире Стучки в неприемные часы привлекают внимание известных кругов,— объяснил он Бадаеву. — В октябре после одного такого гостя нас почтили своим посещением господа из полиции. Только наше с Дорой доброе правило не держать дома ничего компрометирующего спасло нас от аудиенции в жандармерии. Надеюсь, что у товарища Бадаева сейчас ничего такого при себе нет?

— Будто охранка и без этого не может замести? — Бадаев кончиками пальцев погладил свои светлые усы.

— Может, конечно, только в исключительном случае.

Пока чрезвычайное положение в России еще не в силе. Ну, так рассказывай дальше. Что Владимир Ильич советовал еще?

— Ильич считает, что в Государственной думе коалиция марксистов с соглашателями впредь недопустима. — Бадаев говорил теперь еще тише прежнего. — В думе необходимо создать социал-демократическую группу депутатов-большевиков. И чтобы большевикам успешнее выступать с трибуны думы, чтобы их ораторов не могли заставить замолчать разными статьями и положениями закона, к разработке речей следует привлекать опытных юристов. Ильич считает, что одним из них должен быть петербургский адвокат Петр Стучка...

— Так считает Владимир Ильич?

— Кроме того, он рекомендовал речи наших целиком печатать в партийной легальной печати. Существует положение, по которому речи, произнесенные гласными на заседаниях думы, можно печатать в газетах. Листки капиталистов и монархистов, само собою, речи рабочих депутатов публиковать не станут. Это дело самих пролетарских изданий. Таких газет, как «Звезда» и «Правда». Да, в связи с «Правдой»: большевистская фракция в Государственной думе будет юридическим издателем «Правды». В редакционной коллегии газеты должен будет работать также товарищ, подписывающийся и как Параграф и как Ветеран.

Они говорили еще довольно долго. Условились о следующей встрече, наметили собрание депутатов большевистской фракции думы.

Петерис Стучка вернулся в свой рабочий кабинет, но света не зажег. Он подошел к окну, из которого хорошо видна была светлая, припорошенная чистым снегом петербургская улица. Позвякивая бубенцами, мимо проскользнули извозчичьи сани, тройка вороных промчала аристократическую карету на полозьях, держась за руки, прошли молодые люди, затем — одинокий усталый прохожий... На углу Невского проспекта и переулка во всем своем всемогуществе неподвижно, как монумент, стоял страж безопасности империи — городовой.

— Я так мечтаю об отдыхе. — Дора уперлась рукой о плечо мужа. — О каком-нибудь беззаботном выезде. А у нас — работа, работа и снова работа.

— Иначе и быть не может. Человек жив, пока работает. А работает, пока жив.

* * *

Подогретая уже во второй раз картофельно-крупяная каша совсем остыла, затвердела и, свернувшись, отстала от стенок кастрюли. В застывшем сале темнеют поджаренные ломтики свинины с луком.

Марта сняла крышку с одной кастрюли, потом с другой, подалась к двери столовой и снова вернулась к плите, открутила газовый рожок и щелкнула зажигалкой.

«Разогрею чайник — и все,— говорила она сама с собой. — Каждую минуту сама должна прийти с пустым самоваром... Сегодня у них опять разговор затянулся. Обед подать можно будет, только когда перестанут толковать».

Поставив чайник на огонь, служанка Стучек Марта уселась и продолжала латать шлафрок из деревенского домотканого сукна, на мягкой подкладке. Шлафрок очень стар, он свое уже отслужил. На рыжеватой материи заплаты другого цвета.

«Ему уже давно на тележку старьевщика пора»,— ворчала про себя Марта, доставая из мешочка выстиранные и прибереженные на всякий случай лоскуты. Она сдвинула на лоб очки в металлической оправе, и ее крупное, угловатое, по-городскому бледное лицо стало каким-то отрешенным.

Подобрав более или менее подходящий лоскут и приложив его к прорехе, Марта смягчилась:

«Так-то... Да разве самого кто-нибудь изменит? Славный человек, правда, но чудной все же. Его все деревенскими кушаньями корми. Когда он дома один, без посторонних, то чувствует себя по-настоящему хорошо только в невесть каком заношенном старом пиджаке или халате. Такая странность не пристала такому образованному и почтенному человеку. Но кто же без странностей? Рассказывают, будто у художника Репина — ведь это всем знаменитостям знаменитость — едят сами и подают гостям кушанья, которые жена готовит из всякой там зелени и луговых трав.

Конечно, причуды супруги Репина и привычки Петра Ивановича не одно и то же. Высокородная барыня балуется травами из блажи, а Стучку скудной крестьянской пищей нужда пробавляться заставляет. Водись у него лишний рубль, он и от привычки ходить дома в залатанном шлафроке отказался бы. Уж сама строго наказала бы: «Снимай — и все!» Но если человек каждую заработанную монету по ветру пускает...»

Нет, вообще-то грешно говорить так. За легкомысленных хозяев Марта, как репей, не цеплялась бы. Стучки люди порядочные. Отдают рабочему человеку свое время, добро и здоровье. За защиту рабочих Стучка почти ни гроша не получает, бедным советы бесплатно дает. И доходы свои тоже для большой цели жертвует. С зимы, с тех пор как они оба тайно за границу съездили, сам опять загорелся желанием делать рабочую газету.

«Марточка,— сказал он однажды, когда деньги на хозяйство ей давал,— если мы на еду тратить будем столько же, сколько в последние две недели, то останется ли у нас, чтобы иной раз кого-нибудь чаем угостить?»

«Значит, еще пуще жаться надо?»

«Видишь, Марточка,— ласково сказал он,— если мы еще немного поэкономим, то прекрасно поможем новой революционной газете. Когда ты съездила домой, то ведь говорила, что батраки и поденщики хвалили «Варпас»[1], которую мы в прошлом году выпустили».

«Ну, говорила».

«Видишь, Марточка... Пока у нас из-за Государственной думы цензура по-настоящему не существует, надо воспользоваться. В такой рабочей газете писали бы и редактор «Варпас» Янсон, ну, и другие, кто ловко пером владеет. А рабочая газета может выходить только на средства самих рабочих. У кого денег побольше, должны и жертвовать побольше. В Витебске, во время моей ссылки, один почтовый чиновник заложил для этого свою библиотеку с очень редкими книгами. Да так и не выкупил ее... Но деньги на рабочую газету были. Ну, как ты смотришь на это?..»

Сейчас в кабинете об этом судили почти весь день. И она, Марта, должна была следить, чтобы к Стучкам сегодня не нагрянули незваные гости. Дверь надо было открывать, не снимая цепочки, и говорить: «Господа вышли. Когда вернутся, не могу знать». А обед пришлось готовить из того, что «под рукой».

«Из того, что под рукой, но непременно что-нибудь вкусное,— вмешался помощник хозяина Янис Томашевич, услышав бурчание Марты. — Ты, Марточка, в изобретательности самого знаменитого американца Томаса Эдисона превзойти можешь». — Лукаво улыбнувшись, он подмигнул ей. Словно она девчонка какая или молоденькая вдовушка, у которой от слов красивого парня сердце как воск тает.

Пустомеля этакий!..

Но славный все же человек этот Томашевич, ничего не скажешь. Не увяла бы она уже, как картофельная ботва осенью, не болели бы у нее ноги и не кололо бы под ложечкой... И ничего не запомнила бы она из читанного, из слышанного на своем веку... Известно, человек не из камня вытесан или из дерева выструган... Но Марта понимает, где ее место и почему ей, с двумя классами волостной школы, не пристало сохнуть по таким ученым господам, как помощник Стучки.

Ну, так... Шлафрок хозяина как будто залатан. Будет служить, пока совсем не разлезется. Теперь за перчатки и носки браться надо. Только с нитками беда. В комоде хозяйки ничего путного не найти, Марта знает это из опыта. Опять ройся в собственной шкатулке. Надо посмотреть, какой из оставленных матерью клубков подойдет по цвету и толщине. Или еще лучше — из того, что еще бабка напряла. В Бебришах

---

[1] «Колосья».

бабка слыла первой пряхой. Она и дочь и внучку этому ремеслу научила. Думала, наверно, что и внучка по хозяйским дворам скитаться будет, нажимать на педаль прялки и крутить в руках веретено нити на навой. Так, наверно, и было бы, не помани Марту город и не встреть она, приехав в Петербург, своего двоюродного брата Адама, который и привел ее к адвокату Стучке.

Марта вытащила из-под кровати низкий деревянный сундук в разводах, с широкой, выступающей крышкой, открыла его и стала рыться в узелках, катушках, клубках и спицах. Какие-то остатки черно-синего мотка еще должны быть. Из той крученой тонкой пряжи, которую мать наматывала на орех, чтобы нить сплошь гладкой оставалась. Со временем, с годами, ореховое ядро мотка высохло, и сматываемый с такой сердцевины клубочек брякал, точно деревянный бубенчик, какой деревенские мальчишки мастерят в долгие дни на выпасах.

— Марта, я на минутку сбегаю по черному ходу. — Хозяйка открыла дверь кухни. Одетая для выхода, с меховой муфтой на руке. — Ключ я беру с собой. А ты тем временем присматривай, пожалуйста, за улицей и двором.

«Приведет кого-нибудь, чтобы спрятать. — Марта сунула свою работу в бельевую корзину. — Может, кого из приезжих. После обеда прибывают поезда из Варшавы и из Финляндии».

Она сбавила пламя в газовом рожке, сняла с подоконника оба горшка с геранью, глянула вниз, в четырехугольный каменный колодец двора, и отправилась в гостиную, откуда просматривался довольно длинный изгиб переулка и шумно-суетливый Невский проспект.

Тяжелые портьеры, которые обычно закрывали двери в адвокатский кабинет, раздвинуты в обе стороны. Сквозь зеркальные стекла в накуренной комнате видны участники собрания. Доктор Пауль Дауге, какой-то мрачный студент, Томашевич и незнакомый Марте усач, который пришел в роскошной шубе (когда он снял ее, под ней оказался ветхий пиджачок). Упершись локтями в стол, он вертел в руке какую-то бумажку и говорил в полный голос. Видать, хотел в чем-то переубедить остальных.

Марта подошла к окну, что сразу же за стеной кабинета, и вдруг совсем отчетливо услышала хозяина, словно обе створки двери были открыты настежь:

— Постулат социал-патриота Скуениека, будто все классы привержены национальной политике и рабочий класс в этом отношении не является исключением, мы должны оспаривать всеми средствами. Национальный вопрос одновременно является и вопросом политики будущего. Существование любой идеологии зависит от экономических условий, и миссия

пролетариата — коренное их изменение, так как им подчиняются также существующие до сих пор отношения наций. Такова диалектика. Эта азбука была известна еще Гёте, который заставил Мефистофеля воскликнуть: «Все, что рождается, стоит того, чтоб снова кануть в небытие». Мы должны это разъяснить нашему пролетариату так же принципиально, как открываем ему механику классовой борьбы.

Марте стало неловко, что она невольно подслушивает. Она отошла к угловому окну, где то, что говорилось в кабинете, сливалось с отголосками улицы. Марта припала к оконному стеклу. Она смотрела на пешеходов на проспекте, на подъезжавших к тротуару легковых извозчиков, на грозного городового на перекрестке. Пока не услышала лязга ключа на кухне.

Хозяйка привела тоненькую девицу в папахе, с румяными, как розовые яблоки, щеками, но грустным взглядом. Гимназистку или курсистку.

— Здравствуйте,— сказала девушка, по-детски прикусив нижнюю губу.

— Страж и кормилица нашего дома,— сказала Дора, указав на Марту и подав ей послеобеденную газету. — Читай и удивляйся! В двадцатом веке, в век разума и науки, в самой развитой стране — в Соединенных Штатах Америки — собирается всемирный конгресс гадалок, колдунов, хиромантов и ведьм. На этой оргии мракобесов Россию будет представлять член царской фамилии — великий князь Дмитрий Павлович.

Дора и ее спутница вошли к мужчинам, а Марта вернулась к окнам, на свой наблюдательный пункт. Чуть погодя ее позвали на кухню. Там был и сам хозяин.

— Обед, Марточка, подаем на стол обед.

— Чай?

— Все, что у нас есть. Люди очень проголодались.

— Каши у нас только немного, на домашних еле хватит.

— Мне сегодня совсем есть не хочется. — Стучка взялся за ручки самовара. — Мне бы только чаю, жажду утолить.

— Чудак этакий! — шептала Марта. — Ему есть не хочется... — Прежде чем подать на стол, она энергично помешала в котле слежавшуюся гущу. — Ничего, будешь есть, если я тебе на тарелку положу.

Но положить на тарелку ей не удалось. Хозяин сам принялся делить кашу.

— Согласно писаным правилам и древним традициям, глава семьи в правах своих приравнен к патриарху племени,— сказал он гостям, но Марта поняла, что он имел в виду ее. — А патриарх, как говорится в Библии, выделяет лучший кусок самому далекому гостю или блудному сыну. Пожалуйста, сын, скиталец и беглец. — Он подал тарелку с горой каши усачу в ветхом пиджачке. После такого дележа не только самому хозяину, но и Янису Томашевичу не осталось и по ложке.

Кажется, Дора отгадала мысли Марты и, извинившись перед гостями, позвала ее на кухню.

— Надо еще что-нибудь подать на стол. Ты должна сбегать в лавку и принести кое-что на бутерброды.

— Так лавочник уже не раз просил отдать старый долг...

— А если хорошенько попросить его... Или мне самой пойти?

— Этого еще не хватало! — рассердилась Марта. — Сразу на полсвета раззвонят: «Стучки обанкротились!» И я еще должна это объяснять вам?..

Нарезая ломтиками хлеб и колбасу и ставя все это на стол, Марта слышала, как хозяин говорил с гостями о выпуске журнала. С газетой все же ничего не выйдет. Маловато средств и всего остального. А с журналом будет легче. Первый номер «Дарбс»[1] надо открыть стихотворением Райниса. Потом опубликовать письма Маркса и Энгельса, статью Розиня об Августе Бебеле. И недавно обсуждавшиеся статьи Данишевского и Параграфа. И еще рекомендованный Паулем Дауге рассказ немецкого рабочего Роберта Гроче.

— А в хронике — критику книжонки Циниса-Циелена «Современный империализм».

— Критику следует тебе самому написать,— сказал усач хозяину.

— Раз следует, то напишу. Так что редактором журнала «Дарбс» назначаем предложенного товарищем Иреной (видимо, этой молоденькой, что пришла с Дорой) товарища, который охотно берется отсиживать все административные и судебные наказания, в случае если редакцию привлекут к ответственности. В резерве оставляем еще одного «зиц-редактора». Это на всякий случай.

— А кто же будет издателем?..

— Издателю тюрьма не угрожает. Издателем поставим хотя бы того же родственника Томашевича.

— Коротко говоря, партия опять начинает крестовый поход против отщепенцев и маловеров. — Усач хлопнул обеими ладонями по столу. — А товарищу Параграфу, как вдохновителю и первому рыцарю этого похода, надо знать, что на него сразу же накинется взбесившееся стадо бизонов, поправляющих и переиначивающих марксизм.

— А как же? Идет классовая борьба. Янис,— это сказано Томашевичу,— прочитай нам еще раз манифест Розиня, который мы только что обсудили. Хотелось бы переработать этот манифест в предисловие к «Дарбс».

— «Пролетариат России, и вместе с ним и пролетариат Латвии, переживает эпоху, в которую на его долю, впервые в истории, выпадает столь важная и определенная роль... —

[1] «Труд».

читал с ударением Томашевич. — Мы хотим идти путем марксизма и тесно сплачивать вокруг него широкие пролетарские массы.

Пробуждая и закаляя сознание масс, мы направим их к общей цели, к ней мы хотим целеустремленно идти, она должна стать тем «духом единения», который превозносится поэтом...»

12. СОЛНЦЕ ВЫШЛО НА ОГНЕННЫЙ ПУТЬ...

В начале июля тысяча девятьсот четырнадцатого года Стучки отдыхали и лечились на острове Рюген в западной части Балтийского моря. Оттуда они собирались в Вену, на празднование двадцатипятилетия Социалистического Интернационала. После этого Петерис принял бы участие в созванной Лениным конференции большевиков России, которая организационно завершила бы объединение социал-демократии Латвии с русскими революционными марксистами. (Хватит топтаться между скамьями ленинцев и соглашателей! В России есть только одна марксистская партия! Ею руководит Ленин!) Обо всем этом товарищ Параграф договорился в Берлине с представителями Заграничного бюро латышской партии — Я. Германисом-Аусеклисом [1] и Яблонским [2].

Но прежде чем гости успели прибыть в столицу Австро-Венгрии, сербский гимназист в Сараеве застрелил австро-венгерского престолонаследника. Между правительствами начался обмен ультиматумами, и социал-демократам разных стран вместо юбилейных речей надо было на деле доказать свою верность пролетарскому интернационализму. В первые дни августа на границах многих европейских стран уже трещали винтовки, строчили пулеметы, грохотали орудия, гибли тысячи сербских, немецких, русских, бельгийских и французских молодых людей. И к щедрому летнему солнцу вздымались пороховые дымы и облака пепла от горящих городов и нив.

Как только в Европе раздались возгласы: «Война!», Стучки сразу же попытались уехать с Рюгена, вырваться из охваченной военным психозом и прусским шовинизмом кайзеровской Германии.

Приезжих с русскими, французскими, сербскими, бельгий-

---

[1] Германис Янис (Аусеклис) (1884—1938) — журналист, член партии с 1904 г. Руководил Заграничным бюро СДЛК. Член ЦК СДЛ. В 1917 г. редактор газет «Социалдемократс» и «Бривайс стрелниекс».

[2] Яблонский Андрей (1880—1951) — революционный деятель, журналист.

скими и английскими паспортами кайзеровские вахмистры со сверкающими медными орлами на груди препровождали в полицейские участки, где вместо официального заграничного документа вручались немецкие удостоверения, а затем таких иностранцев грузили в вагоны для отправки в какой-нибудь наспех оборудованный лагерь для интернированных.

Выезд через Германию был уже невозможен, Петерис при помощи немецкого товарища разыскал на острове Рюген какого-то штурмана, кторый согласился доставить его и Дору на ближайший датский остров. Оттуда они, и платя деньги и упрашивая, добрались до Мальме в Швеции. А затем, уже совершенно легально, через Стокгольм и финский город Або, вернулись в Петербург. И в России уже клокотали шовинистические страсти. Площадь перед Финляндским вокзалом, окрестные улицы и весь берег Невы были запружены галдящими казенными патриотами. Гремели и ревели трубы, экзальтированные дамы и господа в формах или штатском охрипшими голосами пели «Боже, царя храни!», тащили портреты царя, церковные хоругви и не переставая орали: «Батюшке государю ур-ра! Нашим героическим воинам ур-ра! Даешь Берлин и Дарданеллы!»

Еще на меловом берегу Рюгена, в поисках путей, чтобы выбраться оттуда, Петерис Стучка немало наслышался о предательстве вождей немецкой социал-демократии. Самая крупная легальная социалистическая партия в Европе устами своих лидеров и функционеров клялась в верности империалистическим буржуям и милитаристам своей страны. Руководители «великой социалистической партии» одним взмахом руки отшвырнули от себя пролетарский интернационализм Маркса и Энгельса, солидарность с братьями по классу других стран. С бюргерской сентиментальностью они, всхлипывая, призывали рабочих, крестьян и батраков «стоять насмерть» за кайзера, рурских стальных магнатов и прусских помещиков. Голоса таких оставшихся верными марксизму коммунистов, как Роза Люксембург и Карл Либкнехт, тонули в возгласах «хох!» кайзеровских верноподданных.

«Фея пролетарской солидарности, достопочтенный товарищ, захоронена в глубокую могилу на полстолетия, если не дольше»,— пытался в Мальме уверить Петериса Стучку некий функционер шведских социалистов, заботившийся о его дальнейшей поездке. Они встретились на официально еще не открытой, но уже расстроенной войной Международной выставке, с которой у жителей Мальме и лавочников всей Швеции были связаны самые розовые надежды. Продутые морскими ветрами пустынные пригородные просторы они превратили в по-версальски роскошные парки, настроили сказочные дворцы и сады с фантастическими аттракционами. Тут были пруды, бассейны, домики для лебедей и невиданных здесь птиц, десятки кафе и

ресторанов, куда были приглашены самые знаменитые северные оркестры. Но едва закружилась, раскачивая гирлянды лампионов, огромная ярмарочная карусель, как на юго-западном горизонте Европы загрохотали орудия и тысячи жаждавших развлечений людей в дикой спешке побросали в чемоданы наглаженные наряды и ринулись к вокзалам и пристаням. Павильоны выставки опустели. По еще недавно блестевшим чистотой улицам и площадям разъяренный ветер ожесточенно швырял обрывки бумаги и пух еще не акклиматизировавшихся в новом жилье птиц.

«Не стройте себе напрасных иллюзий о завтрашнем дне. Люди должны переболеть до конца новой болезнью. — Шведский функционер никак не хотел понять волнений Стучки. — Вы хотите бороться в России против военного психоза? Боритесь! Но разве русский народ не соревнуется в бешеном шовинизме с пруссаками? Вы читали последние телеграммы из Петербурга? Даже если какую-нибудь вашу организацию жандармы и не успели еще разгромить, то она все равно бессильна сдержать военную стихию».

«Марксист, который не борется в любых условиях, не марксист,— ответил Петерис. — Я должен быть вместе с моими товарищами».

«И вы надеетесь их встретить?»

«Я уверен».

«Воображаемое и реальное — не одно и то же».

«Видимо, вы еще не знаете русских революционеров».

«Был бы рад ошибиться».

Вернувшись в Россию, Петерис Стучка не раз вспоминал о своем споре с товарищем из Мальме.

Положение в партии действительно было тяжелым. И в латышской социал-демократии тоже. С началом войны полиция в более крупных центрах, в том числе и в Риге, разгромила все организации. Опытные в классовой борьбе товарищи были заключены в тюрьмы, рассеяны по далеким местам ссылки, угнаны в армию. Традиционные конспиративные связи были оборваны. Старания товарища Параграфа натыкались словно на ледяную стену.

Только после долгих тщетных поисков удалось нащупать пульс революционного движения. Сперва в Петербурге, затем в Москве. (В старой столице он установил связь через зубоврачебный кабинет своего друга Пауля Дауге.) Наконец, при помощи какого-то старого знакомого, сотрудника журнала рижского рабочего профессионального союза, он встретил товарища, который в первые месяцы войны участвовал в нелегальной конференции. (Такая все же состоялась: узкая-узкая, но все же конференция!) Прочитал обращение конференции: «Наша задача: раскрыть причины войны и стараться превратить войну в революцию. Развернуть самую широкую работу среди солдат,

добиться, чтобы армия служила не правительству, а его свержению».) И еще через какое-то время товарищ Параграф встретился с одним из авторов этого нелегального документа — членом Центрального комитета партии, руководителем нелегальной типографии Янисом Шильфом — Яунземом [1].

Товарищ Шильф, по кличке Янитис, был одним из наиболее находчивых, неуловимых для жандармерии конспираторов. Молодой парень из-за своей чрезмерной худобы казался долговязым. Но стоило ему сесть рядом со своим собеседником, иллюзия сразу рассеивалась. Да и мальчишески гладкое лицо уже не так сильно контрастировало с серьезными, глубоко сидящими глазами.

— Хотя сразу, как объявили военное положение, начались аресты или высылка чуть ли не всех лиц, находившихся на подозрении у полиции, агитация против навязанной народу войны ни на минуту не прекращалась, — рассказывал Яунзем.— Мы выступаем против войны всеми доступными нам средствами агитации. И листовками, которые распространяем между призванными в армию. Вот почему власти со звериной яростью набрасываются на тех, кто распространяет и хранит нашу литературу. Схватят кого-нибудь, так судят как немецкого шпиона. (Поговаривают, что скоро будут особые военные суды!) Говорят, что революционные листки засылаются из-за границы. Правоверные крикуны, во главе с Черным Фрицисом из «Ригас авизес», только и делают, что вопят о подкупленных немцами предателях отечества — социалистах.

— Из черных газет известно, что появилось несколько антивоенных листовок,— заметил Стучка.

— Несколько? Их выпущено больше десятка. В Риге, Курземе, Видземе. Правда, воззвания написаны рядовыми пропагандистами, а не теоретиками социализма, и товарищ Стучка найдет там наивные, шероховатые формулировки. Однако самое важное высказано недвусмысленно: «Прежде чем защищать отечество, свободу своего народа, мы должны их обрести. Надо разгромить внутреннего врага — помещиков и царское правительство!»

Шильф рассказывал о митингах и забастовках, об организации безработных для борьбы против самодержавия и военного психоза. («На преобладающей части промышленных предприятий Латвии работы сильно сокращены. На ста двадцати четырех наиболее крупных фабриках работает, в лучшем случае, третья часть прежнего числа рабочих».) Центральный комитет, кроме основанного в сентябре «Зиньотайса» [2], начал

[1] Яунзем Янис (Шильф) (1891—1921) — руководитель нелегальной типографии центрального органа СДЛ «Циня». В буржуазной Латвии, в подполье, убит националистами.

[2] «Вестник».

выпускать и нелегальную газету «Биедрс»[1]. И на той партийной конференции, которая состоялась сразу, как началась война, были резкие разногласия. По вопросу мобилизации, например. Коль скоро революционные социал-демократы против войны, то мобилизованных надо призывать к бегству в леса, декларировали ультралевые товарищи (Сална). Помешать мобилизации не в наших силах, сказал Данишевский. Призванным надо брать в руки оружие, а там уже видно будет, против кого его поворачивать. Большинство поддержало Данишевского.

Оказалось, что членам партии надо много чего сделать и в двенадцати уже изрядно потрепанных профсоюзах рижских рабочих. Есть основание надеяться, что журнал «Яунайс ародниекс»[2] может стать главным орудием отпора шовинистическим изданиям буржуазной печати.

— Но среди пишущих у нас есть и сторонники «военного социализма» — некие Грасис и Адата. С ними трудно тягаться. В легальном журнале, который проходит суровую цензуру, пишут завуалированно, эзоповым языком, как говорят. А эзопов язык не наша, партийных практиков, сильная сторона.

— В таком случае военных социалистов беру на себя. — Стучка обрадовался возможности повоевать с ликвидаторами марксизма. Такие Грасисы и Адаты только подражают немецким социал-шовинистам...

Уже через несколько дней редакция «Яунайс ародниекс» получила статью товарища Параграфа о развале Второго Интернационала. Причина — в искажении марксистской теории, в отрыве пролетарских масс от классовой идеологии. Вот почему «бюргерская идеология в немецкой социал-демократии взяла верх над чисто пролетарской. Слова о влиянии буржуазии на пролетариат оказались более правдивыми, чем ожидалось».

* * *

«Сегодня Петроград самый веселый город в мире,— писали с берегов Невы корреспонденты зарубежных газет. — Здесь не чувствуешь дыхания войны, не видишь ее призраков. Еще никогда столица России не жила столь откровенно разгульной жизнью, как теперь...»

Французские, американские, английские и скандинавские журналисты не преувеличивали. Северная метрополия царской империи в самом деле пребывала в опьянении.

В первой половине дня на центральных улицах Петрограда, казалось, преобладали люди деловые. Праздношатаю-

---

[1] «Товарищ».
[2] «Молодой профсоюзник».

щихся бездельников еще обгоняли поторапливающие извозчиков и кучеров седоки, озабоченные дельцы, чиновники, офицеры, курсанты и молодежь с книжками и портфелями под мышкой. Раздавались выкрики уличных торговцев, газетчиков, мальчишек, совавших прохожим рекламу кино и магазинов.

Но загорались вечерние огни...

Вообще-то разноцветные лампочки нельзя было назвать уличными огнями. С освещением мостовых и тротуаров эта расточительная трата электрической энергии не имела почти ничего общего. Когда в пригородах, на населенных трудовым людом окраинах булыжные мостовые и дворы домов утопали в черном, как воды Невы, мраке, петроградские богатые районы сверкали ярким светом.

На Невском проспекте и других центральных улицах рекламы торговых домов, ресторанов, ночных заведений — на фасадах домов, над крышами, дверями, в витринах — кричали, приглашая и зазывая посетителей, суля все земные радости.

С лета пятнадцатого года, после того как армия кайзеровской Германии захватила огромные территории на западе и северо-западе царской империи, привокзальные площади столицы, церковные дворы и казарменные сараи на окраинах забиты беженцами из Прибалтики, Польши, Малороссии и Бессарабии, «Северная Пальмира», казалось, стремилась развлечениями скрыть катастрофические потери на фронте, трагедию сотен тысяч, даже миллионов людей. Центр Петрограда теперь напоминал сады с аттракционами на Западе, наподобие «Тиволи» и других. Напоминал и пестротой реклам, и шумливостью посетителей, и азартом, с каким прожигалась жизнь под звуки оперетт Кальмана и цыганских песен.

В семь часов вечера в петроградских ресторанах свободного места уже не найти. Разве что в каком-нибудь уголке. Уже с пяти часов их занимают гуляки, которые только и делают, что шатаются из одного заведения в другое.

Тон тут задают нувориши — бесчисленные военные снабженцы, промышленники, поставщики и просто спекулянты. Ловкачи разных мастей и марок. Иной из них еще совсем недавно за день мерил пешком по десять верст, а сегодня разъезжает на купленном в Архангельске роскошном заграничном автомобиле. Когда-то такой тип торчал в Андреевском кабачке и, глотая слюни, поджидал простака, к которому можно было бы подсесть и на даровщинку пропустить рюмку горькой. Сегодня он ходит только к знаменитому «Медведю», где варит и жарит искусный московский кулинар. Заказывает пирожки в соусе из икры, изысканную селянку и жаркое из молочного поросенка. (За все это он по-царски платит новенькими, шелестящими ассигнациями.) Во время трапезы по-ко-

ролевски одариваемые певички услаждают слух нуворишей романсами. Когда в голову приятно ударяет опьянение, новоиспеченный набоб велит позвать лучших цыганских скрипачей или русских мандолинистов.

Еще с довоенных лет Стучка раз в месяц посещал рестораны «Медведь», «Вена» или «Малый Ярославец», где ужинали члены корпорации юристов. В разговорах с коллегами из Окружного суда, Судебной палаты и Сената он узнавал немало полезного, совершенно необходимого конспиратору! В непринужденной ресторанной обстановке он незаметно мог переговорить с родственником своего друга Соколова. Этот родственник имел знакомого в департаменте полиции и всегда знал что-нибудь о планах властей относительно революционеров.

Разумеется, такие посещения ресторана могут пробить брешь в и без того скудных финансах Петра Ивановича. Но к этому обязывают и адвокатский престиж (тебя не должны считать заносчивым или «скупым рыцарем»), и обычаи юристов, и все такое.

Но теперь, когда Петроград слывет веселым городом в мире, посещение ресторана связано для Петериса Стучки не только с материальными трудностями, но и с нравственными страданиями. Претит атмосфера бесшабашного кутежа. «Пир во время чумы»! Текут рекой крымские вина и шампанское, едят и пьют ненасытные обжоры, беснуются пьяные, непристойно визжат женщины, швыряют деньгами спекулянты. Сторублевки они держат в пальцах веером, словно игральные карты; точно тузы и десятки, они кидают купюры, рассчитываясь с официантами. Как все это противно! И это происходит во время, когда во многих округах России народ страдает от нищеты, голодает, когда солдаты на фронте полуголодные.

В ресторане Стучка обычно подыскивает себе столик в нише, по одну или другую сторону оркестра. Нувориши и титулованные кутилы на такое место не садятся (там ни себя показать, ни перекричать музыкантов, которые барабанят и трубят тебе прямо в ухо!). Ресторанные официанты Стучку знают, и хотя господин адвокат не тратит и десятой доли того, что оставляет какой-нибудь случайный посетитель, ему все же оказывается подобающее уважение. Большее, чем некоторым швыряющим деньгами гулякам. Если оба привычных столика заняты, то метрдотель быстро освобождает один из них. Но чаще всего об этом заботится партнер Стучки — Максим Кузьмич.

И на этот раз Кузьмич уже был там. Сидел, по-барски развалясь, лицом к оркестру, изображая рьяного поклонника легаровских мелодий (откинувшись на спинку стула, он пальцами выстукивал по столу в такт музыке из «Веселой вдовы»).

Когда Петерис подсел к человеку с курчавой густой шеве-

люрой, подбежал официант во фраке. Поздоровался и почтительно спросил:

— Прикажете подать, как всегда?

— Как всегда.

— Слушаюсь! — И официант попятился назад, но тут же снова приблизился к столику и, словно извиняясь, с сожалением сказал: — Петр Иванович, нам на этой неделе приказано цены... на пять процентов... Так-то...

— Так-то... — усмехнулся Стучка.

— Будем стоиками и не станем падать духом. — Максим Кузьмич наклонил графинчик и наполнил рюмки. Он сделал это с игривой ловкостью. У него красивые, женственные руки, что особенно бросается в глаза при его грузноватом торсе и довольно грубых чертах лица. — В империи все беспрерывно растет: цены, количество поражений на фронте, афер. И... патриотизм.

— Даже патриотизм?

— Даже патриотизм. Не скажем — абсолютно, но в интересующем вас секторе — безусловно. В латышском секторе... К вашему сведению, дорогой Петр Иванович, латышские национальные воинские части, о создании которых так настойчиво умоляли несколько десятков общественных деятелей под предводительством верноподданного гласного Государственной думы господина Гольдманиса, всемилостивейше позволено формировать. Верховный главнокомандующий подпишет соответствующий приказ командующему Северо-Западным фронтом генералу Рузскому. Через несколько дней это предложение получит законную силу, и вербовка добровольцев сможет начаться... Для начала — только добровольческие отряды. Латыши, мобилизованные ранее, будут оставлены в тех воинских частях, в которые они зачислены. Но, несмотря на это, чиновникам ведомства моего приятеля разослан циркуляр с указанием, что предпринять против ожидаемых революционных контрвыступлений. Инициаторы создания латышских воинских частей подали по этому поводу его превосходительству специальный меморандум. Возможны новые гонения и аресты. Один из моих коллег, например...

Что случилось с коллегой Максима Кузьмича, Стучка так и не расслышал. Оркестр заиграл воинственный галоп, сидевшие рядом за сдвинутыми столиками пустились вскачь, принялись отплясывать не то казачок, не то гопак или матросский танец. Они подбадривали друг друга похлопыванием, свистом и гиканием.

«Скверные, совсем скверные новости... — От напряжения мысли у Петериса Стучки кольнуло в висках. — Теперь в Латвии и повсюду, где только есть латыши, начнут разжигать костры шовинизма... А застрельщики в создании латышских батальонов, всякие дельцы вроде залитисов, гольдманисов, мейе-

ровицев и скубикисов, будут призывать на помощь романтических поэтов, лизоблюдов самодержавия и краснобаев. Собирайтесь, мол, под знамена двуглавого орла! Собирайтесь для блага латышской Латвии! Возрождайте героический дух латышского народа, дух предков! Вы видели, как в Курземе в апреле и мае потрепали немцев два наших латышских батальона! Вы способны освободить Курземе, способны отвоевать Латвию. Под крылами двуглавого орла!..

Ох, товарищи латышские марксисты! Еще не приходилось нам меряться силами с противником в столь сложной и трудной борьбе!..»

Тем временем разгул, охвативший сидевших за соседними столиками, передался и остальным посетителям ресторана. Вот пошатывающиеся молодцы уже взбираются на стол. Видно, решили поплясать между стаканами и тарелками.

* * *

В тысяча девятьсот шестнадцатом, то есть на третий год мировой войны, хозяйственная разруха царской России сказалась и на Петроградско-Московской железной дороге. И на этой всегда безотказно действовавшей магистрали начали застревать составы со срочными грузами, товарные и пассажирские поезда. Где-то, на каком-то перегоне между станциями, задымили смазанные заменителями вагонные оси, свалилась вдруг сработавшаяся букса или же паровозу не хватило скупо отпускаемого топлива. В другой раз поезд ворвался не на тот путь, на который ему надлежало...

Да, устали и измучены войной не только завшивевшие, тифозные, отощавшие солдаты и три миллиона беженцев, которые ушли из опустошенных снарядами краев в восточные округи Российского государства, но и неживой металл и оборудование.

А сейчас на станции Бологое несчастье приключилось с поездом, в котором Петерис Стучка возвращался из Москвы. Скорый влетел на путь, на котором сейчас должен был остановиться воинский эшелон. К счастью, эшелон еще не подошел к станции, и перепуганные железнодорожники спешили исправить положение. Отчаянно визжали паровозные гудки, лязгали буфера, скрипели и выли тормоза. Размахивая красными фонарями, по перрону и у стрелок метались станционные служащие.

— Не иначе опять какой-нибудь немецкий шпион напакостил... — оправившись от испуга, взволнованно рассуждали пассажиры скорого поезда.

В купе, в котором ехал Стучка, о немецких шпионах первой заговорила дамочка с болезненным румянцем на щеках. В наглухо, до подбородка застегнутом черном кружевном

платье, с высоко зачесанными, черными, как вороново крыло, волосами; жестами и глухим грудным голосом она, видимо, пыталась подражать популярной актрисе Вере Холодной. (Может быть, и ей лихой офицер бросает под ноги шинель, когда она сходит с извозчика у фешенебельного ресторана на Невском проспекте.) Дамочка, кажется, из тех, которые с началом войны бегали вокруг военных эшелонов, раздавали солдатам кисеты для табака, иконы, двухкопеечные конфеты, пели «Боже, царя храни!» и наказывали драться так же отважно, как бравый казак Кузьма Крючков, враз проткнувший пикой нескольких немцев.

— Куда ни глянешь, всюду на тебя смотрят противные физиономии. Маловеры и беглецы! — негодовала она. — От всех этих бродяг истинно русскому человеку в собственном доме спасения нет.

— Как и от всяких чудотворцев, что заправляют империей,— отозвался полный господин с модной бородкой а-ля Пуанкаре. Возможно, представитель русско-иностранной фирмы. Иностранные капиталисты теперь возмущались не только катастрофическими неудачами царской армии на фронте, но и мошенником, захватившим в России бразды правления,— сибирским мужиком Распутиным. Объявленный при дворе святым, чудотворцем, полуграмотный Гришка Распутин гипнотически подчинил себе царицу Александру, царя Николая, министров и князей православной церкви и по-своему направлял политику России. А распутинская политика не устраивала союзников империи и крупных русских богачей. В Петрограде, Москве и других центрах России среди дворян и офицеров широко были распространены портреты святоши (иконописное лицо «чудотворца» с глубоко посаженными глазами фанатика, длинной черной бородой и расчесанными на пробор волосами), подписанные издевательскими, даже скабрезными стишками.

В разговорах о последних неудачах Российской империи часто упоминались и Распутин и беженцы. Особенно беженцы из округов, занятых немцами или находящихся под их угрозой. Эти несчастные скитальцы теперь наводняли Россию до самого Северного моря, до Алтая, до диких гор Монголии.

Беженцы, естественно, нуждались в провизии и еще кое в чем. Но за три года войны необъятная, богатая «матушка Россия» обнищала, точно погорелец. И прибывавших инородных беженцев местное население встречало с явной неприязнью, обвиняя их во всех своих и чужих бедах.

— Видать, длительная задержка неизбежна. Надо справиться у обер-кондуктора,— сказал Стучка и вышел из купе.

Он теперь часто разъезжал. В Москву, Харьков, Тулу, Минск, Витебск, Орел, Саратов, Нижний Новгород, Ярославль и Архангельск. Эти поездки, или прозябание в поездах и на стан-

циях, как он выражался о своих скитаниях, часто имели совсем другие цели, чем улаживание дел клиентов.

Прибывая в города, где поселились эвакуированные из Латвии фабричные рабочие, Петерис Стучка пытался связать оборванные в военные годы нити революционной работы. Установить постоянные связи, распространять литературу. И старался при помощи латышских товарищей нащупать нарушенные и исчезнувшие в войну конспиративные контакты петроградских организаций. Порою он искал, точно поздний путник в осеннюю ночь, ничего не видя в непроглядной тьме, полагаясь лишь на звонкий или глухой стук дорожного посоха о сливающиеся с окрестностью предметы. Бывало, что ездил он и напрасно. Порою нельзя было найти никакого следа разгромленной жандармами организации. От некоторых поездок оставались лишь воспоминания о рассуждениях попутчиков, что жизнь испорчена, что управляют тупицы и невежды (это, разумеется, не возмещало большую трату времени и средств).

В конце четырнадцатого года Стучка работал, главным образом, в организации партии русских большевиков Петрограда, в то время как с усилением эвакуации латвийских заводов и рабочих в глубь России и на Украину возникла возможность сделать и кое-что для социал-демократии Латвии. Чуть ли не в каждом третьем городе России теперь жили латышские труженики, селились беженцы из Курземе и Риги. При достаточной наблюдательности, при остром слухе и хорошей интуиции можно было завязать необходимые знакомства.

С членами партии в эмиграции, с членом Заграничного бюро латвийской социал-демократии Янисом Берзинем-Зиемелисом, который имел постоянную связь с Лениным, Петерис Стучка поддерживал переписку через Архангельск. В этом северном порту латыши организовали свою артель грузчиков, нашли друзей среди революционно настроенных моряков, которые ходили в порты Англии и Франции. Тайная почта членов артели работала с точностью часового механизма. Архангельцы ухитрялись получать из-за границы партийную литературу и нередко помогали кое-кому скрыться от жандармов.

Юристом своей артели архангельцы наняли петроградского адвоката Петериса Стучку. Снабдили его нотариальной доверенностью, весьма полезной бумагой для человека, так часто скитающегося по всевозможным дорогам.

Значение железнодорожного узла Бологое в военное время сильно возросло. Были расширены мастерские депо, проложены новые железнодорожные ветки, построены пакгаузы. В Бологом нашли приют и беженцы из Латвии.

«А что, если поезд задержится дольше?..»

И Петерис Стучка отправился вдоль вереницы зеленых вагонов искать обер-кондуктора.

— Часа полтора простоим, как пить дать,— сказал началь-

ник поезда. — Пока освободят забитые пути, сцепления проверят, тормоза, рапорты напишут... Да и с топливом тоже не бог весть как... Да, господин пассажир может смело погулять. Только... только купить что-нибудь в этом захолустье пускай не надеется. Тут после солдат и проезжих хоть шаром покати. За маленькое яичко, скорее голубиное, чем куриное, что в июле по пять копеек было, теперь полтинник отдавай...

— Спасибо за совет.

Стучка, опираясь на трость, пересек пути, затем ухабистые перонные дорожки. В переменчивую погоду у него больно кололо в крестце и ныли ноги. Случались и головокружения.

В нормальных условиях человек в пятьдесят лет должен был бы еще быть бодрым. В нормальных условиях... Это если бы молодость, зрелые годы прошли гладко. Если бы идеи, жизненная правда постигались легко, а не вместе с физическими страданиями...

Замусоренный зал ожидания третьего класса был битком набит. Половину помещения занимали семьи беженцев и переселенцев, тепло одетые женщины с закутанными детьми. Бородачи в зимних пальто и нагольных овчинных шубах дымили самосадом. В глубине зала на цементном полу, растянув ноги, устроились со своими нехитрыми пожитками солдаты в грубых серых шинелях. Они тоже страшно дымили. Только дым казенной махорки не был так едок, как чад от трубок бородачей.

А зал ожидания второго класса почти пустовал. За стойкой с двумя дымящимися медными самоварами сидели несколько офицеров и господин с седыми бакенбардами. Они пили чай. На столике и в витрине, радовавшей когда-то глаза пассажиров зеленоватым переливом винных бутылок, бонбоньерками с цветами и яркими картинками, виднелись пустая посуда, мелкая вобла, полбуханки ржаного хлеба. А над этим висел еще довоенный плакат, рекламирующий монпансье: негр на роликах, улыбаясь во весь свой алый рот, словно подхватил на лету коробку конфет. Бедность! Жалкая бедность военного времени!..

Петерис Стучка обошел станцию, заглянул в ворота депо (около основательно покореженного двухосного товарного вагона гнули спины несколько стариков). Петерис хотел направиться в местечко Бологое, но в это время на другом пути, шипя и дымя, подошел бесконечный эшелон с солдатами и штатскими пассажирами. Колеса еще не перестали вертеться, как из вагонов высыпали люди с чайниками и солдатскими котелками. Среди них немало парней призывного возраста. Очевидно, мобилизованные.

И тут Петерис услышал латышскую речь. Кто-то жаловался тоненьким голоском:

— Дядя, дяденька... Ей-богу, я тебе не помешаю...

— Убирайся! Сейчас же! — Коренастый парень в домотканой куртке пытался прогнать через пути подростка в рыжевато-серых лохмотьях. — Фронт не игрушка.

— Я и не собираюсь играть. Мне уже пятнадцать... А в стрелковые батальоны...

— Проваливай! Пока тебя по-хорошему просят!

«Еще один добровольный кандидат в латышские стрелки,— усмехнулся про себя Стучка. — Еще один лист, сорванный в великую боевую бурю с шумящего народного дуба, как сказал бы поэт Карлис Скалбе» [1].

Уже не так эмоционально Скалбе подпевали поселившиеся в Москве поэты Атис Кенинь, Янис Акуратер и Виктор Эглитис. Другу Паулю Дауге в комитете помощи прибалтийским беженцам теперь с такими дел хватало. Ненависть латышского народа к помещикам, отчаяние и страдания скитающихся на чужбине людей эти стихотворцы спешили расцветить любовью к отчизне. Если, мол, мы, латыши, в своих стрелковых батальонах будем храбро драться под сенью двуглавого российского орла, то после победы над немцами наш народ сможет на что-то надеяться... Для пущего эффекта к таким призывам прилеплялись строки из революционной поэзии Райниса:

Иди сражайся, чтоб победить
Иль пасть!..

Парень в домотканой куртке заметил Стучку. Он перестал гнать подростка, присмотрелся к седоватому человеку и медленно пошел к нему.

— Петерис Стучка, если не ошибаюсь?

— Он самый.

— Здравствуйте! Я — Юревич. Вы меня, наверное, не узнаете, а я вас сразу узнал. Лет шесть назад вы помогли моей матушке отсудить жалованье, что у нее барин зажилил. В Елгаве дело было. Матушка тогда велела мне у дверей суда дожидаться — на благодетеля нашего посмотреть.

— А куда теперь? На фронт? — оборвал Стучка воспоминания парня.

— Призвали выполнить патриотический долг, выражаясь словами «отцов стрелков» — господ залитисов да гольдманисов,— откашлялся Юревич. — Работал на эвакуированном заводе, а теперь буду петь «Две голубки по небу летели».

— Вас призвали в латышские стрелки?

— В запасной полк.

— А мальчик?

— Беда с ним! — Юревич потемнел лицом. — В герои рвется, георгиевского креста захотел. Вот и пристает к мобилизованным, что на Рижский фронт едут.

---

[1] Скалба Карлис (1879—1945) — латышский поэт и прозаик, буржуазный политический деятель.

— А как же он сюда попал?

— Вот спросите его! Вобьет себе такой что-нибудь в голову... Его отца,— Юревич заговорил потише,— кузнеца Гробиня, в седьмом году на каторгу засудили. Мать померла. Мальчик воспитывался у родственников в деревне. Когда ворвались немцы, приемные родители бежали в Тверскую губернию. Как поднялась эта патриотическая кутерьма с собиранием под латышские знамена, так мальчишку уже не удержать было.

— Так он — сын каторжанина?

— Каторжанина.

— Послушай,— сказал Стучка, посмотрев на мальчика. Подросток глазел на взрослых, пряча за пазуху то одну, то другую зябнущую руку. — Ты, друг, мог бы поехать со мной в Петроград. Там мои знакомые устроят тебя на настоящую, достойную мужчины работу. На военный завод. С этого завода и на фронт посылают. Уже как обученных солдат. Ведь обученный больше необученного стоит? Или сначала давай познакомимся?

Вояка нехотя протянул красную, распухшую и немытую ладонь. Едва коснулся руки чужого дяди.

— Екаб Гробинь,— назвался он.

— А я Петерис Стучка.

Потом в поезде они разговаривали уже как старые друзья. О военных трудностях, беженских злоключениях, говорили о школе и книгах, газетах, об иллюзионе. Вопреки опасениям Стучки, мальчуган оказался не из упрямых. Но в зарю Латвии, забрезжившую над окопами на Тирельском болоте и Острове смерти, он верил слепо. Высоко летит латышский сокол над героическими полками, ведомыми Имантой и Лачплесисом. И народное счастье не откликнется, если человек не отдаст ради него свое сердце.

Когда парень уже задремал, Петерис Стучка поднял выскользнувшую из его рук книжку — зачитанную брошюру с потрепанной серой обложкой. «Латышский стрелок. Сборник сочинений. Составлен К. Скалбе»,— прочел Стучка при мигающей свече.

Статьи, стихи, строчки воспоминаний...

Поэтический очерк «Латышские батальоны». Как латышский стрелок «кинул свистящее копье в полный вздохов воздух». И как ребята кричали «ура» царскому гимну, и как они под тихие звуки оркестра пели: «Боже, благослови Латвию». Там же были напечатаны стихи о бессмертных героях...

* * *

— Бравого солдата мы уложили в маленькой комнатке,— Дора вошла в кабинет мужа, осторожно закрыв за собой дверь.— Марта сделала ему настоящую щелочную ванну. А теперь она решает ребус, как привести в божеский вид лохмотья молодого человека... Послушай, Петерис. — Она подо-

двинула настольную лампу поближе к работе мужа. («Большой ребенок! Испортит себе глаза!») — Вот уже больше недели, как Мартинь с Васильевского острова не показывался. У них, может, что-нибудь стряслось. В таком случае мальчика на заводе не устроить.

— Помогут финские товарищи или же братья литовцы. — Стучка отложил короткую вставку с испачканным чернилами концом. — Поселим паренька в той же маленькой комнатке.

— Поселим-то поселим, только что мы с ним делать станем? Мы оба постоянно страдаем от «цейтнота». Екабу нужен товарищ и советчик. Ты бы посмотрел, как он накинулся на подшивки «Лидума» и «Яунакас зиняс»! Как упивался слезливо-поэтичными описаниям гибели стрелков! Теми самыми, над которыми в своих фельетонах так едко смеется Андрей Упит.

— Екаб отравлен, ты права... Но он еще не совсем оболванен. За фронтовым эшелоном он все-таки не побежал.

— На этот раз не побежал, а в другой?

— К тому времени он что-нибудь поймет.

— Не так-то быстро.

— Поживем — увидим. Я жду, когда ты мне расскажешь о своих делах со «Сборником латышской литературы»,— переменил Петерис тему разговора. — С Горьким ты встречаешься? Он наше предложение одобряет?

— Одобряет,— ответила она, словно подавляя вздох. Ее небольшие пальцы зашарили по столу словно в поисках чего-то.— Отобранные нами стихотворения Райниса напечатают полностью. Горький говорит, что присланные Паулем подстрочники великолепны. Так сказал Брюсов. Работать по такому подстрочнику для переводчика — удовольствие. Меня только беспокоит одно,— продолжала Дора.— Брюсов все-таки архииндивидуалист. А Горький и издатель «Паруса» Тихонов в восторге от большого поэтического таланта Брюсова. Они убеждены, что Брюсов вживется в революционную символику Райниса, в его революционные образы... Послушай... — Дора вскочила. — На черном ходу кто-то стучится.

«Из городского комитета». Петерис Стучка поспешил затянуть на окне занавески. И вот посетитель уже в комнате — военный в унтер-офицерских погонах.

— Я ищу Анну Андреевну,— сказал он с заметным нерусским акцентом. Достал из кармана папиросу и, словно непроизвольно, переломил ее надвое.

Гость среднего роста, не очень плечист. У него продолговатое лицо, светлые усы, за очками в металлической оправе прячутся голубые глаза.

«По внешности латыш...» — предположил Стучка. Но поскольку относительно пароля еще не все было выяснено, он подал военному совсем новенький мундштук, какой можно купить в любой мелочной лавке.

— Марта Петровна ждет Анну Андреевну дома...

— Здравствуйте, товарищ Стучка! — отозвался военный по-латышски и пожал Стучке руку. — Якобсон. Мы уже встречались с вами в Цесисе. Когда вас выдвигали в депутаты во Вторую государственную думу. А теперь организация нашего полка направила меня в комитет питерских большевиков. Дали этот адрес и пароль. Сказали, что я найду здесь питерцев. А я в поисках русских ленинцев, оказывается, к самому Ветерану попал.

— Видимо, русские товарищи считают, что латыш латыша скорее поймет. Вы, кажется, хотите поговорить о партийной работе в батальонах латышских стрелков?

— Об этом... — Стрелок машинально чиркнул спичкой, поднес ее к засунутой в мундштук папиросе и тут же хотел погасить пламя.

— Курите, курите,— кивнул Петерис. — Курите и рассказывайте. Какое настроение у стрелков? Начинают ли наши ребята понимать, что у вооруженного латышского рабочего есть свои счеты с царизмом?

— Кажется, начинают. Две трудные военные зимы, постоянные неудачи армии на фронте, недобрые вести от близких, разруха и голод в тылу... И потом солдаты сильно обозлены бессмысленными атаками на немецкие укрепления. Солдаты начинают искать людей, которые ответили бы им на наболевшие вопросы о войне и мире.

— А революционные листки поступают к вам регулярно?

— Как когда. Но хорошо, что содержание их теперь стало более конкретным. Вот в полученном сейчас в феврале листке «Новые жертвы» говорится о всем известных фактах — о нетерпимом положении солдат. Такие листки нужны и нашим ребятам и товарищам в русских частях.

— Организации стрелков неплохо бы иметь в Риге собственную типографию. Петроградские большевики помогли бы техникой и материалами.

— Именно этого мы и хотели в Питере добиться. Если у нас будет своя типография, то уж мы...— обрадовался он.— Думаете, достать технику будет сложно?

— Не очень.

— Ну, в таком случае... Но не только ради типографии меня послали сюда. Товарищ Стучка, видите ли... на Рижском фронте началось братание с противником. Наши и немцы встречаются в нейтральной зоне и по-дружески беседуют, уверяют друг друга в своих стремлениях к миру, дарят друг другу на память всякие безделицы. Это, разумеется, происходит, когда поблизости нет верноподданных царского трона. Это нечто новое, а товарищи в Риге нам могли лишь сказать, что партия поддерживает любое направленное против войны начинание.

— Разве недостаточно ясно сказано?

— В последнее время Рижский комитет опять понес тяжелые потери. Говорят также, будто парализована работа Центрального комитета. А мы кампании братания хотим придать размах. Для этого нам необходимо мнение Петроградского комитета большевиков. Что он рекомендует? Как считает товарищ Ветеран?

— Братание на фронте полностью отвечает стратегии большевиков. Может, слыхали — в августе прошлого года в Циммервальде состоялась Международная конференция социалистов. Среди делегатов от большевиков России был и представитель нашего Заграничного бюро. Конференция очень высоко оценила упорную борьбу наших товарищей против войны. В общем наши, как и русских большевиков, практические шаги в антивоенной борьбе получили самую высокую оценку. Зарубежные товарищи восхищались, с какой находчивостью мы в условиях войны ведем революционную борьбу. Если братание на фронте начато, то его надо развернуть как можно шире. Представитель социал-демократии Латышского края сказал немецким товарищам: «Передайте рабочим Германии: рабочие Латвии надеются, что такую же борьбу против империалистической войны, самодержавия и капитализма начнут и сознательные рабочие Германии. Что социал-демократическая оппозиция Германии пойдет по следам Либкнехта и... поведет рабочих на открытую борьбу».

«Мера для каждой проблемы — ее полезность интересам партии, конечным целям революции,— подумал про себя Петерис. — Действительность не существует только теоретически или только практически. Каждый вопрос надо решать практически, и каждое практическое начинание надо решать самостоятельно, в соответствии с теорией марксизма».

* * *

— Костюм сшился. Может быть, молодой человек пойдет его примерить? — сказала Дора, войдя в кабинет Петериса.

Мужчины — большой Петерис и маленький Екаб — что-то внимательно искали в книжном шкафу. За Дорой вошел седоватый человек с перекинутым через руку отутюженным мужским костюмом.

Дора сказала «костюм сшился», а не «костюм сшит». На лице вошедшего за ней человека, то есть портного, ее слова вызвали добродушную улыбку.

— Ах, сшился все-таки? — повторил Петерис. — Стало быть, заказчику остается принять от мастера работу?

— Что надо, то надо. — Екаб Гробинь провел ладонью по жилету и вместе с портным вышел в соседнюю комнату.

— Исаак Абрамович ведь сотворил чудо,— радостно шепта-

ла Дора мужу. — Когда Марта гладила постиранные распоротые куски, они и на левой стороне казались совсем потертыми. А Исаак так перелицевал, что костюм получился будто из новой материи. Екабу и в голову не придет, что костюм из старого перелицован.

— Кто знает, — усмехнулся Петерис. — Если сам не догадается, то найдутся люди, которые подскажут. Только этакий, мол, костюмчик твой справил тебе! Легенда о состоятельности адвоката Стучки возникла еще во времена новотеченцев.

— Среди мещан.

— Не только. В России и особенно в Прибалтике адвокатов считают денежными тузами. И в городе и в деревне. Не представляют себе, что бывают и адвокаты, которые еле концы с концами сводят. Что иному порою не хватает копейки на конку.

— А если вор утащит из прихожей единственную шубу, то адвокату целых две недели не в чем из дому выйти. Пока друзья и знакомые не наскребут на другое зимнее пальто.

— Это верно, истории известен и такой факт, — посмеялся Петерис. — Известен, но она умалчивает о нем. Подойди-ка поближе, — попросил он переодевшегося Екаба, который стоял в дверях, важно приосанившись. Издали новый костюм казался безукоризненным. Он отлично сидел. Только нагрудный кармашек на пиджаке был не, как полагается, на левой стороне, а на правой.

— Мастер Исаак поработал на совесть... — Портной подталкивал Екаба. Пускай Петр Иванович и Дора Христофоровна посмотрят как следует.

— Когда же мастер Исаак работал не на совесть! — ответил Петерис. — И все-таки эта работа подорвет репутацию Исаака Абрамовича. Карманчик на груди сразу же выдает, что костюм из старого перелицован.

— И что с того? — удивленно поморщился Екаб. — Ведь теперь война. Разве порядочные люди могут позволить себе невесть что? Пускай только кто-нибудь попробует придраться!

— Другими словами, ты доволен?

— Еще бы!

— В таком случае обсудим, как мы костюм освятим... Может, сходим вечером в театр?

— Или днем — в художественный музей? Петр Иванович, когда вы показывали мне историю искусств, то говорили, что в здешнем музее...

— Что в музее выставлены картины Брюллова, Репина, Сурикова, Айвазовского. Можем и в музей сходить. Разумеется, если остальные члены почтенного общества не возражают?

— В музее мы в последний раз были вместе с молодым валмиерцем из художественного училища Штиглица, — отозвалась Дора. — Это было уже давно.

— Договорились. Идем в музей.

Через некоторое время они уже шли по Бассейной улице, затем по берегу Екатерининского канала. Обычной дорогой, Невским проспектом, они на сей раз не пошли. Доре тяжело смотреть на женщин, толпящихся возле скупочных лавок подержанных вещей, на очереди у булочных и в то же время — на зеркальные витрины дорогих магазинов, которые ломятся от яств, ювелирных изделий, мехов, шелков, фарфора. В эти магазины входят господа со здоровым румянцем на щеках, а с улицы, уткнувшись носами в витрины и глотая слюну, заглядывают туда маленькие оборванцы — стекла потеют от их дыхания.

Петерис хотел показать Екабу церковь, поставленную на месте убийства царя Александра Второго. Еще студентом Петерис часто бывал тут с тайными студенческими экскурсиями. Политически организованные или просто свободомыслящие студенты шли порою на берег Мойки, как паломники в чудотворный монастырь. Там коронованного насильника России настигла месть революционеров-террористов. Недавно Петерису довелось прочесть новую книгу о покушении первого марта восемьдесят первого года. Некоторые факты там освещаются совсем иначе, чем до сих пор. И сам ход покушения. Поэтому Петерису хотелось еще раз осмотреть место происшествия. Так сказать, традиции ради. В его молодости, в конце восьмидесятых годов, студенты дотошно изучали все, что имело какое-либо отношение к технике покушения, к его подготовке... По материалам свидетелей и суда над заговорщиками они старались во всех подробностях уяснить себе, откуда и какой дорогой ехал царь. Где и как за жертвой следили пикетчики-сигнальщики, в каком месте стоял исполнитель смертного приговора. И что в эту минуту думал и переживал каждый из судей коронованного деспота. Разумеется, их мысли и чувства относятся скорее к эмоциональной психологии. Но и та не была абсолютно произвольной. Переживания таких людей описаны в книгах писателя-террориста российского подполья Степняка-Кравчинского.

Да, прочитал ли уже Екаб книгу Степняка-Кравчинского «Домик на Волге»? И «Овод» Войнич?

— «Овод» прочитал. А... «Домик» не успел.

— Кравчинского, друг мой, надо читать. Кравчинский изображает наше вчера, историю наших исканий и заблуждений. А история — в этом сходятся все мыслящие люди — необходима нам для будущей деятельности. Потому что будущее создается в отрицании прошлого.

— Ладно, прочитаю,— пробурчал Екаб.

По мосту через Мойку двигался небольшой отряд юнкеров. Шаг у них был для солдат необычный, они шли легко, чуть ли не пританцовывая.

* * *

Дора уснула за рабочим столом. Головой она припала к открытой книге, прижатой левой ладонью, в то время как правая с карандашом в пальцах осталась на исписанных листках. Дора очень торопилась с работой (текст должен был вовремя попасть в набор), но не хватило сил.

Правда, уже было очень поздно. Стенные часы, которые в застекленном корпусе черного дерева тикали над блекло-зеленой картой военных действий, показывали второй час ночи. Дора, работая, ждала возвращения мужа.

Уходя, он, правда, сказал, что на этот раз ему не предстоит ничего конспиративного. Очередное отсиживание в обществе петроградских либеральных юристов. Будут обсуждать положение на фронте, в государстве, в политических лагерях. Перебирать последние сенсационные коррупции (аферы интендантов, снабженцев, министров и членов всяких комиссий, ничем не уступавшие самым шумным зарубежным!). И болтать о колебаниях политического барометра. Что, мол, нового в политическом соревновании председателя Государственной думы помещика Родзянко и лидера трудовиков Александра Керенского (эти две назойливые невесты позарились на наследие разваливающейся монархии).

— Ты уже вернулся? — Дора очнулась. — Я ждала-ждала и... задремала. Ты, правда, велел не ждать тебя. Но у нас такое происшествие...

— Происшествие? Какое происшествие?

— Екаб убежал. На фронт все-таки. Вот его письмо.

«Товарищ Стучка,— Петерис читал ровные, словно выведенные на уроке чистописания, буквы. — Я ухожу, потому что вы меня обманули. Вы сказали: война — преступление. Разумному юноше на фронте нечего искать. А других, тех, что против войны, вы гоните в окопы. Вот как вы поступаете! Я знаю это, я случайно подслушал ваш разговор с одним латышским военным, который был призван в русскую часть. Вы направили его в латышскую стрелковую часть».

— Екаб, наверно, подслушал мой разговор с Карлисом Гайлисом [1],— решил Стучка. — Тогда мне почудилось, будто кто-то стукнул дверью. Но мне не пришло в голову, что это Екаб. Парню в это время надо было быть на заводе...

И он пытался вспомнить, о чем говорил с Гайлисом.

«...Мы должны превратить полки латышских стрелков в революционную армию...» А Гайлис не желал переходить из рус-

[1] Гайлис Карлис (1888—1960) — партийный и советский работник, член партии с 1906 г. В 1917 г. член Военно-революционного комитета Двенадцатой армии, в 1918 г. комиссар по национальным делам латышей в Москве, в 1919 г. представитель правительства Советской Латвии в Москве, член ВЦИКа первого, четвертого и шестого созывов.

ского полка в латышский. Настаивал на том, что сознательному пролетарию среди латышских шовинистов делать нечего. «Концентрация революционных элементов среди одурманенных национализмом латышских крестьян и рабочих в серых шинелях для партии жизненно необходима! — ответил тогда он. — Не надо преувеличивать опасность того, что, в случае революционного выступления, марксисты могут быть уничтожены. Такое было бы возможно только при условии, если бы революция была заговорщицким актом. Нам недостаточно революционизации лишь своих солдат. Наше влияние надо распространить и на более далекое окружение...»

Но самое главное из разговора с Гайлисом Екаб подслушать не мог. Когда разговор зашел о самом главном, Петерис начал импровизировать на рояле. Однако если мальчик, которому не было и шестнадцати, оставил своего воспитателя, убежал туда, куда его не хотели пускать, то это чести воспитателю не делает.

И какой из всего этого следует вывод?

13. КОГДА ПРОБУЖДАЕТСЯ ТРУДОВОЙ ЛЮД

В ночь на двадцать восьмое февраля командующий войсками Северного фронта Хабалов, который «всевысочайше» был уполномочен «усмирить Петроград», еще пытался с кучкой верных ему офицеров и солдат забаррикадироваться в здании Адмиралтейства. При этом Хабалов не знал, что восставший народ и солдаты гарнизонного караула уже вели в Петропавловскую крепость арестованных министров последнего царского правительства. Он не знал, что открывались двери тюремных камер, в которых «сидели за политику», и что тупому самодержцу Николаю и его «августейшему дому» осталось властвовать лишь считанные часы.

Командующий не принадлежал к тем, кому золотые погоны, ордена и привилегии были положены в колыбель вместе с пеленками. Хабалов был человеком образованным. Он изучал военные науки, историю и вошедшую за границей недавно в моду социологию. Хабалов понимал, что продолжительная нехватка хлеба может вызвать голодные бунты угрожающих размеров. Простой люд, вернее говоря — «чернь», быстро подчиняется животным инстинктам и способна броситься на кого угодно, точно изголодавшиеся зимою лесные хищники (которых можно разогнать, только учинив основательную бойню). Теперешние волнения в Петрограде и других центрах России тоже возникли из-за отсутствия продовольствия. Стихийно! Но эта стихийность принимала уж очень скверные формы. К черни присоединились солдаты столичного гарнизона. Первой взбунто-

валась четвертая рота запасного батальона Павловского полка, затем солдаты Волынского полка обстреляли полицию и казаков, потом к мятежникам примкнули рядовые Московского, Литовского, Преображенского полков. Несмотря на то что генерал Хабалов верил в незыблемость власти православного императора, бунт петроградских воинских частей его взволновал. И он поспешил закрепиться, чтобы обороняться, пока в город не подоспеют верные государю части и не воздадут бунтарям по заслугам.

Иначе и нельзя, иначе и быть не должно!

Правда, болтуны на заседаниях Государственной думы в Таврическом дворце весь конец шестнадцатого года кричали о бестолковых министрах, о коррупции и предательстве. И посол английского короля Бьюкенен и полномочный министр Французской республики Палеолог поддерживали банкиров и фабрикантов России, жаждавших сменить беспомощного Николая другим, нескомпрометированным монархом. (А доверенные лица царя втайне от союзников добивались перемирия с Германией.) И социалисты разных мастей с Нового года не переставали болтать об общенациональном кризисе в России и о какой-то революционной ситуации. (В самом деле — в Петрограде бастовало около двухсот тысяч рабочих!) Но при всем при том Хабалов был твердо уверен, что политики ничего серьезного не предпримут. Бунтовщиков могли подстрекать социалисты. Но их лидеры, тот же Суханов, уверяли, что «ни одна партия не готовилась и не готовится к государственному перевороту». А лидер эсеров Керенский даже хвалился антиреволюционной позицией своей партии: «Мы считаем, что во время войны недопустимо даже чисто стихийное революционное движение».

Так что политические партии бунтующую толпу по революционному руслу не направят. А из этого вытекает, что...

Но генерал не учел *одной партии*. (Возможно, ему казалось, что ультрарадикальная группа, лидер которой находился в эмиграции, не пользуется никаким влиянием?) Партии, которая настойчиво и целеустремленно направляла стихийное недовольство масс, требовавших хлеба и мира, на решающую борьбу против самодержавия. Хабалов игнорировал партию большевиков, объединявшую многочисленные народы России.

Еще в конце пятнадцатого года ее идеолог и стратег Ленин, научно проанализировав общественное, политическое и экономическое положение в государстве Романовых, пришел к выводу, что «мы опять шагаем к революции». И весь шестнадцатый год и начало семнадцатого, вопреки непрестанным арестам, самоотверженные революционеры, точно трудолюбивые муравьи, по всевозможным, мельчайше разветвленным путям несли пролетариям идеи научного социализма. Долго и терпеливо разъясняли, доказывали, убеждали, пока в феврале шестнадцатого года Петроградский комитет партии уже мог

смело обратиться к тысячам жертв социальной несправедливости с призывом: «Ждать и молчать больше нельзя! Рабочий класс и крестьянство, одетые в серую шинель и синюю блузу, подав друг другу руки, должны повести борьбу со всей царской кликой, чтобы навсегда покончить с давящим Россию позором. Настало время открытой борьбы!»

Демонстрации в память «Кровавого воскресенья» 1905 года, то есть событий Девятого января, большевики превратили в открытую кампанию против царизма. А в начале февраля задуманное либералами и меньшевиками массовое шествие к Таврическому дворцу (в поддержку Государственной думы!) благодаря большевикам стало революционным шествием. Затем большевики вывели фабричных рабочих Петрограда на всеобщую забастовку протеста (против локаута, объявленного дирекцией Путиловского завода). Двадцать третьего февраля, в Международный день солидарности работниц [1], ленинцы организовали неслыханное в истории России политическое выступление женщин: трудящиеся женщины собирали на улицах митинги, останавливали трамваи, вызывали с фабрик и заводов на массовые демонстрации рабочих.

И в довершение всего — под влиянием большевистской пропаганды — рядовые многих частей гарнизона отказались стрелять в трудящихся, которые, вопреки запрету властей, шагали колоннами к центру города, высоко держа сшитые на скорую руку красные флаги. Ленинцы своей революционной агитацией разожгли в сердцах солдат столь ярую ненависть к тирании, что утром двадцать седьмого февраля многие стоявшие в Петрограде части с оружием в руках примкнули к демонстрантам.

Царь Николай приказал генералу Хабалову — завтра же положить конец бесчинствам в столице! Но не помогли ни взобравшиеся на крыши домов городовые с пулеметами, ни юнкера, выведенные на берег Невы, не помогло и разведение мостов. Сплотившиеся вокруг ленинцев рабочие и работницы, солдаты и интеллигенты разоружали полицейских, занимали их участки, гнали казаков. Трудящиеся от обороны перешли в наступление. И поднялся самый высокий, девятый вал народной революции, в которую не верила буржуазия России, не верили либеральные политики и розовые социалисты. Крушились и смывались оплоты и крепости самодержавного государства.

Обходя коридоры и двор здания Адмиралтейства, генерал увидел по другую сторону тяжелых средневековых ворот молодую, хорошо одетую женщину в красной косынке, повязанной на русский манер. Живо жестикулируя, она что-то горячо доказывала солдатам.

— Подстрекает... Не иначе! — Генерал топнул ногой по каменной плите. — Эй, орел! — крикнул он стоявшему поблизости

[1] Восьмого марта по новому стилю.

ефрейтору. — Ступай и убери эту бабу! А если что, двинь ей, чтобы полетела отсюда. Ну, чего стоишь?

— Ваше превосходительство... — замялся ефрейтор и вдруг, выпрямившись, бросил: — Я женщину обижать не стану.

* * *

В семь часов утра на лестнице дома по Бассейной улице, 36, стоит густой, заглушающий шаги мрак. Еще в начале февраля стенные зеркала ночью отражали огни скользящей вверх кабины лифта красного дерева, который, под убаюкивающий рокот мотора, поднимал и спускал обитателей дома.

Теперь на лестнице горели лишь две лампочки — на первом и третьем этажах. На нижнем, то есть у дверей старшего дворника Станислава Яковлевича, и на среднем, где жили не сочувствующие этим смутным и безумным временам жильцы. Степенные люди, которые в дни февральского разгула не бегали на Невский проспект смотреть на демонстрации с трепещущими пурпурными знаменами, на задрапированные черной и алой материей гробы, в которых несли погибших в боях против самодержавия. Жильцы третьего этажа не ходили на улицы слушать похоронные марши и зажигательную, призывную «Варшавянку».

Лампочки на лестнице погасли вскоре после двадцать седьмого февраля. Как только вместо министров самодержца начало распоряжаться Временное правительство и объявился какой-то неслыханный до сих пор Исполнительный комитет Совета депутатов рабочих, крестьян и солдат, а жилец шестой квартиры адвокат Стучка стал членом этого Исполкома. В Исполкоме этом адвокат Стучка был одним из самых неистовых. На заседании от четвертого марта он потребовал, чтобы на заводах, в учреждениях и других местах работы вопросы о нуждах рабочих согласовывались с Социал-демократическим рабочим комитетом (с партией, которая жаждет обработать благонамеренных сынов отечества!). Кроме того, оказалось, что Стучка этот к тому еще член редакционной коллегии подстрекательской газеты «Правда» («Правда» требует выхода России из коалиции Антанты в войне против Германии, требует отчуждения помещичьих земель). Сразу и не упомнишь, сколько этакий вместе с другими заговорщиками приносит России вреда и горя. («Знающие люди говорят — все большевики подкуплены немцами! Немецкое правительство платит каждому из них по триста и даже пятьсот рублей!»)

Знал бы в шестнадцатом году владелец дома по Бассейной, 36, кто такой на самом деле адвокат Стучка, — ей-богу, лучше держал бы квартиру, оставленную бывшей приятельницей убитого Распутина, актрисой Лермой, пустой, но не пустил бы э т а к о г о, несмотря ни на какие денежные затруднения,

Остается только надеяться, что Стучке надоест взбираться по темной лестнице. По утрам он обычно выходит очень рано. А домой редко когда возвращается до полуночи.

Нащупывая тростью едва различимые ступени, Петерис добрался до первого этажа. Окошко в двери старшего дворника ярко освещено — доверенное лицо домовладельца уже на своем посту. Но посмотреть, кто в такую рань спускается с верхнего этажа, не пошел. Знает и так.

«Забавное положение! — усмехнулся Петерис. — Вот какие сюрпризы преподносит конспирация!»

В самом деле, своей конспирацией при монархии Стучка мог бы гордиться. Даже на труднейшем этапе партийной жизни, когда молодчики генерала Хабалова и охранка беспрерывно шныряли с обысками, арестовывали, никакие ищейки в мундирах или в штатском не смогли уличить его в преступной антигосударственной деятельности. Товарищ Ветеран, или Параграф, всегда ускользал из их лап. И теперь, после свержения самодержавия, он, один из немногих оставшихся на свободе членов Петроградского городского партийного комитета, оказался среди руководителей организации трудящихся столицы.

Разумеется, конспирация была не только его заслугой. Он мог бы невесть как хорошо владеть искусством подпольной работы и все равно не был бы застрахован от случайностей. Спасало то, что партийная организация тщательно берегла члена своего комитета. Ему строго-настрого, ни при каких обстоятельствах, не разрешалось нарушать законы конспирации.

Однажды — это было в конце 1915 года — он, правда, это предписание нарушил: выступил в обществе просвещения латышских рабочих «Культура» против Фридриха Весманиса, критиковавшего теорию стоимости Маркса. И через несколько дней в его квартире на Троицкой улице появились жандармы. Не лежал бы он тогда с воспалением легких, неизвестно, чем это все кончилось бы.

Петерис Стучка вышел на улицу и повернул к Литейному проспекту.

До Литейного ему попадались лишь отдельные прохожие. Рабочие, солдаты и женщины без неизменных кошелок. Должно быть, активисты революционных организаций. Митинговые ораторы или организаторы. Сейчас весь Петроград — сплошной митинг.

Люди митинговали, идя на работу и возвращаясь с нее. Митинговали в закрытых помещениях, на улицах, в очередях за кониной и у дверей булочных, в поездах, пригородных и дальнего следования, в грохочущих трамвайных вагонах. Спорили о свободе, демократии, о программах демократов, социалистов-революционеров или просто социалистов, о лозунгах, только что напечатанных в газетах или же лишь услышанных где-то краем уха.

Иногда споры обрывались криком: «Держите его! Он провокатор! Агент охранки!»

И люди, точно услышав пожарный сигнал, толкая друг друга локтями, бежали, мчались по дворам, через бульвары, мосты неоглядной, ожесточенной толпой!..

Убеждаясь, не забыл ли он дома статью для «Цини», Петерис Стучка коснулся ладонью кармана шубы. От беспрерывного нервного напряжения и бессонных ночей он стал совсем рассеянным.

Опережая и перекрывая друг друга, на Петроградской стороне начали торжественно вызванивать башенные часы. С Васильевского острова и из других районов столицы им отвечали и глухо гудевшие и тонко щебечущие далекие колокола. Но вскоре эти звуки проглотил стоголосый вой сирен, паровозных гудков и свистков фабрик, порта, железнодорожных ремонтных мастерских.

Семь... Семь часов. Начало смены на военных предприятиях. Петерис Стучка ускорил шаг.

Время бежит, неудержимо бежит...

Время уже давно опередило воспетую Гоголем русскую тройку, летящую навстречу будущему.

Но отставать от времени нельзя. И не только ради претворения российской буржуазной демократической революции (пока ее явными достижениями являются лишь свобода массовых собраний и митингов, изгнание царских держиморд и сорванные с ворот дворцов и фабрик символы свергнутой монархии — железные двуглавые орлы).

До утреннего заседания в Исполкоме надо зайти в четыре-пять мест. Встретить людей, поговорить. И убеждать трудноубедимых или даже неубедимых. Прежде чем пойти в Таврический дворец, надо добиться обещания адвокатов Исполкома, что они на заседании Совета проголосуют за кооптирование в состав Исполкома польского социал-демократа, юриста Мечислава Козловского. В Исполкоме заседают финны, эстонцы, латыши, но не представлена такая нация, как поляки.

«А поляки нужны! В противном случае у трудящихся возникнет превратное представление о Петроградском Исполкоме. И не только у таких, что демонстрируют на улицах, и не только здесь, в России...»

О поляках много говорят за границей, во Франции всячески поддерживают национальные устремления поляков.

Разумеется, в своих действиях он кое в чем будет и демагогичным. Но это для пользы дела. Ведь не без демагогии эсеры и меньшевики укрепились в Петроградском и других Советах. Пока революционные марксисты были заняты организацией масс, революционной работой на фабриках и в казармах, соглашатели пролезли на руководящие посты, как сверчки в сухие закутки. И разве принятое тогда большинством голосов реше-

ние о выборе одинакового количества делегатов как от крупных заводов, так и от полукустарных мастерских не было явной уловкой?

Этого не скрывали и сами забравшиеся в руководительские кресла меньшевики, трудовики и эсеры.

«Вы правы... Мы приняли такое решение, чтобы с крупных предприятий города не попало слишком много радикальных депутатов... — с циничной откровенностью признался пробравшийся в заместители председателя Исполкома Керенский. — Демократия, достопочтенный Петр Иванович, не шиповник, который расцветает сам по себе. Демократия — это деятельность масс, направляемая вождями народа».

Лидер трудовиков теперь одевался в наглухо застегнутый, спитый по французскому образцу офицерский френч и по-наполеоновски засовывал ладонь за его борт. «Вам, Петр Иванович, не следовало бы ломать голову над пропорциональностью количества делегатов от мелких и крупных предприятий. Толпа всегда остается толпой».

«Эта толпа, как вы изволите называть рабочих крупных промышленных предприятий, первой вышла на политическую забастовку, первой начала восстание, не испугалась уличных боев с полицией и свергла самодержавие».

«Спасибо ей за это! И все».

Петерис Стучка часто вспоминал этот разговор, состоявшийся в Малом зале Таврического дворца. И когда на повестке заседания Исполкома стояли предложения Керенского или других мелких буржуев, Стучка не скупился на реплики. Не пренебрегал и приемами адвокатов старой школы, если только это могло укрепить позиции рабочего класса.

Правда, и в большевистской фракции встречались товарищи, которым казалось, что Петр Иванович Стучка без надобности усложнял отношения с буржуазными и мелкобуржуазными политиками.

«Без надобности? Усложненных без надобности отношений с классовым врагом не бывает!»

Порою ему приходилось долго дискутировать с товарищами по самым основным вопросам теории марксизма. О марксистской диалектике. И при случае цитировать какое-нибудь произведение Маркса.

«Исполком... Исполком...» Петерис Стучка, шагая, пытался переложить незвучное слово на мотив популярной тюремной песни «Каменщик, каменщик...». Но из этого ничего не получалось. И совсем не время теперь было вот так напевать про себя!

Он чуть было не прошел мимо партийного Городского комитета, где его ждал товарищ от латышского стрелкового запасного полка, который привез деньги, пожертвованные стрелками в фонд ленинской газеты «Правда» и хотел до своего отъезда еще кое-что выяснить.

Городской комитет все еще помещался в чердачных комнатушках Петроградской биржи труда. Солдатский Совет Бронированного дивизиона обещал, правда, подыскать для своей партии более подходящее помещение. Он нацеливается на бывший дворец царской фаворитки Ксешинской. Шикарный двухэтажный особняк с фасадом на одну из самых красивых петроградских улиц — Каменноостровский проспект («Нашими пóтом и кровью Николай Кровавый построил ей этот дворец!»). Однако на этот особняк зарились и другие. И пока Бронированный дивизион не пустил в ход свои машины, пока разные комитеты спорили и боролись, столичным ленинцам приходилось, как бедным студентам, взбираться по винтовой лестнице, опираясь на расшатанные, скрипучие перила.

Делегат стрелков сильно заждался. Это был молодцеватый парень в хорошо сохранившейся шинели. Он болтал с машинисткой комитета Олечкой. Парень ей, казалось, нравился. Она часто обрывала треск своего ундервуда, упиралась локотками в стол и так смотрела на сидевшего против нее шутника, что казалось, вот-вот она сделает какое-то необыкновенно важное открытие. А всегда любезный с Олечкой представитель издательства «Правды» Иван Кононович топтался у стола газетной экспедиции и нервно покашливал.

«М-да,— добродушно усмехнулся Стучка,— Иван Кононович не выдерживает характер...»

— Поди сюда, поговорим,— пригласил он стрелка в соседнюю комнату. — Что хорошего говорят в ваших краях о Временном правительстве?

— Говорят, что со Временным правительством дело иметь — то же, что глину месить. Одну ногу вытащишь, так другая увязнет. Откровенно говоря, стрелки Временному правительству не доверяют. Какое же оно революционное, если призывает воевать, пока Дарданеллы и Константинополь не займем! Наши говорят, даже самый революционный министр Керенский кланялся и пожимал руку Михаилу, которого монархисты на престол выдвигают. Сказал: «Ваше высочество, вы благородный человек». Вот тебе и самый революционный министр!

И в Исполкоме Петроградского Совета добрячки сидят,— распалился стрелок. — От имени Совета всевозможные контактные комиссии сколачивают — хотят правительство буржуев и генералов с Советами сдружить. Советы будут, мол, охранять завоевания революции. Какие завоевания, если еще ни одно из требований революции не выполнено? Так я говорю, товарищ Стучка?

— Так-то... есть и соглашательство и попытка сдружить. Петроградскому Совету надо бы крепко держать в руках власть, переданную ему восставшим трудовым народом, а розовое большинство покорнейше делит ее с буржуазией. Новой алхи-

мией занимается... Почему мы это допускаем? Потому, что наших еще мало. Потому, что взгляды большевиков не стали еще взглядами большинства масс. Большинство надо еще завоевать...

Петерис Стучка говорил, а про себя думал о колебаниях Петроградского партийного комитета. О политической неустойчивости некоторых комитетчиков, флиртующих с меньшевиками и рассуждающих о возможном сотрудничестве с демократической мелкой буржуазией. Это будто допустимо для пользы революционной власти. Когда мелкобуржуазных социалистов теперь только угрозами можно склонить к демократической политике!

Первого марта Петроградский Совет решал вопрос о подчинении войск командирам и Советам, а субъекты из правого крыла этот исторический документ так долго кромсали и черкали, пока не выжали из него все живительные соки революции. Но фракция большевиков своевременно оповестила товарищей в гарнизоне, которые прибыли в Исполком. Они окружили секретаря Исполкома, редактировавшего текст приказа номер один, и, стуча прикладами винтовок, заставили включить требования революции. Только благодаря этому в приказе все же осталась самая важная статья, по которой воинские части во всех политических вопросах подчиняются Совету депутатов рабочих и солдат и своему комитету. Эта статья лишила офицеров неограниченной власти над солдатами. Установила одинаковые демократические права для всех чинов, дала солдатам гражданские права. После объявления приказа номер один господа на фронте начали прикидываться добрыми старшими товарищами солдат. Латышские поручики и капитаны сразу научились любезно улыбаться и называть подчиненных «друзьями».

Товарищ из дивизиии совершенно прав, Петроградский Совет лавирует. Но что в теперешней ситуации могут там поделать четверо-пятеро большевиков? Да еще когда они в некоторых вопросах не всегда единодушны...

— Чертовски сложное положение.— Стрелок бросил окурок махорочной самокрутки. — И в этой незадаче ясно только одно: надо злее нападать на соглашателей. Видимо, нам, стрелкам, следует поучиться у русских товарищей. В комитетах сибирских полков большевиков порою больше, чем в наших ротах.

— От сибиряков не отставайте. А наших товарищей, бывших политических, с которых революция сняла полосатую каторжную одежду, нагружайте так, чтоб у них кости трещали. Скоро их в Риге будет все больше и больше. В Москве уже работают Янис Ленцманис и прибывшие из иркутской тайги Шильф-Яунзем с Лацисом. Надо надеяться, что скоро среди нас окажутся и те, которых мы с нетерпением ждем из эмиграции. Розинь-Азис и другие.

Среди остальных, «которых мы с нетерпением ждем», был и друг Петериса Стучки — Янсон-Браун. Уже на другой день после Февральской революции от Янсона в Петроград прибыла телеграмма — он обещал в случае необходимости немедленно выехать из Англии домой. Стучка ответил: «Немедленно выезжай». Но Янис все-таки задержался. Английские власти в первую очередь сажают на суда меньшевиков, империалистических подхалимов.

А сейчас Янсон тут, в Петрограде, в Риге, в любой латвийской волости, нужен, как хлеб. Непревзойденный оратор, темпераментный, великолепный на трибуне, остроумный и непобедимый в словесной перепалке, неутомимый за письменным столом. Массовые собрания — стихия Янсона. «Больше смелости!» — было его лозунгом в дни революции пятого года. И он увлекал за собой тысячи людей.

Был бы Янсон тут!

«Но главное,— рассуждал Стучка, шагая к Таврическому дворцу,— самое главное — в России не хватает Ленина...»

На заседании Исполкома сегодня продолжат спор о продовольственном снабжении Петрограда. И что о н и скажут? А что о н и могут сказать? Что хлеба недостаточно и на фронте. И только. И ни слова об аферах. О спекулянтах, которые прячут продукты и продают хлеб за границу. Архангельская импортно-экспортная контора фирмы «Шмидт» только тем и живет, что фрахтует английские и французские суда для отправки русской пшеницы. Об этом пишут товарищи из северного порта. С началом речной навигации фирма собирается экспортировать из Вологды и Рыбинска еще тридцать пять — сорок миллионов пудов хлеба. Захотят ли господа вожди Исполкома пресечь спекуляцию? Свергнув монархию, они продолжают свято охранять частнособственнические права предпринимателей...

— Петр Иванович... Прошу на несколько слов,— остановил Стучку Николай Соколов. — Вопрос касается позиции нашей фракции в отношении Совета и Временного правительства. Только что у меня был разговор с представителем эсеров.

— С Керенским?

— Не это является решающим, Петр Иванович... — Соколов взял Стучку за лацкан пиджака. — Петр Иванович, мне кажется, что мы действуем вопреки линии партии. Полтора года назад в Женеве в «Социалдемократс» рассматривалась наша платформа. И там подчеркивалось, что участие социал-демократов во Временном правительстве вместе с демократической мелкой буржуазией — допустимо.

— Ну и что?

— Это решение не отменено.

— И поэтому Николай Дмитриевич считает, что теперь время проводить его в жизнь?

— А разве это было бы ошибочно?
— Было бы. Любое решение имеет силу, пока существуют породившие его условия. Как юристу, как юристу-диалектику, Николаю Дмитриевичу следовало бы это знать. Россия сегодня уже не та, что полтора года назад.
— Но, отмежевываясь от остальных фракций, мы окажемся в Исполкоме в изоляции.
— В изоляции от буржуазной и мелкобуржуазной коалиции. А не от пролетариата и солдат России.
— В аргументации Петра Ивановича есть привкус догматизма.
— А в вашей, Николай Дмитриевич,— схематизма, даже капитулянтства.
— Вот как?— попятился Соколов.— Капитулянтства? В таком случае... в таком случае нам... не о чем с вами разговаривать.
«Наверно, я сказал чересчур резко? — Стучка смотрел вслед удалявшемуся Соколову. — Однако то, что он рекомендует, для революционера неприемлемо. Должно быть, на него оказали сильное давление... А может быть, я сам ошибаюсь? Может быть, русскую революцию в самом деле движут и другие силы? Которых я не сумел разглядеть?.. Бывают минуты, когда мне кажется, будто у меня повязка на глазах, а я боюсь эту повязку сорвать...»
В Таврическом дворце у входа в зал заседания Стучку остановил член Петроградского комитета товарищ Рахья. Подал шершавый листок бумаги с несколькими строчками.
— Старый член партии Брош только что принесла пересланную из Швеции телеграмму Владимира Ильича. Созывается чрезвычайное заседание Петроградского комитета.
«Наша тактика: полное недоверие, — читал Стучка, — никакой поддержки новому правительству; Керенского особенно подозреваем; вооружение пролетариата — единственная гарантия; немедленные выборы в Петроградскую Думу, никакого сближения с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград.

Ульянов»

— Полное недоверие... Никакой поддержки... Это... чудесно! — рассмеялся он вслух.
Товарищ Рахья смотрел на него с удивлением.

* * *

— Петр Иванович, мы вас проводим!
— Как так — проводите?
Петерис Стучка на миг прислонился к порталу дворца Ксе-

шинской. У него до тошноты болит голова. В затылке, в правом виске, в глазницах. И еще у него давит под сердцем.

До заседания Петроградского комитета он сегодня говорил на двух митингах, набросал статью для газеты, а затем несколько часов подряд дискутировал, подавал реплики, отражал аргументы других. Партийный комитет только что обсудил «Апрельские тезисы» Ленина — как превратить российскую буржуазную революцию в пролетарскую. Обсуждение проходило в наэлектризованной атмосфере.

Товарищи ожесточенно спорили: положить ли план социалистической революции в основу программы большевиков, стратегии и тактики революционнных марксистов России, или же квалифицировать его как личный взгляд товарища Владимира Ульянова-Ленина?

«Утопия! — Программу Ленина не хотели принимать ни Каменев, ни Рыков. — Пока помещики еще владеют землей, нельзя говорить о том, что буржуазная революция кончилась и что наша задача — основать социалистическое государство по прообразу Парижской коммуны...»

«Нельзя отвергать буржуазное Временное правительство. Максимум, что большевики могут сделать,— это доверить Советам контроль над ним. Это ничего, что в Советах в большинстве немарксисты. Социалистическое солнце в России взойти не может. Для этого у нас нет ни сил, ни объективных условий...»

«Марксизм — не догма, а руководство к действию, — настойчиво защищали ленинские тезисы Свердлов, Калинин и Дзержинский. — А истерзанная войной, пережившая банкротство господствующих классов Россия уже не прежняя империя. Владимир Ильич совершенно прав, что именно в отсталой России может возникнуть самый прогрессивный в мире общественный строй. Рабочие и крестьяне России больше не хотят жить по-старому. Народы России устали от войны, устали от соглашательской политики мелкобуржуазных социалистов. Поэтому народ пойдет за революционной партией, которая обязуется вывести его из бедственного положения. Поэтому мы должны направлять буржуазно-демократическую революцию к социалистической. Поэтому наша программа — программа социалистической революции!»

Победила большевистская принципиальность... И на созываемой в ближайшее время Всероссийской партийной конференции петроградцы будут защищать взгляды Ленина как основу своей практической деятельности. Но сколько потребовалось нервов, энергии, чтобы добиться этого решения... Сколько их отняли споры о вопросах абсолютно элементарных для марксистов-диалектиков! Стучке трудно понять, как социалист может сомневаться в лозунге: «Да здравствует пролетарская революция!»

Конечно, сразу же после Февральской революции все дальнейшее казалось окутанным туманом. Так было. Но как только вечером третьего апреля вернувшийся в Россию Ленин на Финляндском вокзале обратился к солдатам, матросам и рабочим как к авангарду армии всемирного пролетариата и провозгласил лозунг: «Да здравствует социалистическая революция!», исчезли и сомнения и неведение. И казавшееся сложным, запутанным вдруг стало яснее ясного.

«Хоть унялась бы головная боль! Прошла бы тошнота... Надо еще подготовиться к завтрашнему собранию латышских большевиков Прометейского района. Латышские товарищи, правда, здоровый коллектив, большинство из них обрели идейную убежденность, самостоятельно изучая теорию, проверяя ее в ближнем классовом бою... Но все-таки... На Всероссийской партийной конференции ленинская программа должна быть единодушно принята всеми партийными организациями, всеми делегатами!..»

— Мы вас проводим, Петр Иванович...

— Как так — проводите? Кому это нужно?..— Он хотел отказаться, но тут же осекся. Дурень этакий! Ведь они идут с тобой ради себя же!

Людмила живет на Бассейной. Далеко. И разве Миша — он состоит в охране партийной квартиры — посмел бы побежать проводить ее?

Долговязый Миша неравнодушен к Людмиле. Насколько ему позволяет служба, он ходит за ней как тень. Когда солдатам привозят паек, Миша незаметно сует девушке в карман жакета свою краюшку хлеба из мякины и обрезки жженой свеклы, которую выдают вместо кофе.

Людмила не красотка — обычная русская девушка. Бойкий воробышек в башлыке, в сером, перешитом из поношенной солдатской шинели жакете. Но для Миши нет на свете девушки привлекательнее Людмилы.

— Если это вас не очень затруднит... — Петерис Стучка пытался исправить свой промах,— буду вам благодарен. В этом году апрель уж очень неприветливый. И люди нервны, легко раздражаются.

— Люди злы потому, что голодны,— говорит Миша.

— Вы правы,— согласился Стучка. — Голодный человек всегда раздражителен.

— Это пройдет после социалистической революции,— сказала Людмила. — Социалистическая революция отнимет у эксплуататоров средства производства, отдаст землю крестьянам, уничтожит в людях озлобление. Ленинская программа победит, не правда ли, Петр Иванович?

— Ленинская программа победит.

— Ленина поддержат все.

— В самом деле все?

— Большевики и наши организованные рабочие и солдаты.

Мелкие буржуа, всякие там анархистские элементы, конечно, будут против. Они уже теперь против. После того как Ильич разговаривал в Таврическом дворце с делегатами Советов, на другой день в митинговом центре розовых социалистов, в цирке Чинизелли, один из ораторов, такой круглый, с болезненно сморщенным лицом, обвинял ленинцев в предательстве революции. Сказал, что большевики с Лениным продали Россию немцам. И никто этого демагога не одернул. Кучка горлопанов перед цирковой ареной еще начала кричать, что нашу партию надо распустить, а большевистские комитеты разгромить.

— Вот видите,— Стучка снял шапку, подставляя ветру разгоряченную голову. — Вот видите. Четвертого апреля в России провозгласили лозунг социалистической революции, а уже на другое утро началась объединенная борьба буржуазии и меньшевистских социалистов не за победу революции, а против большевиков, которых они обзывают бунтарями. Не надейтесь, друзья, что дальше будет легко. Не думайте, что достаточно знать конечную цель движения, чтобы сразу зашагать вперед, как по гладкому шоссе.

— Петр Иванович, мы этого не говорим. Мы будем как Владимир Ильич.

— Где нам, рядовым людям, с Ильичем равняться! Нам не хватает остроты восприятия Ильича, его математически точной логики, гибкой диалектики, способности предвидения. Бывает, что нам трудно уследить за полетом мысли Ильича. Иногда правильность ленинской мысли обнаруживается только спустя много времени...

По Троицкому мосту им навстречу двигалась группа людей в полувоенной одежде. Они нестройно пели и шли пошатываясь, точно по зыбкой корабельной палубе, жестикулировали. Под чугунным фонарным столбом с единственной горящей лампочкой они остановились. Один из них пронзительно свистнул, в фонарь полетел какой-то темный предмет, и мост потонул во мраке. И берег Невы по обе стороны въезда на мост тоже. Только в редких домах виднелись желтоватые огоньки, как глаза встревоженных кошек.

— Анархистские хулиганы! — сердилась Людмила.

— А завтра или послезавтра это хулиганство припишут большевикам. — Стучка повлек своих спутников на середину моста.

— При социализме уже ничего такого не будет,— рассуждал Миша. — Не будет!

— Вам кажется, что стоит только объявить социализм — и все сразу станет хорошо? Друзья дорогие! После разгрома буржуазной власти еще предстоит продолжительная борьба за нового, по-настоящему гуманного человека, за коммунистическую мораль. У нас у всех впереди еще невообразимо трудная революционная борьба с нашей личной неискренностью, распущенностью, буржуазным эгоизмом. Против всего старого, остав-

ленного проклятым капитализмом в наследство рабочим и крестьянам.

— Вы, Петр Иванович, счастливый человек. Вы часто видитесь с Ильичем, разговариваете с ним.

— Не так часто, как хотелось бы. Как мне хотелось бы...

Дома Дора, как обычно, встретила его целой кучей накопившихся за день новостей.

— В комнате рядом я уложила на диван делегата фронтовиков,— рассказывала она шепотом.— В созданный агитационный комитет Совета депутатов стрелковых полков — Исколастрела — кооптирован комитет партийной организации стрелковых полков в полном составе. Наши, пользуясь создавшимся положением, свободно являются в роты стрелков, агитируют за Ленина. Товарищи хотят добиться перевыборов в националистически настроенные Советы солдатских депутатов. Еще в конце марта. Исколастрел, говорят ребята, уже не удовлетворяет взглядам стрелковых масс.

— Не удовлетворяет? Это звучит вполне приятно.

— Это да. Но... — Дора запнулась. — Из Англии получена весть... В Северном море... немецкая подводная лодка потопила транспортное судно, на котором возвращались домой русские эмигранты. И наш Янсон...

— Дорочка!..

Он смотрел на жену широко раскрытыми глазами. А она удалялась от него, словно растворяясь в колышущемся тумане.

* * *

Поезд остановился. Увлекшись за время поездки спорами, пассажиры, уже двигаясь к выходу, все еще продолжали агитировать каждый за свою партию, как вдруг их заставили замолчать многоголосые выкрики. И, едва выбравшись из вагонов, пассажиры вместе с остальными устремились туда, где пыхтел только что подошедший паровоз.

— Что такое? Что происходит?..

Толпа уносила с собой и медлительного Стучку. Люди еще находились во власти столь характерного для русской Февральской революции психоза толпы. Если что-то происходит, то непременно надо там быть. Если люди бегут куда-то, то надо бежать за ними. Неважно, из-за чего подняли шум — опознан ли жандарм или легавый из охранки или же это обычный анархистский дебош.

— Что такое? Что происходит?..

— Керенский! Министр Керенский!.. Целуется с машинистом паровоза!

— Керенский целуется?

— Целуется,— ответил Стучке один из любопытных, который, приподнявшись на носки, старался во что бы то ни стало

все увидеть через головы других. Такому наплевать, толкает он при этом соседа или нет. — Министр благодарит машиниста паровоза за хорошую службу, целует его по-настоящему, по-русски.

— Вам все это так хорошо видно?

— Видно. Там какое-то возвышение, багажная тележка или большой ящик. Они оба на этом возвышении. Все в восторге.

— Как в балагане... — Петерис, проталкиваясь локтями, пытался выбраться из толпы. Этого еще не хватало — восхищаться трюками эсеровских комедиантов! Любоваться этим павлином с попугаевой глоткой, этим жокеем, готовым в любую минуту пересесть на спину какой угодно лошади, только бы сорвать аплодисменты зрителей! Когда помещичий лидер в Государственной думе Родзянко, комбинируя при составлении нового правительства, пригласил в министры меньшевика Чхеидзе, то розовый социалист отказался, а господин Александр Федорович, вопреки запрету Петроградского Исполкома, по первому же зову кинулся в министерское кресло. Едва получив от Родзянко полномочия, он помчался на заседание Петроградского Исполкома, где поклялся в верности Совету депутатов. Закончив свою экзальтированную речь, он кинулся к купцам, к банковским и биржевым воротилам и заверил их в том же. Затем — к мелким торговцам и мелким буржуа. Рассказывают, будто на одном собрании в цирке Керенский без передышки проорал более четырех часов. Пока не упал в обморок и его, как лишившуюся чувств барышню, не окатили водой.

А теперь «его социалистическое превосходительство» примчался в Москву. Театральное лобызание с машинистом посреди станционного перрона — это, видимо, первый номер новой программы, а за ним, возможно еще сегодня, последуют другие, которыми тоже побегут восхищаться толпы любопытных.

Два месяца, прошедших после свержения самодержавия в России, чересчур короткий срок, чтобы людям успеть понять истинную сущность громогласных речей бесчисленных ораторов.

Красноречивые демагоги приводили в смущение и прибывших с фронта солдат и офицеров.

Титаническая сила потребуется революционным марксистам России, чтобы миллионы сделать общественно активными, научить самостоятельно оценивать факты, отличать часть от целого, большое от малого.

Ленин убежден, что большевики сумеют все. Вера Ленина в трудящихся, в их общественный рост ни с чем не сравнима.

Стучка с Лениным встречались часто. Когда Ильич вернулся из эмиграции, Петерис на столь частые встречи не надеялся. Ведь Ильич один на всю российскую и всемирную революцию и занят многими ее повседневными проблемами. Нельзя же отрывать его от них ради боевых будней маленького латыш-

ского народа. И Стучка старался не беспокоить Ленина. Но Ильич сам стремился к беседам с товарищем Параграфом. На одном из совещаний петроградских большевиков Ильич прислал Стучке записку с просьбой задержаться после заседания. И только товарищи поднялись со стульев, как он подошел к Стучке.

«Какой книжной новинкой товарищ Параграф осчастливит меня сегодня?» Добродушно улыбаясь, Ленин напомнил, что до революции им частенько приходилось говорить о вновь вышедших книгах на немецком или другом языке. В девятьсот шестом году они обсуждали только что опубликованную вторую часть «Теории добавочной стоимости» Маркса, в седьмом году, в Финляндии,— новую брошюру австрийского социалиста Адлера, несколькими годами позже — новое полное собрание сочинений Гейне.

«Там, откуда Владимир Ильич приехал, книжные новинки доступнее, чем в только что освобожденной от царя России»,— ответил Стучка.

«Но у Петра Ивановича и во времена Романовых была надежная связь с Западной Европой». (Напоминание о том, что Стучка в Архангельске организовал прочные нелегальные связи с заграницей.) И, усевшись рядом с Петерисом, Ильич принялся расспрашивать о положении в социал-демократии Латышского края. В полках латышских стрелков, в Прометейском латышском районе Петрограда, в беженских обществах, в рабочих коллективах эвакуированных рабочих. О том, какие сведения получены из пострадавших от войны округов Латвии.

В общих чертах Ленину ситуация была ясна. Но он хотел знать все конкретно, в деталях, в подробностях. Многое Стучке было еще не известно, и Ильич попросил, как только он узнает что-нибудь новое, информировать его. Спустя несколько дней Ленин опять поинтересовался положением в Латвии.

Ильича заботила Тринадцатая конференция социал-демократии Латышского края. Стало быть, делегаты рассеянных по России партийных групп и представители с неоккупированной территории Латвии будут обсуждать те же вопросы, что следовало бы решить очередному съезду, если бы у разгромленной во время военных событий латышской организации была возможность созвать его?.. Стало быть, конференция будет обсуждать вопрос о российской революции, об отношении к Временному правительству? И окончательно решит об организационном слиянии социал-демократии Латышского края с большевиками России? Хорошо, очень хорошо! Но ему довелось слышать, что руководимую в Москве товарищем Данишевским газету «Социалдемократс» обвиняют в односторонности. Газета стрижет под одну гребенку и самых опасных врагов пролетариата и левых латышских меньшевиков. Как же обстоит на самом деле? Не исключено, что в конкретной ситуации честные

меньшевики способны и отказаться от прежних ошибочных взглядов. Наверное, Петр Иванович слышал о телеграмме Мартова своим? О его призыве не доверяться Временному правительству?..

Петерису Стучке пришлось много рассказывать и о наиболее активных латышских меньшевиках и о том, как терроризируют левых меньшевиков и интернационалистов. Охарактеризовать московскую группу Бастьяна и Куршевица, петроградцев из «Страдниеку авизес»[1]. Показать, как эти людишки стремятся сдружить латышских рабочих с буржуазией на чисто националистической платформе, призывая защищать революцию лишь постольку, поскольку она будет разрешать национальный вопрос народностей России. А редактируемая товарищем Данишевским газета призывает всех рассеянных по России латышских социалистов остаться интернационалистами, призывает их сотрудничать в местных организациях социал-демократии России.

«Сохраняя латышские секции и группы, где таковые действуют?» — переспросил Ленин.

«Сохраняя секции и группы».

«Стало быть — это принципиальная установка. Окончательное объединение латышских марксистов с русскими большевиками возможно только на принципиальной базе. Нельзя объединяться с теми, кто призывает к поддержке буржуазии, которая хочет продолжать империалистическую войну до победы».

Первое мая 1917 года Россия праздновала вместе с пролетариатом всего мира,— по старому календарю день этот выпадал на 18 апреля.

Незадолго до отъезда в Москву, во время первомайской демонстрации, у Ленина со Стучкой произошел еще один разговор. Короткий, но очень деловой. В случае, если бы латышская конференция затянулась, товарищу Параграфу двадцать второго апреля все равно надо вернуться в Петроград. Разумеется, было бы очень хорошо, если бы наиболее важные вопросы российской революции латышские товарищи решили до его отъезда из Москвы.

Потом еще: какого мнения Петр Иванович о левых уклонах в латышской организации? Давали ли себя чувствовать такие?

«Владимир Ильич, латышские революционеры изрядно закалены в огне марксистской диалектики. Но — возможны и неожиданности».

«Возможны неожиданности...» О возможной неожиданности Стучка думал и в поезде и теперь, трясясь в грохочущем, набитом до отказа трамвайном вагоне, где пассажиры так же несдержанно спорили, как в Петрограде. Еще щеголяя, после

---

[1] «Рабочая газета».

недавно отпразднованного Первомая, красными бантами на груди, люди, перебивая друг друга и пересыпая речь модными теперь жаргонными словечками, старались переубедить своих соседей в особой революционности их партии. Хоть и сами они, казалось, толком не разбирались, чем именно отличается политическая платформа народных социалистов или национал-демократов от платформы социалистов-революционеров и либералов разных толков. Лишь в нападках на большевиков эти агитаторы единодушно клеймили их лжереволюционерами, иностранными агентами, провокаторами.

Большевиков среди пассажиров было совсем мало, и то, что они говорили, никого не убеждало. «Неправда!.. Не городите чепухи!» — ведь это не аргументы.

Когда трамвай загрохотал по Покровке, Петерис Стучка сказал девушке в полушубке, отчаяннее других дававшей отпор сторонникам мелкобуржуазных политиканов,— пускай она прямо спросит этих хулителей большевиков: «Отвечайте — вы и ваша партия за мир, за хлеб и землю крестьянам?» Что из этого получилось, ему уже не удалось расслышать. Было пора выходить. Он уже подъезжал к редакции «Социалдемократса».

Московские дома, дощатые заборы между зданиями и ворота на массивных столбах уж очень обшарпаны. Неухоженные, не крашенные за все военные годы фасады облупились и все в рыжих потеках. После свержения самодержавия стены домов и заборы пестрели афишами, сообщавшими о митингах, народных собраниях, вечерах, лозунгами политических партий, извещениями всяких учреждений и комитетов, призывами приобретать облигации выпущенного Временным правительством «Займа свободы» и плакатами большевиков, призывавшими бойкотировать его (как одно из средств продолжения войны). Там же были афиши кино. На ветру развевались транспаранты вчерашних митингов: «Да здравствует Первое мая!», «Да здравствует восьмичасовой рабочий день!», «Да здравствует мир и братство народов!»

Среди многих объявлений Петерис Стучка увидел некоторые и на латышском языке. Призыв участвовать в демонстрации международной солидарности трудящихся («Выступит товарищ Юлий Данишевский»), плакат вечера, посвященного Эдуарду Вейденбауму («Второй день Пасхи... Участвуют Ад. Кактынь, Бирута Скуениеце, А. Биркерт... Входные билеты от 4.75 до 1.00 руб.»). И афиши Московского латышского театра. Драма Аспазии «Серебристая вуаль». В Москве это, очевидно, вторичный триумф пьесы, ярко выражающей революционно-романтический пафос поэтессы. Пьесой восторгаются почти как в пятом году (хотя в Москве в латышском театре не может быть столько зрителей, как в пору первой русской народной революции в Риге).

Да, было бы неверно отрицать это: «Серебристая вуаль» —

самая социальная из всех пьес Аспазии. Это поэзия, символика образов которой с неотразимой убедительностью показывает наэлектризованную атмосферу эпохи, стремление масс покончить со всяким насилием, губящим человеческую жизнь. Этой драмой, ее романтическим порывом, Аспазия больше всего приблизилась к сущности освободительной борьбы народа. Поэтому зрители воспринимали пьесу и как художественно-образное толкование действительности и как призыв сбросить оковы насилия.

Роберт Пельше, один из старейших латышских социал-демократов, всегда с поэтическим восторгом говорил о спектакле «Серебристой вуали» в пятом году: «Подумать только, как Аспазия увлекает массы! Каким пророком революции в восприятии масс становится Гуна Аспазии!..» И если только есть слушатели, Роберт читает наизусть из «Серебристой вуали»: «Идемте, вырвавшиеся духи силы, прикованные к стенам узкого бытия, вы скинули оковы вековые!.. Вели мой прах на все четыре стороны развеять! Падет, как семя, он на землю, чтоб новыми ростками возродиться,— они, взяв меч, пойдут за правду в поход крестовый!..»

Кто знает, быть может, товарищ Роберт воспылал любовью к театру именно тогда, когда посмотрел эту символическую пьесу Аспазии. Случай, отдельное событие ведь и является началом закономерности. К тому же товарищ Каркл (это одна из кличек Пельше) скорее человек чувств, чем холодной логики. Он ловкий конспиратор, трибун, энергичный и бескорыстный руководитель подполья, но — человек импульсивный. Наверное, теперь, на первом легальном собрании латышских социал-демократов, где Роберт будет докладывать о необходимости создания Третьего Интернационала, речь его будет поэтичной.

Да, начало конференции назначено на двенадцать тридцать. Надо поторапливаться.

* * *

Для заседаний конференции московские товарищи добились помещения в аудиториях Политехнического института, по соседству с собранием московской русской организации. А в другом конце коридора, в другой аудитории, готовился к своему Всероссийскому совещанию еврейский «Бунд».

Латышские делегаты, уже успевшие зарегистрироваться, находились в коридоре, где внимательно присматривались к каждому входившему с улицы. Не появится ли еще кто-нибудь из бывших товарищей по несчастью? По царской тюрьме, по каторге или ссылке. Друг, который в вонючей этапной камере тебе, изнуренному арестанту, тайно сунул в руку каким-то чудом уцелевшую золотую монету или в минуту внезапной встречи сыпанул тебе в ладонь щепотку махорки. Товарищ,

с которым вы вместе, с сжимавшимися от страха сердцами, бежали под свист пуль стражников и казаков. Товарищ, который и ранними утрами и поздними вечерами, ободряя тебя, стучал в стенку твоей одиночной камеры. Поди знай, быть может, сейчас войдет тот, с которым ты до устали дискутировал о статьях Маркса и Ленина, эволюционизме Дарвина, о чудесах энергии радия, о пьесах Горького и рассказах Джека Лондона, товарищ, с которым в общей камере губернской тюрьмы ты тихонько пел песни сибирских каторжан и революционных народников. И анархистский гимн черного знамени. И все снова и снова напевал более других хватавшую за душу песню:

Их много, без счета, судьбою забытых,
По тюрьмам зарытых,
На полях убитых,
Их много, правдой служивших Тебе
И павших в неравной геройской борьбе.

Встретившиеся знакомые радостно кидались друг к другу. Обнимались, хлопали друг друга по плечам, по спине и называли какой-нибудь смешной кличкой, данной где-нибудь в Баку, Тбилиси, Омске или Иркутске.

— Ты... это ты!.. На каком краю света тебя революция застала? А ну-ка, покажись! Ну как твои больные легкие, раны, глаза?.. А что с нашим другом Н.?..

Когда в коридоре появился представитель петроградских большевиков на Московской конференции — сухощавый Феликс Дзержинский в солдатской шинели внакидку, его тут же обступили товарищи по заключению в Бутырской тюрьме. Запели польский революционный гимн «Красное знамя».

К Петерису Стучке никто не кинулся. Не потому, что он не сидел в тюрьме или не был в ссылке вместе со многими делегатами этой конференции. Он, Петерис Стучка, не пришел сюда прямо из заключения. Да и такого почтенного, седовласого человека те, что помоложе, не осмеливались по-мальчишески трепать по плечу. К тому же Стучка и трое членов Центрального комитета — Юлий Данишевский, Ленцманис и Крастынь[1], с которыми он одновременно вошел в коридор института,— казались уж очень озабоченными.

— Здравствуйте, товарищи!.. Здравствуйте... — Они поздоровались за руку со стоявшими поблизости и сразу же исчезли в маленькой аудитории, где собирались члены Центрального комитета.

«Кажется, что-то не так...» — рассуждали некоторые из делегатов и снова оглядывали собравшихся.

Среди секций и групп тридцати трех городов России есть

---

[1] Крастынь Карлис (Виктор) (1892—1932) — журналист, член партии с 1910 г. С 1917 г. — член ЦК СДЛ, в 1919 г. — главный редактор газеты «Циня». С 1920 г. по 1931 г. — заведующий секретариатом Латсекции Коминтерна.

и такие, с которыми у Центрального комитета до последней минуты не было связей и о существовании которых как в Петрограде, так и в Москве мало знали. Некоторые делегаты откликнулись только в самый канун конференции, хотя «Социалдемократс» несколько недель подряд призывал рассеянных по России латышских товарищей своевременно подготовиться к первой партийной сходке. Предлагал обсудить повестку дня, разработать предложения. Несмотря на все это, группы и секции многих городов так и не ответили. Почему? Из-за инертности, небрежности или внутренних разногласий? Кто знает?..

Вот в Петрограде, в цитадели революционного движения России, наряду с Латышской большевистской партийной организацией возникла другая группа — адепты искаженного социализма. У них есть газета, которую они назвали «Страдниеку авизес». И вот люди из этой «Страдниеку авизес» тоже выдвинули на конференцию своих делегатов. «Идеи социализма не могут иметь ничего общего с крайним радикализмом,— писали они. — Маркс учит, что социализм может утвердиться только в высокоразвитых капиталистических странах. Стало быть — в условиях западноевропейской цивилизации, а не в полуазиатской, лапотной и самоварной империи...»

Да, верно, петроградская национал-шовинистическая группа причинила членам Центрального комитета партии немало хлопот. Что делать с делегатами «Страдниеку авизес»? Сразу же отклонить их мандаты или развернуть дискуссию, дав и им трибуну? Если оппортунистам дать слово, они могут стать помехой для всей работы конференции. Нельзя также знать, какую точку зрения займут и представители разных мелких групп. Всего явилось шестьдесят делегатов с правом решающего голоса.

— Многих из них мы по партийной работе не знаем...

— Первым делом мы должны добиться для собрания права называться конференцией социал-демократии Латвии,— сказал Юлий Данишевский. Вопреки своей обычной сдержанности, он казался сейчас очень раздражительным. Нервозно шарил по карманам, посматривал на часы, ворошил свою еще темную шевелюру.— Редакция «Социалдемократса» получила очень много писем. Товарищи рекомендуют наше первое легальное собрание назвать не конференцией социал-демократии Латвии, а конференцией латышских групп, проживающих в России. Авторам писем трудно что-нибудь возразить. Организации Латвии представлены лишь несколькими делегатами.

— Прежде чем начинать конференцию,— ответил Данишевскому знаменитый своей выдержкой молоденький Виктор (его настоящая фамилия — Крастынь),— ЦК следовало бы проанализировать присланные группами и делегациями предложения. По значительности вопросов. Какие из них достойны внимания и какого.

— Это похоже на предложение затянуть конференцию,— возразил Круминь.

— Порою затягивание идет на пользу делу.

— Сомневаюсь, так ли это на сей раз,— вмешался Стучка.— Конференцию в интересах партии целесообразнее всего начинать с проверки.

— С проверки?

— С проверки деятельности прежнего руководства. Для партии, которая хочет стать самой большой и сильной, это жизненно необходимо. Чтобы пойти с поднятой головой навстречу неизбежному решающему столкновению между капиталом и трудом, я должен знать, кто находится налево от меня и кто направо. И кто идет по прокладываемой мною тропе. И как идет? Решительно, стремясь через мое плечо увидеть будущее, или же не спуская глаз с моих пяток?

Сейчас, когда партия из подполья, из нелегального положения, выходит на легальное, организационная работа должна опираться на другие, новые основы, чтобы обеспечить себе неделимую поддержку трудового народа. Будущее партии находится в руках членов организации. Поэтому предложим делегатам высказаться, прежде чем будут прочитаны подготовленные доклады. Тогда станет видно, как рассеянные по просторам России группы и организации оценивают создавшееся политическое положение, как на местах поняли альтернативу войны и мира. И что думают товарищи о разрешении аграрного и национального вопроса.

— Обсуждать какой-то национальный вопрос излишне,— бросил реплику только что ввалившийся петроградский делегат Сална.— Какой может быть национальный вопрос у большевиков-интернационалистов?

Петерис Стучка должен был взять себя в руки, чтобы не высказать своего недовольства.

«Какой... может быть? Как лихо, несдержанно, категорично... Точно анархистские экспроприаторы в пятом году. Как Теодор Стапран в Дигнайской волости, который самовольно экспроприировал лавки, монопольки и наконец запретил крестьянам ездить в город на рынок».

— Значит, у марксистов не может быть национального вопроса?— переспросил Стучка.— Видимо, читая марксистских классиков, я сильно заблуждался. Или же, по старости, не успеваю за временем.

— Да, кто помоложе, тот и охотнее пляшет. А тому, кто охотнее пляшет, охотнее играют...— вставил Ленцманис с деланной серьезностью.

Товарищи, поняв его остроту, оживленно задвигались.

— Для плясок свое время и место!— Данишевский взял руководство совещанием в свои руки.— Не будем затягивать со-

брание. Коротко говоря: условимся о том, что ЦК рекомендует провести конференцию социал-демократии Латвии,— и ничего другого. Открыть ее попросим товарища Стучку. Добавив: мы согласны с его предложением — начать работу с сообщений делегаций, с декларации точек зрения местных организаций по наиболее важным вопросам текущего момента. А какие вопросы в настоящее время наиболее существенны, пускай товарищ Параграф объявит в своей речи, которой откроет конференцию. Он заложил первые основы для здания партии латвийского пролетариата, ему знакомы и светлые и мрачные дни организации. Он чаще, чем кто-либо из нас, встречался с Лениным.

— Так... пошли к делегатам. — Стучке хотелось еще что-то сказать, но он только бросил взгляд на свой старомодный карманный «мозер» и промолвил: — Одиннадцать пятнадцать...

Предстоящее испытание Петерис переживал почти с таким же волнением, как в молодости, когда с зачетной книжкой в запотевших пальцах подходил к дверям профессорского кабинета. Сейчас обнаружится, насколько плодотворны были усилия латышских марксистов привить людям революционные идеи и диалектику титанов мысли Маркса, Энгельса и Ленина.

С той минуты, когда в России от Балтийского до Черного и Каспийского морей забушевала война, когда на бессмысленную бойню были брошены миллионы человеческих жизней, отдельные латышские партийные организации действовали преимущественно на свой страх и риск. И классовое, стойкое идейное сознание товарищей главным образом формировалось под влиянием статей товарищей Пакална (Данишевского), Розиня-Азиса, Берзиня-Зиемелиса [1], Параграфа, Пилата [2] и других. Их было не очень много, а умы молодых борцов неустанно смущали искатели революционной теории, литературы и устная агитация всевозможных национал-шовинистов. Теперь самая пора, прежде чем суд истории вынесет свой приговор, решить, имеет ли трудовой народ России право первым вырваться из неволи и распахнуть двери для социализма.

Делегаты разместились по всей аудитории и крупными и мелкими группами. Представители соседних городов и округов

---

[1] Берзинь Янис (Зиемелис) (1881—1938) — член партии с 1902 г., представитель СДЛК на Международной конференции социалистов в Циммервальде. В 1917 г. избран членом ЦК РСДРП, на Втором Всесоюзном съезде Советов — членом ВЦИКа. В 1918 г. — полпред РСФСР в Швейцарии. В 1919 г. — комиссар просвещения Советской Латвии, затем на дипломатической работе и в Центральном архивном управлении СССР.

[2] Круминь Янис (Пилат) (1894—1938) — член партии с 1912 г. Журналист. С 1914 г. член ЦК СДЛК. В буржуазной Латвии секретарь ЦК нелегальной КПЛ. С 1932 по 1936 г. секретарь Заграничного бюро ЦК КПЛ в Москве.

или же одинаково социально-патриотически настроенные делегаты держались вместе. Вместе расселись представители петроградской «Страдниеку авизес» с обоими сибирскими делегатами — меньшевиками-интернационалистами Клавом Лоренцем и Валдемаром Цауне — и московские меньшевики.

— Петерис, эта хорошенькая женщина у окна с таким обожанием смотрит на тебя, что во мне просыпается ревность,— сказал Ленцманис.

— На этом собрании товарищем Параграфом восхищается большинство присутствующих,— отозвался Роберт Пельше, шедший сразу за ними. — Впервые встретились лицом к лицу с идеологом, труды которого они изучали еще подростками.

Стучка оглянулся, но ничего не сказал. Эти разговоры казались теперь неуместными.

— Товарищи, прежде чем утвердить повестку этого собрания, надо условиться о его правах и названии,— кончил он свою краткую вступительную речь. И уперся кулаками в стол президиума.

«Представители действующих в тридцати трех городах групп латышских марксистов... Из Средней России, Петрограда, Москвы, Сибири, Ташкента, Гельсингфорса, Ростова, Одессы...» — мысленно перечислял Стучка. Он с большим вниманием смотрел на напряженно слушавших делегатов: у большинства из них еще не отросли остриженные в тюрьмах волосы, штатское и полувоенное платье висело на них мешком.

«Насколько диалектично, творчески вы, товарищи, будете в состоянии судить о необходимости продолжения революции?»

За стеной, в коридоре, как и недавно, раздавался топот тяжелых солдатских сапог, слышалась радостная перекличка на русском, на еврейском языках. За окнами со стороны улицы звонкий апрельский ветер трепал отставший край красного холщевого транспаранта, временами ударяя по стене, по мутному оконному стеклу оторваннным древком, словно напоминая собравшимся в аудитории: «Решайте скорее! Время не ждет!..»

Дебаты были так же резки, как бушующий на дворе ветер. «За!» — «Против!» — «За!» Предложение Центрального комитета получило подавляющее большинство голосов.

Теперь надо было решить вопрос о петроградских делегатах. ЦК предложил: признать только мандаты представителей столичного латышского Прометейского района большевиков.

Опять горячие дебаты. Несколько соглашателей патетично требуют не запятнать святыню демократии. Не запятнать уже завоеванных демократических свобод, обмытых народной кровью. («Не забывайте — в Петрограде в борьбе с царизмом пало три тысячи пролетариев, пролетариев разных взглядов!») Но опять победила большевистская принципиальность. Меньшевистские социал-демократы изгнаны с конференции.

Избрали руководство конференции, утвердили порядок работы. И вот наступило время решающего испытания. Петерис Стучка отодвинулся от двух других руководителей собрания — Ленцманиса и Данишевского, положил перед собой маленькую, пухлую записную книжку в коленкоровом переплете и, словно проверяя рекомендованную москвичом Виктором систематизацию, записал на нескольких страницах:

«Отношения с Временным правительством.
Объединение с ленинцами России.
Продолжение революции.
Сепаратный мир, братание на фронте.
Созыв учредительного собрания.
Аграрный вопрос.
Третий Интернационал».

Да, Лоренц и Цауне усердствовали, соглашательски расшаркиваясь перед буржуазией. («Буржуазную революцию в целом надо еще довести до конца, тогда видно будет...») А в общем? И сравнительно молодые по возрасту товарищи и те, что представляли отдаленные секции и организации, говорили в один голос с товарищами Данишевским, Пельше, Пилатом, Зандрейтером [1], Кноринем [2], Дауге, Ленцманисом. Хотя в их формулировках кое-что и оставалось неясным, они, в сущности, говорили верно. «Надо развеять иллюзии, будто у разных классов нации возможна еще какая-то общность интересов!..» — «Раздел помещичьих земель в Прибалтике допустить нельзя. Это ослабило бы производительные силы и поддержало мелкобуржуазные собственнические инстинкты...» — «В новом, Третьем Интернационале рабочих социал-националистам разных направлений не место...»

Когда на стол президиума положили записку от нескольких делегатов с предложением сейчас же отправить приветственную телеграмму Ленину, как истинному вождю революционной борьбы, и Карлу Либкнехту, как руководителю пролетариата Германии, Ленцманис, передавая ее Стучке, тихо спросил:

— Петерис, ты не простудился? Уж очень усердно ты сморкаешься.

— Должно быть, простудился,— сказал Стучка.

---

[1] Зандрейтер Эдуард (Карп) (1885—1938) — один из основателей социал-демократии Латвии, член Центрального комитета. Участник Октябрьского вооруженного восстания в Москве. В 1919 г.— комиссар строительных и общественных работ в Советской Латвии. С 1919 по 1931 г. на нелегальной партийной работе в буржуазной Латвии.

[2] Кноринь Вилис (1890—1939) — публицист и историк, член Коммунистической партии с 1910 г. В 1917 г. член Военно-революционного комитета Западного военного округа и Западного фронта, в 1919 г. член Совета комиссаров Литвы и Белоруссии. На IV съезде Коминтерна избран членом Исполкома.

* * *

Все время, пока в полках стрелков готовились ко Второму съезду объединенного Совета, и даже еще утром одиннадцатого мая, считали, что «Большой сейм» соберется в помещении Второго рижского, бывшего русского, театра. Но это здание на Пушкинском бульваре вдруг занял Искосол Двенадцатой армии для предстоявших мероприятий Временного правительства и французской миссии, а делегаты латышских полков вынуждены были перебраться во Временный театр — неказистую постройку на берегу канала, сразу же за зданием Русской драмы.

Временный театр, бывший сарай нового цирка, к которому в девятьсот восьмом году пристроили деревянный портал — шесть колонн в классическом греческом стиле,— уже обветшал и был обречен на снос. Но так как для нескольких сотен делегатов съезда стрелков и многих гостей другого подходящего помещения в Риге не нашли, пришлось довольствоваться обшарпанной, наспех прибранной аварийной постройкой.

Утром двенадцатого мая между колоннами Временного театра повесили два длинных красных флага, над входом прибили плакат, у главных дверей поставили березки с едва распустившимися листиками. Дорожки вокруг здания посыпали чистым красно-желтым песком. Прибыли полковые музыканты, трубившие в начищенные медные трубы бравурные марши и стрелковые песни.

Съезд делегатов латышских стрелковых полков был событием торжественным.

Торжественным — и вместе с тем полным волнения.

Однако у прежнего Исколастрела и командования Двенадцатой армии с ее Искосолом теперь уже не было никаких иллюзий насчет того, что вновь избранные делегаты Совета стрелков станут на сторону Временного правительства. И не только потому, что в конце шестнадцатого года на Рижском фронте, на Тирельском болоте, в бессмысленных рождественских боях погибли две трети латышских солдат, что, естественно, вызвало озлобление против верховного командования.

Стрелки не доверяли Временному правительству потому, что оно обманывало народ. Перенявшее только что власть, новое, улучшенное мелкобуржуазными социалистами, Временное правительство России продолжало старую захватническую политику царизма, гнало солдат на бойню «до окончательной победы». Стрелки были решительно против этого.

Даже те, которые были ленинцами.

В марте руководство старого Исколастрела совершило ошибку. Когда возникла необходимость создать агитационные бригады Исколастрела, от чего отмахивались националистические партии, Исполком кооптировал в эти бригады большевистские

комитеты. Митингуя в воинских частях, агитаторы-ленинцы за месяц научили малообразованных ребят политически остро видеть и судить. И теперь эти ребята смеялись в глаза каждому, кто называл Временное правительство революционным.

Вновь избранные накануне съезда на собраниях полков, батальонов и военных учреждений делегаты получили недопустимое с точки зрения поддержания общего порядка указание: «Защищать только трудовую демократию! Первое Временное правительство хотело использовать русскую революцию в интересах капиталистов и помещиков, а сменившее его коалиционное правительство делает то же самое. Поэтому создание нового правительства еще не есть, как пытаются уверить, конец борьбы рабочих и солдат. Те, кто от имени стрелков утверждает, что латышские парни готовы умереть за теперешнюю Россию, говорят вздор. Стрелки не пойдут на смерть за власть угнетателей трудящихся!»

Из-за всего этого пришлось немало поволноваться полковникам и капитанам Исполкома (Исколастрела) объединенных стрелковых полков (Зауру, Биркенштейну, Гоперу), меньшевистско-эсеровскому Искосолу Двенадцатой армии и пригнанным в Ригу эмиссарам «социалистического министра» Керенского, а также представителям военной миссии союзников. И уж непременно — предводителям патриотических национал-демократов, крестьянских и других союзов. Поэтому реакционные политики накануне съезда не переставали трубить тревогу:

«Все силы на возрождение патриотизма делегатов латышских стрелков!..»

О том, что «черные» поклялись на съезде «сбить большевиков с ног», Петерису Стучке стало известно еще в Петрограде. Еще до того, как Ленин поручил ему выступить перед делегатами от имени Центрального Комитета партии большевиков.

Он знакомился с латышской буржуазной печатью, читал официальные сообщения об «инспекционных поездках» представителей Антанты на Рижский фронт (на обороняемые латышами предмостные позиции в Икшкиле и позиции в Кемери), изучал резолюции съездов и конференций латышских буржуазных союзов и объединений. Они изобиловали предупреждениями стрелкам: «Ребята, будьте разумны! Никакого радикализма! Теперь у нас совсем хорошее Временное правительство».

Петерис Стучка хорошо сознавал, какую тяжелую гирю на чашу весов съезда собирались взвалить националистические политиканы.

Влиять на солдатских делегатов кинулись и националистические литераторы. К съездовским дням приурочил выпуск своего журнальчика «Лайкс» [1] Карлис Скалбе. Автор прими-

---

[1] «Время».

ренческой сказки «Кошачья мельница» и поэт Янис Акуратер говорили о быстром «конце большевистского карнавала», призывали «стражей отечества» пестовать глубоко интимное латышское чувство. У латышей теперь есть свои земские советы, объединяющие в патриотических целях как пахарей, так и солдат. Если теперь латыши — и хозяева и работники — «станут господами своей жизни, то, вопреки классовым распрям, возникнет единый, прекрасный, здоровый народ».

Меньшевики в стрелковой газете «Бривайс стрелниекс»[1] курили фимиам Временному правительству. «Если вся власть перейдет в руки Советов рабочих и солдатских депутатов,— писали они,— то от участия в управлении государством будут полностью отстранены широкие и влиятельные группы населения. Ибо тогда буржуазия поведет себя равнодушно или даже враждебно к руководству рабочих и солдатских депутатов».

Поезд, на котором Петерис Стучка ехал из Петрограда в Ригу, тащился, как загнанная кляча арендатора, паровоз протяжно пыхтел на поворотах и подъемах и, выдыхая белый пар, подолгу задерживался на станциях. Медленная езда навевала на пассажиров грусть. Она нагнеталась перестуком колес душно накуренного вагона, жалобно завывавшими солдатскими гармошками, нестройно звучавшими старинными романсами.

Петерис Стучка, забившись в угол вагона, сидел, спрятав голову в воротник пальто, и смотрел в скользившую за окнами темноту.

В нескольких шагах от него, скрытые вечерними сумерками, пассажиры разговаривали на северовидземском наречии. Лениво, едва ворочая языком, они рассказывали, что повидали в большом городе, что услышали в пути. Что говорили знакомые, выехавшие отсюда, и что тот или другой случайный спутник. Сколько теперь молодежи с ума посходило. Да и людей постарше. На политике этой, на партиях прямо помешались. Думают, это им манна небесная какая.

— А цены на рожь поднимаются как никогда,— заметил кто-то тонким голосом. — Когда такой рынок, так и грех бога хулить.

— Когда такой рынок, то плакаться нечего...

— Да разве мы плачемся?

— Вы заплачете, как только сельские работники прибавки жалованья потребуют,— забывшись, громко сказал Петерис.

Задремавший напротив него сосед вскочил и, спотыкаясь об ноги пассажиров, пересел к окну.

— Что случилось?

— Пока ничего,— ответил Петерис.

— Так чего людям покоя не даете?— рассердился заспанный пассажир.

---

[1] «Свободный стрелок».

Петерис Стучка пошевелил онемевшими ногами, расправил спину.

Завтра, самое позднее — послезавтра газету Рижского исполкома рабочих «Зиньотайс» объединят с центральным органом партии. «Циня» будет выходить большим форматом. «Цине» будут нужны статьи... Лучше всего подошел бы памфлет: критика национализма латышской буржуазии и сельских мироедов. Пока народ погрязает в военной разрухе, патриотические мироеды закладывают между страниц семейных библий новенькие, шелестящие ассигнации с изображениями Екатерины и Петра... Что же, собственно, является идеалом малодушной, морально загнившей части латышского общества? Идеалом? Какой идеал может быть у стяжателей-кулаков, у дегенерировавшей буржуазии?

Петроградский поезд прибыл в Ригу после восьми часов. По перрону шныряло множество военных патрулей, они сгоняли в кучу приезжих солдат, не позволяя им никуда улизнуть. А штатских пассажиров обступали дамы и девицы рижских националистических организаций с кружками для пожертвований и картонными щитами, утыканными памятными знаками. Жертвовавшим дамы прикалывали к груди изображение нагрудного знака латышского стрелкового полка с крохотной сосновой веточкой.

— Внесите свою лепту в пользу героических латышских стрелков!— Петериса Стучку остановила полная дама, затянутая в корсаж с зелеными и коричневыми полосами. Улыбаясь, она так щурилась, словно Петерис нес на плечах июльское солнце. — Пожертвуйте!

— Пожертвовать? На что?

— В пользу наших героев-стрелков.

— Может быть, на попойку господ офицеров? Или же на цветочки, которые они дамам преподносят? Или на катанье на извозчиках?

— Тьфу, как вы... Вы, вы...

— Непристойная личность? Совершенно верно! — Петерис Стучка чинно приподнял шляпу.

* * *

Во Временном театре оркестр уже исполнял «Марсельезу», которую часто играли и пели в России после Февральской революции.

Поток делегатов вынес Петериса Стучку на середину амфитеатра, где еще были свободные сидячие места. Члены делегаций гостей в большинстве остались, правда, в фойе. Они, наверно, войдут в зал вместе с главным гостем — командующим

Двенадцатой армией генералом Радко-Дмитриевым, обещавшим почтить своим присутствием съезд латышских стрелков.

Прибытие высокого военного начальства оказалось неожиданностью. О своем пожелании командующий поставил в известность полковников Исколастрела только что. И теперь исполкомовские офицеры, иные с красной ленточкой на левой стороне груди, иные только с орденскими знаками, толпились перед колоннадой театра, предлагая запаздывающим делегатам съезда скорее идти в зал. Среди встречающих генерала был также военный врач — меньшевик Пауль Калнинь.

В зале, в той части, где сидели большевики, Стучка увидел многих знакомых. Среди них, казалось, промелькнули беличий хохолок, впалые щеки, острый нос Екаба Гробиня. А может, это был его случайный двойник. Навряд ли Екаб избран в делегаты.

На свободное место рядом со Стучкой сел пожилой стрелок.

— Мир, товарищ Ветеран, тесен, страшно тесен. — Жесткими, мозолистыми пальцами он сжал руку Петериса. — Людям друг от друга никуда не уйти. В девяносто пятом году я еще молодым парнем жаловался вам в редакции «Диенас лапы» на заметку газеты. О несчастном случае с моим товарищем по работе на проволочной фабрике. Упрекал вас, редакционных интеллигентов, в затуманивании правды. Может быть, помните?.. И вот мы сегодня опять встретились...

Как я это время жил? По-всякому. Четыре года пользовался гостеприимством специальной гостиницы ушедшего в историю всемилостивейшего батюшки государя. В пятнадцатом вступил в стрелки. А как Николашку скинули, я агитировал за пролетарскую революцию. Как вам это нравится?

— Очень даже нравится.

— У нас в батальоне дело большевиков поставлено как надо... — Стрелок собирался рассказать, как у них обстоят дела. Но вынужден был замолчать.

По обе стороны сцены сверкнули трубы, и за зеленым столом президиума поднялся председатель старого Исколастрела — капитан Озол.

— Уважаемые делегаты Второго собрания Совета латышских полков... — начал он привыкшим командовать голосом. — Товарищи, государственную власть можно сравнить с кораблем, на котором народы, то есть мы, бороздим воды. Старая власть привела государственный корабль к окончательной гибели...

Свое начатое в духе националистической литературы повествование капитан привел к сравнительно логическому завершению. Делегаты съезда должны найти общую рабочую платформу. Такую, которая позволила бы государственному кораблю смело выйти на морские просторы.

— Как же! — заворчал пожилой стрелок. — Одна платформа, один господский путь... Но мы еще посмотрим, как проголосуют.

— По-вашему, успех обеспечен?

— При нашей хватке?

Выборы президиума все же кончились иначе. За капитана Озола было подано сто семь голосов, за большевистского стрелка Барду — семьдесят, за подпоручика социал-демократа Лациса — пятьдесят четыре. Значит, заседания будут вести капитан Озол и Барда.

— Н-да...— посетовал стрелок. И вдруг вспомнил, что ему надо что-то сказать своим ребятам.

Назвали кандидатов в секретари, но до голосования так и не дошло.

— Командующий армией... Командующий армией генерал Радко-Дмитриев прибыл!

Полковники, капитаны, поручики, высшие и средние чины из прибывших делегаций гостей повскакали со своих мест. Они провожали глазами пожилого генерала, следовавшего мимо делегатов в президиум.

— Поздравляю высокое собрание с началом ответственной работы,— сказал командующий, повернувшись лицом к амфитеатру. Он слегка кивнул угловатой, массивной головой.

После нескольких приветственных фраз он сразу же перешел к минувшим рождественским боям. Стрелки еще живо помнили их. Они еще вчера хоронили в братской могиле Рижского лесного кладбища умерших в госпитале после бойни на Тирельском болоте.

— Для латышского народа это было тяжелым испытанием, но и светлым днем его героических дел,— сказал Радко-Дмитриев. — Многие не вернулись, остались на снежных полях, у немецких заграждений...

Этот старый, перешедший на службу к русскому царю болгарский офицер умел говорить просто и проникновенно.

«Если он свое обращение выдержит в таком стиле до конца, то, несомненно, повлияет на беспартийную часть съезда...» Петерис Стучка слушал с напряженным вниманием.

Но Радко-Дмитриев не выдержал. Свою умело построенную речь генерал закончил патетическим призывом в стиле агитречей министра Керенского:

— Только войной мы избавимся от войны!

Делегаты зашевелились, послышались покашливание, ропот. И напрасно офицеры расхваливали командующего как участника войны за освобождение Болгарии в двенадцатом году, как патриота России. Таким же напрасным оказался возглас «Да здравствует Латвия, страна героев!» и трижды прогремевшее «Боже, благослови Латвию!».

При голосовании за кандидатов в секретариат сторонники старого Исколастрела остались в меньшинстве. Утверждая повестку дня, съезд отклонил предложение делегатов-офицеров выслушать сперва приветствия делегаций гостей.

— Еще что! Пускай сперва прежний Исколастрел отчитается!

Отчет о деятельности Исколастрела делегаты слушали без всякого интереса. Сообщение своим однообразием утомляло, как работа в поле, при которой не переставая гнешь спину, выпалывая бодяк или стебли дикой редьки.

— Состоялись заседания... Обсуждены предложения... Созданы комиссии... Разрешены спорные вопросы...

Докладчик признал, что при решении некоторых вопросов у Исколастрела были и неудачи. Но в общем комитет всегда считался с общими решениями стрелков. Так, например, забаллотированного на полковом собрании командира, полковника Аузана, Исколастрел поддержать отказался.

— Этого еще недоставало! — раздалось из зала.

У бросившего реплику оказались сторонники. И конец отчета — призыв крепить единство народа (все латыши — единый трудовой народ, как стрелки, так и офицеры... латышский народ — один из самых демократичных народов в мире!) и сознание долга латышских стрелков — перекрыли выкрики делегатов.

После доклада Исколастрела слово дали делегациям гостей — представителям Совета петроградских рабочих и солдатских депутатов, Искосола (Совета солдат) и Искомофа (Совета офицеров) Двенадцатой армии.

Офицеры и меньшевистские представители предлагали как единственную возможность избавиться от войны — «мир, к которому мы придем через войну». Ораторы от рядовых напоминали, что главный враг российской революции — это внутренняя реакция.

По поручению военного и морского министра Керенского к стрелкам обратился с речью петроградский офицер Ильин.

— Министр хотел бы знать: пойдут ли латышские стрелки вместе с русской демократией? — спросил он, поднимаясь на носки, словно желанный ответ мог прийти из последних рядов амфитеатра.

— Не пойдем!

В середине третьего ряда мелькнула рука, поднялся сухощавый стрелок в очках, со светлыми, коротко подстриженными усиками.

— Скажите господину-товарищу Керенскому, что латыши будут воевать только в том случае, если Англия и Франция тоже полностью откажутся от контрибуций и аннексий. Правильно я говорю, ребята? — спросил он, обращаясь к залу.

— Правильно, совершенно правильно!

Отдельные протестующие выкрики прерываются бурными аплодисментами делегатов. При этом некоторые, под самым потолком зала, еще топают ногами и чем-то колотят по

скамьям,— должно быть, солдатскими ложками. Поднялся такой шум, словно затрещали столбы, подпирающие старые матицы цирка.

— Мы поражены поведением латышских стрелков!— закричал Ильин, не сдержав негодования. — Демократия, во главе которой стоит товарищ Керенский...

Эмиссара Временного правительства оборвал пронзительный мальчишеский свист. Казалось, что Ильин беззвучно раскрывает и закрывает рот.

— До сих пор демократия только и делала, что хулила деяния других. Наступило время, когда демократия своими собственными деяниями должна доказать, что́ она способна сделать на благо государства,— пытался после Ильина высказаться поэт Акуратер. — Если латыши будут саботировать приказы демократического командования, то могут остаться одни. Без поддержки русских фронтовых частей...

— Неправда! — отозвались со скамей гостей. — Сибирские стрелки пойдут вместе с латышскими товарищами!

Еще не проголосовав за резолюцию, которую должны были представить после сообщения о «текущем моменте»,— о политическом положении,— делегаты стрелков уже дали свою оценку политике Временного правительства.

Петерис Стучка говорил на заседании Совета пятнадцатого мая, когда делегаты уже выслушали отчеты комиссий Искострела и представителя Центрального комитета СДЛК Юлия Данишевского.

В предыдущие дни Петерис Стучка находился в зале съезда совсем мало. Он совещался с товарищами из русских фронтовых частей — с Рудольфом Сиверсом, Васильевым и Гразкиным, редактором ленинской «Окопной правды». Стучка выступал с докладами на солдатских и профсоюзных собраниях и в партийных организациях. У него были встречи с товарищами, которые ведали Рижской народной милицией и вели судебное следствие против приспешников свергнутого режима — чинов жандармерии и почетных полицейских во время разгрома революции 1905 года. Потом были беседы с деятелями большевистского Рижского Совета рабочих депутатов, который восемнадцатого мая должен был начать выдачу продуктовых карточек и заняться общественным учетом продовольственных запасов. (Поинтересоваться карточной системой Стучке поручили Яков Свердлов и другие члены Центрального Комитета.)

Если оказывалось по пути, то Стучка шел мимо рижского военного плаца. Мимо курящейся песчаной пылью Эспланады за православным собором.

То ли в связи со съездом стрелков, то ли в ожидании прибытия министра Керенского, на Эспланаде митинговали сагитированные штабными офицерами Рижского фронта унтеры

и солдатики разных воинских частей. Надсадно горланили маршевые песни, размахивали красными, шитыми золотом знаменами и красными же транспарантами, на которых еще издалека можно было прочесть выведенные белыми буквами призывы: «Войну до мира!», «Ура нашему первому министру-социалисту —гражданину Александру Федоровичу Керенскому!»

А со стороны Елизаветинской и Николаевской митингующих вытесняли с площади другие колонны солдат. Они пели старые строевые песни, только слова были новые, казалось,— тут же сочиненные.

Подростки и любопытные взрослые подпевали солдатам.

Обдумывая, что следовало бы сказать на съезде стрелков, Петерис Стучка мысленно перебирал огромное множество актуальных политических проблем. Главным образом такие, которые имели прямую связь с латышским народом, с идеей Латвии. А разве молодое поколение латышей и стрелки не скандируют стихи Райниса о добром солнце Латвии, которое сейчас всходит, но встречает гору? И озеро ложится на пути его, и облака его закрывают.

«Поляки были единственным народом в Европе, боровшимся как солдаты мировой революции»,— писал Карл Маркс о польских патриотах, шедших вместе с парижанами на штурм неба для пролетариата.

Когда-то поляки были единственными...

И Петерис Стучка приветствовал латышских стрелков от имени Центрального Комитета большевистской партии как авангард боевых полков трудящихся.

— Неудивительно,— говорил он,— что пролетарии Германии, Англии, Франции не только слышат клич нашего пролетариата, но и видят, что делает наше правительство. И какая гарантия у пролетариата западных стран, что за Временным правительством не стоят массы? Никакой. Пока мы поддерживаем правительство, не выражающее наших мыслей и требований. Поэтому мы, укрепляя Советы трудящихся, должны взять государственную власть в свои руки. Тогда и пролетариат других воюющих государств поверит нам, пойдет нам навстречу. Поэтому — да здравствует красный латышский стрелок!

На заседании семнадцатого мая делегаты Второго съезда стрелков проголосовали за резолюцию, которую от имени Центрального комитета социал-демократии Латвии предложил съезду Юлий Данишевский. Ее приняли двумястами пятьюдесятью голосами против одного, при восьми воздержавшихся. Было решено послать приветственные телеграммы товарищу Ленину, товарищу Карлу Либкнехту, товарищам Стучке, Розиню, Райнису и большевистским газетам «Правде» и «Цине».

Стены Временного театра дрожали, когда делегаты латышских стрелков под звуки оркестра пели гимн мирового пролетариата — «Интернационал».

14. И НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА ЭТИХ ДНЕЙ

«Оставайся, паренек, с носом!» И Петерис, махнув рукой проезжающему извозчику, вскочил в еще катившуюся пролетку, откинулся на потертом зыбком сиденье и оглянулся на сутулого субъекта в поношенном мундире, увязавшегося за ним от самых ворот дома.

Тот подался в сторону мостовой, словно собирался кинуться за быстро удаляющейся пролеткой.

«И полицейскому топтуну надо знать свое дело,— ухмыльнулся Стучка. — В народе говорят: «Голыми руками ежа не ухватишь».

Но вдруг его осенила озорная мысль, и он велел извозчику повернуть назад.

— К тому месту, где я сел...

Растерявшийся субъект уже смешался с прохожими, но Стучка все же увидел его и, как только извозчик осадил своего рысака, подозвал шпика к себе.

— Послушайте, вы...— сказал Стучка одновременно с презрением и сочувствием. — Какой дурак приказал вам тащиться за мной?

— Тащиться?

— Не притворяйтесь. Это вам не очень удается. Отвечайте прямо: кто приставил вас ко мне, как хвост?

— В канцелярии его превосходительства...— запинался субъект. Такого оборота дела он не предвидел.

— В канцелярии его превосходительства?

— Александр Федорович мне...

— Значит, лично Александр Федорович? Глава кабинета, военного ведомства и прочее и прочее? В таком случае вот что! — Стучка вынул из бумажника свою адвокатскую визитную карточку и написал на ее обороте: «Самозваный спаситель России, гражданин Керенский! Вы слишком низкого мнения о своих противниках, если доверяете столь ограниченному филеру!» — Немедленно передайте своему высокопоставленному патрону. Немедленно! —сказал он голосом, не терпящим возражения, протягивая визитную карточку оторопевшему шпику, и приказал извозчику: — Поехали!

«Своего сменщика он еще не успел предупредить... Пока этот субъект опомнится, пока отыщет телефон, его поднадзорный будет уже в другом конце города. А скорее всего этот тип помчится прямо к своему высокопоставленному покровителю и даже позабудет вызвать сменщика! И так выслеживаемый властями Петр Иванович Стучка без лишних помех вовремя попадет на собрание».

«Собрание» — это Шестой съезд Российской партии большевиков.

На три четверти нелегальный съезд самой крупной политической партии в «демократической России». Нелегальный потому, что уже третью неделю государственная власть в России находится в руках новоявленных кавеньяков, милитаристской банды. В борьбе против революционного народа российские кавеньяки не жалеют пороха и патронов. На фронте расстреливают непокорных солдат, отказывающихся идти в наступление, в тылу убивают трудящихся, петроградских пролетариев.

После столичной бойни четвертого и пятого июля Стучка неохотно останавливается на перекрестке Невского и Садовой, неохотно идет по Литейному проспекту и мимо Инженерного замка. Темные пятна напоминают ему о забрызганных кровью тротуарах, о красных потеках на трамвайных рельсах. При виде порталов домов, фонарных столбов, чугунных оград, исцарапанных юнкерскими и казацкими пулями, он инстинктивно бросает взгляд на здания на другой стороне улицы: не мелькнет ли в окне дуло винтовки или пулемета, не вспугнут ли опять прохожих внезапные выстрелы?

Неохотно Стучка теперь идет также мимо дворца Кшесинской — бывшей квартиры Центрального Комитета партии большевиков, откуда ленинцев прогнали «восстановители авторитета правительства». Те самые, которые объявили марксистскую партию «примазавшимися к революции безумными фанатиками, мошенниками и предателями» (формулировка лидера партии прогрессистов, юриста Масленникова!), те самые, которые выдвинули против Ленина наинелепейшее обвинение — «главный германский шпион». Когда Стучке случается ездить вторым классом дачного поезда, он чуть ли не каждый раз слышит, как упитанные барыньки или солидные чиновники рассказывают друг другу, что им досконально известно («из совершенно достоверных источников!»), что Ленин получил от германского правительства не то два миллиона, не то два миллиарда и что из этих денег каждому мятежному рабочему и солдату перепадает от трех до пяти сотен в месяц.

Говорят, история не повторяется. Но, очевидно, страница истории, которая говорит о посягательствах реакции на свободы пролетариата, все же изобилует повторениями. Теперь в России, как на сцене, можно увидеть то одну, то другую картину событий прошлого из революции восемьсот тридцатого года во Франции, из революционных коллизий восемьсот сорок восьмого года в Германии, из времен Парижской коммуны.

Владимир Ильич был вынужден перейти на нелегальное положение. Поэтому и польские товарищи Ганецкий и Козловский стали узниками «демократической России» (в инспи-

рированном против Козловского судебном деле одержимые шпиономанией требуют смертной казни!). По той же причине были объявлены предателями и латышские стрелки, как только они выразили доверие социалистической революции. Якобы какой-то сдавшийся в плен «офицер германского генерального штаба» показал, что, как только русские войска отступят из Латвии, стрелки все как один сдадутся в плен немцам.

«Теряя влияние среди рабочих, буржуазия всегда и всюду прибегала и прибегает к самой отвратительной лжи и клевете». Так Ленин накануне войны охарактеризовал политику врагов трудового народа. Метко и дальновидно, как и полагается марксисту-диалектику.

Марксист-диалектик...

Кажется, теперь революционерам в России больше всего необходимо мастерство марксистской диалектики. Чтобы не перепутать конкретное с абстрактным. Чтобы догматические мысли и рассуждения не подавили зеленого дерева революционной практики.

Ленина на съезде не будет. Было бы чересчур опрометчиво рисковать головой российской революции! Головы революции не отрастают, как в сказках. А съезд должен неотложно решить самые кардинальные для рабочего класса (можно сказать — для рабочего класса всего мира!) вопросы: что теперь делать? И как делать?

Перед съездом Ленин дал делегатам мощное теоретическое оружие — статьи и тезисы: «Политическое положение», «К лозунгам», «Уроки революции». Четкий анализ политической обстановки в России, из которого следует, что пролетариат с оружием в руках должен свергнуть реакционную государственную власть. Своим диалектическим анализом, своей железной логикой Ленин открыл этап нового цикла классовой борьбы. Цикла, характеризующего победу поддержанной меньшевиками и эсерами буржуазной контрреволюции, которую можно уничтожить только в том случае, если массы восстанут для вооруженной борьбы.

Но как воспримут этот ленинский тезис делегаты?

О партийной работе и политической обстановке на съезде будет докладывать Сталин, об организационной работе Центрального Комитета — Свердлов. И Сталин доклад съезду разработал по указаниям Ленина.

Переехав Троицкий мост, Стучка хотел отпустить извозчика и продолжать путь пешком, но у въезда на мост кружили всадники. Казаки или патруль кавалерийского полка. Один из «отрядов, сформированных для введения жесткого порядка», которые, высекая из гранита мостовой искры, рыщут по улицам, следя за тем, чтобы из пригорода в центр не про-

рвались враждебные «социализму» Керенского демонстранты — революционные рабочие. Отряды эти — как рои жужжащих ос, оберегающих свое гнездо.

Теперь Петроград кишит контрреволюционными патрулями. «Блюстители порядка» то ездят строгими рядами, то растягиваются гуськом, то сжимаются в клубок и скачут, точно конные кочевники. Иногда какой-нибудь ротмистр или хорунжий щелкнет, как выстрелом, хлыстом, натянет повод и, словно нацеливаясь на врага, поднимет коня на дыбы.

Бывает, что всадники кидаются разгонять подозрительную толпу штатских или же часами гарцуют вдоль тротуара, по которому возвращаются со смены рабочие или идут женщины, стоявшие в очередях за полуголодным пайком.

Появившийся теперь в конце моста отряд пытается перекрыть движение между берегами Невы.

«Может, проверка документов?.. Но для этого их чересчур мало». Стучка насторожился. Однако, как только извозчик натянул вожжи, Стучка крикнул, что ему некогда, что он торопится.

Казаки расступаются перед резво мчащейся извозчичьей пролеткой. Какой-то оказавшийся к ней поближе усач что-то сердито кричит вслед извозчику, грозя кулаком, и висящая на кисти нагайка мечется, точно змея с зажатым в клещи хвостом. Но седока он не задерживает. Должно быть, нет на это приказа. Или стражи порядка следят теперь за Петропавловской крепостью, куда все еще ведут под конвоем разоруженных солдат — участников рабочих демонстраций.

«Какая честь! Наша армия свои неудачи в сражениях против внешнего врага искупила доблестной внутренней победой!» — повторяет про себя Стучка перечитанный недавно памфлет из французского «Журналь де деба́», напечатанный в дни Парижской коммуны.

У здания Военно-медицинской академии он отпускает извозчика и с видом добропорядочного чиновника входит в ближайший подъезд огромного корпуса. Тут много и входов и выходов на все четыре стороны...

Уже чуть погодя он шагает по переулку, к месту предварительного собрания латышских делегатов.

— Четырнадцать латышских ленинцев будут представлять на съезде четырнадцать тысяч членов партии,— говорит, открывая собрание, член Центрального комитета Янис Ленцманис. — С апреля месяца наши ряды росли значительно стремительнее, чем во время революции пятого года.

— Когда партии пролетариата угрожает враг, трудовой народ встает на его защиту,— сухо кашлянув, отозвался Эрнест Эфет. После возвращения из ссылки этот хрупкий интеллигент, верховод видземских безземельных крестьян, все еще не оправился от весенней простуды. — Великое пробуждение

пролетариата — свершившийся факт. Нет мира и не будет его на пашнях родины.

— Как и везде, как и в крупных капиталистических государствах,— соглашается с ним Давид Бейка, руководитель профсоюзов рижских рабочих, вернувшийся из эмиграции, из Америки. — В Штатах тоже возникают рабочие Советы. В июне Бостонский Совет рабочих организовал большую антивоенную демонстрацию и митинги.

— И американские власти, как Керенский в России, бросили против рабочих войска,— отвечает Ленцманис. — Но мы собрались не для обсуждения международных событий. Мы должны уточнить точку зрения латышской делегации в вопросах, которые на съезде могли бы послужить поводом для разногласий. О явке или неявке Ленина в реакционный суд, о теперешней политической обстановке, о Советах рабочих и о революционном восстании против военной диктатуры,— перечисляет Янис Ленцманис и обращается к Стучке: — Кажется, по первому вопросу все ясно — Ленину даваться в руки реакции нельзя. Наивно надеяться, что в данный момент заседание суда можно было бы превратить в суд над Временным правительством. Контрреволюция добивается не расследования обвинения, а уничтожения вождя пролетариата. Что касается требования: «Вся власть Советам!», то, как видим, мы по этому вопросу не совсем единодушны. В Латвии большевики в Советах уже в большинстве.

— Но это не противоречит Ленину,— оживляется Стучка. — Если в городах уже есть большевистские Советы, то надо добиться, чтобы они охватили и деревню. В развитии Латвии и Прибалтики вообще есть своя особенность. Наш пролетариат старше самого капитализма. Еще во времена крепостного права у нас на селе возникло классовое расслоение. Классы были уже среди самих угнетенных. Крепостные-хозяева эксплуатировали крепостных-батраков. Еще задолго до освобождения помещики лишили часть крестьянства земли, превратив ее в безземельный пролетариат, у которого нет ни двора ни кола, нет земли отцов, за которую стоило бы положить живот. В то время как в городах Прибалтики появлялся свободный промышленный рабочий, на селе свободного сельскохозяйственного рабочего было еще трудно найти. Поэтому Совет батрацких депутатов должен стать новым связующим звеном между разбросанными по обширным округам трудящимися. Еще недостаточно, что от видземского Совета безземельных крестьян сорок шесть батраков избраны делегатами на съезд Советов Латвии. В батраках надо воспитать классовое сознание сельскохозяйственных рабочих. Батрак должен знать, что класс сельскохозяйственных рабочих, который до сих пор был в деревне ничем, впредь станет всем. Он должен понять, что в любой волости батрацкие Советы должны стать

центром. Таким, по-моему, был бы реальный подход. Лозунг о немедленной или не немедленной передаче власти Советам нельзя решать трафаретно. Съезд большевиков не сборище догматиков. Но прежде чем обсудить вопрос о вооруженном восстании пролетариата, хотелось бы услышать мнение самих стрелков. Кто из товарищей фронтовиков будет говорить на съезде?

— Товарищ Дижбите.

— В таком случае послушаем товарища Дижбите.

Стучка посмотрел на примостившихся на сундуке стрелков (совещание латышских делегатов происходило в однокомнатной рабочей квартире на Выборгской стороне), но ни на ком конкретно не остановился. Он не знал, кто именно из троих молодых парней Дижбите. У партии среди стрелков появилось много способных пропагандистов. Стучка еще не успел познакомиться со всеми лично. Что поделать, если живешь в такую бурную эпоху.

— Товарищ Ленцманис начал с перечисления членов латышской организации,— заговорил парень могучего сложения, сидевший на сундуке, упираясь руками в согнутые колени. — В латышских полках Двенадцатой армии сегодня более двух тысяч ленинцев. Но фактически за латышскими большевиками стоят все сорок восемь тысяч солдат. Штаб армии уже давно открыто кается в том, что позволил сформировать латышские национальные части. Господа никак не придумают, как теперь избавиться от латышей. Но, чтобы расформировать восемь латышских полков, у них руки коротки. Латышские стрелки заявили: этому не бывать! Их поддержали сибирские стрелки: тронете латышей — придется иметь дело с нами. Между латышами и сибиряками полная братская спайка. Если только штабам не удастся спровоцировать наступление, партийная организация уверена, что Двенадцатая армия станет большевистской...

Дижбите говорит о межнациональных мероприятиях армейских солдат. Самое значительное из них — состоявшееся двенадцатого июля совещание представителей двадцати трех национальностей от разных полков, которое приняло враждебную Временному правительству резолюцию. Дижбите говорит об активной поддержке латышскими стрелками батраков. Во время забастовки сельскохозяйственных рабочих в Видземе комитет запасного полка встал на защиту сельского пролетариата. Винтовки с примкнутыми штыками быстро остудили рабовладельческий пыл мироедов.

Стучка и Ленцманис переглянулись. Оба, кажется, подумали об одном и том же: смотри, мол, как сильно новое пополнение нашей партии. Как оно созрело политически!

За забором конспиративной квартиры по граниту мостовой цокала подковами конница Керенского.

* * *

Солдаты, покидавшие на Рижском вокзале петроградский поезд, сразу сообразили, отчего задрожала земля, словно по ней заколотили огромными чугунными молотами. Вскоре над двухэтажными домишками в начале Мариинской и около Турецкого кафе на Суворовской загудел и зашипел воздух, с крыш полетела дымящаяся черепица.

— Чемоданы!.. Немецкие чемоданы!..

Стоявшие у решетчатых ворот приезжие не стали ждать извозчиков, а, подхватив вещи, со всех ног кинулись прочь. Одни — под виадук Взморского вокзала, другие — на бульвар Тотлебена, третьи — вдоль железнодорожной насыпи, к Даугаве. Но последние убежали недалеко. За мостом через канал, у Карловской улицы, точно прорвавший шлюзы бурлящий поток, дорогу преградили мчавшиеся из-за Даугавы повозки, обвешанные котомками мирные жители. Торопливо шагали солдаты — строем, кучками и врассыпную,— то ли остатки какой-нибудь потрепанной в бою части, то ли оробевшие необстрелянные новобранцы. Скорее новобранцы, потому что после каждого взрыва они, пугливо ежась, бегом кидались обгонять друг друга. Тут у них за спиной, посреди Даугавы, один за другим прогремели взрывы, на головы людей посыпалась горячая пыль.

— Мосты взорвали...— процедил сквозь стиснутые зубы поручик, вместе с которым Петерис Стучка продирался сквозь толчею. — Немцы доказывают, чего стоит деморализованная агитаторами русская армия.

— Нечего на агитаторов валить! — сердито крикнул Стучка. — Выпрямлять линию фронта, отходить на неукрепленные позиции не агитаторы велели. Не они с фронта артиллерию сняли. Я собственными глазами из поезда видел, сколько в Лигатне и Сигулде согнали снятых с фронта дивизий. Не пытайтесь уговорить меня, что все это не имеет ничего общего с тем, что теперь делается.

— Большевик этакий!..— Поручик бросился к Стучке. Неизвестно, с каким намерением — в эту минуту офицера задело колесо телеги. Он отскочил в сторону, а чемоданчик его загремел по мостовой.

«Фанатик или политический дальтоник. Так или иначе — жалкенький человечек». Перебравшись на другую сторону Александровского бульвара, Петерис Стучка повернул к Старой Риге.

В начале Известковой отступающих было меньше, чем на Мариинской и Суворовской. Теплый августовский воздух мешался с поднимавшейся колесами и ногами пылью, разило конским пометом и мочой. Со стороны Даугавы клубились густые дымы пожаров.

Петерис Стучка шел в Совет рижских рабочих депутатов. Тринадцатого августа его, как первого кандидата социал-демократов, подавляющим большинством голосов избрали в Рижскую городскую думу. Партия выдвинула его на пост председателя городской управы. Вот он и прибыл руководить рижской коммуной. Стать во главе ее в пору оголтелого наступления контрреволюции.

Двенадцатого августа в Москве состоялось созванное Керенским Государственное совещание, на котором главнокомандующий генерал Корнилов, под бурные аплодисменты реакционеров (еще не было революции, в которой аплодисменты играли бы такую роль, как в теперешней российской!), требовал железом и кровью уничтожить комитеты и Советы, восстановить во всем государстве смертную казнь. Он авторитетно заявил, что Двенадцатая армия не способна оборонять Ригу от немцев. Большевики сразу же начали организовывать рабочих и солдат для энергичного ответного удара по контрреволюции. И хотя Петерису Стучке надо было быть в Латвии еще неделю тому назад, он из-за неотложных партийных дел откладывал свой отъезд из Петрограда со дня на день.

— Товарищ! По Старому городу бьет немецкая артиллерия! — Его остановили двое отделившихся от шедшей навстречу группы портовых или складских рабочих. В поношенных пиджаках, синих рабочих блузах, темных кепках, через плечо— котомки.

— Поворачивайте назад, товарищ Стучка! — Один из них, низкорослый, с болезненно бледным лицом, преградил ему дорогу. — Здание Совета депутатов наши оставили еще рано утром. Положение безнадежное. В любую минуту пруссаки могут войти в город.

— Так вдруг?

— Разве вы не слышите, откуда канонада? — заговорил другой, курчавоволосый парень. — Рига почти окружена. Немцы перешли через Даугаву у Икшкиле, рвутся к Средней Видземе. Грозят окружить всю Двенадцатую армию...

— Бои уже идут под Юглой. Или где-то в более глубоком тылу,— добавил низкорослый.

— Вы удивительно хорошо знаете обстановку.

— Милиционерам Совета рабочих депутатов это полагается. Товарищ Стучка, не мешкайте! Нечего дьявола искушать!

— Верно, нечего дьявола искушать! — ответил он.

Эти товарищи на болтунов не походили. Происходившее вокруг подтверждало их слова.

Очевидно, произошло самое трагическое из того, что в Латвии сейчас могло произойти. Рига, где недавно вышедшая из подполья революционная социал-демократия впервые заговорила в полный голос, Рига, где марксисты добились

убедительной победы на выборах в местное самоуправление, центр Латвии, где действуют руководящие окружные учреждения социал-демократии — Центральный комитет партии, Совет рабочих депутатов,— приносилась в жертву молоху войны. Риге угрожала кровавая вакханалия реакции. Оккупанты не окажутся милосердными самаритянами. И местные немцы вместе с «латышской партией» Фрициса Вейнберга будут из кожи лезть, чтоб указать оккупантам как можно больше опасных бунтовщиков. Будут жертвы, очень много жертв. К тому же немецкое вторжение неизбежно вызовет прилив шовинизма среди крестьян и несознательных рабочих. Расцветет ядовитый буржуазный шовинизм...

Тяжелые снаряды уже рвались на видземской окраине. За новой церковью Гертруды, за станцией Александровские ворота.

Петерис Стучка шел вместе с рабочими, милиционерами и, как они, кидался в подворотни больших каменных домов, когда над головой завывал снаряд, помогал расчищать улицу от разбитых повозок, перебирался через выломанные, опрокинутые на тротуары ограды. И разговаривал с людьми.

Обстоятельных разговоров не получалось. Люди находились в неведении. Прислушивались, в какой стороне сильнее всего грохотала канонада, сокрушались об отставших близких, о своих промахах в спешке отступления («Впопыхах схватил с постели подушку, а пальто и белье оставил»). И ругали мародеров, которые громят магазины, кидаются на оставленные на миг без присмотра вещи беженцев, врываются в квартиры. Из окон некоторых домов на улицу летели белье, одеяла, ящики от комодов. Кинутая на забор подушка распоролась, и пух посыпался на дощатые тротуары и спешивших мимо людей.

Вдруг за Александровскими воротами, у опушки Бикерниекского сосняка, над шоссе показалась сигара дирижабля величиною с изрядный дом — немецкий воздушный корабль — цеппелин. К летательному аппарату подвешена кабина, из нее немцы стреляли по беженцам. И скидывали не то комки земли, не то шишки, которые, как только касались земли или крыш, взрывались, вспыхивая черным пламенем.

— Ложитесь! На землю! — раздались повелительные голоса. Визга и стонов они не заглушили. Но люди все же подчинились приказу. А тех, кто не догадался сделать это сам, толкали на изрытый песок другие. Петериса Стучку увлекли на землю несколько рук сразу. К обоим его провожатым пристала пожилая женщина с клетчатым мешком на спине.

— Сам седой, а ум как у ребенка? — сердилась она, прижимаясь к выгоревшей на солнце траве и навалив свою ношу на Стучку. Может быть, она так хотела уберечь его от летевших вокруг шипящих осколков. — Эта скорлупа от немецких

стальных яиц так изуродует тебя, что родная мать не признает. — Женщина отряхнула сбившиеся на рябое лицо пряди волос. — Когда мы траншеи рыли, немцы закидывали ими нас. Мария Дозитис, дяденька, не пустомеля какая-нибудь.

Приметив седого человека, у которого ум, когда дело касается цеппелина, как у ребенка, она от него уже не отставала. И делала вид, что не замечает недовольства милиционеров городского Совета. Старалась шагать в ногу со Стучкой (совсем как вымуштрованный солдат), разговаривая с ним, как с давнишним знакомым. Рассказывала и о себе и о чужих... Она замолкала только тогда, когда в голубом, знойном небе появлялся надсадно рокочущий, похожий на укороченный крест, аэроплан. Или же совсем обнаглевший, летящий низко-низко воздушный корабль.

По Марии Дозитис было не понять, знает она, кто такой Стучка, или нет (словно уговорившись, оба провожатых Стучку по имени не называли). В утомленном старике, который среди пеших беженцев почти единственный был при белой манишке, галстуке и в шляпе, она нашла терпеливого слушателя и выкладывала ему все, что ей приходило в голову. Порою казалось, что она просто думает вслух.

Мария Дозитис обладала здоровой жизненной мудростью трудового человека, удивительным самообладанием и верой в человеческий разум.

«И на вязком болоте под мхом мели бывают, по которым можно на сушу выбраться. И человеческая судьба, хоть она и изменчива, как лик месяца,— порою светла, порою мрачна,— не сплошное море безнадежности. Иные образованные говорят, что человек не должен падать духом. И верно, духом падать никогда нельзя. Человек по природе своей на редкость вынослив. Повыносливей всех тварей господних. Неистребимая порода. Хоть нас же, латышей, взять. Люди сказывают, что в старину, поколения три-четыре назад, в войны и мор некоторые округа Видземе и Курземе совсем обезлюдели. Но прошли годы, и поросшие густыми кустами пашни опять возделаны. На местах нетронутых прежде чащоб выросли новые села.

В эту войну почти всех здоровых мужчин на фронт угнали. Казалось, жизнь должна остановиться. А разве так? Поля засеяны, осенью урожай убрали. Окрестности Риги и половина Видземе изрыты траншеями, военные дороги выстланы жердями. Кто рыл, кто строил?.. Вдовы, бабы, у которых мужей отняли, девки да старухи. И разве в волостях и местечках не женщины все делают? А посмотрите, чего только какая-нибудь девчонка или старуха в эти военные годы не вынесла! Курземские беженки хотя бы. (Она и сама из Курземе!) Когда немцы пришли, царские стражи родины, те самые, что с этими пиками у седел, угрожая и запугивая, сго-

няли людей с усадеб. Полуголых, полуголодных через Даугаву гнали, чтоб шли куда глаза глядят. Беззащитных девчонок, женщин с младенцами. Но разве от этого жизнь остановилась? Жизнь, дяденька, голая человеческая жизнь — сама выносливость».

Милиционеры рижского Совета депутатов подыскали Петерису Стучке место в каком-то фургоне. Но Стучка отказался сесть туда. Он и дальше пошел пешком. Вместе с отступающими солдатами, вместе с беженцами. С обоими товарищами и Марией Дозитис.

* * *

Валмиера сейчас напоминала неоглядный военный и беженский лагерь. Дворы, сады и площади были забиты повозками, дрогами и телегами. Отощавшие лошади уныло ржали и грызли деревья и изгороди, к которым были привязаны. На берегу Гауи, укрывшись от ветра за стенами построек, у костров, точно во время копки картофеля, томились семьи беженцев и заросшие щетиной солдаты.

Когда с юго-запада, откуда через Валмиеру двигался поток войск и мирного населения, все явственнее стал доноситься глухой гул, расположившиеся на отдых люди начали опасливо переглядываться. Не немцы ли? Может, командование Двенадцатой армией затеяло новое предательство? Как недавно, когда открыло пруссакам ворота в Ригу. Обнажив противнику упорно оборонявшиеся русскими икшкильские позиции на берегу Даугавы, генералы надеялись разделаться с зараженными «большевистской чумой» полками и мирным населением. (А «чума» распространялась необычно стремительно. Семнадцатого мая делегаты латышских стрелков проголосовали за ленинскую программу, в конце июля Совет рабочих, солдатских и бедняцких депутатов избрал большевистский исполком. Тринадцатого августа на выборах в Рижскую городскую думу половина гласных была избрана по списку социал-демократов. На выборах в Совет земли в Видземе большевики получили свыше шестидесяти процентов голосов.)

И хотя генеральским замыслам не суждено было сбыться — в боях у Малой Юглы стрелки остановили продвижение немцев,— люди, видевшие разгром фронта, стали излишне боязливыми.

А что, если пробьют брешь и в новой обороне и в нее тоже хлынут пруссаки? Или же (что не менее страшно!) бывшие царские генералы соберут смертников, юнкеров, казаков и других черносотенцев и разобьют Советы? Может случиться, что с усилением немецкого нажима контрреволюционеры устроят в тылу бойню. Разве в Петрограде в начале июля не пролилась кровь мирных демонстрантов? Разве в ночь с пятого на

шестое июля в Риге, Слоке и других районах Латвии казаки и смертники не пробовали своих сил на латышских и сибирских стрелках? Разве двенадцатого августа чуть ли не в самом центре Риги не трещали пулеметы и генеральские прихвостни не шли разоружать латышские полки? Уже закрыта революционная газета «Окопная правда», офицеры грозят разгромить редакции «Цини» и «Бривайс стрелниекс». Из столицы все время приходят грозные вести: назначенный Временным правительством главнокомандующий генерал Корнилов собирается во главе отборных армий пойти на Петроград, разогнать Совет рабочих и солдатских депутатов. У Корнилова и английские и французские быстроходные броневики...

Порою среди беженцев появлялись люди, которым якобы было известно, что русские не в состоянии навести в стране твердый порядок и поэтому...

Нет, нет, они-то сами не против свободы и революции! Ничуть! Они только хотят сказать своим соплеменникам, как обстоит дело.

Чем дальше от фронта, чем глубже в тыл, тем чаще Петерису Стучке попадались такие «знающие» люди. В Риге, откуда он вместе с рабочими, под разрывы немецкой шрапнели, вышел утром двадцать первого августа, этих подлых всезнаек не было. Зато в Цесисе, где временно расположился Исколастрел, встречались очень болтливые соплеменники. Поэтому в редакции «Бривайс стрелниекс» Петерис Стучка написал для газеты программную статью-воззвание. О пролетарском интернационализме и мобилизации трудящихся Латвии, против возможного прилива буржуазного национализма. А враги социализма, и прежде всего кулацкая партия крестьянского союза, будут пытаться скорбь народа об утрате Риги и больших потерях латышских стрелков превратить в националистический угар.

«...Пускай эти страшные человеческие жертвы обеих сторон на рижском фронте,— писал он,— объединят пролетариат всего мира в борьбе против капиталистических классов, на пути к социализму.

Да наступит скорее демократический мир! И поэтому — долой с дороги все, что заграждает эту дорогу! И прежде всего: берегитесь снова впасть в шовинизм!»

Из Цесиса санитарный поезд привез Стучку в Валмиеру. Там теперь находились восемь членов Центрального комитета СДЛ, которые должны были действовать в неоккупированной части Латвии. Всего лишь восемь, потому что семь остались на нелегальной работе в оккупированной Риге.

Центральный комитет помещался в доме из красного кирпича, неподалеку от лютеранской церкви. На тротуаре перед ним стояли несколько солдат латышского полка в характерных для стрелков фуражках с надломленными козырьками

и с винтовками, свисавшими с плеч дулом вниз («Мы не идем в наступление!»). Похоже было, что они тут остановились закурить и ждали, у кого бы стрельнуть щепотку махорки или самосада. Но стоило чужому поставить ногу на каменную ступеньку и потянуться к дверной ручке, как мирные ребята хватались за оружие.

— Куда прешься, дяденька?

— В Центральный комитет.

— Чего тебе там?

— Я — член Центрального комитета Стучка.

— Петерис Стучка?

Стрелки, казалось, не поверили. Этот седой, помятый и заросший щетиной старик — руководитель большевиков Латвии? Однако события последних дней многих кидали из стороны в сторону, да чем-то старик на Стучку все-таки смахивает. Часовой повел его в дом. Из членов ЦК там оказался один Каулинь.

При виде Петериса Каулинь, бросив телефонную трубку, кинулся к нему.

— Ты?! Жив и здоров!.. Мы очень беспокоились за тебя. Покинул Петроград и исчез...— Он освободил стул, велел Петерису сесть и засыпал его вопросами.

Значит, он утренним поездом приехал в Ригу? И прямо под немецкий обстрел?.. И вместе с солдатами и беженцами за два дня прошел этакую даль? Значит, его ближайшая цель — как можно скорее попасть в столицу? Рассказать, что произошло в Риге, как развалился фронт? Что пережил? Что видно по боевым донесениям? Правильно, катастрофу на фронте реакционеры обратят против большевиков. Все, что он сам видел и наблюдал, очень пригодится для контрагитации. Это верно — Петрограду сейчас угрожает наступление контрреволюции.

— Вчера мы провели заседание нашего Центрального комитета,— рассказывал Каулинь. — Но некоторые вопросы так и остались неразрешенными. Из-за неясности политической обстановки...

— Может быть, соберемся еще раз? — Стучка спросил, сколько потребуется времени, чтобы известить товарищей. Ведь часть находится вне города.

— Думаю, часа два с половиной... три,— прикинул Каулинь.

— Соберемся через три часа. А пока я немного отдохну...

Петерис был переутомлен. Не только от тяжелых переживаний последних дней. С первых же дней Февральской революции он жил в постоянном нервном напряжении. Как солдат во время непрерывного наступления.

Летом состояние его здоровья ухудшилось настолько, что он однажды на массовом митинге потерял сознание. Това-

рищи заставили его уйти по болезни в отпуск, запретили активно участвовать в Пятом съезде СДЛ. Когда он снова вернулся в строй, чувство усталости и головокружение еще не исчезли. Это было плохо, даже очень плохо. Только теперь не время было думать об этом.

Несколько часов подремав, Петерис Стучка, бодрый и решительный, встретил членов Центрального комитета. Он отметил наиболее важные вопросы повестки дня дополнительного заседания Центрального комитета.

Он деловито и коротко охарактеризовал положение на фронте. Рассказал о настроении солдат в русских и латышских частях, об опасениях гражданского населения. Правда, реакция бросила на чашу весов истории все свои силы, но народ настойчиво требует мира, дать который способно только революционное правительство. Вот почему в этой критической для Латвии ситуации главная задача партии — организовать рабочих, сельских рабочих и солдат для борьбы за социалистическую революцию. Не будем падать духом, если поначалу и не всюду добьемся полного успеха. Рим строился не в один день.

Издания печати нашей партии должны выходить регулярно. «Бривайс стрелниекс» и «Лаукстрадниеку циня» [1]. Даже если бы их после каждого номера надо было бы выпускать под новым названием.

* * *

Валмиерец художник Бирзгалис сказал бы: «Этот человек ходит в маске, маска — это часть его существа».

Он — ветеран социал-демократического движения Латвии, Фридрих Весманис. Один из социал-демократов меньшевиков, бывший член Центрального комитета партии. С осени пятнадцатого года Фридрих Весманис работает в Петрограде, в Центральном комитете по обеспечению латышских беженцев.

Весманис сидел, словно высеченный из камня, не касаясь спинки кресла, обхватив необычно длинными пальцами края подлокотников. Его лицо и глаза за все время разговора почти не меняли выражения.

— Военная разруха, трудные хозяйственные и социальные условия создали в России плодотворную почву для всевозможных анархистских экспериментов. — Весманис говорил тихо, словно берег голос. — Россия сегодня окутана непонятным туманом. Нет человека, который мог бы сказать: нас ждет впереди то-то и то-то. Временное правительство отказалось обсуждать вопросы будущего Латвии, поэтому нашим общественным деятелям, и прежде всего социал-демократии,

---

[1] «Борьба батраков».

надо что-то делать, чтобы покончить с этой неопределенностью. Резолюция состоявшегося в Киеве съезда народов России требует преобразования империи в федеративную республику. Съезд выразил пожелание, чтобы Временное правительство издало декрет об объединении в единую автономную Латвию всех населенных латышами округов, а также населенной латгальцами части Витебской губернии.

— Нужно ли это понимать как поощрение к пропаганде создания обособленной Латвии?

— Примерно так этот вопрос прозвучал в Совете земли Видземе. А также в резолюции Исколастрела о правах Латвии на самоопределение. — Весманис, кажется, не расслышал иронии в словах Стучки.

— Значит, так этот вопрос прозвучал в Совете земли Видземе. По-моему, на выборах в Советы земли Видземе и видземских уездных Советов большевики получили шестьдесят процентов всех мандатов, потому что призывали избирателей голосовать за советскую власть.

Охотнее всего Петерис сказал бы Весманису правду в глаза. Но Фридрих Весманис упорно добивался сегодняшней встречи. Он извинился за свою опрометчивость во время дискуссии в рабочем просветительном обществе в пятнадцатом году («Я весьма сожалею, что тогда из-за моего доклада о теории Маркса у товарища Стучки были неприятности с молодчиками из охранки»). Он говорил о том, как часто его понимали превратно.

К тому же — и это самое существенное — есть подозрения, что Весманис поддерживает связь с меньшевистскими лидерами в оккупированной Риге. С Паулем Калнинем, его сыном Бруно, Фрицисом Мендером [1] и другими. Говорят, что эти так называемые интернационалисты мастерят или уже смастерили подпольный блок с буржуазными политиканами. И лозунг социал-демократии о «Свободной Латвии в свободной России» они объявили окончательно устарелым. Поговаривают, что рижские коалиционисты уже подготовили какую-то декларацию и собираются вручить ее канцлеру вильгельмовской Германии и социал-демократической фракции рейхстага.

Возможно, что деятелями оккупированной немцами части Латвии и контрреволюционным «Латышским временным национальным Советом», выношенным под крылышком Центрального комитета петроградских латышских беженцев, руководит одна и та же рука. Какая-то невидимая, протянутая издали рука...

Как-никак доморощенные буржуазные политиканы учились у немецких баронов, у которых отцы сегодняшних «пат-

---

[1] Мендер Фрицис (род. в 1885 г.) — юрист, участник революции 1905 г. С 1907 по 1917 г. жил в эмиграции, в Берлине. Виднейший представитель латышских меньшевиков.

риотов» с собачьей преданностью целовали руки и палки, полосовавшие латышским крестьянам спины. Для «великих патриотов», которые во время формирования стрелковых батальонов отказывались говорить по-латышски с художниками, делавшими наброски полковых знамен, монархия была их великой и неделимой родиной. Но если теперь «патриоты» пытаются оторваться от России, то они, наверно, учуяли более могучих сюзеренов, чем Керенский и Родзянко.

Из-за социал-патриотов из рода Калниней нечего себе ломать голову. Для них марксизм означает запрячься в фургон капиталистов. Как и для обожаемых ими Каутского, Тома, Вандервельде.

Петерис Стучка догадывался: меньшевиков пугают рабочие и солдаты, которые с великим единодушием поддерживают «да» и «нет» ленинцев. Совсем недавно еще так не было...

— В эти дни я совершенно случайно раскрыл книжку Кришьяниса Валдемара «Vaterländishes und Gemeinnützіges» [1],— Стучка показал маленькую, неказистую книжицу,— и наткнулся вот на что: «Было бы до глубины души обидно,— пишет Валдемар,— если бы хоть на короткое время на свете наступила пора, когда, как тысячелетия тому назад, люди по национальным причинам дрались бы и давили друг друга, когда каждый народ считал бы себя единственным избранным, образованным и полноправным, а все остальные — достойными порабощения дикарями, о благополучии и неблагополучии которых нечего беспокоиться, поскольку они называют хлеб, воду, небо и землю не теми словами, что мы». Это звучит вполне современно, не правда ли?

— Когда Совет курземского земства дискутировал об автономии Латвии,— ухмыльнулся Весманис,— Отто Карклинь тоже сказал: большевикам одинаково близки как латыши, так и русские, евреи и даже самоеды.

— Угнетаемые классы латышей, русских, евреев и всех остальных народов, позвольте уточнить...

— Пускай будет угнетаемые классы,— кивнул Весманис и бросил на Петериса беспокойный взгляд. — Товарищ Стучка... Я говорю: товарищ Стучка... Прошу вас на минутку забыть о разности наших взглядов и ответить мне как человек человеку: ведь то, что теперь защищают латышские большевики, означает призыв к полуграмотным массам России повторить неудачный эксперимент Парижа?

— Но девизом парижских коммунаров было: «Мы стережем тут все человечество».

— Ладно, оставим этот спорный вопрос,— недовольно за-

[1] «Отечественное и общеполезное» *(нем.)*.

ерзал Весманис.— Меня интересует одно: ради чего нам, маленькому, сильно пострадавшему в бурях истории латышскому народу, участвовать в столь утопическом эксперименте?

— Революция в России — первая революция, которая охватила целый народ, до самых его низов. А у латышского народа в данный момент только две возможности: или Советы и социалистическая революция, или обратно под власть помещиков. — Петерису Стучке уже становилось трудно сдерживать себя. — Таково, по-моему, положение Латвии. Или, может быть, товарищ Весманис не верит в социализм?

— В теперешней ситуации — нет. Даже в самых развитых странах еще далеко до идеала совершенства человечества. Homo Sapiens для этого еще не созрел. Эра осознанной необходимости, как Энгельс охарактеризовал коммунизм,— мечта будущего. Разумеется, есть несколько сот, допускаю — несколько тысяч высокоразвитых интеллектуальных индивидов, которые не скомпрометируют идею социализма. Но в общем?.. Романист Бальзак тонко разбирался в человеческой психике. Он сказал: «Я не верю в беспрерывное совершенствование всего общества, я могу верить только отдельным личностям».

— Бальзак не очень надежный авторитет в теории социализма.

— Может быть. Зато Карл Каутский, который много лет занимался исследованиями человеческой натуры...

— Карла Каутского Энгельс назвал прирожденным педантом и схоластом. Вместо того чтобы решать сложные вопросы, он запутывает самые простые, — ответил Стучка и сразу же спросил: — Если социализм — лишь мерцающий где-то вдали огонек, как это изображено в рассказе Короленко, так для чего в таком случае нужна партия пролетариата?

— Для чего? — виновато улыбнулся Весманис.— Когда-нибудь эра великого гуманизма все же настанет. Настанет утро, в которое все народы вместе пойдут войной против мрака. Когда-нибудь, в будущем. Сегодня мы должны смотреть реально на реальное, которое касается непосредственно нас. Если в этот век смуты и неведения судьба эпохи кладет нам в руки самостоятельную Латвию, то разве следует сомневаться в том, что самостоятельные, эмансипированные латыши куда быстрее увидят социализм?

Прежде чем прийти к своим убеждениям, Петерис Стучка прошел длинный тернистый путь. Он прошел его самостоятельно, локтями и плечами продираясь сквозь заросли жизненных противоречий. Иногда спотыкаясь, иногда ошибаясь, но всегда учась на ошибках, исправляя их и предостерегая других от повторения подобных промахов.

Он был не из тех, которые быстро вспыхивают, поддаются мимолетным впечатлениям. Фридриха Весманиса он знал

давно. Он всегда помнил о заслугах Весманиса на заре латышской социал-демократии и избегал всего того, что мешало бы сотрудничать с ним. (В пятнадцатом году они вместе с Весманисом и врачом Куршинским основали латышское просветительное общество «Культура».) Но если Весманис выступает против живого духа марксизма, то...

— Стало быть, Латвия, к которой вы стремитесь, — жестко сказал он, уже решившись на неизбежное, — не должна быть социалистической. О *такой* Латвии мечтают буржуазия и национал-шовинисты, спешащие использовать военную ситуацию для того, чтобы в наполовину очищенной от пролетариата стране создать ограниченную имущественным цензом буржуазную демократию. Защищать такую Латвию означает защищать национализм. А национализм — это болезнь, опасная прежде всего тем, что может затуманить даже самую трезвую голову.

* * *

От орудийного гула со стороны Невы задребезжали оконные стекла, пламя в лампе так вытянулось, словно вот-вот оборвется, но тут же, рассыпав сажу, спало, и мутное стекло совсем почернело от копоти.

Дора выпрямилась и, судорожно вцепившись пальцами в край стола, замерла.

Что последует за первым выстрелом? Залпы, взрывы?..

С северо-востока, примерно оттуда, где находился Зимний дворец, доносилась нарастающая трескотня. Словно много рук швыряло дробинками в жестяной лист. По окрестным улицам и по той же Бассейной громыхали броневики, тяжелым, гулким шагом шли пехотинцы. Вдруг наступила тишина, которую чуть погодя разорвал грозный окрик:

— Стой! Кто идет?!

Но вот окрик часового раздался снова и так близко, что Дора невольно оглянулась на двери. Не распахнул ли ее кто?

Может быть, было бы все-таки разумнее послушать Петериса и остаться в комитете партии Петроградской стороны? Среди товарищей. Если бы потребовалось, то перевязывала бы раненых. Ведь она изучала медицину!

Петерис так хотел, только она сама... отговорилась недомоганием. Ей казалось, что в *такую минуту* человеку не оратору, не организатору лучше оставаться при своей работе — при рукописях. Если не завтра, то послезавтра ее переводы и корректуры понадобятся победившей революции.

Победившей?..

Если революцией руководит Ленин, если восстание пролетариата и солдат происходит по всем правилам военного искусства, если люди ждут революционного переворота, ждут, как изнывающая от жары природа благодатного дождя, — пролета-

риат победит. Измученный феодально-капиталистическим рабством и империалистической войной, трудовой народ полагается теперь только на большевиков.

Дора вырвалась из оцепенения и потянулась к начатому письму — брату в Швейцарию.

У нее была мысль послать письмо кружным путем. При помощи товарищей из архангельской портовой артели. Весьма длинное послание, подобное тем, какие она несколько десятков лет тому назад из Монпелье адресовала рижанам. Но, рассказав о здоровье мужа и своем, она остановилась. Письмо оборвалось, как перетянутая нить.

Что именно писать Янису?

Что до конца марта, пока в Петроград из тюрем и ссылки не вернулись опытные партийные работники, Петерис работал по двадцать часов в сутки? В Исполкоме Совета рабочих и солдатских депутатов, в Петроградском комитете партии, в редакции «Правды», в десятке всевозможных комиссий. И вместе с Юлием Данишевским и другими выпускал «Циню».

Когда партия приняла «Апрельские тезисы» Ленина, Стучка выступал на митингах на предприятиях Петрограда, в казармах, в обществах демократической интеллигенции. Боролся за революционизирование латышских стрелков.

Затем работа на Тринадцатой конференции социал-демократии Латвии, на Седьмой Всероссийской конференции большевиков... Поездки в Ригу, куда перебрался Центральный комитет социал-демократии Латвии...

Петерис должен был представлять партию Латвии в Центральном Комитете большевиков и создавать Петроградское бюро Центрального комитета СДЛ.

У партии, когда она взяла курс на социалистическую революцию, развернулась полемика в печати с Фрицисом Мендером, Карлисом Куршевицем и их единомышленниками. После июльских событий перепугавшиеся социал-патриоты нашли новый «основной закон» общественного развития — закон чередования революции с ее разгромом. Они пытались уверить, что и в России в семнадцатом году неизбежна победа контрреволюции. Острее всего стала борьба в печати именно тогда, когда полиция и юнкера искали Ленина, чтобы погубить его, когда большевистская партия была наполовину загнана в подполье и Петериса, сжимая в руке кинжал, подстерегали наемники буржуазной демократии. В то время она, Дора, была связной между находившимися на полулегальном положении партийными работниками, Петерисом, типографиями и комитетом партии. Чтобы избежать шпиков, ей нужно было быть проворной, как медянка, быстрой, как птица, и зоркой, как косуля.

В июле Петерис разработал теоретические основы аграрной политики СДЛ, научно анализировал аграрное положение в Латвии. Доказал, что в Латвии, в деревне, главное — рабочий

вопрос. Предусматривая конфискацию помещичьих земель, надо подготовить переход земледелия Латвии от капитализма к социализму.

С двадцать восьмого февраля Петерис написал около сотни теоретических, актуальных, проблемных и полемических статей, много проектов решений и резолюций.

Кто знает, может, когда-нибудь, спустя годы, десятилетия, историки, изучая с академической скрупулезностью события бурного семнадцатого года, будут поражаться работоспособности, выдержке людей того времени. Исследователям, возможно, покажется, что столь огромную физическую и духовную нагрузку творцы социалистической революции выдержали только потому, что они и сами были сделаны из какого-то особого, небывало прочного материала. Возможно, так будут считать. Хотя в действительности солдаты исторической революции были обыкновенными людьми. Многие из них даже с сильно подорванным здоровьем. У них только были необычно пламенные сердца и ничем не сокрушимая вера в творческие силы народа.

В августе, после выборов в Рижскую городскую думу, Петерис уехал в Ригу, обещая через несколько дней позвать туда жену. Но она не успела сложить нужные для поездки вещи, как пришла весть о взятии Риги вильгельмовской армией. Катастрофа на фронте произошла неожиданно, со страшными последствиями. В столице говорили о невиданных жертвах среди гражданского населения и солдат. Шли слухи, что погиб и Петерис.

Несколько дней она прожила в страхе, пока товарищи не принесли ей только что напечатанный в Цесисе номер «Бривайс стрелниекс» со статьей Петериса. С призывом к латышскому народу.

Получив газету, она от внезапной разрядки заснула глубоким сном — словно свалилась в колодец. Проспала почти целые сутки и, очнувшись, увидела в комнате свет, а за столом Петериса, склонившего седую голову над бумагами.

Дора свела вместе локти под потертым платком, прижала руки к груди, чтобы немножко согреть их. Большинство петроградских домов теперь не отапливалось, люди обогревали жилые помещения лишь дыханием или настольными лампами, если, конечно, удавалось купить ржавого, мутного керосина, от которого фитиль обрастал толстым слоем нагара. От копоти одежда, книги и голодный паек хлеба пропитывались едким, горьким запахом.

Совершенно машинально она холодными пальцами отодвинула к краю стола сложенные стопками оттиски, тоже холодные как лед. (Она никогда раньше не замечала, что бумага может быть такой холодной!) Написанные Петерисом за месяцы революции работы. И полиграфические издания, привезенные из эмиграции Фрицисом Розинем (напечатанные за границей марксистские листки и брошюры). Материалы для архива

или музея социалистической революции, если такой возникнет. Надо полагать — когда-нибудь возникнет. Ничто, говорят, не проходит мимо эпохи незамеченным.

На улице вдруг воцарилась необычная тишина. Тревожная тишина. Казалось, притихли и привычные шумы городской ночи.

Что это означало?.. Неужели восстание кончилось?.. Надо было все же идти к товарищам. У комитета есть постоянная связь с Революционным военным советом, с руководством Второго съезда Советов, в котором работает Петерис.

Какое-то время — может, с полчаса, может, всего лишь несколько минут — просидев в напряженной настороженности, она принялась за гранки перевода. Пододвинула поближе лампу и снова взяла огрызок карандаша.

Да что, собственно, означает фраза, которую она сейчас пишет? Какой смысл в этом наборе слов? Что, в конце концов, происходит с ней?

Петерис появился неожиданно.

— Ты тут, наверное, переволновалась? — Он вошел в комнату и снял заснеженную шапку. (А она даже не заметила, что идет снег!) — Я оказался неподалеку и забежал тебе сказать,— продолжал он, явно возбужденный, — сказать, что первая в мире республика трудящихся основана! Государство рабочих и крестьян! Уже есть декрет Ленина о немедленном заключении мира. Помещичьи земли конфискуют, орудия производства перейдут в собственность народа... Дорочка... — начал он патетически, но осекся, затем опустился в кресло рядом с женой, взявшись за подлокотники. — И знаешь, Дорочка, какая мне пришла в голову мысль? Победившая революция ведь может освободить меня от навязанной мне профессии. От адвокатуры, от юриспруденции.

* * *

Ленин пишет, склонившись над тетрадью, которую держит на коленях, почти по самые плечи погрузившись в громоздкое, покрытое белым чехлом кресло. Как всегда в поздние рабочие часы, которые теперь затягиваются за полночь. Владимир Ильич работает, скинув пиджак (пиджак висит рядом на спинке стула). О напряжении мысли говорит быстро и беспокойно скользящая по бумаге рука.

Петерис Стучка решил, что он пришел некстати. Должно быть, посыльный что-то напутал, вызвав его из Особой следственной комиссии Военно-революционного комитета, где он занимался делом участников контрреволюционного мятежа гене-

рала Краснова. Прикрыв за собой высокие белые двери, он в нерешительности остановился, но Ильич кивком головы пригласил его подойти.

Тень усталости лежит на лбу и в уголках рта Ленина. Только пытливые глаза, как всегда, глядят живо и ободряюще.

— Совет Народных Комиссаров поручает Петру Ивановичу Стучке руководство Народным комиссариатом юстиции, — сказал Ленин.

— Но, Владимир Ильич...

— На-до! — Засунув большие пальцы за проймы жилетки, Ленин подошел вплотную к Стучке.

— Но, Владимир Ильич... Ведь на Втором Всероссийском съезде Советов в народные комиссары юстиции наметили товарища Ломова.

— Который все еще не приступил к работе. Зато в Смольном есть Петр Иванович Стучка. Автор только что опубликованного декрета об отмене сословных и гражданских рангов. И автор проекта декрета номер один о судах.

— Владимир Ильич знает, что текст декрета Стучка писал не один. К тому же в комиссии ВЦИКа у проекта появились противники. Не только среди юристов старой школы, но и...

— Но и среди левых эсеров и некоторых товарищей большевиков. Знаю, очень хорошо знаю. — Ленин слегка выпрямился. — Но при всем при том — основные принципы проекта абсолютно верны. Сущность революции в том, что новый класс не управляет при помощи старой машины. Революция не опирается на старые правовые нормы, на законность, возникшую в классовом обществе. Вместе с господствующими классами уничтожается и право, которое эти классы создали в своих интересах.

Так что, Петр Иванович, надо работать в Комиссариате юстиции. Вернее говоря, надо создать комиссариат на базе развалин бывшего Министерства юстиции. Как известно, и старые служащие ведомства юстиции объявили бойкот советской власти.

— Владимир Ильич... — сказал он, словно запинаясь. — Юристом я стал случайно, вернее говоря, — подчинившись воле отца. Чуть ли не двадцать лет я ждал той минуты, когда смогу скинуть адвокатскую мантию и не должен буду больше жонглировать статьями кодексов. Был уверен, что революция...

— Освободит вас от обязанностей юриста? Так?

— Так, Владимир Ильич.

— Революция не может освободить марксиста, у которого юридическое образование, от созидания социалистического законодательства. Не может. Для первого в мире государства рабочих и крестьян созидание нового, построение нового — вопрос жизни, требующий решения в любой экономической и общественной области.

— Однако... В Комиссариате юстиции уже с самого начала необходим, по крайней мере, еще один коммунист.— Стучка понял, что отговариваться нет смысла.

— На кого Петр Иванович рассчитывает?

— На товарища Козловского. Вновь назначенного председателя Республиканской следственной комиссии.

— Которого не выносят левые эсеры? За дело об отчуждении дворца Кшесинской, за марксистское толкование проблем права собственности? Ладно, подумаем. А теперь, пожалуйста, зайдите к Бонч-Бруевичу.

— Вот мандат,— перестав диктовать машинистке, Бонч-Бруевич подал Петерису листок с машинописным текстом, под которым был фиолетово-красный оттиск печати.— Хотя тебе там навряд ли какой-нибудь документ понадобится. Разве чтобы предъявить швейцару, если только господа чиновники и его не заманили в свою кампанию бойкота. Советские работники, которым следует знать о назначении товарища Стучки, все информированы. Между прочим, против твоей кандидатуры нигде возражений не было. Очевидно, твоя довоенная репутация петроградского адвоката, специалиста по гражданским делам, еще не совсем поблекла.

— Может быть, и так...— ответил Стучка и, поняв, что сказал не то, добавил, что просил Владимира Ильича послать в комиссариат также товарища Козловского.— Мы с ним сработались еще с девяносто седьмого года. Вместе политических защищали.

Но и этого не нужно было говорить Бонч-Бруевичу. Разве ему не известно было о сотрудничестве в довоенные и военные годы двух преследовавшихся царским правительством большевиков-юристов? Они сотрудничали легально — на судебной работе, нелегально — в партийных организациях.

— Подыщем еще кого-нибудь из товарищей и кроме Козловского. Для ведения текущих дел,— пообещал Бонч-Бруевич.

Для текущих дел?.. Правильно, в комиссариат ведь будут приходить посетители. С людьми надо будет разговаривать, разъяснять, указывать, куда обращаться, как поступать. Без этого не обойтись. Но ему, Стучке, надо позаботиться, чтоб скорее вошел в силу только что разработанный проект декрета о судах.

На площади перед Смольным, как и во время Октябрьского переворота, дымили костры. Рассевшись вокруг на корточках, красногвардейцы и солдаты тянули к пламени распухшие на ветру и холоде руки. Быстрым, походным шагом прошел отряд революционных солдат, посверкивая примкнутыми штыками в отсвете костров и холодных звезд. Наверно, шли ликвидировать новое, только что раскрытое контрреволюционное логово. Или же патрулировать какую-нибудь беспокойную часть города.

Революция продолжалась.



ОСТРОВОК В БУШУЮЩЕМ ОКЕАНЕ

«Когда мы говорим о деятельности П. Стучки, нам при этом приходится главным образом говорить о КПЛ», — писал в 1920 году Эрнест Эферт (Клусайс), подчеркивая неразрывную связь практической деятельности Петериса Стучки с деятельностью Коммунистической партии Латвии.

1. «ДВЕ ГОЛУБКИ ПО НЕБУ ЛЕТЕЛИ»

— Бе-е-гом!

Сотня ног поднимает снежную пыль, она липнет к лицу и, подтаивая, противно-солеными каплями стекает на губы.

Солдаты в задубевших на морозе шинелях тяжело плюхаются в снег, и белая пыль взлетает в воздух, словно вскинутая огромными лопатами. У новобранцев перехватывает дыхание.

— Вста-ать!.. Бе-е-гом!..

— Ло-жись!..

Фельдфебель Пашкевич сегодня утратил всякое чувство меры. На стрельбище, к расположенному в четырех верстах Трикатскому болоту, они выступили еще в глубокой темноте. Стрельба по движущимся и неподвижным целям продолжалась до обеда. Когда солдаты проглотили по четверти котелка чечевичной похлебки, которую повар доставил почти такой же холодной, как снег на болоте, оставалось еще отстреляться из положения лежа. На это понадобилось бы еще часа полтора. И тогда они вернулись бы в натопленные квартиры. Вернулись бы...

Но двое самых молодых в роте, Екаб Гробинь и Микус Озолинь, которых Пашкевич за меткую стрельбу поставил другим в пример, надумали выпалить по мишени лежащего рядом товарища — неудачливого стрелка Бодниека. Надумали — и несколько пуль всадили в соседнюю цель.

Когда проверяющий принес фельдфебелю щиток Гробиня, на том не оказалось ни царапинки, а в мишени Бодниека — восемь пробоин. Пашкевич, яростно выругавшись, наотмашь ударил парня кулаком в лицо. Фельдфебель замахнулся еще раз. Но несколько бывалых фронтовиков угрожающе вскинули винтовки, и он, отступив, завопил:

— Кругом!

И началось.

— Бе-гом!.. Ло-жись!.. Бе-гом!.. Ло-жись!..

Спины солдат, носившихся по заснеженным полям Трикатского имения, дымились, как у загнанных лошадей, сжимавшие винтовку пальцы немели.

Но Пашкевич был неутомим. Он даже не охрип от крика на ветру и ни разу не споткнулся, хоть и бежал вместе с месившей рыхлый снег полусотней задыхающихся солдат. Должно быть, этого лимбажского парня с длинной, будто нарочно вытянутой кем-то вперед, челюстью потому и поставили обучать взвод, что он гонял солдат до потери сознания.

На занятиях по «словесности» фельдфебель без конца заставлял повторять читавшийся им текст из замусоленной книжицы, которую называл «Словником». В «Словнике» были вопросы и ответы на каждый из них. Вопросов, или пунктов, как они назывались, было много, но самыми главными считались два первых:

«Кто твои внешние враги?» Ответ: «Немцы, турки, евреи». «Кто твои внутренние враги?» — «Евреи и социалисты».

Вначале, сразу после того, как Екаб Гробинь прибыл в Трикату из Петрограда со сформированной там группой латышской молодежи, Пашкевич пытался дополнять текст «Словника». «Кто такие немцы? — спрашивал он и сам отвечал: — Немцы — это прусские свиньи, прусские людоеды, каиново отродье. А страна их — государство дикарей, дьяволов и людоедов».

Но при этом не обходилось без вопросов со стороны обучаемых, и фельдфебель невольно попадал впросак. Однажды он, отвечая на вопросы, необдуманно приравнял немецких баронов и пасторов к свиньям и людоедам. Об этом узнало высшее начальство, и Пашкевича вызвали в штаб, откуда он вернулся спустя несколько часов с еще более вытянувшимся лицом. И впредь на занятиях уже ничего, кроме напечатанного в «Словнике», новобранцам в голову не вдалбливал.

«Словник» каждый солдат должен был знать назубок и, спрошенный командиром, твердо, без запинки отбарабанить пункт за пунктом. И да смилостивится господь над тем, кто косноязычен или заика от рождения!

В полдень ветер переменился, подул с запада, погнав над Трикатой зловещие, иссиня-черные тучи. Они стремительно набухали, и, без того короткий, зимний день быстро темнел.

— Встать! — скомандовал фельдфебель только что легшим солдатам. — Равняйсь! Напра-во! Направление — пасторская мыза, ша-гом марш!

Направление — пасторская мыза... Крюк в две трети версты, когда люди уже еле волочат ноги. Напрямик они уже минут через двадцать были бы дома. У повара под котлом еще

дотлевал бы огонь. И они нахлебались бы горячего варева, нацедили бы в котелки еще теплого кипятку...

Направление — пасторская мыза... При одной мысли об этом у Екаба Гробиня на глаза навернулись слезы. Нет, нет, Екаб не неженка, к трудностям он привык с детства и сюда, в стрелки, подался, готовый к любым невзгодам. Готовый ко всему, что приходится терпеть солдату! Ради светлого будущего латышского народа, ради разгрома исконных врагов латышей — немцев! Но Пашкевич явно издевался, и этого нельзя было терпеть. Мимо пасторской мызы фельдфебель повел взвод лишь потому, что хотел покрасоваться перед кухаркой преподобного отца. Смотри, мол, какой я чин! Прикажу — маршируют, прикажу — поют, хоть им и не до песен.

Екаб вместе с остальными размахивал в такт правой рукой. Прижимал левой к плечу винтовку и печатал шаг по укатанной дороге. Пашкевич отошел в сторону, посматривая, равномерно ли сгибаются в локте руки и достаточно ли твердый у солдат шаг.

К пасторской мызе взвод подошел уже в густых сумерках. В окнах его преподобия тускло светились огни. Но возвращение солдат не осталось здесь незамеченным. Как только их шаги прогрохотали по мосту, дверь жилого дома стукнула, на крыльце под навесом задвигались тени.

— Пе-сню! — протяжно скомандовал фельдфебель.

— «Две голубки по небу летели...» — раздался до смешного слабенький тенорок, точно стрекот кузнечика.

— Отставить! — заорал Пашкевич. — Ногу! Раз-два!.. Раз-два!.. Пе-сню!

— «Соседский Янис»! — крикнул Озол. И стрелки подхватили изо всей мочи:

Соседский Янис, вот нахал,
Пумпиньрасаса!
Отливая, девке помахал,
Пумпиньрасаса!..

— «Эй, пумпинь, пумпинь, пумпиньрасаса!..» — вопила колонна, а мастера залихватского свиста подсвистывали, как в русских солдатских песнях.

Песня звучала оглушительно: казалось, мимо пасторской мызы проходил целый полк. Кто знает, может, именно отсюда, из Трикаты, в конце шестнадцатого года и пошла эта столь широко распространившаяся потом в латышских полках «Пумпиньрасаса», которую немцы называли латышским солдатским «гимном». Услышав ее, они поднимали тревогу — латыши пошли в наступление!

— «Эй, пумпинь, пумпинь, пумпиньрасаса!» — пел во весь голос вместе с остальными Екаб Гробинь.

Фельдфебель опять прокричал что-то. Но его уже не слушали.

* * *

На усадьбе Яункепитес, где еще недавно по воскресеньям сходились послушать слово божье молельщики из окрестного братства гернгутеров, старый хозяин Микелис вместе с Библией в деревянной обложке и рукописными песнями «Небесного агнца» был загнан в полутемную каморку, а в прежней молельне — главной комнате — и на свежевыбеленной хозяйской половине теперь предавались мирским утехам. И народ сюда собирал не кто иной, как сын Микелиса — молодой хозяин Яункепитес Петерис Риевите со своей женой Матильдой и двумя дочерями.

С тех пор как в Видземе появились военные обозы и всадники с пиками, а латышскую землю наводнили беженцы из Литвы и других краев, казалось, все перевернулось вверх дном. Над старыми добрыми обычаями смеялись и глумились почище, чем упоминаемые в церковных притчах язычники над первыми христианскими общинами. Лучший ячмень бросали в чаны, чтобы он там бродил, отстаивался; полученное пойло разливали по бочкам, ведрам, кувшинам, манеркам. И этой гадостью поили военных, которые перлись сюда, точно раньше пьяницы в кабаки у имений и церквей.

С той поры как на Трикатской мельнице, у шерсточесальни и на пасторской мызе задымили полевые кухни и затрещали костры, слащаво-горькой пивной брагой запахло не только на дворе хозяина усадьбы Яункепитес. Гнать это пойло стало вторым ремеслом многих хозяев. Не только ради заработка, но и по соображениям другого порядка.

Впервые появившиеся летом четырнадцатого года на доме волостного правления и полосатых дорожных столбах мобилизационные приказы (красные для людей и желтые для лошадей) стали вывешивать теперь все чаще и чаще. И если парней забирали в армию господа на призывных пунктах, то пригодность для войны крестьянских лошадей, повозок, саней и седел определяли офицеры расквартированных в имении воинских частей. Их расположение или нерасположение решали судьбу хозяйской вороной, сивой, гнедой или белой лошадки.

Кроме того, армии требовались люди на трудовую повинность, возчики с телегами и санями. Война пожирала уйму конопли, шерсти, хлеба, овощей, табака и еще много чего. Закупки по казенным ценам следовали одна за другой, затем появилось такое неизвестное доселе латышам слово, как реквизиция. Но если хозяин, которому угрожала и мобилизация и реквизиция, ладил с господами военными и дома у него была посудина с хмельным пойлом, которое к тому же подносила смазливая женщина, то все как-то улаживалось.

У хозяина Яункепитес были две дочки: Элла, еще весной подготовившаяся к конфирмации и учившаяся в прогимназии, и девятнадцатилетняя Роза, разлученная первой мобилизацией с женихом. И та и другая были не прочь поразвлечься с бравыми защитниками отечества, попеть и потанцевать. И потому в Яункепитес чуть ли не каждую неделю давался бал. Оркестр: гитара, цитра, скрипка или гармонь да еще две-три гребенки.

У дочерей хозяина в соседних дворах были подружки, и когда они собирались, начиналось веселье. Порою, если оно становилось чересчур шумным, открывалась дверь, и через бревенчатый порог переваливал старый хозяин Микелис. Вот и теперь он трясет белой, как льняная кудель, головой и бубнит что-то тонкими мертвенно-бледными губами.

Екаб Гробинь, тоже ходивший в Яункепитес, не разобрал еще, что именно бормочет гернгутеровский старец. Может, потому, что Екаб был занят в оркестре: на обвернутой в папиросную бумагу гребенке он вместе с музыкантами наигрывал падеспани, падекатры, краковяки, вальсы и польки. Товарищи уверяли, что у Екаба здорово получается и без него танцам не хватало бы жизни. И пускай держится поэтому вместе с ребятами. Екаб так и делал, хотя охотнее скакал бы с хозяйской Эллочкой в польском краковяке и, подпрыгивая на поворотах, лихо хлопал бы голенищем о голенище. И, как остальные своим девицам, нашептывал бы Элле на ухо какую-нибудь ласковую чепуху:

...И нет никого у сердца моего,
Никого, кто чувствовал бы, как оно...

Известно, у латышских стрелков благородная цель — изгнать прусских людоедов из Курземе. Избавить мирных латышских пахарей от кабалы и горя, возродить героический дух предков. Так что Екабу Гробиню думать о девушках как бы и не пристало, хотя ребята в роте говорили, что воинская клятва матери Латвии никак не противоречит обещаниям, данным прелестной красотке. Прелестной латышской девице — не какой-нибудь случайно встреченной на танцульке солдатской присухе. «Солдатская присуха, понимаешь, есть солдатская присуха,— поучали Гробиня более опытные ребята. — Ясно или нет?» — «Ясно»,— соглашался Екаб.

Но ему это было не совсем ясно. По разумению Екаба, любовь бывает только одна. Не станешь же делить ее на зерна и мякину, как умолот в риге. Возникнув, она сверкает, как «звезда единственная»,— так поется в песне.

По совести говоря, в любви Екаб был полным невеждой. Некоторые девушки ему, правда, нравились. Незадолго до войны (в то время он с пастушьей торбой на плече ходил за телятами и коровами хозяина Трейлибов и в конце недели в

полдень, вместо отдыха, бегал за три с половиной версты к калниешской учительнице за книгами) он решился на танцульке под открытым небом послать «почтой амура» письмецо сестре калниешского кузнеца Петериса. Разумеется, без подписи и без номера, который каждому выдавался вместе с входным билетом и прикалывался к лацкану пиджака. На танцевальную площадку он не попал — тридцати копеек на билет не было. Екаб еще ни разу не пожимал девушке руку, не заглядывал в глаза, никогда ни с кем не гулял и не целовался.

Да, младшая дочка Элла Екабу нравилась. Думая о ней, он без труда мог простоять час под ружьем, с двухпудовым, набитым песком ранцем на спине. Фельдфебель Пашкевич частенько наказывал его так. Стоя под ружьем, Екаб видел в своем воображении бойкую быстроглазую Эллу с губами цвета спелой земляники и темно-русыми косами за спиной.

Н-да... Впрочем, не считая того единственного случая, когда она коснулась губами его щеки (он снял с ее плеч коромысло с ведрами ключевой воды и отнес к пивному чану ее отца), Элла особой благосклонности к Екабу не проявляла. Приветливая, она сновала взад и вперед, изгибаясь как трава в быстро бегущем ручейке. «Друзья, радость — она для нас, кто может молодости в этом отказать?» — напевала Элла. И Екабу страшно хотелось, чтоб певунья задержалась подле него. Только ей постоянно некогда. А сейчас и вовсе. Рождество все-таки. А на рождество, кроме военных, в Яункепитес были и другие гости.

Микелис подошел к музыкантам. Этого он еще никогда не делал. Должно быть, хотел попрекнуть — гуляют, безбожники, в рождество, в час рождения Спасителя! Он наклонился и показал рукой на хозяйскую половину: «Опицер... строгий опицер...» Музыканты наконец сообразили, о чем речь. Стало быть, в смежную комнату, где развлекались те, у кого вдоволь зеленых трешниц и синих пятерок, заявился какой-то незнакомый офицер. И Микелис хотел предупредить солдатиков. А они-то думали, что старый святоша только и знает, что сетовать на распущенность молодых.

Музыканты замолкли. Недовольные танцоры остановились, продолжая обнимать своих разгоряченных партнерш.

— Играйте, приятели!.. Играйте!..

Но распахнулась настежь дверь хозяйской половины, и в ней появился незнакомый офицер в папахе и шинели. Он обвел запыхавшихся танцоров холодным, отчужденным взглядом.

— Кон-чай! Одевайся! — крикнул стоявший рядом с ним прапорщик Бинав. С его ведома и благодаря выпрошенным его стараниями «банным деньгам» нижние чины могли потанцевать в Яункепитес.

В отличие от остальных офицеров, сторонников «Ригас авизес» и «Дзимтенес вестнесис»[1], прапорщик Лудвиг Бинав был либералом. «Латышские батальоны,— говорил он,— самые демократичные, демократизм проложил надежную дорогу их популярности». При каждом удобном случае Бинав повторял слова из передовицы самой крупной националистической газеты. По мнению прапорщика, стрелкам, чтобы спасти отечество и победить немцев, недостаточно лозунга консервативных патриотов: «Надо нести жертвы, требуемые государем и начальниками». Он считал, что у латышских стрелков следует развивать интеллект. Их интеллигентность станет той силой, которую не сокрушит даже самое совершенное вражеское оружие. Ведь не по дурости своей Вильгельм Второй, этот берлинский тиран Европы, назвал латышские батальоны «звездами русской армии».

Иной раз по вечерам, когда фельдфебель Пашкевич вдалбливал в головы солдат пункты «Словника», прежде чем приступить к «Отче наш», «Боже, царя храни» и «Господи, благослови Латвию», Бинав заводил патриотическую беседу. Эти беседы привлекали тех, кто был помоложе. Прапорщик вспоминал старину, проводил параллели между прошлым и настоящим, пускался в исторические экскурсы. Историю он знал хорошо. Он рассказывал не только про описанные местными газетами победы латышских рот, одержанные над немцами в Курземе в апреле пятнадцатого года и под Слокой в октябре того же года, но и о героических делах предков в двенадцатом и шестнадцатом веках, о которых почти ничего не знали большинство солдат. Например, о том, как древнелатышские воины собирались под стяги псковских и полоцких князей, вместе с кривичами трепали крестоносцев, помогали стрельцам царя Ивана Грозного громить немецкий орден.

«Парень что надо... — восхищался Бинавом Микус Озолинь. — Из настоящих патриотов. Говорят, у Бинава что-то общее с капитаном Бриедисом. О! Попасть бы нам к Бриедису!»

«Попасть бы...» Екаб Гробинь тоже мечтал попасть к командиру, которого так возносили националистские газеты.

— Господин поручик, разрешите их увести... — обратился Бинав к незнакомому офицеру. И, получив разрешение, скомандовал: — За мной, в расположение роты, шагом ма-арш!

— Нагорит нам. Схлопочем по нескольку суток, как пить дать,— опасались ребята, топоча в темноте по снегу. — Этот поручик, наверно, тоже из штаба, из любителей погонять солдат. Видел, как зло косился на нас. И унтеры, и Бинав тоже нарвутся.

---

[1] «Вестник родины».

— А может, и не нарвутся?.. Может, нас в маршевую послать хотят. Вот уже несколько дней, как писаря в канцелярии о Рижском фронте поговаривают. На рождество наши наступали. Латышские полки наступали.

— Хоть бы так... — прошептал Екаб.

— Приставить ногу! — донеслась сквозь завывание ветра команда прапорщика Бинава.

* * *

Да, подопечных фельдфебеля Пашкевича зачислили в маршевую роту. Два месяца их муштровали, заставляли маршировать, пробегать большие расстояния и топтаться по-японски на месте, отдавать офицерам честь, знать имена и титулы членов августейшей царской фамилии, петь «Боже, царя храни». Они зубрили «Словник», учились обращаться с винтовкой. Командование уже считало их окончательно готовыми для новой бойни, хотя совсем недавно роту пополнили новобранцами старшего возраста, не успевшими еще как следует винтовку в руках подержать.

— Прусские пули одинаково берут обученных и необученных,— заорал Пашкевич на стариков, когда они стали жаловаться на свою неподготовленность. — С пруссаком сцепишься, сразу и стрелять и колоть научишься. Понял? Или...

— Или конец тебе... Ха-ха-ха! — смеялись молодые. У них словно выросли крылья. Наконец-то в бой! Наконец-то они померяются силами с извечным врагом латышского народа, с теми, кто бесчестил оставшихся за Даугавой женщин, топтал коваными сапогами курземские пшеничные поля. С теми, кто ломал яблони, поганил чистую воду рек. С теми, кто опустошал латышские дворы, чтобы вместо них могли построить себе хоромы прусские колонисты.

В приложении к последнему календарю Кукура (календарь этот можно было найти теперь в любом сельском доме) была издана книга «Немцы в Курземе», в которой описывались злодеяния захватчиков на порабощенной родине. Издевательства немцев над женщиами, детьми, стариками и больными. Немцы в Латвии буйствовали, терзали ее живую плоть. Пусть синим пламенем горит прусская земля, пусть развеется она пеплом, рассыплется черными искрами! Молодые стрелки твердо верили в свое назначение.

Свободу отчизны
Кровью мы купим,
Любовь к отчизне
Делами подтвердим!

— Пустомели этакие. Ветер у вас в головах,— принялся стыдить безусых юнцов стрелок Крузе, он уже побывал на

фронте. — Новые Кузьмы Крючковы объявились, видали? И еще говорят — они рабочие ребята, ели, мол, хлеб, добытый своим трудом.

Крузе уже не раз пытался образумить рвавшихся в бой юнцов. Таких, как Екаб Гробинь, Микус Озолинь. Говорил, что на фронте, в окопах — ад кромешный, что на войне одного солдатского героизма, одного умения стрелять и колоть мало. Не бесстрашие солдат решает исход боя, а совсем другие силы.

Екабу Крузе толковал об этом больше, чем кому-либо. И язвительно добавлял: «Сыну Каспара Гробиня, воспитаннику газетчика Стучки, надо бы поумнее быть».

Екаб считал, что Крузе нытик и болтун: все армейские интенданты у него мошенники, командиры невежды. Но Крузе бывалый солдат, один из немногих латышей, что в июле пятнадцатого года били пруссаков под Елгавой и в Нижнем Курземе, гнали их от Слоки и в марте этого года прорвали немецкий фронт в районе Кекавы — Олайне. А то Екаб наверняка не удержался бы и доложил о болтовне старика помощнику командира взвода. Тот в разговорах с глазу на глаз обычно выспрашивал солдат, о чем они говорят между собою. Но старый Крузе награжден медалями, дважды штопали его в госпитале. Кроме того, ротная молодежь поклялась ни о чем прапорщикам, унтерам и ефрейторам не говорить, если даже что-нибудь известно. «Служба службой, а нам друг за друга стоять надо!»

Екабу Гробиню обидно было, что бывший фрезеровщик с фабрики «Фельзера» попрекал его: дескать, он, Гробинь, у Петериса Стучки жил, а *таким* остался.

Сегодня на утренних ротных занятиях присутствовал также приехавший с фронта поручик Хейне. Хейне из старых офицеров, служил в русских войсках в Польше. Участвовал в больших наступлениях, попал в окружение, прорывался с боями. Прошел через огонь, воду и медные трубы. (Солдаты всегда все быстро узнают.)

Во время обеда Хейне не ушел от роты, как обычно делали офицеры запасного полка на учебном плацу в Трикате, остался около полевой кухни, где выдавали похлебку. Солдаты, получив еду, расселись на корточках на снегу и принялись обедать.

— Ну как, вкусно? — знаком он велел продолжать обед и подошел к группе солдат, в которой был и Екаб Гробинь.

— Невкусно.

— Почему же?

— Посмотрите сами, ваше благородие,— вытянулся перед офицером Отис Шведер. Помешал ложкой тепленькое мутное варево в круглом жестяном котелке и подал его офицеру. — Посмотрите. Только я посоветовал бы вашему благородию

сначала понюхать. Тогда сразу поймете, что за вкус у похлебки.

Отис Шведер портовый грузчик, он уже успел у самого черта на рогах поболтаться, как сам хвастал. Шведер себя в обиду не даст. Отис однажды уже жаловался на плохой харч «через голову непосредственного начальства», за что отсидел на гауптвахте и отстоял под ружьем с ранцем, набитым песком и кирпичами.

— Опять нарвешься,— пробурчал Микус Озолинь. — И еще в такое время!..

— Вас часто так кормят? — Хейне поболтал ложкой в котелке Шведера.

— На этот раз супец из ботвы кормовой свеклы с чечевицей. Это солдатику на сочельник, ваше благородие,— поддержал Шведера другой солдат.— А обычно нас отваром из гнилой салаки кормят. Почуяв запах солдатского обеденного котла, даже голодные трикатские собаки и кошки еще издали поворачивают назад, поджав хвосты.

— Выливай! — Поручик выплеснул похлебку Шведера на землю.

Мутно-бурая жидкость полилась из котелков на утоптанный снег, оставив на нем желто-коричневые пятна: казалось, сюда после большого пробега согнали обозных лошадок запасного полка. Солдаты все, как один, вылили противное варево, хотя позавтракали тоже скудно.

«На фронте будет иначе...» — утешали друг друга сверстники Екаба. «На передовой солдат сытно кормят. Кроме того, у фронтовика в мешке на всякий случай есть консервы и сухари. Потом всякие там подарки национальных комитетов — видземская ветчина, колбаса, белый хлеб. Так что можно пока и жратву похуже потерпеть...»

Так рассуждали молодые и не поддавались уже побывавшим в госпитале «дурням», которые подстрекали вылить эту бурду и потребовать от командира хорошей пищи.

— Наконец... Наконец-то будем есть от пуза... — Опорожнив котелки, Озолинь и Екаб вместе со всеми встали в строй (хоть никакой команды не было).

Они не ошиблись. Поручик Хейне вызвал ротного каптенармуса, приказал открыть пакгауз, дотошно осмотрел ряды бочек, кадок и ящиков со шпиком, крупой, сушеными овощами и велел повару заложить в котел хорошие продукты.

— Сварить из этих! И каждому, кто захочет, выдать двойную порцию.

— Ур-ра-а! — закричали ребята. Не останови их поручик Хейне знаком руки, они, ей-богу, стали бы шапки в воздух кидать.

— Видишь, что значит на фронт идти!

После обеда потрепанное обмундирование обменяли в каптерке на новое, запихали в солдатские вещевые мешки смену белья и портянок, и ребята из Трикатского лагеря, с новыми, зеркальными котелками, лопатами на коротких черенках, с колышками — закреплять палатки — и новыми японскими винтовками на плече, зашагали к железнодорожной станции. Выданные винтовки молодежи не понравились. Тоненькие дудки какие-то и без русского штыка! Японский кухонный нож это, а не штык!

Из пасторской мызы, с мельницы солдат вышли проводить десятка два подростков и несколько любопытных женщин. Только и всего. И никакого патриотического подъема. Даже цветочка или зеленой ветки мяты не принесли уходящим героям. А еще в прошлом году о таких же проводах с восторгом писали националистские газеты. Конечно, эта рота запасного полка не первой уходила отсюда на фронт. До нее этой же дорогой протоптали и другие маршевые роты. И весною, а не в трескучий мороз! Но при всем при том...

Всегда больно разочаровываться в своих надеждах. Поэтому не очень весел был и Екаб Гробинь. Из Яункепитес никто не пришел. А ведь ребята передали от него Элле записку. Правда, без прямого приглашения: «Приходи проводить...» Но это и так понятно.

В сосняке у станции, где стрелкам предстояло погрузиться в вагоны, маршевую роту встретили подполковник и другие офицеры запасного полка. И еще бравый детина в черном пасторском облачении. Талар был надет поверх шубы, на груди белел матерчатый крест.

Роту построили в каре на открытом поле. Бинав и Пашкевич прошагали вдоль колонны.

— Поднимите три пальца и повторяйте за мной слова священной присяги,— сказал пастор. Он говорил протяжно, нараспев, но очень отчетливо. Казалось, что резкий, порывистый восточный ветер только для того и дул, чтобы донести пасторские слова до построенных в каре, навьюченных военным снаряжением солдат с обнаженными, потными после марша головами...

— Клянусь!.. — повторяли ребята за пастором.

После присяги подполковник поздравил стрелков, направляющихся на фронт.

— Вы счастливчики, вам суждено проложить первую тропу к Берлину! Вы должны ускорить освобождение Курземе, начатое вашими братьями по оружию... Будьте героями! Будьте достойными потомками своих славных предков — Иманты, Таливалдиса, Виестура!

* * *

В пути между Цесисом и Сигулдой к солдатам в вагон зашли ротные офицеры. Нагрянули неожиданно, точно призраки, появились в прокуренном вагоне четвертого класса. Стрелки заметили их, когда поручик Хейне задел за небрежно поставленную винтовку и та с грохотом рухнула на пол.

— Вольно, вольно... — сказал Хейне. — Ну, как живете? Курите, поете? И в картишки режетесь?..

— Так точно! Курим и в картишки режемся.

— Хорошо, так и надо. Продолжайте в том же духе.

— А чтоб не скучали, у кого карт нет — нате, газетки почитайте. — Прапорщик Бинав кинул сидевшим без дела несколько газет. Одна досталась и Екабу Гробиню.

— Ужин раздадут в Инчукалне. Праздничную еду: гороховый суп из свиных голов с перловкой. — В дверях он обернулся и на прощанье козырнул.

— Видал? — присвистнул Шведер, разгоняя шапкой густое облако дыма. — Видал, какой обходительный. Не то что Пашкевич.

— Пашкевичу еще покажут, — отозвался кто-то из побывавших на фронте.

— Может, ты покажешь?

— Неважно — я или другой.

— Хватит трепаться! — тяжело громыхая сапогами, Крузе протиснулся к Екабу Гробиню. — Покажи-ка свои газеты. Что там? Нюх подсказывает мне, что обходительность его благородия горелым пахнет. А ну-ка, что там о Рижском фронте?

— О Рижском фронте... как будто ничего нет...

— Ничего нет, говоришь?.. Понятно. Его благородие подсунул тебе старую «Дзимтенес атбалсс». Я эту пачкотню еще весною в госпитале видел. Именно эту... «Латыши в этой войне, отчасти своими стрелковыми батальонами,— заметьте, щелкопер этот говорит о стрелковых батальонах, тогда полков еще и не было! — доказали, что они не только народ радивых земледельцев, мирных тружеников и поэтов-мечтателей, но и народ смелых, выносливых и сноровистых воинов, способных на рыцарские подвиги, требующие мужества и стойкости». Рыцарские подвиги — и придумают же? Стало быть, мы с тобой — рыцари? Плюньте мне в глаза, если на рижских позициях, куда нас посылают, не завертелась большая мясорубка. Я, братцы, уже кое-что повидал на своем солдатском веку. Если золотопогонники с солдатами заигрывать начинают, то знайте — где-то каша заварилась, которой и тебе не миновать. Чего, кореш, вылупился? Подъедем к Риге, увидишь, что санитарные поезда везут. И послушаешь, что фронтовики говорят.

И на самом деле Ропажи оказались забитыми вагонами Красного Креста. А санитары шепотом рассказывали, что рождественское наступление, начатое на Тирельском болоте без артиллерийской подготовки, с целью выбить немцев из Елгавы и Курземе, обернулось избиением латышей. Немецкую оборону ребята взломали в два счета, не без потерь, конечно. Прорвались в тыл к немцам, но не дождались обещанной поддержки — ни конницей, ни пехотой. Тем временем, опомнившись от испуга, немцы подтянули свежие силы, и вот уже какой день теснят наших назад. Местами немцы перешли линию своих бывших окопов. Среди латышей не только убитые и раненые, но и замерзшие. Кто же станет под огнем противника выносить раненых с болот.

«Не может этого быть... Это невозможно...» У Екаба Гробиня от рассказов санитаров по груди словно холодные костлявые пальцы скользили. Он старался уговорить себя, что санитары заливают, делают из мухи слона. Известное дело, без убитых и раненых наступление не обходится, это говорит каждый, кто воевал. Но неужто немцы наших ребят сильнее?

Теперь в эшелоне все взволнованно говорили о боях на полузамерзшем Тирельском болоте. Что верно, то верно, ребята дрались как герои. Без единого пушечного выстрела, незаметно прошли через немецкие проволочные заграждения, взорвали ручными гранатами немецкие блокгаузы. Не глядя на огневые точки противника, на их секреты, оставляя на пути раненых и не замечая своих ран, совершили невозможное. Только какая от всего этого польза?.. В мороз, на открытой заснеженной местности противник ни за что не удержался бы и на новых позициях. Немецкой армии пришлось бы отступить до самой Литвы, если бы подбросили резервы... А через некоторое время пришел приказ оставить уже занятые укрепления противника и вернуться в свои окопы. Страшно представить, что там теперь творится...

— И наши отошли? Отступили? — не своим голосом крикнул Екаб Гробинь. — Как это допустили латышские офицеры и что делал капитан Бриедис?

— Бриедиса ранило в самом начале наступления, — Микус Озолинь уже обо всем разузнал. — Ребята рассуждали: останься Бриедис в строю, так исход, наверно, был бы другой. Бриедис поставил бы на место фронтовых чинуш. Он был душой рождественского наступления. Достал для стрелков белые халаты, которые они надели, когда пошли прокладывать проходы в проволочных заграждениях. Бриедис все подготовил к наступлению как по нотам. Но шальная пуля...

— Может быть, слухи о провале наступления раздуты?

Екабу Гробиню очень хотелось, чтобы это было именно так. Может быть, эти слухи пущены врагом?

Ах, почему Екаб не может подняться высоко-высоко в небо? Как птицы над станицей, которых взволновал нарастающий на западе гул. (Так и кажется, что там, по мерзлой ухабистой земле, катится огромная колесница!) Тогда он в соколином полете взглянул бы на пылающее Тирельское болото, кемерские топи, ольхи на берегу Лиелупе. На все эти Мангали, Скангали, Силениеки, укрепленную немцами Пулеметную горку, «Язык» и другие «сумасшедшие места», которые склоняются на все лады сопровождающими санитарные поезда.

Почему Екаб не может летать, как птица?

Когда эшелон подошел к Риге, свободе солдат был положен конец. И на станции Александровские Ворота, и на Рижском вокзале, где их состав передвигали с одного пути на другой, солдатам маршевой роты выходить из вагонов запрещалось, даже по естественной надобности. Начиная с Ропажей, офицеры к нижним чинам больше не заходили и в роте опять распоряжался фельдфебель Пашкевич. На каждой станции он обегал вагоны, угрожая тем, кто хотел сойти. Выставляя у дверей вооруженных часовых. Когда на соседних путях стоял эшелон — синие и зеленые вагоны с красными крестами в белых кругах, — Пашкевич к охране солдат привлекал и унтеров.

Солдаты, уже понюхавшие пороху, вроде Крузе, ругали Пашкевича на все корки.

«Старики», обкладывая фельдфебеля отборной русской, немецкой и латышской бранью, ухитрялись все же переговорить с одетыми в пестрящие ржавыми пятнами халаты санитарами, а иногда и с жавшимися забинтованными головами к окнам участниками боев на Рижском фронте. Переговаривались, не выходя из вагона, мимикой, знаками, жестами, словно и они и их собеседники из санитарного поезда были глухонемыми.

Еще и сейчас на позициях было жарче, чем в пекле. Вот уже целую неделю немцы поливают огнем болота и дюны. А латышские стрелки и сибиряки так изнурены, что не в силах подняться. Говорят, солдаты какого-то русского полка отказались идти в наступление, хотя уговаривать их приехали и высокие фронтовые чины, и попы.

— Отказались идти в наступление? Нарушили присягу? — Екаб Гробинь, заикаясь от волнения, подыскивал нужные слова.

— Взрослый мужчина, а ум как у теленка,— плюнул рыбацкий парень Бодниек, тот самый, в мишень которого Екаб в Трикате всадил пять пуль.

— Иной теленок поумнее бывает, — вставил Крузе.

— Ну, в самом деле... — с возмущением обратился Екаб к Микусу Озолиню.

Озолинь с Екабом друзья. В свободные минуты они обсуждают баллады Акуратера, напечатанные в «Тауретайсе», стихи Райниса, «Силача» Бригадер, исторический очерк «Столетняя борьба земгальцев за независимость», который Озолинь прочитал от корки до корки. С Микусом он делился своими мечтами о фронтовых подвигах. В разговорах и во всяких ротных делах Озолинь и Гробинь всегда стоят друг за друга. В роте дружков называют сиамскими близнецами — их водой не разлить. Но на этот раз Микус Екаба не поддержал.

— Н-да, — пробурчал он, словно уступая дорогу встречному возу. И безучастно посмотрел в окно.

Путешествие маршевой роты окончилось на полустанке Пупе, у военной дороги, сворачивающей к Бабитскому озеру. Состав отвели на недавно проложенную ветку, за бараки для сортировки раненых. Снег по обе стороны насыпи тут весь истоптан, прибит.

Близость фронта чувствуется во всем. В канавах, вдоль большака и проселочных дорог, из снежных сугробов торчат обледенелые брошенные, поломанные повозки, фургоны, крашеные и некрашеные ящики. У железнодорожного переезда из груды развалин, точно рассеченный молнией почерневший ствол дерева, вздымается закоптелая труба сгоревшего дома. Кругом жилые дома с пустыми, как вытекшие глаза, окнами, с расколотыми дверями. Сарайчики, клети, хлевки без крыш со светло-желтыми редкими обрубками стропил призрачно маячат на фоне неба.

У фруктовых и декоративных деревьев обломаны ветки, кое-где сады пересекают колеи от военных повозок, тянущиеся к магистральной дороге снабжения фронта, устланной круглыми жердями, совсем как через топь. Когда по деревянному настилу грохочут военные повозки, расшатавшиеся и поломанные жерди со стуком подпрыгивают, и кажется, что телеги пытаются перекрыть адское громыханье на западе, где-то за Бабитским озером, у Лиелупе, у Тирельского болота.

В той стороне слышатся непрерывный грохот и гул, будто в небо, как в стальной свод, неуемно колотят тысячи молотков и порою какой-нибудь из них срывается и с гулом бухается где-то рядом в поле, за сосняком. Вспыхивает черно-желтое пламя, и ветер приносит чад, смрад горящей целлюлозы и пороха.

Пока маршевая рота со своими пожитками выгружалась из вагонов, пока солдат накормили, роздали каждому полагающуюся поклажу, надвинулись сумерки. Сильно закружила метель. Как только рота миновала сосновую рощицу и очутилась в открытом поле, налетел ледяной вихрь. Он бил в глаза, сыпал за ворот, в рукава снег, студил ноги. Поневоле пришлось идти как можно проворнее. Пройдя шесть-семь верст, молодые солдаты начали понимать, как неумно они поступили

в Трикате — обули узкие новые сапоги, а не надели удобные, ношеные. У латышей большие ноги! С тех пор как сформировали латышские стрелковые батальоны, у интендантов идет оживленная переписка о сапогах больших размеров. Без портянок, в натянутых на одни тонкие носки сапогах ноги закоченели еще по пути в окопы. Пропуская двигающиеся в оба направления обозы и санитарные повозки, пехотинцы часто сворачивали с деревянного настила в канаву, где из-под снега проступала болотная жижа.

— Укрыться бы от ветра!.. Спрятаться где-нибудь хоть ненадолго... Снять сапоги, растереть ступни ног...

Стрелки пытались согреться, прыгая с ноги на ногу и приседая. У Екаба Гробиня пропала всякая охота смотреть на проезжавшие мимо санитарные фургоны: сколько там раненых и кто такие.

Наконец прямая как струна дорога повернула от моста направо. (Бабитское озеро, наверно, уже позади!) Слева в снежных вихрях начали вырисовываться очертания лесного бугра или песчаной дюны. И маршевая рота наконец попала в защищенную от ветра полосу.

После получасового перехода подошли вплотную к спасавшей от пронизывающего ветра дюне, на обочине дороги засверкали огоньки. Мелкие-мелкие, точно тлеющие самокрутки в зубах курильщиков. Солдаты уловили запах дыма от догорающего костра.

— Взять влево!..

— Привал!..

— Наконец-то!..

С трудом доплелись до кучи построек, от которых пахло дымом костров. Солдаты присели на корточках, укрывшись за какими-то срубами, изгородями или поленницами. Молодые привалились спинами к какой-то глухой стене и пытались стянуть заледеневшие сапоги, даже не спросив, где они находятся и почему сюда все подъезжают и подъезжают с фронта повозки, вокруг которых снуют, перекликаясь и размахивая фонарями «летучая мышь», люди в заснеженной одежде.

— Костер... Скорей разведите костер... — услышал Гробинь голос Крузе. О снег грохнулась охапка дров. — Ребята, первонаперво — хороший костер!

Когда огонь запылал, молодые стрелки обступили Крузе. Пламя костра озарило темные, измученные лица, заснеженные шинели. Все смотрели, как Крузе красными, опухшими руками энергично растирает снегом побелевшие пальцы ног Отиса Шведера.

— Надо тереть. Тереть сколько есть мочи! И обязательно сапоги согреть. Разумнее всего швырнуть эти господские

дудочки ко всем чертям. Обувь попросторнее. Хотя бы с убитого снять.

— С убитого?..

Взгляд Екаба наткнулся на дрова, к которым привалились замерзшие солдаты. Ему казалось, что это сложены сучковатые поленья. Но это были не поленья. В штабелях лежали трупы погибших солдат. Одни в шинелях, другие в гимнастерках. В зареве костра они казались живыми, словно прилегли лишь отдохнуть. Были и трупы в тонких офицерских шинелях. С конька кровли ближнего домика убитым, словно на прощанье, махал белый флаг с красным крестом.

* * *

— В яму прыгай!.. Прыгай, дурень этакий!..

Из воронки высунулась рука, схватила Екаба Гробиня за полу шинели и втащила в яму, где еще чадил едкий пороховой дым. Екаб соскользнул вниз, винтовка вывалилась из рук.

— С ума спятил, что ли? Сунулся во весь рост, как... — негодовал тащивший Екаба солдат. Он сказал еще что-то, но Екаб уже не услышал. Взрыв немецкой гранаты заглушил слова. Земля и воздух задрожали, на стрелков со звоном, точно крупные градины, посыпались куски мерзлого торфа.

— ...этакий! — Чужой, забористо выругавшись, продолжал разъяснять Екабу: — Во время артиллерийского обстрела надо прятаться, а не стоять столбом. В таких случаях в воронке от только что взорвавшегося шестидюймового надежнее всего. В одно и то же место снаряд два раза не угодит. Откуда ты взялся? Из новеньких?

— Из новых. — Моргая глазами, Екаб уставился на солдата в сдвинутой на затылок папахе. Он лет на пять-шесть старше Гробиня. Густая щетка усов, подбородок зарос черной щетиной. Екаб вскочил на ноги.

— Да уймись же! — Солдат опять потащил Екаба в укрытие.— И слушай, что тебе говорят. Раз немцы чемоданами швыряются, из пулеметов кроют, голову лучше не высовывай. А то не успеешь «Отче наш» прочесть, как твоя душа пред вратами божьего двора семена горчицы клевать будет.

— Если так смотреть...

— На что смотреть?

— На войну. Разве война без смерти бывает? Раз война, значит...

— Значит: «Смеясь над смертью, пойду за родину свою»,— пропел солдат популярную песню пастора Штейка сиплым, простуженным голосом. И только теперь Екаб заметил, что у солдата, как у многих побывавших в рождественских боях,

голенища сапог обгорели, а в потрепанной шинели прожжена большая дыра. Человек после многодневных боев в изнеможении повалился у костра на снег. И Екабу стало стыдно за свое упрямство.

— Ты пришел сюда освобождать Курземе, да?.. — спросил солдат.

— Да.

— И думаешь, что здесь, где убивают, кромсают людей на куски, для латышского народа открываются ворота в свободную Латвию?

— Этого могло и не быть, если бы высшие чины не были невеждами, если бы среди командования не было предателей... — Теперь Екаб Гробинь уже знал, кто виноват в трагедии, разыгравшейся на Пулеметной горке и Тирельском болоте. Знал про тупых генералов, вокруг которых увиваются вильгельмовские шпионки — прибалтийские баронессы, про вороватых интендантских полковников, по вине которых у солдат винтовки без штыков, пушки без снарядов, со складов ничего нельзя получить, но зато на черном рынке какое угодно вооружение купить можно. Солдаты говорят об этом совершенно открыто, не опасаясь офицеров. Офицеры порой даже поддерживают их. Например, прапорщик из роты Екаба — Бинав. Правда, предупреждая при этом остерегаться преувеличений.

— Стало быть, до тебя все-таки дошло? — прошипел солдат. — Тупость генералов и предательство немецкой знати... Зато в миссию латышских ребят освободить Курземе ты веришь по-прежнему? Дали бы, мол, нашим полковникам да прапорщикам покомандовать, как им хочется, с ходу бы и Елгаву, и Лиепаю взяли?

— Они все-таки латыши.

— Все-таки? — хрипло рассмеялся солдат. — Все-таки... Ну тогда почему бы таким, как ты, и не поверить особому призыву к восьми латышским полкам? А сколько после рождественской бойни в полках этих осталось ребят, что еще на своих двоих ходят? В некоторых батальонах не более сорока—пятидесяти, которых еще под немецкими амбразурами пуля не свалила, не щелкнула немецкая кукушка — засевший в сосновых ветвях егерь. Когда мы из окружения прорывались, шедшие с нами раненые замерзали на болоте. Когда от усадьбы «Скангали» отступали, на каждом шагу спотыкались о тела раненых, лежавших еще с начала наступления. Каких там только не было! У одного живот продырявлен, у другого — голова, третий без ног, у четвертого руку отхватило. Хрипят, стонут, все в крови. Вконец выбившиеся из сил санитары пытаются вынести сколько могут. Но и сами валятся с ног, остаются лежать рядом с изувеченными. Груды трупов вокруг санитарных пунктов навалены были.

— Я видел... — выдавил из себя Екаб. — У Бабитской дороги, за усадьбой Блодниеки.

— У Блод-ние-ков?.. Видел и все же помчался за сумасшедшим прапорщиком — хватать солдат Сибирского полка, не захотевших на убой идти? Должно быть, за такое усердие тебе и лычко на погоны дали?

— Не за это. — Екабу жар в лицо ударил. — Ротный знания «Словника» проверял. Я все наизусть вызубрил... А откуда тебе обо мне известно?.. Ведь ты не нашей роты?

— Не вашей, а из ваших все же. — И он привлек Екаба к себе. С диким воем пролетела немецкая граната и, глухо ухнув, взорвалась неподалеку от их укрытия. — Солдат, который только у себя под носом видит, не солдат. Солдату знать надо, не покажут ли при виде костлявой пятки те, кто справа или слева от него.

— Ну тебя!..

— Ты послушай меня. Ты тут не с барышнями, а с мужчинами, что смерти в глаза смотрят. Если почувствуешь, что приблизилась костлявая, так тоже правду говорить начнешь. Здесь каждый понимать должен, как свою жизнь спасти. Держись тех, кто против настоящего врага воюет. Да чего там еще говорить — немцев за границу отбросить захотели. Эти честолюбивые генералы Двенадцатой армии прорыв фронта выдумали. «Вперед, славные латышские полки! На вас смотрит ваш народ, на вас надеется Россия. Завтра вы вместе с русской армией пойдете в бой за свободу своей родины». Приказ Радко-Дмитриева звучит красиво. Честолюбивому командующему понравился сумасбродный план наступления капитана Бриедиса.

— План наступления Бриедиса?

— Разве не слышал? Да, это его выдумка была — прорвать фронт без артиллерийской подготовки, не дожидаясь подвоза снарядов и патронов, без всяких резервов. Одним героизмом опьяненных патриотизмом ребят разгромить живую силу и огневую мощь противника. Бриедис предложил перекинуть через немецкие проволочные заграждения живой мост из латышских ребят. И командующий Двенадцатой армией отдал приказ: валяйте, громите! Для поддержания духа полковому оркестру приказали играть «Господи, благослови Латвию!»... И полковник Гоппер точно как Бриедис...

— Оставь ты Бриедиса в покое!

— Бриедис — это наш Иманта и Виестур в одном лице,— иронизировал стрелок. — Только скажи, чего от этого современного Иманты латышскому народу ждать, крестьянину, батраку, рабочему? Разве Бриедис к разгрому помещиков и денежных мешков призывает? Разве Бриедис хочет освободить Курземе от фон Розенов, фон Медемов и фон Кайзерлингов, которые сегодня, как и сто лет назад, латышей в своих

курземских поместьях порабощают, в то время как их сыновья-белопогонники в штабах русской армии и петербургских департаментах распоряжаются? Так какое же мы защищаем отечество, какую свободу? Трудовой человек, парень, должен сперва для себя свободу отвоевать.

Опять в ушах загудело, воздух словно набух, стал тяжелым, как свинец. Землю начали сотрясать громовые раскаты. Екаба и чужого солдата подкидывало, точно в телеге на ухабистой дороге, и они вместе с покатившимися вниз комьями торфяной земли очутились на самом дне ямы. Взрыв следовал за взрывом. Только снаряды, казалось, рвались теперь все глубже и глубже в тылу, дальше от их укрытия.

— Чертов немец пошел в наступление... — осторожно поднял голову над краем ямы солдат. — Должно быть, получил подкрепление. Ну и зададут нам жару...

* * *

Опасность оказаться в руках немцев для Риги миновала. Семнадцатого января уцелевшие после страшной мясорубки латышские стрелки, не оправившиеся еще от рождественских боев, весь день стояли насмерть, отчаянно бились с атаковавшими их хорошо обученными, отдохнувшими и сытыми пруссаками. Под обстрелом врага стрелки пересекали отравленную газами полосу. Падали, задыхались в агонии.

«Немцы обходят наши позиции на Рижском фронте...»

«Пять тысяч павших на Пулеметной горке товарищей призывают нас не дать немцам прорваться в тыл защитникам Риги».

Точно вдруг запавшая в голову назойливая строка песни, звенели теперь у Екаба Гробиня в ушах возгласы унтеров, разбудивших в трескучее морозное утро спавших тяжелым сном отведенных на отдых солдат.

«...Наши павшие геройской смертью товарищи призывают нас».

«...Не для того они отдали свои жизни, чтобы врагу была теперь открыта дорога к сердцу латышской земли...»

Без особого приказа командующего фронтом, поднятые призывом о помощи сражающимся на Тирельском болоте, отведенные на отдых части выступили против пруссаков. И когда выяснилось, что патроны на исходе, по цепи, от стрелка к стрелку, стали передавать приказ:

— Берегите патроны! Прицельный огонь по живым мишеням! Колоть штыком, драться прикладом, рубить врага лопатой!

Подоспевшие на помощь русским частям латыши подпустили противника на сто пятьдесят шагов и метким прицель-

ным огнем стали косить опьяненных предвкушаемой победой, шедших чуть ли не парадным шагом немцев. Наступавшие во второй и третьей цепи падали, спотыкаясь о трупы. И тогда с надсадным, но яростным «ур-ра-а!» на них обрушились контратакующие.

Громили и крушили на заснеженном, шириною в несколько верст, пестревшем желто-зелеными воронками болоте одетых в сизые шинели солдат противника.

Точно преследуя зверя, стрелки с отчаянной ненавистью в сердце, наперекор метели, гнали начавших отходить захватчиков. Яростной штыковой атакой выбили из занятой ими местности, а потом — и из прусских окопов. Рига была спасена.

Но какой ценой?

После семнадцатого января некоторые латышские полки насчитывали не более нескольких сот штыков. Примчавшиеся из Риги, чтобы задержать немецкий поток, отпускники остались лежать в редком лесу на участке Силениеки — Нейнов, на болоте под Пулеметной горкой, в Парупском лесу. Раненые замерзали на снегу.

Восемнадцатого января латышей сменили русские дивизии, заново пополненные части сибирских стрелков. Сменили под сильным вражеским обстрелом. (Немцы были разъярены потерей позиций!) С воем летели мины, жужжали винтовочные пули, вонзаясь в уже изрешеченные стволы деревьев.

Уцелевшие в смертном бою стрелки тринадцатой роты уходили в тыл. Шли по тщательно подготовленной к рождественским боям дороге, где через топкие места были перекинуты сплетенные из хвороста мостки. Но, несмотря на это, ноги все равно погружались в ледяную воду. А сзади не переставали жужжать пули. Так и смотри, как бы свинцовая оса не ужалила в затылок.

За Екабом Гробинем плелся какой-то раненый и, стеная, с завистью говорил об уже павших счастливчиках:

— Им хоть на этот ужас смотреть не надо... Им не надо смотреть...

Еще неделю назад Екаб обернулся бы и обрушился на нытика крепкими словами, какие он усвоил за свою солдатскую жизнь. А теперь это недостойное стрелка нытье его не раздражало. Екаб Гробинь чувствовал себя надломленным, внутренне опустошенным.

В его ушах еще звучали рев и хрип солдат, прыгавших в грязных, потрепанных шинелях через убитых и раненых, чтобы скорее заколоть таких же безумно хрипящих и бегущих, тоже в грязных, только сизых шинелях, немцев. В памяти мелькнул бежавший рядом товарищ. Он вдруг как-то странно качнулся, словно его полоснули по ногам косой, и свалился на курившийся снег. Встали перед глазами застывшие трупы,

а в ушах все еще стоял грохот, содрогавший землю, небо, все живое и мертвое.

Друг Екаба, Микус Озолинь, остался на болоте, на незаснеженном песчаном клочке. Глухо бухнулся вместе с усатым пруссаком, в шею которого вонзил штык. И уже больше не поднялся. Затем пал старый ворчун Крузе, бежавший впереди Екаба. А верзилу плотогона Плошлею, обычно с удалью запевавшего: «Беги, река волнистая, Ешка вброд идет, сапогами воду черпает, угорь в зад ползет»,— раскромсала немецкая шрапнель. Каких-то трех чужих солдат, тащивших пулемет без единой ленты, накрыло прямым попаданием чемодана. Ими командовал батальонный адъютант, в револьвере которого уже давно не было ни патрона.

Екабу Гробиню даже не хотелось оглядываться на стрелков, тащившихся за ним по перекинутым через болото прогибающимся мосткам. Когда связки ветвей оседали глубже, сквозь щели с бульканьем просачивалась железистая вода, темная как кровь из раны.

После большого перехода жалкие остатки роты пристали к уцелевшим остаткам других батальонов, собиравшимся в леске, неподалеку от Риго-Взморской железной дороги.

Перед блиндажами и на полянках, между деревьями жарко горели костры из веток, поленьев, смолистых пней. Мечущееся пламя освещало потемневшие, измученные лица солдат, их протянутые к кострам синие, опухшие, обмороженные ноги. Сапоги и портянки намокли и задубели и, оттаивая в тепле, курились, точно тлеющий торф.

Младшие офицеры, взводные командиры, стояли на пнях или кочках и при появлении каждой новой группы командовали, где собираться такой-то роте такого-то полка. На опушке рощи Екаб Гробинь увидел прапорщика Бинава. У него была обморожена шея, его, видимо, ранило в левое плечо — на этом месте шинель сильно набухла. Когда Екаб с товарищами подошел к своим, от костра поднялся фельдфебель Пашкевич. Отощавший, почерневший, но живой, Пашкевич держал в руке бумагу и карандаш.

— Пять штыков прибавилось. Значит, всего убитых, раненых и пропавших без вести — семьдесят два,— обратился он к прапорщику.

— Пять штыков, а не человек... — сказал Екаб.

— Штыков. В армии счет ведется на штыки или сабли.

— Люди, приятель, это только приложение к штыку или сабле, — повернулся к Екабу от другого костра Отис Шведер. У него был перевязан лоб. — Когда мы протянем ноги, оружейники подберут и починят наши штыки, а командир торжественно пихнет их в руки другим, пригнанным из тыла молодым, и...

— Молчать! — оглянулся Пашкевич.
— Ах, значит, опять за уроки словесности? — Шведер состроил глупую физиономию.— Значит, господин фельдфебель опять будет нам истины полковника Аузана втолковывать: «У нас на фронте сил в семь раз больше, чем у немцев. Мы и технически и морально готовы к большим наступательным операциям. Если нам удастся прорвать фронт, то резервов будет столько, сколько потребуется...»
— Кон-чай! — Прапорщик Бинав слез с кочки.— Стройся! — И отошел подальше, в сторону ухабистой дороги. Очевидно, не хотел, чтобы фельдфебель восстанавливал дисциплину привычными словами: «Рота перебита, но те, что остались...» А может, ему просто тошно стало от пережитого. Уже во второй раз он, как старший по чину, замещал погибшего командира роты. Поручику Хейне, только он прибыл на фронт, миной оторвало голову. Бенсон пал вчера после полудня, штурмуя немецкие окопы.
— Хочешь немецким куревом побаловаться? Отличная марка. — Бодниек предложил Шведеру немецкую сигарету. — Как раз при мне двое оголодавших пареньков в плен сдались. У одного в кармане чуть ли не целая пачка сигарет оказалась.
— Ты отнял у пленного курево?
— Так это у пруссака ведь...
— В две шеренги становись! — скомандовал Пашкевич.

2. ЧЕРЕЗ СТАРЫЕ ГОРОДСКИЕ ВОРОТА

Судя по всему, митинг начался уже давно. Как обычно в военное время, большинство слушателей — женщины. Утомившись от долгого стояния на ногах, они расселись на земле, привалились к рыночным палаткам. Многие устроились у забора и под стеной закрытого трактира. Оратора, дядьку средних лет в крестьянском пиджаке и солдатской гимнастерке, который говорил с импровизированной трибуны — опрокинутого вверх дном чана,— плотным полукругом обступили около полусотни мужчин. Большей частью сельские богатеи. В это смутное время они, как видно, решили выказать надлежащее почтение оратору партии Крестьянского союза, напустив на себя при этом не менее торжественный, чем на богослужении, вид. Каждое слово оратора они воспринимали как непреложную истину. Заметив только что подошедших солдат, они занервничали.
— Опоздали...— сказал Виллерт, старший из стрелков.— Худо, что не слышали, о чем этот там, на чану, заливал.— Он кивнул своим спутникам — Екабу Гробиню и Отису Шведеру,— чтоб протискивались поближе к оратору.

— Вот именно, что опоздали,— ответил Гробинь, проталкиваясь к члену ротного комитета Виллерту.

«Хорошо еще, что мы так быстро из этой заварухи со смертниками выпутались. Замахнулись гранатой, и головорезы эти убрались. Хотя их там, в леске, могло оказаться довольно много. Если верить сведениям полкового комитета, то в Валмиерский и Цесисский уезды стянуты верные Керенскому части, они должны разоружить латышских ребят, так что товарищ Виллерт мог сегодня на митинг и не попасть...»

Мог и не попасть, разумеется. С тех пор как седьмой стрелковый полк с нитаурских позиций переброшен на оборону видземского побережья, с тех пор как роты размещены по имениям в окрестностях Алои, Пуйкуле и Руйене, а вокруг шныряют присланные Временным правительством казаки и батальоны смертников, стрелки тоже должны были взяться за поддержание порядка. Почти по всему Валмиерскому уезду разослали десятки патрульных групп, чтобы обуздать мародеров в военной форме — присланные Временным правительством «патриотические войска», которые, под вывеской военных реквизиций, грабят без зазрения совести, насилуют женщин. Сегодня тут же, неподалеку от городка, группа Виллерта сцепилась с мародерами в казацких фуражках. Зарезав в усадьбе Мурниеки овец и племенную свинью, эти молодчики пошли рыться в клети. Какой-то подхорунжий штыком взламывал сундучок с пожитками беженки...

— Потише, папаша,— крикнул Шведер оратору и сунул в рот три пальца. Раздался свист, пожалуй, порезче и попротяжнее, чем на молотьбе у локомобиля. Женщины и крестьяне испуганно оглянулись. Оратор умолк, но лишь на миг. Не успели еще сбежаться на свист любопытные подростки, как он снова заговорил, громко выкрикивая первые слова каждого предложения.

Вначале он говорил о Данишевском и ему подобных подстрекателях, которые своими речами отравляют латышских воинов похуже немецких газов. (Потому-то Шведер и свистнул.) Теперь начал излагать свои соображения о целесообразном переустройстве старого государственного здания.

— Латышей призывают разрушать все старое и возводить новое, революционное. От старого камня на камне не оставить. Но люди постарше, что присутствуют здесь, хорошо знают, что любой разумный человек до последнего использует в жизни все старое. И только когда оно уже ни на что не годится, строит новое. Так разумные люди поступают. Возьмем, к примеру, жилой дом. Допустим, что он нашим запросам уже не отвечает, но крыша у него еще целая и стены крепкие. Что сделает разумный человек? Он составит план перестройки дома, расширит окна, чтобы больше света было, заменит внутренние перегородки, чтоб своя комнатка была и у того, кто раньше в об-

щей ютился. Одним словом, он дом не снесет, а переделает. Разумно переделает. Вот так же и к делам общественным, государственным подходить надобно.

— Повертитесь среди масс. Только — без мальчишеских выходок и всякого «тарарама». — Прищурив один глаз, Виллерт глянул на Отиса Шведера.— Если не хотите, чтоб с вами в ротном комитете поговорили...

— Ты меня ротным комитетом не стращай.— Шведер приставил ладонь ребром к носу — на месте ли козырек фуражки — и покосился в сторону рыночного колодца. Там, под двускатной крышей, вертелась кучка молодых женщин в светлых косынках и кофточках. Отис Шведер не мальчишка — ни одной смазливой женщины без приветливого слова не пропустит. В удали и речистости не каждому «прапору» с ним тягаться.

Екаб Гробинь остался с Виллертом. Поди знай, может, вдруг помощь понадобится. Как-никак партия «черных» после поражений на выборах в видземские Советы в июне и августе вконец взбесилась, от этой компании чего угодно ожидать можно. Да и вообще Екабу надо непременно ораторским искусством овладеть. «В Трикату ты мог бы поехать только как оратор, который умеет ясно как на ладони показать, какова большевистская платформа, и любого митингующего контрреволюционера в порошок стереть. Только тогда...» — сказали ему в ротном комитете.

Только тогда.

Триката — это незажившая рана Екаба. Никак не затянется, сколько ни старайся заживить ее. От трикатского имения рукой подать до усадьбы Яункепитес, где живет Элла...

Весною, едва седьмой полк прибыл в Ригу для поддержания порядка (когда царя скинули, в полицейских участках не осталось никого, кто позаботился бы о безопасности граждан и учреждений), Екаб набрался духу и написал ей восторженное письмо. Через неделю с лишним пришел ответ. Скуповатый и сухой, но с многообещающей подписью: «Элла». Без всякого «желаю вам всего доброго», или «приветствую вас», или «уважающая вас», как писали девчата кое-кому во взводе, а просто «Элла».

Ответить на это письмо Екабу Гробиню было некогда. Патрулирование, караулы, выборы комитетов и собрания, наряды. Каждый день что-нибудь чрезвычайное, непредвиденное, неотложное. Однажды, когда он уже хотел было взяться за карандаш, полк подняли и погнали снова занимать позиции на Пулеметной горке — мол, «сменить уставшие русские части», а на самом деле штабные генералы, как потом выяснилось, затеяли новое решительное наступление. И тогда, как известно, пошла грызня с командирами, с эмиссарами Временного правительства. Но в начале июля, когда Бausский полк стоял на

отдыхе под Икшкиле, Екаб все же отправил в Яункепитес письмо, почти такое же длинное, как предыдущее, а в конце недели взводный вестовой подал ему синий шершавый, военного времени конверт. Две страницы грустных слов. Как трудно сейчас приходится в усадьбе Яункепитес («Папаша после ужасных переживаний во время батрацкой забастовки болеет сердцем...»). Как ей, Элле, теперь больно и грустно.

«Милая, не надо падать духом! Ты не одна. У тебя есть друг, на которого ты можешь опереться,— это я!» — писал он втайне от товарищей. Он часто мусолил конец карандаша, отчего буквы расплывались, а губы и язык стали темно-фиолетовыми. Письмо он опустил в почтовый ящик в то самое августовское утро, когда немецкая артиллерия, воспользовавшись тем, что русское командование ослабило фронт, из-за Даугавы начала ожесточенный обстрел местности под Икшкиле. Уже через несколько часов ребятам седьмого полка пришлось кинуться из района Ропажей на выручку Земгальскому полку, который форсировавшие Даугаву неприятельские дивизии собирались уничтожить артиллерийским и пулеметным огнем, угрожали отравить ядовитыми газами. Местами завязывались бои, пострашнее январских на Тирельском болоте; когда кончились патроны, стрелки душили атаковавших немцев руками. Пропустить их в тыл было нельзя, пока от Риги, со стороны Олайне, не отступят предательски брошенные контрреволюционными генералами войска. После отступления из Ропажей к Инчукалну, где спешно сооружались укрепления, Екаб Гробинь и думать не мог о том, чтобы как-нибудь снестись с Эллой Риевите. Зато теперь...

— Я прошу слова!— Виллерт, выставив вперед левое плечо, точно клином, пробивал себе дорогу между людьми, плотно обступившими оратора. Оратор Крестьянского союза все, что ему хотелось сказать, уже сказал. Попросил слушателей не забывать, что все латыши — и те, которые благодаря усердию своему сумели накопить побольше добра,— вышли из того же трудового народа. И поэтому на предстоящих выборах в земский совет все, как один, должны голосовать за список кандидатов Крестьянского союза.

— Солдат просит слова!..

— Стрелок... Делегат стрелков будет говорить!

И сразу поднялись на ноги уставшие, зашевелились сбившиеся в кучки безразличные.

«Стрелок скажет!..», «Сейчас стрелок выдаст!», «Ведь это большевик!» — услышал Екаб Гробинь.

Екаб старался не отставать от Виллерта и тоже протискивался между грузными фигурами в серых и рыжеватых полупальто и пиджаках домотканого сукна. Но Екабу они уже так легко, как только что Виллерту, не уступали. Помрачневшим

крестьянам, от которых разило кисловатым табаком, варом, пóтом и бараньей шерстью, не понравился появившийся перед ними стрелок — юноша со светлыми усиками и в сдвинутой на затылок фуражке.

— Куда, куда это ты?..— какой-то бородач преградил широкой спиной Екабу дорогу.

— Революцию делать, куда же еще?— поддержал бородача какой-то толстячок.— Митинговать теперь все горазды. Только воевать с немцем никому неохота.

Екаб отпрянул, словно коснулся раскаленного ствола пулемета.

— Брататься, листовки разбрасывать — это они умеют, а когда Ригу защищать, так немцу спину показывают,— просопел толстячок.

— Ты!— У Екаба от злости сорвался голос.— Ты... Ты!.. Пашкевич этакий.

* * *

Наверно, и многие другие стрелки роты, если бы их так же разозлили, крикнули бы, как Екаб Гробинь: «Ты... Пашкевич этакий!» Разумеется, в зависимости от темперамента, каждый к имени фельдфебеля присовокупил бы еще и крепкий эпитет. Пашкевич по-прежнему оставался для ребят «рогатым чертом» и «цепным псом».

На фронте фельдфебель, правда, кулакам волю не давал, драться боялся. Он только ругался сразу по-русски, по-польски и латышски, от злости проглатывая окончания слов. А в остальном?..

Отведенные во второй эшелон солдаты полувзвода были размещены в маленьких землянках. По ночам в них было страшно холодно. Ребята не выдерживали, вскакивали, выбегали наружу, чтобы подвигаться, согреться. Но запасенного тепла хватало ненадолго. Их снова словно ледяными клещами хватал мороз. Опять вскакивай, опять выбегай прыгать и нагибаться.

А перед входом в землянку, на утоптанном снегу, облитом синеватым лунным светом, стоял фельдфебель.

«Ах, ребяткам порезвиться захотелось? Скучно, а?»

И заставлял их на ночь глядя брести в лес, рубить деревья, тащить их в лагерь, сколачивать так называемые «ежи» с колючей проволокой. Плести из веток и прутьев дорожки — перебрасывать через немецкие проволочные заграждения.

Два месяца провалявшись в болотной грязи, ребята, точно сыпью, покрылись вшами. Унтер-офицеры других рот старались вырвать у интендантов чистое белье, хотя бы для части солдат. Пашкевич и не думал делать этого. Никаких поблажек!

Настанет время в баню идти, вот и поменяют белье. «На войне все солдаты равны. И одинаково терпят лишения».

Ребята, что погорячее, уже не только сжимали кулаки. «Этого как-нибудь списать надо!.. На пуле метки нет. Пусть докажут, что дыру в затылке пробила своя пуля, а не вражеская».

После ужасной бойни под Ригой вместе с наступившим на этом участке затишьем, с вьюгами, которые наметали сугробы, но не могли замести следы декабрьской и январской трагедий, в каждой землянке, в секретах на передовых позициях, где стрелки обычно находились вдвоем, часто почему-то оказывался какой-нибудь солдат из той же породы, что и стрелок, с которым Екаб Гробинь впервые встретился в воронке от снаряда на Тирельском болоте.

«И слепой видит, что освобождение Курземе, о котором столько трубят,— не что иное, как уничтожение латышских стрелковых полков...» Так высказывалась — кем тихо, а кем и погромче — мысль, тлеющая в сознании чуть ли не каждого участника рождественских боев. «Пять тысяч бросили на алтарь смерти... Для чего, ради какой высокой цели? Ради матери Латвии? Ради несуществующей свободы, которой народ уже давно лишили те, кто гонит на смерть и тебя, и меня, и всех нас. Мы все ждем конца бессмысленной войны. Мы, солдаты других фронтов, русские, литовцы, малороссы, в городах и селах. Но нечего надеяться, что фабриканты оружия, капиталисты, генералы — все те, у кого власть и сила,— посчитаются с волей народа и добровольно прекратят войну».

«Мы не глухие, не полоумные, для которых в проповедях полкового священника уготовано блаженство на небесах».

«Мы из тех, кто не забывает... Не забывает и не прощает!..»

Эти люди были настойчивы, удивительно настойчивы. Они методично вдалбливали своим слушателям: «Кто и что?», «Что и почему?», «Ради чего и как?»

К тому же они были солдатами одного полка. Офицер Освалд Лацис — тоже. Тот самый Лацис, что прошел сквозь все врата смерти и все же уцелел.

В конце февраля разнесся слух о волнениях в Петрограде, о смерти любимчика царицы, Гришки Распутина. «Ему подсыпали яду, пристрелили и бросили в канал». Через несколько дней в ротах уже читали газету «Дзимтенес вестнесис», в которой огромными буквами было напечатано сообщение об отречении царя, восстании столичных рабочих и об образовании Временного правительства. И после этого случалось, что офицер первым козырял солдату. А в окопах из рук в руки переходил напечатанный на машинке листок. «Приказ номер один Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов...»; «Во всех воинских частях, до роты и батареи включительно, обра-

зуются выборные комитеты из представителей от солдат. Солдатам надлежит избрать комитеты... Во всех политических выступлениях солдаты подчиняются Совету и своим комитетам...»

«Приказ неофициальный... На приказе нет печати, нет подписи. Он издан Петроградским Советом, стало быть, он в силе только в Петрограде...»

Ротный командир и Пашкевич ни за что не хотели допустить выборов солдатского комитета. «Видали! Серые пешки станут свои порядки в армии заводить. Солдат умнее офицера будет?..»

Но комитеты избрали, в ротах проходили собрания, митинги. И на одном из крупных митингов стрелки потребовали отстранения фельдфебеля. (Перед этим они забаллотировали командира полка Аузана.) «Народ сумел прогнать Николая Романова, а мы этаким позволяем на голову себе садиться...» При голосовании требовавшие отстранить Пашкевича остались все же в меньшинстве, но фельдфебель после этого притих, как мышь. Возможно, он только делал вид... Возможно. Как раз в то время у Екаба Гробиня, Отиса Шведера, Фришманиса и других противников Пашкевича появились неотложные дела, занимавшие все их мысли и время. По указанию социал-демократических «стариков» они должны были поддерживать порядок на митингах, на которых выступали большевистские агитаторы. Должны были тайно распространять листовки, в которых писалось о мире, о земле крестьянам, о восьмичасовом рабочем дне для рабочих. Сунуть «Циню» в карман какому-нибудь стрелку своего или соседнего взвода. Иной раз тайно пробраться к окраинной усадьбе, что верстах в пяти-шести, получить там запрещенную литературу. «Напорешься на кого-нибудь из начальства, так напой ему, что ты шел проведать кустовую докторшу, девчонку, роющую траншеи, или какую-нибудь разбитную строительшу». И еще надо было успеть прочитать одну-другую книжку о французской революции и социализме.

Так получилось, что о Пашкевиче на время забыли. Но вот в конце месяца Второй съезд делегатов стрелковых полков принял резолюцию: «Вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!»

Золотопогонники, писаря и всякие тыловики подняли гвалт.

«Предательство! Удар ножом в спину латышского народа! Кто уполномочивал делегатов отказываться от борьбы за освобождение Курземе? Почему делегаты не спросили стрелковые части, доверяют они Временному правительству или не доверяют?»

Теперь Пашкевич, задыхаясь от крика, агитировал вместе с прапорщиками, поручиками, капитанами и тыловыми санитарами. «Зачем кончать войну, когда немцы уже совсем выдохлись,

когда осталось только чуть «поднажать»? Переголосовать! Переголосовать решение съезда!»

Стрелки обозлились не на шутку. «Катись ты отсюда! Сам знаешь куда! А то как бы не оказалось, что ты чересчур близко подлез к полю, на котором ребята в метании «лимонок» упражняются. Понял?..»

Пашкевич понял. Тут как раз командир первого полка Бриедис начал формировать особые «железные роты». Фельдфебель поспешил подать рапорт и был переведен в полк «национального героя», в район Олайне. Участвовал ли он в безуспешных атаках Бриедиса в канун Янова дня, Екаб Гробинь и его товарищи не знали.

Стрелки снова столкнулись с Пашкевичем двадцать второго августа, когда пятый и седьмой полки бились с немцами, которые, переправившись через Даугаву, рвались в Центральное Видземе.

Из ребят полувзвода, которые в тот день, глотая отравленный газами воздух, дрались с пруссаками, уцелели только двое: пулеметчик Виллерт и Екаб. На противоположном задымленном берегу ручейка, который оборонял их взвод, пластом лежали люди в сизых мундирах, с торчащими за плечами ящикоподобными ранцами. У Виллерта осталась лишь одна пулеметная лента, но вдвоем отойти со станковым пулеметом к своим было не под силу. Виллерт отдал свою винтовку Екабу, снял пулемет со станка, слил воду, взвалил ствол на плечо и нетвердым шагом поплелся прочь от ненавистного места, в сторону глухо грохотавшего на северо-западе леса.

На вырубке, откуда в вечерних сумерках стали видны красно-фиолетовые черепичные кровли ропажского именьица, перед отходившими стрелками вдруг вынырнули немцы.

— Hände hoch!

«Врешь!..» Стрелки припали к траве. Виллерт водрузил ствол пулемета на пень, и по вырубке покатился металлический треск. Трое в сизых мундирах упали, остальные кинулись назад, в ольшаник на болоте. Чуть погодя оттуда зажужжали пули.

Виллерт и Екаб выругались, но не сдрейфили. Стреляли, целясь расчетливо, как и тогда, когда знали, что справа и слева товарищи, когда из блиндажа тяжелая мортира косила атакующих, а в четверти версты позади ухали минометы и батарея трехдюймовых.

Положение было более чем незавидным. Двое стрелков с очень скудным запасом патронов против по крайней мере десяти хорошо вооруженных пруссаков. Но чувство страха было им теперь так же чуждо, как третьего дня, когда рота с пламенеющим знаменем, под грохот оркестра выступила против атакующего противника.

Пулеметный ствол раскалился, начал дымиться. Еще очередь, еще... Взметнулось пламя...

— Сматываем удочки!— Гробинь рванул товарища за руку.— За малинником — овраг.

Им опять повезло. То ли немцы испугались, то ли ждали подкрепления, но оба стрелка седьмого полка беспрепятственно добрались до Ропажей, до отряда сибирских стрелков, только что успешно отразившего немецкую атаку. Вместе с сибиряками они встретили в сосновом молодняке рассвет, вместе двинулись дальше, в сторону Сигулды. Теперь уже по всем правилам военного искусства: впереди и по бокам — разведчики, в арьергарде — охранение.

На полевой дороге, у Инчукалнского шоссе, по которому, огибая поломанные подводы, фургоны, повозки с имуществом, трупы лошадей, грязным клокочущим потоком устремлялись отступающие из Риги войска и гражданское население, стрелков и сибиряков задержали штабные офицеры с установленным перед «ежом» пулеметом. У пулемета был Пашкевич.

— Стой! Куда?..

— В свою часть.

— От немцев драпаете? Дезертиры!

— Дезертиры, как же,— отозвался Пашкевич.— Этих двоих,— он показал на Виллерта и Екаба,— я знаю. Из седьмого полка они. Немцам продались. Летом с врагом братались. Подстрекали бросать оружие, не воевать.

— Не воевать?.. Так вот кто Ригу немцам отдал...— Суровый штабист в капитанских погонах хотел сорвать с плеча Екаба винтовку. — Арестовать! Как дезертиров и... (Явное подтверждение словам генерала Корнилова... Фронт открыли продавшиеся немцам пробольшевистски настроенные латыши.)

Должно быть, штабисты при помощи Пашкевича состряпали бы акт о расстреле дезертиров. Но тут словно из-под земли вырос полувзвод стрелков пятого полка с членом своего полкового комитета:

— А-а, господа штабные офицеры стараются доказать, что они, заслышав немецкие выстрелы, недаром первыми в тыл подались? А господин фельдфебель охраняет унесеннный с фронта пулемет?..

* * *

За ивами, что возле бани усадьбы Яункепитес, над костром дымился смолянисто-черный котел. Сухощавая женщина в серой косынке и заплатанном, не по росту широком жакете, подоткнув юбку выше колен, мешала в котле длинной деревянной поварешкой. Неподалеку от костра, припав плечом к стволу

карликовой ивы, за движениями стряпухи жадно следила девчушка лет шести — замызганная, с потрескавшимися босыми ногами. Каждый раз, как только женщина поднимала изгрызенную поварешку, с которой падали капли похлебки, девочка проглатывала слюну.

«Должно быть, беженки...— решил Екаб Гробинь.— Из-под Риги. Прошлой осенью в Яункепитес семейных работников не было».

— Здравствуйте, хозяйки!— негромко поздоровался он.

— Здравствуйте,— неохотно ответила стряпуха и зло глянула из-под косынки на Екаба блеклыми глазами.

По выглаженной гимнастерке и почищенным тут же в поле, за купой ив, сапогам она, видимо, приняла Екаба за одного из кутил с хозяйской половины, о которых ему на пасторской мызе говорили стрелки. После того как Екаб с тремя товарищами по взводу с шумом (под грохот чайников и сковородок!) выпроводили из трикатского имения эсеровских и меньшевистских агитаторов и сносно произнесли митинговые речи, три остальных агитатора согласились ненадолго задержаться на пасторской мызе, пока товарищ Гробинь «сделает небольшой крюк по личному делу». В Трикате он про хозяина Яункепитес узнал и кое-что такое, от чего порядочного стрелка должно было в жар кинуть. Папаша Риевите оказался среди серых баронов, которые послали ко всем чертям батрацких делегатов, вопили о насилии, жаловались уездному комиссару и требовали подавить забастовку сельских рабочих оружием. Стрелки охотно погрозили оружием... но не бастующим батракам.

Ясно: стоявшие на пасторской мызе стрелки причисляют хозяина Яункепитес к подозрительным. И, откровенно говоря, Екабу Гробиню на этой усадьбе делать нечего. Но не происхождение, не семья определяют взгляды людей. И в непролетарской среде бывают трезво мыслящие люди. К тому же у Екаба есть Эллино письмо — письмо несчастного, подавленного, не понятого семьей создания. Этого вполне достаточно, чтобы не мерить Эллу на один аршин с хозяином Яункепитес.

— Ужин готовите, а?— спросил Екаб. Так сразу, зачем пришел, ведь не скажешь.

— Не каждая свинья станет есть то, что нынче люди себе в миску наливают.— Женщина так энергично махнула поварешкой, что Екаб невольно зажмурился.— Какой хлеб нынче люди едят? Лузгу, чечевицу и толченный в ступе луб. В горло не лезет, только нутро засоряет. Мать моя еще в лихое время барщины жила, но такую дрянь не ела.

— Ну да, военные трудности...

— Тру-дно-сти...— протянула женщина, словно передразнивая его.

— Вчера я настоящий хлеб ела,— пролепетала девчушка.

(Екаб теперь заметил, что у босоногой гноятся веки.) — Вкусный-вкусный. Один дядя офицер дал за то, что я хозяйской барышне записку отнесла. Дядя солдат тоже записку пошлет?

Неуверенно ступая, она приблизилась к Екабу. Теперь он увидел на девочкиной ноге запекшуюся рану.

— Уймешься ты?..— замахнулась женщина на девочку поварешкой.

— Не пошлет. Ничего не пошлет...— Екабу Гробиню стало совестно. Нет с собой ничего съестного или вообще чего-нибудь для девчонки. Щепотка махорки, которая у него в кисете, голодному ребенку ни к чему.— Я так просто пришел. До фронта я тут обучение проходил. Случилось мимо идти, так решил посмотреть, как они там в доме живут. Есть там сейчас кто?.. Из молодых?..

— Ах, из молодых... Из молодых... сама фрейлейн.

Фрейлейн? Не Элла ли? Не станет же Екаб об этом женщину спрашивать. У голодной всегда злое слово с языка сорвется, когда речь о более сытых зайдет, хотя те в ее беде и не виноваты.

— Наверное, она там, в доме?..

Не дождавшись ответа, Екаб по тропе направился в гору. Однажды летом, когда они были на отдыхе, полковой театр в окрестностях Икшкиле готовил представление — шуточную пьесу «Фрейлейн». В ней была очень смешная главная героиня — дочка кабатчика Карлина. Карлина эта и была «фрейлейн». Но у Эллы с такой фрейлейн нет ничего общего.

В затишке, перед клетью, опустившись на пень, дремал отец хозяина Яункепитес. Желтые, костлявые руки лежат на коленях, голова откинута, веки прикрыты. Старик привалился плечом к клети. Вокруг его белой головы жужжат мухи и еще какое-то большое насекомое; сам папаша, казалось, пребывает где-то далеко-далеко отсюда. Возможно, повторяет про себя какую-нибудь из странных песен гернгутеров, еще в ту осень забавлявших стрелков, любителей пива хозяина Риевите. («Чадо мое, я лю-бил тебя...»)

Но только Екаб, стараясь не шуметь, свернул с плотно утоптанной тропинки на траву, как старец зашевелился.

— Kes sa oled? [1]

Вот так диво! Старый Микелис обратился к нему по-эстонски.

— Здравствуйте, дедушка!

— А-а-а?— Старец открыл веки.— А я думал, кто другой. Зачем пожаловал, солдатик?

— Барышню Риевите повидать.

— Барышню Риевите?

— Ну да... То есть...

---

[1] Кто там?

— Я здесь,— из сада зычно отозвался знакомый женский голос.

Элла? Да нет же! Старшая дочка Риевите — Роза. Неестественно белое лицо (напудрилась, должно быть), челка закрывает половину лба. Девушка в белой кофточке.

— Вы, наверно, от штабс-капитана?— Она, кокетливо улыбаясь, протянула Екабу через живую изгородь руку.

— Я барышню Эллу повидать хотел.

— А-а!— и рука сразу же скользнула назад.— Вам не повезло. Сестры здесь нет.

— А когда она вернется?

— В этом году уж не вернется. Элла в Россию уехала. В Ярославль, наверно. Или же в Рыбинск.— И Роза пожала плечами.

— А... почему?— У Екаба шевельнулось в груди что-то холодное.

— У Эллы в России крестная живет. Тетка из Бауски. Она за эти годы хорошо устроилась там; кроме Эллы, у нее из близких нет никого.

— А она мне...— сказал он, словно глотая воздух кусками,— письма не оставила?

— Вам, что ли?— засмеялась Роза.

— Да ведь...— Он сообразил, что сказал глупость. Его письмо она могла и не получить.— В таком случае дайте мне, пожалуйста, ее адрес.

— Мне очень жаль, но... я адреса не помню. Элла писала отцу, а он теперь у нас тяжело хворает.

— Может быть, мамаша знает, то есть госпожа Риевите?

— И мамаша не знает. С Эллой отец переписывался, а он, как я уже сказала, болен. Извините... Мне некогда,— сказала она, отходя от забора.— Мы ждем гостей. Всего доброго, солдат!

— Барышня Роза!— Он попытался вернуть ее, но голос его, должно быть, прозвучал слишком тихо.

Вот так незадача! Уехала. На край света. А Екаб даже адреса ее узнать не может.

Пока он топтался у забора в надежде, что Роза все-таки вернется, во двор вошли подпоручик с румяным круглым лицом — такие лица Екаб видел у штабников запасного полка — и смуглый офицер-горец в бурке и высокой угловатой папахе. Они направились к хозяйской половине, и только приблизились к крыльцу, как из дома, словно по сигналу, задребезжал граммофон, полились звуки «Дунайских волн». И послышался веселый женский гомон.

«Компания плясунов,— подосадовал про себя Екаб.— Хозяйская дочь с господами офицерами таскается».

— Черт подери!— воскликнул он. Повернулся и широко за-

шагал по пустому полю, а потом по пастбищу, что у болота, к большаку.

Две оборванные девчушки стерегли небольшое стадо. Пастушки, как две покинутые в поле скирды льна, одиноко стояли друг против друга и пели незнакомую Екабу печальную песенку:

Когда вернешься, молодец, с поля боя?..
Когда вернешься, молодец, с поля боя?..

* * *

Предполагалось, что полк еще до вступления в Валмиеру остановится где-нибудь под городом. Полковой комитет собирался будто бы устроить митинг, разъяснить создавшееся политическое положение и стоящие перед стрелками в связи с этим задачи.

Хотя командиры, полковые, ротные и партийные комитетчики солдатам, когда они в утренних сумерках выступали из Пуйкуле, где до сих пор стояли, а также на протяжении всего пути в несколько десятков верст, о конечной цели ничего определенного не говорили, ребята, как всегда, по только им понятным приметам догадывались, почему в этакую мерзкую осеннюю слякоть они должны брести в такую даль с немалым грузом боевых патронов и ручных гранат. Нет, на этот раз это не обычная перегруппировка или операция «местного значения» — осадить мародеров, смертников или молодцов из Дикой дивизии или поддержать безземельных крестьян, уездные и другие недавно избранные Советы. Сейчас, братец, предстоят дела поважнее! Сегодняшний переход по раскисшим от ливней ухабистым дорогам, разбитым военными фурами и крестьянскими телегами, ездящими на гужевую повинность, непосредственно связан с событиями, к которым готовились изо дня в день со времени сдачи Риги и корниловского мятежа.

Нельзя же без конца мобилизовываться и организовываться. Противнику нельзя дать опомниться и перейти в наступление первым. Надо самим нанести решающий удар.

С июля командование на Северном фронте уже неизвестно сколько раз пыталось расформировать революционные латышские стрелковые полки. Мироеды, националистические политиканы действовали и лестью, и посулами, и угрозами, старались стать господами положения в созданных путем всеобщих демократических выборов сельских и городских органах самоуправления... Когда старания эти оказались тщетными, черная стая решила отдать немцам «разагитированные большевиками» округи. Пускай пруссаки берут Прибалтику, пускай берут Петроград! У латышских «патриотов», которые уже успели орга-

низовать свой предательский «Латышский временный национальный совет» и «Национальное объединение латышских солдат», как и у «истинных русских людей», душа не болела ни за Видземе, ни за Эстонию, ни за столицу — символ культуры и славы России.

Но нет! Латышские стрелки обрели политическую закалку! Они дотощно прощупали всевозможные актуальные политические «узлы». Семимесячная политическая школа, пройденная латышскими ребятами вместе с сибирскими стрелками на Рижском фронте, научила многому, научила больше, чем десять лет мирной жизни.

В роте по пальцам можно было сосчитать стрелков, не ставших по тем или иным причинам революционными агитаторами, не хотевших доказывать другим единственную — пролетарскую — правду. Почти все стрелки, неся патрульную службу или в одиночку, защищали от угнетателей батраков или рывших траншеи рабочих, помогали работникам волостных Советов обнаруживать спекулянтов, спрятанные кулаками продукты. Или защищать крестьян от грабежей и самовольных реквизиций.

Всюду, где стрелки соприкасались с гражданским населением, с солдатами других частей, они доходчиво разъясняли смысл слов «революция трудового народа», «демократия», «Советы», «пролетариат», «империализм» и «социализм». А также лозунг «Мир, хлеб, земля и свобода».

В латышских стрелковых частях трудно было найти неграмотного человека, который вместо подписи ставил бы три крестика. Как только латышские ребята начинали батрачить, пастушить или обучаться какому-либо ремеслу, они начинали «искать в книгах — читать, перечитывать, вдумываться». «Латыши не только поющий, но и читающий, мыслящий народ»,— писала когда-то одна либеральная газета. И хотя многие ухмылялись, слыша эту сентенцию, стрелки в семнадцатом году доказали, что они умеют и читать и мыслить...

И в самом деле: в спорах со своими противниками большинство стрелков научились довольно правильно оценивать «текущий момент», как называли на митингах политические вопросы. И в сегодняшнем переходе ребята сумели увидеть связь между революцией в армии и событиями в Петрограде.

Хотя никто открыто о таких вещах не говорил, было известно, что полковой комитет вместе с партийным уже обсуждали на закрытых заседаниях преданность каждого отдельного командира делу пролетарской революции...

«Сейчас в Петрограде начался Второй Всероссийский съезд Советов... И делегатам этого съезда перед их отбытием в столицу было сказано: «Помните, товарищи, что мы — ваша опора! С вами наша сила, наш героизм, наше оружие!»

«Революция идет к своей окончательной победе. Будьте бдительны, будьте готовы к бою!» — писал за день до того «Окопный набат».

Во время перехода стрелки седьмого полка ощущали тревогу, очень напоминавшую ту, которая охватывала солдат на фронте перед первой встречей с врагом. Неизвестность пугала и в боевом строю, но там не было того недоверия к офицерам, какое было теперь. Десятки пар глаз неотрывно следили за батальонными, ротными, взводными командирами.

В полдень серые дождевые тучи разошлись, и, когда передовой отряд полка уже поворачивал на аллею Озолского имения, подул восточный суховей.

После трудного перехода все сразу ожили. Аллея была защищена от ветра, дорога не изрыта. И по двору имения, по напоминавшему густую рощу замковому парку, усыпанному опавшей желто-коричневой листвой, солдатские сапоги ступали мягко, неслышно.

Полк развернулся полукругом между исполинскими ясенями, кленами, грабами, встал лицом к летнему павильону на вершине холма — к башенке с белыми колоннами и с куполообразной крышей. Под его навесом собрались товарищи из полкового комитета, комиссар и командир полка.

— Представитель Исколастрела товарищ Лацис тоже тут... Лацис, наверно, выступит.

Солдаты пытались протолкнуться поближе, но некоторые из офицеров старались пробраться в противоположную сторону.

— Удирать собираются, что ли? — ткнул Отис Шведер Екаба Гробиня. — Смотри в оба!

— Зачем бы им удирать?

— Зачем? Еще спрашивает!

— Молчите! — одернули их. — Дайте послушать!

Верно, товарищ Лацис уже встал перед колоннами с обнаженной головой, сжимая в протянутой к стрелкам руке фуражку.

— Товарищи солдаты Двенадцатой революционной армии, стрелки седьмого Бауского полка...

Ветер срывал с его губ слова и уносил прочь вместе с кружившими в воздухе сухими кленовыми листьями. Какое-то время Екаб Гробинь и Отис Шведер, стоявшие дальше других, не слышали, что он говорит. Только когда порывы ветра улеглись, до них донеслось:

— ...в колыбели русской революции — красном Петрограде — народ восстал против угнетателей. В Петрограде создан Военно-революционный комитет, цель которого вести беспощадную борьбу против контрреволюции. Восставший народ разогнал контрреволюционное Временное правительство. Второй Всероссийский съезд Советов провозгласил в России

советскую власть. Создано Советское правительство России во главе с товарищем Лениным... Рабоче-крестьянское...

И опять слова Лациса пропали, точно брошенные в колодец камни. Слова «рабоче-крестьянское правительство... Ленин...» с небольшим опозданием дошли до сознания стрелков, подействовали на них точно взрыв.

— Ур-ра! Ур-ра! Ленину — ур-ра! Да здравствует товарищ Ленин!

Даже самые престарелые обитатели этого имения никогда не слышали здесь таких бурных, полных ликования оваций. Стрелки с восторженными возгласами махали шапками, вскидывали винтовки.

— Льется кровь наших братьев за лучшую жизнь, за светлое будущее народа, — продолжал Лацис, когда буря ликования улеглась. — Мы мысленно шлем туда, в Петроград, наши лучшие пожелания. Но этого мало. Нужны дела. Мы должны стать сильными солдатами революции, чтобы наши братья в Петрограде могли положиться на нас. Мы должны позаботиться о том, чтобы ни одного солдата Двенадцатой армии не послали против петроградских рабочих.

— Не пошлют! Никуда не пошлют! Не допустим!..

— Тогда слушайте воззвание Военно-революционного комитета армии!

Прежде чем прочесть воззвание, он объяснил, что Военно-революционный комитет Двенадцатой армии является объединенным коллективом представителей Центрального комитета социал-демократии Латвии, Российской социал-демократической партии большевиков, военной организации Двенадцатой армии, Исколастрела, депутатов уездных Советов. И этот комитет требует:

...Уклоняться от любого неорганизованного выступления... Не выполнять приказов и распоряжений контрреволюционных штабов о перемещении войск, если эти приказы не подписаны Военно-революционным комитетом... О каждом подозрительном распоряжении доносить Военно-революционному комитету...

...Батальонам и ротам седьмого полка приказано занять Валмиеру и Валмиерскую станцию, чтобы остановить продвижение контрреволюционных батальонов на Петроград.

— Таков революционный приказ. А теперь спросим наших офицеров, пойдут они вместе с революционными солдатами или не пойдут. Полковник Мангулис, вам слово!

Стрелки затаили дыхание. Казалось, многие на время забыли дышать.

— Товарищи стрелки! — медленно, но решительно начал Мангулис. Таким тоном он обычно обращался к солдатам. — Мы вместе мужественно держались и в радости и в беде. Если вы мне доверяете, то я пойду туда, куда пойдете вы.

— Ур-ра! Полковнику Мангулису — ур-ра!..

— Видал! Видал, какой молодец старик! — радовались стрелки.

Теперь должны были ответить и другие офицеры.

— Граждане офицеры! Что вы скажете?

— С полком! С полком! — откликнулись близкие большевикам прапорщики Микельсон и Шуманис.

— Я — нет! — крикнул командир седьмой роты Муйжелис. — Против братьев я не воюю!

— Я тоже нет! — отозвался из дальнего угла парка прапорщик Бинав. И бросился бежать.

— Держите его! Не дайте ему уйти! — Несколько десятков стрелков, среди них и Отис Шведер, кинулись за беглецом.

Куда ты поскакал, красавчик,
На тоненьких ножках? —

запел кто-то за спиной Екаба Гробиня на мотив «Пумпиньрасаса». Но его одернули.

Когда забрызганного грязью прапорщика привели обратно, перед полком уже стояли три стрелка первой роты с красным знаменем.

3. МЫ — НЕОБЫЧНОГО ВЕКА ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ...

Стояло мрачное, как воспетое в «Калевале», царство злой Матери Севера, ноябрьское утро, когда Петерис Стучка направлялся в главный штаб юстиции бывшей России на Екатерининской улице. Быстро бежали серые облака, падал мокрый снег. Люди шли озабоченные, сгорбившись, словно несли на плечах тяжелую ношу.

Вдруг к перекрестку, точно бодрый ветерок, долетели звуки солдатской песни:

Оружьем на солнце сверкая...

Пели латышские стрелки, которые охраняли Смольный, патрулировали улицы столицы.

«Точно гвардейцы... Совсем как гвардейцы его величества...» — удивлялись петроградские обыватели. Иные, увидев стрелков, в образцовом порядке выходивших из вокзала, приняли их за долгожданные белые офицерские батальоны, прибывшие навести порядок в узурпированной анархистской толпой Северной Пальмире. Кое-кому из «бывших» почудилось, что в Петроград вступили войска Антанты. Солдаты, гладко выбритые, в аккуратно подпоясанных чистых шинелях, пели на непонятном языке. Да, да — это они... Люди говорят...

Россия полнилась слухами.

«Ну, вот только... Только что!.. Знающие люди говорят... Большевики удержатся у власти еще несколько дней, ну, самое большее, несколько недель. Поэтому ваш долг, патриоты Руси...»

Слухи усердно распространяли буржуазно-монархистская газета «Утро России», кадетско-эсеровская «Речь», «Воля народа», меньшевистская «Рабочая газета». И латышские «Балтия», «Дзимтенес атбалсс», «Лайка вестис», «Лидумс», «Страдниеку авизес». В них, в лучшем случае, можно было найти две-три строки о декрете, которым вводился восьмичасовой рабочий день, отменялись сословные привилегии (в обращении предлагалось пользоваться словом «гражданин»). Несколько строк о мирных предложениях Германии и странам Антанты, о Постановлении ВЦИКа, контроле рабочих над производством для борьбы против вредительского закрытия предприятий, разбазаривания и вывоза за границу готовой продукции, сырья и горючего. Зато антибольшевистские газеты печатали длинные-предлинные статьи о «невеждах ленинцах», разоряющих Россию. В Петрограде, да и по всей России, в киосках, на углах улиц свободно продавались антисоветские листки: распространяли их платные агитаторы с лужеными глотками и лексиконом базарных торговок.

Петерис Стучка знал о положении в Петрограде и вообще в государстве лучше некоторых других членов ВЦИКа или Петроградского Совета. Когда Керенский во главе карательной экспедиции намеревался вернуться из Гатчины и Царского Села в «усмиренный» Петроград, Стучка был занят в Военной следственной комиссии. Вместе с юристами-большевиками Петром Красиковым [1], Мечиславом Козловским и Львом Караханом [2]. Не покидая служебных помещений даже ночью, члены комиссии с лихорадочной поспешностью распутывали нити внутренних и внешних заговоров и военных авантюр. Допрашивали задержанных при подозрительных обстоятельствах, изучали заговорщические документы, бумаги, дела контрреволюционного бунта Керенского — Краснова, «Комитета спасения родины» Савинкова и монархистского заговора Пуришкевича. Расследовали дело о предательстве царских генералов Каледина и Дутова, интересовались высокопоставленными военными, бойкотировавшими декреты Советского правительства о немедленном начале мирных переговоров. Давали отпор враждебной деятельности эсеров, меньшевиков и других — боролись с фабрикацией тревожных слухов.

«Хотелось бы знать, какой сюрприз меня ждет т а м, во дворце юстиции, — думал Стучка. — Быть может, и там старые чиновники организовали бойкот с таким же размахом, как в

---

[1] Впоследствии — прокурор Верховного Суда СССР.
[2] Впоследствии — известный советский дипломат.

министерствах иностранных дел и финансов. Лишь на девятый день после провозглашения диктатуры пролетариата комиссар юстиции является в свое ведомство. Больше недели люди старой корпорации располагали неограниченными возможностями действовать...»

Однако едва он коснулся кованой медной ручки дверей мрачно-монументального Дворца юстиции, как они широко распахнулись перед ним.

— Здравствуйте, гражданин генеральный прокурор!

Швейцар. Старый швейцар Министерства юстиции. Белая окладистая борода, стан Геркулеса, шинель с галунами, форменная фуражка с высокой тульей и — валенки.

— Здравствуйте, товарищ... Как вас величать? — подал Стучка швейцару руку.

— Петров, Матвей Кузьмич, гра... товарищ генеральный прокурор.

«Генеральный прокурор, подумать только! А как же: в Российской империи главу ведомства юстиции обычно титуловали генеральным прокурором».

— Итак, Матвей Кузьмич, будем впредь работать вместе. А остальные сотрудники пришли?

— Начальники департаментов, отделов и другое начальство изволили сегодня не явиться. После того как в Зимнем дворце арестовали их превосходительство министра Временного правительства, — виновато пояснил швейцар, — начальники считают нынешнюю власть незаконной. Признáют ее только после того, как скажет свое слово Учредительное собрание...

«Опять Учредительное собрание! Все противники рабочей демократии надеются, что Учредительное собрание с лихвой вернет им утраченное с победой пролетарской революции. Председатель избирательной комиссии Учредительного собрания кадет Набоков даже не пустил в Таврический дворец уполномоченного Совета Народных Комиссаров по выборам — товарища Урицкого. (Но сопровождавшие Урицкого матросы и стрелки произвели должное впечатление, и Набокову пришлось уступить.) Да, для всех врагов революции Учредительное собрание все еще продолжает оставаться надеждой и знаменем».

— Стало быть, вы, товарищ Петров, говорите, что начальство, прежде чем не соберется Учредительное собрание, в министерство не явится? — переспросил Стучка.

— Так точно, товарищ генеральный прокурор. Чиновники помельче — правитель канцелярии Григор Васильевич, канцеляристы, машинистки, курьеры, — те исправно являются каждый день. И сегодня присутствуют.

— Спасибо вам, Матвей Кузьмич!

По устланной ковровыми дорожками мраморной лестнице Стучка поднялся на второй этаж. Дорожки чисто подметены. Видимо, обслуживающий персонал старого министерства продолжает по-прежнему выполнять свои обязанности, вопреки призыву анархистов и деклассированных элементов «наплевать на придуманную буржуями культуру быта».

В коридоре перед дверьми кабинетов тут и там на полу сложены кипы дел, газетных подшивок, стопки разных бумаг. Должно быть, кто-то из сотрудников принялся за разборку старых архивов. Вероятно, достал дела, связанные с отменой сословий и гражданских чинов, принятой большинством российской интеллигенции с одобрением. Этот декрет — заслуга и Козловского со Стучкой. На третий день после победы революции они набросали на половинке листа почтовой бумаги проект закона и послали его Ленину.

Петерис Стучка не видел товарищей, которым сегодня следовало тоже быть здесь. Не видел большевистского ядра нового комиссариата. Его не было. Ну, ясно: заместитель комиссара Козловский в последнюю минуту задержался из-за какого-нибудь чрезвычайного происшествия — Мечислав Юльевич ведь возглавляет Следственную комиссию! Но почему опаздывает Володя? Матрос Владимир Мухин — управляющий делами Комиссариата юстиции и представитель «армии и масс тыла», как он сам называет себя. Товарищ Бонч-Бруевич охарактеризовал Володю как социально сознательного, дисциплинированного и выдержанного товарища. «Ну, вроде ваших стрелков...» И этого дисциплинированного товарища нет...

Стучка знал: в архивах бывшего Министерства юстиции не хранятся документы, вроде тех, что Советское правительство обнаружило в Министерстве иностранных дел: тайные договора между царским правительством и империалистическими державами. Самое большее, на что можно рассчитывать при обследовании сейфов и шкафов Министерства юстиции,— это сфабрикованное при Керенском провокационное дело о «восстании третьего июля», планы провозглашения белого террора, «юридическое» его обоснование. (Уж очень мстительны изгнанные «патриоты»!) Для изъятия таких документов из сейфов Министерства юстиции красный матрос фигура весьма подходящая. Но почему все-таки Володя задерживается?..

На одной половине высоких двустворчатых дверей министерской канцелярии красовалась старая дощечка, на которой позолоченными буквами значилось: «Канцелярия его превосходительства министра...»

В канцелярии, напоминающей банковский зал, томились от безделья два чиновника в шинелях и преждевременно состарившаяся, укутанная по самые уши шарфом машинистка. Покусывая синеватые губы, она нет-нет да постучит лениво клавишами машинки.

— Здравствуйте, товарищи,— поздоровался Стучка и всем по очереди подал руку.— Где я мог бы повидать Григория Васильевича?

— Честь имею.— Рослый чиновник вытянулся и щелкнул каблуками. У него усталое лицо, уже тронутые сединой виски и зачесанные на пробор прилизанные волосы.— В четырнадцатом году, на заседании судебной палаты, на котором разбиралось дело о социальном страховании рабочих, я имел удовольствие слушать речь товарища генерального прокурора.

«Он в самом деле так лоялен к советской власти или только прикидывается?— Стучка наморщил лоб.— Как он изысканно вежлив...»

— Товарищ Григорий Васильевич (слово «товарищ» он подчеркнул особо), где, по-вашему, лучше собраться сотрудникам ведомства? И сколько их всего? Надо познакомиться и поговорить о нашей дальнейшей работе. Возможно ли это?

— Несомненно. Если не возражаете, то соберемся тут же. Эта комната — самая теплая во всем здании. Но генеральный прокурор, наверно, захочет сперва осмотреть свой кабинет.

— Пускай будет по-вашему. А у кого я мог бы получить ключи от шкафов и столов?

— Они на месте.— Правитель канцелярии поспешил отворить дверь.— У нас не то, что в других казенных учреждениях, у нас люди рассудительные. Надо лишь заполнить несколько освободившихся вакансий, и ведомство юстиции сразу же сможет нормально функционировать. Прошу сюда, товарищ генеральный прокурор...

Они очутились в огромном кабинете. Стены здесь обшиты резными дубовыми панелями. С высокого потолка свисает пышная, как дама в кринолине, венецианская люстра. Обстановка здесь служит лишь одной цели — подчеркнуть величие хозяина кабинета и внушить посетителю благоговение и чувство собственной ничтожности. Григорий Васильевич объяснял Стучке, что в каком шкафу хранится, что каким ключом отпирается, и, когда комиссар положил свой потертый портфельчик на массивный письменный стол красного дерева, спросил:

— Было бы желательно знать, когда товарищ генеральный прокурор соблаговолит возобновить прием посетителей. Судейские чиновники России поставлены сейчас в крайне деликатное положение. На местах чинится суд именем революции.

— И вам это кажется неверным? — Стучка отодвинул тяжелое, словно литое, министерское кресло.— Суд — часть государственного аппарата, а в ходе революции старый аппарат заменяется новым.

— И судебный аппарат заменяется новым? — Григорий Васильевич широко раскрыл глаза.— Однако... право, законы не могут меняться вместе с заменой руководящих лиц. Кроме того, как товарищу генеральному прокурору хорошо известно,

даже процессуальные изменения должны исходить от законодательных инстанций. А пока Учредительное собрание не сказало своего слова...

— Значит, Учредительное собрание представляется вам неким ареопагом, которому предстоит озарить Россию светом свободы, революционного порядка и законности? Это, почтенный Григорий Васильевич, будет возможно только в том случае, если волеизъявление революционных масс заставит депутатов парламента санкционировать принятые Советами принципы и порядки.

— Если товарищ генеральный прокурор, один из эрудированнейших правоведов России, выдвигает такие принципы юрисдикции...— заговорил было правитель канцелярии, но тут же сменил тему:— Вам угодно собрать всех сотрудников нашего ведомства? Хорошо, я позабочусь об этом...

Учредительное собрание, Учредительное собрание... Но разве можно было ожидать другого от чиновника старой школы? Демократия в его представлении — это непременно демократия буржуазная. А на состоявшихся пятнадцатого ноября выборах в Учредительное собрание России большевики получили большинство лишь в промышленных центрах, в охваченных революционным движением округах и в революционно настроенных воинских частях, в то время как аграрные, в культурном отношении отсталые округи, политически неграмотные воинские части отдали предпочтение эсерам, меньшевикам, кадетам и другим. Их велеречивый патриотизм, их ослепительные фразы смутили также миллионы русских крестьян. И поскольку у Советского правительства, у большевиков, до выборов еще не было возможности в простирающемся на два континента государстве добиться передачи земли помещиков и церковных феодалов тем, кто ее обрабатывает, селяне опустили в урны эсеровские и кадетские бюллетени. Интересно, как мыслят остальные оставшиеся сотрудники бывшего министерства? Может, и они не захотят понять, что с приходом к власти самого революционного класса нельзя сохранить ни один из старых общественных институтов эксплуататорского строя? Кому как не работникам Комиссариата юстиции понять это раньше других? Из них и из марксистски грамотных рабочих и солдат будут комплектоваться юристы Российской социалистической республики. Должны же они понимать, что взгляды, господствующая идеология одной исторической эпохи механически другой не перенимаются. То же самое и право, правовое законодательство, судебная практика. И ни в одной области буржуазная идеология так сильно не давит на трудовой народ, как в области государства и права. В истории и философии буржуазия, при известных обстоятельствах, иной раз способна проглотить и какой-нибудь горький кусок, подсунутый ей эксплуатируемым классом. Но область права, правовые институты свя-

заны со святая святых буржуазии — с кошельком. Зубами и ногтями цепляется буржуазия за статьи, параграфы законов, за кодексы, призванные оберегать ее кошелек.

— Петр Иванович, меня задержали...— В кабинет влетел плечистый матрос с красным, как румяное яблоко, лицом. До сих пор он был комиссаром Особой следственной комиссии.

Матрос, выразительно шевеля бровями, принялся рассказывать.

— Понимаете, вышла непредвиденная стычка с анархистами-погромщиками. С самодемобилизовавшимися фронтовиками. Они были вооружены и пьяны... Мечислав Юльевич просил передать вам, что придет в комиссариат попозже. Проект декрета об актах гражданского состояния, о браке, расторжении брака и о детях у него уже готов. Ох!— Он сорвал с курчавой головы бескозырку.— Ох, Петр Иванович, везде борьба, борьба! И на долгие годы, кажется.

* * *

Когда заседание ВЦИКа кончилось, трое латышей — членов президиума — спустились на первый этаж Смольного, где после Октября в конце коридора работала столовая Военно-революционного комитета; было уже довольно поздно, но, если не считать утреннего чая, они ничего сегодня еще не ели. До заседания ВЦИКа Петерис Стучка работал у себя в Народном комиссариате юстиции. Екаб Петерс в Военно-революционном комитете ни минуты не знал покоя от представителей иностранных миссий и фирм — как знаток английского и немецкого языков Петерс ведал делами иностранцев. Карлис Петерсон каждый божий день выделял и посылал на оперативные задания красногвардейские и солдатские патрули.

Оба приятеля Стучки сильно похудели. Екаб Петерс говорил очень усталым, осипшим голосом, порою с такой же хрипотцой, как страдающий туберкулезом горла заместитель председателя Исколастрела Петерсон, чьи впалые щеки и прямой острый нос казались выструганными из липового дерева.

Три члена ВЦИКа встали в очередь у барьера, за которым раздавали еду, свернули по цигарке. У приятелей Стучки в руках поблескивали самодельные алюминиевые мундштуки, отлитые солдатами из колец от гранат.

— «Стучкин суд». Скажите на милость!— засмеялся Карлис Петерсон.— Советское право эсеры окрестили «Стучкиным судом». Одно из двух: или товарищи эсеры ничего не смыслят, или же ничего не хотят смыслить.

— Социалистическая законность — крепкий орешек и для кое-кого из тех, кто считает себя ортодоксальным марксистом,— усмехнулся Стучка.— Последовательность марксизма пугает

запутавшихся в стихии фраз интеллигентов. Поэтому слова Ленина «Пусть кричат, что мы, не реформируя старый суд, сразу отдали его на слом», кажутся им страшнее, чем разрушение библейского Иерусалима.

— Я не слыхал, правда, чтобы они что-нибудь подобное Ленину говорили,— оживился Петерсон.

— Ленину нет, но...— Стучка пригладил сперва один ус, потом другой, про себя взвешивая, стоит ли сказать товарищам о ноябрьской стычке в Совете Народных Комиссаров по поводу декрета о суде номер один, когда на авторов проекта — на него и Козловского,— как на апологетов незаконности, ожесточенно накинулись даже некоторые умудренные опытом большевики. Он тогда сказал следующее: «Господа, что вы понимаете под отстаиванием законности? Отстаивание права, относящегося к прошлой общественной эпохе, права, выработанного представителями исчезнувших или исчезающих общественных интересов, стоящих в резком противоречии с потреблением общества? Строй не основывается на законах... Закон, напротив, должен исходить из данного общественного строя... Законы неизбежно меняются вместе с меняющимися условиями жизни... Такие фразы о законности исходят либо из сознательного обмана, либо из бессознательного самообмана».

Эти слова были встречены еще более яростными возгласами: «Анархизм! Антимарксизм!»

И тогда он своим противникам сказал: «Товарищи, я почти дословно взял это у Карла Маркса, из его речи в Кельнском суде присяжных».

И только тогда основной текст декрета без промедления пошел на подпись к Ленину.

— Вот так: от левых эсеров мы, большевики, очень скоро поседеем,— вздохнул Петерс.

— В переговорах о создании коалиционного правительства они торговали принципами и постами. Левые эсеры так громко кричали, что стоявшие у дверей на часах стрелки потребовали, чтоб их ввели в зал для поддержки Ленина,— рассказывал Петерсон.

— К вашему сведению, товарищ Стучка, ребята Тукумского полка в Петрограде ни одной ночи еще не спали в казармах. Вызовы, общие тревоги. Очаги заговоров юнкеров, монархистов, георгиевских кавалеров, черносотенного «Комитета спасения отечества и революции», вербовочные пункты генерала Каледина, тайные склады оружия. Черные биржи, где скупается оружие для бандитов. А борьба с реакционными демонстрантами, в первых рядах которых семенят какие-то дамочки или базарные торговки, а уже за ними идут вооруженные провокаторы.

— Правые эсеры, кадеты и меньшевики недавно придумали еще какой-то «Комитет защиты Учредительного собрания», по-

вую контрреволюционную организацию,— сказал Петерс, уже получивший свою порцию и ждавший, пока его товарищи получат такие же скупо налитые эмалированные миски. — Все это говорит о том, что они готовят вооруженное выступление,— приглушенно продолжал он, идя между Петерсоном и Стучкой, подыскивавшими место в стороне, за одним из длинных столов.

— К вооруженному выступлению, кажется, готовятся и изгнанные из латышских полков офицеры,— промолвил Петерсон.— В Петрограде околачивается полковник Гоппер, болтаются Бриедис со Стапраном. Они — постоянные гости в так называемом отделе иностранных дел Латышского национального совета. А люди из этого отдела частенько наведываются во французское и английское посольства.

— После чего у господ офицеров появляются такие деньги, что они много вечеров подряд могут кутить в «Медведе» или «У Максима»,— отозвался Петерс.— Союз латышских офицеров порою бывает гораздо активнее русского братства георгиевских кавалеров. И хотя Керенский в октябре был против какой-либо автономии для Латвии, кадеты сейчас кокетничают с латышскими офицерами. Когда поднимемся наверх, я, товарищ Стучка, покажу вам газету шведских социал-демократов, где говорится, что Керенского разбили тридцать тысяч латышских стрелков, которые и отстояли русскую революцию. Небезызвестный Феликс Циелен при любом удобном случае с удовольствием тычет нам под нос эту стокгольмскую газету.

— Не исключено, что черносотенцы из «Союза защиты родины и свободы» попытаются использовать наших стрелков для своих целей. Расхвалят, польстят, подзадорят Латвийским государством, предложат Латвию — голую или обернутую в несколько сотен тысяч банкнот.

— Наши торгующие собой оптом и в розницу националистские политиканы настраивают теперь свои песни на монархистский лад,— согласился Петерс.— В связи с этим у нас в комитете опасаются за культработников шестого стрелкового полка. Некоторые из этих ребят ставят спектакли, организуют концерты, рисуют декорации. Их теперь начал обхаживать Гоппер и ему подобные.

— Да, такие факты — повод для опасений,— оживился Стучка.

Хлопнула закрытая торопливой рукой дверь. Вошел молоденький матросик и стремительно приблизился к столу.

— Товарища Петерсона вызывают в Военно-революционный комитет, — сказал он. Русские слова он произносил округло, мягко, как финн.

— Иду! — Петерсон встал, но, что-то вспомнив, повернулся к Петерсу: — Екаб, нам следовало бы все же получше помнить

уроки Парижской коммуны. Иной раз мы слишком доверяем обещаниям противника. Отпускаем на волю захваченных контрреволюционеров, полагаясь на их честное слово, подписку.

* * *

Теперь, после Октября, в квартире на Бассейной улице, 36, Петерис Стучка днем находился редко. Разве что зайдет заглянуть в какой-нибудь том Энгельса или Маркса или ознакомиться с платформой какой-нибудь мелкобуржуазной партии, полистать юридическую литературу капиталистических стран. Быстро сделав самое неотложное, он опять уходил.

Дом на Бассейной, 36, с тех пор как господину домовладельцу стало ясно, что большевики победили, плохо отапливался.

— Контра... отъявленная контра... — встретив однажды на лестнице Стучку, пожаловался жилец из четвертой квартиры. — Вы, товарищ, как член правительства, пресекли бы эти вражеские выпады. Вызовите латышских стрелков или матросов, и в Петрограде станет одним саботажником меньше. Почему ребят из Смольного не позовете?

То же самое говорил и дворник: «В подвалах другого дома нашего хозяина полно топлива. Как во все годы. И мы не мерзли бы, если бы патрульный постучал хозяину маузером в дверь». Слова дворника Петерис передал товарищам из Петроградского исполкома. Топливом прежде всего надо было обеспечить детские учреждения, больницы, заводы.

В промерзшей лестничной клетке громче обычного звякают ключи и щелкают дверные замки. Казалось, в комнате было все сдвинуто с места. Словно Дору внезапно отвлекли от уборки квартиры и она не успела расставить стулья, приколоть занавески на окне, задвинуть в стол ящик, в котором хранились семейные и хозяйственные бумаги обоих. А может быть, спешка ее объяснялась неотложной необходимостью посмотреть в какую-нибудь из семейных бумаг?

Петерис наклонился к ящику, почти наполовину забитому исписанными и печатными листами и стопками конвертов, и уже было хотел задвинуть его, но передумал и вытянул еще больше. Порылся в перевязанных и брошенных как попало справках, бумагах и нашарил шелковую сумочку с письмами — его с Дорой прошлогоднюю переписку. Что заставило его искать эту сумочку? Какой-то внезапный необъяснимый порыв. Так с ним бывало, когда он долго не видел Дору и начинал тяготиться одиночеством, которое хотелось скрасить чем-нибудь, напоминающим о близком человеке.

Словом: чисто юношеский порыв, который, казалось бы, не к лицу пожилому, рационально мыслящему человеку.

Взаимную привязанность молодости не ослабили ни совместно прожитые долгие годы, ни болезни.

«Вы — представители редкой, чтобы не сказать — вымершей или вымирающей в наше время породы однолюбов, описанной Тургеневым», — смеялся их друг Пауль Дауге, гостивший незадолго до войны в Петербурге.

«Разве это нам, социалистам, не позволено?» — спросила Дора. А когда она вышла и вернулась с полным чайником, то вместе с чашкой незаметно сунула мужу в руку записку:

«Ты согласен с Паулем, что мы не от мира сего?» Этот клочок бумаги он сохранил вместе с остальной перепиской, среди которой самым давним было Дорино короткое тревожное письмо, отправленное из частной клиники Буша, перед арестом новотеченцев:

«У меня никогда не будет детей. Не будет! Но я надеюсь, что это обстоятельство не подавит во мне материнских чувств. К чужим детям и к моему милому, большому ребенку».

С годами в черной шелковой сумочке накопилось довольно много полученных по почте или просто переданных с оказией записок и писем. Тайный архив, который они, по молчаливому согласию, хранили всю прожитую вместе часть жизни. И будут хранить, пока...

Пока... Да разве теперь человек может позволить себе думать о каком-то глупом «пока»? Когда у него за плечами только пятьдесят лет жизни?

Сейчас все, на что ты способен, и даже более того, ты должен отдавать достижению великой и гуманной цели. Благороднейшей в истории человечества деятельности.

Петерис Стучка, спрятав черную сумочку поглубже в ящик, задвинул его и направился к книжному шкафу. К книгам, стоявшим на второй полке сверху.

В его библиотеке каждый том, соответственно содержанию, находился на своем месте, определенном классификацией. Даже в ночной темноте Стучка легко находил нужное ему издание.

Он снял с полки трактаты французских буржуазных правоведов. Французские буржуазные демократы первыми открыто провозгласили свободу брака. Разумеется, и законодательные акты самых прогрессивных буржуа тоже выражают взгляды господствующего эксплуататорского класса. Этого никогда не следует упускать из виду. Даже самые прогрессивные законы буржуазии пролетариат России должен переосмысливать, исходя из своих классовых принципов справедливости.

Не скатываясь к утопизму, напоминал Ленин большевистским юристам, которым было поручено организовать советский судейский аппарат, нельзя думать, что, свергнув капитализм, люди сразу же научатся работать на общество, без всяких

норм права, да и экономических предпосылок такой перемены отмена капитализма не дает сразу. На каждом заседании Юридической комиссии ВЦИКа большевистские правоведы вели ожесточенные споры с защитниками старой юриспруденции.

«Нигилизм в области права! Анархизм чистейшей воды!» — кричали оппозиционеры.

Шумная «правовая война» в Юридической комиссии наконец стала до того невыносимой, что Стучка решил поговорить с Лениным. «Владимир Ильич, может, нам с Козловским взять обратно наш проект декрета? Может, пускай они сами напишут? Может, в самом деле будет целесообразнее, если первоначальный текст разработают они?»

«Отказаться от позитивной программы пролетариата? — Ленин вскочил. — Отступить перед мелкобуржуазной стихией? Отложить на неопределенное время принятие жизненно важного для рабоче-крестьянского государства декрета? Дорогой, что с вами случилось? Вы собираетесь уступать? Неужели вы не понимаете, что уступка угрозам меньшинства — равносильна отказу от советской власти, от демократии? Уступка — это боязнь большинства использовать силу своего большинства, то же самое, что поддаться анархизму. Воевать надо! Любую немарксистскую установку, каждый вредный для пролетариата тезис надо разоблачать и разбивать! Не считайте Юридическую комиссию альфой и омегой законодательства рабочей и крестьянской власти. Помимо комиссии, есть еще и другие инстанции. И самая авторитетная из них — его величество рабочий класс. Скорее разрабатывайте теорию советского права и пропагандируйте ее в печати. И многим опытным большевикам еще по-настоящему не ясно, что такое классы и что — так называемый демократический суд, каким образом пролетарское выражается в революционной судебной системе. Пишите, пишите много, пишите по-боевому! Оглядывайтесь на историю, анализируйте право разных капиталистических стран...»

«До чего в общественной жизни все сложно, чрезмерно сложно, — Стучка мысленно вернулся к разговору с Лениным. — Кажется, что в диалектике революции бесчисленное множество величайших трудностей. Нет пригодных на все случаи, заранее уточненных выводов, общепризнанных истин. Главное — это то, что борьба никогда не прекращается. Едва мы одну, «самую большую трудность» преодолели, как на пути становится другая. А человеку после победы хочется передышки, покоя. У Поля Лафарга есть книжка, в которой теоретически обоснованы права пролетариата на лень после долгих лет изнурительного труда. Есть. Только... лени нельзя поддаваться. Ведь пролетариат России должен сегодня ковать счастье не только для себя, но и для всего человечества». Он,

Стучка, был бы плохим солдатом революции, если бы хоть на минуту поддался слабости.

Он берет из шкафа одну книгу, другую. Берет брошюры, оттиски журнальных статей. Погоди, где он видел это по-французски остроумное сравнение институтов семьи и государства?..

Найдя то, что он искал, Стучка вышел в другую комнату. И увидел на столе оставленную женой записку:

«Друг! Голландский товарищ Рутгерс, о котором рассказывал Фрицис Розинь, сейчас по пути к нам из Японии. Товарищ Рутгерс — крупнейший авторитет в строительстве портов, мостов, электростанций. Фрицис Розинь заинтересовал его незамерзающими портами Латвии и Даугавой.

Тебе, Петерис, следовало бы вообще поддерживать более широкое знакомство с революционерами, приезжающими в Россию из-за границы».

«Следовало бы... Конечно, следовало бы... В Петрограде теперь столько чудесных интернационалистов! Американцы Джон Рид и Вильямс... Журналист Джон Рид в первые дни революции с винтовкой в руках помогал красноармейцам охранять здание Наркомата иностранных дел. Следовало бы, Дорочка. Следовало бы также побывать в культурных организациях петроградских латышей, у деятелей театра, музыкантов... Если бы только можно было на несколько часов удлинить день! Только для того, чтобы побывать на всех заседаниях, собраниях, политических дискуссиях, ежедневно приходится преодолевать не менее двадцати верст...»

* * *

— Стало быть, вас, гражданин Заринь, интересуют шаги Советского правительства по поддержанию порядка и законности? — Петерис Стучка оглядел посетителя. Нездоровое, желтое лицо, старенькое осеннее пальтишко. В обмороженных пальцах Заринь держит вылинявшую шляпу. Видать, не сладко жилось этому человеку в эмиграции. Он повидал и соляные копи, и порты, и лесные вырубки, где за гроши работают эмигранты. В комиссариате гражданин Заринь ведет себя робко. Почти как смирненький деревенский старичок до революции — его распирает недовольство, но жизнь научила сдерживаться.

— Советское правительство, или — пользуясь вашей терминологией — новое правительство, насилия или незаконности не допустит,— сказал Стучка, все еще не зная, как вести себя с посетителем.

Социал-демократ оборонец, один из тех, с которыми ленинцам пришлось немало копий поломать. Но гражданин Заринь,

вернувшись в Россию, прежде всего пришел к большевику, а не в националистский Временный совет Латвии, где на деньги посольств западных государств делается «самостоятельная Латвия».

— Как выразитель суверенитета трудового народа Советское правительство будет заботиться о соблюдении строгого революционного порядка,— продолжал Стучка. — Правительство самым решительным образом будет бороться с произволом и нарушениями общественных норм. Власть трудового народа — гуманная власть. Вы, наверно, слыхали, что сразу же после Октября многие причастные к контрреволюции лица были освобождены под честное слово. Однако с мародерами, хулиганами, спекулянтами мы будем безжалостны. Выводы вы можете делать сами.

— Спасибо. Спасибо вам.

Посетители отнимали у Петериса Стучки очень много времени. К народному комиссару ходили судейские работники, рабочие и солдаты, старые юристы. Среди последних, правда, главным образом защитники спекулянтов или содержателей тайных питейных заведений. У комиссара юстиции не оставалось ни минуты свободного времени. Но надо было еще писать для печати. О принципах советских судов, о сущности классового суда, о выборах судей из рабочих и крестьян. И о найденном в архиве «деле» по шпионажу большевиков в пользу Германии, сфабрикованном во время правления Керенского. Для этой работы Петерису оставалась только глубокая ночь. Совсем как до Октябрьского переворота. Спать удавалось не более четырех — четырех с половиной часов в сутки, но иначе нельзя было. «Если мы хотим, чтоб революция победила и в других странах, то сначала ее надо довести до победного конца у себя дома», — говорил он сам себе.

— Я, товарищ комиссар, опять к вам. — В полуоткрытых дверях появилась молоденькая блондинка в кожаной куртке. У нее вздернутый носик и улыбчивые ямочки на щеках.

— Здравствуйте, товарищ Шаутинь! Что нового?

— Разное,— вздохнула девушка. — И хорошее, и плохое...

— А чего больше? — Он слегка наклонился над столом и вгляделся в посерьезневшее лицо девушки. Товарища Милду Шаутинь партийный комитет направил на работу во вновь организованный Революционный трибунал. Сперва — в политический отдел; но в трибунале накапливалось все больше дел, и ее перевели в судебные следователи. Партии нужно было, чтобы контрреволюционные деяния, саботаж и спекуляция расследовались надежными партийцами, пускай и без юридического образования. Ибо заседающие в революционных судах эсеры и меньшевики руководствуются не революционной совестью, а статьями старых уголовных законов. Женщине на

посту следователя трибунала, конечно, приходится нелегко, арестованные смотрят на нее иронически.

«Этого еще не хватало, какая-то юбка допрашивать меня будет?»

«Ты, милая, брось бумагу пачкать. Лучше давай потолкуем с тобой по душам».

— Всякое бывает,— Шаутинь сняла серую солдатскую папаху. — Комиссару Рыбалко трибунал за превышение власти объявил общественное порицание. Мы судили всем известного революционера на открытом судебном заседании. Кое-кто из товарищей сомневался, правильно ли поступаем, но все получилось как надо. Народ видел: перед пролетарским законом все равны. Зато по делам печати в трибунале нарубили дров. Возбудили дело против этого паршивого эсеровского листка «Набат». За подстрекательство. Опубликовав правительственные декреты о национализации банков, заводов, рудников, об отмене наследственных прав привилегированных классов, эта газетенка стала болтать о том, что большевики зарятся на последнюю крестьянскую коровку. Вот спрашиваем этих из «Набата»: конкретно где и когда Советское правительство грабило крестьян, ведь такое, мол, могут писать только заядлые контры. А «набатчики» на дыбы, шумят похлестче анархистских погромщиков, грозят демаршем ЦК своей партии у товарища Ленина. Они...

— Ничего удивительного, что их взбесил такой допрос. Особенно если вы разговаривали с ними, как сейчас: «паршивый листок», «болтаете», «заядлые контры».

— Но если... сердце от злости из груди выскочить готово?

— Надо сдерживаться! Работа в трибунале требует железных нервов. Особенно когда судим товарищей. Большевик должен быть выдержанным.

— Я понимаю... — смутилась Шаутинь. — Ради мировой революции мы должны... Да, товарищ Стучка, скажите, а как обстоит с мировой революцией? Мы, у нас в трибунале, иногда спорим, в какой западноевропейской стране социалистическая революция начнется раньше. Одни цитируют Маркса и говорят — во Франции, другие — в Англии. Я с теми, кто считает, что первой будет Германия. Все же Германии пример русского революционного солдата ближе всего. Не так разве?

— Этого я не знаю,— виновато улыбнулся Стучка.— С первого дня революции мы были уверены, что она будет и в Европе. Но как скоро и в какой стране она начнется раньше,— сказать трудно. Ленин считает, что социалистическая революция может начаться и в менее развитых странах, чем Франция, Англия или Германия.

— В самом деле? — удивилась она. И, всматриваясь в спокойное лицо седого человека, заметила, как поблекли его

голубые глаза... — Тогда конечно... А насчет коалиции большевиков с левыми эсерами это точно?

— А вас это беспокоит?

— Ведь эсеры...

— Левые эсеры. За левыми эсерами еще идет большая часть крестьянства. А между интересами рабочих и эксплуатируемого крестьянства противоречий нет.

* * *

В истории Российской социалистической республики седьмое декабря семнадцатого года знаменательно двумя событиями: после объединений и реорганизации нескольких революционных следственных учреждений была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) и закончились затянувшиеся переговоры большевиков с левыми эсерами о создании общего правительства рабочих и крестьян. Руководимая Феликсом Дзержинским (его заместителями были — Екаб Петерс и Мартинь Лацис) Чрезвычайная комиссия вошла в историю своей деятельностью по укреплению безопасности Советской республики, в то время как вступление левых эсеров в правительство оказалось явлением преходящим — уже в ближайшие недели эсеры начали мешать проведению ленинской политики социалистических преобразований. Особенно резко это сказалось в Народном комиссариате юстиции.

Десятого декабря народным комиссаром юстиции стал эсер, юрист Штейнберг, тот самый «марксист», который «открыл» четвертую революцию — крестьянскую войну против рабочих. Петерис Стучка остался первым заместителем Штейнберга, Козловский и Красиков — членами коллегии. И уже двадцатого декабря в комиссариате произошла стычка между представителями двух диаметрально противоположных взглядов.

Коллегия обсуждала разработанные первым составом комиссариата законодательные акты по семейному праву: декрет о гражданском браке, о расторжении брака, о детях и о книгах регистрации гражданских актов. По рекомендации Стучки о проекте докладывал один из его авторов — Козловский. Докладывать, может быть, следовало бы другому. Эсеры невзлюбили Козловского еще летом, когда он занял твердую позицию в вопросе об отчуждении дворца Кшесинской, обосновав ее правами революционного народа. Созданную вскоре после Октябрьской революции Следственную комиссию в Смольном, возглавить которую большевики поручили Козловскому, эсеры называли не иначе как «всеобщей полицией». Эсеры были

ожесточены тем, что комиссия Козловского разогнала правительствующий сенат, приостановила деятельность мировых судов. Да, все это надо было учесть. Но... в тот день ему, Стучке, было поручено докладывать на коллегии Наркомата иностранных дел, где к исходу дня должен был обсуждаться текст мирного договора России с Германией. Ленин хотел скорее превратить перемирие в прочный мир, но комиссар иностранных дел Троцкий топил вопрос о жизни и смерти России в потоке красивых слов о неизбежности скорой революции в вильгельмовской империи и всей Германии.

Как и у остальных декретов советского законодательства, у недавно разработанного декрета о семье и браке была своя общая, вводная часть, объяснявшая связь семейного права в социалистическом государстве с экономическими и социальными преобразованиями в обществе.

— Невообразимо! — бросил реплику левый эсер Шрейдер.

— Невообразимо и отвратительно, не правда ли? — съязвил Козловский.

И началось.

Шрейдер вспыхнул, точно сухая смолистая лучина. Полная свобода в семейных отношениях, еще что придумаете! Словно общественные нормы, нравственные принципы — это старые портки: поносил и бросил. Семейное право всегда было против поползновений легкомысленных индивидуумов. В России должна господствовать законность.

— Исходя из предпосылки, что семья, институт брака должны быть свободны от всяких ограничений, и защищая действительно свободное соглашение обоих полов о совместной жизни, мы за равные права как для детей, рожденных в браке, так и появившихся вне брака,— вмешался Стучка. — Таковы требования трудящихся, большевики эти требования защищают и от них не откажутся.

— И в том случае, если остальные партии будут против декрета? — подчеркнуто официально переспросил Штейнберг.

— И в том случае.

— Посмотрим, что решит Совет Народных Комиссаров.

Совет Народных Комиссаров декрет принял. Возражения эсеров были отклонены.

После этого народный комиссар юстиции был с большевиками холодно официален. А со своими единомышленниками, со старыми сотрудниками министерства, каждый день что-то обсуждал, планировал.

И затем, на сходке «защитников Учредительного собрания», состоявшейся в ночь на восемнадцатое декабря в помещении Свободного экономического общества, комиссар юстиции Штейнберг вместе с комиссаром государственного имущества Карелиным распорядился освободить задержанных контррево-

люционных главарей, арестованных по решению Совета Народных Комиссаров.

Большевики потребовали созвать коллегию Народного комиссариата юстиции.

— Как так можно? — обратился Козловский к Штейнбергу. — Освобождают контрреволюционеров, авторов подстрекательских манифестов, антисоциалистических статей?

— Гражданин Козловский, видимо, хочет уничтожить в России свободу печати, так же как в комиссии в Смольном росчерком пера уничтожил сенат, окружные и мировые суды? — съязвил Шрейдер.

— Если печатному изданию свобода нужна для подрыва рабоче-крестьянской власти, его надо закрыть. Печать тоже классова,— отрезал Козловский.

После этого Козловскому в комиссариате перестали передавать адресованную ему почту.

Козловский обратился к заведующему общим отделом — эсеру.

— Обслуживание отдельных членов коллегии в обязанности сотрудников комиссариата не входит,— пробурчал тот. — Все члены и ранги декретом рабоче-крестьянского правительства упразднены. Если для вас что-нибудь поступило, то потрудитесь отыскать это сами.

— Товарищ комиссар, для части членов коллегии созданы невозможные условия. — Стучка, возмущенный, ворвался к Штейнбергу. — Бойкот это, что ли?

— Бойкот? — долговязый, похожий на фонарный столб, Штейнберг приосанился. — Петр Иванович, вы прибегаете к очень резким формулировкам. У меня и в мыслях не было, чтобы против вас...

— Разговор сейчас не обо мне. Невозможные условия созданы для всей большевистской группы. И прежде всего — для товарища Козловского.

— Ах, для Козловского? — Штейнберг поджал губы. — Для Козловского, вы говорите? Вы последние номера газет читали? Председатель Следственной комиссии Революционного трибунала Петроградского Совета Козловский и его помощники не только превышали свою власть, но и терроризировали людей других политических убеждений... Погодите, погодите... И не только это... Против Козловского... Компетентные круги, я хотел сказать, некоторые круги, говорят о его неэтичных поступках в Следственной комиссии...

— Козловского я знаю с тысяча девятьсот седьмого года. Был с ним вместе в подполье. — У Стучки зашумело в ушах, он еле сдерживался.

— Разрешите вам напомнить. — В голосе Штейнберга зазвенел металл. — До революции гражданин Козловский сотруд-

ничал с депутатом Государственной думы Малиновским. А Малиновский — как доказано — служил в царской охранке.

— Козловский кристально чистый революционер.

— И все же о нем пишут в газетах. И сотрудники комиссариата реагируют соответствующим образом.

— Некоторые газеты порою публикуют невесть что. Напоминаю, что большевики требуют для себя в Народном комиссариате нормальных условий работы.

— Сие не от меня зависит.

«Вы поступаете мерзко. Вы боитесь отстать от клевещущих на большевиков буржуазных политиков, врагов революции, затевающих новый поход против нас»,— хотел он отрубить Штейнбергу. Но нельзя было давать волю нервам. Ради той единственной, той небывалой в истории человечества задачи. И Стучка только выразил свое удивление бессилию комиссара. Сказал, что он все же надеется...

— Я тоже, Петр Иванович...

В последовавшие дни ничего к лучшему не изменилось. И потом тоже нет. В небольшевистских газетах публиковались все новые сенсационные «открытия». Какой-то реакционный листок назвал председателя Следственной комиссии Петроградского Совета Козловского лицемером, корыстолюбцем и взяточником. Честных сынов русской революции он бросает в тюрьмы, а офицеров, участвовавших в корниловском мятеже, отпускает на свободу.

В Комиссариате юстиции митинговали. Эсеровские ораторы повторяли болтовню реакционных газет. И призывали ради соблюдения чистоты революции прекратить какие-либо отношения со всякими Козловскими.

— Эти люди, кажется, еще задумали и что-то похуже... — поделился в одно утро швейцар комиссариата своими подозрениями со Стучкой. — Гражданин Шрейдер и тот, что недавно поступил к нам, ну, что в широких галифе ходит и с усиками, снуют весь день туда и сюда, по очереди вызывают беспартийных сотрудников в комнаты архива. Уговаривают и, видать, припугивают...

Терпению большевиков пришел конец.

Фракция приняла решение обратиться к Ленину.

— Хорошо, я поговорю с Владимиром Ильичем,— обещал Стучка.

— Трое членов партии, состоящих в коллегии Комиссариата юстиции, просят освободить их от обязанности работать вместе с эсеровской бандой,— возбужденно доложил Стучка Ленину.

— Освободить от обязанностей?.. — В вопросе Ленина слышались удивление и недовольство. Ленин сделал большую паузу. — Вы, товарищи, должны оставаться в эсеровском комиссариате до полного разоблачения клеветников. В противном

случае эсеры почувствуют себя победителями. А о недопустимости создавшегося положения поговорим в Совете Народных Комиссаров. Потребую, чтобы составили комиссию, которая проверила бы «материалы» левых эсеров против Козловского и других товарищей. В комиссию войдут также представители от эсеров. А вы поторопите с декретом о комиссиях для несовершеннолетних. Для республики чрезвычайно важна борьба с преступностью среди молодежи [1].

4. «МЫ — АРМИЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ ЛАТВИИ»

(Из резолюции стрелков)

— Харч, кореш, там выдадут что надо. Они только что подсвинка зарезали. Так что и свинина будет, и крупяная колбаска — снаружи с коричневой корочкой, а внутри красная, рассыпчатая, с кусочками шпика... Поедим от пуза, как ребята эти у Буша в книжке с картинками.

Макс и Мориц не поведут и ухом,
Храпят в кустах с набитым брюхом.

Двинули!

— Ну не-е. — Екаб Гробинь не соглашался с Фришманисом и Юркой Винтинем «сбегать шесть верст до той усадьбы и...». — Башибузуки мы какие-нибудь, что ли? Пронюхали, что старик спрятанного от реквизиции подсвинка прирезал, так мы у него кусок изо рта вырывать будем?

— Почему изо рта? — удивлялся Фришманис. — Мы поможем ему. С луга сено возить будут, чтоб за зиму не растащили. А мы пособим. Пособим — понимаешь? А в таких случаях угощать принято.

---

[1] «О Следственной комиссии при Петроградском Совете».

«Заслушав доклад председателя ревизионной комиссии над Следственной комиссией, СНК констатирует, что все обвинения против ответственных руководителей Следственной комиссии во взяточничестве и других преступлениях или неблаговидных деяниях ни на чем не основаны и что весь поход против них представляет собой часть общей злостной кампании лжи и клеветы, направленной против рабоче-крестьянской власти представителями, агентами и наемниками буржуазии. Принимая во внимание, что расследование велось совершенно открыто, что все заинтересованные и прикосновенные лица знали о производящемся расследовании из газет и имели в течение шести недель полную возможность представить все данные и дать все показания, освещающие деятельность Следственной комиссии со всех сторон, СНК объявляет расследование законченным и дело Следственной комиссии ликвидированным. Ввиду изложенного ответственные руководители Следственной комиссии: тт. Красиков, Козловский, Линдекс, Мицгендлер и Разин, отстраненные на время расследования от работ, возвращены на свои посты».

— Ну, если пособить... — уступил Екаб. Соблазн был чересчур велик. Уже сколько времени, как стрелки черпали из своих котелков одно жиденькое варево и заедали его хлебом, липнувшим к зубам и комом лежавшим в желудке. После того как седьмой полк в октябре на Валмиерской станции окружил и высадил из эшелонов направляющиеся в Петроград батальоны смертников, армейское интендантство перестало снабжать стрелков провиантом. А когда снабжение возобновили, паек был до того скуден, что ребята через несколько дней стали поглядывать, где бы разжиться чем-нибудь съестным. Иные ухитрялись подъехать к лавочникам, крестьянам, мельникам или к не потерявшим еще окончательно совесть спекулянтам. Иные сачками и сетями ловили отбившуюся от хозяев птицу. Более горячие головы, тайком от продовольственного отдела, предпринимали самовольные «реквизиционные рейды», оправдываясь тем, что все равно крестьянские дворы обшарят контрреволюционные молодчики из Двенадцатой армии, после которых и мышам в амбаре нечем будет зубы поточить! Комитетчики за «рейды» по головке, конечно, не гладили. Они обрушивались такими нравоучениями, что, послушав их, побывавшие в «рейде» предпочитали затянуть потуже ремень, чем повторить подобную вылазку.

Екаб Гробинь уже был принят в сочувствующие большевикам. «Созрел для партии». А сочувствующие партии должны быть примерными во всех отношениях.

Разумеется, от ребят, занимавшихся самоснабжением, Екаб держался подальше. Но сходить помочь сено вывезти никто не запрещал. Если только служба от этого не пострадает.

И вот Екаб сидит в чужом доме за общим столом, над которым висит сипящий фонарь «летучая мышь». Перед ним глиняная миска со вкусно пахнущими щами, в которых плавают кусочки сала. С неторопливостью сытого человека он черпает ложкой похлебку, закусывает пахучим ржаным хлебом и пытается вникнуть в смысл речей одного из соседей по столу. Товарищи Екаба по роте с папашей-хозяином усердно потягивают из кружек. Екаб, подбиваемый остальными, тоже подносит к губам свою, но больше для виду. Не пиво это, а черт те знает что! Сразу дуреешь.

«По латышскому обычаю перед работой полагается малость подкрепиться». Поздоровавшись с солдатами, хозяин тут же подался с ведерком в каретник. Екабу на голодный желудок пришлось осушить чуть ли не штоф противного, горького, как полынь, пойла, а когда пропустили по второй, у него все завертелось перед глазами. Поплыли возы, сараи, пласт накиданного Фришманисом и Винтинем пахучего сена, на который Екаб взобрался, чтобы умять его.

Фришманис и Винтинь не охмелели. Наверно, до этого удалось перекусить что-нибудь.

«Черт подери!» — Екаб даже расстроился. В миске такие соблазнительные щи. Ведь ради еды он и пошел сюда. Ради девчат он в такую даль не поперся бы.

Фришманис, устроившись между женщинами, щекотал их и смешил анекдотами о цыганах и православных попах. Он, видать, вполне доволен. Все говорит да ест, все ест да говорит.

Не так доволен, кажется, Юрка Винтинь. Соседка его уже порядком поблекшая девица, да и как следует подзаняться ею мешает сидящий по другую сторону Юрки бородач с коротким, похожим на репу носом. Сосед, или же родич хозяина дома, страшно разговорчив. Прямо беда, что от мерзкого пойла все в голове перемешалось. Бородач читает газеты, бывает на митингах, слышит также кое-что от проезжих людей, которые не только по видземским дорогам скитались. Услышав, что у Винтиня в Айзпутском уезде родственники, бородач завел разговор о нынешней жизни в Курземе. И нарассказал много такого, чего не найти даже в статьях Антона Биркерта, печатавшихся в газете «Яунайс вардс» и будораживших читателя описаниями голодной жизни курземских крестьян.

В самом деле, мясное там для латышей редкое лакомство. Из жалких остатков от яловой коровы или захудалой свиньи, которые перепадают крестьянам после реквизиций, под страхом самых суровых кар запрещено готовить пищу. Пруссак сидит у тебя на шее и смотрит, чтобы ты обрезки мяса тушил в бумажном кульке, а то даром сок пропадает. Чистая правда и то, что Биркерт рассказывает о плодовых косточках — из них какие-то сиропы делают. И про обглоданные кости, из которых немцы жир добывают. Даже падаль эти жадюги не разрешают закапывать в землю. Варят из нее мыло, всякие мази, отливают свечи и черт знает что еще.

Однако главное — это грабеж. Курземе все изрезано узкоколейками. Так называемые «самовары» таскают в Германию все стоящее: лес, хлеб, скот, самодельные ткани. Даже белый болотный мох, который каждый крестьянский двор должен сдавать мешками.

Бородач рассказал несколько забавных подробностей о разыгранной немцами комедии — о сборище баронов, пасторов, бюргеров и нескольких по-собачьи преданных немцам латышских богатых хозяев и о принятом им решении присоединить Курземе к германской кайзеровской короне. Он сам все это видел, и его будто бы и сейчас еще тошнит от увиденного.

— Братцы, родные мои! — рассказчик потеребил черную бороду. — И вообразить трудно, какую чуму немцы на нашу любимую родину наслали.

— Не оплакиваете ли вы так Курземе, чтобы подбить стрелков записаться в корпус освободителей этого округа, создающийся националистскими офицерами? — спросил Винтинь. — Господин Керенский до того, как лыжи навострить, позволил создать такой. А бывшие благородия вместе со скинутым видземским вице-комиссаром Ульманисом ищут теперь, как бы нового конька оседлать.

— Мы, здешние земледельцы, не слепые, как они там, — огрызнулся бородач.

— Так чего ради так жалобно поете?

— Того ради, что я латыш и больно мне, когда живую плоть моего народа кромсают.

— Разве одни латыши за жизнь своих сыновей болеют?

— А разве я так сказал?

Повертев немного свою кружку, он с Винтинем закурил. И, дымя папироской, продолжал размышлять вслух:

— Разные иноземные силы швыряли и швыряют латышей, как ветер листья. Уже не раз народу нашему страдать приходилось из-за того, что верил обещаниям иноземцев — немцев, поляков, русских. Ну и шведов, которых наши писаки невесть какими добрыми господами изображают. Каждый раз, когда латыши доверялись обещаниям чужестранцев и покидали родину, они голову в петлю совали. У Андрея Пумпура есть стихотворение «Соплеменникам на чужбине». Умное стихотворение.

— В каком смысле умное? — спросил Винтинь.

— Там ясно говорится: «Почему ушли далеко, далеко от милой родины...»

— Видал!

— В старину, при нашествии крестоносцев, сотня тысяч земгальских воинов, земледельцев, ремесленников, ушли в Литву и растворились там,— говорил бородач. — Лет триста назад видземцы подались в полки шведского короля, и все, что от них осталось,— это старая военная песня.

Фришманису разговоры бородача, видимо, уже начали надоедать.

— В старину трудовой народ во мраке блуждал...

— Блуждал, как же,— согласился бородач.— Конечно, мы сейчас совсем другими глазами на мир смотрим. Сейчас почти каждому уже мало того, что отец наказал или мать пожелала. А кто лучше латышских воинов, которые не на жизнь, а на смерть за родину дрались, должен понимать, что делается сейчас.

— Правда, сущая правда,— хозяин дома подсел к бородачу. — Латышу нельзя за свою родину не болеть. Латыш порою словно белены объедается и на любое сумасбродство готов. Взять хотя бы с этим восьмичасовым рабочим днем для батраков. Один начнет, а остальные, точно бараны, за ним.

Какой крестьянин, если он с ума не спятил, станет косить да на часы поглядывать?

— Дорогой сосед, не то говоришь,— откашлялся бородач.

— Говорю то, что меня, крестьянина, больше всего грызет. Земледелец тоже в чреве латышской матери лежал.

Теперь и Екаб понял, куда клонит бородатый всезнайка, сосед щедрого хозяина. К защите наследственных угодий. Ведь поговаривали, что отчуждение, коснувшееся баронских и пасторских поместий, грозит и богатым латышским хозяевам, которые большими полями владеют и по многу батраков держат. Бывший заместитель комиссара Временного правительства по делам Видземе Ульманис и еще кое-кто из его партии нечто подобное высказали на волостном митинге. Так что у сегодняшней толоки, на которой они больше бездельничали, чем потели, цель совсем другая... И Екабу хотелось вскочить из-за стола да выложить все начистоту.

«Вы, богатые хозяева, ничего не знаете о горе и невзгодах рабочего человека. Потому что едите хлеб, чужим трудом выращенный, носите...»

Хотелось... Мешал только шум в голове и непреодолимое чувство тошноты под ложечкой.

Но он понимал все же, что нечего пролетарскому солдату ради сытной еды выслушивать такие речи.

— Потопали обратно в роту,— сказал он Фришманису.

— В роту?.. В самом деле! Слышь, Винтинь, встали!

— Так быстро? — удивился хозяин. — Посидели бы еще. Редко выпадает сейчас досужая минута для душевного разговора. Оставайтесь, раз уж из казармы вырвались. Поспрошаем хозяйку, может, у нее и что повкуснее найдется.

— Нельзя, хозяин. Нам с Гробинем еще в караул надо. Екаб, мы где после проверки быть должны? На мызе или Шведера сменить?

— Наверно, Шведера сменить.

— Служба — что поделаешь,— сказал Фришманис. — Винтинь, чмокни-ка свою красотку в щечку.

— Ну, коли так?.. — хозяин развел руками. — Только не допущу я, чтоб воины наши пешком ходили, латыш все-таки я, душа не позволяет. Потерпите малость, пока соберусь, и сивка моя вас на санях домчит — только бубенцы прогремят.

Стрелки согласились. Бородач опять налил в кружки бурого пойла, и, поскольку девчатам надеяться уже не на что было, он завладел разговором. И опять завел свое — о латышах, о Латвии. Вишь, мол, как получается, до сих пор по этой прекрасной земле латыши только как рабы ходили, еще никогда ее настоящими хозяевами не были. Разве латышам не следует эту землю раз и навсегда в свое владение взять и самим на ней распоряжаться?

— Так это ведь и делает Исколат — Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. — Разговоры бородача задели за живое и Винтиня. — О воззвании Исколата слышали? Ну, там что сказано? «Все земли поместий вместе с инвентарем помещиков теперь являются достоянием народа». На-ро-да! Не баронов, не панов, не графов, а народа! Это означает: всей знати пинка под одно место. Так?

— Так-то так... Только чего вы этим добьетесь? Люди всякое поговаривают. Рота латышских стрелков, а за ней и полк уже прибыли в Петроград... А теперича латышских воинов и в Москву, и в Могилев, и в Харьков затребовали.

— Так вон что вас заботит?

— А как же? Рассеют тружеников наших по белу свету...

— Не рассеют! Когда местные Советы потребовали для себя охрану из стрелков, Исколастрел отказал им. Рассеять латышских стрелков по всей России мелкими кучками означало бы ослабить их силы для дальнейших революционных боев.

* * *

В помещении, в котором ротный комитет разбирал вопрос о нарушении дисциплины пятью стрелками, так надымили, что от одного запаха махорки и самосада даже у привычных курильщиков в горле дерет. Это после того, как вызвали нарушителей и свидетелей, чтоб «с полной революционной ответственностью» разобраться в позорящем пролетарское достоинство поступке.

— Какое свинство! Пощечина всем честным стрелкам. Как тут от злости и обиды не закурить.

Что верно, то верно: ребята сильно накуролесили... Трое из них, то есть Екаб Гробинь, Юлий Фришманис и Юрка Винтинь отбились от команды и вернулись только поздней ночью. Двое других, стрелки Отто Шведер и Адам Томинь, охраняя арестное помещение, в которое посадили контрреволюционеров, так увлеклись картами, что офицерам Упениеку, Муйжелису, Скрабе и Бинаву удалось ускользнуть.

Ротные комитетчики совещались долго. Обвиняемых они даже взглядом не удостаивали. Не смотрел в их сторону и избранный стрелками ротный командир, бывший ефрейтор Виллерт, друг Гробиня и Шведера.

Екаб сидел на первой скамье, искоса поглядывал на Виллерта, курил и нервничал.

Нет, на этот раз он, Екаб, сторону Отто Шведера держать не станет. Никак нельзя. Главное — не намерение, желание, а результат. А результат — прескверный. Тут уж никакого

оправдания не найти: ни тому, что они трое где-то болтались, чтобы нажраться, ни разгильдяйству в карауле. Ведь они трое не голоднее остальных были. А если были? И хотя задержанных офицеров ревком арестованными не называл (они считались только под надзором), часовые не смели зевать. На митингах во всех резолюциях призывают к классовой бдительности. Так пускай у них с Отисом дружба врозь пойдет, но Екаб все равно правду скажет. Проступок есть проступок.

Разумеется, накажут их строго. Сочувствующего партии Гробиня могут и в большевики не принять. Если ты, парень, мол, такой в мелочах, то что же будет с тобой, когда мы на штурм амбразур империализма пойдем?

— Заседание открыто. — Члены комиссии кончили совещаться. — Слово товарищу Гроскопу.

Гроскопу? Гроскопу, у которого кличка Марат?..

У этого стрелка с изрытым оспой лицом слава самого стойкого партийца. На любом митинге, любом собрании, созванном противником, Гроскоп, как правило, добивается большевистского решения. Он всегда наступает. От него политический противник пускай спокойной жизни не ждет. Смутит внезапной репликой, каверзным вопросом или так отрубит, что того в жар кинет: «То, что говорил предыдущий оратор, можно было бы всерьез принять, если бы выступить здесь его трудовой народ уполномочил. А у него полномочий трудового народа нет. Все, что он выкладывал здесь,— это взгляды ничтожной горстки изгнанных революцией эксплуататоров. Трудовой народ на этот вопрос смотрит иначе. Его мнение выражает вот эта резолюция...»

На собраниях стрелков при Гроскопе изворачиваться лучше и не пытайся. Так всыплет, что долго потом помнить будешь. Гроскоп штудировал Маркса и Ленина, знает программы и классовую сущность всевозможных политических партий. Все ненастоящее, небольшевистское с землей сровняет.

— В какую мы, товарищи, эпоху живем? Какая ответственность перед этой эпохой у каждого солдата армии пролетариата? — спросил он.

Начало речи Гроскопа Екабу и его товарищам не предвещало ничего доброго. Если уж Гроскоп с ответственности перед эпохой начал, то...

Екаб покосился на Шведера. Ну, что я говорил? Еще артачиться будешь? Скажешь, что сбежавшие не были арестантами и что стрелки резались в карты и на позициях, под дулами немецких винтовок?

— В какую эпоху мы живем? Борьба между революцией и контрреволюцией достигла кульминации. Враг пролетариата после внезапного разгрома уже успел опомниться и переходит

в наступление на внутреннем и внешнем фронтах. В Петрограде, в Москве, на Украине, на Урале и у нас, в Прибалтике, тоже. Ушедшие из видземских уездных и земских Советов мироеды Крестьянского союза и разная мелкобуржуазная нечисть одними протестующими выкриками не ограничиваются. Организуют заговоры, подстрекают на мятежи голодных, обнищавших, лишенных крова людей.

В войсках Двенадцатой армии создан Национальный блок реакционных офицеров. Он тоже не удовлетворится одними откровенными национал-шовинистическими проповедями. Националистически настроенные офицеры открыто угрожают Исколастрелу и Искосолу. Угрожают разогнать избранные трудовым народом комитеты. Посмотрите, что печатают появившиеся в последние дни листки блока: «Вы, ленинские прислужники, продались немцам, но скоро вам зададут по заслугам. Две тысячи штыков, которые прибудут с юга и севера»,— размахивал Гроскоп листком величиною с ладонь. — Смотрите, какой ультиматум предъявляет корниловский блок их высокоблагородий и благородий. Не стану задерживать товарищей чтением многих угрожающих писем, их вороха получают Революционный комитет, Исколастрел и редакция «Бривайс стрелниекс» от всяких «трудолюбивых» и «сознательных» латышей. На анонимных ругателей нам бы начхать, и все. Но офицерский Национальный блок пользуется влиянием в некоторых полках Двенадцатой армии. К этому противнику следует отнестись серьезно. У блока есть оружие, которым он умело владеет. С таким противником нельзя не считаться. А что сделали наши пять героев? Что сказать о них, как поступить с ними?

— Пускай Военно-революционный трибунал решает! — крикнули из задних рядов.

— Военно-революционный трибунал — это чересчур,— возразил Виллерт.

— Да, чересчур,— Гроскоп сцепил за спиной пальцы рук (тюремная привычка бывшего политического заключенного). — Товарищи, требующие Революционного трибунала, забывают об учении вождя нашей партии. Что говорил Ленин об ошибающихся товарищах? Надо заставить их исправить свои ошибки работой... Вношу предложение: стрелкам Шведеру, Томиню, Гробиню, Винтиню и Фришманису объявить общественное порицание и отправить их в распоряжение Особого комитета Исколастрела. Для участия в разгроме логова контрреволюции.

У Екаба Гробиня перехватило дыхание. Это предлагает Гроскоп?..

* * *

С разгромом Национального блока у Екаба Гробиня и его четверых товарищей так ничего и не получилось. К их прибытию в Исколастрел там уже стало известно, что отряд второго полка разогнал созванный в Валке контрреволюционный «съезд». Стоило стрелкам в здании «съезда» решительно постучать об пол прикладами, и Национальный блок рассыпался, точно горсть песка.

И украинские роты расправились со «съездом» своих офицеров, не поскупившись при этом на крепкие словечки из лексикона запорожских казаков. А еще до «украинского съезда» эстонские солдаты в Юрьеве провеяли партийное бюро и газетные редакции своих estimees[1]. Примерно в то же время Военно-революционный комитет латышских стрелков по решению Исколата закрыл газету Крестьянского союза «Лидумс» и газету Латышского национального союза солдат «Лайка вестис».

— Вы, товарищи, опоздали. В этом деле вашей помощи уже не требуется,— сказал в бюро Исколастрела пяти солдатам седьмого полка секретарь Особого комитета. — С Национальным блоком покончено... Но вы без дела не останетесь. Сейчас нам предстоит много других важных дел,— сказал он, повернувшись к столу, заваленному воззваниями и плакатами. — Мы с вами, товарищ, не встречались где-нибудь? — спросил он Екаба. — Если память не изменяет — в Петрограде, на квартире товарища Стучки?

— Возможно,— нехотя отозвался Екаб.

— Ну вот. — У секретаря заблестели глаза. — Вы тогда, конечно, еще мальчишкой казались. Если не ошибаюсь, вы Стучке приемным сыном приходитесь?

— Какой я ему приемный сын...

— Все же, все же... Товарищ Стучка... Ну ладно. — Секретарь опять принял деловой вид. — Вам вот какое задание. Вы назначаетесь в охрану Второго съезда рабочих, солдат и безземельных крестьян Латвии. Под началом вот этого товарища... — Фиолетовым карандашом он черкнул на бумажке несколько слов. — Старшего команды найдете на одном из дворов, что поближе к пасторскому дому, или же в самой лютеранской церкви — съезд соберется там. Это все. Да, когда пойдете в команду, захватите с собой вот эти воззвания.

— Смотри, как здорово получилось-то! — радовался Шведер, когда стрелки вышли на улицу. — Вместо пекла в почетную дружину попали. И только благодаря тому, что один из

---

[1] Эстонский патриот (в переносном смысле).

нас в родстве с таким знаменитым партийцем. Только ты, Ешка, дурак. Петерис Стучка тебе приемным отцом приходится, а ты...

— Ну, подумаешь! Пожил несколько недель на квартире у Стучки... — поспешил Екаб закончить неприятный разговор. И, избегая расспросов, принялся читать вслух данный им манифест: — «Всем рабочим, солдатам и безземельным крестьянам Латвии. Революционные рабочие и солдаты Петрограда, восстав двадцать пятого октября против правительства капиталистов и банкиров, положили начало новой эре в истории мировой революции...»

— Эй, ты! — Фришманис вдруг с силой рванул Екаба на тротуар. — Не смотрит, что на дороге творится! Чуть дышлом по голове не схлопотал!

По узкой улочке с грохотом шли подводы, груженные рамами, яслями, шестернями и другим инвентарем национализированного недавно имения, который был припрятан владельцами или управляющими и обнаружен представителями депутатов уездного Совета. Теперь все это везли обратно. Ведь вся земля имений и их инвентарь сейчас — народное имущество. И, как записано в призывах Исколата, «рабочие и безземельные крестьяне не смеют допустить расхищения и раздела инвентаря». Советы рабочих и безземельных крестьян и организованные в волостях дружины Красной гвардии должны следить за тем, чтобы ничего в конфискованных имениях не пряталось и не растаскивалось. Придет весна, уездному земскому Совету, вернее управлениям, избранным самими сельскохозяйственными рабочими имений, придется хозяйничать на нивах, в садах и на скотных дворах. Придется заботиться о севе, чтоб обеспечить урожай не меньший прежнего. Теперь каждый батрак и каждая батрачка имения — хозяева, и труженики и хозяева в одном и том же лице, и каждая небрежно проложенная борозда — позорное пятно для всех крестьян. До сих пор батраки на селе были ничем, теперь они стали всем. Как и рабочие в городе. Так говорят социалисты, большевики, так говорит один из старейших большевиков — Петерис Стучка в газете «Лаукстрадниеку циня» [1].

Статью Стучки «Социал-демократия Латвии и аграрный вопрос» видземские сельские рабочие приняли как непреложную истину, как свое евангелие — именно так сказали бы старики. И ответили Стучке заверением в безраздельном доверии. На всех выборах, какие были после разгрома старого режима, сельские труженики голосовали за список кандидатов, в котором значилось имя Петериса Стучки. На состоявших-

---

[1] Газета сельскохозяйственных рабочих.

ся только что выборах в Учредительное собрание России семьдесят два избирателя из каждых ста отдали свои голоса за Петериса Стучку.

Екаб Гробинь со своими товарищами отошел поближе к забору, чтобы пропустить захудалых лошадок, тащивших по ухабистой мостовой возы с сельскохозяйственным инвентарем. Бросив правившему последней лошаденкой старичку в нагольном полушубке и лохматом треухе несколько крепких словечек из лексикона стрелков, они свернули в переулок.

— Стой! Ребята, дорогу их благородиям! Посторонись! — воскликнул вдруг Фришманис с притворной почтительностью, соскочил с тротуара и стал во фронт, пропуская усача атлетического сложения в офицерской фуражке и шинели без погон и круглолицего человека в штатском. — Прошу, прошу, граждане соплеменники! — сказал Фришманис с подобострастием, в котором скользила явная издевка над меньшевиком Юлием Целмом, который носился с одного малолюдного митинга на другой, и национал-шовинистическим журналистом, пророком «латышской Латвии» Янисом Лапинем. Оба прямо из кожи лезли, пытаясь пробудить в стрелках уснувший патриотизм и указать народу правильный путь в «тумане эпохи», предрекая его судьбу.

— Пожалуйста, извольте пройти! — Шведер тоже сошел с тротуара и встал рядом с Фришманисом. — Не обессудьте.

И когда оба националистских деятеля в растерянности остановились и хотели что-то ответить, Отис тоненьким голоском подростка затянул:

Большой Янис сено косил, пумпиньрасаса.
Малый Янис в бороду плевал, пумпиньрасаса...

Товарищи из полкового комитета на собраниях стрелков осуждали пение двусмысленной, озорной «Пумпиньрасаса». Во всяком случае, не рекомендовалось петь ее на людях, в густонаселенных местах. Но песенка рижских гризинькалнских парней как нельзя лучше подходила для того, чтобы позлить Яниса Лапиня и Юлия Целма...

* * *

Весть о том, что Второй съезд рабочих, солдат и безземельных крестьян Латвии состоится в лютеранской церкви, всполошила валмиерских верующих. И квартиры стрелков (вечно стрелки эти что-нибудь затеют, чтоб распущенность свою выказать) осаждали болтливые кумушки и тетушки: «Не оскверняйте церковь!», «Зачем святое место поганите, где с богом разговаривают?»

Но еще больше заволновались женщины накануне съезда, когда в Валмиеру начали прибывать участники Пятнадцатой конференции социал-демократии Латвии. Стрелки, с песнями, под началом ими же избранных командиров, маршировали по улицам так гулко и слаженно, что им вполне могли бы позавидовать поклонники парадной шагистики старого времени.

Стоило Екабу и его товарищам войти на церковный двор — помочь художникам развешивать алые исписанные лозунгами полотнища,— как их обступали набожные прихожанки. А когда ребята возвращались в дом, флигель которого был отведен под караульное помещение, на пути часто попадалась какая-нибудь жаждавшая потолковать с ними тетушка.

Но стрелкам было не до набожных тетушек. Только один Отис Шведер сразу останавливался, опуская на землю свою ношу:

«Вы, мамаша, о церкви беспокоитесь?.. Зря огорчаетесь, вашей церкви ничего худого не грозит. Уберем ее, как невесту к венцу. И лентами, и флагами. И такую проповедь с кафедры толкнем — погромче ангельских труб прогремит. Стены крепости мировой мамоны от нее почище иерихонских рассыплются. Теперь уже не господь бог, а «Интернационал» нашей «твердыней» стал. Слышали, мамаша, как «Интернационал» поют?»

В шутках Шведера, как и большинства латышских стрелков, отражалось его настроение, вера в пролетарскую революцию, которая в корне изменит жизнь народа. И хотя такие парни, как Шведер, еще совсем недавно, на митингах, узнали об общественных классах, идеи большевиков успели уже стать «твердыней» их умов и сердец.

Правда, «твердыня» не совсем подходящее слово. Оно как-никак церковное, попы же всегда были и останутся злейшими врагами революции, а любой из тех, кто отвергает революцию, личный враг стрелков.

«Катись ты отсюда, не трепись!» — говорил таким Шведер.

«Катись!..» — кричал и Екаб Гробинь проповедникам «национального порядка» из санитарных отрядов, из штабов тыловых служб или землеройных работ.

«Поживей катись!» — отбривал он штатских, пытавшихся «образумить» солдат, которые шли за Лениным и Данишевским. В таких случаях Екаб не пренебрегал и объяснениями, вычитанными в «Лаукстрадниеку циня», московском «Социал-демократе» или в солдатском «Бривайс стрелниекс». Тому бородачу на толоке, что по Валмиере шатался, Екаб мог бы закрыть рот, прочитав ему выдержку из редакционной статьи недавно появившейся газеты «Зиньотайс»: «В истории Латвии происходит одно из величайших и значительнейших событий:

рушатся последние оплоты феодализма. Советы рабочих, стрелков и безземельных крестьян передают промышленные предприятия рабочим, отделяют церковь от школы. Латышский язык получает официальные права в должностной переписке и администрации. Населенные латышами земли, в том числе Латгале, объединяются».

После этого он сказал бы бородачу несколько еще «по-настоящему мужских теплых слов», как говорили ротные ребята. И бородачу пришлось бы убраться восвояси.

Екаб нес караул у входа в церковь, проверял мандаты и пропуска.

Стрелки воспринимали это поручение как знак особого к ним доверия. Так считал и напарник Екаба, усач Берзинь, стрелок запасного полка. Берзинь грозился «дать подножку любой контре», которая вздумает пролезть в церковь. Будь то белый офицер, кулак или какой-нибудь меньшевистский «фрукт». Да, или меньшевичок. На этих ему пальцем не показывай. «Сам сразу любого меньшевистского адвоката или другого прощелыгу признаю, под кого бы он ни рядился. Немало я демократов этих за шиворот хватал».

Не шли бы делегаты съезда таким непрерывным потоком, усач из запасного полка, наверно, показал бы Екабу, как он врагов революции разоблачает. Но делегаты шли прямо толпами, и всезнайка едва успевал сказать ему, кто из них Круминь, а кто Томашевич, Розинь или Эферт...

Порою Екабу казалось: Берзинь что-то путает. Неужели этот щуплый, небольшого роста человечек со смуглым, испещренным мелкими морщинками лицом, в тонком осеннем пальтишке с истертым воротником — прославленный латышский большевик Фрицис Розинь, по кличке Азис? Автор многих статей и книги «Латышский крестьянин»? По мнению Екаба, он должен был бы походить на Лачплесиса[1]. Коренастым Екаб представлял себе и знаменитого пропагандиста, товарища Эферта, руководителя продкомитета, а также автора «Робежниеков» (первую книгу «Робежниеков», роман «Новые истоки», Екаб прочел в журнале еще в Страупе, где пас скот). Известный романист и критик Андрей Упит хоть чем-то должен был напоминать демонических художников в черных широкополых шляпах, с пышными бантами на шее, изображенных на продающихся в книжных лавках почтовых открытках. А Упит совсем обычно одет, высокий человек среднего возраста, похож на крестьянина.

Некоторых делегатов Берзинь, видимо, знал и на самом деле. Упит, ответив на приветствие усача, сказал ему несколько дружеских слов. Наверно, так обычно и бывает, что знакомые нам только по их сочинениям люди на самом деле

---

[1] Легендарный латышский герой.

оказываются совсем не такими, какими мы их себе представляли.

— Проверяй, брат, проверяй, раз ты поставлен здесь,— обратился к Екабу Гроскоп, сунув ему чуть ли не к самым глазам мандат.— Проверяй точка в точку! Отстоишь свое, непременно зайди послушать, о чем на съезде говорят,— наказал он.— На таком съезде побывать — это больше, чем десять лет на школьной скамье просидеть.

— Он из вашего полкового комитета? — понимающе кивнул Берзинь.— Сильный, видать, мужик. Теперь такие нужны. Революцию делать —это тебе не по телячьему загону скакать.

«Тоже сказал — член комитета и телячий загон»,— мысленно возмутился Екаб, но вслух ничего не возразил. Может, Берзинь все же отпустит его на время в церковь? Видит ведь, как Екаб все ухом к двери припадает.

Когда их сменили, на съезде уже подходил обеденный перерыв. Протиснувшемуся в церковь Екабу еще удалось услышать речь какого-то оратора, законченную призывом: «Да здравствуют революционные латышские стрелки — армия социал-демократии Латвии!», который встретили дружным рукоплесканием.

После раздачи обеда Екаба вызвали в полковой комитет и назначили вместе с комитетским писарем на расследование одного щекотливого дела. Утром неизвестный злоумышленник выстрелом ранил владельца кинематографа и трактира Пуриня, в двухэтажном доме которого квартировали солдаты седьмого полка.

— Из засады стрелял, из военного оружия, подточенной пулей. Есть подозрения,— сказал, поколебавшись, комиссар,— что виновный из наших. Недавно работники городского Совета нашли в бумагах полиции донос, написанный в седьмом году Пуринем командиру карательной экспедиции. В своей писанине господин Пуринь перечисляет известных ему в Валмиерской округе революционеров Пятого года. Поговаривают, что расквартированные у Пуриня стрелки про эту бумажку знают. И хотя существует положение о соблюдении революционной законности, а комитет и Исколастрел за самосуд грозят трибуналом, находятся умники, воображающие, что лучше партии понимают, что такое революционная справедливость.

— А толстопузому крепко досталось? — поинтересовался писарь.— Что доктор говорит?

— Дело доктора шкуру залатать. А у нас своя задача: вывести на чистую воду саботажников пролетарской законности. Короче говоря, вы должны внести полную ясность в это позорящее стрелков дело.

— Товарищ комиссар,— такой оборот событий совсем не устраивал Екаба,— я числюсь в охране съезда.

— Числишься? — Комиссар, казалось, раздался в плечах. — Пятнадцать человек из разных рот были зачислены в делегацию, посылавшуюся к эстонским товарищам. Но сегодня утром вооруженная банда разграбила в Лигатне пакгаузы и только что прибывший вагон с пшеницей. И все пятнадцать, которым уже надо было в Юрьеве быть, преследуют теперь грабителей. Понял?

— Понял.

В доме мельника, куда Пуринь перебрался из своего занятого стрелками двухэтажного дома у рыночной площади, стрелков с нескрываемой неприязнью встретила укутанная в черный кружевной платок жена Пуриня.

— Вам мало пролитой крови? — Она стояла в дверях, широко расставив ноги и растопырив руки. — Еще потащите его куда-нибудь?

— Мы к вам по поручению комитета, расследовать, как это произошло.

— Расследуйте у себя самих, если вам требуется,— не поддавалась Пуриниха. — Человек вот-вот испустит дух, а они с допросами лезут. Шли бы туда, откуда пришли!

— Послушайте, хозяйка!.. — Если кулачка эта будет так продолжать, Екаб оттолкнет ее.

— Идите, пожалуйста, сюда! — В темноте сеней отворилась дверь, и девушка в платье гимназистки, уступая им дорогу, попятилась в глубь освещенной комнаты.

У нее подтянутая фигурка, коротко подстриженные белокурые волосы, лицо продолговатое, с острым подбородком. Голова слегка наклонена вперед, словно девушка готова отразить нападение.

— Прошу, товарищи солдаты,— сказала девушка и закрыла филенчатую дверь. — Мне кажется, то есть я думаю, что могла бы быть вам чем-то полезной... Дядю лишь слегка царапнуло. — Она подошла к стрелкам. — Он счастливо отделался. Стрелявший, видимо, хотел его только попугать. Дядя и сам склонен так считать. Присядьте, пожалуйста.

Она отступила почти к самой стенке, у которой стояла этажерка, забитая книгами на латышском, русском и немецком языках. Томики в желтых переплетах «Универсальной библиотеки», журналы. На корешке пухлой книжки Екаб прочел: «Мемуары социалистки».

«Видал, что она читает!..»

— Да, дядя — он брат моего покойного отца — думает, что его хотели только попугать. Человек, который не впервые держит в руках винтовку, с такого близкого расстояния... Только не думайте, что я пытаюсь обелить своего дядю.

Девушка положила спрятанные до сих пор за спиной руки на колени, как крестьянка, настроившаяся на обстоятельный разговор. Екаб заметил, что руки у нее сильно натружены.

— Я посоветовала бы вам поговорить с дядей в другой раз. Когда тети дома не будет. Мельница и трактир — это тетино приданое... Тетя — кулачка по натуре,— добавила девушка. — Почти каждый второй день она до обеда идет за Гаую, на сходку каких-то святош. Вот тогда приходите и разбирайтесь.

— У нас и без того хлопот хватает... — поморщился писарь. — Нам велено допросить.

— Какие там хлопоты? — Екабу хотелось еще побыть в обществе девушки, у которой руки труженицы, коротко подстриженные волосы и необычная манера разговаривать; к тому же у нее такая уйма книг!

— Так ты можешь потом один прийти. А теперь давай допросим соседей.

— Издевательство это, да и только, — сокрушался писарь, когда они покинули дом мельника. — Поди знай, в самом ли деле все так, как эта девчонка говорит. Но если она правду сказала, то толстопузого этого надо бы в больницу перевести и держать под охраной. А то как бы чего похуже не приключилось. Надо охранять его от анархистских ультрареволюционеров, готовых под нашей ширмой черт те что выкинуть, и от провокаций «черных». Статью товарища Стучки в «Правде» о социалистической законности читал? Непременно прочитай. Он пишет, что Советы депутатов рабочих, солдат и безземельных крестьян за любое нарушение революционного порядка, за любое самоуправство должны наказывать самым строжайшим образом. Товарищ Томашевич, который ведает у нас, в Исколате, правовыми делами, говорит: если самоуправство не пойдет на убыль, Совет вынужден будет издать декрет, которым каждый нарушитель будет объявлен вне закона. Так что теперь надо смотреть в оба.

— Черт подери! — На перекрестке улиц писарь остановился. — Митинг собирается. В связи со съездом, должно быть. Ну что, послушаем? Все равно теперь уже дома никого не застанем. Пошли?

— Пошли.

На митинг подле здания Латышского общества собралось много народу. Тут толпились стрелки, женщины в платках и зимних шапках, мужчины в шубах, полушубках и заячьих треухах... Взад и вперед сновали подростки, они поднимались на носки, чтоб получше разглядеть оратора, стоящего на крыльце дома общества, под фонарем, подвешенным к стропилу. Со стороны Гауи налетал ветер, сыпавший снежной и ледяной крупой. Под порывами ветра пламя фонаря то взвивалось, то совсем опадало, и тогда оратор растворялся в чер-

ной темноте, чтобы при следующей вспышке пламени снова возникнуть. По возбужденным голосам и репликам Екаб с писарем поняли: только что была оглашена декларация съезда. Высшим органом власти во всех латышских округах Прибалтики станет съезд депутатов, который в полном согласии с Советом Народных Комиссаров России будет решать вопросы, касающиеся Латвии.

— Латвии! Нашей Латвии! — сказал своему соседу человек в шляпе, по виду учитель. — Если бы русская революция остановилась на этапе буржуазного демократизма, не стала бы ленинской, то Латвии бы не бывать. Еще в шестнадцатом году Райнис говорил о свободной Латвии в свободной России.

— В России народных комиссаров?

— Чего болтаешь! — не сдержался писарь Исколастрела.— Ты... ворон этакий!

В эту минуту плеча Екаба коснулась рука девушки. Он оглянулся. Племянница Пуриня.

— Чудесно! — сказала гимназистка. Даже в полумраке улавливался влажный блеск ее глаз. Она продекламировала из Райниса:

Оба брега Даугавы
Навеки неделимы,
И Курземе, и Видземе,
И Латгале наша!

— Когда вы приедете к нам по делу дяди, я покажу вам замечательную книжку. Один очень умный человек дал мне ее на несколько дней,— приветливо сказала она.

* * *

Под полуденным солнцем со стрех срываются тяжелые сосульки и с тонким звоном падают на мерзлую землю. На ивах на берегу Гауи начинают набухать почки, порою слышится горьковатый запах коры. Недавно появившиеся здесь пестрые птицы с желтыми и красными грудками весело щебечут в кустарниках вокруг крохотных домишек. А высоко над ветвями ясеней и вековых дубов, совсем как в апреле, кружат крикливые вороны. Примета близкой весны.

Только на лицах людей не видно весеннего оживления. Они озабочены и мрачны, как недавно ушедшая холодная пора года.

Каждую минуту в Валмиере могут появиться стальные каски и сизые мундиры жандармских вахмистров кайзеровской Германии. Говорят, немецкие войска уже рвутся к Цесису.

Только что начавшиеся в белорусской крепости Брест-Литовске переговоры между Германией и Австро-Венгрией, с одной стороны, и Советской Россией — с другой, мира социалистической республике не принесли. Попирая условия перемирия, солдаты Вильгельма Второго по-прежнему стреляют, бомбят, взрывают и ломятся на восток. Людендорфские молодчики продвинулись уже далеко. На севере они, через Эстонию, дошли до Нарвы, но под Псковом захватчиков остановили отряды петроградских красногвардейцев, рабочих и стрелки шестого Тукумского полка. Вот уже неделя, как валмиерцы с наступлением темноты видят на южном горизонте вспышки зарниц, а старикам, вышедшим ночью во двор, мерещатся скачущие по небу призрачные всадники. Нарастающий орудийный гул в стороне Цесиса вселяет чувство страха. Людей вдруг покинули сдержанность и благоразумие, с которыми они на грани старого и нового года приняли весть о ворвавшихся в Эстонию и Руйенскую округу бандах белогвардейского главаря Балаховича и эстонских националистов. В не занятой немцами части Видземе латышских стрелков сильно поубавилось. Ввиду затянувшихся брест-литовских мирных переговоров в районы Рогачева — Бобруйска и Жлобина перекинут батальон четвертого Видземского полка и первый Даугавгривский полк. Взбунтовавшийся там корпус генерала Довбора-Мусницкого перешел на сторону польских панов. В двадцатых числах января, по призыву Ленина, третий Курземский стрелковый полк вместе с восемнадцатым Сибирским стрелковым полком, который дрался на Тирельском болоте, выступил на юге России против отборного четырехтысячного войска контрреволюционного генерала Каледина, освободил Ростов и этим на какое-то время обеспечил доставку хлеба голодающим центрам революционной России. Тукумский полк вместе со сводной усиленной караульной ротой стрелков охраняет в Москве Советское правительство.

Люди рассуждают: если по Брестскому мирному договору в Прибалтике хозяевами станут немцы, то отчуждение баронских имений станет поводом для еще более страшного разгула карательных экспедиций, чем в шестом году. А куда латышскому трудовому человеку тогда податься, где спасения искать?..

В полных тревоги беседах проходили теперь свидания Екаба Гробиня с Катриной Пуринь. Они успели крепко сдружиться. Как только выдавалась свободная минута, они непременно отыскивали друг друга.

Иногда они бывали вместе на самодеятельных концертах и театральных представлениях стрелков, но охотнее, конечно, где-нибудь подальше от посторонних глаз — на Валтерской горке, на берегу Гауи или в комнатке Катрины, когда тетка уходила к своим святошам.

Молодые люди, оставшись одни, говорили о всяком. Но очень много о книгах, о литературе и писателях. У Катрины уйма книг, много журналов прежних лет. Есть томики немецких и русских писателей. Катрина посещает открывшийся в городе Народный университет, где читаются лекции по социалистической культуре, истории трудящихся и по латышской литературе. Слушает лекции поэта Линарда Лайцена о Вейденбауме, Райнисе и Аспазии. Катрина знает наизусть много стихов, даже рассказов и пьес.

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,—

ответила Катрина Екабу строками из «Евгения Онегина», когда парень пожаловался ей на пробелы в своем образовании. Катрина советовала Екабу читать русскую и латышскую классику и современных авторов. В газетных приложениях, в журнале «Тауретайс» есть много хороших вещей.

Когда они вместе бродили по Валтерской горке или по берегу Гауи, Катрина, увлекшись, обеими руками сжимала руку Екаба, порою повисала на его локте. И у Екаба возникало желание подхватить Катрину на руки и понести. В эти минуты его чувства к этой девушке напоминали чем-то чувства к Элле Риевите и в то же время были совсем другими.

У Катрины низкий, словно увлажненный осенним туманом голос. И Екабу хочется слушать ее, хоть она и не поет ему знакомые с пастушеских лет грустные песенки: «Небо, темное, облачное», «Звонит ли уже колокол?», «Переправь меня через Даугаву». Катрина любит пародировать или, как с возмущением говорит ее тетка, «уродовать мелодии». Когда Катрина слышит, как молодежь горланит сентиментальную песенку Андриева Ниедры «Несколько прелестных цветиков», то вспоминает пародию на нее, прочитанную в сатирическом журнале:

Много чудесных страниц написал,
Написал о надеждах, свершениях.
И на кляче, в телегу впряженной,
Сам повез листки по селениям.

Теперь Катрина с Екабом говорили о том, что будет, когда стрелки уйдут, и о том, как они уйдут. Екаб бывал на собраниях стрелков-большевиков, Катрина бегала с митинга на митинг, дома без конца слушая устрашающие речи тетки. Но ни Екаб, ни Катрина не надеялись на чудеса, которые вдруг развеяли бы все страхи. Чудеса возможны только в сказках. Стрелки оставят родину. А потом...

— А потом, когда вас не станет, на латышских дворах во тьме будут сверкать глаза людоедов...— грустно сказала Катрина.— А вы, милые, будете там...

— Будем. Но... несмотря на все это... Душа болит...

— Душа? — Катрина пыталась ободрить Екаба.— Как известно, и душе можно приказать.

— Катрина...— У Екаба чуть не вырвалось совсем не то, что ему следовало бы сказать («...без тебя мне будет невыносимо тяжело»). — Катрина, ты у меня такая чудесная... — Какая-то внутренняя сила все же заставила Екаба сказать это девушке. — Когда мы завтра снова встретимся, то я... Ну, до завтра. Кажется, в городе объявлена тревога. Ребята чешут к центру.

* * *

Собрание стрелков седьмого полка состоялось в той же лютеранской церкви, в которой восемнадцатого декабря были приняты основные положения государства рабочих, солдат и безземельных крестьян Латвии. От церковных сводов и сверкающих от приставшей снежной крупы густо переплетенных окон, хоров и известняковых плит пола веяло холодом.

В церкви уже ничего не осталось от торжественности, бывшей во время съезда, установившего в Латвии советскую власть,— ни флагов, ни украшений, ни лозунгов. Только на одной колонне невысоко — рукой достать — еще висел напечатанный на изжелта-серой бумаге «Манифест», принятый съездом. Вернее — лишь его половинка, на которой можно прочесть:

«...Пока идет гражданская война и пролетариат вынужден сохранять свою диктатуру, не может быть и речи о выборах и деятельности на демократических основах Учредительного собрания или какого-либо другого законодательного органа Латвии. Во время войны ни от одного воюющего государства нельзя требовать, чтобы оно допускало в свой штаб генералов неприятельских армий.

Поэтому во время войны и от революционного пролетариата нельзя требовать, чтобы он допускал в свои учреждения представителей контрреволюционных классов...»

Стоявшие поодаль стрелки тянули шеи, искали глазами оратора. Они были возбуждены, как на фронте перед ночной атакой. Сейчас решится главное: оставлять или не оставлять Латвию. И если оставлять, то как?

«Ты, кореш, связан с большевиками, тебе, если в Латвии останешься, крышка,— слышал Екаб рассуждения ротных ребят. — Если не немец, то свой серый барон, которого ты винтарем учил, что такое пролетарская диктатура, вздернет тебя на первом же суку. Уж такому партийцу, как ты, непременно удочки сматывать надо. А мне что, простому стрелку?»

Екаб хотел посмотреть на своих ближайших товарищей — Отиса Шведера, Фришманиса и других. Но они растворились в людской гуще. И Екаб остался на месте весь взвинченный, как под огнем на фронте.

«Почему не начинают?.. Почему не говорят?..»

В своей бурно начавшейся жизни Екаб совершил немало опрометчивых поступков. Необдуманно убежал на фронт, удрал из Петрограда, очертя голову помчался вместе с теми, кто наивно верил в немедленное освобождение Курземе. Но потом проникся силой убеждения революционного слова, веря, что оно со сказочной быстротой преодолеет любые преграды: «Революционные идеи разгромят немецкую военную машину. И вот-вот в Германии начнется революция, и тогда...»

— Товарищи стрелки седьмого полка! — из глубины церкви раздался голос комиссара. — Друзья, боевые товарищи! Для латышских воинов наступил решающий час. Перед лицом всего мирового пролетариата испытывается верность латышских стрелков делу социализма, делу Интернационала. В этот час мы должны ответить: отступим ли мы сплоченными рядами в глубь России, где русские товарищи вместе с сербскими, венгерскими интернационалистами защищают советский строй, и будем воевать дальше за освобождение всего мира от эксплуатации, или же разбредемся по арендаторским и бедняцким лачугам Латвии, надеясь на кротость и милосердие националистских, контрреволюционных завоевателей? С тем чтобы, в случае если все-таки выживем, гнуть спины на других, как гнули наши деды и отцы, а для себя выращивать на пнистом клочке четверик зерна на мякинный хлеб...

— Но в России и мякинного хлеба может не оказаться. Житница Украина теперь под немцем,— отозвался с хоров привычный покрикивать голос.

— Украина отторгнута от государства социализма лишь временно. Пока велись брест-литовские переговоры, украинские националисты, кулаки продались германским империалистам,— ответил комиссар. — Буржуазия любой страны, любого государства свои классовые интересы всегда ставит выше народных. Преследуя личную выгоду, поднял мятеж и Корнилов. А видземские землевладельцы вместе с пастором Андриевом Ниедрой втайне прикидывают, какому из иностранных государств лучше бы запродать Латвию, чтоб самим остаться при домах и лавках.

— Все это мы уже слышали...

— Но, как видно, не поняли. Класс буржуазии, вся банда эксплуататоров...

«В самом деле, зачем комиссар толкует о всем давно известных истинах? — Екабу тоже не нравилась его речь. — Ленинские слова о том, что Октябрьская революция была борьбой в масштабе мировой революции — от войны к миру, ведь

известны любому из ребят. Если в такую минуту еще приходится толковать о текущем моменте, так какая же цена хваленой сознательности латышских стрелков?»

— Только социалистическая революция в России дала латышам Латвию. Пока Россия будет идти по указанному Лениным пути, у латышей будет своя страна, своя родина.

Наконец раздался ожидающийся всеми призыв:

— Пускай поднимут руки те, кто за организованный отход стрелков в революционную Россию!

Екаб голосовал, не поднимая глаз. Но когда он наконец все же огляделся, то увидел чащу поднятых к беленому потолку рук. Казалось, все голосовали «за».

Перед церковью, где начали строиться роты полка, Екаба, Шведера и Фришманиса вызвал командир роты Виллерт.

— Зарядите винтовки и отправляйтесь в имение Озолы, за вот этими вписанными в ордер типами — контрой и предателями революционеров Пятого года. Каждому из них разрешается взять с собой смену белья, теплую одежду и провизию на три дня. Поторапливайтесь, чтоб до четырех поспеть на станцию, к отходу эшелона. Немцы уже в Цесисе. А когда будете идти мимо армейских пакгаузов, поторопите народ, пускай скорее прибирают все, что там осталось. Чтоб пруссаки не захватили.

Екабу очень хотелось по дороге забежать в дом мельника. Сказать Катрине: «Я... то есть мы непременно вернемся! Береги себя, Катрина!»

Но времени для выполнения боевого задания было в обрез.

5. «И РАБОЧАЯ ВЛАСТЬ УЖЕ ВЛАСТЬ ОДОЛЕВАЕТ!»

(Из революционной песни)

— Отсюда вы сможете наблюдать за заседанием ВЦИКа, как из театральной ложи. Увидите и услышите ораторов. — Петерис Стучка открыл застекленную дверь во внутренний зал гостиницы и поставил на балконе стул. Снизу, из просторного, сияющего позолотой и зеркальными стеклами зала, где когда-то давались аристократические балы, поднимался гомон голосов. — Устраивайтесь поудобнее. Пожелаете согреться кипятком, скажете товарищу Доре.

Стучка говорил это члену Центрального комитета социал-демократии Латвии и Исколастрела — Янису Вилку, только что приехавшему в Москву по организационным делам стрелковых полков и навестившему его на квартире Советского правительства в гостинице «Метрополь». Петериса Стучку поселили здесь в так называемом «литерном» номере. Передняя комната, половину которой занимает огромный коричневый

письменный стол дубового дерева,— кабинет Стучки. В задней, куда ведет задрапированная темно-синими бархатными портьерами дверь, живут Петерис и Дора. Там же стоят их вещи — несколько чемоданов. Все остальное, в том числе и библиотека, осталось в Петрограде, ибо одиннадцатого марта Советское правительство перебиралось в новую столицу в строгой тайне, остерегаясь агентуры заговорщиков и интервентов. Секретность и спешка ограничивали количество багажа.

Стучке отвели комнаты на втором этаже гостиницы. С двумя балконами. Один с видом на улицу, на трамвайную остановку против Малого театра, и другой, внутренний,— в зал. Таким образом, из комнат одновременно можно было наблюдать за происходящим в городе и участвовать в пленумах ВЦИКа.

Заговоры, выстрелы из-за угла, саботаж, мятежи, поджоги, анархистские выходки и антиленинские вопли эсеров — все это говорило о том, что классовая борьба в новой России — это тоже фронт, только не имеющий определенной линии.

Советское государство, правда, держится уже гораздо дольше, чем его предшественница — Парижская коммуна в 1871 году. Оно остановило наступление немецких дивизий и выдержало самое страшное — угрозу раскола и развала большевистской партии при подписании Брест-литовского мирного договора.

Еще теперь, хотя прошло уже много времени, Петерис Стучка не может без волнения вспоминать брестские дни. «Несомненно мир, который мы вынуждены заключать сейчас,— мир похабный,— говорил Ленин,— но если начнется война, то наше правительство будет сметено и мир будет заключен другим правительством. Сейчас мы опираемся не только на пролетариат, но и на беднейшее крестьянство, которое отойдет от нас при продолжении войны... Нам необходима оттяжка для проведения в жизнь социальных реформ... Нам необходимо упрочиться, а для этого нужно время. Нам необходимо додушить буржуазию, а для этого нам необходимо, чтобы у нас были свободны обе руки».

Так мотивировал Ленин необходимость мира. А в Центральном комитете и некоторые социал-демократы Латвии заняли нерешительную позицию. Но все же латыши остались вместе с Лениным, хоть и у самих сердце обливалось кровью при мысли о Латвии, о жертвах на родине.

«Я понимал, что этот мир позорен, но голосовал за предложение Ленина, уверенный, что Ленин выведет нас на правильный путь,— сказал Стучке член ВЦИКа Карлис Гайлис. — Я голосовал бы также и в том случае, если бы Ленин оказался в меньшинстве».

Теперь все это уже позади. Чрезвычайный Всероссийский съезд рабочих и крестьян ратифицировал мирный договор

с Германией и Австрией. Центральные советские учреждения работают в новой столице, в губерниях и краях созданы рабоче-крестьянские Советы, красногвардейские отряды, продовольственные комитеты, чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Выходят газеты, функционируют театры, кино, научные и учебные заведения. Неграмотные и малограмотные слушают общеобразовательные лекции. Открыты всевозможные курсы и студии. Скульпторы создают монументальные произведения.

Брестский мирный договор вступил в силу. Немцы аннексировали, отторгли от республики трудящихся большую территорию, разграбили огромные ценности, созданные трудовым народом. В качестве члена советской делегации Петерис Стучка подписывал документ Брест-литовского мирного договора, статьи которого, по образному выражению товарища Красина, «немцы нам диктовали, приставив к виску дуло заряженного револьвера». Подписывал от имени Латвии, при упоминании которой лица свиты генерала Гофмана скривились в насмешливую гримасу — она была гораздо противней той, с которой в Риге, в гимназические годы, Петериса встречали и провожали прибалтийские немецкие «фоны» и «господа».

«Fabelhaft!.. Komisch! — усмехнулся один из немцев, когда Стучка встал из-за стола переговоров. — Смешно, что ставится подпись от имени какой-то Латвии. Ведь Латвия — это лишь волость восточной приморской провинции Германии».

«Латвия — пропитанная пóтом и кровью латышских тружеников земля. Курземе, Видземе, Латгале,— сказал тогда Стучка по-латышски, словно обращаясь к кому-то из членов советской делегации. (Среди уполномоченных и экспертов были и латыши, но эти слова он адресовал не им.) — Латышский трудовой народ Латвию создавал, и ему она и останется. И вместо полков старых латышских стрелков возникнут добровольно организованные войска, которые сумеют помочь угнетенному народу отвоевать свободную Латвию».

Да, кризис, возникший в России во время брестских переговоров, преодолен. Напрасно левые эсеры и меньшевики-интернационалисты ждут его повторения. Прошлого не воротить, такова диалектика революции. Но Брестский мирный договор еще когда-нибудь даст почувствовать себя в повседневной общественной борьбе. На Всероссийском съезде Советов меньшевик Мартов пригрозил, что пролетариат России выступит против правительства, если договор ратифицируют. Так ли это?

Можно не сомневаться, что эсеры и меньшевики будут продолжать нападать на Ленина за Брестский мир. Подстрекателей и подпевал у них достаточно. Антанта и ее дипломатические представители не признают Советского государства, новую Россию они рассматривают как никем не управляемую территорию, как объект международной колонизации. «Они

хотят расправиться с русским народом, совсем как командующий французским экспедиционным флотом Бугенвиль в прошлом столетии расправился с населением островов Южного моря» — так о намерениях Антанты сказал американский интернационалист Вильямс. Обстоятельства эти могут повлиять и на незакаленных, и на зазнавшихся партийных товарищей. Тем более когда государство испытывает такие огромные хозяйственные трудности. Теперь и в Москве двухдневный хлебный паек приходится растягивать на три дня. Не хватает топлива, электрические лампочки горят тускло, часто гаснут. В партии есть люди, которые сомневаются в прочности советской власти. Хотя борьбу, которая велась до сих пор, Октябрьский переворот признают.

«Все, что делалось до сих пор, было нужно делу всемирного пролетариата, как была нужна Парижская коммуна».

Брестский договор теперь стал для советской власти, для партии вроде тлеющего изнутри торфяного пласта. На заседаниях ВЦИКа представители антибольшевистских партий все больше наглеют. Кажется, что Брест даст себя почувствовать и на сегодняшнем заседании в решении вопроса о регулярной Красной Армии.

— Ну, опять бороться будем? — обратился в зале к Петерису Стучке Фрицис Розинь.

— Будем бороться.

— Объявляю заседание открытым,— прозвучал голос Якова Свердлова, заставив притихнуть гомонящий зал. Двигая стульями, члены ВЦИКа расселись пофракционно. Вместе левые эсеры, вместе меньшевики-интернационалисты, по возможности вместе большевистское большинство. Ленин, войдя одновременно со Свердловым, сел отдельно. Пока председатель согласовывал процедуру повестки, Ленин, склонив голову, что-то торопливо писал карандашом на сероватых листках бумаги.

На минуту он выпрямился, щурясь, выслушал предложение одного из членов ВЦИКа и снова принялся писать. С тех пор как Петерис Стучка ближе познакомился с Лениным, он не переставал восхищаться титанической работоспособностью Ильича. Кажется, у того не бывает ни одной неполноценно прожитой минуты. Труд, творчество, идейная мобилизация отдельных людей, целых коллективов, масс.

У Ленина словно выработался иммунитет против усталости, физической слабости: кажется, чем сильнее напряжение, тем отчетливее и острее он мыслит.

В дебатах первой говорит левая эсерка Спиридонова. Она все еще греется в лучах своей бывшей революционной славы и фанатически защищает стародавние взгляды. Фанатически... Если бы не было известно, с кого Суриков писал боярыню Морозову, то можно было бы подумать, что прототипом его трагической героини послужила Спиридонова. Аскетическое лицо

фанатички, порывистые жесты, поток стремительных фраз. Как и следовало ожидать, Спиридонова нападает на ленинцев. Обвиняет их в предательстве при подписании Брестского договора, в уступках немцам. Обсуждаемый сегодня декрет о регулярной армии — это такое же предательство. Вооружение народа большевики хотят подменить созданием регулярной армии. По образцу кайзеровской, буржуазной армии — с командирами, со штабами.

Спиридонова говорит экзальтированно, нервно жестикулируя, временами она подпрыгивает, точно балерина, в черном монашеском одеянии. Ей аплодируют не только товарищи по партии, но и меньшевики,— ведь Спиридонова защищает меньшевистский лозунг: «Долой армию! Долой! Да здравствует всенародная милиция!»

Петерис Стучка слушал и морщил лоб. «К чему это фиглярство? Разве отряды недисциплинированных ополченцев могут противостоять хорошо вооруженным армиям интервентов и белогвардейцев?»

Выступившие в прениях представители большевистского большинства напомнили собравшимся, что, ратифицируя Брестский мирный договор, Четвертый чрезвычайный съезд Советов признал право и обязанность Российской Советской Федеративной Социалистической Республики защищать социалистическую родину от вероятных посягательств со стороны любого империалистического государства. Точно так же съезд признал долгом масс трудящихся — восстановить и повысить обороноспособность страны. Съезд, правда, потребовал обучить военному делу социалистическую милицию, всех подростков и взрослых граждан обоих полов, но отрядам социалистической милиции, красногвардейцам не по силам на поле боя оказать сопротивление регулярному войску. В эпоху пролетарской диктатуры, когда к внутренней контрреволюции присоединяются армии международного капитала, нужны бойцы, привыкшие к стуку пулеметов, к разрыву гранат, умеющие ориентироваться, определять ночью и в темноте расстояние, направление звука. И в гражданской войне нужна армия, которая в боях с контрреволюцией держала бы ее в определенном страхе, чтобы пролетариат мог продолжать плодотворную работу в хозяйстве, в созидании нового государства.

— Ставлю предложение Совета Народных Комиссаров на голосование,— прогремел Свердлов.

Эсеры и Мартов вскакивают с мест, настороженно озираются вокруг. Как будут голосовать члены ВЦИКа?

Большинство за предложение большевиков, за создание регулярной революционной армии.

Большинство аплодирует. Мартов и его единомышленники оставляют зал.

— Я не удивлюсь, если в товарища Ленина будут стрелять с еще более близкого расстояния, чем в январе, в Петрограде на Фонтанке,— сказал американский журналист Вильямс уходившему после заседания Стучке. — Мне очень не нравится поведение мадам Спиридоновой и некоторых других эсеров во время выступлений председателя Совета Народных Комиссаров. Мы, иностранные интернационалисты, не раз уже говорили товарищу Петерсу, что Ленина надо охранять. Сегодня я повторяю это вам, товарищ комиссар юстиции. Владимира Ильича надо охранять. Даже если он сам против этого.

* * *

На Петровке, против закрытого пассажа, оба провожатых стали прощаться. Они уже наговорились досыта, а товарищу Стучке до дома теперь уже рукой подать.

— Еще раз спасибо вам за сегодняшнюю речь на митинге, товарищ Стучка. Для латышей она была, как вовремя выданный хлебный паек. Может, нам проводить вас до «Метрополя»? На той стороне приверженцы «черного знамени» опять своего «цыпленка жареного, цыпленка пареного» орут...

— Они, анархисты, только и знают, что свои луженые глотки драть. Да и вообще... — Смысла этого «вообще» Стучка так и не раскрыл. Не сказал, что Советское правительство уже поручило красным командирам разработать план ликвидации очагов московских анархистов. Что латышские стрелки в ближайшее время приступят к этой кампании.

— Спасибо, товарищи. Ради меня не задерживайтесь.

«Какое дисциплинированное собрание!.. И народу сколько! Сотен восемь, если не больше. Полный большой двор Клуба московских латышей...» — вспоминал Стучка.

Когда он, поднявшись на импровизированную трибуну, увидел перед собой в четырехугольнике двора стоявших плечом к плечу мужчин и женщин — и в военной, и полувоенной, и деревенской одежде, его на миг охватило волнение оратора-новичка: справится ли он здесь при его негромком голосе. Но участники митинга держались на редкость тихо. Простуженные кашляли, пряча рот в воротник или платок. И, как видно было по задававшимся в конце митинга вопросам, доклад о текущем моменте и сегодняшних задачах живущих в России латышей услышали даже теснившиеся у стены противоположного дома.

Покинувших занятую немцами Латвию больше всего тревожили неизвестность, опасения за судьбу родины. По ту сторону, за демаркационной линией, у многих остались родственники или даже семьи. И сами они еще не успели в России устроиться. Их обхаживали всякие назойливые типы — звали обратно

в Латвию. К тому же тут, в России, в загубленной нищетой России (они не говорят «голодной России»)...

Чтобы ответить на все вопросы, Стучке потребовалось вдвое больше времени, чем на доклад. Надо было рассказать о последних вестях «с той стороны». О решении курземского помещичьего ландтага предложить германскому кайзеру трон курляндского герцога. И что это решение баронов горячо поддержал от имени латышских мелких землевладельцев арендатор имения Вежниек, клявшийся в том, что «латышские сельские жители» и не мечтают о другом правителе, кроме как о прусском короле. Рассказал, что несколько дней тому назад созванный — не без подсказки немецкого верховного командования — объединенный ландтаг Видземе, Эстонии, города Риги и острова Сааремаа «выразил желание», чтобы Видземе, Эстония, город Рига и прибрежные острова были объединены в конституционно-монархическое государство — Прибалтийское герцогство. И этому, поставленному немцами, спектаклю с лакейским подобострастием аплодировали серые бароны и адвокат Красткалн. Кулацкий Крестьянский союз решил не давать работы и квартир, не продавать хлеба сельскохозяйственным рабочим, поддерживавшим советскую власть. В газете сельских хозяев «Лидумс» пишут, что население Латвии ждало ухода стрелков, как спасения от напасти, лишавшей всякой возможности жить. А латышские социал-патриоты — всякие скуениеки, калныни и мендеры — ползают вокруг чертова котла оккупантов заодно с ультранационалистами и сельскими богатеями. Для пролетариата они, пожалуй, поопаснее пророков империалистической буржуазии.

Верно, новой России приходится туго. Советское государство переживает невыразимо тяжелый и сложный переходный период. Одна из особенностей этого периода та, что во многих местах работники старого аппарата хотят насильно перевести молодые советские учреждения на старые рельсы. Хотят заставить комиссаров стать чиновниками, бюрократами. Поэтому у нас еще несказанно много работы, мы должны защитить советские учреждения от вредных традиций прошлого, от влияния старого. Это совсем не легко, но возможно. Уже теперь рабочие и трудовые крестьяне России добились большего, чем Парижская коммуна. Но надо понимать одно: рабочий класс России все трудности должен выдержать один, пока не произойдет революция в Европе. Выдержать с честью. «Только тогда ты сможешь сказать пролетариям других стран: если мы, трудящиеся отсталой, разоренной России, сумели выдержать и одолеть все это, то вам уже бояться нечего».

«Уже сейчас, несмотря на все перенесенные лишения, мы достаточно сильны, чтобы на шестой месяц существования Советской республики сделать, как сказал Ленин, «пробный шаг» в революционном переустройстве сельского хозяйства. Мы

создадим первые сельскохозяйственные коммуны, совхозы, общественные артели по обработке земли. Поначалу, конечно, в таких губерниях, где у пролетарита больше влияния, где крестьяне меньше скованы цепями отсталости. И эвакуированные латыши, надо думать, проявили бы высокую революционную сознательность — в первую очередь те, у кого есть навыки в обработке земли, если бы они участвовали в работе создаваемых коммун или совхозов. Сельскохозяйственные коммуны возникают и в Смоленской, и в Петроградской, а также в граничащих с Прибалтикой губерниях».

Правда, в своем докладе и в своих ответах он, Стучка, участникам митинга о положении в Советской России сказал не все. Лишь между прочим, вскользь упомянул, что на севере десант английских интервентов получил пополнение, что англичанам теперь помогают высадившиеся французы и канадцы. Не упомянул о том, что чекисты в Москве и в других местах недавно раскрыли субсидировавшиеся английской и французской дипломатическими миссиями вербовочные пункты, которые поставляли солдат северным белогвардейским армиям. И что «Союз защиты родины и свободы» Савинкова, к которому примкнули также контрреволюционные латышские офицеры и политики, опутал Советскую республику сетью заговоров. Он сказал собранию: «Положение Красной России сейчас тяжелое», но не сказал: «Очень, очень тяжелое». Ибо, по давно известному военному правилу, во время сражения штаб никогда не должен говорить вслух обо всем, что угрожает.

Стенные украшения в вестибюле и на лестничной клетке гостиницы «Метрополь» тускло блестят, словно покрытые инеем. В коридоре в нос ударяет запах тушеных овощей: горничные разносят по номерам кипяток и чай из поджаренной моркови.

В передней, рабочей, комнате Стучки с шипением горит лампа, на низком переносном столике — синий пузатый чайник, три стакана в белых металлических подстаканниках, тарелка с кусочками пожелтевшего шпика и две величиной с пол-ладони станиолевые бумажки, оставшиеся от ничтожной порции шоколада, который несколько раз в неделю выдается обитателям «Метрополя» комендантом Дома правительства — цесисским латышом Миллером. В комнате пусто. Стучка открыл дверь в смежную комнату.

— Да, да, я здесь,— отозвалась Дора.

Она забралась в кровать под одеяло и пальто, как скупая старуха из сказки. В обтянутых перчатками пальцах она держит повернутую к светильнику бумагу.

— У меня были гости,— подчеркнуто бодро сказала Дора. — Янис Вилк и молодой музыкант из стрелков — Янис Рейнхолд. Мы говорили о симфоническом оркестре стрелков и художественной студии. Я угостила их тем, что у нас оказалось дома.

К счастью, товарищ Миллер сегодня выдал нам паек. Украинский шпик, шоколад и хлеб. Сто граммов хлеба. А товарищ Вилк изголодался по хлебу. Просить не просил, но невольно у него вырвалось: «Без хлеба страшно жить». Говорят, некоторые обитатели «Метрополя» шоколад обменивают на хлеб. На рынке за плитку шоколада дают вдвое больший ломоть черного хлеба. Но на это не каждый способен. Нужна практическая жилка.

— Чем ты сегодня жила?

— Занималась письмами. — Дора как будто не поняла вопроса. Не скажет же, что отдала свой паек гостям, а сама ничего не ела, кроме обеда за общим столом. Полстакана бульона (картофельный отвар плюс две-три крупинки) и ложку жидкой пшенной каши. И что забралась в постель, чтобы лишними движениями не раздражать аппетит. — Перечитала письмо брата, пересланное товарищем Берзинем из Швейцарии. Собиралась отправить Янису длинную депешу. На днях у меня с Паулем Дауге и Робертом Пельше был волнующий разговор. О нем. В Швейцарии, оторванный от латышского трудового народа, с пристающими к нему Циеленом и Краузе-Озолинем, он стал понимать проблематику социализма чересчур субъективно-эмоционально. Пауль даже сказал, что в своем политическом мышлении Райнис сейчас балансирует на острие ножа. В этом году Пауль переписывался с Янисом больше, чем мы с тобой. С каждым денежным переводом он посылал ему в Швейцарию письмо, в котором предлагал вернуться. И раз Пауль теперь так считает...

— Художники люди эмоциональные, в своих высказываниях и поступках они часто бывают опрометчивы,— вздохнул Петерис. — Разве Горький со своей газетой «Новая жизнь» не подпал под мелкобуржуазное влияние? Помнишь, Горький хотел, чтобы мы сотрудничали в его издании, но мы отказали ему, потому что политическая линия «Новой жизни» отклонялась не в ту сторону.

— А разве я утверждаю другое? Порою великий художник оказывается слабым революционным диалектиком. Потому я и хотела бы быть Янису лучшей сестрой. Хотела бы помочь ему понять, что Советы — истинно народное правительство. Напомнить ему, что Райнис всегда хотел быть на стороне трудового народа. У меня в этом появился помощник — литературный критик Фриче. Он собирается написать для «Правды» обзор о латышском пролетариате. Показать, что один из отрядов революционной армии России — латышский пролетариат — сейчас связан по рукам и ногам.

— Яниса непременно надо уберечь от заблуждений. Ему надо помочь не свалиться, выдержать до победы всеобщей пролетарской революции. После нее всем сомнениям придет конец. Сегодня во Франции наш друг Ромен Роллан вынужден оже-

сточенно дискутировать с журналистами, считающими, что Брестский мирный договор повредил германской революции. Зато в час, когда пролетариат Европы восстанет, все признают правоту большевиков.

— Петерис, ты сегодня опять собираешься поздно работать?

— Придется посидеть. У тебя что-нибудь особенное?

— Да нет. — Она быстро спрятала под одеяло озябшие руки. «Какая чушь!» Ее охватило детское желание: чтобы Петерис, как когда-то в слободской ссылке или на даче под Петроградом, согрел своим дыханием ее мерзнущие руки. — Кажется, что товарищи здесь, в России, держатся теперь главным образом на одной силе воли.

— Главным образом,— согласился Петерис. — Сила воли, видно, самое могучее оружие.

* * *

— Богиня справедливости старого общественного строя — Фемида разоблачена, свергнута и объявлена вне закона. Пролетариат вырвал из ее рук безжалостный меч, а лживые весы ее сдал в Музей Революции. Отжившие свой век законы Фемиды и толкования сената сжигаются на кострах.

— Но как вы конкретно будете формулировать принципы уголовного права рабоче-крестьянского государства?— оборвал Петерис Стучка расплывчатое красноречие эсеровского юриста. — Позвольте напомнить: приступая к работе, мы условились о строгом регламенте, о деловитости. Так что какие у вас будут к обсуждаемому тексту предложения, дополнения, поправки?

Коллегия Комиссариата юстиции обсуждает очередной документ, который нужно представить Совету Народных Комиссаров. Новый декрет должен стать основой марксистской криминалистики. Стучка вместе с товарищами подготовил первоначальный текст декрета, конкретизировав при этом марксистское толкование правовых отношений в коммунистическом обществе, учтя ленинские тезисы о революции в пролетарском государстве и действительность России. Декрет отличается направленностью, отсутствующей в прежних основах правовых принципов. Проблематика нового марксистского права тесно связана с демократизмом, деловитостью и строго классовым подходом. Но некоторые члены коллегии из старых правоведов ведут себя так, будто их окружает не действительность социалистической революции, будто они по-прежнему носят мантию юристов государства кнута и петли и состязаются друг с другом в искусстве красноречия. Может быть, чтобы лишний раз подтвердить слова Платона о том, что обретенным в молодости (или детстве) знаниям свойственна чудесная сила.

Пустословие ораторов раздражало Стучку, хоть он и сдерживался, стараясь сохранить спокойствие. О его недовольстве напрасной тратой дорогого времени, бесконечным краснобайством товарищи догадывались по тому, что он чаще обычного прибегал в репликах к пословицам и поговоркам.

В социалистических учреждениях чиновничьей рутине не место. Мы должны уберечь их от путаных порядков и формальностей старого времени... Этого ленинского принципа работы он, Стучка, старался держаться в своей практике со дня основания Комиссариата юстиции, разъясняя этот принцип сотрудникам комиссариата и работникам народных судов из рабочей среды. Ибо кто же может дать программе рабочего класса силу закона и привычки, кроме самих рабочих?

Мало таких старых юристов, которые способны и хотят это понять. Большинство «советников юстиции» старого времени работают в советских учреждениях лишь для того, чтобы оттянуть время. Пока не кончится «большевистская Вальпургиева ночь».

Ощутимые конкретные факты дают нужный материал для размышлений. Люди, которые не признают советское общество, новые общественные отношения, мыслить социалистически не способны. Они прежде всего должны освободиться от своих иллюзий, ошибочных представлений, должны прозреть. Только тогда может измениться их мышление. Но на это в России из старой интеллигенции сегодня способны не все. Только наиболее талантливые, духовно богатые личности.

— Если товарищи, по существу, против проекта декрета не возражают, то окончательный текст его мы могли бы согласовать в рабочем порядке,— сказал Стучка, когда эсеровский юрист кончил свою многословную тираду. — Дополнения, редакционные и другого рода поправки можно будет внести непосредственно в первоначальный текст. Или же в приложении к нему. Коллективно разработанный документ мы могли бы принять на следующем заседании. Есть другие предложения? Нет. Перейдем тогда к следующему вопросу повестки. Рассмотрим, в порядке контроля, как выполняется декрет Совета Народных Комиссаров от двадцатого января.

— Это можно!— сразу согласились юристы небольшевистских партий. — На руководимый товарищем Красиковым восьмой отдел Комиссариата юстиции поступают кипы жалоб. На запрет звонить в церковные и монастырские колокола были жалобы и в Комиссариат и во ВЦИК.

Один из ленинцев самого старшего поколения, опытный партийный организатор, юрист Петр Красиков, возглавил восьмой отдел по настоянию Ленина. Человек большой культуры, марксист Красиков, по мнению большевиков, умело руководил начатым наступлением на опаснейших противников социалистической идеологии — на религиозные институты, на армию

реакционных служителей церкви и монастырей. Правящие круги России столетиями отравляли религией народ. Религия господствовала над многими десятками миллионов людей, держала в своей власти почти все крестьянство. Со дня рождения до самой гробовой доски не было в жизни человека события, которое бы обходилось без назойливого влияния попов, не регламентировалось церковью, не было связано с религиозным обманом. Церковь непрестанно вдалбливала в человеческие умы миф о тленности, быстротечности человеческой жизни «на грешной земле», утешая страждущих сказкой о загробном мире, где смиренных ждет райское блаженство, а строптивым уготованы адские муки. Создание социалистического государства в России было бы невозможно без отмены власти религиозных институтов.

В январе 1918 года Ленин подписал декрет, по которому церковь лишалась всех своих привилегий и функций власти, теряла право вмешательства в дела народного просвещения. Тогда же было отменено субсидирование церкви государством, и ее владения — десятки тысяч десятин земли, а также некоторые промыслы и заводы — перешли в руки рабоче-крестьянского государства.

Эти революционные меры, разумеется, вызвали контрреволюционные выступления врагов советской власти. Как только положения декрета стали претворяться в жизнь, начались бандитские нападения на советских активистов. Попы и монахи примкнули к контрреволюционным заговорщикам, белогвардейцам и агентам интервентов. В иных местах монастырские братья всякими правдами и неправдами пытались обойти декрет, обмануть советские учреждения. Создавались фиктивные артели по совместной обработке земли, бывшие монастырские владения переименовывались в коммуны, в которых монахи будто бы вели трудовую жизнь.

— С момента основания отдела мы поставили себе главную задачу — тщательно следить за выполнением декрета на местах,— докладывал Красиков. — Разработано более десяти циркуляров и директив. Отдел старался своевременно исправлять допущенные ошибки, мешать преступным действиям там, где таковые устанавливались.

Красиков называл факты. За короткое время действительно было сделано много. При этом докладчик не сказал ни слова о тщательном изучении товарищами марксистской литературы по вопросам религии и культа. Петерис Стучка знал, что значит в такой напряженной политической жизни, при таких лишениях глубоко постичь какую-либо еще не разработанную область общественных наук и заодно применять это на практике. Можно говорить что угодно, но Петр Красиков со своей работой справлялся мастерски. Ильич считает Красикова самым эрудированным большевиком в этой области.

— Хотя Красиков подчеркивает, что закон об отделении церкви от государства якобы пронизан духом пиетета и компромисса к столь сильным в деревне религиозным предрассудкам, на практике получается совсем обратное. — Эсеровский специалист по делам культа пытался раскритиковать восьмой отдел. — Большевистский радикализм вызвал на местах опасную оппозицию народных масс. Против буквального толкования закона.

— Закон толкуется соответственно политике класса, который закон создает.— Стучка напомнил представителям левых эсеров о том, что и в этом вопросе у марксистов должен быть классовый подход.

— Но не втиснутая в догмы одной партии классовая политика,— ответил эсер.

— Если партия олицетворяет собою активность революционного класса, если партия выражает идеи авангарда революционного класса,— заговорил Стучка, подчеркивая каждое слово, будто диктовал школьникам пример по логике,— политика такой партии идентична политике всего класса.

— Понятно, понятно: и законодательство, и применение закона подчиняем политическому контролю одной партии,— не унимались эсеры.

— Будто советское право не является революционным правом пролетариата, добытым в борьбе против буржуазного контрреволюционного права!— бросил Стучка.

— Все же хотелось бы знать, что же представляет собой разрекламированная терпимость в вопросах религии и культа. Почему верующим запрещается во время богослужений звонить в церковные колокола?— вмешался теперь меньшевистский юрист.

— Запрещается звонить в церковные колокола? Откуда у вас такие сведения?

— Хотя бы из телеграммы старосты Вытегровской церкви председателю Совета Народных Комиссаров. Вытегровские органы местной власти запретили богослужения с колокольным звоном.

— Восьмой отдел тщательно расследовал жалобу старосты Вытегровской церкви,— взгляд прищуренных глаз Красикова стал пронзительнее. — Установлено, что колокольным звоном сигнализировали контрреволюционным бандам, чтобы они могли напасть на советские учреждения, разграбить добытый советскими продотрядами хлеб. Четвертого апреля, например...

«Надо углублять социалистическое законодательство, а они... — думал Стучка. — На повестке дня комиссии по законопроектам — декрет о советском суде, основной проект Советской Конституции, положение Российской Социалистической Федеративной Советской Республики о народных судах. И еще

положения о советской Прокуратуре, Верховном Суде, институте судебных заседателей и защитников. Каждый из подготовляемых декретов и каждое из положений должны быть марксистски обоснованы. Каждый законодательный акт должен стать действенным оружием в политике пролетариата. Но попробуй добейся марксистских формулировок, когда каждую фразу приходится вырывать силой!»

«Переживаемый переходный этап как в законодательстве, та́к и в самой работе суда диктует строгое соблюдение принципа коллегиальности». Мысли его опять перескочили к инструкции о деятельности народных судов... «В судах могут действовать только судьи и заседатели, избранные Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. То же самое — в революционных трибуналах, рассматривающих самые опасные для нового Советского государства преступления. Только так можно осуществить требование Ленина о том, чтобы вместо старой системы суда был создан единый, снизу доверху народный суд, принципы деятельности которого, как и в управлении государством, определялись бы классовыми интересами трудового народа и его активным соучастием. Всеобъемлющий фронт социалистической революции борется и за марксистское обоснование принципов теории права и судебной практики. А на этом фронте врага должны одолеть те, кого поставила партия».

Петерис Стучка оторвал клочок от приготовленного для заметок чистого листа и написал Козловскому:

«По-моему, надо издать брошюру «Народный суд в вопросах и ответах». Для новых советских судов и судебных заседателей. Форма вопросов и ответов в политическом просвещении сейчас самая распространенная и для масс наиболее доступная. Думаю, что ею же надо воспользоваться и в юриспруденции».

* * *

— Пилат приехал! Из занятой немцами Латвии! — Дора встретила Петериса радостно взволнованная. — Недавно приходила Магда Розинь. Янис у них. Его поселили в Комиссариате по национальным делам латышей, на Никитской. Тебя просят назначить время, когда ты мог бы выслушать Пилата. И место. Розинь спрашивает, не хочешь ли, чтобы он пришел к тебе, в «Метрополь».

— Не хочу ли?.. Разве у бюро нет специального помещения в гостинице «Националь»? Я сейчас пойду туда.

— Ты не сердись! Товарищи говорят: ты и так каждый день по многу верст проходишь. Ты уже немолод. Вот, жалея тебя, они...

— Жалея меня!.. Что по силам любому из товарищей, по

силам и мне. Поэтому впредь... Ну ладно, Дорочка,— улыбнулся он. — Я побежал, пока из Пилата еще не выветрился дух Латвии.

И он спустился с лестницы и через площадь, мимо Охотного ряда, направился к гостинице «Националь», что в начале Тверской. От быстрой ходьбы учащенно забилось сердце, но идти медленнее он не мог. Пилат, товарищ Круминь, первым из оставшихся в Латвии членов Центрального комитета перешел после Брестского мира границу. Посланный организацией с верными материалами о виселицах, воздвигаемых оккупантами на церковных дворах и перекрестках дорог, о пытках в обнесенных колючей проволокой концентрационных лагерях, куда немцы сгоняют неугодных им тружеников и интеллигентов. Народный комиссариат иностранных дел готовит обо всем этом демарши как германскому правительству, так и нейтральным государствам.

Пилат один из наиболее способных организаторов латышских большевиков младшего поколения, конспиратор высокого класса, образованный марксист и одаренный газетчик. Он очень быстро улавливает суть каждого явления. В любой обстановке, в сутолоке митинга или скрываясь от преследователей, он может написать газетную передовицу или воззвание. В марте 1917 года Пилат-Круминь руководил в Латвии валкско-руйенской партийной организацией.

Российское бюро Центрального комитета социал-демократии Латвии занимало в углу второго этажа гостиницы «Националь» номер с окном на Тверскую и Моховую. В другом конце этого же коридора — комнаты комиссара по латышским национальным делам Фрициса Розиня, члена ВЦИКа Карлиса Гайлиса и комиссара Государственного контроля РСФСР Карлиса Ландера. Время от времени здесь останавливаются и другие латышские деятели партии и красных стрелковых полков.

— Где он? — с юношеским нетерпением крикнул Стучка Фрицису Розиню. — Где этот...

— ...Что немецкий хлеб из древесной коры жрал... — откликнулся сам Пилат. Из-за столика, на котором дымился простой русский чайник, встал блондин лет двадцати пяти с продолговатым, очень худым лицом, прямым носом, энергичным подбородком и лукавой улыбкой на тонких губах. На нем темный выцветший пиджак, надетый поверх гимнастерки, рыжевато-серые широкие брюки. — Здравствуйте, товарищ Стучка, здравствуйте!

— Как границу перешли? Трудно проскочить было?

— Это тайна,— засмеялся Пилат. — У меня тоже свои тайны. Как и у вас...

— Это уж камень в мой огород,— отозвался Розинь и, ухмыляясь, потеребил кончиками пальцев усы. — Человек не

успел еще в Москве как следует ноги обогреть, а уже требует информации, какая не каждому члену ВЦИКа доступна. И спокойно поесть не может, а Магда ради него всех комендантов ВЦИКа и Совета Народных Комиссаров на ноги подняла. Скажи ему, Петерис, пускай подкрепится с дальней дороги. Может быть, при тебе стесняться перестанет.

— Уж раз вы настаиваете так... — вздохнул Пилат и протянул Стучке сахарницу с несколькими синеватыми кусочками сахара, а сам подошел к крючку, на котором висело его пальто, сунул руку в глубокий внутренний карман, достал плоский сверток, развернул его, и в руках у него оказались газеты и воззвания на серой и желто-коричневой бумаге.

— Пули дум-дум латвийских большевиков для оккупантов,— сказал он, подавая Стучке воззвания. — И кое-какие интересные мелочи из газетной продукции немецких подлипал.

— Это не пули, а артиллерийские снаряды! — обрадовался Стучка, листая напечатанные в типографии или на шапирографе воззвания и газетные листы. — Именно такого материала ждет не дождется Народный комиссариат иностранных дел. Вот документ: «Немецкие ударные батальоны арестовывают рабочие самоуправления... Тысячи людей согнаны в концентрационные лагеря... Рижские тюрьмы превращены в застенки, в которых орудуют садисты, бывшие царские холуи, вроде Зелтиня и других, и новоявленные палачи Лежник, Лейманис... Третьего февраля рабочие Риги умирали на улицах, а теперь гибнут в тюрьмах от рук убийц...»

«Воссоединение Латвии с социалистической Советской Россией — теперь наш боевой лозунг»,— читал Стучка прокламации величиною с календарный листок.

«Немецкая военная сила сейчас оторвала нас от России, но рабочие, вопреки империалистическому миру, по-прежнему стоят на своем решении: связать свободную Латвию с революционной Россией!»

«Долой империализм, да здравствует социалистическая революция!»

«Братья немецкие солдаты! (Воззвание напечатано в типографии на немецком языке.) Вас коварно обманули и насильно пригнали в Лифляндию, Эстонию, Финляндию, на Украину, в то время когда Россия отказалась продолжать войну...

Товарищи! Вы посланы на эти земли не освобождать, не наводить порядок, а помогать капиталистам и знати грабить, убивать борцов за свободу рабочего класса, первыми выступивших за мир...»

— Великолепно! — Стучка передал воззвания Розиню. — Воззвания к солдатам написаны хорошим немецким языком, богаты конкретными примерами из истории борьбы немецкого народа, рабочего класса. Думаю, что агитацией в немецких

войсках особенно будет доволен Ильич. Интернацональному сплочению трудящихся он посвящает сейчас не меньше сил, чем укреплению советской власти в России. Четырнадцатого апреля в Москве было созвано массовое собрание военнопленных... Скоро под руководством венгерского товарища Белы Куна откроют венгерскую школу агитации. И Центральный Комитет большевистской партии России принял решение создать специальный центр иностранных групп.

— Бюро,— поправил Фрицис Розинь. — Комиссар по делам национальностей Сталин хочет включить в бюро также представителей партий оккупированных округов России. Кажется, создается нечто похожее на первичную ячейку задуманного Третьего Интернационала. К твоему сведению, Пилат, двадцать пятого апреля начнется Первая конференция коммунистических фракций латышских стрелковых полков.

— ...которая также обсудит разработанные товарищем Розинем-Азисом тезисы по вопросу Латвии,— добавил Стучка.

— Тогда, наверное, наши «любители порядка» завопят о нарушении условий Брестского мирного договора. Старые латышские стрелковые полки, мол, уже давно надо было расформировать,— сказал Пилат.

— Уже давно расформированы,— засмеялся Розинь. — В Новгороде, Великих Луках, Рыбинске, Бологом и других местах наши ребята в порядке очереди подходили к столу демобилизационной комиссии, получали проходное пособие и оттуда прямым путем — к столу в другом конце комнаты, где записывались добровольцами в Красную Армию. Демобилизовавшимся стрелкам разрешили носить военную форму. А так как демобилизованных латышей в Красную Армию записалось столько, что они могли составить несколько полков, военный комиссар суверенного государства был вправе сформировать дивизию и присвоить ей наименование Латышской стрелковой советской дивизии. Мирный договор в этом отношении ограничений не предусматривает.

— Не предусматривает так не предусматривает,— улыбнулся Пилат. — Однако германское командование в Прибалтике, черные красткалны и серые бароны да всякие калнини и мендеры понимают, чем все это может кончиться для них. Вот в газетных вырезках, что в руках у Стучки...

— Я уже смотрю,— отозвался Стучка.

— Да, тут все есть. «Теперь Германия уже не может отказаться от прибалтийских земель, владение которыми гарантирует господствующее положение в торговле на Балтийском море...» — пишет кто-то в издаваемом по милости немцев «Лидумсе». В противном случае Прибалтика может опять оказаться под властью России. Разумеется, для националистских политиков эксплуатация латышского трудового народа под охраной кайзеровских вахмистров и фельдфебелей — самое

приемлемое решение. Бороться против баронов, против прусской оккупации — о таком безрассудстве никто и помышлять не смеет. Написать петицию о нетерпимом поведении отдельных оккупационных чиновников и, сюсюкая бюргерские извинения, просить немецкого лейтенанта передать ее депутату германского рейхстага (в бумагах Пилата есть копия такого письма меньшевистских лидеров) — вот и все, что позволяют себе в Латвии социал-патриотические «защитники латышского дела».

Крестьянский союз серых баронов повернул свою политическую фуру в обратную сторону... «У нас возникло желание объединиться вокруг того, чем мы владеем,— вокруг нашего искусства, чтобы оно достигло своего претворения в жизнь. С мечом в руке мы не смогли стать рядом с другими народами»,— пишет «Лидумс». «Самопретворение» — вот их новый лозунг, «самопретворение с болтовней о древних боярах, достоинстве предков и самоуважении».

— Отвратительная философия серых баронов и меньшевиков!

— Товарищ Пилат,— сказал Стучка. — Когда будете докладывать Бюро Центрального Комитета о положении в Латвии, особо остановитесь, пожалуйста, на наших отношениях с меньшевиками на той стороне.

— Обсуждая возможности созыва Шестнадцатой конференции социал-демократии Латвии, представители организаций настаивали на исключении из партии меньшевиков-интернационалистов за предательство классовых интересов.

— Разумное требование.

— А каково мнение товарищей об издании «Цини» в Риге? — спросил Розинь.

— Печатать «Циню» в Риге сейчас нет никакой возможности. Центральный орган придется печатать в Петрограде или в другом месте поблизости от границы и нелегально переправлять через нейтральную полосу. Вам, Российскому бюро, придется выпускать газету под другим названием.

— Будем выпускать «Криевияс циню» [1].

— Пускай будет «Криевияс циня»...

В привезенных из Латвии газетах Петерис Стучка читал информацию о жизни в Видземе. Была тут и корреспонденция из Стукманисской округи, из его родного Кокнесе. Статью, видимо, прислал только что вернувшийся беженец... «Кругом одни груды развалин, кое-где над ними возвышаются закопченные трубы. Вместо нив — голые, пустынные, изрытые снарядами просторы... И хозяева, и безземельные крестьяне терпеливо ждут в очередях у комендатур свои полфунта хлеба...»

---

[1] «Российская правда».

— Петерис, почему ты ничего не ешь? Почему пьешь чай без сахара? Давай сюда свой стакан! — распоряжалась на правах хозяйки жена Фрициса Розиня — Магда.

— Насильно не надо! — Стучка торопливо пододвинул к себе стакан. Но она все-таки сунула ему в руку кусочек сахара. И не отставала от него, пока он не обещал воспользоваться им для следующего стакана. Но пить ему уже не пришлось. Магда принесла корректуру книжки голландской социалистки Генриетты Роланд-Гольст «История классовой борьбы пролетариата», пополненную Азисом новыми материалами и главой о России. Поправки надо было посмотреть совместно, и кусочек сахара оказался в кармане Стучки. И пролежал там несколько месяцев, пока не был наконец использован.

* * *

— Проект Конституции Российской Федерации в своем первоначальном тексте наконец готов,— сказал Стучка жене, вернувшись домой. — В основном законе четко сформулировано, что такое государство диктатуры пролетариата, что такое руководящая роль партии.

Об осложнениях в работе Петерис Доре обычно не рассказывал. Он не жаловался никогда на то, насколько его огорчал своим поведением тот или иной товарищ. Только потом, когда плохое уже было позади, он, словно вспоминая виденную где-то странность, говорил жене о недавно случившемся в комиссариате или на коллегии.

Но сегодня Петерис сразу заговорил о горячих диспутах в законодательной комиссии, в которых все же победило ленинское мнение; о том, что в конституцию обязательно надо вписать и о достижениях революции. Конституция не должна быть застывшей буквой закона, как в буржуазных странах, где ее авторы боятся вероятных изменений жизненной действительности. Здесь предусматриваются возможные общественные перемены и то, что впредь они должны найти свое отражение в статьях основного закона государства. Сегодня наконец можно сказать: конституция для пролетарского государства на переходный период от капитализма к социализму в основном разработана.

— Конституция гражданской войны,— перебил сам себя Петерис. Должно быть, тревожные мысли о гражданской войне в России и побудили его рассказать Доре о конституции. Россия напоминала сейчас загоревшийся с нескольких сторон, гнущийся под ветром лес — из него летят снопы искр, возникают новые очаги пожаров. Их разжигают английские, французские, американские и японские интервенты и банды реакционных генералов Семенова, Калмыкова, Краснова. Кре-

стьянские бунты и восстания, вызванные кулацкой агитацией против призыва в Красную Армию и продовольственных заготовок. Руководители Чрезвычайной комиссии республики и товарищ Ленин озабочены действиями миссий иностранных государств, Антанты, которые, сотрудничая с меньшевиками, эсерами и монархистами, могут вызвать в трудовой России еще более опасные потрясения. У международных и внутренних реакционеров одна и та же цель: задушить рабоче-крестьянскую революцию, не дать ей перекинуться на другие страны.

Петерис Стучка считал своим долгом не оставлять в области права ничего из старого, созданного эксплуататорским обществом. Каждый день хоть на пядь продвигать вперед новое. Ибо даже самое ничтожное завоевание нового должно стать достоянием будущих поколений. И, по крайней мере, облегчить им поиски новой, большой правды. Уже раз созданное потомки будут совершенствовать, двигать вперед. Даже если бы случилось самое трагическое, даже если бы Советская Россия осталась в истории человечества как вторая Парижская коммуна, люди, которые будут жить после потрясших мир семнадцатого и восемнадцатого годов, найдут в государстве, созданном Лениным, оружие, которым доведут борьбу до конца... Поэтому победа над противниками творческого марксизма при разработке Советской Конституции радует Петериса Стучку не меньше успехов Красной Армии на фронтах гражданской войны.

— Этого мы уже добились: сформулированы принципы конституции гражданской войны,— повторил он, словно Дора раньше не расслышала его.

— Великолепно,— улыбнулась она. — Великолепно! И в Комиссариате здравоохранения у нас сегодня была радость. Иностранные интернационалисты прислали медикаменты для революционеров России. И Дауге сразу же усадил меня переводить инструкции к патентованным препаратам. С товарищем Зиемелисом я сегодня отправила брату в Швейцарию письмо. Описала майскую демонстрацию московских рабочих. Рассказала, что в этом году не только буржуазия, но и русские, и латышские меньшевики бойкотировали праздник международной солидарности. И что, несмотря на свалившиеся на нас трудности, мы бодры и сильны духом.

6. РЕЛЬСЫ ГУДЯТ, РЕЛЬСЫ ЗОВУТ...

— Ха-ха-ха! Указал! Сам указал яму, где хлеб спрятан.

— Как миленький. Даже сам лопаты ребятам дал — копайте!

— Здорово вы там отхватили?

— И не говори. Отборная пшеничка. — Рассказчик выразительно свистнул.

У рассказчика рыжие волосы, худое лицо, нос слегка приплюснут, а рот всегда чуть изогнут улыбкой. Он года на четыре или пять старше Екаба Гробиня, воюет еще с пятнадцатого года, летом семнадцатого примкнул к «данишевсковцам». Ловил спекулянтов, исколесил и прошел сотни верст по железным дорогам и водным путям, трясся на подводах по Харьковской губернии, по Поволжью. Командовал рабочими дружинами, которые вместе с делегатами местных комбедов изымали хлеб по твердым ценам. Участвовал в обмене промышленных изделий на сельскохозяйственные продукты. Зовут его Эдуардом Рутманисом. В одном из рейдов продотряда Рутманиса поразила бандитская пуля, он долго лежал в госпитале, а покинув его, попал в очередной набор стрелков для особой службы — в отряд комиссара Кедрова. Вместе с другими тридцатью пятью проверенными ребятами он в начале восемнадцатого года под руководством Кедрова отправился специальным поездом с ревизией по Ярославской, Костромской, Иваново-Вознесенской, Архангельской и Вологодской губерниям. Проверять деятельность местных Советов, укреплять советский аппарат, ликвидировать логова контрреволюции.

По директиве Совета Народных Комиссаров и согласно мандату, который был выдан старому большевику, руководителю Комиссариата по демобилизации бывшей царской армии («Демоба») Михаилу Кедрову и его бригаде, надлежало опередить события, угрожавшие северным районам республики. Речь шла о заговоре белогвардейцев, правых эсеров и меньшевиков, который поддержала бы интервенция Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки в Мурманске или Архангельске. А в северных губерниях находятся важные для России предприятия военной промышленности и большие запасы продовольствия. На складах Архангельского порта хранится боеприпасов и оружия на много миллионов рублей, военное обмундирование, каменный уголь, а в банковских сейфах — золото и валюта. Все это надо было сохранить.

Итак, в середине апреля поезд, издав несколько протяжных гудков, направился из Москвы в Ярославль. На станциях местного значения он задерживался недолго, пока комиссар и люди его охраны не справлялись с неустранимыми, казалось бы, препятствиями на путях и пока железнодорожный работник после основательной головомойки не налаживал перевод стрелок. Поезд с ревизорами отходил, оставляя на станциях толпы отчаянно орущих, стремящихся куда-то уехать мешочников, беженцев, путешествующих неизвестно куда бородачей неопределенных профессий.

Ревизорская группа Кедрова состоит из большевиков старшего поколения. Екаб Гробинь и сам не ведает, почему оказался среди них. Возможно, его взяли потому, что в феврале, когда полк отступал из Латвии и в Пскове, в районе станции, был окружен немцами, Гробинь, чуть-чуть зная немецкий язык, кинулся стыдить немецких солдат («Шанде, золдат, шанде, камрад бист ду?!»), и те, к его удивлению, оставили их в покое. Может быть, полковой партийный комитет помнил воинственное выступление Гробиня против анархистского комиссара Гришко, который, захватив спецпоезд, предложил ребятам чесать в Великие Луки. Как бы то ни было, но как раз тогда, когда Бausский латышский красноармейский полк выступал на Финский фронт, Екаба вызвали в Москву, к товарищу Кедрову. И тут его взял к себе этот непревзойденный балагур Эдуард Рутманис.

«Тебе, приятель, надо было в Петрограде пристроиться к артистам шестого полка. Декламируешь почище Карлиса Пабрика и Лилии Эрики»,— стрелки из поезда Кедрова от Рутманиса в восторге. Стоит ему замолчать, как начинают подзадоривать его: «Залил бы еще про что-нибудь».

«Я не заливаю. Правду сказываю»,— отвечает Рутманис. И вот на его лице уже мелькнула озорная улыбка, и он начинает делиться новым приключением.

— «Иван Петрович,— говорю я этому кулаку, похожему на сводного брата Распутина. — Ведь сам видишь, до чего у большевиков нюх тонкий. От них и соломинки не скроешь. Свою яму с зерном ты замаскировал по всем законам святого писания, а мы, видишь, отыскали».

А если по правде, так мы Петровича этого просто на пушку взяли. Пока сельская беднота митинговала, я обошел дворы. Чуть погодя подсылаю на митинг к Петровичу смекалистого мальца, который кричит тому: «Иван Петрович, комиссар твою яму нашел!»

А я Петровичу этому говорю: «Тебе за саботаж государственного декрета трибунал грозит. Но так и быть — выручу тебя. Только укажи мне других, что, как и ты, рабоче-крестьянскую республику обмануть хотят».

— И указал? Со скрежетом зубовным, но указал?

— Указал. Душонка частного собственника и стяжателя не примирится с тем, чтобы другой благоденствовал, в то время как самому не повезло.

— А если тот, на кого он указал, вздумал бы заартачиться?

— Заартачится, так местный комбед у него печь или колодец опечатает и часового с винтовкой приставит. Вот и живи без печи и без воды.

— Ведь это произвол! Антипартийный поступок! — возмутился Шинка — он из стрелков шестого полка. — И ты, как большевик, допускал это?

— Допускал. Без хлеба, как ты хорошо знаешь, немало петроградцев, а главное — дети, больные и раненые в госпиталях ноги протянут. В такой критический момент нечего миндальничать. К тому же Ленин категорически требует: предпринимать самые энергичные, самые революционные меры, чтобы обеспечить Питер хлебом. Революционные меры против классового врага, который хочет заморить голодом восставший трудовой народ. Классовая борьба, приятель, такая же страшная драка, какие были на Пулеметной горке или на Острове смерти. Не думай, что большие города России можно прокормить митингами и воззваниями. Или чечевицей, притащенной в мешочке каким-нибудь дедом или бабкой, или такой женщиной, что вчера в Александрове без ноги осталась.

— Нашел с чем сравнивать... — пробормотал Шинка и замолк.

Все живо помнили случай на станции в Александрове. Когда поезд Кедрова подходил к перрону, в противоположную сторону отправлялся смешанный состав товарных и пассажирских вагонов, облепленный оборванцами и мешочниками, которые, отпихивая друг друга, пытались поудобнее и понадежнее устроиться на ступеньках, буферах и крышах вагонов. Многие в сутолоке не удержались, сорвались, упали. Молодая женщина кувырком полетела под колесо вагона, ее около сажени проволокло по земле, а когда она опомнилась, благим матом завопила вслед уходящему поезду: «Ма-ру-ся, Ма-ру-ся! Бросай мой мешок! Мне ногу отрезало! Мне ногу отрезало!»

— В страшное время мы живем... — Шинка подошел к единственному не совсем грязному окну вагона, в которое еще виднелся зимний пейзаж.

— Это есть наш последний... — начал скандировать стрелок Спрогис.

— ...и решительный бой! — подхватил Рутманис, пошарил на верхней наре, где лежала его шинель, и зашелестел номером «Известий». Он собирался читать.

— Что еще... — Остальные тоже принялись разворачивать газетные листы, разглаживать помятые брошюры. У кедровцев так заведено: пока отряд в пути, пока нет назначения, надо изучать политику. Прорабатывать правительственные декреты (в апреле объявлена социализация внешней торговли России, национализация угольных копей, рудников и более крупных заводов), надо ознакомиться с последними статьями товарища Ленина.

Екаб Гробинь достает из солдатского вещмешка том романа Толстого «Война и мир». Книга Толстого не только увлекательна, она помогает изучать русский язык. Одним жаргоном не обойтись! Как он тогда в Новгороде опозорился! На массовом собрании, когда после него на возвышение взобрался плюгавый интеллигентик и принялся разъяснять, как нормальным

русским языком следовало бы изложить то, что только что сказал товарищ из Прибалтики. Нельзя ручаться, что человек этот в самом деле хотел выставить Екаба на посмешище (антибольшевистские бездельники ведь ржали, как в ярмарочном балагане!), а делу Советов от речи Гробиня никакой пользы не было.

И «пролетарская революция является также революцией против невежества и верхоглядства»,— сказал Ленин стрелкам Тукумского полка на встрече в Смольном. Может быть, он сказал не совсем так. Но Екабу рассказывали ребята, которые сами слышали, как Ленин убеждал латышей в том, что Россия сейчас не способна воевать с Германией. Сказал: одни фразеры хотят воевать без армии. Но недалеко время, когда волна революции поднимется и на Западе, и тогда Латвия освободится от немецких оккупантов. Возможно, что о революции, о преодолении невежества Ленин сказал в другой раз. Однако он говорил об этом. А то разве старые партийцы так настаивали бы на учебе молодых большевиков?

После скудного обеда в приспособленном под столовую вагоне третьего класса председатель Особого трибунала Чрезвычайной комиссии Зиединь попросил стрелков собраться.

— Товарищ Кедров хочет поговорить с вами.

— Наверно, будет инструктировать,— и Шинка поспешил занять за столиком место посветлее. Он обычно записывал в блокнот выступления руководящих товарищей, а потом использовал в своих речах.

С тех пор как поезд ревизоров покинул Москву, Кедров беседовал со стрелками раза три. О политическом положении и задачах революционной ревизии. Каким должно быть всевидящее око диктатуры пролетариата и что трудовой народ и партия ждут от своих уполномоченных. И чем участники советских особых ревизий отличаются от чрезвычайных комиссаров Великой французской революции. Люди Робеспьера, правда, тоже выступали от имени народа, но Робеспьер и якобинцы не опирались на массы трудового народа, а были оторваны от них. В социалистическую революцию, а также в пору укрепления революции единство руководителей и самых широких масс трудящихся — вопрос жизни...

Михаил Кедров — профессиональный революционер, товарищ Ленина по швейцарской эмиграции, член Петроградской военной организации во время Октябрьского восстания; у него много общего с Феликсом Дзержинским, он и осанкой и внешностью походит на председателя Чрезвычайной комиссии республики. Кедров худощав, бледнолиц, у него подстриженная бородка, сверлящий взгляд, в общении с друзьями он душевен. Кедров считает, что в революцию (революция ведь продолжается!) каждый ее боец должен быть подготовлен к длительной

борьбе с врагом, порою в полной оторванности от своих товарищей по идеям и оружию.

«Марксист должен не столько думать о высказываниях Маркса в связи с тем или иным явлением, сколько стараться действовать в духе идей великого учителя пролетариата,— говорит Кедров. — Социализм должен строиться руками, умом пролетариата. Марксизм — компас, синее острие стрелки которого показывает лишь направление, но не на брод или переправу через бурлящий поток или на лесную тропу. Неверно и глупо говорить: ладони мозолистые — наш, а нет — контрреволюционер. Таких вульгаризаторов еще немало! Но не они передадут эстафету социалистической революции пролетариям капиталистических стран и колоний».

Как в Чрезвычайной комиссии, где Кедров впервые познакомился с группой латышских стрелков, так и теперь, в поезде, он всегда подтянут, точно перед смотром. Гладко выбрит, причесан, ладно пригнанная комиссарская тужурка застегнута на все пуговицы, аккуратно лежат клапаны на всех четырех карманах. Латышам это импонирует, латышские стрелки органически не выносят небрежных, неряшливых людей, тем более комиссаров.

— Завтра, рано утром, часа в три-четыре, наш поезд прибудет на станцию Ярославль. — Кедров открывает большую жестянку, насыпает оттуда в бумажку щепотку махорки и отодвигает банку чуть ли не к другому краю стола, давая этим понять, что курить могут все.— Ярославль, как известно, большой промышленный центр. Пятьдесят восемь фабрик и заводов, более семидесяти тысяч рабочих. И в то же время Ярославль типичный город старой России, город купцов, помещиков, попов, монахов, мещан, в котором начал свою карьеру известный реакционер Иллиодор и другие черносотенцы. И, поскольку Ярославль находится на месте пересечения больших железнодорожных и водных путей, он стал чем-то вроде заезжего двора для авантюристов и темных скитальцев. Правда, ярославский пролетариат закален в революции Пятого года и более поздней борьбе, в губернии действуют стойкие большевики, среди них и ваши братья латыши. Но, товарищи, вам следует знать, что в партийных и советских учреждениях Ярославля свили себе гнездо враги ленинизма. В партийной организации раскол и деморализация. Идет борьба между городской и губернской организациями. Члены губкома пытались арестовать людей из городского комитета и наоборот. И поскольку буржуазия и мелкобуржуазная стихия борются против Советов путем заговоров, саботажа, идеологических диверсий, используют любую слабость в рядах революционеров, в Ярославле теперь возникла довольно сложная ситуация. Кроме того, наша ревизия должна также выявить настроение людей в городе. Поэтому из вашей среды, товарищи стрелки,

мы создаем небольшую особую группу, которая будет обходить районы, будет беседовать с местным населением, эвакуированными, проезжими, посещать наиболее людные места. У нас с товарищем Зиединем есть предложение выдвинуть комиссаром разведывательной группы товарища Рутманиса.

— Этого балагура?

— Именно потому, что балагур. Больше возражений не будет?

— Послушай, возьми и меня с собой! — Екаб приблизился к Рутманису.

— Ишь горячий какой,— засмеялись стрелки. — Ты в Ярославле случайно зазнобу не оставил?

— В самом деле...

Екабу в лицо ударила горячая волна. Только теперь он вспомнил, что Элла Риевите поехала в Ярославль.

* * *

Встреча Екаба с Эллой была так же неожиданна, как неожиданны сейчас были их объятия и поцелуи на цветастой софе в пропахшей розовым маслом, табачным дымом и сладким женским потом сумеречной комнате. В жарко натопленной комнате, белевшей крахмальными кружевными занавесками и занавесочками, разостланными повсюду салфетками и скатерками.

— Медвежонок ты мой,— говорила она и кончиками пальцев щекотала Екабу шею. — Медвежонок этакий...

Они столкнулись на улице совершенно случайно, у единственного фонаря, освещавшего вход в Интимный театр. Екаб с Шинкой и Лобинем — тоже стрелком их команды — направлялись в дворянскую гостиницу, откуда доносились резко горланившие голоса. За несколько дней до прибытия ревизионного поезда в Ярославль в городе, как и при царе, учинили еврейский погром. Из темноты вынырнула девушка, они с Екабом чуть не стукнулись лбами.

— Пошел ты! — неприязненно крикнула она.

— Элла! Элла!

— Вы... Вы меня знаете?

Шинка с Лобинем с минуту помялись на месте, поглядели, как их товарищ пожимает девице руку, и бросили Екабу, что дальше пойдут вдвоем. Можешь прямо к поезду топать. Хорошо все же, что товарищи освободили Екаба от патрулирования. Хотя они втроем все равно слонялись по городу без всякого дела.

От патрулирования команды Рутманиса не было почти никакого проку.

О том, что кто-то подстрекает железнодорожников, местные товарищи уже слышали. А в необычно большом потоке нищих, крестьян, попов и монахов, катившемся в город по шоссе и ухабистым проселкам, ничего предосудительного руководители ярославских Советов не находили.

«Ну, лезут, как вша... Ну и что? В голодные годы в России целые губернии скитались по белу свету. Рассказы Короленко о помиравших с голоду при царе читали?» — отвечал кедровцам на их опасения секретарь городского исполкома.

«Но здешние попрошайки да всякие дядьки в монашеских рясах никакие не нищие или бродяги,— настаивали кедровцы.— На иных из них лохмотья эти, лапти что на корове седло».

«Хватит вам болтать в конце концов! — рассердился губернский военком Скудре. — Вы — зоркие революционеры, бдительные всезнайки! А мы тут — одни лопухи собрались! Так, что ли? А может быть, я да еще кое-кто, к кому вы со своей бдительностью пристаете, с эксплуататорами боролись, когда вы еще пешком под стол ходили! Много вы о революционной тактике в моей работе судить можете!»

Комиссар Скудре человек самоуверенный и упрямый, как и некоторые его работники и другие товарищи из Ярославского комитета. Когда вновь назначенный председатель губкома, лиепаец Семен Нахимсон, безопасности ради, захотел вызвать из Рыбинска роту латышских стрелков, в Ярославском комитете большинство было против. А теперь и предложения комиссара Кедрова казались Скудре совершенно неуместными.

«Если все, о чем в городе судачат, за чистую монету принимать, то уж лучше заранее в петлю полезть! — говорил он, широко жестикулируя. — Правда, актрисы Интимного театра, во главе со своей примадонной Барковской,— суки, вокруг которых отираются бывшие штабс-капитаны, полковники, буржуйские верховоды и господа из французской миссии. Но из-за этого местным Советам еще голову терять нечего».

Товарищ Кедров со своими ближайшими помощниками прямо из сил выбился, примиряя аппарат губернского и городского Советов с партийными организациями. Но левые эсеры и меньшевики-интернационалисты, точно упрямые козы, были против любого переустройства. И тогда Кедров включил группу Рутманиса в команду, которая должна была выявлять саботажников, жуликов из Продовольственного комитета, контрреволюционных офицеров и нести охранную службу.

Но задерживаться месяцами в одном месте ревизионный поезд не мог. До полного наступления весны, до открытия навигации, когда, по мнению Ленина, могла начаться запланированная империалистическими государствами крупная интервенция, Кедров должен был навести большевистский порядок, по крайней мере, в трех-четырех губерниях. И прежде

всего — в Вологде, куда съехались посольства Антанты со своими военными миссиями, и в северном порту Архангельске. Английский консул в Архангельске уже начал указывать местным учреждениям, что им можно и чего нельзя. Не разрешается выполнять распоряжения Совета Народных Комиссаров и вывозить внутрь страны накопившееся в городе оружие и продовольствие, поскольку «все это принадлежит Англии, а не России».

Благодаря доброжелательству товарищей Екаба к его «сердечным делам» он провожал теперь Эллу домой. Идти пришлось долго. Элла жила на берегу Волги, далеко за старым кремлем, и Екаб, увлеченный своей прежней восторженностью, стал говорить о том, как ему было грустно, когда он уходил из Трикаты на фронт. Сколько радости ему доставляли письма Эллы, как тяжело он переживал ее загадочный отъезд.

— Это произошло совсем неожиданно, как в романе,— щебетала Элла. — Понимаешь, мы с сестрой часто цапались, к тому же летом к нам начал наведываться пожилой латышский помещичек в сапогах, и папаша обнадежил его... К счастью, нам написала моя тетушка... Но ты за это на меня дуться не смеешь. Иначе... расплачусь...

Он, конечно, не хотел, чтобы она расплакалась. Он подтвердил это, охваченный сильным приливом смелости — прямо на улице привлек Эллу к себе и поцеловал. Она фыркнула, как кошка, хихикнула и подхватила Екаба под руку. И, когда они, прижимаясь друг к другу, поднялись по широким ступенькам на крыльцо, Екабу спрашивать, можно ли ему зайти к Элле в комнату, было излишне.

— Поскольку мой кавалер пришел с пустыми руками... — она лукаво прищурила глаз,— об угощении, видимо, придется позаботиться мне. — И на столе появились рюмки и бутылка с желтым, как вересковый мед, напитком.

Они чокнулись, расцеловались («мы еще не пили на «ты»!»), снова наполнили рюмки и, усевшись совсем рядышком, маленькими глотками продолжали тянуть сладкий пьянящий напиток, болтали, снова пили, снова целовались.

— Ты в самом деле скоро уезжаешь? — вдруг сказала с грустью Элла.

— Что поделаешь? Служба.

— А устроиться иначе ты не можешь?

— Я — солдат, к тому же Особого отряда.

— Какого Особого отряда?

— Понимаешь, я зачислен в Особый отряд. В команду по ревизии Советов и ликвидации контрреволюции. Если я о чем-нибудь проболтаюсь, то мне...

— Медвежонок, меня тебе бояться нечего. Поди знай, времена могут измениться, и я еще кое в чем пригожусь тебе.

— Ну, ну?

— Да, да. Моя тетушка — она тут заправляет одним большим хозяйством — дружит с влиятельными людьми. Да, да. Послушай, в бутылке не осталась еще капелька? Налей, пожалуйста!

Екаб подал рюмку Элле, присел перед ней на корточки в надежде, что она поцелует его.

Вдруг снаружи, на крыльце, раздались голоса, отперли дверь, и слышно стало, как несколько человек вытирают в прихожей о половик ноги.

— Крестьяне в своем недовольстве Советами дальше лавок и свободной торговли ничего не видят,— сказал кто-то.

— Но зато они против экспроприации хлеба,— отозвался другой. — Вам, капитан...

— Не стойте, пожалуйста, здесь. Проходите,— пригласил женский голос, принадлежащий, очевидно, хозяйке квартиры. И сразу кто-то нажал на наружную ручку двери Эллиной комнаты.

— Элла!..

— У меня гость, тетенька.

— Выйди, пожалуйста, я должна тебе кое-что сказать.

— Ладно. Я... сейчас. Ничего не поделаешь... — Она коснулась губами уха Екаба. — У тетушки характер надсмотрщицы.

— Да и мне уже пора. Служба.

— Жаль. Хотя... может, так и лучше. Когда к тетке приходят в гости офицеры, она гоняет меня, как барыня прислугу. Почище моего папаши дома. Но ты, медвежонок, не забудешь меня?..

* * *

Вот уже несколько недель, как свет северной ночи озаряет тундры, леса, населенные местности. Когда кедровцы впервые остановились в Вологде, о близости белых ночей напоминала лишь оранжево-красно-синяя радуга. Ближе к северу — в Архангельске — в час ночи можно было без огня читать вывешенные в окнах редакций эсеровские и меньшевистские газеты. Но теперь, когда кедровцы вернулись в Вологду, тут уже царили настоящие белые ночи. В мае и июне, за шесть недель бригада Кедрова так основательно перетряхнула учреждения и союзы трех губерний, сурово применяя при этом оружие пролетарской диктатуры, что вопли о красном терроре перепугавшейся и обозленной российской буржуазии, царских офицеров и коммивояжеров иностранного капитала донеслись до Западной Европы, Скандинавии, до Соединенных Штатов Северной Америки.

«Варварские латышские стрелки в Вологде окружили здание вокзала,— писали иностранные газеты. — Ворвались в залы первого и второго класса, где находились пытавшиеся эмигрировать из большевистского хаоса промышленники, коммерсанты, старшие офицеры, высокопоставленные духовные лица и петроградские актрисы. Унизительно всех обыскали, перерыли сумки и чемоданы. Отняли валюту, ценные вещи, задержанных, под конвоем местной Красной гвардии, погнали в тюрьму. Схваченных эсеровских и меньшевистских деятелей, а также членов союза царских офицеров увезли неизвестно куда...»

«Неописуемо жестоко, еще страшнее, чем в апреле с белыми в Рыбинске, кедровцы разделались с бывшими офицерами и защитниками государственного порядка. Стрелки ревизионного поезда вместе с вологодскими красногвардейцами учинили кровавую баню истинным патриотам России, окруженным в Туганове, Голанде и Капере».

«В Архангельске кедровские ревизоры закрыли все, не разгромленные во время Октябрьского переворота, банки, частные торговые и другие предприятия, разогнали избранную при правительстве Керенского городскую думу, русские национальные военные комитеты...»

«...Кедровцы насильно мобилизовали рабочих и часть солдат местного гарнизона, а накопленное в Архангельском порту военное имущество отправили по Северной Двине в Котлас и по железной дороге — в Сухон и Вологду. Когда демократично настроенные граждане Архангельска вышли на улицы, чтобы демонстрировать против незаконных действий ревизии, Кедров приказал своим латышам разогнать их, после чего по всему городу расклеил объявления, предлагающие местному населению обращаться в «поезд Кедрова» с жалобами на недавно распущенную городскую думу, на членов снабженческих учреждений, блюстителей порядка и почтенных граждан. Само собою понятно, какая последовала за этим варварская расправа. Торговца Попилова, по политическим убеждениям социал-демократа меньшевика, Кедров отдал под трибунал» [1].

В июне комиссара Кедрова вызвали в Москву для доклада правительству. Через некоторое время он вернулся с новыми чрезвычайными полномочиями. Он был назначен главнокомандующим вновь открытого Северного фронта, боровшегося с интервентами и силами антисоветчиков на севере. Главнокомандующему, разумеется, нужны были специалисты по комплектованию, снабжению войск и штабной работе. Нужны

---

[1] Жалобщики «забыли», что торговец-спекулянт с незаконного разрешения старой думы вывез из государственных амбаров и продал на черном рынке 1700 пудов муки, 120 пудов крупы, 59 пудов сахара и другую провизию.

были опытные военные, которые в короткое время из раздробленных воинских частей местного подчинения создали бы армию, способную дать отпор двигавшимся с Беломорского побережья на юг и к Уралу дивизиям интервентов. (27 июня к английским, французским и канадским десантам присоединилась американская морская пехота.) После восстания чехословацкого корпуса в конце мая, когда Челябинск и Пенза попали в руки белых, стало ясно, как жизненно необходимо единое, централизованное командование. Требование Ленина — объединить разрозненные, полупартизанские советские отряды в современную, отвечающую требованиям военной науки силу, определяло и действия марксиста и военного специалиста Кедрова. И теперь он искал опытных пехотных, артиллерийских, саперных и других командиров, военных-большевиков. Таких, как Эдуард Рутманис, как Петерис Спрогис. Но это вовсе не означало, что для командующего Северным фронтом остальные латыши из поезда ревизоров стали лишними. Совсем нет! Помимо службы охраны, которая теперь составляла главную обязанность группы, ребята почти ежедневно отправлялись по чекистским делам. При поддержке местных пролетариев выслеживали антисоветских агентов на извилистых, промытых весенними дождями улочках, стараясь запомнить деревянные ворота, в которых исчезал их подопечный. В более значительных преследованиях контрреволюционеров кедровцам помогали отряды восьмого латышского стрелкового полка, несшего в городе гарнизонную службу и охранявшего железные дороги и ближний Суханов, где находился крупный артиллерийский завод.

Помимо всего этого, у стрелков поезда теперь появилась еще одна особая задача — помогать Кедрову в его переговорах с послами государств Антанты.

Съехавшиеся в губернский центр американские, английские, французские, итальянские и другие послы до сих пор чувствовали себя в Вологде совсем как в азиатских или латиноамериканских сеттльментах. Не признавая существующего в государстве правительства, при котором они числились, послы империалистических государств здесь, в узле стратегических дорог Советской России, в центре военной и другой промышленности, плели заговоры, рассылали агентов для подкупа бывшей царской военщины и национальных войсковых частей. Свое пребывание в Вологде дипломаты Антанты оправдывали заботой о своей и граждан их государств безопасности, так как Петрограду и Москве угрожает вторжение немцев. При этом дипломаты ссылались на то, что и Вологда может претендовать на честь стать столицей. Из «Истории России» Иловайского известно, что царь Иоанн Четвертый уже было решил объявить Вологду престольным градом. Но отказался от своего намерения лишь потому, что однажды при постройке собора

с лесов на царя упал кирпич. Да и царь Петр Первый был настроен перевести свои приказы в Вологду. Так что в переезде посольств в Вологду нет ничего неоправданного.

Конечно! Только совсем не в том смысле, в каком объясняли это послы и сотрудники посольств. И поэтому одним из первых шагов главкома Северного фронта было посещение старейшины дипломатического корпуса — посла Соединенных Штатов Северной Америки Френсиса — в сопровождении внушительного эскорта красных стрелков.

Главком ехал в открытой машине, за ним следовали шестнадцать латышских красноармейцев. Когда Кедров вошел в особняк классического стиля, чтобы вручить представителю заокеанской державы ультиматум Совета Народных Комиссаров («Советское правительство просит вас убраться из Вологды!»), стрелки окружили белое двухэтажное здание.

В следующие дни (при вручении ультиматума Френсис от прямого ответа уклонился) латыши по утрам и вечерам с песнями маршировали мимо посольских резиденций, мимо гостиниц, в которых обитали сотрудники иностранных посольств. Традиционная песня латышских стрелков «Оружьем на солнце сверкая» сменялась шуточной матросской песней, текст которой был переиначен на современный лад:

Эх ты, яблочко, куда котишься?
В губчека попадешь, не воротишься!

Идейная ценность пародированной матросской песни была, правда, весьма сомнительна, но зато песня эта оказалась очень кстати, чтобы досаждать шпионам в дипломатических фраках. Давно ли Чрезвычайная комиссия республики — Чека — уличила многих сотрудников посольств Антанты в недипломатических связях с русскими контрреволюционерами, с мятежными чехословацкими полковниками — так почему бы кедровским ребятам не ткнуть им это под нос?

И вот, шагая мимо посольских квартир, даже маломузыкальные бойцы тянули во все горло:

В губчека попадешь, не во-ро-тишь-ся!

Матросскую песенку восторженно подхватывал и Екаб Гробинь, кончая припев залихватским присвистом. У него получалось это ничуть не хуже, чем у знаменитых уральцев. И, когда отряд подходил к резиденции господина Френсиса, ребята, запевая «Яблочко», подбивали Екаба «поддать жару».

— А ну, свистани-ка!

И Екаб издавал свист, от которого и самого кидало в жар.

Кончив рейд мимо посольских квартир, отряд из шестнадцати стрелков возвращался в вологодский кремль, где находился Кедров и размещались главные учреждения губернских

властей. Здесь они получали новые задания или же отправлялись на митинг послушать информацию о военных и политических событиях. Митинги стрелков часто кончались горячими спорами. Почему на фронте возникало такое критическое положение? Латышские ребята побывали уже во всяких переделках. Они, мол, ученые.

— Тогда все иначе было,— объясняли партийцы старшего поколения. — Теперь совсем другая обстановка, другие классовые и личные отношения между людьми.

— Другие и отношения между красноармейцами и командирами. — Рутманис не был бы «балагуром» и «артистом», не развесели он по этому поводу товарищей новой смешной историей: — Вот возьмем, к примеру, красноармейца Рутманиса и бывшего капитана генерального штаба Осумова, который теперь перешел на сторону революции и планирует наступление Красной Северной армии на врагов дела пролетариата. Оба работают до поздней ночи, до вторых петухов. Ночью Рутманис получает приказ Военно-революционного комитета: в шесть ноль-ноль проводить Осумова на оперативное совещание. К приходу Рутманиса военспец еще спит крепким сном. Как разбудить его? Обратиться по уставу старой армии нельзя, «товарищем» тоже не назовешь. Что же остается? Прокричать: «Вставай, проклятьем заклейменный!»

Когда Екабу посреди белой ночи между многими срочными заданиями удается урвать свободную минуту, он пишет Элле в Ярославль. Она развела в своем письме на целых две страницы о какой-то миссии латышей. Латышам, цивилизованному, культурному народу, надо смотреть туда, где «солнышко поздно вечером садится в золотой челн». Немцы разрешают беженцам вернуться на родину. Бывшим солдатам тоже, если только они хотят мирно жить. Мирно жить? А что значит — мирно жить? Разве будущность Латвии, латышского народа можно оторвать от мирового пролетариата, от русской революции?

* * *

Запыленные, точно на молотьбе, с осевшей на бровях и волосах кирпичной и известковой пылью, все еще настороженно прислушиваясь к грохоту и шелесту в изрешеченном пулями здании, стрелки, обшарив все подвалы и углы разрушенного дома, с винтовками в потных руках собираются во дворе гостиницы. Через взорванные сводчатые ворота с городской площади доносится гул солдатских шагов на каменной мостовой, обрывистые, похожие на команду, окрики. Это уводят пленных белогвардейцев. Еще недавно в центре города кипел бой. Треск винтовочных выстрелов, стук пулеметных очередей

и разрывы ручных гранат сотрясали воздух. Но вдруг наступила тишина.

— Ешка, тебя хватило. Щека в крови,— сказал Екабу товарищ по взводу.

— Не может быть,— Екаб провел ладонью по лицу. К ней прилипла свернувшаяся кровь. — Царапнуло, да и только...

— Я и не говорю, что серьезно,— согласился товарищ. — Но в такой драчке и что-нибудь посерьезнее не заметишь. Как, например, Камбинь, который первым на второй этаж ворвался. — И, оставив Екаба, его товарищ вместе с остальными стал прислушиваться к разговору комиссара штаба и руководителя операции — командира восьмого полка. Куда их теперь пошлют? Не может быть, что после взятия гостиницы «Европа» в городе с контрреволюционерами покончено. Если эсеры начали всеобщее вооруженное восстание, то у них в городе еще много укрепленных очагов. Когда затевают игру ва-банк, то на руках должен быть не один туз...

— На вокзал... На охрану железной дороги... Ребят восьмого полка перебрасывают в Ярославль. Страшная каша заварилась там... В Москве и других городах тоже палят почем зря. А это уж точно — железную дорогу контра в покое не оставит.

На вокзале стрелки проверили документы у всех, находившихся в служебных помещениях или в залах ожидания. Затем их развели по постам: на мосты, у складов, а некоторых назначили патрулировать. Патрульные в сопровождении железнодорожников должны были ездить по линии от Вологды до ближайшего крупного железнодорожного узла и обратно. Екаба вместе с Лобинем назначили на легкую дрезину — охранять восемнадцативерстный участок пути по Петроградской дороге. Каждому из них выдали по пятидесяти боевых патронов и две «шишки» — ручные гранаты — и направили в депо, к ремонтному рабочему Кривцову, в ведении которого находилась дрезина.

— Вас только двое, да с одними винтовками? — Очкастый усач недовольно осмотрел присланную охрану. — «Максима» прихватить не догадались? Нынче за любой железнодорожной будкой засаду белых жди.

— Так ли уж страшно? — сказали стрелки и поставили на рельсы дрезину. — Не так эта контра сильна, товарищ дорогой. Чтобы с нами потягаться, другая закалка нужна.

— Другая закалка?..— сердито протянул железнодорожник, но ехать с ними все же не отказался.

Екаба он посадил с собой, к рычагу дрезины. А Лобиню велел следить за окрестностью.

— Смотри в оба!

Он считал, что добром эта затея не кончится. Недавно говорил с людьми из даниловской дорожной бригады. (Дани-

лов — это подальше, в сторону Ярославля.) Они уверяли, что чуть ли не все города Среднего Поволжья в руках восставших. И по телеграфу сообщают... в Москве ленинских комиссаров отстранили, объявили о новом правительстве. Вот-вот войну с Германией начнут.

— Кончай свою панихиду! Тоже выдумает — ленинских комиссаров отстранили! — Екаб сердито дергал рычаг дрезины. — Раскаркался, точно старый ворон! Не дай бог вместе с таким на позициях оказаться, когда немец на тебя лезет. Сразу выть и стонать начнет да наутек пустится.

Но в Ярославле шли бои. И в Ярославле жила Элла.

Дрезина останавливалась перед каждым мостом, переездом, на каждой железнодорожной станции. Патрульные расспрашивали железнодорожников, постовых, прохожих. Не раз приходилось освобождать путь, снимать с него дрезину — пропускать поезда, товарные составы и пассажирский поезд из Петрограда. Синие и зеленые вагоны, как и прежде, были облеплены людьми, как и прежде, на ступеньках паровозов, на тендерах стояла охрана. Все это Кривцова успокоило. На обратном пути, хотя уже была ночь и палевый северный свет бросал призрачные, таинственные тени, железнодорожник уже заговорил о будничных житейских делах. Что жена может сварить на обед, если еще месяц тому назад съедена последняя горсть чечевицы.

Когда дрезина вкатила в район станции, ее остановили моряки.

— В Вологде и по всей губернии объявлено военное положение,— сообщил старший охраны. — Собираться на улицах, площадях запрещено, запрещено также двигаться группами. Ходить по улицам после двенадцати разрешается только по особым пропускам. Командный пункт вашего отряда находится теперь в доме дорожных инженеров.

— И какое теперь положение? — спросил Кривцов.

— Положение военное,— отрезал старший караульный. А шепотом добавил: — В Ярославле наших здорово потрепали.

И в самом деле: в Ярославле обстановка — хуже нельзя. Об этом на командном пункте стрелков проинформировал комиссар. У восставших большое превосходство в военной силе: внезапным, хорошо подготовленным нападением контрреволюционеры расправились чуть ли не со всеми советскими активистами. Председатель губисполкома Семен Нахимсон расстрелян в самом начале восстания, в ночь на шестое июля. К восставшим, кроме собранных эсером Савинковым царских офицеров и одураченных солдат, примкнула отчасти местная интеллигенция. Хотя сведения о положении в Ярославле еще очень неполные, ясно одно: защитники власти пролетариата в Ярославле действовали недостаточно согласованно. У них не

хватило духу для решительного наступления. Контрреволюционеры поэтому сумели закрепиться, подтянуть силы извне. Рядовые красноармейцы и рабочие дружины местным командирам по-настоящему как будто не доверяют: оказалось, что в руководящие центры проникли враги. Хотя до мятежа в Ярославле побывали и ревизионные группы, и чрезвычайный ревизионный поезд.

— Это, кореш, в наш огород. — «Гвоздь-парень» Рутманис помрачнел. — При ревизии мы дали маху.

— В Москве эсеры разбиты,— докладывал комиссар.— Но положение там было тяжелое. Эсеры заняли Центральный телеграф, другие важные объекты. Германский посол убит, председатель Чрезвычайной комиссии Дзержинский арестован. Заговорщики собирались убить Ленина и других членов правительства. Против эсеров пришлось послать артиллерию.

— А ты уверен, что мы в Ярославле с ревизией в самом деле маху дали? — спросил Екаб Рутманиса после митинга.— Все мы дали маху?

— Все-то не все, но маху цали, это точно. И за это нам отвечать придется. Если не перед трибуналом, то перед партией. И Следственной комиссии нам придется сказать все! Да, Следственную комиссию возглавляет Петерис Стучка. Поди знай, может, отвечать придется именно ему?

* * *

Патрули... Патрули... Рейды стрелков по пригородам, речным вокзалам, монастырям. Всех подозрительных задерживают, в промежутках — стычки с монахами, которые обзывают латышей антихристовыми слугами, продавшимися немцам мамелюками. Короткий отдых, короткая информация на командном пункте о боях в Ярославле — и опять рейды.

После пятнадцатого июля стало совершенно ясно, что затеянная эсеровскими мятежниками афера провалилась. Если на окруженный Красной Армией Ярославль смотреть с воздуха, с высоты полета перистых облаков, захваченный «стражами порядка» и продолжателями войны город кажется расплывчатой, испаряющейся лужей, которая все стягивается и уменьшается. Рассыпанные вверх и вниз по берегам Волги пулеметные гнезда исчезают, как высыхающие под солнцем топи, и с каждым днем кольцо красной артиллерии вокруг центра города все сжимается. Теперь идейному вождю мятежников Савинкову уже опасно открыто перебираться из района в район: пули и шрапнель сыплются, точно черный град. Совсем комичный вид в «свободном городе» теперь у лидера эсеров в английской форме защитного цвета, с высокими плечами и

в красных гетрах. Ничего не получилось из организованных Савинковым отрядов рабочих железной дороги и речного транспорта, из губернских крестьянских дружин, в приверженность которых контрреволюционному «святому делу родины» так верил вождь заговора. Полторы сотни «верных» рабочих и крестьян, с которыми он в начале мятежа прошагал от вокзальной площади до набережной, а также тысяча бывших унтер-офицеров и антибольшевистски настроенных интеллигентов растаяли на баррикадах и огневых точках на крышах домов. Их размололи латышские стрелки, ярославские красноармейцы, отряды губернских фабричных рабочих, батальон польских революционеров, отряды венгров.

Приказ Ленина стрелкам, громившим укрепления контрреволюционеров, был ясен: любой ценой и в кратчайший срок подавить мятеж. Без всяких митингов стрелки понимали истинную сущность эсеровской кровавой аферы, связь мятежа с восстанием чехословаков, с контрреволюционными выступлениями в Муроме, на Восточном фронте, с разбойничьими кулацкими налетами в Средней России и интервенцией государств Антанты.

Идя в наступление, латыши принесли особую, составленную перед ярославскими боями присягу, которая начиналась словами: «За революцию погибнет нас немало, но мы останемся тверды как сталь».

Так и было.

И вот семнадцатого июля оборудованные в каменных домах в центре Ярославля укрепления медленно, но настойчиво начал громить присланный из Москвы бронепоезд. Его снаряды сломили мятежников. До того сломили, что в ночной темноте начали выбираться из красноармейского окружения идейные и военные главари мятежа: эсеровские эмиссары, белые генералы, полковники, есаулы, не надеявшиеся больше на обещанную помощь, которая должна была прийти по Волге и по суше с севера вместе с английскими и французскими танками.

Семнадцатого июля на железной дороге между Вологдой и Ярославлем чекисты задержали оборванного бородача с явно военной выправкой. У него нашли письмо какого-то «духовного отца» к «братьям в лихую годину». При допросе выяснилось, что бородач этот — латыш, бывший офицер латышского стрелкового полка — Бинав. Один из ста двадцати латышских офицеров, собранных в Петрограде полковниками Бриедисом и Гоппером «для святого дела освобождения России».

Бинав признался: ему было поручено доставить письмо в Ярославль, на Береговую улицу, на квартиру латышки Матильды Мазродзинь — на пункт внешней связи. И поскольку работнику трибунала Зиединю, допрашивавшему Бинава, прежде чем передать это дело Комиссии по расследованию Ярослав-

ского мятежа, надо было выяснить как можно больше о личности курьера, Чрезвычайная комиссия вызвала бывшего подчиненного прапорщика Бинава — ефрейтора Екаба Гробиня. От Зиединя Екаб узнал, что и обитательницы квартиры на Береговой улице во время Ярославского мятежа не оставались в стороне.

Зиединь, правда, не утверждал, что Элла Риевите контрреволюционерка. Но у Екаба все равно лоб покрылся испариной. Только теперь он понял загадочные намеки в Эллиных письмах. И в тот майский вечер, вернее — в ту майскую ночь, Элла говорила о каких-то возможных переменах. Кроме того, он оказался случайным свидетелем разговора офицеров в прихожей квартиры Мазродзинь.

7. «...ВСЕМ ТЕЛОМ, ВСЕМ СЕРДЦЕМ, ВСЕМ СОЗНАНИЕМ СЛУШАЙТЕ РЕВОЛЮЦИЮ»

(А. Блок)

«Может быть, мне скажут: да в чем же, собственно, заслуги Ленина? Он лишь повторяет уже сказанное Марксом»,— Петерис Стучка набросал первые строчки газетной передовицы и остановился. Не потому, что у него иссякли мысли. Статью он уже продумал до конца, до последней фразы. Обдумал каждый пример. Но он, еще раз перечеркнув напечатанные в верхнем левом углу дореволюционного бланка слова: «Присяжный поверенный Петр Иванович Стучка», отложил перо.

Мысли его бежали, уносясь куда-то в сторону от статьи для «Цини».

Если бы Петерису Стучке велели коротко и содержательно охарактеризовать личность и политическую деятельность Ильича, ему трудно было бы это сделать, несмотря на опыт в профессиональной пропаганде и талант публициста.

«Ленин создал партию пролетариата совершенно нового типа, победоносную партию...» «Ленин применил на деле теорию тактики и стратегии социалистической революции...» «Ленин создал новую науку о государстве, о форме пролетарского государства». «Ленин является образцом настойчивости, воли, принципиальности...» «Ленин — воплощение человеческой простоты, товарищества...» Да, все это давно известно даже хулителям социалистической революции!.. И не этим теперь заняты мысли Стучки. В драматические, бурно пережитые летние месяцы восемнадцатого года он увидел и другие, ранее не замеченные им черты ленинского характера.

Начавшееся двадцать пятого мая в Сибири и на Поволжье восстание чехословацкого корпуса переросло из контрреволюционного мятежа местного значения в очень опасный фронт

интервенции. Четвертого июня послы Соединенных Штатов Северной Америки, Англии, Франции и Италии заявили, что их правительства считают чехословаков своими, то есть Антанты, войсками. Таким образом, местный конфликт превратился в конфликт международный.

Точно отзвук боев с чешским корпусом, начались схватки на новых фронтах. На севере России, в Мурманске, суда под английскими, французскими и американскими флагами высаживали на берег хорошо откормленные и вооруженные полки «великих демократий». На Дальнем Востоке, во Владивостоке и Приморском крае современные американские и японские конквистадоры пытались «цивилизовать» сибирских «дикарей». Немного спустя в Астрахань, Баку, Туркестан прибыли истреблять Советы полумонархистские, полуинтервентские армии. И тогда, точно по сигналу, деревенские богатеи средней полосы России начали вытаскивать из тайников ружья и обрезы и стрелять в каждого, становившегося под знамя освобождения голодных и угнетенных. Затем, чтобы военные корабли России не стали добычей захватчиков, на Черном море была затоплена гордость пролетариата — военный флот. К тому же надо было меряться силами с империалистической Германией, зарившейся на крымские, орловские, курские и воронежские земли, которые, по мнению кайзеровских генералов, недостаточно определенно были включены Брестским мирным договором в пределы рабоче-крестьянского государства.

Затем для Советской республики настал час самого сурового испытания: шестое июля. Далеко идущий план мятежа левых эсеров, который чуть ли не по всей охваченной гражданской войной и интервенцией территории РСФСР пустил круги военных заговоров, покушений и бандитских нападений. Заглушенный толстыми стенами германского посольства выстрел, убивший посла Мирбаха, послужил детонатором для контрреволюционных взрывов в Ярославле, Рыбинске, на Урале.

Хотя, кроме крупных капиталистов, эсеров поддерживали только узкие мелкобуржуазные круги и деклассированные элементы, заговор внес известную растерянность. Потому, видимо, что заговоры всегда опасны, пока неизвестны стоящие за ними силы. А товарищи в некоторых губерниях и губернских центрах были плохо информированы. В качестве председателя Комиссии по расследованию мятежа левых эсеров Петерис Стучка допросил сотни свидетелей, прочитал груды протоколов по другим делам, в том числе и по Ярославскому мятежу, который расследовался Янисом Ленцманисом. Для Стучки не оставалось тайной, как растерялись тогда даже многие старые члены партии. В самом деле: шестого июля и еще какое-то время после него чуть не потерял голову даже и кое-кто из его ближайшего окружения. А Ленин?

Петерис Стучка удивлялся выдержке Ильича во время предательского военного выступления эсеров, хотя и видел, что Ленин беспокоился, не зная, как поведут себя разагитированные заговорщиками латышские стрелки. Ильича занимал вопрос: окажется ли у оторванных от родины латышских стрелков социалистическое, пролетарское и интернациональное сознание сильнее национальных чувств? Ленин всегда и всюду думал о самом существенном, перспективном.

В июне, когда на Урале, в Сибири, на средней Волге уже гремела гражданская война, он предложил ВЦИКу основать Социалистическую академию общественных наук. И только это сделали, как он, встретив Стучку в Кремле, у здания Кавалерского корпуса, заговорил с ним вовсе не о фронте, а об Академии!

«Петр Иванович, голубчик, вы член президиума Академии. Возьмите-ка на себя переписку с нашими иностранными товарищами. Постарайтесь связаться с теми, кого мы хотели бы зачислить в Российскую социалистическую академию».

Думал ли он, говоря это, и о латышском пролетарском поэте Райнисе? Ведь и Райнис числился в списке зарубежных товарищей, которых предполагали привлечь в Академию.

Совету Народного Хозяйства Ленин предлагал рациональнее размещать промышленные предприятия — поближе к месторождениям сырья, поближе к рынкам сбыта. В местах, где имеются нужные кадры рабочих. Говорил о том, как следует электрифицировать промышленность, транспорт и сельское хозяйство, внедрять в производство научную организацию труда. Заниматься этими проблемами Ленин призывал товарищей в то время, когда экономически самое отсталое в Европе государство, опустошенная в хозяйственном отношении Россия, по его собственным словам, «зашла так далеко, что дальше идти просто уже некуда».

В России человеку постороннему, приезжему, впервые разговаривавшему с Лениным, могло бы показаться, что вождю социалистической революции присуще что-то от мечтателя. Что в Ленине, объединяющем силы масс к действию, сочетается ярко выраженный реалист с утопистом и фантастом.

Петерису Стучке нетрудно было понять людей, именно так воспринимавших Ленина. Только он никак не мог согласиться с ними. Часто встречаясь с Лениным, он, казалось, понял, почему Ленин именно такой.

Ленин всегда представлял цели и задачи одновременно в двух планах: в ближнем, актуальном, настоящем и — дальнем, едва намечающемся.

«Нам истерические порывы не нужны,— говорил Ленин. — Нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата». Ибо — самый верный путь в революции избирает тот, кто идет к самой непосредственной и дальней цели.

Это так и не иначе!.. Теория революции в социалистическом творчестве глубоко диалектична. Этого ни на минуту не должны упускать из виду латышские большевики.

В статье, которую он, Петерис Стучка, должен этой ночью закончить, неплохо бы сказать также о том, к чему обязывает ленинский стиль работы.

* * *

— У Магды Розинь сохранилась щепотка кофе. — Уже одетая, чтобы уходить, Дора с робкой настороженностью поставила на стол горько пахнущий кофейник и крохотную, хрупкую чашечку. — Пей, пожалуйста. Повышает тонус. На кухне я оставила спиртовку, надо будет — подогреешь. Если ты не против, я днем все-таки забегу домой!

— Я ведь не болен.

— Не болен. — Она с трудом сдержала вздох. — Но, быть может, ты бы все-таки послушался Курского и пошел на совещание Юридической комиссии. Я недавно встретила на лестнице Мечислава Юльевича. Он очень сожалел, что в такую важную минуту тебя не будет.

— Человек, которого подозревают в нарушениях пролетарской этики, не вправе судить о социалистической законности,— глухо ответил Петерис. Ему явно было трудно говорить. Даже с самым близким другом.

«В глазах небольшевиков ты уже конченый человек... В их глазах судьба твоя решена окончательно и бесповоротно...»

Это были слова прокурора Российской Федерации Юриса Межиня. В то время Петерис Стучка сдал Комиссариат юстиции вновь назначенному народному комиссару Дмитрию Курскому.

«Держись теперь...— Межинь, видимо, считал, что надо ободрить товарища, потерпевшего такое крушение.— Я понимаю, для тебя все это трагично. Может, даже очень, но на самом деле все ведь совсем не так. Во-первых, надо обождать, что решит комиссия ЦК».

«Надо обождать, конечно»,— согласился он. И принялся машинально перелистывать лежавшие в приемной на столике свежие газеты. Из номера «Известий» выскользнул испещренный машинописью лист.

«...Из биографии провокатора, компаньона Малиновского, Петра Ивановича Стучки».

«Из биографии провокатора...»

— Сделаю все, как ты сказала. — И Стучка с занятым видом стал рыться в книгах. — Иди себе на работу.

Хоть бы Дора не пыталась сочувствовать ему. Не старалась утешать...

Он должен остаться один.

Надо неторопливо, и чтобы никто не мешал при этом, мысленно вернуться к давно забытому происшествию. Надо пересмотреть все свои поступки и ошибки как с точки зрения настоящего, так и прошлого. Каждое «да» и каждое «нет» надо взвесить на весах совести.

В чем же его вина?

Тогда он и не подозревал, что прошение революционера, члена организации, на высочайшее имя может быть квалифицировано как предательство. Так не считали и его знакомые и единомышленники на месте ссылки, с которыми он поделился, когда работодатель — торговец Шмерлинг — посоветовал ему обратиться с прошением на «высочайшее имя». Целью Стучки было перебраться поближе к Риге, чтобы легче было поддерживать связь с идейными товарищами. Ведь Динабургский и Режицкий уезды входили в ту же Витебскую губернию, в которой ему было предписано жить. Он не каялся, не обещал исправиться, а лишь настаивал, чтобы ему поменяли место ссылки.

А потом?

Потом он об этом отклоненном прошении даже забыл.

Работники Главного архивного управления нашли в бумагах департамента царской полиции прошение политического ссыльного Петра Стучки от 1899 года. И переслали в Центральный Комитет партии. Надо думать, что сделали они это не сразу, как обнаружили это прошение в пожелтевшей и запылившейся за несколько десятилетий кипе бумаг. Казалось, «дело» это, прежде чем его переслали, побывало во многих руках и многих местах. А то откуда же эти сплетни в комитетах и комиссариатах. До коллеги Козловского, комиссара Государственного контроля Карла Ландера, Пауля Дауге дошли комментарии эсеров и меньшевиков. И вот двадцать первого июля Стучку вызвали в Центральный Комитет.

«Товарищи из Архивного управления передали нам вот этот документ»,— заведующая секретариатом Елена Стасова показала ему грязную желто-коричневую папку, на которой ветвистыми буквами значилось: «Дело». Он раскрыл ее, нашел свое по-школьному отчетливо написанное прошение, отклоненное полицией. И, ни о чем не расспрашивая, тут же в секретариате составил два заявления: Центральному Комитету (одновременно и объяснение, и требование назначить комиссию по расследованию) и председателю Совета Народных Комиссаров, с просьбой назначить вместо него другого комиссара юстиции.

«А вы не поговорите с Владимиром Ильичем? — удивилась Стасова. — О том, что Ильич очень уважает вас, вам, кажется, известно и так. Владимир Ильич освободится часа через полтора. Я скажу ему о вас...»

«Нет, ни в коем случае! — возразил он. — Когда комиссия выяснит, насколько обоснованно выдвинутое против меня обвинение...»

По предложению секретаря Центрального Комитета Якова Свердлова в комиссию вошли весьма авторитетные товарищи. Они долго допрашивали Петериса Стучку без всяких предвзятостей. Спрашивали только о фактах. Об обстоятельствах, при которых происходили аресты новотеченцев, о ссылке, о коллективах ссыльных. И о его, Стучки, дальнейшей революционной, конспиративной и легальной деятельности, когда социал-демократия Латвии уже стала частью объединенной марксистской организации России.

Комиссии, казалось, было ясно: вся эта шумная кампания против Стучки, обвиненного в антиреволюционном проступке, была очередной эсеровской и меньшевистской подлостью. Так квалифицировали это дело и бежавшие только что из немецкого концентрационного лагеря Аугуст Берце, Роберт Эйхе, Фрицис Линде. Комиссия еще не приняла своего решения, как заместитель комиссара по иностранным делам, после совещания у Ленина, предложил Стучке ответственную работу в Советском полпредстве в Берлине...

Но обвинение предъявлено, и он должен думать о нем!

* * *

— Вот видишь! Все кончилось в точности так, как я говорил: ничего трагичного! Все кончилось именно так, как должно было кончиться.

Петерис Стучка мог бы ответить Межиню: «Не знаю, как повел бы себя ты, оказавшись в моей шкуре!» Ну ладно. Он чувствовал себя сейчас словно после тяжелой болезни.

В секретариате Центрального Комитета ему только что дали прочесть заключение Особой партийной следственной комиссии, в котором говорилось:

«...Такой факт имел место. Но прошение было подано в 1899 году, когда Петр Стучка еще не имел опыта в революционной работе, в Латвии еще не существовало оформленной единой социал-демократической организации... Долголетняя и безукоризненная деятельность Петра Стучки на благо революции, напротив, говорит о том, что никакого основания для выражения ему недоверия нет... Поскольку товарищ Стучка в то время не состоял ни в одной из революционных организаций, комиссия Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии большевиков не видит в его поступке ничего такого, что могло бы помешать ему и впредь в полной мере работать на партийной работе».

Решение комиссии от имени Центрального Комитета лаконично санкционировал секретарь Яков Свердлов: «Утверждаю».

Вместе с этим была проведена черта под всякими недобрыми слухами. Предупредительная и останавливающая как красноармейский штык на плакатах художников.

По предложению Ленина Петерис Стучка снова участвовал в заседаниях Совета Народных Комиссаров.

Сегодня правительство должно было обсудить положение на продовольственном фронте. Фронте, требовавшем от большевистской России, названной Лениным островком в бушующем океане, огромных жертв.

Повестку заседания Совнаркома обычно готовит Малый Совет Народных Комиссаров, и вопрос о борьбе с голодом обсуждается не каждый раз. Но обмен мнениями по нему происходит — в связи с очередным сообщением Цюрупы, комиссара по продовольствию. Но сегодня комиссар будет докладывать о снабжении, а также о мерах, принятых комиссариатом против «самоснабженцев» — против мешочников. У комиссара по продовольствию по-немецки педантичные планы, как накопить и распределить средства питания, он хочет кордонами закрыть более крупные города от мешочников. Великолепные планы.

Только не хватает самих средств пропитания. Хлеба, крупы, соленой рыбы, чечевицы — самой непитательной из всех бобовых, уже который год утоляющей голод трудового народа и армии России. Товарищ Цюрупа много ломал себе голову над «самоснабженцами». Порою, по словам комиссара, можно было прийти к выводу, что от атак красногвардейцев на везущих пуд или полтора зерна сытнее станет водянистое варево в общественных кухнях и поднимутся на ноги тифозные. Цюрупа всегда выступал за радикальное решение проблемы мешочников. Теперь, когда Московский Совет разрешил мешочникам свободно передвигаться, Цюрупа, очевидно, надеялся на поддержку Ленина.

— Московский Совет оказался в плену у мелкобуржуазной стихии,— говорил Цюрупа товарищам.

— Так ли это? — отозвался Бонч-Бруевич.

Заседание все не начинали. Ленин задерживался на митинге, на заводе Михельсона.

Массовый митинг проходил там, должно быть, не менее бурно, чем такие же митинги в других местах. Рабочие взволнованы и обозлены. Требование противопоставить контрреволюционному, белому террору революционный, красный стало уже призывом не только одних большевиков. Его считал обоснованным в революционно-правовом отношении и Стучка. Зверствам контрреволюционеров нет границ. Сегодня в Петрограде на лестнице Смольного убит товарищ Урицкий. Дзержинский уехал руководить следствием. И не будет ошибкой

сказать, что за стрелявшим стоял заговор, широко разветвленный заговор. Леди Макбет отмирающего мира продолжает готовить яд, точить кинжал...

В ожидании Ленина комиссар просвещения Луначарский беседовал с комиссаром по иностранным делам Чичериным о том, как некоторые писатели отнеслись к мерам, принятым Советским правительством в области революционного права. Луначарский злился на деятелей искусств, которые, как, например, Сологуб, именем гуманизма вообще протестовали против ущемления личных свобод писателя и требовали, чтобы искусство оставалось вне всякой зависимости от политики. Луначарский считал, что писателей образумят рабочие и крестьянские литераторы, собирающиеся вокруг Пролеткульта, платформа которого, по мнению Стучки, была явно нигилистической в понимании наследия прошлого.

В июне у Петериса Стучки был разговор с Робертом Пельше, одним из членов президиума Пролеткульта. И они, два поклонника таланта Райниса, поспорили. Роберт Пельше, придерживаясь пролеткультовской декларации, уже подкапывался под классовое происхождение Лермонтова и Тургенева, интересовался классовой принадлежностью собирателей народных песен. Оспаривал роль произведений непролетарских писателей в идейном воспитании пролетариата.

— Не обижаете ли вы, Анатолий Васильевич, своими резкими упреками творческую интеллигенцию? — сказал Стучка. — Вспомним призыв Совета Народных Комиссаров в связи с немецким наступлением на Петроград. Как до того интеллигенция протестовала против решения правительства закрыть отрицающие революцию издания и направить всех трудоспособных редакторов и сотрудников рыть траншеи и на другие оборонительные работы. И как она потом, в феврале, в самый критический для рабоче-крестьянской республики час, радикально изменила свою позицию.

— Петр Иванович, вы, кажется, хотите приписать мне мысль, которой я вовсе не отстаивал,— у Луначарского сверкнуло пенсне. — Я говорил... — Он энергично взмахнул рукой и тут же замолчал.

Открылась дверь квартиры Ленина, и в ней появилась испуганная и бледная Мария Ульянова.

— Товарищи!.. Владимир Ильич... В него стреляли... Его только что привезли. Он весь в крови... Скорее врача!

* * *

Каждый из них старался по-своему скрыть удивление, вызванное встречей после двухлетней разлуки, но это им не удавалось. Екаб Гробинь увидел усталого, совсем поседевшего

человека. Петерис Стучка — взрослого парня с сухощавым лицом, на котором пережитое уже оставило свои следы. Но рукопожатие седого человека было таким же энергичным, а у Екаба под дугами густых бровей, как и в шестнадцать лет, горели любознательные глаза.

— Я еду в Серпухов, в штаб армии, — сказал Екаб. — Товарищи поручили мне подробнее узнать о здоровье Ленина. Говорят: «У тебя знакомые в Москве, так ты узнай». Товарищ Стучка, вы и представить себе не можете, как стрелки и вообще красноармейцы переживают покушение. Повсюду митинги, резолюции, резолюции, митинги! И до боев, и после. И все об Ильиче. Так скажите, пожалуйста, какие известия?

— Состояние Ленина все еще очень тяжелое,— ответил Стучка и повел Гробиня в свой рабочий кабинет, через первую комнату, так называемую гостиную или столовую, от которой серой портьерой отделена спальня. — Врач Обухов считает, что единственная надежда на сердце и на волю Ленина. У Ильича удивительно сильное сердце. Даже трудно поверить, что это так. — Стучка взял стул, стоявший по другую сторону стола, поставил его против Гробиня и сел. — Человек так отдает всего себя работе, ничуть не бережет себя и сохранил такое сердце.

— Стало быть... он поправится? Будет жить? — Екаб выпрямился. — В Вологде, товарищ Стучка, где я служил до сих пор, красноармейцы приняли резолюцию: «Требуем, чтобы Владимир Ильич жил!» Крестьяне из деревень приносят в Вологодский партийный комитет и исполком для Ленина яйца и мед. Чтобы скорее поправился.

— Разумеется, происходят и массовые демонстрации, шествия протеста? С суровыми требованиями? — Стучке хотелось, чтобы губернские пролетарии предъявляли такие же классово сознательные требования, как сотни тысяч москвичей. В дни после покушения ослабевшие от голода, но полные решимости рабочие и их вооруженные полки наводняли московские улицы и площади, они несли плакаты: «Они убивают личности, а мы убьем класс!» На массовых митингах, собраниях протеста, потрясавших своим размахом самых твердолобых маловеров, которые предсказывали «конец большевизма», москвичи требовали немедленного объявления красного террора и высылки из столицы в течение двадцати четырех часов всех спекулянтов, бездельников, «бывших людей».

В Вологде, видимо, таких массовых выступлений не было. Или Екаб Гробинь не понял вопроса Стучки.

— Да, да, пролетариат, солдаты, крестьяне хотят, чтобы Ленин жил,— отозвался парень. — Если бы его не стало, это было бы ужасно для России, для нас всех.

— Когда об этой страшной вести узнали на заседании Совета Народных Комиссаров, — рассказывал Стучка,— товарищ

Свердлов сказал: «Заменить Владимира Ильича у нас некому. Мы и не попытаемся это сделать. Наш долг всем вместе замещать его. Работать по-ленински. Мы должны справиться с этим неимоверно трудным делом, одновременно борясь с голодом, с буржуазными и черносотенными бандами, с мировым империализмом. Будет ли это нам по плечу? Мы постараемся, приложим все силы. Но мы должны быть готовы к тому, что не повсюду нам это удастся в одинаковой мере. Кое-где товарищи смешивают свободу со склонностью к распущенности...»

— Но такое может произойти и совсем случайно,— вставил Гробинь.

— Случайно?

— Совершенно случайно. Видите, товарищ Стучка...

Немного запнувшись, он начал рассказывать, как вышло у него самого, как он глупо, по-мальчишески «втюрился» в хозяйскую дочку. Как она, «проклятая», чуть было не подцепила его «на крючок». Совсем как это делают в книжках контрреволюционерки или вражеские шпионки. А чем все это грозило делу революции?..

— Но это уже позади,— жестко сказал он. — Поеду в Серпухов, а оттуда — прямо на Южный фронт. Громить белогвардейцев. Туда, где сейчас нам приходится труднее всего.

— Вы уверены, что вас сразу направят на фронт?

— Направят, если буду настаивать.

— Насколько я вас понял, вы зачислены в группу комиссара Кедрова и в штаб Красной Армии едете по командировке Кедрова?

— Так я ведь сам у комиссара Кедрова командировку выпросил. Он и после всего, что случилось, хотел меня в своей группе чекистов оставить. А я ни в какую. Какой из меня чекист, если этакая голубоглазенькая с ямочками на щеках меня чуть вокруг пальца не обвела. Для чекистской работы я не гожусь, товарищу Кедрову я так и сказал. А он мне за это двое суток ареста. Когда я отсидел, спросил меня, не изменил ли своего мнения, и велел рапорт писать.

— Что верно, то верно: настойчивости вам не занимать. Ну что ж, в таком случае остается пожелать вам революционной удачи. И встречи в свободной от оккупантов и буржуев социалистической Латвии!

— В Латвии, товарищ Стучка, я уж непременно разыщу вас. И вам придется уделить мне время для разговора.

— Уделю! Да! Где вы сегодня в Москве обедаете?

— У меня командировка,— уклончиво ответил Екаб.

— Товарищ Гробинь... Одну минутку. Схожу на второй этаж, на кухню.

— Категорически возражаю! Товарищ Стучка, я в командировке. И не могу задерживаться больше, я пойду.

«Он определенно не ел ничего и вчера. Но характер у него

упрямый. Жаль, что у нас с Дорой уже сколько времени дома нет ни кусочка хлеба».

— В таком случае возьмите хоть эту крошку сахара в дорогу...

Иссиня-белый кусочек хранился у него в кармане еще с апреля месяца. С тех пор, как Магда Розинь в гостинице «Националь» угощала приехавшего из Латвии товарища Пилата. Стучка не осмелился воспользоваться этим кусочком сахара, завернул его в бумажку и хранил до какого-то особого случая.

* * *

Как обычно, Стучка, уезжая, не успел очень многого доделать, досказать провожающим.

Красноармейцы и чекисты закончили осмотр вагонов, и дежурный по станции уже поднес к губам свисток — просигналить машинисту: «Трогай», а Стучка не успел еще сказать товарищам Розиню, Бейке, Виктору и половины всего того, что следовало бы. И Доре тоже...

«...Товарищу Вилку надо бы посетить полки стрелков на местах боев. Рапорты и телеграммы отражают истинное положение вещей только частично. Во всяком случае, не отражают настроения людей».

«...После последних арестов в Латвии осталось совсем мало теоретически подготовленных товарищей. Кажется, нам, из Москвы, надо умнее разоблачать новоиспеченную меньшевистскую социал-демократическую партию Калниня и Мендера. Надо разоблачать их братание с буржуазными партиями. В документах, привезенных из Риги, есть великолепный материал: рассказ какого-то мендеровца о том, как трудно теперь убедить ставшие радикальными широкие слои народа сотрудничать с национальной буржуазией...»

«...И в письме, которое Дора пошлет в Швейцарию, надо сказать, почему товарищ Зиемелис не встретился с Райнисом. Здание советского полпредства было блокировано — каждую минуту ожидали бандитского нападения. Надо напомнить: Райниса с нетерпением ждут в Москве, здесь он найдет кусочек Красной Латвии: стрелков, латышские клубы, деятелей латышской культуры».

Из всего этого он успел сказать лишь, что голландскому инженеру-марксисту Рутгерсу сегодня же надо доставить книги о Латвии. Дежурный по станции протяжно свистнул, и поезд, тяжело пыхтя, тронулся из-под перронного навеса, покачиваясь и громыхая на стрелках.

Обшарпанные вагоны поезда международного сообщения не говорили о благополучии новой России. Но дорога через

границу из Москвы в Берлин действовала, что было лишним доказательством существования высмеиваемой в Западной Европе Советской республики.

Позади остались платформы, груженные окончательно износившимися пассажирскими и товарными вагонами, заржавелыми паровозами с покореженными трубами и развороченными котлами. За железнодорожной насыпью тянулись большие российские деревни. Облезлые избы с сарайчиками, закутками для коз и чуланами.

Стучка вошел в отведенное ему купе. До послезавтра, когда поезд вечером подойдет к Германии, надо еще как следует поработать, подготовиться к предстоящим дискуссиям. В государственных учреждениях их будет не так уж много, хотя переговоры в германских министерствах тоже обещают быть нелегкими. Подписанное двадцать седьмого августа Дополнение к Брестскому мирному договору, правда, вносит некоторую ясность в территориальные споры, но по-прежнему остается неясным вопрос о реэвакуации беженцев, пленных и разных материальных ценностей. А как понимать статью журналиста Форста в газете «Берлинер Тагеблатт»? «В России, как и на Украине, могли бы создать правительство правых кругов». Писание Форста газета опубликовала непосредственно перед официальными советско-немецкими переговорами в Берлине. Вряд ли случайно.

Главная цель поездки Стучки — конференция независимых социалистов, находящихся в оппозиции к германской социал-демократии. Конференция эта, возможно, состоится полулегально. Еще летом, через несколько месяцев после Бреста, такая конференция была бы невозможна. Аннексионистский Брестский договор, оккупация украинских и белорусских земель подняли в Германии волну шовинизма. Только после того, как костлявая рука голода начала настойчиво стучаться в двери кайзеровских подданных, а армии Людендорфа получили на западе еще немало тяжелых ударов, депутат независимых социалистов Ледебур на заседании рейхстага смог от имени рабочих заявить крупной буржуазии и милитаристам: «Если попытаются задушить русскую революцию, пролетариат Германии объявит всеобщую забастовку, которая, естественно, приведет к революции!» Сейчас забастовки охватили Баварию, Рурскую область, Восточную Силезию. По последним данным, уже бастуют более двух с половиной миллионов рабочих. На улицы Берлина и других крупных городов вышли десятки тысяч рабочих предприятий, шьющих военное обмундирование.

У Стучки было задание Центрального Комитета партии, Ленина — выступить на конференции независимых социалистов Германии, сказать рабочим Германии, что Третий, Коммунистический Интернационал, который должен возникнуть, мо-

жет достичь высот всемирной организации пролетариата только в виде международного объединения мыслящих строго по-марксистски борцов, сказать, что такое объединение возникнет, если пролетарии разных стран осознают, что социализм претворяется в жизнь через Советы.

Революционная практика России до конца разбила ревизионистские теории об обществе как о едином организме. Октябрь семнадцатого года объявил истребительную войну всему буржуазному миру и его идеологии. После победы Октября нормальный человек только с усмешкой может читать разглагольствования «великого теоретика социал-демократии» Карла Каутского о том, что социальная революция, быть может, откупит фабрики богачей, расплатившись за них государственным золотым фондом или же выделив пожизненные пенсии капиталистам. Защитив от путаников теоретическую чистоту марксизма, большевики России указали путь к освобождению всей порабощенной части человечества. Диктатуру пролетариата! Ах да, «Диктатура пролетариата» называется и только что выпущенная Каутским в Вене книжка, которую ищет в Москве Владимир Ильич. В Москве ее нет, и Ленин запрашивает о ней всех дипломатических представителей в иностранных столицах.

* * *

Собрание нелегального кружка кончилось, его участники оставляли погребок. Петериса Стучку пошли провожать двое рабочих.

— Пойдем черным ходом,— сказал товарищ Макс, рабочий-металлист, старый социал-демократ. В прениях он мужественно и убежденно защищал мнение докладчика о том, что в России легче было осуществить первый этап революции — свергнуть старую власть,— чем второй: создать новое общество, новые трудовые взаимоотношения. В Германии в десять, а может, и во сто крат труднее будет справиться с первым, зато значительно легче окажется решение второго. — Ну, товарищ, теперь нам предстоит далекая дорога, через весь Веддинг.

— А трамваи разве уже не ходят?

— Ходят,— отозвался другой провожатый, инвалид войны. — Ходят. Только теперь в Берлине пользоваться трамваем опасно для жизни. Бывает, что вагоны на ходу разваливаются.

— Разваливаются?

Металлист подтвердил, что это именно так. Кайзеровская Германия теперь разваливается как политически, так и эко-

номически. Ведь товарищ сам видит, каким жалким, обшарпанным стал когда-то барственный Берлин. По шикарному бульвару Курфюрстендамм снуют женщины в залатанных пальто и деревянных башмаках. Около продовольственных магазинов томящиеся в очередях женщины проклинают спекулянтов и порядки, совсем как женщины в Петрограде в 1916 году. Слоняющиеся по бульвару Унтер-ден-Линден солдаты, которых здесь называют фронтовой серятиной, подтрунивают над господами, вынужденными из-за нехватки горючего топать пешком.

Да и кайзеровский верноподданный уже не тот. На предвыборном собрании в большой пивной (под открытым небом социалистам все еще не разрешают собираться), которое Стучка посетил перед сходкой нелегального кружка, слушатели прямо вырвали из рук полиции оратора — депутата Гофмана. Государственных блюстителей спокойствия и правопорядка рабочие прогнали со свистом, швыряя им вслед пивные кружки, ножки и спинки от сломанных стульев.

«Теперь-то мы знаем, как это делается,— говорили некоторые, узнав, кто такой геноссе Стучка. — Мы, правда, с большим опозданием начали, еще в августе четырнадцатого года надо было против реакции восставать, когда войну объявили. Но зато мы получили хороший урок, он даром не пройдет».

«Хочется надеяться»,— согласился Стучка.

Теперь, шагая вместе с товарищами, он снова думал о мировой революции и трудностях, грозящих пролетарскому перевороту в Германии. В России была руководимая Лениным, закаленная марксистская партия, а на родине Маркса и Энгельса... «Дорогие немецкие товарищи, мы не собираемся учить вас, однако вам надо укреплять свою партию, революционную партию...»

* * *

Конференция собралась под готическими сводами холодного, полуосвещенного зала, украшенного химерами. Средневековое оцепенение и блеклые сумерки резко контрастируют с голодными, шумливыми солдатами, инвалидами, рабочими и интеллигентами в потертых пиджаках и несвежих воротничках.

Делегаты конференции переговариваются, спорят — почти как в России после Февральской революции. В самой глубине пивной, за столом на импровизированном возвышении, разместились старейшие члены социалистического движения Германии, среди них Карл Каутский, Эдуард Бернштейн, Хазе и Штребель. Полные сознания собственной значимости, они сидят важные и серьезные, стараясь держаться по-военному стро-

го. Хотя некоторых из них, как Каутского например, уже сгорбили годы.

На приветствия отдельных участников конференции они отвечают по-разному: кому поклоном поглубже, а кому лишь едва заметным кивком. Точно высокопоставленные господа на официальных приемах, которые глубоко кланяются титулованным особам и лишь беглым взглядом удостаивают тех, кто рангом пониже их.

С гостем — русским большевиком — лидеры дипломатично вежливы. Карл Каутский даже подчеркнуто дружелюбен.

— Мы дадим вам слово в самом начале, самому первому,— величаво вскинул Каутский свою пышную шевелюру. — Выступления товарища Стучки все у нас ждут с большим интересом.

Приветствуя от имени побеждающего пролетариата России и его партии организованный революционный рабочий класс Германии, Стучка сказал:

— Постараюсь, по мере своих возможностей, коснуться главных явлений русской революции.

Он бросил взгляд на членов президиума, с выражением холодного спокойствия на лице глядевших в глубь сумрачного, переполненного людьми зала, встретившего его бурей аплодисментов. Повернувшись к слушателям, он органически ощутил полную ожидания напряженность. Понял: люди боятся упустить хоть слово из речи посланца России.

Стучка глубоко вздохнул и, словно выбираясь из укрытия, обеими руками оперся о трибуну, решив тут же дать генеральное сражение.

— Вправе ли был пролетариат России начинать социалистическую революцию? — заговорил он подчеркнуто полемическим тоном. — Вправе ли был? Об этом спрашивают нас теперь не только наши противники дома, но и наши благожелатели за границей. Как только русская революция потекла по руслу обычной буржуазной революции, мы снова раскрыли труды Маркса, его «Гражданскую войну во Франции», и прочитали там, что старую власть надо не только переделать, но и полностью сокрушить. И вместо нее создать свою — диктатуру пролетариата. Прочитав это, мы так и поступили и оказались правы.

Мы видели вокруг себя, как принято говорить в капиталистических странах, «грабеж» и «анархию», и мы снова обратились к теории, отыскали в книгах Маркса об «экспроприации экспроприаторов», то есть об «ограблении грабителей» ради блага трудового народа. И с самого начала выбрали путь к социализму. Мы не скрывали: за один час нам в социализм не прыгнуть, но мы не стали лжепророками. Проповедуя освобождение рабочего класса, мы не довольствовались одной популяризацией своей программы. При первой же возможности мы принялись претворять в жизнь социализм.

Видно было, что Каутскому пришлось не по душе направление доклада. Он нервно завертел гривастой головой, что-то сказал одному члену президиума, другому. Повернулся боком и, продолжая слушать, забарабанил пальцами по столу.

— История доказывает, что правильное понимание теории Маркса и исторического материализма привело большевиков России к политической победе и дало научное обоснование революционной борьбе пролетариата,— умышленно пытался обострить Стучка неизбежную дискуссию. После этого ревизионисты будут вынуждены говорить открыто.

Наконец все главное как будто сказано. И о социалистическом перевороте в России, и о его международном значении. И если присутствующим в этом полутемном зале дорого освобождение трудового народа, то они не должны сомневаться в правильности затеянного ленинцами. Стучка говорил долго. Вдвое дольше, чем было предусмотрено.

Как и следовало ожидать, Бернштейн, Каутский и «пророк истинного социализма» Штребель не видели в русской революции ничего, кроме опрометчивости. Разве для утверждения социализма не нужны предварительные предпосылки? А где же подготовленность материальных условий?

— Какие условия могут быть для социализма в отсталой России? — спросил Каутский. — Их пока еще нет и в Германии.

И, точно пророк, предостерегающий народ об опасности, Каутский театрально выбросил вперед руку с выставленным указательным пальцем. Он ждал одобрения. Но зал молчал.

Для видного современного теоретика, преемника Маркса и Энгельса, как величали Каутского западноевропейские социал-демократы, неразумно было так высказываться о Германии и социализме. Лучшего доказательства немецкого ревизионизма Петерис Стучка и не мог себе представить. И когда ему дали слово для ответа, он начал с наступления на Каутского.

— Никто не станет утверждать, что во время Парижской коммуны, в тысяча восемьсот семьдесят первом году, капитализм созрел или «поспел» больше, чем перед Октябрьской революцией в России. И все же Маркс, не колеблясь ни минуты, встал на сторону коммуны, защищал ее не только во время восстания, но и потом, представляя ее как великолепный пример для пролетариата всего мира,— сказал Стучка. — А сегодня, чуть ли не пятьдесят лет спустя,— с сарказмом продолжал Стучка,— социалист Каутский «доказывает», что даже в Германии капитализм созрел только наполовину и его еще лет десять следует продержать на солнышке буржуазной демократии. Пока он не «поспеет». И это говорится об индустриальной Германии, капиталистически высоко развитом государстве, с огромной армией пролетариев!

И голландец Паннекук в своей статье о демократии и социализме явным ревизионизмом считает буквальное понимание Маркса и утверждение, что само развитие капитализма приведет к социализму и что поэтому наш святой долг — по возможности поощрять капитализм. Особенно ярко этот принцип выражается в защите колониальной политики, при декларации гармонии интересов буржуазии и пролетариата в общих хозяйственных вопросах. Но не наша задача поддерживать пламя в паровозной топке поезда капитализма, который доставил бы нас в страну обетованную. Не наша! Ибо поезд капитализма несет несчастье и погибель огромным человеческим массам.

Мы, марксисты, хотим направить поезд общественного развития по другим рельсам. Ибо социализм не является неким новым состоянием, наступающим в конце какого-то долгого пути. Социализм — это совершенно новое направление движения, которое может начаться на любой ступени общественного развития и непременно начнется в день, когда победит пролетариат.

Под конец он еще раз напомнил о словах Маркса, что в революцию один год приносит больше, чем в мирное время столетия.

— Хочется вам этого или нет, но революция у вас будет, и притом в ближайшем будущем. И неизбежным ее проявлением станут рабочие и солдатские Советы. Правда, может, и без крестьянских Советов.

В зале единодушно и долго аплодировали. Два с половиной часа он отвечал оппонентам.

Участники конференции окружили Стучку, благодарили его.

На другой день Стучка посетил Каутского на дому. Каутский был несказанно любезен (несмотря на вчерашнюю стычку на конференции!). Он поклонился представителю Ленина так же низко, как поклонился бы самодержцу Германии, и подарил Стучке свою книжку о диктатуре пролетариата. С надписью: «От критического друга — Каутского».

На прощанье сказал:

— От души желаю, чтобы я оказался неправым.

— И я этого желаю,— ответил Стучка. — И не только желаю — я в этом совершенно уверен.

* * *

Письменный отчет о берлинской поездке вместе с подаренной брошюрой Стучка вручил Ленину в день своего приезда в Москву. Затем он взялся за статьи для газет, работал над докладом Московскому бюро социал-демократии Латвии, го-

товил новый проект программы латвийской партии. Увиденное в Германии не вызывало никаких сомнений: близок час освобождения.

Через несколько дней он в «Правде» прочитал информацию: Ленин пишет книгу «Пролетарская революция и ренегат Каутский».

8. «МЫ СТОИМ НА СТРАЖЕ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА...»

(Лозунг парижских коммунаров)

— Есть предложение отдать половину из припасенного в сумках раненым и больным тифом. Помочь им выжить, пока не выберемся из этой заварухи,— сказал комиссар роты стрелкам, замаскировавшимся в степном овраге.

Гробинь удивлялся, как комиссару удалось подползти незамеченным к отряду. Екаб с края оврага просматривал степь, но, кроме колыхавшегося мятлика, выгоревшего на солнце и поблекшего от ливней, ничего не видел. А ведь он, Екаб, приглядывался к каждой кочке и ложбинке на флангах и в тылу.

— С тех пор как мы у белых в клещах, раненые ничего не получали,— говорил Ракстинь, поглядывая на подсумки и оставшиеся на поясах ручные гранаты стрелков — сколько их еще? Взглянул и на вещмешки, кинутые на утоптанный край оврага. У комиссара мальчишеское темно-коричневое, словно прокопченное в риге лицо, щеки и глаза запали. Комиссар, казалось, отощал больше других в отряде.

— Много мы припасли!— проворчал пулеметчик Вирсис.— А что, если нас вдруг отрежут совсем?

— На войне о поражении не думают. Плох тот солдат, который, идя в бой, пугливо оглядывается назад.

— Это ты мне лучше не толкуй.— Вирсис развязал свой мешок.— Если б назад оглядывался, то не засел бы один позавчера с пулеметом в деревне. А если я возражаю, то только потому, что приятели наши на флангах могут в любую минуту принять анархистскую резолюцию и навострить лыжи.

— Только что призванные в Красную Армию, наспех обученные крестьяне плохие противники казацким и офицерским полкам. У них иной рядовой в любой регулярной армии взводом или ротой командовать может,— объяснял Ракстинь.— А если еще контрреволюционную агитацию учесть?

— Я уже сказал: меня тебе, комиссар, агитировать нечего. На чертовом участке этом только и жди какую-нибудь пакость. На, держи мои запасы!— И он сунул Ракстиню в ладонь несколько покрошившихся, ржавых, как земля в овраге, ржаных сухарей и пайку выданного накануне приварка — тонкий ломтик сала.

— У меня сала нет,— пробормотал Екаб. И положил к сухарям полученный от Стучки кусочек сахара.

— Что это такое? — удивился Ракстинь.

— Сахар.

— Сахар? Где ты его достал?

— Да разве это важно?

Свою пайку хлеба отдал комиссару и Мауринь, который был у стрелков за старшего.

Вдруг как град из низко скользящей тучи на стрелков посыпались пули. И дремавшая в печальной покинутости степь загрохотала. За оврагом взвились в воздух черно-желтые дымы. Запахло жженым металлом.

Обстрел продолжался минут десять.

— Ре-бя-та, на бруствер!— скомандовал Мауринь. И стрелки припали к краю отрытой природой траншеи.

— Казаки! Лавой прут!— Вирсис выплюнул тлевшую махорочную самокрутку.— Вот и стреляй по этим движущимся мишеням!— Он припал к пулемету.

Но стрелки умели хорошо целиться. Их выстрелы оборвали гул подков, надвигавшийся на овраг со скоростью поезда. Уже в следующую минуту раздавалось лишь беспорядочное жужжание пуль.

Зато на фланге, недалеко отсюда, в поднятых взрывами гранат клубах дыма скакали и метались взбешенные лошади с припавшими к их шеям всадниками.

«Точно мустанги в фильмах о диком западе»,— мелькнуло у Екаба в голове. Екаб сам удивлялся, с каким хладнокровием он следил за ходом боя. Неужели он настолько отупел, что его уже ничто не может взволновать? Или он инстинктивно угадывает, в какую минуту грозит опасность? Говорят, что у бывалых солдат со временем развивается какое-то шестое чувство. Или, может, это от сознания большой ответственности? Так надо — и все!

То, что Красная Армия на стратегически и экономически важном для Советской республики фронте должна противостоять отборным войскам наступающих белогвардейцев, в бригаде было ясно любому бойцу. Если белогвардейцы, перерезав железную дорогу Рязань — Царицын, удержат занятую территорию, то возникнет угроза Царицыну, а вместе с ним и Москве. Но соседние с латышами сто двадцатый и сто двадцать пятый полки и другие войска Южного фронта порою самовольно оставляли позиции, пускали красновских казаков в тыл. Если бы у латышей не хватило упорства и выдержки, не хватило воли сделать невозможное, то поворино-алексиковский участок стал бы роковым для всего красного фронта... Здесь, помимо латышей, так же верен революции оставался лишь полк красных донских казаков.

— Видать, на этот раз красновцы хотели нас только прощупать,— сказал Ракстинь, когда бой затих.— Надо полагать, для главного удара они наметили себе другой участок. Худо будет, если они свои действия сумеют увязать с ударами деникинской Добровольческой армии. Хоть Деникиным распоряжается Антанта, а Краснова снабжают и науськивают немцы, не исключено, что оба охотника до престола Российской империи могут договориться о совместном походе на Москву. Объединив свои фронты, Краснов с Деникиным создали бы плацдарм против Самары, Пензы, Тулы, Воронежа. Другими словами — мы, товарищи дорогие, на нашем рубеже обороняем Москву. Здесь мы должны перебить белым хребет... Ладно, стрельба затихла, я потопал.

— Ты погоди, — крикнул Мауринь. Скажи, когда патроны подкинешь? Еще одна такая драчка — и мы на мели.

— Мы в полуокружении, и патроны нам подвозят как придется. Если до вечера не дождетесь, переходите на самоснабжение. Только появится возможность...— крикнул Ракстинь, уже выбравшийся из оврага.

— Обрадовал... — сердился Вирсис. Он снял у пулемета ствол, чтобы посмотреть, сколько в кожухе осталось воды.— Чертова дыра! Ни озера тебе тут, ни реки, ни порядочного колодца. Не то что дома: за каждым ольшаником — ручей.

— Управляющий имением или кулак все равно тебя выгонят оттуда, только попробуешь в их владения залезть.

— Для того я тут и кровь проливаю, чтоб никаких управляющих и кулаков дома не было. Как товарищ Ленин сказал? Будет Советская Россия, будет и рабоче-крестьянская Латвия...

— Ребята...— Мауринь вернулся с обхода позиций.— Воспользуемся передышкой, подаренной нам генералом Красновым. Двое покараулят, а остальные — на боковую. Какой-то мудрец сказал, что сон здорово помогает, когда в брюхе урчит.

— В набитом.

— Даже в пустом.

— Не пой, пташечка! А вообще, что нам остается?

На пост встали Екаб с Вирсисом. Над степью низко плыли облака. Быстро темнело, и на дне оврага трудно было что-нибудь разглядеть. Патронов все не подвозили.

— Гробинь, когда нас сменят — пошарим в сумках белых,— Вирсис показал на лежащих в нескольких стах саженей убитых казаков и лошадей. В сумерках они на жухлой траве казались раскиданными камнями. — Может, пулеметной лентой разживемся?

— У конников?

— А наши конники разве не взваливают пулемет на седло? Пойдешь?

— Если Мауринь не прикажет другим.

— Кому приказывать? Талберг едва на ногах держится, Мартинсона лихорадка бьет, ему и свалиться недолго...

— Ну что ж...

Ночь была сырой и холодной. Может быть, от ветра, который, все усиливаясь, носился по равнине. Идти можно было, только наклонившись вперед, согнувшись. Казалось, стоит ветру подуть посильнее — и тебя повалит, как сноп соломы.

— Собачья погода!— рычал Вирсис.— Такому ветру только поддайся, он тебя черт знает куда унесет. Как-то дома, в Смилтенской округе, я в ветреную ночь к своей Матильде в клеть подался, так в мочило испольщика угодил. Да разве тогда такой ветер был? Разве сравнишь!.. Но в такой ветер лучше всего в атаку идти. Можно ворваться в станицу белых без выстрела.

* * *

На станцию Алексиково девятый полк и полк особого назначения выступили вечером, когда на степь уже упал густой мрак. Стрелки двигались на расстоянии вытянутой руки друг от друга, чтобы не натыкаться на товарищей, вернее — на их снаряжение и оружие. Шли как можно тише, скользили, почти как хмурые облака над ними. Но продвигались они все же довольно быстро. Так и надо было. Наступление на станцию и станицу назначено на двадцать три ноль-ноль. Внезапная атака, без предварительной подготовки. В полку боеспособных стрелков осталось совсем немного. По правде говоря, никакой это уже не полк, а скорее рота, притом скупо вооруженная. Красные могли надеяться только на преимущество внезапного удара и свое бесстрашие в рукопашном бою.

Чтобы при схватке с красновцами в темноте избежать трагических ошибок (поди знай, может, и кулаки в ход пустить придется), ребята ощупывали друг у друга надломленные козырьки, каких не было у белых. И как кто подстрижен (у казаков чубы в моде).

Екаб Гробинь наблюдал местность и с опаской думал об исходе наступления.

У ребят уже силы иссякают от беспрерывных боев и постоянного недоедания... И самые выносливые теперь уже не в силах противостоять тифозным вшам. Тиф свалил и такого железного человека, как комиссар Ракстинь. Неутомимого, бесстрашного. Когда пришлось очень туго и взятые в тяжелых боях села, станицы и узлы дорог Поворинской округи надо было отдавать обратно белым, Ракстинь в окопах читал стрелкам главы из книги Лисагаре «История Парижской коммуны». О том, как коммунары на площади Жанны д'Арк, во главе с

поляком Врублевским, тридцать шесть часов отбивали беспрерывные атаки целого корпуса армии версальцев, а затем перешли в контрнаступление. Как коммунары дрались в майскую «кровавую неделю» и двадцать седьмого мая на кладбище Пер-Лашез бились почти за каждую могилу, за каждое надгробие. И если после чтения оставалось еще немного свободного времени, комиссар своим глухим голосом запевал незабываемую песню парижских коммунаров. О пленниках, которых гнали рыть для себя могилы:

Мы сами копали могилу себе.
Готова глубокая яма.
Над нею стояли на самом краю.
Стреляйте вернее и смело.

Судя по всему, белые о приближении красноармейцев ничего не подозревали. Стрелки, успевшие перекинуться несколькими словами с разведчиками, говорили, что в стане противника господствует беспечность. Солдаты храпят, в штабе и комендатуре дремлют. Дрыхнет и охрана у орудий и броневиков.

— В цепь! В цепь...— раздалась приглушенная команда.

И затем:

— В а-та-ку!

Екаб бежит вместе с остальными на блеклый огонек. Из чувства самосохранения он то и дело петляет. Станица с одинаковыми горбатыми силуэтами маленьких строений растянулась чуть ли не по всему горизонту.

— Тише! Храпишь, как сапная лошадь!— крикнул кто-то Екабу.— Прибавь шагу! Слышь, на правом фланге девятый уже долбает.

Долбает — и как еще! И гранатами, и пулеметами.

— Руки вверх! Сда-вайсь!

Ошарашенные, полураздетые белогвардейцы так и поступают. Только не все. Успевшие взяться за оружие кидаются стрелкам навстречу. Но они в незавидном положении: ныряя со свету в мрак, они сразу не могут определить, с какой стороны противник. Стрелкам приказано беречь патроны, и они пускают в ход штыки.

Екаб Гробинь колет, как одержимый, дубасит прикладом. Когда он кинулся к избе, из которой выскочили перепуганные благородия и высокоблагородия, руки его замелькали, как пулеметный затвор.

Рассекая лоб какому-нибудь круглолицему усачу или огревая его по груди, Екаб видит искаженное лицо, вытаращенные глаза.

Противно! Но размышлять некогда. Замешкаешься, и враг опередит тебя.

Прошло лишь чуть более получаса, и значительная часть станицы оказалась в руках красных. Вместе с обозами и артиллерией, так яростно защищавшейся белыми. Но всей станицей стрелкам овладеть оказалось не по силам — не хватило людей. Чересчур она велика. Почти с прибалтийский город. Тянется верст на семь, с двумя параллельными улицами и множеством переулков. Особому полку не мог оказать поддержку и девятый, находившийся в районе станции, ибо и территория железной дороги со всеми ее строениями, платформами, пакгаузами и подвозными путями требовала очень много живой силы. Командование армией вынуждено было ввести в бой восьмой полк, стоявший в Орловском и Двойневском, а вместо него для тыловой гарнизонной службы перебросить туда первый донской казачий полк и роту сто двадцать пятого полка.

Долго сносились, связывались, перегруппировывались.

Наконец роты восьмого полка вступили в бой, и станица была взята, несмотря на то что к белым подоспело подкрепление — свежие эскадроны. Стрелки удивительно метко целились. Контратакующие красновцы оставляли все больше трупов. Казацкую сотню, назойливо рвавшуюся в центр особого полка, Вирсис почти целиком расстрелял из пулемета.

— Чистая работенка!..— поморщился он.

Наконец стрелки развели огонь в кухнях, отнятых у белых. После долгого поста каждому досталось по полному котелку жирной каши.

Из погребов и закутков начали выходить жители станицы. Бородачи, укутанные по глаза в платки женщины. Они выносили стрелкам еду.

— Угощайтесь, братья латыши! Мы к вам со всей душою. Всю жизнь с казаками дрались, теперь вы их бьете,— говорили бородачи.— Ешьте, сердечные!

— Братцы мои!— ловко кланяясь, низкорослый стрелок принимал угощенье от краснощекой поселянки.— Этакая роскошь. Вот такой союз рабочих и крестьян я понимаю.

— Брюхо твое понимает,— вставил Екаб. Он уселся на ступеньки крыльца и жадно надкусил пшеничную лепешку.

— Теперь-то мы в баньке попаримся,— сказал кто-то,— чистые полотенца нам выдадут. В обозе красновцев до черта белья оказалось. И настоящей английской материи.

— Ну, теперь вшам крышка! Вот если б еще денек-другой передохнуть...

— Передохнем. Пятнадцатая армия продвинет вперед свой правый фланг, и мы спасены.

— Давно так отдохнуть не мечтал... — Екаб прикрыл веки.

Но не успели растопить бани, как объявили тревогу. Восьмой полк из Алексикова срочно перебрасывался в Орловское. Сто двадцать пятый снова не устоял, и противник просочился стрелкам в тыл. Оставшиеся в Алексикове стрелки срочно дол-

жны были растянуться и занять позиции ушедших товарищей. Одному сильно поредевшему полку предстояло выполнить задачу двух полков полного состава.

— «Мы стоим на страже всего человечества!» — таков был девиз защитников Парижской коммуны, — напомнил вновь назначенный ротный комиссар Рейнхолд.— А мы, товарищи, стоим тут на страже мировой революции.

Ребята смотрели на комиссара, стиснув зубы. Молчали, ничего не спрашивали.

Ночь прошла в беспорядочной перестрелке с разведчиками и мелкими отрядами белых. Казалось, что противник не собирается предпринимать ничего серьезного. Но на следующее утро, двадцать восьмого ноября, выяснилось, что алексиковская группировка красных опять попала в полуокружение. А товарищей в Орловском белые окружили плотным кольцом.

— Отрезать белогвардейский клин, вбитый между нашим и восьмым полком... Стрелки — в наступление!

— Один наш на десять белых,— сплюнул Мауринь.

— И все же белых надо раздавить.

— Ребята!— Вирсис подхватил ящик с пулеметными лентами.— Ребята, дорога к Даугаве, в Латвию идет через трупы этих десятерых, стоящих против каждого из нас.

В тылу на каком-то дворе пели. Екаб услышал знакомую песню. Пели русские бойцы.

...Смело мы в бой пойдем за власть Советов
И, как один, умрем в борьбе за это... —

доносился голос, звучавший так же низко и глухо, как у Ракстиня. Но Екаб знал — это не их старый комиссар. Он умер. Екаб сам лопатой подравнивал несоразмерно маленький с телом комиссара могильный холмик.

* * *

Стрелки шли в бой с высоко поднятыми головами, в полутора саженях друг от друга, винтовки наперевес, как в рукопашном бою во времена отцов. Молча шли размеренным шагом хорошо обученных солдат, глухие к залпам белогвардейцев. Если кто падал, сраженный пулей, строй разрежался, быстро заполняя брешь, и угрожающе двигался вперед. Белые нервничали, стреляли не целясь. Когда стрелки подошли вплотную и завязался рукопашный бой, красновцы не выдержали, побежали.

Но фронт растянулся на версты, а белогвардейцы недостатка в людях и патронах не знали...

Когда в октябре месяце в особом и других полках третьей

бригады побывал с инспекцией член исполкома совета латышских стрелков, он насчитал в ротах по полтора десятка, а то и менее до предела изнуренных бойцов. Но они шли в наступление.

После доклада члена совета командование Красной Армии тринадцатого декабря приказало отвести бригаду на отдых. Но стрелки от отдыха отказались.

— Стало быть, нам, когда вот-вот Латвию освобождать начнут, бездельничать? Чтоб ребята, которые уже научились всяких там высоких и толстых благородий лупить, смотрели, как не нюхавшие пороху юнцы с немцем дерутся?.. За кого вы нас, товарищ комиссар, собственно, принимаете?..

9. «СТРАНА, СТРАНА, КАКАЯ ЖЕ ОНА, ЧТО ПЕСНЯ НАША ПРОСИТ...»

(Райнис)

В Москве большими, пушистыми хлопьями падал снег, ложился на крыши домов, на купола церквей, памятники, на мостовую.

Петерис Стучка шел по брусчатке Кремля.

В другом конце Кавалерского корпуса стукнула дверь парикмахерской. Кто-то вышел из нее быстрыми, почти бесшумными шагами.

— Дяденька, а дяденька...— крикнул осипший голосок.— Дяденька, вы на Совнарком?

Петерис Стучка оглянулся. Нет, малыш в пиджаке со взрослого плеча, с закатанными чуть ли не по локти рукавами окликнул не его, а вышедшего только что из парикмахерской человека.

Ленина.

Спасаясь от непогоды, Ильич поднял воротник пальто, надвинул на лоб кепку и спрятал в карманы руки. По виду его можно принять за рядового работника одного из кремлевских учреждений. Видимо, Ленин ходил в парикмахерскую, что делает теперь обычно перед самым началом рабочего дня. В более раннее время там сидит много других клиентов, всегда пытающихся пропустить его без очереди, чего Ленин не выносит.

Стало быть, мальчуган Ленина не знал.

— Да, я иду туда,— склонился Ленин над мальчиком.— У тебя в Совнаркоме дело какое-нибудь?

— Я, дяденька, хотел, чтоб вызвали мою маму. Из юридического отдела.

— Это мы можем... А как зовут твою маму?

— Шульц. Товарищ Шульц.

— А-а, товарищ Шульц, говоришь? Ладно, я попрошу ее.—

И жестом предупредил Стучку не вмешиваться.— Пошли. Пока мама придет, подождешь внизу, в коридоре.

— В коридоре?— Мальчик остановился.— У двери в коридор стоит красноармеец. Без пропуска он прогонит меня.

— Без пропуска прогонит? Так ты ведь идешь со мной. В такую скверную погоду на дворе стоять нельзя.

— Ну, раз так...

Стучка знал, малыш — сынишка сотрудницы юридического отдела Шульц. (Шульц тоже живет в Кремле.) В Латышском клубе Шульц часто жалуется товарищам на своего сынишку. Учится в школе у прекрасных педагогов, у наших товарищей. Объяснять детям, почему в революционной России сейчас не хватает самого необходимого, их заставлять не надо. И дома, то есть в коммунальной квартире, этот вопрос тоже не возникает. А мальчишка все канючит: мам, хочу того, хочу этого. «Уже не раз, когда у меня с утра была срочная работа, он вызывал меня из канцелярии! Только чтоб узнать: вам сегодня не дают чая с чем-нибудь сладеньким. С леденцом или сахаром?»

Очевидно, Шульц сегодня утром опять рано ушла на работу.

Ильич провел мальчика мимо часового, и красноармеец, приветствуя его, откинул в сторону винтовку.

Товарищ Шульц, когда ее вызовет Ленин, непременно расстроится. И нетрудно представить себе, какое сладкое при ее горячем нраве достанется мальчугану.

Стучка понял — надо было предупредить Ленина, чтобы не связывался с мальчишкой, тактично освободить от роли опекуна. Неужели годы уже сказываются на его, Стучки, мышлении?

Выйдя из кремлевских ворот, Стучка направился к гостинице «Националь», где назначено заседание Российского бюро социал-демократии Латвии.

Мимо ларьков Охотного ряда слоняются люди, своим видом не внушающие доверия. Они пронзают прохожих наглыми, злыми взглядами. По самому ничтожному поводу завязываются потасовки: «Бейте его! Бейте его, я его знаю!..»

Недавно в Поволжье натравленные черносотенцами людишки накинулись на латышских стрелков.

«Бей латышей! Бей безбожников!..»

Член Центрального комитета Вилк рассказывал, какие средневековые картины он наблюдал в Поволжье...

«Погоди, Вилк ведь уже должен был вернуться из инспекционной поездки на Южный фронт».

— Пока о товарище Вилке нет никаких сведений,— ответил Стучке член бюро Центрального комитета Карлис Крастинь. И добавил, что не знает, состоится ли сегодня вообще заседание — не будет Петерса, Данишевского, Ленцманиса и Фрициса Розиня. Данишевский занят в штабе армии, в

Серпухове, у Петерса в Чека опять «чрезвычайное происшествие». Ленцманис застрял в Петрограде, Розиня задерживает Сталин.

— Получился всего лишь частный разговор. Хотя на повестке у нас сегодня решения конференции партийных организаций оккупированных территорий.

Крастинь говорил спокойно, неторопливо. Стучке нравилась деловитость Карлиса Крастиня, то есть Виктора. Крастинь не болтлив, особенно в партийных делах. И партийные документы он содержит в образцовом порядке. Каждая запись, каждый факт, каждая дата на своем месте. Делопроизводство Российского бюро социал-демократии Латвии, которым заведует Крастинь, так же наглядно отражает партийную работу, как записи в гроссбухе опытного бухгалтера — дела предприятия.

Но у Виктора, у этого молодого человека с внешностью сельского интеллигента, есть и свои недостатки. Чрезмерная самоуверенность, порой недостаточный такт в обращении с рядовыми товарищами. Там, где человеку надо терпеливо разъяснить, что и как, Виктор отделывается резкими фразами. А Маркса и Энгельса он читает главным образом только перед лекциями, к которым ему надо подготовиться. Совсем как кое-кто из дореволюционных пропагандистов партийных кружков. Сегодня, мол, я должен растолковать понятие стоимости, надо бы заглянуть, как этот вопрос сформулирован у Маркса.

Стучке не нравилась сухость, с какой Виктор относился к личным делам членов партии.

Некоторые товарищи упрекали Стучку за то, что он держит Виктора на месте, на котором нужен человек чуткий. Но хороших качеств у Виктора все же больше, чем недостатков. К тому же — разве человек, допустивший ошибку, не может на работе исправиться? У Ильича есть меткое изречение: «Учиться работая и работать учась — и так воспитывать себя».

— И все же, товарищ Крастинь, нам сегодня не надо удовлетворяться одним частным разговором, — сказал Стучка, одновременно пытаясь как бы со стороны вслушаться в свои слова. В голове все не угасала вспыхнувшая недавно мысль: «Старость пришла, старость...» — Есть такая поговорка: «Косу точи, а на работу не опаздывай». И еще одна — «Готовь летом сани, а зимою телегу». Пока мы еще не можем определить день, когда в Германии произойдет революция, но условия там для этого как будто уже созрели. Может настать час, когда наше бюро должно будет просить Комиссариат по делам национальностей или секретариат товарища Свердлова послать в Латвию рассеянных по России специалистов разных профессий, партийных работников. А как, товарищ Крастинь, у нас обстоит с учетом беженцев из промышленных рабочих, техников, партийных работников? Располагаем ли мы полными сведениями?

* * *

— Тебя, мой друг, кажется, что-то глубоко волнует. И, видимо, не очень удается справиться с этим.

— Тебе кажется так?

— Это слышится в твоей игре. С тех пор как наш брошенный в Петрограде старый «Бехштейн» снова с нами, ты играешь лишь второй раз. И как? Бегло сыплешь музыкальными фразами, перескакиваешь с Шопена на Гуно, с Чайковского — на народные мелодии. Не так разве?

— Пожалуй, так. — Он убрал пальцы с клавишей и повернулся лицом к жене. Она уже оделась, собираясь в библиотеку (за материалами для книги Петериса), на ней пальто, фетровая, уже столько лет ношенная шляпка, солдатские перчатки. Дора, как школьница, присела на край стула, держа в руках дерматиновый портфельчик.

— Я все думаю о Латвии. Такая уйма запутанных вокруг нее узлов.

— Я только что встретила Фрициса Розиня. Он о том же самом говорит очень оптимистично. Не усложняешь ли ты излишне вопрос?

Петерис вздохнул и, когда шаги жены в коридоре затихли, закрыл крышку рояля. Затем снова взялся за доклады из Германии, из латвийского подполья, за выходящую в Латвии прессу.

За правильное решение волновавшего его вопроса он отдал бы сейчас всю оставшуюся ему жизнь. Удалось бы только найти главное звено в цепи событий. Еще в октябре, еще две, одну неделю назад, ему и товарищам будущее Латвии было совершенно ясно — как дважды два.

Социал-демократия Латвии, даже из тактических соображений, в своей политике до сих пор не стремилась к созданию Латвийского государства. Еще во время брестских мирных переговоров она отклонила предложение литовских и эстонских представителей — провозгласить, наподобие Украины, самостоятельные Прибалтийские республики. Партия не была так наивна, чтобы не понимать, что независимость Литвы, Латвии и Эстонии в тот момент являлась бы фикцией и что алчность империалистов никаким провозглашением самостоятельного государства не обуздать.

Партия всегда подчеркивала: в условиях империализма самостоятельность маленьких государств — дипломатический обман.

Но сейчас его не перестает преследовать мысль о независимой Латвии, никак ему не отделаться от нее, не отбросить ее.

«Свою страну, свое государство...» — ведь это слова латышского поэта. И какого латышского поэта!..

Обстановка требует нового ленинского решения вопроса о независимости Латвии.

Сторонники вассального государства, помещичьей Прибалтики, говорят: «Прусский порядок и безопасность в Прибалтике каждую минуту могут рухнуть. И, рухнув, похоронить под собою и нас. Поэтому надо как можно скорее искать другого заступника».

Националисты видят (а может, и не видят, но им шепнули это на ухо?), что победители Германии — Англия, Соединенные Штаты, Франция — поддержат создание на окраинах России послушных им карликовых буржуазных государств, в противовес пролетарскому интернационализму. Латышская буржуазия, у которой стремление дать поработить себя не меньше, чем у римских консулов и сенаторов Тацита стремление быть порабощенными Тиберием, готова продать мать и отца, лишь бы избавиться от социализма. То же самое и меньшевики. По мере своих сил и возможностей они будут помогать сеять в массах иллюзию, что в интересах трудящихся судьбу Латвии в путанице империалистических отношений следовало бы решать на каких-то международных дипломатических переговорах.

Кроме того, в провозглашении самостоятельной Латвии есть еще и другой, не менее существенный политический смысл.

Вот что сегодня пишет издающаяся в Латвии с соизволения оккупантов газета:

«...Большевизм, по своему характеру, типично русское движение, возникшее в ужасной, грязной нищете и духовной темноте русских масс.

В социальном и культурном отношении большевизм для нас неопасен. Но он становится опасным как социальная эпидемия...

...В Латвии большевизм возник среди стрелков и беженцев в Видземе и Риге, среди тех, кому в самом деле нечего было терять...»

Они пишут: большевизм — типично русское явление. Но не латышские мироеды авторы этого «откровения». В Западной Европе заговорили о сущности большевизма, как только убедились во вздорности пророчеств империалистических мудрецов о том, что Советская Россия рухнет за несколько недель. Еще в сентябре ему, Стучке, в Берлине чуть ли не каждый второй функционер «старой, настоящей» социал-демократии толковал о «чисто русских чертах» большевизма.

Как по экономическому, так и по своему культурному уровню население Латвии гораздо ближе к индустриализованной Западной Европе, чем к деревенской России. В Латвии сравнительно высокоразвитое промышленное и сельскохозяйственное производство. Не зря же немцы называют Прибалтику своей «прекрасной восточной провинцией»...

Но большевизм в Латвии приемлем не для одних стрелков и беженцев, как утверждают в «Лидумсе» представители буржуазии. Независимая социалистическая Латвия может послужить доказательством тому, что большевизм жизнеспособен не только на русской почве. Абсолютно все, что в области экономического и духовного освобождения путем социалистической революции предсказывал Маркс, может полностью осуществиться и на Западе. И прежде всего — в ближней к западным странам Прибалтике.

А это значит...

Точно так же, как латышские воины доказали свою верность социалистической революции, став гарибальдийцами мировой революции, трудящиеся Латвии докажут свою верность исторической цели народных масс — триумфу большевизма в Европе.

Докажут верность своей исторической миссии...

«Мы будем велики, как наша воля», — писал однажды Райнис.

Мы будем настолько велики, насколько велика будет наша воля...

* * *

Девятого ноября германская монархия пала. После революции в Болгарии и Австро-Венгрии самодержавный режим просуществовал на немецкой земле лишь еще несколько десятков дней. Германия стала республикой, вопреки стараниям господствующих кругов и фельдмаршала Людендорфа начать переговоры о перемирии с Антантой и попытаться утихомирить «улицы и казармы» постепенной либерализацией существующего строя, путем приспособления системы управления к западным буржуазным демократиям. «Впредь у нас будет парламентская монархия, с кабинетом министров, отвечающим перед рейхстагом...» — обещали буржуазные политики.

Германия перестала быть монархией, и тринадцатого ноября правительство Советской России заявило, что навязанный старым режимом Германии Брестский мирный договор потерял силу. ВЦИК призвал население оккупированных Германией областей сплотиться в братском союзе с рабочими и крестьянами России. Обещал страдающим под оккупацией всяческую поддержку в их борьбе за восстановление социалистической власти рабочих и крестьян.

Российское бюро Центрального комитета социал-демократии Латвии уже в пятый раз собиралось на очередное заседание. Заседания были теперь деловыми и краткими. Они напоминали минутный привал в походе — чтобы переложить с плеча на плечо давящую ношу.

На листке, лежавшем перед Петерисом Стучкой, значились четыре имени: Карлис Петерсон, Янис Ленцманис, Юлий Данишевский и Фрицис Розинь. Сперва записали и Карлиса Крастиня, или товарища Виктора, но потом вычеркнули — он уже находится в Латвии, на Семнадцатой конференции ее социал-демократии, где представляет Российское бюро. В заседании участвовали многие члены Центрального комитета, но главным образом выступали те, кому сразу же после начавшейся в Германии революции поручено было заниматься вопросами внутренней и внешней политики, связанными с освобождением Латвии.

За две недели, прошедшие после девятого ноября, в политической жизни Германии и оккупированной Латвии многое изменилось, приняло совсем другой оборот, чем когда делегаты красных кильских матросов носились с революционными призывами по Баварии, Вестфалии, Саксонии, рейнским провинциям, а в Берлине немецкие рабочие и солдаты на Дворцовой площади, под красными флагами, по призыву Карла Либкнехта, единодушно поднимали руки, голосуя за «свободную социалистическую революцию». Теперь Советом немецких солдат (Republikanishe Soldatenwehr) руководили главным образом фельдфебели и лейтенанты, которые, сотрудничая с национал-шовинистами Шейдемана и Носке, призывали народ «соблюдать строгий порядок и выжидать». Надежда марксистов России, что Германия сразу станет второй страной Октября, не сбылась, хоть в Германии в некоторых местах и действовали по-настоящему революционные Советы, какие возникали и в странах союзников кайзеровской Германии — в Болгарии и Австро-Венгрии.

На отторгнутых ранее от России землях восстанавливалась диктатура рабочих и крестьян. Правительства Антанты, чтобы помешать этому, бросили к берегам Черного и Балтийского морей десанты в помощь буржуазии окраин России. Взамен деморализованных немецких и австрийских оккупационных войск Антанта высаживала своих пехотинцев. Совместно с «демократической» Германией она спешила создать в оккупированных немцами областях новые «независимые государства». Ибо побережье Балтийского моря и земли на берегу Черного очень уж нужны были международной буржуазии как плацдармы для готовившегося удара по Москве, по большевикам. Только что Российскому бюро сообщили, что восемнадцатого ноября в Риге, благодаря стараниям немецкого эмиссара Виннига, провозглашено «свободное Латвийское государство». Во главе с министром-президентом, латышом Карлисом Ульманисом, прогнанным в семнадцатом году трудовым народом с должности видземского вице-комиссара.

— Если в других странах сначала бывает революция, а уже после нее — контрреволюция, — сказал Стучка, выслушав это

сообщение, — то в Латвии все происходит наоборот: сперва контрреволюция, а за ней уже придет революция. Притом контрреволюция пародийная. Бутафорская или балаганная, в духе гейневской «Зимней сказки».

Если провозглашение контрреволюционного гетманства царского генерала Скоропадского на Украине казалось фарсом, то реакционный переворот в Латвии, хотя его и демонстрировали во Втором рижском театре, — бездарный балаган, пародия, — развивал Стучка свою мысль. — Балаган, заказанный приказчиком Моргана и Рокфеллеров — североамериканским президентом Вильсоном и поставленный немецким ефрейтором, который заодно поучает зрителей, как вести себя во время представления. Совсем как в пьесе польской писательницы Элизы Ожешко «Шимзель», где режиссер больше гоняет зрителей, чем актеров.

Только нынешний век — не эстрада для комедии! Европа переживает революционные июни и июли, на горизонте пылают октябри... «Латвия будет советской республикой, трудовой коммуной, или же ее не будет вовсе», — решила только что Рижская конференция латвийских большевиков. И трудовой народ Латвии не станет лизать сапоги империалистам. Пускай хозяева балагана на это не надеются!

Докладывал Фрицис Розинь.

— В Комиссариате по делам национальностей Советской России нас информировали, — он поправил пальцами обеих рук очки, — что товарищ Ленин рекомендует создать правительство Советской Латвии из наиболее видных латышских большевиков. Ваша победа, сказал он, зависит от быстроты, от оперативности.

— Ну вот! — Данишевский откинулся назад, насколько позволяла спинка стула.

— Значит, Рубикон перейден, — отозвался Ленцманис. И на его болезненно худом лице легли глубокие морщины.

— После ужасов немецкой оккупации у населения окраинных областей России непреодолимая тяга к свободе в любой форме. Чтобы поднять массы, необходим популярный, всем понятный лозунг, — излагал Розинь говорившееся в Комиссариате по делам национальностей. — Самый популярный лозунг сейчас — государственная независимость. Немцы и эмиссары Антанты уже подхватили это. Как может произойти освобождение Прибалтики? — спросил он. — Литовские товарищи возлагают все надежды на беженцев, которые вернутся из Российской Федерации. Эстонцы могут смело надеяться только на ревельских и нарвских пролетариев, все остальное придется отвоевывать оружием. И в такой ситуации...

Стучка вспомнил статью в валкском «Лидумсе», где говорилось, что большевизм, точно эпидемия, распространяется из России на Латвию. «Распространяется из России...» Мы,

латышские большевики, были бы никудышными диалектиками, если бы согласились с этим. Сейчас у трудового народа Латвии есть только один серьезный противник — феодальное дворянство с его вооруженным «Selbstschutz» — самообороной: белогвардейцами и немецкими офицерами. Это серьезный противник. Чтобы разгромить его, нужна военная поддержка извне. Нужны стрелки. Латвийские пародии на Петлюру, министры-шуты провозглашенного восемнадцатого ноября правительства и его войско будут сметены восставшим под руководством большевиков пролетариатом. Восстание — это лишь вопрос дней.

— Коротко говоря, нам сразу же надо избрать Временное правительство Латвии, — закончил свой доклад Розинь.

— В таком случае, — Ленцманис лукаво прищурил один глаз, — главой правительства должен быть или товарищ Стучка, или же товарищ Розинь.

— Я попросил бы! — вскочил Стучка. — Я самым решительным образом возражаю против этого предложения. Правительство социалистической Латвии должно быть создано Центральным комитетом, действующим на территории Латвии.

— Однако мы все же могли бы дать рижанам предварительный список для выбора.

— Разве что предварительный. Но лишь как материал.

— Зато манифест правительства, учитывая неоднократную просьбу рижских товарищей о том, чтобы наиболее важные партийные документы писались товарищами в Москве, которые видятся с Лениным и интернационалистами других стран, мы можем составить, не дожидаясь письма оттуда. За основу следует принять решения съезда, состоявшегося в семнадцатом году в Валмиере.

— Составление манифеста поручим товарищам Стучке, Розиню и Ленцманису, — предложил Петерсон.

* * *

Четырнадцатого декабря Российское бюро Центрального комитета социал-демократии Латвии получило из Риги ответ. В правительство социалистической Латвии должны войти девять человек. «Председатель правительства — Стучка, его товарищи — Юлий Данишевский и Янис Ленцманис, военный комиссар — Карлис Петерсон...»

— Совершенно правильное решение вопроса, — порадовался Розинь. — И старику Азису доверили его любимое дело — земледелие.

— Теперь ты уже совсем официально можешь планировать претворение своей мечты, — смеялся Ленцманис. — Через три

или пять лет превратить всю мощь латвийских рек и порогов в электроэнергию, дать свет в квартиры сельских рабочих, заставить электричество тащить плуги, телеги, вертеть молотилки.

— И планировать развитие производства.

— У меня есть предложение, — постучал Стучка карандашом. — Тринадцатого января девятнадцатого года созвать в Риге съезд рабочих Советов объединенной Латвии. В день памяти революции Пятого года.

10. «ЕДИНСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ ЛАТВИИ — ЕЕ ТРУД»

(П. Стучка)

Остался позади тяжело пыхтящий, швыряющий в ночной мрак искры паровоз пассажирского поезда, только что покинутого членами правительства. По другую сторону рукава Юглского озера призывно гудит бронепоезд. Несколько часов тому назад рабочие отбили его у немцев, и теперь он должен доставить в Ригу членов правительства Советской Латвии. Но, прежде чем сесть в стальную громадину, им нужно перебраться по рухнувшим в воду фермам взорванного моста, пахнущим еще пороховым дымом, горелым металлом. Встречающие правительство члены Военно-революционного комитета, Центрального и Рижского комитетов перекинули от берега к берегу мостки, протянули над ними вместо перил проволоку. Под весом людей мостки прогибаются над грозно бурлящим потоком.

— Потише! Держитесь, товарищи, подальше друг от друга, — предупреждают приезжих рижане. И пока одни члены правительства в менее надежных местах, передавая из рук в руки железнодорожный фонарь, пробираются в сторону Риги, другие беседуют с людьми в военной и полувоенной одежде, рассказывающими, как тут, в Риге, все произошло.

В самом деле, бой за вокзал мог кончиться печально, не появись вдруг в городе конные стрелки. Но рабочие все-таки молодцы. Кучка смельчаков отбивала атаки немцев у Агенскалнского рынка, другие храбрецы штурмовали полицейские участки, отправив на тот свет немало вооруженных баронских отпрысков. Рабочие заставили бежать ульманисовских и вальтеровских националистов и ополченцев с белыми повязками на рукавах.

Когда Петерис Стучка перебрался по мосткам, к нему присоединились члены Центрального комитета — Яунзем с Зуковским. Они радовались тому, что английская эскадра удрала из устья Даугавы.

— Убралась без оглядки...

— Возможно, англичан заставила уйти наша, то есть Советского правительства, радиограмма, — заметил Стучка. — Второго января мы из правительственного эшелона — правда, скорее ради политической демонстрации — направили Великобритании протест, предупредив об ожидающемся на днях в Риге восстании рабочих и о том, что мы снимаем с себя всякую ответственность за возможные осложнения.

— Радиограмма, видимо, остудила пыл командиров эскадры, — согласился Зуковский. — А уход английских крейсеров, в свою очередь, испугал немцев. Вся восьмая армия Людендорфа разагитирована, мол, большевиками, одна надежда на Железную дивизию, на добровольцев. А ландскнехтов этих теперь не больше четырех сотен осталось.

— Вы, товарищ Стучка, не дали из Инчукална условленного сигнала, — упрекнул Яунзем. — Почему не было обещанных трех орудийных выстрелов?

— Возникли осложнения... Поезд правительства, правда, прибыл в Инчукалн вовремя, артиллеристы могли бы дать сигнал. Но у нас не было никакой связи ни с Ригой, ни с двигавшимися со стороны Гулбене стрелками. Нам ничего другого не оставалось, как выжидать. Затем, третьего января, уже около полудня, нам из штаба, из Ропажей, сообщили, что Рига в руках восставших рабочих и немцы из города изгнаны.

— Говорят: все хорошо, что хорошо кончается, — кашлянув, сказал Зуковский.

— Но на войне такая задержка, хоть на два дня, может немало напортить.

— Может. — Стучка остановился. — Может, конечно. Мы почти две недели упустили в латвийской революции. Немцев надо было начать гнать сразу же, как только провозгласили республику Советской Латвии, как только в уездах возобновили свою деятельность Советы и части Красной Армии перешли демаркационную линию Брестского договора. Пока стоявших в Прибалтике примкнувших к революции немецких солдат не успела еще сменить заново сформированная Железная дивизия и в Рижский залив не вошли английские военные суда. И пока марионетка Ульманис не заключил с эмиссаром немецкого правительства договора о посылке в Прибалтику наемников для войны против большевиков. Говорят, «временное правительство Латвии» — так в немецкой печати называют скоморохов из балагана Ульманиса — Вальтера — обещало латвийское подданство и землю каждому иностранному наемнику, который, по крайней мере, четыре недели провоюет против Красной Армии.

Оккупантов надо было прогнать раньше, чем уполномоченный Антанты маршал Фош договорился с Эвербергом, пред-

ставителем германского правительства на мирных переговорах, совместно воевать против большевиков.

Вот как надо было. Но...

«Чтобы прогнать германские войска, нужны были полки стрелков, но наши «гарибальдийцы мировой революции» (так стрелков назвали западноевропейские интернационалисты) дрались на важных участках фронта, с которых их нельзя было сразу снять»,— думал Стучка. Лишь то обстоятельство, что стрелки некоторых изнуренных в боях и отведенных в тыл частей пренебрегли заслуженным отдыхом и сами вызвались отправиться на родину, на помощь восставшим товарищам, позволило двинуть к границам Латвии первые регулярные войска. Но все же не так быстро, как требовалось.

В бронепоезде купе для пассажиров нет. Есть лишь бронированные орудийные платформы, бункера для топлива и отсеки для снарядов. В одном из таких отсеков освободили уголок для членов правительства трудовой коммуны Латвии.

Тут нет, разумеется, скамеек или других сидений. Пассажиры устроились на ящиках с гранатами и снарядами. Штабеля ящиков освещает чадящий у двери карбидный фонарь. Только поезд трогается, как фонарь, точно маятник, начинает раскачиваться на проволоке. От этого он, кажется, чадит еще больше.

Когда поезд движется, по полу скользят и катятся вывалившиеся из ящиков ручные гранаты, ударяются о ноги пассажиров.

— Ребята! — позвал Зуковский. — Приберите военное имущество!

Вошли три стрелка: пожилой усач с маузером в деревянной кобуре через плечо и двое помоложе с винтовками за спиной. У усача на груди нацеплен на пуговицу немецкий солдатский фонарик, бросающий тусклый свет.

— Ясно. — Усач сразу все понял. — Эйди, достань по ящику от каждого сорта гранат, а ты, Юрка, собери их и неси мне, проверю.

— Рижская организация не могла дольше удержать от выступления латышских солдат, мобилизованных ульманисовцами,— рассказывали приезжим встречавшие их. — Только их согнали в казармы, выдали оружие и хотели двинуть против Советов, как началось. Да и рабочие-дружинники не могли ждать еще невесть сколько.

— И у нас дела сложились не так, как мы хотели,— рассказывал в свою очередь Стучка. — Манифест правительства был готов четырнадцатого декабря, семнадцатого вы могли бы уже обнародовать его. Но вышла задержка с пересылкой, и вы получили документ лишь двадцать пятого.

Наш переезд из Москвы задержался еще и потому, что товарищей Данишевского и Петерсона сразу не удалось освобо-

дить от их обязанностей в учреждениях Федерации. Стрелки поэтому прибыли в Латвию на две недели позже, чем следовало. За это время немцы успели сколотить свою контрреволюционную Железную дивизию, а их мародерские учреждения — прибрать в Видземе и Риге все продовольствие и остальное. Наплевав на наши категорические протесты германскому правительству... Две обидно упущенные недели, товарищи...

Он замолчал и посмотрел на стрелков, собиравших валявшиеся гранаты.

Усач отвинтил у гранаты ручку, проверил запал. Фонарик, горевший у него на груди, давал чересчур мало света. Усач чиркнул спичкой, дал ей разгореться и поднес ее к капсюлю. Поезд швыряло из стороны в сторону, пламя спички чуть не касалось запала.

— Не беспокойтесь! Для фронтовиков это дело привычное,— успокаивал Зуковский членов правительства. — Нам еще не такое предстоит.

— В четыре часа утра в Риге назначено первое заседание правительства...

* * *

— Насколько известно, в прошлом трудовой народ Латвии всегда находился в рабстве: у немцев, шведов, поляков и под конец у господ своей же национальности. Такова, в нескольких словах, история латышского трудового народа. Но сегодня мы бросаем эти страницы истории в огонь костра. Проводим между прошлым и настоящим красную черту. И пускай она отделит старый буржуазный мир от нового, социалистического. Вместо буржуазно-демократических свобод мы провозглашаем свободу советской власти, то есть свободу пролетариата, а вместо буржуазных прав, опиравшихся на свободу эксплуатации, вводим закон пролетарской революции, то есть закон хозяйственного и политического освобождения...

Петерис Стучка уже излагал программу трудовой республики Латвии по дороге в Ригу, на митингах, в Валке, Валмиере, Цесисе. А теперь он выступает на массовом митинге в столице, в первый же день после изгнания оккупантов. Перед пропахшими дымом уличных боев рабочими-дружинниками, бедными рижскими женщинами, дрожащими на морозе подростками с болезненно синими, как лед на пруде, лицами. Он говорит на площади, окруженной домами с заколоченными дверями лавок, с грохочущими на январском ветру, пестрящими ржавчиной и пулевыми пробоинами вывесками.

Порывистый ветер гонит вокруг участников митинга грязный снег, обрывки обгоревшей бумаги. В районе порта еще дотлевает элеватор, подожженный вчера немцами, за город-

ским каналом дымится здание театра. И хотя пруссаки, удирая из Риги, не успели взорвать даугавские мосты и другие крупные сооружения, город сильно пострадал от обстрела и погромов. Вначале наступая, а потом отступая, людендорфская армия засыпáла Ригу артиллерийскими снарядами и грабила где только могла. Даже посрывали с дверей латунные, медные, никелевые, алюминиевые ручки и щеколды во всех учреждениях и предприятиях. Когда Петерис Стучка с остальными членами правительства ночью шел с Рижского вокзала в помещение Военно-революционного комитета, на первое заседание правительства, город порой напоминал место стихийного бедствия. Призрачно маячащие трубы сгоревших домов, слепые, выбитые и заколоченные окна. Такая же картина и на Суворовской улице, около Центральной гостиницы, избранной рижанами временным пристанищем правительства.

К середине дня, когда самые срочные рабочие заседания и совещания уже были позади, Петерис Стучка вместе с членами правительства направлялся на массовый митинг и по-настоящему увидел размеры разрухи.

— В жизни своей не видел на городских улицах столько нищих, старух и детей. Рига превратилась в сплошной приют для бедных,— говорил он, стараясь уяснить себе, кто из встречных фабричный рабочий, а кто нищий. — Хотя на самом деле среди людей вообще вряд ли нашелся бы настоящий нищий.

— Безработные. — Заместитель комиссара труда Аллен уже выяснил, кто они такие. — По подсчетам городского комитета, в Риге насчитывалось более десяти тысяч безработных. А в городе всего, в лучшем случае, несколько сот тысяч человек. Против пятисот тридцати в тринадцатом году.

Впрочем, не всюду слонялись оборванцы, не всюду тянулись очереди к кухням немецкого времени.

У депо, напротив Воздушного моста, трамвайщики убирали баррикады, поднимали опрокинутые трамвайные вагоны, тащили прочь звенья заборов, ящики из-под боеприпасов. Перед сараями машиноремонтных мастерских Лейтнера хлопотали люди с ломами, лопатами и тачками.

— Фабрикант, товарищ Стучка, вместе с пруссаками и латышскими националистами удрал,— объяснил один из лейтнеровцев. — А в правительственном манифесте говорится, что трудящиеся Латвии немедленно должны приступить к восстановлению разрушенных и брошенных предприятий, вот мы и взялись за ломы. Не перестарались?

— Да нет,— улыбнулся он, впервые после долгого времени,— наоборот.

Но, пройдя еще несколько шагов, он опять увидел очереди отощавших, оборванных людей.

Струя порывистого ветра принесла со стороны порта острый запах горелого зерна. Более острый, чем сегодня утром от ржавой лужи какой-то кислоты, разлившейся перед газовым заводом. Петерис Стучка знал: в элеваторе тлеют ничтожные запасы, которыми рижане могли перебиться, пока Российская Федерация не наскребла бы для них кое-что по своим почти пустым закромам. По собранным товарищами сведениям, провизии, оставшейся на некоторых неразграбленных небольших складах, хватит, самое большее, на четыре-пять дней. А потом?

Оккупанты грабили дворы латвийских крестьян безжалостнее, чем поляки и другие иноземцы во времена прадедов. Тогда от горизонта до горизонта нельзя было услышать петушиного пения, а теперь во многих видземских поместьях только и осталось, что хромая лошадь или полудохлая клуша...

Как в таких условиях трудящиеся Латвии начнут строить социализм? И что может глава правительства обещать городским жителям? Обнадеживать помощью, которая придет после мировой революции? Сказать: в Германии сторонники рабочих и солдатских Советов строят баррикады и в Австрии, Венгрии, Франции, Италии пролетариат выходит на последний бой с эксплуататорами. Он и отрубит хватающую нас костлявую руку голода.

— При нашем пролетарском строе мы сможем потреблять лишь столько, сколько будем сами производить,— сказал он с особым ударением.— Такова правда. Революции в истории трудового народа всегда порождали героизм и невероятные творческие силы. И хотя в латвийской партии есть и наивные коммунисты, считающие, что все зависит лишь от смены общественных отношений рабочих и эксплуататоров («До сих пор мы работали на господ, так пускай они теперь поработают на нас, а мы поглядим!»), новая Латвия будет существовать только в результате упорного, самоотверженного труда всего рабочего класса.

Ему вспомнился митинг в канун Нового года в Цесисе. Там, как и тут, он выступал почти перед одними старичками и старушками, но они заплакали от радости, услышав, что будут жить в свободном трудовом государстве.

Напрягая тихий, переутомленный голос, Петерис Стучка продолжает:

— Охваченная голодом, измученная болезнями и разрухой маленькая Латвия вступает в новую историческую эпоху... Впереди огромные трудности, но славное прошлое латвийского пролетариата ставит перед ним задачу: он должен занять свое место в первых рядах мирового пролетариата. И трудовая коммуна Латвии должна стать образцовой не только на словах, но и на деле...

Мы хорошо понимаем, что в маленькой Латвии нельзя создать обособленного хозяйства. Для этого у нее нет богатств

земных недр и других. Но в Латвии могла бы возникнуть маленькая ячейка, которая послужила бы образцом для остальной России. Мы попытаемся добиться этого, стараясь в первую очередь повысить производительность труда. Мы заставим работать силы Даугавы и других рек. Одна Даугава может дать нам сто пятьдесят тысяч лошадиных сил. Торфяные болота мы превратим в электричество, силы природы облегчат человеческий труд...

Маленькая Латвия вступает в новую историческую эпоху. Разумеется, не одна, а вместе с Россией, и надо надеяться, что очень скоро к нам присоединится и пролетариат Германии.

Если мы на каждом шагу будем помнить об этих великих задачах, то нас не запугают никакие угрозы империалистов всего мира. В одной руке молот, в другой — винтовка — так мы будем заново строить опустошенную Латвию. И над Ригой, «окном России на запад», над ее за́мком поднимется наше, видное издалека, красное знамя с девизом Парижской коммуны: «Мы стоим на страже всего человечества».

* * *

В конце дня, после суеты заседаний и совещаний, Стучка уселся в своем номере за стол. Он принялся писать для «Цини» статью о программе развития Советской Латвии. Но успел лишь набросать несколько строчек («Нашу программу можно было бы выразить коротко, несколькими словами: мы немедленно пускаемся в путь — к социализму...»), как постучали в дверь. Негромко, но настойчиво.

Чужие. Двое господ в шубах с меховыми воротниками. Один — лысый, низкого роста, другой — стройный, очкастый, с прилизанными волосами.

— Мы к вам, ваше превосходительство,— сказал очкастый по-немецки. — Разрешите представиться: Шрайбнер. Доктор Шрайбнер из германского посольства. А это мой секретарь — магистр Хайман.

«Дипломаты... Этого еще не хватало!.. Но у суверенного правительства Советской Латвии есть и свой иностранный отдел, и руководит им председатель правительства».

— Чем могу быть полезным? — Стучка пригласил посетителей в другой конец коридора, в комнату для приема посетителей.

— Я — уполномоченный уехавшего в Берлин посла германского правительства. Уполномоченный посла социал-демократа Виннига,— объяснил прилизанный. И, прижимая к груди котелок, едва заметно улыбнулся одними уголками губ. Он сдержан, спокоен в движениях, в манере разговаривать. Дип-

ломат — ничего не скажешь. Зато магистр Хайман скорее похож на мелкого лавочника.

— Меня удивляет заявление доктора... — Замечание Шрайбнера о том, что он уполномоченный Виннига, вызвало у Стучки чувство неприязни. Винниг — чрезвычайный уполномоченный Германии — социал-демократ, которому правительство социалистической республики вынуждено было отправить ультимативную депешу («Если отступающие немецкие войска не прекратят убивать гражданское население, подрывать железные дороги, мосты и линии связи, мы будем вынуждены репрессировать взятых нами немецких пленных»). — Удивляет, что посол германского правительства покинул страну, в которой у него официальные обязанности, покинул вместе с антинародным буржуазным правительством, оставив при Советском правительстве своего представителя.

— Разумеется, теперь в Риге может быть только ваше правительство. — Улыбка не исчезает с лица Шрайбнера. — И, кроме того, товарищ Винниг согласен вернуться.

— Виннигу не следовало бы этого делать. — Стучка умышленно опустил слова «товарищ» или «посол».— В Латвии трудового народа никто не может поручиться за его неприкосновенность. Здесь каждому известно: Винниг был душой Временного правительства, которое рабочие прогнали: в сущности, он был уполномоченным феодалов-баронов. Своей политикой Винниг восстановил против себя самые широкие слои населения Латвии и мог бы сказать о себе: «Я тот, кого никто не любит».

— Вы, ваше превосходительство, в сущности, правы. Ведь нам известно, что на выборах семнадцатого года в Риге партии, на которые опирался господин Ульманис, получили лишь десять процентов всех голосов, — в деревне немногим больше,— в то время как рабочая партия, первым кандидатом которой были вы, президент,— более семидесяти пяти.

— Хорошо, что я не должен напоминать вам об этом... А теперь, господа, мы, может быть, перейдем к непосредственной причине вашего посещения? Хотя для официальных переговоров место здесь не совсем подходящее, я все же надеюсь, что господа оценят обстановку так, как она этого заслуживает. На другой день после возвращения правительства в столицу, когда оно еще не успело начать нормальную работу...

«Не исключено, что господин этот способен мыслить вполне реально,— думал он. — В Германии эберты, шейдеманы и носке — калифы на час. Им, правда, удалось узурпировать власть в Советах рабочих и солдат, но немецкий трудовой народ против них».

— Итак, что вас, господа, привело сюда?

— Прежде всего разрешите выразить Советскому правительству наше самое искреннее восхищение примерным поряд-

ком, наведенным в городе. Примерной дисциплиной войск, безопасностью на улицах и в общественных местах. Город в основном уже очищен от мусора.

— Порядок поддерживает в городе Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов, преследовавшийся немецким командованием. Товарищ Эндруп, которого господин Винниг приказал держать в тюрьме. Но вы пришли сюда ведь не для того, чтобы восхищаться очисткой города от мусора.

— Совершенно справедливо, ваше превосходительство, не для того...

— Итак...

— Нас интересует немецкое имущество.

— Какое немецкое имущество?

— Точнее говоря — имущество Германии. Военное и другое, которое немецкие войска не успели эвакуировать.

Так вот оно что! Старое требование, неоднократно предъявлявшееся германскими военными властями Советскому правительству, когда оно находилось на пути из Валки в Ригу. Требование о перемирии, пока они не вывезут накопленное в Латвии на складах военное имущество и трофеи. Продовольствие, скот, лес, машины, предметы обихода. Ведь в каждом латвийском городе было свое «Beutesammelstelle» («Пункт сбора трофеев»), куда свозилось все награбленное у гражданского населения. («Теоретическая звезда» Второго Интернационала Карл Каутский называл эту добычу военных мародеров законным имуществом Германии!)

— Я не дипломат и говорю поэтому всегда откровенно,— резко начал Стучка. — Господа могли бы не утруждать себя. Германские войска нашу страну больше опустошать не станут.

— Но никто не вправе задерживать военное имущество, вооружение Германии! — Хайман вскочил на ноги.

— И вы надеетесь, что мы позволим вам вывезти из Латвии военное имущество, чтобы баронские наемники потом воевали им против нас же? — спросил Стучка. — Если между двумя социалистическими правительствами (германское правительство ведь называет себя социалистическим) возникает спор из-за имущества, то они могут обратиться в третейский суд или искать других средств мирного урегулирования.

— Я прошу ваше превосходительство извинить нас. — Шрайбнера смутило вмешательство Хаймана. — Вопрос о военном имуществе в самом деле может вызвать недоразумения. Я дипломат старой школы и, разумеется, не социалист, но также считаю, что государствам для выяснения взаимных отношений следует прибегать к мирным средствам. Если вы не возражаете, будем считать этот разговор не состоявшимся, ибо главное, ради чего мы побеспокоили ваше превосходительство,— это просьба разрешить нам остаться в Риге до получения новых полномочий из Германии.

— Целесообразнее было бы, если бы вы уехали сейчас в Берлин и вернулись оттуда с новыми полномочиями уже после того, как германские войска оставят нашу страну.

— Германские войска так или иначе эвакуируются.

— Тем лучше для вас.

— Но в Риге у меня еще есть неулаженные безотлагательные дела личного характера.

— В таком случае правительство Советской Латвии разрешает вам остаться в Латвии еще три дня.

* * *

«Автор книги «Новая Россия...» Генрих Леве совершенно правильно охарактеризовал латышей,— писал в Германию после разговора со Стучкой магистр Хайман. — Латыши в самом деле постоянно бунтующий народец (Леве сказал: «С 1905 года — убийцы и поджигатели!»). Даже с самым интеллигентным латышом невозможен нормальный диалог».

* * *

В Старой Риге между тесными зданиями с крутыми островерхими крышами, в нескольких десятках шагов от громоздкого здания биржи, прямо против напоминающей часовню церкви Якова, стоит построенный в флорентийском стиле дворец Собрания немецкого рыцарства, цитадель феодально-деспотического дворянства. Здание ландтага, построенное в шестидесятые годы девятнадцатого века на месте дома царского вице-губернатора, до сих пор было в Прибалтике цитаделью самой черной реакции. Несмотря на то что у главного входа в нише стены стоит огромное, высеченное из камня изображение самого видного организатора грабителей Прибалтики — магистра Ливонского ордена Плеттенберга, никакие средневековые легенды с дворянским дворцом не связаны. Зато современных историй — сколько угодно.

В большом зале Рыцарского собрания, стены которого выложены и украшены каменными и металлическими дворянскими гербами, видземские «фоны» пели гимн Российской империи и направляли петиции германскому кайзеру с просьбой присоединить Прибалтику к его райху и по возможности быстрей колонизировать Курземе, Видземе и Латгале, которым надлежит стать немецкими землями. (А что в таком случае ожидало тех, которые не были немцами? Да разве это важно? Существовал же когда-то такой балтийский народ — древние пруссы, и не стало его...) В Рыцарском собрании чиновники

феодалов выслушивали искательные речи латышских предателей, принимая от них списки «мятежных» соплеменников.

В декабре восемнадцатого года высокопоставленные немецкие господа принимали в этом дворце делегатов собрания, аранжированного националистским спекулянтом Карлисом Ульманисом и пастором Андриевом Ниедрой, обещав сделать все от них зависящее, чтобы Латвия не стала республикой трудового народа. А Ульманис со своей стороны заверял их, что договорится с немецкими ландскнехтами, с датскими и шведскими искателями счастья. Пускай только едут в Латвию. Разве в Видземе и Курземе охотиться на латышей хуже, чем в Латинской Америке, Азии или Африке — на туземцев?

И вот в январе девятнадцатого года рижское дворянское собрание станет пристанищем правительства Советской Латвии. «Советским Красным дворцом»,— как говорил Петерис Стучка. Этот дворец избрали центром правительства именно потому, что смена хозяев Рыцарского собрания красноречивее всего говорила о глубоко революционных переменах, происшедших в обществе. Есть такое древнее изречение: «Тот, кто господствует в крепости, господствует и в стране».

Члены правительства, после недавно окончившегося рабочего заседания, гурьбой шли во дворец. Шли и продолжали обсуждать поднятые только что неотложные вопросы.

Переброшенные из России с фронтов гражданской войны части красных стрелков уж очень малочисленны. Армию срочно надо пополнить. А это значит... что в пролетарские полки вольется много непролетарского элемента.

Положение, разумеется, облегчит социалистическая революция в Германии, восстание рабочих в других европейских странах. Французский буржуазный журнал уже открыто писал: «Премьер-министры принимают делегации рабочих и обсуждают с ними вопросы войны и мира. Очевидно, это происходит под влиянием революции в России...» Марсельские докеры, лондонские рабочие выходят на демонстрации с лозунгами: «Руки прочь от Советской России!» Но, несмотря на это, старая гвардия латышских марксистов, помня свой опыт, должна быть готовой к самому худшему.

Трудно приходится партии. Чересчур мало осталось в ней проверенных, политически грамотных людей. А интернациональный долг перед пролетариатом России не позволяет просить Москву откомандировать сюда всех латышских большевиков. Поэтому возникла необходимость объединить разные учреждения Латвии, как партийные, так и советские. Создать свою структуру руководящего аппарата, отличную от той, что в Российской Федерации. Маленькое, но авторитетное и гибкое управление. Не бояться частичного слияния партийных и со-

ветских инстанций. То, что правительство Советской Латвии должно быть правительством партийным, дискуссии уже не подлежит. Первейшая задача партии — дать рабочему классу коммунистическое сознание, и поэтому партийцы, взявшие на себя обязанности членов правительства, должны прежде всего уделять свое внимание партийной работе. Так что руководство Центрального комитета и Советского правительства может быть единым. Верно, в Советской России это не так. Но российская партия, товарищ Ленин поймут нас. Мы не решаем все сразу на вечные времена,— говорил Ильич латышским коммунистам, пришедшим к нему перед отъездом проститься. «Было бы ошибкой, если бы мы просто по шаблону списывали декреты для всех мест России...» Надо полагать, что Владимир Ильич коснется этого вопроса и в своем отчетном докладе на Восьмом съезде большевиков России.

Около старой городской аптеки, лепящейся к кирпичной стене церкви Якова, прыгает с ноги на ногу оборванный мальчуган-газетчик. Он предлагает листок революционных социалистов «Уз приекшу»[1] и выпущенный утром третьего января оставшимися в Риге меньшевиками «Социалдемократс», в котором на всю первую полосу набрано огромными буквами: «Да здравствует Третий Интернационал!»

— Каждый по-своему сам себя обманывает,— посмеялся Ленцманис, показывая на издание меньшевиков. — В декабре они писали, что пролетариат России уже очнулся от большевистских грез.

— Это было, когда серые социалисты-меньшевики потеряли веру в «свободное государство» националистов,— отозвался Яунзем. — Но до того, семнадцатого ноября, когда наша конференция на народном собрании в театре на Романовской улице приняла решение восстановить советскую власть, меньшевистские лидеры призывали к массовым выступлениям против большевизма. Калнини и мендеры самым настойчивым образом подбивали Ульманиса объявить всеобщую мобилизацию против большевиков.

— В выпущенном в декабре «Социалдемократсе» ленинцы-латыши изображены чудовищами, разбойниками, убийцами.

— А пигмеи-эсеры, поддерживавшие Народный совет Ульманиса силой трех своих предводителей, в своей газетенке писали, что революционные лозунги Ленина собраны с миру по нитке,— дополнил Арайс Яунзема.

— Мелкобуржуазный социализм — это тяжелейшая форма общественного недомогания,— заметил Стучка. — К тому же латышские мелкие политиканы по натуре своей проститутки.

---

[1] «Вперед».

Латвийские серые социалисты готовы продаться буржуазии любого капиталистического государства.

— Черт с ними, с серыми социалистами! — Перед Рыцарским собранием Данишевский всех остановил. — Петерис, — обратился он к Стучке,— прежде чем мы переступим порог этого дома, должен сообщить тебе решение Центрального комитета партии. Тебе придется поселиться в Доме правительства.

— Неужели я для того стал марксистом, чтобы после революции жить в дворянском дворце?

— Дело в целесообразности. Председателю партии и правительства надо постоянно находиться на командном пункте. Ведь ты не захочешь, чтобы по любому срочному делу за тобой бегали в город?

— Конечно нет.

— И потом... — Словно ища поддержки, он переглянулся с остальными товарищами. — Здесь будет жить с тобой и заведующая секретариатом правительства — товарищ Дора Стучка.

— Заведующая секретариатом правительства?

— Тебя это удивляет? До сих пор товарищ Дора всегда была твоим помощником и секретарем. И останется им, только теперь уже по поручению Центрального комитета.

— В самом деле...

Прежде чем члены правительства вошли в Красный дворец Советов, их кинокамерой запечатлели на пленку.

— Пускай будущие поколения увидят, каким было первое правительство Советской Латвии, когда оно, выполняя волеизъявление народа, покончило со старыми феодальными правами и привилегиями.

Кроме Петериса Стучки, носившего потертую шубу с меховым воротником, члены правительства были одеты так, как в то время обычно одевались бывшие военные или бедные интеллигенты. Только вид у всех был независимый. И с опасением смотрели на них из своих квартир, сквозь щели закрытых на крючки ставен и в просветы толстых портьер, обитатели ближних патрицианских домов.

«Ясно: эти от прежних, старых порядков камня на камне не оставят!»

С беспокойством наблюдал за происходящим у подъезда флорентийского дворца из окна старой городской аптеки и седоусый немец, хороший знакомый отца Петериса Стучки — прибалтийский немецкий журналист и литератор, редактор газеты «Ригаше рундшау» — Оскар Гроссберг.

— Так ведь это Петер Стучка вошел туда, сын старого Стучки,— сказал он приглушенным голосом самому себе. — Чуть ли не главная опора русского коммунизма. Кто мог предвидеть, что молодой Стучка пожалует к нам в Ригу во главе большевистского правительства?

Гроссберг взволнован, и в обществе аптекаря ему трудно успокоиться, хотя аптекарь — один из лучших рижских шахматистов — проигрывал ему сегодня уже вторую партию. Гроссберг обмотал шею по уши полосатым вязаным шарфом и засеменил прочь, постукивая камышовой тростью по каменному полу аптеки. Он пошел в пивной погреб Ремесленной гильдии. Правда, пиво, которое там теперь подают, на вкус похоже на прокисшее сусло, и буфетчик «острубли» за него не принимает. Но погреб посещают люди строптивого нрава. А Гроссберг без строптивых людей не может.

Там над ним, конечно, будут подтрунивать. Над его либерализмом. Над тем, что он побежал в Народный совет скомороха Ульманиса. Но это еще можно перенести...

Погреб полон посетителей. Они толкутся у стойки, вокруг столиков, кучками в глубине зала. Очкастые, усатые, бородатые мужчины с кривыми и широкими носами, среди них и люди помоложе, с военной выправкой.

— Здорово, либерал! — обратился к Гроссбергу приятный на вид краснощекий человек, хозяин типографии. — Поди-ка сюда. Ну, как обстоит дело с твоей платформой, намерен по-прежнему заодно с мужиками идти?

— Обстоит, как обстояло...

Он протиснулся за столик и взял протянутую кем-то стеклянную кружку пива; на ней маслом нарисован студент в корпорантской шапочке, в руке у него трубка с длинным чубуком.

— Я все же не фаталист. События могут принять совсем другой оборот.

— Не могут принять, а должны.

— Послушай, Оскар,— задумчиво помолчав, заговорил хозяин типографии. — Насколько мне помнится, за твоей книжной лавкой была комната с выходом на соседний двор?

— Две комнаты.

— Еще лучше. В таком случае дай-ка мне ключи от них.

— Зачем?

— Не будь любопытным. Так надо. Чтобы благоприятней развивались события.

* * *

За столом, сколоченным из неровных досок, ведут шумный разговор народные комиссары Фрицис Линде и Давид Бейка. Голос Линде слышен на все помещение, он вытягивает длинную, как у цапли, шею, посверкивая стеклами больших очков. Плечистый Бейка, изредка посмеиваясь, по-земгальски спокойно поддакивает ему. Казалось, комиссары вполне довольны

собою и в хорошем расположении духа дожидаются своей порции похлебки.

Петерис Стучка и Яунзем-Шильф уселись на противоположной стороне стола. Стучка посматривает на Линде и Бейку с плохо скрываемым неодобрением.

«Как они могут забыть о только что случившемся?»

Он вырвал из записной книжки листок и написал:

«Товарищ Линде, одно то, что эсеры боролись вместе с восставшим пролетариатом Риги, еще не дает им права выпускать свою газету. На этот раз большинство бюро оказалось непринципиальным. Мне говорили: мы были бы несправедливы, если б отказали эсерам в издании газеты. Наши эсеры, мол, не имеют ничего общего со своими авантюристическими единомышленниками в России, с фанатичкой Спиридоновой, с группой, поддерживающей Ульманиса. Но эсеры не могут идти с нами до конца и поэтому пойдут против нас...»

Сложив вдвое голубую в красную линейку бумажку, он попросил передать ее дальше.

Яунзему он сказал:

— Решение позволить эсерам по-прежнему издавать газету абсолютно неверно. В эпоху, когда классовая борьба перешла в открытую гражданскую войну, нельзя засорять головы рабочих буржуазной идеологией, пусть и с мелкобуржуазным уклоном. Так говорит Маркс. Мы, правда, стоим за истинную и материально обеспеченную свободу слова и печати для рабочих, но объявляем войну духовному яду, распространяемому буржуазной печатью. Мы не смеем быть настолько наивны, чтобы поверить, что редакторы газеты революционных социалистов Грузевский, Арнис и поэт Апседелс останутся в газете «Уз приекшу» на платформе, которую они провозгласили во вчерашнем номере. Их газета будет единственным изданием, находящимся в оппозиции к Коммунистической партии, то есть будет собирать вокруг себя силы контрреволюции.

— Ты, Петерис, знаешь, что наши молодые товарищи называют тебя ортодоксом? Даже старым ортодоксом? — отозвался Яунзем.

— Мне сейчас не до шуток,— ответил Стучка. И тут же замолчал. К чему повышать голос? Яунзем-Шильф тяжело болен. Полученный в тюрьме, ссылке и подполье туберкулез, как червь, точит его легкие. Он с трудом поспевает даже за таким стариком, как он, Стучка. Когда вечером, после затянувшегося рабочего дня, они встречаются с ним на лестнице дома, на впалых щеках Яунзема горят розовые пятна. Ясно, что он еще живет и работает лишь благодаря своей титанической силе воли.

Надо во что бы то ни стало найти возможность обеспечить ему и другим тяжело больным товарищам полноценное питание...

Стучка помешал ложкой суп из сушеных овощей и крупы. Жиров в этой похлебке, в лучшем случае, не больше, чем в порции Скупердяя в «Мальчике с пальчик» у Бригадер.

— Товарища Стучку срочно просят к телефону,— перебил его мысли дежурный секретариата правительства. — Какой-то дипломат. Я, правда, сказал, что вы обедаете, но товарищ буржуй страшно настойчив.

— Придется написать товарищу Чичерину, чтобы освободил нас от игры в дипломатические жмурки,— сказал, уходя, Стучка Яунзему. — Этим псевдодипломатам я сказал, чтобы господа учли, что с Российской Федерацией, в состав которой Латвия входила до Брестского договора, ни Голландия, ни Дания, ни Норвегия государственных отношений не поддерживают. Если им угодно представлять в Советской Латвии свое государство, то пускай вручат верительные грамоты и позволят нам открыть представительства в своих странах. А они...

— С вами говорит дипломатический представитель Германии доктор Шрайбнер,— раздался в трубке дрожащий голос уполномоченного Виннига. — Ваше превосходительство, в мою квартиру ворвались вооруженные люди. Сотрудники политического отдела Рижского совета. Делают обыск.

— Гражданин Шрайбнер, Советское правительство разрешило вам остаться в Риге три дня. Сколько же с тех пор прошло времени? Поскольку вы в указанный вам срок не уехали...

— Но у меня, ваше превосходительство, есть продление.

— Какое продление?

— Разрешение гражданина коменданта Риги на десять дней. Я был у него, и... мы договорились.

«Посмотри только! А комендант — член партии!»

Стучка крайним усилием воли подавил в себе ярость.

— Передайте, пожалуйста, трубку старшему патруля. И учтите, гражданин Шрайбнер: впредь я за вашу безопасность не отвечаю. Без официальных полномочий вам в Риге делать больше нечего.

— Товарищ командир, освободите немца. Почему так надо, я немедленно сообщу начальнику Политотдела,— сказал он говорившему с ним на другом конце провода.

— Товарищ Стучка, если бы сразу не узнал вас по голосу, то не послушал бы. Мы сюда, в это логово, попали, гоняясь за контрреволюционерами. Квартира эта с несколькими выходами.

— Я, товарищ, вас понимаю, но гражданина Шрайбнера надо пока оставить в покое.

«Комендант Риги... Товарищ комендант Красной Риги... В партии он, кажется, с семнадцатого года. Ему следовало бы знать, что такое партийная дисциплина, ответственность члена

партии. А может, у него от власти закружилась голова?.. Может, он заболел манией величия? Об этих вопросах, видимо, надо писать в партийной печати»,— рассуждал Стучка.

— Товарищ Стучка. — Вошел комиссар труда Карклинь. — Как с деньгами? Надо платить рабочим. Нужны оборотные средства. Кассы финансового отдела пусты, как в первый день.

«Правильно, нужны деньги... Республике нужны оборотные средства. Кредит Российской Федерации... Уезжая из Москвы, финансовые дела не уладили. Вернее говоря, в страшной спешке позабыли о том, что будут нужны и деньги. В Петрограде перед отъездом в Валку латвийскому правительству обещали миллион рублей на самые неотложные платежи. Но правительство уже столько времени в Риге, а денег все еще не прислали... Неужели придется выпустить свои обменные знаки?..» Какое-то время он напряженно думал. Затем ответил:

— Я сегодня пошлю телеграмму комиссару финансов товарищу Крестинскому. И скажу нашему представителю товарищу Гайлису, чтоб принимал срочные меры.

* * *

У Александровской улицы они остановились, чтобы попрощаться.

Технический консультант правительства республики — голландский инженер-строитель Себалд Рутгерс — с западноевропейской учтивостью обнажил на январском морозе голову и еще раз выразил наилучшие пожелания в дальнейшей деятельности видному рижскому химику — профессору Паулю Валдену.

— Руководить университетом широкого профиля, со многими лабораториями, кабинетами, комплектовать студентов из по-настоящему талантливых юношей — тут позавидовали бы вам и в некоторых крупных научных центрах за границей,— говорил Рутгерс, внимательно следя за профессором. Голову Рутгерс немного склонил набок.

Этот западноевропейский марксист-интернационалист, инженер с мировым именем, прямая противоположность аристократичному на вид члену бывшей Российской Академии, блестящему лектору и исследователю-новатору, сыну латышского крестьянина — Паулю Валдену. Себалд Рутгерс по своей внешности вылитый дореволюционный русский сельский интеллигент.

— Позволю себе надеяться, что мне представится возможность воспользоваться вашей консультацией не только

в вопросах строительства портов и электростанций Советской Латвии.

— А мне в свою очередь вашей — в работе вновь открываемого университета,— Валден приподнял шляпу. — Я вижу, вы торопитесь?

— Заместитель комиссара просвещения Эферт пригласил меня на встречу с активом комиссариата.— Рутгерс показал на собеседника Стучки, сухопарого, бледного человека в сильно потертом пальтишке. — У меня просят совета, как сконструировать театральную или оперную сцену. Двенадцатого января Латышская опера поднимет занавес.

— Заведующий отделом искусств Андрей Упит интересуется устройством вращающейся сцены,— пояснил Эферт.

— В таком случае желаю удачи,— поклонился Валден.

— Выдающаяся личность этот голландец,— сказал Валден Стучке, глядя вслед Эферту и Рутгерсу. — Таким консультантом Латвийское правительство может гордиться. Я убежден, что предлагаемый инженером Рутгерсом проект электростанции у острова Доле привлечет внимание иностранных специалистов не в меньшей мере, чем построенные им в Голландии, на Яве и в Англии железобетонные мосты и порты.

— Будем надеяться,— сказал Стучка и чуть погодя добавил: — Если вы не возражаете, я немного провожу вас.

— Сделайте одолжение,— отозвался Валден и возобновил разговор, начатый в здании института. — Когда заключили Брестский мирный договор и нас, эвакуированных профессоров Политехнического института, пригласили обратно в Ригу, я надеялся продолжить здесь работу над начатыми экспериментами. Признаюсь, в России меня очень шокировал общественный хаос. Я надеялся на здешнюю организованность, строгий порядок. Кроме того, меня побуждали вернуться и обстоятельства чисто личного характера. Мои близкие ведь балтийцы. Но оказалось, что Риге при немцах уготована судьба окраинного городка. Судьба оккупированной провинции...

Когда они вышли на Дерптскую улицу, напротив Верманского парка, профессор Валден оборвал свой рассказ.

— Иногда я, в свободную минуту, охотно захожу в Малый Верманский. Побаловаться кружкой пива. Вы, премьер, таким слабостям не подвержены?

— Отчего же нет, — улыбнулся Стучка. — На старости я делаю это, правда, с опаской, но в молодости, в товарищеской компании, от кружки пива не отказывался.

— В таком случае не откажетесь посидеть со мной? — профессору Валдену явно хотелось поговорить со Стучкой.

— С удовольствием. — Профессор Валден среди рижских ученых крупная фигура. Несмотря на то что жена его из немецких дворян, он принял предложение коммунистов работать

на благо советского строя как нечто само собою разумеющееся. Не пытался отвертеться, как некоторые преподаватели рижских общеобразовательных учебных заведений.

И вот они сидят в маленькой комнатке, в отдельном кабинете павильона, за столом, накрытым снежно-белой скатертью. Приятно пахнет тушеной капустой, жареной рыбой и свежим хлебом. Кажется, сюда еще не протянула свою руку нищета, и тут можно насыщаться чем угодно, как несколько лет тому назад.

Однако это не так.

Когда Валден заказал официанту «несколько бутылок с надлежащей закуской», услужливый малый с блестящей лысиной и не менее блестящими лацканами фрака скривил губы.

— На закуску, господин профессор, можем предложить только русскую соленую воблу или крестьянский сыр. К тому же сыр не первой свежести. Уж такие времена,— он покосился на Стучку: знает, мол, кто спутник знаменитого посетителя.

— Возьмем воблу. И принесите что-нибудь, чем поколотить ее.

— Мы подаем эту рыбу уже очищенную. — Официант поклонился, бросив недружелюбный взгляд в сторону Стучки. Видите, мол, до чего ваши порядочки довели. Профессору чуть ли не приходится колотить воблой об стол, точно какому-нибудь даугавскому струговщику.

— Почему я, не задумываясь, принял ваше предложение руководить научной частью восстанавливаемой химической промышленности Риги? И сам вызвался подготовить декларацию наших инженеров об их положительном отношении к Советской Латвии? — Глотнув принесенного пива, Валден поднял кружку против света и уставился на пенистый янтарно-коричневый напиток, словно наблюдая какую-то химическую реакцию. — Вам это кажется странным, не правда ли?

— Я не сказал бы.

— А могло показаться. Тем более что вы знаете: по своим политическим убеждениям химик Валден всего лишь умеренный демократ.

— В таком случае объясните мне, пожалуйста.

— Это я и хочу сделать. — Он перестал разглядывать свою кружку. — Я убедился, что при вашей власти можно работать. Я слушал вашу речь на массовом собрании, слушал выступления заместителей комиссаров — Эферта и Печака. Мне довелось побывать в компании, где свои взгляды высказывал один из партийных лидеров — товарищ Арайс. Недавно я познакомился с инженером Рутгерсом. Увидел, как новое правительство принимается за восстановление промышленности. Созданные в оккупацию предприятия по переработке фруктов и ово-

щей, всякие там мелкие мастерские — это только так, между прочим. Важно, что открыты ржавевшие годами ворота Балтийского вагонного завода, «Феникса» и других. Созданы комиссии специалистов, которые должны заботиться о том, чтобы применялись последние достижения производственной техники.

— Очень приятно от вас это слышать, — заметил Стучка, а Валден продолжал:

— Меня и моих коллег увлекает размах и энтузиазм Советского правительства. Вы хотите превратить Латвию в образцовую ячейку общественного производства нового типа. Это дерзко, но заманчиво. И ваши планы перекликаются с мечтами химика Валдена. С моей мыслью создать в Риге научный центр, связывающий научную деятельность Востока и Запада. Когда-то я говорил об этом своему шведскому коллеге Сванте Арениусу. Он согласился со мной. Рижским ученым присущи похвальные традиции: без лишнего шума, по-новаторски проникать в неисследованные области. Иноземные ученые, а также художники, которые поселяются в Риге, приезжают сюда не за дешевой славой, а чтобы усердно трудиться. Если бы в Риге возник такой научный рабочий центр, который связывал бы Восток с Западом, то он мог бы стать значительным фактором в прогрессе науки. Хотя бы той же химии. Советское правительство такое дело поддержало бы?

— Несомненно.

— В таком случае... в таком случае, товарищ премьер вскоре получит декларацию группы рижских ученых и инженеров об их поддержке правительства.

* * *

Во время организации Народного комиссариата юстиции в Петрограде у прокурора посетителей было меньше, чем сейчас у председателя правительства Советской Латвии.

Люди хотели поговорить лично.

За те немногие дни, которые Петерис Стучка работал в комнатах на втором этаже канцелярского корпуса Дворца Советов, у него побывали уже сотни посетителей.

Но многие приходили по личным делам.

Часть посетителей пыталась выклянчить себе какие-нибудь льготы, совсем как просители у достопочтенного землемера в романе братьев Каудзите. Часть напоминали жалобщиков, обивавших пороги комиссариатов в первые годы существования советской власти в России и выдававших себя за единственных истинных защитников справедливости, поборников законности, врагов произвола.

Однако в большинстве своем это были людишки, желавшие напомнить о своем существовании только потому, что когда-то где-то встречались и знакомились со Стучкой.

В секретариате правительства Советской Латвии, которым по решению Центрального комитета руководила товарищ Дора Стучка, были созданы многие отделы. Их работники могли улаживать разные административные и другие дела, только самые существенные, носившие общий, программный характер, они оставляли для решения руководителям.

Но вот для сугубо личного разговора явился арендатор сигулдского фольварка. Когда-то, еще студентом, Стучка зашел к нему во двор, попросил напиться. И вот теперь приходит, точно родственник какой: «Приветствую, от души приветствую! Счастлив видеть Петериса Стучку таким бодрым!» И заводит разговор, приукрашенный всякими подробностями, о себе самом, о детях, об общих знакомых, ныне здравствующих и уже давно покойных. О прошлых русских войнах, о лихой поре немецкой оккупации.

Но попробуй спроси, зачем, собственно, посетитель к тебе пожаловал, и сразу начнется: «О, господи, зачем так официально? Разве можно так между своими, латышами, соседями?»

Миновав сотрудниц секретариата, к Стучке прорвался владелец столярной мастерской Пагаст. Тоже по личному делу. Гражданин Стучка его, наверное, помнит. Обновлял мебель в его первой адвокатской конторе. Теперь фирма Пагаста хочет просить комиссаров о лицензии. Как посмотрел бы на это Стучка?

Затем на стул, стоящий перед председательским письменным столом, опустилась владелица запрещенной копеечной газеты «Яунакас зиняс» и магазина письменных принадлежностей Эмилия Элкс-Беньямин. Хочет поговорить со Стучкой как газетчик с газетчиком. Пускай он скажет, рабочий она, Эмилия Элкс, человек или нерабочий...

А Петерису Стучке надо писать отчетный доклад Первому Вселатвийскому съезду.

На столе в папках лежат подготовленные комиссариатами и отделами декреты, законы, обязательные положения с обобщенным программным содержанием. По промышленности, по обороне республики, здравоохранению, социальному обеспечению. Пятнадцатого января двери откроет Трудовая школа Латвии. Бесплатная школа среднего типа, на единой основе для всех детей.

Надо поспешить с ответной статьей на выпад эсеровской газеты.

Эсеры, переименовав себя в «революционных социалистов» и отмежевавшись, таким образом, от «социалистов-революционеров», которые вместе с мендеровцами орудовали в ульманисовском блоке, уже потребовали, чтобы Советское правитель-

ство носило особый, латышский характер, чтобы оно было не пролетарско-интернациональным, а каким-то особым латышским Советским правительством.

Избрав немного иную форму, они продолжают заниматься стародавней буржуазно-монархистской болтовней о страшном хаосе в большевистской России и, таким образом, косвенно нападают на латышских большевиков. Политический вождь эсеров Шволманис уже потребовал такой диктатуры «трудового класса», которая не определялась бы политикой одной партии.

Пролетарская партия, видите ли, им не нравится.

Стучка взял только что полученный номер «Уз приекшу». Такую бессовестную статейку, как «Запах хлеба», нельзя не упомянуть в ответной статье («Не доживем ли мы еще до того, что хлеб... сможем только нюхать?»). Важно в данном случае предостеречь товарищей рабочих от национал-шовинистической политики «революционных социалистов». Показать, насколько она опасна для дела пролетариата.

— Мне по личному делу... мне необходимо поговорить лично...

Опять посетитель! Голубоглазая женщина лет тридцати, брови сильно выцвели, по одежде не скажешь, крестьянка она или из города.

— Здравствуй, родственничек! — захихикала она. — Не признаешь, видать. Я, Петерис, твоя двоюродная сестра. Аннына из Селпилской волостной корчмы. Когда твой покойный отец на Янов день пиво варил, он и нас не забывал. А мы на свои праздники опять же Яниса Стучку звали. Пока замужем не была, пока в Пинданах жила, я на хоровое пение ходила и в тиятре играла, тогда меня все пригожей Анныней называли...

Стучка пытается склонить посетительницу к деловому разговору, но она глуха к его словам, как тетерев на току.

Он наморщил лоб, заерзал на стуле. Отчетный доклад надо сегодня непременно закончить и статью для «Цини» тоже.

Сегодня же собирается Совет рабочих депутатов города Риги.

А в принесенной только что радиограмме скверная новость:

...революционное восстание спартаковцев в Германии вошло в критическую стадию. Либкнехтовцы в Берлине разгромлены, социал-демократическое правительство закрыло газету «Роте Фане».

...В Польше правительство Пилсудского, именующее себя социалистическим, приказало арестовать и расстрелять делегацию русского красного крестьянства... Белополяки рвутся к Вильне...

...В Эстонии, в районе Ревеля и Юрьева, к силам белогвардейцев примкнули большие добровольческие отряды баронов

и финнов с тяжелой артиллерией. Линия фронта приближается к югу, к Латвии...

Нет, с либерализмом в секретариате правительства надо покончить. Сейчас военное время, а на войне не болтают, время зря не теряют, а действуют.

Слушая краем уха трескотню посетительницы, Стучка набросал текст объявления:

«В последнее время мне часто мешают посетители маловажными, сугубо личными делами... Революция не позволяет мне заниматься ими. Когда горячая пора кончится, я попытаюсь взять отпуск и встретиться со всеми, кто захочет со мной поговорить».

— Это объявление вывесьте, пожалуйста, у входа, — сказал он сотруднице секретариата, протягивая ей листок.

11. «РЕБЯТА, МЫ В ЛАТВИИ!..»

— Ребята, мы на границе Латгале и Видземе!

— И там, за Даугавой, на курземской стороне — Селия.

— Смотри, здесь встречаются три латвийских округа.

Пулеметчик Вирсис вдруг занервничал. Снует по проходу между скамьями, припадает к разбитым окнам, через которые в грохочущий вагон сыплется белая снежная пыль.

Вирсис расстегнул ворот гимнастерки, словно на дворе не январь, а душный летний день, словно стрелки едут не в нетопленных вагонах, а на припекаемой солнцем крестьянской телеге. Вирсису жарко, как летом: ко лбу липнут выбившиеся из-под папахи пряди волос.

Когда эшелон тронулся со станции Ницгале, Вирсис стал подбивать ребят перебраться на тендер, подышать запахом набухающих почек родных берез, хотя по обе стороны железнодорожной насыпи тянутся одни болота с сосенками, а смолисто-коричневые почки распускаются лишь в самом конце февраля, с появлением весенней сырости.

— Наши леса шумят совсем не так, как в других краях! — восторгался Вирсис. — В Подмосковье, Арзамасе, в окрестностях Новгорода такие же рощи, как у нас в Верхнем или Среднем Видземе, но нигде они не шелестят так, как в Латвии. А запахи земли. Запахи перевернутого плугом теплого, дымящегося пласта.

— Может, красного пулеметчика Вирсиса латвийская болотная ведьма приворожила, а заместо него другого нам подсунула? — шутят стрелки.

— Националистского пустозвона, — Екабу Гробиню тоже хочется посмеяться над Вирсисом. — Ну что у этого обожателя

родных берез общего с Вирсисом — грозой белогвардейцев? Еще предложит спеть песню небезызвестного пастора Штейка: «Сии кости, сия плоть, сей дух и сие сердце!»

— Ты меня с националистскими рифмоплетами не равняй, — рассердился Вирсис. — Вообще вам, ребята, не худо бы подумать: может у пролетария чувство любви к родине быть или не может? Неужто человеку наплевать, где он на свет появился, где впервые хозяйской розги отведал и научился петь «С боевым кличем на устах»?..

Но восторг свой он все-таки умерил. По крайней мере, внешне. Увидев припавшего к окну измотанного тифом Матисона, Вирсис пошел к нему. Матисон уставился на противоположный, курземский берег Даугавы, где небо сливается с синеватыми, поросшими соснами пригорками. Там, на другой стороне, есть усадьба, а на ней — Ева. Его, Матисона, Евушка. Война разлучила их на четыре года, пока Верхнее Курземе находилось под немецким сапогом, пока Матисон шагал огненными дорогами войны.

Догадывается ли Евушка, как близко ее Мартинь? Тоскует ли еще по нему, как в то лето?

У Матисона в кармане, правда, уже нет завернутой в бумагу фотокарточки молодой жены — сгорела в Рыбинске вместе с выцветшей, как прошлогоднее сено, гимнастеркой, в схватке с белогвардейцами. Матисон едва выскочил из горящего дома. Но в остальном...

— Это, должно быть, где-то здесь напротив? — спросил Вирсис, обдав горячим дыханием заледеневшее стекло.

— Чуть подальше вперед. Против устья Трепупе. От железной дороги, через Даугаву, туда напрямик версты две с половиной, не больше. — Вирсис заметил: глаза у товарища подернулись влагой, заблестели. — На том месте в излучине Даугавы, — полушепотом сказал Матисон, — песчаная коса. Весной, когда лес сплавляли, мы с напарником обычно договоримся и посадим плот краем на отмель. И так я попадал на курземский берег.

— В Крустпилсе нас накормят и в бане помоют, так ты отпросись у комиссара...

— Ничего не получится! Даже по хорошей летней дороге из Крустпилса до Убагов больше чем полдня ходьбы.

— Больше чем полдня в один конец?..

— Больше...

Вдруг долго и равномерно катившийся состав задергался, вздрогнул, загромыхал буферами — и остановился. Солдаты повалились друг на друга, с верхних полок посыпались вещевые мешки, загремели винтовки.

— Стоп, машина, кондуктор лопнул! — закричал в общем шуме взводный балагур Лауцинь.

— Мост!.. Немцы, отступая, повредили мост через Трепупе,

Фермы, правда, снова подперли, по ним даже пропустили несколько эшелонов, но теперь как будто опять расшатались.

— В таком случае сложим молитвенно ручки и запоем «Ах, головушка окровавленная»... — не унимался Лауцинь.

— Заткнешься ты наконец! — сердито прикрикнул Гробинь. — Вот так незадача! Эй вы, железнодорожные совы, надо же понимать! Ребятам в Ригу нужно. Тринадцатого Первый Вселатвийский съезд Советов собирается. А мы еще до того должны какому-нибудь немецкому «регименту» пятки пощекотать.

— А мы что — баклуши бьем? — крикнул один из пробегавших мимо железнодорожников.

— Неужели в самом деле ничем помочь нельзя?

Оказалось, что кое-чем помочь можно. Если на берегу в сосняке свалить несколько десятков деревьев, обтесать их и укрепить фермы брусьями...

— Ребя-ата! — крикнул со ступенек первого вагона ротный командир Мауринь. — Ребя-ата, поплевали на ладони!

— Дайте только пилы и топоры! Мало мы сосен на брустверах Пулеметной горки уложили?

И по железнодорожной насыпи, аукая и гомоня, двинулась к мосту серошинельная масса.

— Да-ешь мост!.. Да-ешь!

— Матисон, Гробинь! — Вирсис остановил товарищей. — Погодите, я вам кое-что скажу. Эту задержку Матисону точно сам бог послал,— сказал он, запыхавшись. — Отсюда до его дома рукой подать. Всему эшелону на мосту все равно делать нечего. А пока, за те часы, что мы проторчим тут... Сейчас сбегаю к комиссару, выклянчу разрешение.

— Не надо, — воспротивился Матисон.

Но Вирсис уже мчался по насыпи.

— Стой и не рыпайся! Все будет как надо!

И на самом деле все получилось как надо. Неужто откажут в чем-нибудь «грозе белогвардейцев», пулеметчику Вирсису? Да еще когда он так просит.

— Ты в самом деле перестарался, — притворился недовольным Матисон. Но все-таки застегнулся на все пуговицы, подпоясался и зашарил в своем вещевом мешке. Видимо, у него там что-то долго и тщательно хранилось.

Идя через лесок к косе в излучине, в которой отшлифованный ветрами лед блестит, как поседевшая спина огромной рыбы, трое товарищей болтали о чем угодно, только не о цели своего пути, не о том, что их может там ожидать. Но на пригорке, связанном для Матисона со столькими воспоминаниями, он не сдержался.

Смотрите, тут он обычно поворачивал плот поперек, волочил его по песку, а там, на курземском берегу, у изрубленного

ольхового урочища, бросал якорь. Вечером, оставив на плоту напарника, поднимался наверх. А вон на том заросшем бугре выстреливал из обоих стволов ружья. Давал Евушке знать, что приплыл, что ждет ее у толстой сосны. И она вскоре появлялась на тропинке, на бегу застегивая наспех накинутую чистую кофточку. Ночь проводили на пригорке, укрыв плечи его пиджаком. И он во всех подробностях рассказывал ей, где был, как жил. Как часто вспоминал любимую.

Вначале хозяин, Евин отец, исподлобья косился на плотогона. Но постепенно смирился. Вернее говоря, смириться его уговорили родственники. Парень силен, как бык, впряжется в оглобли и воз с мешками умолота один от риги к клети тащит. И в то военное лето отец уже не стал шуметь, когда дочка с плотогоном пошли к пастору.

— Вон, гляньте на тот склон, на ту купу ясеней... Это и есть Убаги... — показал Матисон. Снял папаху и вытер лоб, щеки, шею. Сильно взмок, хоть оба спутника, помня о перенесенном Матисоном тифе, старались удержать его от быстрой ходьбы.

— На вид справная усадьба...

— Справная, конечно... — смутился Матисон.

— Дальше ты потопаешь один, а мы тем временем на соседний двор подадимся, — сказал Вирсис, когда они достигли обнесенного частоколом загона, за которым санный путь разветвлялся в разные стороны. — Я обещал комиссару с местными жителями потолковать. Выяснить, как у них волостное собрание рабочих и безземельных крестьян прошло. Не избрали ли в Совет старых чинуш да баронских подлипал. Слушай, что тебе говорят! Через час придем за тобой. — Вирсис потянул Екаба за шинель к соседней усадьбе. И запел:

Переправь меня через Даугаву, Даугаву...

За ним и Екабом в снегу оставался широкий след.

— Может быть, таких, как мы, с красными звездами на шапках и винчестерами за плечами, в этом захолустье впервые видят.

— Может быть, — согласился Екаб. И решил про себя, что Вирсис «парень что надо». Как умно он все с Матисоном обстряпал.

А Вирсис уже присматривался к усадьбе соседей Убагов, пытался отгадать, кто тут живет. Соломенные крыши хозяйственных построек словно волостные козы общипали. Обнесенный плетнем чахлый фруктовый садик... Голяки-хозяева или поселенцы военного времени?

— Арендаторы, арендаторы имения мы, — ответил стрелкам вышедший во двор человек с красным, словно ошпаренным, лицом. — Сыновей в четырнадцатом в николаевскую армию взяли, за плугом я да старуха остались. А аренда-то ли-

хая! А как немцы пришли, так три шкуры драть стали. Не повезло нам, как другим, у кого вахмистры на квартирах стояли...

— Вы за какую партию воюете? За большевиков, меньшевиков или революционных социалистов? — обратился к стрелкам курносый веснушчатый паренек, по щиколотки укутанный в залатанную шубу со взрослого плеча. Ему лет девять-десять, не больше. — Мы с броценским Андрисом революционные социалисты.

— С чего это? — удивился Екаб Гробинь.

— Потому как большевики и коммунисты — это одно и то же, а меньшевики — предатели, зато революционные социалисты — во!..

— Кто тебе такие бредни напел?

— Сами, — отогнал хозяин прочь незваного политикана. — Невесть чего по всяким местам наслышатся и брешут... В нашей глуши ведь не то, что у больших дорог. Проходите, товарищи, в дом, — приглашал он стрелков, отослав зачем-то мальчугана. — Расскажите, что же дальше будет. По волости какие-то люди ходят, все запасы переписывают, хозяйственное обзаведение. Поговаривают, что все в общий котел свалят. Землю, скотину, плуги, жен...

— Пули льют! Пули льют, да и только, — ответил Екаб. Но он не успел досказать свою мысль. В комнате, в которую они вошли, переступив два высоких бревенчатых порога, оказались еще трое старичков, рано состарившаяся женщина да целая орава босоногих ребятишек. Надо было со всеми поздороваться, познакомиться. И когда уже можно было завести разговор о Советах, о Валмиерском съезде, о манифесте Советского правительства, хозяйка притащила глиняную миску, полную сваренной в кожуре картошки, и пригласила товарищей стрелков подкрепиться.

— Картошка с творогом... Другой приправы, милые, нет у нас. И хлеба нет. — Она застенчиво терла углом передника то одну, то другую руку.

— Мы ведь свои, — посмеялись стрелки. — А картошка — первая еда для солдата.

И они принялись есть и нахвалить стряпню хозяйки.

— Чертовски вкусно!

Наконец и к настоящему разговору приступить можно было, но тут в окне промелькнул Матисон. Слышно стало, как он во дворе стучит сапогами по заледенелой дорожке.

— О господи! Мартинь убагской Евы? — удивленно всплеснула руками хозяйка. — Так он, наверно, уже побывал там!

— Ну и дела, — прокряхтел хозяин.

— С Евой стряслось что-нибудь? — почти враз спросили Вирсис и Екаб.

— Да нет!.. Только... какой прок мужу от этакой...

— Погодите, погодите! — потребовал Вирсис. — Вы по-человечески скажите. Что значит «этакая»?

— Непутевая, — бросил хозяин и пошел к двери. — Надо несчастного в комнату позвать.

— Не то чтоб совсем непутевая... — поправила хозяйка. — Но честная жена так не поступила бы, — пусть у ее отца и невесть какие дела с этим вахмистром были. Евиному крикуну уже год минул.

— Крикуну?.. — широко раскрыл глаза Вирсис. — Гробинь, кажется, пора нам обратно топать. Спасибо, хозяйка, что вкусно накормили.

— Пора, конечно. — Екабу тоже не хотелось, чтоб чесали языки о Матисоне. Матисон — свой парень, товарищ, побывавший в царицынском пекле. — Спасибо, спасибо! И помните: все вы, безземельные, малоземельные и арендаторы, впредь большевиков держитесь!

До берега стрелки шли молча. Над доломитовым обрывом, по которому им предстояло спуститься на скованную гладким льдом Даугаву, Матисон остановился и оглянулся на затянутый синеватой дымкой лесной бугор, на котором молодой плотовщик встречался когда-то со своей любимой.

— А что, если ее отец силой заставил?

Екабу не хотелось, чтобы у Матисона об этой стороне остались в памяти лишь крупинки рассыпчатого наста, которые он на ходу, нагибаясь, загребал ладонью.

— Под прусской дубинкой бабе и оступиться недолго.

— Может, человека и на самом деле принудили? — поддержал Вирсис Екаба. — Мартинь, ты ведь ее любишь.

— Лю-бил! — Мартинь закачал головой, словно выпил какую-то горечь. — Любил! Эта женщина с ребенком — не моя Ева. Чужая она мне. Не из-за ребенка. Разговариваю я с ней, и подходит Убаг. В руке — топор. «Ты все сказала ему?» — спрашивает Еву. «Не успела, я сейчас». И, прижимая к себе рыжего карапуза, встала рядом с отцом. «Мы с отцом порешили... Я уверена, что так надо, — говорит она. — В нашем доме тебе не место. Такому, каким ты пришел». — «Каким же я пришел?» — «Ну, с такими мыслями». — «С какими это мыслями?» — «С мыслями чужих разорителей... На латышской земле такие не нужны!» Неужто после такой встречи вы стали бы еще гадать: «Любит — не любит?»

— Да нет! — Вирсис опять расстегнул ворот гимнастерки. — Какой же я после этого был бы стрелок?..

«Вот тебе и на... Любовь! «Звезда моя единственная»... — Екаб уже не различал, где наезженная дорога, а где заметенное поле. — Обман! Выдумка рифмоплетов... Чтобы пролетариям головы туманить. Чтоб они отказались от борьбы за классовую справедливость, чтоб... Коротко и ясно: чтоб не воевали

против гидры империализма. Но... ничего, мы еще посмотрим, кто кого!»

У железнодорожного моста уже пыхтел под парами паровоз. Вскоре он медленно перетащил состав через мост, который стрелки уже успели подпереть бревнами. Стрелки сели в вагоны за сторожкой стрелочника на переезде.

Теперь они могли поделиться новостями, услышанными за пять-шесть часов вынужденной остановки. И от железнодорожников, и от батраков имения Клаукавы, вызвавшихся помочь чинить мост. Много недобрых новостей. По этому берегу Даугавы за войну выжжена полоса в несколько сот верст. Голодают даже хозяева усадеб. Если людям не помогут со стороны, то может статься, что весною здесь уже некому будет дерн переворачивать.

А ко всему этому всякие бандиты, мародеры. Последнее барахлишко у людей отнимают. И еще эти пробравшиеся в Советы мироеды.

Вскоре в вагоне, в котором ехали Гробинь, Вирсис, Матисон, начали обсуждать дело Матисона, хотя ребята, ходившие на верхневидземский берег, старались помалкивать.

Эх, был бы среди них кто-нибудь из тех, из шестого полка, что так здорово малевать умеют. Вот получилась бы картинка: хозяин-богатей с топором встречает зятя-стрелка. Рядом не то растерянная, не то удивленная хозяйка и жена вернувшегося. У нее на руках крикун в кайзеровской каске. Славная картина получилась бы, ничего не скажешь.

Ночью на станции Рембате в вагон сели двое стрелков из Политотдела армии. Гонялись за черносотенным пастором Андриевом Ниедрой. В Калснаве он ушел от своих преследователей, выскочил в окно. Только его длинную бороду видели. Приказ об его аресте Революционный трибунал подписал еще в восемнадцатом году, когда Красная Армия из Видземе отступила.

— Стоит ли из-за какого-то пастора столько дорогого времени терять? — сердито пробормотал кто-то в темноте вагона. (Кажется, Лауцинь.) — К тому же пастор Ниедра — поэт. У него и хорошие стихи есть, они даже на песни переложены.

— Хорошие стихи, говоришь? — вспылил один из политотдельцев. — Пишет хорошие стихи, а творит плохие, вонючие дела! Кто такой Андриев Ниедра? Боролся против революции Пятого года, за баронов заступался. Отпетый спекулянт и жулик. В церкви, с кафедры небесную манну сеет, а за церковными вратами лесом, скотом, военным имуществом поторговывает. В калснавском имении — Ниедра арендовал его — он у батраков все их жалованье в карты отыгрывал. А тем, кто с ним играть не садился, этот сочинитель хороших стихов по два года не платил.

— Поэты, они вообще не от мира сего.

— Какие поэты? Поэты буржуев, мракобесов. В пролетарском государстве и писатели будут трезво на вещи смотреть. Художникам, у которых слова с делом расходятся, в пролетарском государстве не место.

* * *

— Делегатов съезда регистрируют за столиками слева, гостей — справа. Зарегистрировавшихся товарищей просим пройти наверх, в зал заседаний, или в помещения рядом! Не толпитесь, пожалуйста, у входа! — ежеминутно выкрикивал кто-нибудь из организационной комиссии съезда.

Перед совещанием фракций, когда не решили еще заседать в более просторном помещении (делегатов оказалось куда больше, чем ожидали), товарищи зря в вестибюле не задерживались. Но стало известно, что съезд переносится в бывший Немецкий театр. И наверху, в зале, уже не хотели оставаться даже те, кто успел весьма удобно расположиться на украшенных баронскими гербами стульях и в троноподобных креслах. Они толпами валили вниз.

Только что прибыли и делегаты из Вентспилса, Лиепаи, представители трудящихся еще не освобожденных городов. Лиепайцы перешли через фронт из самого логова контрреволюции. В Лиепае еще хозяйничает немецкая Железная дивизия, ульманисовские ополченцы, отряд молодчиков, навербованных меньшевиком Бруно Калнинем, на город наведены жерла пушек стоящих на рейде английских крейсеров, но делегаты лиепайских рабочих прибыли сюда и так же уполномочены решать вопрос о жизни Советов, как посланцы Риги, Валмиеры, Резекне.

— Товарищи, просим не толпиться!.. Освободите, пожалуйста, проход!.. — предлагали регистраторы.

Но их не слушали и не могли расслышать.

Ведь почти каждый делегат и гость встречал в бывшем Дворянском собрании давно не виденного товарища — по фронту или подполью, учителя или ученика, близкого или знакомого.

— Товарищ дорогой!.. Цел и невредим! С мандатом от какого края?.. Кто там еще от наших остался?

Знакомых, фронтовых друзей расспрашивал и Екаб Гробинь. Тех, что из бывшего седьмого стрелкового полка, с валмиерских времен.

— Да, да, я сам! И здоров как бык! А где ты теперь воюешь? И какая у вас там обстановка?

Ах, Фришманис погиб? И Витинь с Виллертом тоже? А Гроскопа тиф скосил?.. Что? Шведер, Отис Шведер бросил

роту? Уехал с беженцами, вернувшимися в занятую немцами Латвию? Служить белым он, конечно, не пошел, но попадись он теперь мне, так я за себя не поручился бы...

В густой темноте на площадке перед Домом правительства раздалась команда. Грянули медные трубы, от грохота военной музыки задрожали зарешеченные стекла Дворянского собрания.

«Становись, товарищи!» — призывали корнеты, альты, басы. Барабанные раскаты наполнили тесные площади Старой Риги. Обе створки высоких дубовых дверей распахнулись.

— Товарищи делегаты, стройтесь в колонну!

— Даешь! Чтоб гудела наша Старая Рига!

— Товарищи, становитесь за знаменами по шесть в ряд! — предлагали во дворе делегатам женщины в солдатских шинелях с флажками в руках — красные милиционеры. Одна из них, девушка небольшого роста, воскликнула:

— Товарищи, вы не туда! Двигайтесь к Замковой!

У Гробиня перехватило дыхание — Катрина Пуринь!

— Е-э-каб!

И вот они обнялись и по-солдатски хлопают друг друга по спине.

— Ты... ты такой! Ты... такой...

Делегаты во дворе, улыбаясь, сочувственно подначивают — расцелуйтесь.

— Пусти! — высвободилась Катрина из рук Екаба. — Какой ты!

— Какой?..

— Ребячливый... Разве сейчас время?

И в самом деле. Не время сейчас вести себя так. Он на глазах у делегатов чуть не расцеловал Катрину. А еще прошлой ночью в эшелоне, по дороге в Ригу, сочувствуя Матисону, проклинал поэтов, воспевающих Джульетт и Сольвейг!

— Я буду на посту у театра, — быстро проговорила Катрина и скользнула в толчею по-военному и полувоенному одетых людей.

Екаб шел вдоль колонны, искал остальных делегатов своей части. Батальонного командира, длинного Берзиня из артиллерийской роты. Но разве в такой массе народа найдешь кого-нибудь, да еще в темноте!

Над входом в Дом правительства тускло горели два фонаря, по скользким тротуарам с флажками в руках сновали распорядители шествия, в голове колонны, впереди знамен и сводного оркестра стрелковых полков, игравшего военные марши и революционные песни, пылало пламя факелов. Но света все равно было слишком мало, чтобы среди многих сотен почти одинаково одетых людей найти нужных ему четырех человек. И Екаб пристроился к ближнему неполному ряду в хвосте шествия.

Кажется, это делегаты от какой-то волости или уезда. На предложение Гробиня «дать ему заполнить ряд» они ничего не ответили, только немного потеснились и продолжали обмениваться обрывистыми, им одним понятными фразами.

— Если нужда прижмет, сделаем, как лубанцы сделали с приезжим... Пускай лучше на демократию трудового народа не замахивается...

Музыканты ударили в барабаны и тарелки, разговоры затихли, и колонна зашевелилась.

— Посмотрим, что за физиономии состроят рижские буржуйчики... — сказал кто-то с лимбажским акцентом впереди Гробиня.

— И немцы, и националистские дельцы...

Как будут глазеть на шествие рижские паразиты, хотелось посмотреть и Екабу Гробиню. Но больше его интересовала отзывчивость трудящихся. Если уж столько сочувствующих собралось перед Домом правительства, в тесной Старой Риге, так сколько же их будет дальше?

Кто же из рижских патриотов удержится, чтобы не посмотреть на шествие своего правительства. На шествие правительства, избранного тружениками всей Латвии! (Делегаты ведь тоже правительство!) Под знаменами победившего пролетариата, под знаменами красных стрелков!

В эти дни на такие же демонстрации выходят, наверное, и товарищи в Литве и Белоруссии. По призыву вождя угнетенных всего мира — Ленина.

Скоро, очень скоро взойдет солнце советских республик во всех странах... «Где вражды не знают, где навеки погребена она...» Кажется, так звучали стихи, которые читали ребята. Стихотворение, написанное неизвестным Екабу поэтом. Екаба тогда так взволновала близость Латвии, что ему и в голову не пришло спросить, кто автор.

Оркестр заиграл «Марсельезу». И делегаты с подъемом запели:

Отречемся от старого мира!

* * *

Катрина Пуринь, теперь уже с винтовкой, — казалось, что от нее у такой крошки спина прогибается, — помогала товарищам из Дома правительства проверять делегатские мандаты. Гробинь предъявил ей удостоверение, повертелся немного возле девушки, и Катрина в нескольких словах рассказала ему, как попала в Ригу.

В декабре валмиерская организованная молодежь послала ее в центр, и она задержалась здесь до начала вооруженного восстания. Сегодня останется на посту, пока будут заседать,

Когда Екаб попал в зал, искать товарищей своей группы ему было уже некогда. И опять его соседями оказались сельские (как он предположил) делегаты, с которыми шел сюда от Дома правительства. Но теперь у них и в ряду спереди, и за спиной также сидели свои. И то и дело они наклонялись вперед или тянулись назад, чтоб сказать что-нибудь, обменяться мнениями.

— Товарищи!..

На сцене, украшенной красными флагами, из-за стола президиума поднялся седой плечистый человек. Издали, при скупом освещении Гробинь не сразу узнал в нем Петериса Стучку. Даже голос показался каким-то необычно глухим.

Стучка сообщил, что на съезд прибыло пятьсот шестьдесят девять полноправных делегатов, а вместе с гостями присутствует семьсот пять человек. И поэтому собрание полномочно решать вопросы повестки дня. Он предложил встать и минутой молчания почтить память погибших за дело рабочего класса, за Советскую Латвию. Помолчав, зал, словно по мановению дирижера, запел:

С боевым кличем на устах,
С горячим сердцем пали вы...

Пел и Екаб. И видел, как многие пожилые делегаты подносят к глазам носовые платки.

— Слово для предложения состава президиума товарищу Печаку.

На просцениум молодцевато вышел боец лет двадцати семи и, громко, отчетливо произнося каждое слово, стал читать:

— «Товарищ Стучка, товарищ Данишевский, товарищ Ленцманис, товарищ Петерсон, товарищ Карклинь, товарищ Арайс, товарищ Крастинь, товарищ Эндруп, товарищ Бейка».

— Одни коммунисты. Своих тянет! — услышал Екаб, как сказал с раздражением кто-то у него за спиной. А-а, это из тех, с которыми его соседи переговаривались. Мысленно он назвал его «Козлиной бородкой».

Когда стали голосовать за предложение избрать в почетный президиум Ленина, Свердлова, Розу Люксембург, Карла Либкнехта и других выдающихся марксистских деятелей и затем прочитали приветственную телеграмму «От Красной Риги — Красному Берлину», «Козлиная бородка» снова бросил:

— Не поздно ли? По всей Германии уже вопят: «Смерть Либкнехту!»

«Что это за тип? — Екаб начинал злиться. — Откуда он взялся? А его соседи даже словом не возразят ему».

Съезд утвердил Конституционную комиссию республики (Стучка, Данишевский, Розинь, Карклинь, Ленцманис, Эндруп), проголосовал регламент.

— Товарищи! — обратился Петерис Стучка к делегатам. И в театре воцарилась торжественная тишина. — Когда много лет назад у нас началась тайная, но оживленная и серьезная деятельность социал-демократии, я не представлял себе, что мне посчастливится дожить до победы. Мы победили, но еще находятся товарищи, которые все же не верят в это...

«Товарищи, которые все же не верят?.. Товарищи?..» Со вспыхнувшим вдруг в мыслях вопросом Екаб обернулся к «Козлиной бородке». Интересно, куда такие смотрят? На одни недостатки? Но Советская Латвия существует лишь немногим больше недели. К тому же Советы рабочих и крестьян не господь бог, который за семь дней из ничего сотворил мир.

Петерис Стучка говорил о непреклонности коммунистов в достижении целей социализма. О том, что надо крепить установленную в Латвии диктатуру рабочих в тесном сотрудничестве с правительством Советской России, с германской группой Либкнехта, которая в тяжелых уличных боях бьется сейчас за будущее. Ничто не остановит народ Латвии в построении социализма, ибо «партия коммунистов свои обещания всегда выполняет».

Под конец Стучка предложил чествовать союзников Советской Латвии, социалистическую Россию, всемирный пролетариат и спеть «Интернационал».

Мощно и слаженно зазвучал на разных языках гимн рабочих.

— Слово для приветствия — председателю Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета товарищу Якову Свердлову!

Ему долго не давали говорить. Все нарастающим шквалом аплодисментов чествовали ленинскую Россию, помогшую освободить оба берега Даугавы из-под власти черных рыцарей и собственных предателей.

Выдающийся трибун большевистской школы Яков Свердлов заметно волнуется:

— Товарищи, ни с одной другой частью мира мы не связаны так тесно, как с Красной Латвией... Тысячи ее лучших товарищей, выгнанных отсюда полчищами германских империалистов, остались в России и пошли с нами, и ни с кем мы так не связаны, как со стрелками Латвии. — Его сильный голос вибрирует, как струна тонкого музыкального инструмента.

Кто знает, может быть, он вспомнил часто виденных в казематах царской крепости, духовно всегда бодрых латышских революционеров. Может быть, он думал об угнанных царскими сатрапами во льды России рижских и лиепайских металлистах, видземских и курземских сельских учителях, растолковывавших северным охотникам и рыбакам учение Маркса, объясняв-

ших, как заново перестроить мир. Может быть, перед глазами его промелькнули латышские стрелки, которые, сжимая в руках винтовку, идут отбивать атаки офицерских ударных батальонов белых. Во всяком случае, делегаты слушали Свердлова, затаив дыхание. (Екабу Гробиню, правда, было бы больше по душе, если бы председатель ВЦИКа и секретарь Коммунистической партии рассказал поподробнее о событиях мировой революции.) Слова Свердлова «Да здравствует Красная Латвия! Да здравствует власть трудового народа во всем мире!» были подхвачены бурей аплодисментов.

Никого из гостей, приветствовавших съезд, не принимали так, как Якова Свердлова. И опять нельзя было унять зал, когда Свердлов вышел на сцену вторично, чтобы извиниться и сказать, что обстоятельства не позволяют ему дольше задерживаться в Риге. Делегаты встали с мест и запели «Интернационал», часть из них устремилась к выходу — проводить гостя.

Вместе с остальными в вестибюль вышел и Гробинь. И, когда он остановился в коридоре у стены, его из входа на сцену поманил к себе комиссар батальона. С ним были четыре стрелка в боевом снаряжении.

— У тебя, Гробинь, гостевой билет, ведь так?

— Гостевой.

— Тогда бери шинель и фуражку и присоединяйся к товарищам. Вот тебе ордер. Маузер и «лимонки» получишь у начальника охраны театра. Надо помочь ребятам из Особого отдела Исполкома выкурить контрреволюционеров.

— Но как же так?

— Вот так! Идет война! Или думаешь, интервенты и контры уже белые флаги вывесили?

— Не такой я наивный.

— Так вот. Ничего не поделаешь, друг, — сочувственно вздохнул комиссар. — Придется на контру поохотиться. На барончиков, наемников Антанты и бандитов. Только что на Сарайной напали на охрану складов. А в районе Стрелкового сада обнаружен тайный арсенал. Даже скорострельную мелкокалиберную пушку нашли.

— Ну и черти!..

— Вот именно, что черти!

От начальника охраны здания съезда, у которого стрелки получали гранаты, Екаб Гробинь еще узнал: сегодня вечером в городе в нескольких местах были перестрелки. Должно быть, интервентским лакеям в связи со съездом поручено воду мутить. Или, быть может, это из-за предстоящих завтра на Эспланаде похорон жертв революции. В последние дни во многих квартирах больших домов найдены тайные склады оружия. А во втором городском театре ребята из-под сцены вытащили

мешок с динамитом и адскую машину. В Эстонии нашим совсем туго приходится.

— Неправда это! — В такие сенсации Екаб не хотел верить. Разве в Эстонии пролетариат без классового сознания?

— Неправда, говоришь? — переспросил начальник караула. — В таком случае скажи, чего ради это наш шестой полк сломя голову понесся из Даугавгривы на Эстонский фронт?

* * *

В январе в этом году много теплых дней, и этой ночью, когда патруль стрелков зашел в Старую Ригу, погода казалась совсем не зимней. По крайней мере — Екабу. Воздух был таким влажным, что легкие от него словно покрылись росинками.

Странная, совсем странная погода. Когда Екаб на видземском взморье пас чужое стадо, дед его хозяина любое непривычное явление природы объяснял богомерзким отступничеством от добрых, издавна заведенных порядков. «В мире божьем каждой пылинке свое место назначено. Уберешь малое, рухнет и большое».

Дед дедом. А сколько еще есть на свете молодых, которые совсем не седые, а душой — старики. Ведь многое из старого надо бы в один прием на свалку выбросить. Взять хотя бы тех же частных лавочников, спекулянтов. Кому они в социализме нужны? И зачем наши им еще помогают, защищают от мародеров и тому подобных? Наверное, и Катрина в ночном патруле, раз ей боевое оружие выдали. Какой-нибудь бандит может и ее с третьего этажа пристрелить, как девушку позапрошлой ночью на Песочной.

Да, когда-то он теперь увидит ее? Под колоннами театрального подъезда, когда он выходил, ее не было.

— Оцепить квартал! — приглушенно скомандовал командир патруля.

«Квартал?» — посмотрел с удивлением на него Екаб. Эта груда старинных домишек — двух- или трехэтажных построек с обитыми жестью четырехугольниками окон — квартал, который они должны обыскать? В том домишке, кажется, находится книжная лавка, «Buchhandlung» — значится на вывеске.

— Гробинь, ты в северных губерниях чекистом был? — К Екабу подошел очкастый милиционер в кожанке, с маузером на боку, Знотинь из политического отдела Исполкома. — Пошли со мной квартиры обыскивать. Сейчас дворника найдем.

В построенных в семнадцатом и восемнадцатом веках домах рижских торговцев и ремесленников страшно неудобные

винтовые лестницы. Ступеньки спиралью вьются одна над другой на совсем небольшом расстоянии. Рослому человеку трудно подниматься по ним, не согнувшись. Как тут ходили пять и больше поколений, населявших эти квартиры, Екабу непонятно. Он уже здорово отбил себе голову. И получил от Знотиня замечание.

Пока обыск квартир ничего не дал. За дверями, которые открывались лишь узкой щелью — насколько позволяла привинченная изнутри предохранительная цепочка, — жили мирные люди. Но непрошеных гостей они встречали недружелюбно. Иная дамочка, кутаясь в длинный халат, семенила впереди и не стыдилась попрекать их: «Разве не совестно вам мирных людей тревожить?»

В домишке с лавкой книг и письменных принадлежностей из квартир верхних этажей на стук никто не отзывался. Обитатели чердачного этажа сказали, что со старого года они нижних соседей в глаза не видели. Еще до смены правительства.

— Значит, удрали?

— Наверно, удрали.

— О квартире и оставленном имуществе в Исполком заявлено? — спросил Знотинь дворника.

— Не-е знаю.

— А кому знать-то? Распоряжение Исполнительного комитета рабочих депутатов читал?

— Не помню. — Дворник прикидывался дурачком.

— Об оставленном имуществе бежавших контрреволюционеров и эмигрантов дворники, управляющие домами, прислуга и знакомые должны немедленно заявлять в городской Совет. За сокрытие оставленного имущества виновным грозят самые суровые наказания,— сказал Знотинь дворнику. — Квартиру надо немедленно открыть и проверить. У дворника нет ключей? В таком случае придется взломать дверь. Товарищ Гробинь, проверь-ка прикладом замок.

Удар, еще удар, еще... Посыпалась известка, пыль. Вдруг на втором этаже, над книжной лавкой брякнула распахнутая настежь дверь, на лестнице загудело. И уже на улице кто-то закричал: «Стой! Стой!» Затрещали выстрелы.

— Там... там они! — Взмахнув маузером, Знотинь бросился вниз по лестнице. Екаб помчался за ним.

Поворот. Лестничная площадка. Справа — дверь, в которую вскочил командир. Слева, двумя ступеньками ниже, еще одна, совсем узенькая. В уборную. Недавно, когда Екаб поднимался на чердачную надстройку, маленькая дверца была заперта, а теперь — приоткрыта. Екаб пнул ее ногой и шагнул вовнутрь. И тут же больно полоснуло по груди.

* * *

Ближайший сосед Екаба по палате — раненный немцами утром третьего января связной штаба полка Грумслис, а за ним лежит подстреленный несколькими днями позже, во время патрулирования района Гризинькална, командир отряда милиции Карклинь. У Грумслиса плечо уже хорошо зажило, он не только шевелит забинтованной рукой, но даже пытается упражнять ее, поднимать вертикально. У Карклиня раздроблена тазовая кость, и, так как он уже далеко не молод, ему предстоит долгое лечение. Видимо, Карклинь еще останется в больнице, когда Екаба уже выпишут. Хотя врач, осматривавший в приемном покое больных, отнес Гробиня к «тяжелым» («Пуля перебила ребро, задела сердечную сумку. Четверть вершка левее — и врачу уже нечего было бы тут делать...»). У Екаба уже нормальная температура, раны на груди и спине хорошо затягиваются, и сам он страшно хочет как можно скорее выбраться отсюда, попасть к ребятам в роту. Правда, врач, близорукий старикашка с гладкой, как бильярдный шар, головой бормочет об общем истощении организма, но какое это имеет значение? Пускай ему покажут человека, не отощавшего на войне!

Свободное от врачебных обходов и перевязок время трое больных проводят за разговорами. Делятся виденным, пережитым, слышанным, рассказывают о событиях близкого и далекого прошлого. Уж очень оно пестрое у них.

Подумать только: латышскому пареньку еще и двадцати не минуло, а он уже с винтовкой в руке и связкой гранат на поясе прошел чуть ли не половину огромной России. Дрался с немцами, австрийцами, венграми, чехами, англичанами. По нескольку дней подряд, без хлеба, без табака, гнал контрреволюционеров. Его водили за нос офицеры, националисты и еще невесть кто, и сам он разоблачал шпионов, помогал громить опасных заговорщиков. Слушал лекции о марксизме бывшего капитана французской военной миссии, а теперь российского большевика и сам разъяснял немецкому солдату сущность пролетарской революции. Высмеивал и изводил националистских и полунационалистских хлюстов и дамочек, так трепал их на народных собраниях — только пух летел. И черных, и серых, и розоватых патриотов, агитировавших солдат: «Латвия погибнет, если вы не отвоюете ее нам обратно!» Трое больных говорят и о другом. О сугубо личном, о женщинах. И о случайных подружках, о сговорчивых барыньках, попадавшихся им в скитаниях по белу свету. Говорят. Только без отборных казарменных словечек. Больница все-таки.

Больных навещают чуть ли не каждый день. Грумслиса и Карклиня — товарищи из Рижского Совета депутатов, отдела милиции, из комитета стрелкового полка. Забегают минут на

десять — двадцать, минуя им одним известными путями охрану больницы, докторов и сестер, запрещающих проходить в палаты. Приносят газеты, подслащенные сахарином лакомства и последние новости о Латвийской коммуне, Красной России, империалистических государствах.

Шестнадцатого января трое обитателей палаты уже знают во всех подробностях об огромной демонстрации во время похорон павших революционеров и о том, как протекал Первый съезд Советов, заключительное его заседание. Какие поистине необъятные народные массы вышли на улицы, казалось, опустошенной Риги! Как распорядители регулировали движение демонстрантов белыми сигнальными флажками; что говорили ораторы на Эспланаде, переименованной теперь в площадь Коммунаров.

Сами не побывав там, больные все же знают, что́ на последнем заседании съезда сказал Петерис Стучка, что́ — Печак, что́ — Ленцманис. Как делегаты оценили работу Советского правительства, какую приняли Конституцию республики, кто избран в Центральный исполнительный комитет. (Первыми в списке идут товарищи Стучка, Данишевский, Розинь, Зиемелис, Ленцманис.) И какую вонючую бомбу на заседании пятнадцатого января бросила группа разагитированных эсерами делегатов! Это случилось во время совещания большевистской фракции. Совещание затянулось, и собравшиеся в зале начали митинговать. И тут кто-то из «этих» предложил присутствующим избрать собственный президиум, чтобы решать дела съезда без коммунистов. Им, видите ли, некогда ждать.

Двенадцатого января Грумслису принесли номер «Цини», в котором было напечатано заявление Советского правительства в связи с убийством в Германии Розы Люксембург и Карла Либкнехта.

«Пролетарская Латвия скорбит...»

Затем несколько дней больных волновали вести из разных краев Латвии. Они словно сами участвовали во всех демонстрациях и митингах, посвященных памяти вождей спартаковцев.

Навещавшие Грумслиса и Карклиня будоражили палату. У больных подскакивала температура. Врач и сестры попрекали их. Больные соглашались: плохо это, мол, плохо. Но разговаривать продолжали. И ждали посетителей.

Ждал и Екаб Гробинь. Очень ждал.

И вот в самом конце января в один из приемных дней в палату вошла блондинка в гимнастерке стрелка, с красными от мороза, как у осеннего яблока, щечками.

— Здравствуй, Екаб!

12. «ТЫСЯЧА КЛЮЧЕЙ, КАЗАЛОСЬ, БЬЕТ И КЛОКОЧЕТ...»

(Я. Судрабкалн)

— Только что созданная латвийская опера, гражданин президент, заявляет о себе большой музыкальной постановкой, очень сложным произведением Вагнера! — сказал шведский дипломат.

— Латышским артистам это вполне по силам. К вашему сведению, гражданин консул, латышская оперная труппа существует не первый год, лишь объективные причины, пренебрежительное отношение буржуазного общества к искусству не давали ей расти. Но трудовая Латвия твердо решила покончить с провинциализмом и в области духовной культуры, — ответил Стучка.

— Похвально, похвально. Страна, которую я имею честь представлять, как я уже говорил, считает, что правительство Советской Латвии придерживается разумной, реалистической политики, и поэтому мы надеемся, что оно не изберет себе резко выраженных политических форм...

— Начинать наш разговор снова я не считаю нужным, — перебил его Стучка. — Вопрос об имуществе иностранцев правительство Латвии пересматривать не собирается. В Советском государстве все средства производства подлежат национализации, независимо от того, подданные какой страны хотели бы считать их своими. Вы напрасно надеетесь, что в Латвии мог бы утвердиться «социализм» шейдемановской Германии, какая-либо форма капиталистической собственности... А теперь я в самом деле не смею больше задерживать вас...

Этот разговор Стучки со шведским консулом чисто дипломатическим назвать, правда, нельзя было. Уж очень он был откровенным, — не менее, пожалуй, чем с уполномоченным Виннига перед отъездом того в Берлин. Точку зрения нашего правительства я вам, мол, сказал... Хотя шведский консул и признал то, что официально его правительством отрицалось в самой категорической форме, а именно: что на Эстонском фронте против Красной Армии, против латышских стрелков воюют завербованные в Швеции и Дании наемники. Если бы Стучка поддержал начатый непринужденный разговор с краснощеким шведом в пасторском сюртуке, то, быть может, этот барон признал бы также, что судно неизвестной принадлежности, из-за которого Советское правительство Латвии через посредничество Москвы выразило протест правительствам Швеции, Финляндии и Англии (оно пыталось высадить в красном Вентспилсе десант и обстреляло город с моря), принадлежит шведскому королевскому флоту.

Если бы Стучка не был так резок. Но он хотел послушать «Летучего голландца», которым открылся латышский советский

оперный театр и на первое представление которого ему не удалось попасть. Не позволила занятость. Неимоверная занятость.

Четырнадцатого января в Риге стало известно о критическом положении на Эстонском фронте, где наступали эстонцы, финны, шведы, которых английские суда снабжали боевыми припасами и «добровольцами». Надо было срочно позаботиться о поддержке советских войск. Бороться с голодом и добиваться все новых социальных преобразований. С момента закрытия Вселатвийского съезда Советов Петерис Стучка лишь редкую ночь не дежурил у телефона, не ждал соединения с Москвой, Петроградом, Украиной. Мощность радиостанций Советской Латвии ограничивалась радиусом действия в пятьсот верст.

Происходила постоянная социалистическая организация промышленности, рыболовства и сельского хозяйства. Трудящихся всех отраслей надо было привлечь в производственные союзы, мобилизовать массы на борьбу с бюрократами, с чуждым советским идеям чиновничеством, с тайными саботажниками и вредителями. Надо было думать о расширении и идейном сплочении рядов партии. И серьезно спорить с представителями централизованных учреждений Российской Федерации. С теми, кто своевольно распоряжался. А повлиять на них мог только личный авторитет членов ВЦИКа Ленцманиса, Розиня, Данишевского, Берзиня или Стучки. И в то же время социалистическому переустройству Латвии всячески мешали тянувшиеся из прошлого недоброжелательные руки. Для ознакомления с разработанным под руководством Себалда Рутгерса проектом строительства Даугавской гидроэлектростанции у острова Доле эксперты Государственного координационного комитета потребовали срока в шесть месяцев. Для номинальной проверки. Приехав в конце января в Москву, Стучка благодаря вмешательству товарища Свердлова добился того, что комитет расчеты проверил за одну неделю. Проверил и, не будучи в состоянии ничего другого возразить, вынес весьма странное решение: «Риге столько электроэнергии не требуется». (Они знают!) Опять пришлось беспокоить товарища Свердлова. Казалось бы, по совсем несложному делу... И другое такое же простое дело. Без его, Свердлова, секретаря Центрального Комитета партии и председателя ВЦИКа, указания люди, ведающие финансами, никак не находили времени, чтобы перечислить необходимые правительству Латвийской республики денежные средства.

В театр Петерис с Дорой шли пешком. И хотя идти было недалеко, Дора в гардеробе, когда они сдали пальто, словно невзначай, словно поправляя мужу волосы, коснулась его лба — не вспотел ли, пока шел сюда («Врачи обеспокоены твоими приступами физической слабости!..»).

Их места находились на левой стороне зала, в крайней ложе.

У Стучек повелось так еще в молодости — в театрах они всегда держались подальше от остальной публики. Чтобы им не мешали наслаждаться спектаклем.

— Вот мы и пришли, — сказал Петерис, садясь рядом с женой и одергивая рукава пиджака. Много лет ношенный выходной костюм сильно сел (Дора говорит: «Ты из него просто вырос!»). — Посмотрим, как наши певцы справятся с Вагнером. «Летучий голландец» ведь создан композитором в годы его мятежных исканий. Тогда он примкнул к радикальной группе «Молодая Германия», восхищался польскими революционерами — Сераковским, Калиновским, Домбровским.

— И задумал написать оперу, главным героем которой был бы вождь итальянских народных масс, борющихся с феодальной тиранией. Оперу «Риенци» Вагнер начал писать в Риге, когда служил дирижером в местном оперном театре. Как видишь, из твоих лекций по истории музыки я не все забыла, — ответила Дора.

— Чтобы еще освежить память, ты могла бы вспомнить и о «непрерывной мелодии» Вагнера, о его теории звуковых потоков музыки, особенно оперы,— шутил Петерис. Своей могучей фигурой он закрывал от взглядов окружающих ссутулившуюся на стуле жену, которая за годы войны и революции словно стала еще миниатюрнее.

Зрители быстро заполняли оперный зал. Солдаты и рабочие шли толпами, совсем как в послеоктябрьские дни в Петрограде на концерты Федора Шаляпина и других знаменитостей русской сцены. Среди зрителей много женщин в форменной одежде и, конечно, много молодежи. По всей видимости, школьной или же из слушателей разных курсов. Как повсюду, молодежь шумлива, ей все известно о предстоящем спектакле.

— ...Бенефелде будет петь, говорю тебе! И Жубит с Кактынем... Из молодых — Мауринь и Тунце... — переговаривались они через ряды.

Отзвучал третий звонок. Медленно, лениво гаснут люстры. В центре серо-зеленого занавеса ложится большой световой круг.

Багрово-оранжевый, точно диск месяца над южной степью. И на фоне этого круга появляется стройный осанистый мужчина с высоко поднятой головой. Заведующий отделом искусств Комиссариата просвещения — писатель Андрей Упит.

— Товарищи зрители... — Он рассказывает, почему пролетариям надо послушать оперу немецкого композитора «Летучий голландец».

В эту минуту чья-то рука сзади коснулась плеча Петериса.

— Товарищ Стучка, — прошептал товарищ военного комиссара Томашевич. — Фон дер Гольц собрал в Лиепае большие немецкие контрреволюционные отряды. Наш курземский фронт под угрозой. Необходима всеобщая мобилизация. Мы

подготовили декрет и проект постановления. Есть текст приказа Военного комиссариата. Наступая на севере, эстонцы...

— Наступают не эстонцы и обороняются не латыши,— с раздражением ответил Стучка и встал. — Наступают силы международной реакции...

* * *

Съезд Союза Коммунистической трудовой молодежи происходит в зале Дома Советов, который в разговорах, а порою даже в документах все еще называют по-старому: Рыцарским залом. Должно быть, потому, что со стен бывшего собрания феодалов все еще не убраны гербы изгнанных «сиятельств» и «светлостей». Жестяные щиты расписаны эмблемами древних и знатных баронских родов Вольфов, Пихлавов, Штернбергов, Бистрамов и черт знает каких еще. На гербах волчьи, лисьи и кабаньи морды, пасти, лапы и когти, средневековые рыцарские шлемы, копья, мечи, стрелы вперемежку с символами власти владетельных господ — цепями, плетями, виселицами, орудиями пыток. Многие дворянские гербы задрапированы красной материей, закрыты алыми полотнищами, на которых сверкают золотом революционные лозунги. Но большинство эмблем все еще доступно для глаза.

Итак, сегодня, двадцать восьмого февраля, в Рыцарском зале открывается Первый съезд Союза Коммунистической Трудовой Молодежи.

Сознательную, по-боевому организованную молодежь Советской Латвии представляют тридцать шесть делегатов. Их избрали 812 комсомольцев. Слишком мало. Слишком мало для таких городов, как Рига, Даугавпилс, Валмиера, Вентспилс и другие, слишком мало для сотен волостей. Хоть это и понятно. Часть политически мыслящей молодежи добровольно вступила в ряды Красной Армии и уже принята в коммунисты или сочувствующие, остальные для организации еще не созрели. Немецкая оккупация в Курземе длилась три года, любые общества были запрещены. И, кроме того, даже в наиболее развитых в культурном отношении округах Курземе и Видземе, не говоря уже о неграмотной Латгале, еще сильна патриархальная тирания отцов. «Посмей хоть шаг сделать в сторону этих богохульников и греховодников!..»

«Восемьсот двенадцать организованных молодых людей — это все же намного больше, чем десяток-другой прогрессивно мыслящих студентов и школьников в пору «Нового течения», когда наше революционное движение только зарождалось»,— думал Петерис Стучка, слушая вспыхнувшие в начале съезда споры: давать или не давать право голоса делегатам, которые состоят в организации меньше шести месяцев (а Латвия

освобождена-то лишь два месяца тому назад), называться ли съезду — съездом трудовой молодежи Коммунистической партии или же трудовой молодежи социал-демократии Латвии, ведь формально партия большевиков Латвии еще коммунистической партией не называется.

«Скоро вместо восьмисот двенадцати их будет восемь тысяч. Молодежь Латвии ведь не утратила самого яркого признака молодежи — стремления к росту, как в силе, так и в количестве, стремления преодолевать трудности»,— продолжал он начатую мысль, усевшись в сторонке и наблюдая, как делегаты принимают приветственные речи, как молодежь откликается на призывы овладевать коммунистической теорией, выпалывать из сознания подростков сорняк мелкобуржуазного социализма, пассивное отношение к общественной жизни, как на них влияет услышанное о положении на фронтах... «Империалистический мир ведь избрал главным направлением для наступления на российский и международный пролетариат самый выгодный теперь для себя в коммуникационном и политическом отношении фронт — северо-запад России, территорию Прибалтики».

На местах для гостей Стучка заметил Екаба Гробиня. Болезненно бледного, слабого и все-таки того же, так хорошо знакомого, упрямого Екаба.

В перерыве Стучка увидел Гробиня, окруженного большой группой делегатов. Екаб, жестикулируя, рассказывал обступившим его ребятам о борьбе с контрреволюционерами. Когда Стучка подошел к Гробиню, Екаб, улыбаясь, сказал:

— Вы, товарищ Стучка, своего обещания не забыли? А я уже было отчаялся повидать вас.

— Почему же это?

— На дверях вашей канцелярии ведь вывешено объявление, что вы по личным делам не принимаете.

— Не принимаю, если приходят с личными, обществу не нужными разговорами. Не думаю, чтоб красный стрелок Гробинь стал тратить время на пустую болтовню. — Он обнял Екаба за плечи.— Рассказывайте! Рассказывайте, как живете и что теперь делаете? Кажется, вы болели?

Екаб рассказывал неохотно, скупо. О Поворине, о поездке в Двинск и Ригу. О выстреле из-за двери барончика Эйжена Кнута или как его там. О потерянных в больнице, украденных у жизни неделях. И о только что полученном назначении в красную милицию.

— Значит, теперь вы в Риге? Отлично! В таком случае перед вами открываются большие возможности.

— Большие возможности?

— Учиться, получить образование. В университет Советской Латвии принимают каждого, кто хочет учиться. Нашему государству срочно нужны инженеры, агрономы, врачи, учи-

теля. Поэтому каждый большевик должен учиться. — Он не сказал, что учатся и старые партийцы, члены Центрального комитета, учатся на семинарах пропагандистов. — Республике нужны специалисты во многих и разных отраслях. О строительстве электростанции у острова Доле вы, должно быть, уже слышали? Она, видимо, станет наиболее значительной народнохозяйственной стройкой за всю историю Латвии. Надо срочно строить торфяные заводы. И в недалеком будущем — вместе с Российской Федерацией, с Белоруссией, Украиной — соединить каналом Балтийское и Черное моря, создать удобный и дешевый водный путь по Даугаве и Днепру. У Латвии есть все предпосылки для того, чтобы стать образцовой социалистической коммуной.

— Это было бы великолепно! — у Екаба загорелись глаза.— Только... товарищ Стучка, вы, может быть, не знаете, что сейчас повсюду идут слухи...

— Контрреволюция не была бы контрреволюцией, если бы, нападая на социализм, не прибегала и к распространению слухов. Но этого не надо бояться. Смело учитесь, товарищ Гробинь! И хотя в «Цине» сообщали, что университет принимает студентов только до двадцать шестого февраля, таким, как вы, не откажут.

Они простились, ушли каждый в свою сторону. Но слова Гробиня о слухах Стучка запомнил. И когда он докладывал делегатам о текущем положении, то борьбе с политическими слухами уделил на этот раз внимания больше, чем обычно.

— ...Как мы видим на примере России, победа социалистической революции вне сомнения, но большинство европейских социал-демократов еще не осознали, что человеческое общество уже разбилось на два больших лагеря...

Последние речи белогвардейского генерала Краснова и Ллойд Джорджа убедительно доказывают, что революция развивается невероятно быстро.

Краснов на совещании представителей своих войск подчеркнул, что большевики путем агитации успели дезорганизовать Донскую армию, и признал, что союзники при положении, которое создалось у них дома, не могут оказать более широкую помощь правительству донского казачества.

А Ллойд Джордж в одной из своих речей сказал, что о вмешательстве во внутренние дела России не может быть и речи — такое вмешательство однажды уже обошлось в огромную сумму. Большевистская армия с каждым днем растет. Большевизм грозит наводнить весь мир. Надо предпринять все меры, чтобы предотвратить это. Между Россией и великими державами Западной Европы необходимо создать маленькие буферные государства, а Россию пригласить на мирные переговоры.

Из страха перед русской революцией о Советском правительстве распространяются самые нелепые слухи, прибегают

к самым отвратительным средствам оболванивания масс. Но поможет ли это? Глава английских империалистов Ллойд Джордж даже не решился выехать в Париж, потому что по Англии прокатилась невиданная волна забастовок.

Стучка закончил свой доклад последними радиограммами о событиях за границей и обратился к съезду с призывом:

— Мы должны бороться. Нам некогда колебаться.

Во время перерыва вечернего заседания Стучке случилось идти через вестибюль, где кучками топталась молодежь. В какой-то группе по-русски распевали пародию на не раз упомянутых антисоветчиков — на английского премьера Ллойда Джорджа и французского маршала Фоша. На мотив популярной американской песенки «Джон Браун»:

Ллойд Джордж щелкнул Фошу в рожу один раз,
Ллойд Джордж щелкнул Фошу в рожу один раз
И уехал в Вашингтон...

* * *

Когда счетная комиссия вынесла урну с избирательными бюллетенями в смежное помещение и председательствующий на заседании Шестого съезда партии объявил перерыв, Петерис Стучка вышел в вестибюль и опустился на скамью. Он очень устал. Словно эти пять дней партийного съезда он провел в беспрерывном форсированном марше. Дискуссии были крайне резкими, «левые» нападали на Центральный комитет ожесточенно и демагогично (мол, Центральный комитет работал совершенно неудовлетворительно. Борьба никогда не велась на нужном идейном уровне). После «левой» критики многие члены Центрального комитета и правительства заявили Стучке о своем уходе с занимаемых постов. Ему с большим трудом удалось убедить обиженных товарищей в том, что из-за нескольких десятков буйных «левых» не должно страдать дело социализма.

В вестибюле и зале, куда настежь открыли толстые филенчатые двери, дымя самокрутками, расхаживают или толпятся делегаты Шестого съезда: поседевшие на партийной работе пропагандисты, рабочие, стрелки, крестьяне, комсомольцы. Многие из них на таком ответственном собрании присутствуют впервые.

Защитники разных точек зрения не перестают толковать товарищам о правильности своих мыслей. Один припоминает прочитанную когда-то в партийной печати статью, другой приводит случай из истории борьбы пролетариата, оправдывающий неизбежность более резкой партийной политики («Если батраки имения, в которых мы организуем советские хозяйства, не хотят отказываться от личной коровки, поросенка, курицы, то к лешему таких! Их место займут другие!»).

Большинство держится совершенно противоположных взглядов: Советской Латвии необходима гораздо более либеральная хозяйственная политика («Надо объявить свободную торговлю сельскохозяйственными продуктами. Пускай крестьяне, сдавшие коммуне полагающуюся норму зерна, свободно продают излишки»). Обособленным кружком толкуют еврейские товарищи, поднимая свои особые, национальные, спорные, с точки зрения пролетариата, вопросы («Требования буржуазии относительно еврейских религиозных школ, конечно, неприемлемы, но отказываться от еврейских учреждений социального обеспечения и своей профсоюзной печати все же не следовало бы»).

Споры сейчас уже не так горячи, как недавно в зале съезда, когда делегаты путем голосования еще не дали оценку работе Центрального комитета. Политическую и практическую деятельность партии съезд огромным большинством голосов признал правильной. Значит, выдвинутая и предложенная Центральным комитетом программа строительства социализма нашла поддержку абсолютного большинства коммунистов Латвии. И нельзя сказать, чтобы делегаты, поднимая руки, подчинялись каким-либо рекомендациям или нажиму со стороны старших, более опытных товарищей, о чем обычно звонят ниспровергатели ленинизма. По каждому вопросу повестки съезда делегаты голосовали «за» только после того, как сами разобрались, что к чему. Раскрывая недостатки и промахи, товарищи требовали, чтобы всюду были поставлены точки над «и». Только в таком существенном вопросе, как построение армии Советской Латвии, «оппозиция» добилась компромиссного решения. Впредь коллективно избранные комитеты стрелков будут контролировать армию лишь в хозяйственном и административном отношении, а непосредственными военными операциями следует руководить командирам.

Нелегко приходилось с разъяснением национальных своеобразий членов партии разных народностей. Однако в конечном счете съезд недвусмысленно заявил: есть и остается «единая коммунистическая армия рабочих Латвии, без различия национальностей, пола, оружия борьбы и мундира».

Сквозь подвижную толчею делегатов, озираясь вокруг, пробивалась Дора с хорошо знакомой Петерису серой папкой радиограмм и вырезок из зарубежных газет.

— Что-нибудь особенное?— спросил он.

— И нет, и да.— Дора раскрыла папку и принялась перелистывать написанные от руки и напечатанные бумаги, половинки или четверти газетных полос.— Прочти!

«...Оставляя с упорными боями рубеж по Венте, второй и третий стрелковые полки значительно ослабили наступление шестого запасного корпуса немцев...»

«...Первая гвардейская запасная дивизия немцев все еще продолжает теснить части второй стрелковой дивизии Советской Латвии, которые отходят к Паневежу...»

— Данишевский прав: нам больше всего угрожает немецкий фронт. — Тяжело, точно металлическую пластинку, Стучка перевернул телеграмму.— В Курземе надо перебросить полк с Эстонского фронта.

Другое сообщение:

«...21 февраля ландмаршал Лифляндии фон Штрик прибыл из Швеции в Лиепаю с планом создания нейтрального государства Великой Прибалтики, которое было бы связано со Швецией. Во главе такого государства стоял бы магистр ордена».

— Это звучит весьма ободряюще,— повеселел Стучка.— Оказывается, прибалтийское дворянство не очень-то верит во всесилие солдат фон дер Гольца.

Сообщения из Москвы:

«...Первый конгресс Коммунистического Интернационала принял особую резолюцию об отношении коммунистов к социалистическим течениям и Бернской конференции. Осуждая попытки лидеров правых социалистов принять постановление, которым Второй Интернационал покрывает вооруженную интервенцию против Советской России...»

К сообщению с конгресса Коммунистического Интернационала приложена вырезка из французской газеты: письмо бывшего члена французской военной миссии в России, делегата конгресса Коммунистического Интернационала Жака Садуля, напечатанное в газете «Попюлер де Пари»:

«...Антанта натравливает на Российскую республику государства, которые не в силах сопротивляться этому. Производит нажим на Польшу, чтобы та как можно скорее создала армию и бросила ее против большевиков. Антанта пытается повлиять на Прагу... Антанта буквально навязала Финляндии решение начать войну с Эстонской Советской республикой...»

— Меткая статья. — Стучка на какое-то время задержал в руке листок бумаги. — И хорошо, что она появилась в парижской газете. И это все? — спросил он Дору, хоть и сам видел, что в папке больше ничего нет.

— Из того, что на бумаге, — все. Но из Москвы звонил товарищ Гайлис. Наш друг Рутгерс произнес на конгрессе Коммунистического Интернационала блестящую речь. Делегаты уверены, что март принесет социалистическую революцию в Центральной Европе. С часу на час ожидается провозглашение советской власти в Венгрии и Баварии.

— Мартовский норд-ост, Дорочка, мартовский норд-ост революции, — радовался Стучка. — Историческим был март тысяча восемьсот сорок восьмого года, март тысяча восемьсот семьдесят первого, март тысяча девятьсот семнадцатого. Таким же может оказаться и март тысяча девятьсот девятна-

дцатого года. — Последние слова он говорил уже не одной Доре, но и верхнекурземским делегатам, которые подошли вместе с товарищами Арайсом, Пилатом и Ленцманисом.

— Товарищ Стучка, — обратился к нему представитель якобштадтской организации Минкевич, — не возникнет ли путаница при приеме товарищей по новым правилам?

— Не должна возникнуть. В докладе товарища Ленцманиса и в постановлении съезда все ясно сформулировано. Главное — чтобы в Коммунистическую партию Латвии, которая является теперь господствующей партией, не проникли случайные люди, буржуазные карьеристы и другие вредные элементы. Поэтому необходимо, чтобы те, кого мы принимаем в ряды коммунистов, предварительно прошли серьезную проверку. Недостаточно заявления желающего вступить и двух рекомендаций от людей, которые сами состоят в организации больше шести месяцев. И поэтому мы возвращаемся к кружкам по месту работы, к первичным партийным ячейкам. — Стучка удивлялся, как это Минкевич, такой знающий товарищ, не понимает самых простых вещей. И почему он молчал на съезде.

— Я не об этом, — откашлялся Минкевич. — Я имею в виду принятие уже рекомендованных кандидатов. У нас в Якобштадте, Экенграве, Дигнае перед партийными квартирами вывесили для всеобщего сведения списки с именами людей, желающих стать большевиками. Вывесили еще до съезда социал-демократии Латвии, единогласно названного теперь съездом Коммунистической партии. А что получится теперь? Мы, делегаты, приедем домой и объявим: уважаемые товарищи, теперь в организации другие правила приема. Действуйте через кружок, по месту своей работы. Справедливо ли это?

— Съезд — верховный орган партии.

— Верховный, правда. Но справедливо ли поступать так с людьми, которые захотели пойти в партию раньше, чем этот верховный орган сказал свое слово? Товарищ Стучка, товарищ Ленцманис, товарищ Пилат, неужели мне говорить вам, как мало у нас на местах партийцев? В то время как в России в некоторых губернских городках в партию принимают по нескольку тысяч человек сразу.

— В самом ли деле по нескольку тысяч сразу? А если и принимают где-нибудь в порядке кампании, то это не должно служить для нас примером. В партию, как очень правильно решил только что съезд, можно принимать лишь с тщательным отбором. Потому что член партии представляет советскую власть в том месте, где он работает, живет. Уже с давних пор у нас в Латвии повелось видеть в коммунисте человека, произносящего крайне радикальные речи. В то время как не все, что радикально на словах, бывает таким на самом деле. Словесный радикализм порою приводит к противоположным результатам.

«Обо всем этом нам надо больше и шире писать в печати,— решил про себя Стучка. — Надо обсуждать вопросы теории и практики коммунизма. Если для товарищей после принятого съездом решения еще столько остается неясным, то для настоящего революционного переворота мы, видимо, еще слабо подготовлены. Надо смело говорить и о некоторых искажениях в социализации сельского хозяйства. То, что личную скотину батраков имения сгоняют в общие хлева, — о чем говорили и делегаты уездных организаций, — резко противоречит основным принципам марксизма. Разве Энгельс не говорил: крестьянина надо вовлекать в социализм не принуждением, а примером. Крестьянина. А как мы обошлись кое-где с батраками?

И совершенно неверно считать отданные крестьянам в долговременное пользование сельские усадьбы «арендованными хозяйствами».

— Товарищ Стучка, — подбежала Марта Крустиньсон. — Москва. На прямом проводе Москва. Секретариат товарища Ленина. Это, должно быть, в связи с нашим срочным запросом. Вот, пожалуйста. А тут подписанный делегатами текст протестующего решения съезда.

Стучка берет листы с напечатанным крупным машинописным шрифтом текстом. Протест против приказа начальника главного штаба Северного фронта Рателя, комиссара того же штаба Сарманова и комиссара Западного фронта Алибегова, которым они отменяют для трех уездов Латгале объявленную правительством Советской Латвии мобилизацию в Красную Армию. (Нет постановления центрального правительства России о включении Люцинского, Режицкого и Двинского уездов в состав Латвийской республики!)

«Отмена мобилизации в это чрезвычайно критическое для Советской Латвии время является преступной...» — записано в решении съезда.

* * *

Митинг на лесопильном заводе Клеменса начинался в атмосфере явной подавленности. В сарай длиною саженей в шесть, где еще как следует не осела опилочная пыль, а планки и доски пахнут вымачиваемым деревом и ослизлой водой, рабочие собираются медленно, друг другу наступая на пятки: рассаживаются на станках, вагонетках, приваливаются к штабелям древесины. Те, что оказываются поближе к ораторской трибуне, сколоченной из досок для ящиков, едва заметно кивают Стучке и лишь отдельные подходят к нему и здороваются за руку.

— Не поймите нас превратно, товарищ Стучка, — говорит председатель фабричного комитета, человек с продолговатым скуластым лицом. — Люди сильно подавлены.

— Их можно понять... падение Елгавы... налеты немецких аэропланов на Ригу, расстрел с воздуха похоронной процессии.

— Это еще ничего. Наши к войне привыкли. Плохо, что Елгава опять в руках немцев, а события на других фронтах... Но нас больше всего изводит голод. За месяц ни одного фунта хлеба не получили. Это с середины марта.

— А производительность труда за это время снизилась больше, чем на двадцать процентов, — подошел другой комитетчик — бородатый великан с болезненно воспаленными глазами. — Рабочие тащат досок больше, чем могут сами взвалить на себя.

— Люди хворают, товарищ Стучка. От голода хворают. Подносчики натирают себе плечи даже под хорошо набитыми подушечками. Потрескавшаяся кожа не перестает гноиться. Совсем как от скверной болезни. Для тех, кто животом страдает, мы специальную будку сколотили. Только какая от нее польза? Известки нет. У спекулянтов есть, так купи у них! За фунт гашеной извести черт знает сколько сдирают.

— Сдирают, — соглашается Стучка. — Видят, что мы либеральничаем с ними, паразитами и стяжателями. Спекулянтов в Латвии, к сожалению, немало и видов спекуляции тоже. И вампиры разного калибра, присосавшись к трудовой коммуне, тем больше наглеют, чем труднее приходится Советской республике в борьбе с внешними врагами.

Наверное, главе правительства Советской Латвии так говорить не следовало бы. По крайней мере, откровенно признаваться в бессилии пролетарской власти оградить тружеников от спекулянтов.

Но власть рабочих не была бы властью рабочих, если бы скрывала правду и не говорила откровенно о трудностях и тогда, когда трудности эти, по сравнению с масштабными успехами построения социализма, могли бы показаться мелочами. Мелочами...

Позавчера, вчера, сегодня утром, перед тем как направиться сюда, Стучка и его товарищи были заняты улаживанием такой кажущейся мелочи. Искали сто фунтов авиационного бензина. Не вагон, не цистерну, а всего лишь сто фунтов. Об этой мелочи он, глава правительства республики, по телеграфу сообщил Ленину. Мелочь, справиться с которой не по силам республике. Парадоксально, но это так.

Шестнадцатого апреля в Лиепае, по распоряжению командующего войсками немецких интервентов фон дер Гольца, германские майоры и прибалтийские бароны свергли правительство Ульманиса и сфабриковали вместо него другое — кабинет пастора Андриева Ниедры. Это взволновало инертные мелкобуржуазные слои в Курземе. Взволновало и солдат ульманисовских рот. Они взялись за оружие. Пробравшиеся через

линию фронта в Ригу товарищи сообщают о нападениях на баронские дома, об обстреле частей Железной дивизии. Возникла благоприятная обстановка для массового народного восстания — если своевременно оказать помощь отмобилизованным Ульманисом солдатам и дать населению определенные боевые лозунги. (Лиепайские революционные рабочие только и ждут, чтобы взяться за оружие!) Правительство Советской Латвии, Центральный комитет партии напечатали воззвание к нижнекурземскому населению, находящемуся за линией немецкого фронта: «Объединяйтесь с нами в войне против немецких банд Гольца! Будем бить интервентов с двух фронтов! Мы гарантируем неприкосновенность всем тем, кто будет бороться вместе с восставшим народом».

Воззвание следовало бы срочно разбросать с аэропланов по ту сторону линии фронта. Чтобы сделать начало! А на пути — мелочь. Аэропланы Советской Латвии не могут летать — нет ни унции горючего. «Единственная возможность достать бензин — это скупать его по фунту у спекулянтов, за баснословные деньги...» — телеграфировал он, Стучка, Ленину. Авиационного горючего в Риге все еще нет. А в Лиепайском уезде против фон дер Гольца, против его подручного барона Мантейфеля стихийно восстали «маршевые отряды» и сочувствующие им, но им одним несколько недель не продержаться.

— Как будто пора начинать митинг. Кажется, все в сборе: и подносчики, и складские, — сказал председатель профсоюзного комитета.

— Начнем, — согласился Стучка.

В сарае собралось человек триста. Заняты почти все пригодные для сидения места. Даже груда стружек у средних дверей, в которые ветер швыряет моросящий дождь.

— Товарищи! Советская Латвия сейчас переживает критическое время, — начал он с суровой правды.

Он говорит о тяжелых потерях армии в Курземе. О боях с дивизиями фон дер Гольца, с хорошо обученной, образцово вооруженной армией, насчитывающей пятнадцать-шестнадцать тысяч солдат, нажиму которых не смогли противостоять несколько тысяч измученных стрелков и плохо подготовленных новобранцев. Талси, Сабиле, Кандава, Тукум, Бауска опять оказались под баронами. И Елгава. Падение Елгавы, как хорошо известно товарищам, вызвало панику среди многих служащих советских учреждений и военных. Некоторые военные специалисты, по соображениям выравнивания фронта и другим, уже было хотели добровольно отдать Ригу.

— Контрреволюционеры!.. Под трибунал их!

— Контрреволюционерам трибунала не избежать. Как и маскирующимся врагам Красной Армии. — Стучка приосанился. — Только запомните, товарищи, одно: кроме прямых врагов диктатуры пролетариата, число которых не следует пре-

увеличивать, есть еще много малодушных, запуганных неожиданными трудностями. Среди военных тоже. Среди тех, кто не привык воевать в столь трудных условиях. Красноармейцу, чтобы воевать, надо есть. Но — не стану скрывать от вас — фронт продовольствием обеспечен плохо. В первой дивизии были случаи, когда переутомленные, полуголодные стрелки не могли устоять на постах. Правительству республики не раз приходилось отдавать хлеб, предназначенный для рижских рабочих, бойцам.

— И так будет и впредь? — крикнул кто-то из сидевших на вагонетках.

— Не должно быть. В республике сравнительно хорошо идут дела с весенним севом. А до нового урожая у нас есть надежда получить хлеб с Украины. Взамен на наши промышленные, в том числе и лесопромышленные, изделия. Мы направили на Украину ответственных товарищей из Комиссариата по продовольствию, они делают все возможное там, где страна тоже опустошена войной.

Уже прибыли первые вагоны с хлебом, в пути еще пять составов примерно с тремястами тысячами пудов. В Двинск уже прибыло двадцать восемь вагонов с зерном, присланным Военно-революционному комитету латвийской армии в виде подарка стрелкам от их товарищей по оружию на Южном фронте, из Девятой армии.

Продовольственные трудности, товарищи, временны. С ними нужно бороться, но при этом не надо забывать самого главного: мы должны разгромить врага в Курземе и Эстонии. Немцев, белофиннов, белогвардейцев и белополяков, которые в последнее время рвутся через Литву к Двинску. Приход белых обозначал бы возвращение к прежнему рабству. Но на это, я думаю, никто из нас добровольно не пойдет.

— Клеменсовцы уж ни в коем случае! Потуже затянем ремни и будем держаться до последнего!

Теперь отозвались уже не отдельные рабочие, а вся толпа.

— Центральный комитет партии, правительство Советской Латвии ни минуты в этом не сомневались.

Стучка обождал, чтобы улеглось общее оживление, и перешел к вопросу о возникшем недавно внутреннем фронте борьбы: о деятельности эсеров.

Вокруг газеты «Уз прикшу» свился клубок из групп мелкобуржуазных социалистов, обывателей, недоброжелательно настроенных к интернациональному делу. Используя создавшееся положение, то, что почти все способные носить оружие рижские коммунисты ушли на Курземский фронт, эсеры вместе со случайными попутчиками поднялись в наступление против Коммунистической партии. Эсеры стараются захватить в свои руки комитеты производственных союзов. Кое-где им это удалось. И там они, прикрываясь авторитетом коллектива,

пытаются мешать социалистическому плановому хозяйству, снабжению и распределению продуктов — в угоду мелкобуржуазной стихии, мелкобуржуазному анархизму.

Только что эсеровская оппозиция обнародовала воззвание, выступила против политики Коммунистической партии, социалистического строительства. Слово партия, то есть Коммунистическая партия, они употребляют в презрительном смысле. Кому в столь критическое для Советской Латвии время, собственно, служит такая кампания?

После митинга на лесопильном заводе Клеменса Петерис Стучка выступал еще на собраниях портовых рабочих и рабочих завода Феникса.

— После того как угнетенные массы увидели выход — пускай через голод и лишения, — ведущий к новому, справедливому строю, никакими средствами не преградить путь к социализму.

Вечером в Доме правительства работники секретариата и Дора разложили перед ним ворох известий. Скверных известий.

...Бензина для аэропланов еще нет... У командования фронтом, правда, есть распоряжение Москвы, однако...

...Контрреволюционные армии Колчака в Сибири развивают наступление.

...Белополяки стремительно рвутся по Верхней Литве к Двинску.

...Шведский консул настойчиво требует разрешения на вход в Рижский порт кораблей с русскими военнопленными, возвращающимися из Франции, и несколькими сотнями иностранцев из Швеции.

...В Малиене, в бывшей цитадели большевиков, вспыхнули волнения сельскохозяйственных рабочих. Из-за коров и мелкого скота, которых не разрешают держать в советских имениях. Это дело рук буржуазной контрреволюции.

...Штаб Троцкого выступил с решительным протестом против назначения в Военно-революционный комитет представителя республики. В Латвии, мол, процветает буржуазный национализм. Армию делят на латышские и русские части, латышей будто снабжают всем необходимым, а остальных нет...

— Есть и лучшие вести. — Дора разложила перед ним несколько телеграмм. — Товарищ Берзинь уже поздравил из Москвы от имени Советской Латвии вновь провозглашенные Венгерскую и Баварскую республики. Товарищ Берзинь, вопреки всем препятствиям, надеется доставить Райнису и Аспазии постановления правительства и Центрального комитета о присуждении им пенсии за заслуги. И в вопросе о заложниках Владимир Ильич согласился с точкой зрения председателя латвийского правительства. Немецких заложников надо сохранить в интересах социализма.

— Надо надеяться, что ответ Ленина отрезвит некоторые горячие головы,— улыбнулась Дора. — Один из них терроризировал нас тут чуть ли не полдня. Требовал выдать для расстрела привезенные из Елгавы баронские семьи и взятых в Риге немцев. Партия, мол, не допустит, чтобы скудные припасы продовольствия трудящихся скармливались заложникам.

* * *

— Послушай, Петерис, у меня сильное подозрение, что ты страдаешь бессонницей. Который теперь час? Без четверти два... Ну вот! Всю прошлую ночь у тебя в комнате тоже горел свет. Я несколько раз ходила мимо твоих дверей, а лампа все горела.

— Всю ночь горела? — Аугуст Берце, заменяющий на время болезни Яунзема, секретаря Центрального комитета и правительства, изобразил на лице крайнее удивление. — Какая бесхозяйственность! Зря сжигать столько керосину! Сон от тебя бегает, Петерис, — говорил он уже серьезно. — Тебя охватила незнакомая до сих пор тревога. Меня тоже ни в тюрьме, ни в эмиграции, в английских шахтах, ни в немецком концентрационном лагере не грызло такое беспокойство, как теперь. Иду я недавно с бюро по улице. Кругом пустота и тишина, точно перед грозой. Кромешный мрак, только на бульваре кое-где в газовых рожках фонарей тускло горят кошачьи глаза. Если бы временами не попадались патрули, можно было бы подумать, что Рига оставлена. И тогда мне вспомнилось совместное заседание Центрального комитета и Рижского комитета двадцать шестого марта. Данишевский и Славен сцепились с командующим Рижским фронтом Авеном, который все твердил: если хотим спасти армию, то надо сдать Ригу. И тогда Данишевский и Славен решительно воспротивились этому, а ты доказал военным специалистам, что со сдачей Риги рухнет вся политическая и организационная работа и несравненно труднее или просто невозможно станет бороться за пределами Латвии.

— А Данишевский, Ленцманис и Карклинь сказали, что даже в том случае, если бы нам пришлось пожертвовать всей армией, Ригу надо защищать в интересах фронта всей России, — вставил Стучка.

— В тот день мы Авена одолели, — продолжал Берце. — Его отстранили. Но новый командующий обороной Риги уже ничего изменить не мог. Командование и штаб Авен Мангулису не сдал. Никто из штабистов Авена к новому командующему не перешел. Связи между частями советских войск еще не установлены. Предпринятое на скорую руку контрнаступление, чтобы вернуть Елгаву, оказалось безуспешным. И в штабах сидят саботажники, даже вредители. Мобилизованных контр-

революционных офицеров и унтер-офицеров в рабочие команды не зачислили. Чересчур поздно мы догадались передать военное командование Военно-революционному комитету, товарищу Данишевскому. Опоздали и с заменой руководства армии республики, не заставили заменить раньше присланного Троцким «специалиста» опытным флотским командиром гражданской войны Зиединем. Куда более решительный отпор надо было дать разным пустозвонам, революционерам в кавычках, которые хотят за один день построить стопроцентный коммунизм...

— Ты совершенно прав, — Стучка осторожно, словно больное место, тер виски, лоб. — Совершенно прав. Кто знает, быть может, через какое-то время объявившие себя непогрешимыми людишки поднимут вокруг наших ошибок — мнимых и действительных — шум еще больший, чем эти немногие товарищи на Шестом съезде. Есть такие партийцы, которым хотелось бы слышать непрерывные победные фанфары. Но фанфары порою сменяются сигналами к отступлению. И тогда сразу бросаются искать виновных: оппортунистов, невежд и еще невесть кого. Не удивлюсь, если это произойдет и после нынешнего кризиса. Но...— он глубоко вздохнул,— я ручаюсь за себя, за товарищей: если мы в своих попытках и ошибались, заблуждались, то все же всегда оставались верны своим коммунистическим идеалам, и тут нас ни в чем обвинить нельзя.

* * *

— Вот увидишь, я окажусь правым! Обстрелять майскую демонстрацию бароны не посмеют. Вальпургиева ночь контрреволюции в средней Европе идет к концу, небо уже розовеет от зари Великой социалистической революции. К тому же против варваров Гольца у нас есть убедительное оружие — сотня заложников. Немецкое командование мы предупредили: как только оно попытается бомбардировать Ригу, учинить разбой, заложники будут расстреляны... Ну видишь, Дорочка, не так страшен черт, как его малюют.

Петерис Стучка встряхнул жену за плечи, с шутливой укоризной заглянул ей в глаза, и лицо ее снова посветлело от улыбки.

— Ах ты, большой... ребенок!— ребром узкой ладони Дора смахнула с лацкана его пальто пылинку. — А я, думаешь, не хочу, чтобы это было так?

— Ну, тогда все в порядке.— Он коснулся губами лба жены и поспешил к дверям. До демонстрации он внизу, в вестибюле, еще должен был встретиться с товарищем из Политотдела Рижского фронта.

Что же это за бумажка у него в кармане? Стучка остановился. Забыл вынуть документ? Да нет, это же конспект докла-

да, который он делал позавчера на коллегии пропагандистов. Тут же и вопросы, заданные участниками семинара:

Как готовятся к Первому мая рабочие Англии, Соединенных Штатов, Азии?

Какие у социалистической революции перспективы после победы пролетариата в Баварии и Венгрии?

Как немецкие социал-демократы приняли заявление Клары Цеткин о ее переходе к коммунистам? («Не хочу, чтобы от меня, пока я жива, разило политической мертвечиной!»)

Что нового на Северном фронте, о наступлении Юденича на Петроград? Предприняты ли срочные меры против контрреволюционного бандитизма железнодорожников? Почти у всех вагонов, везущих в Ригу муку, сахар, соль, перегорают оси. Вагоны бросают между станциями, где они расхищаются спекулянтами и вредителями из чиновников.

Обуздает ли белогвардейских подпольщиков выселение буржуев из шикарных квартир на Заячий остров?

Не все товарищи в коллегии пропагандистов настроены оптимистично. Хоть в ней и есть члены рижского партийного актива и события последних месяцев в Европе опять позволяют надеяться на убыстрение мировой революции, сказываются все же саботаж контрреволюционного подполья, диверсии врага и распространяемые им слухи. Особенно после апрельского прорыва фронта в Курземе. И все еще коммунисты республики недостаточно борются со спекуляцией: очень мешают этому пролезшие в советские учреждения предатели из старых специалистов, из царских и оккупантских чиновников, да и товарищи, болеющие местничеством и ведомственным сепаратизмом. Уж очень устойчивы в людях старые привычки, а теперь, при советской власти, это проявляется тенденцией к полной независимости и самостоятельности советских ячеек на местах. Вредная для социализма тенденция.

Но с критическим положением, возникшим после апрельского прорыва фронта, как будто справились. Вредительство штабистов отстраненного командира Авена кризиса не вызовет. Не много времени понадобится трудовой коммуне Латвии, чтоб избавиться и от остальных недугов.

— Товарищ председатель,— со Стучкой по-военному поздоровался стрелок в летней форме.— Политотдел поручил мне передать вам сведения о немецкой агитации.

— Это — о разбросанных в полках листовках?

— О них. И еще вот о чем,— он достал из кармана гимнастерки сложенную в несколько раз бумагу. — На Рижском фронте ребята решили дать сегодня баронам предметный урок контрагитации. Передадут через громкоговорители «Интернационал», выкинут красные флаги. Кроме запрошенных вами сведений тут еще один документ, получен только что из-за линии фронта. — Когда Стучка вскрыл конверт, стрелок улыб-

нулся: — Показания германского уполномоченного господина Виннига о лидерах латышских меньшевиков. Винниг, оказывается, еще до ульманисовщины хотел освободить политических заключенных и попросил людей Мендера просмотреть списки арестованных большевиков. А те ответили ему: пускай коммунисты в тюрьмах остаются.

— Еще один жирный штрих, характеризующий наших доморощенных социал-предателей,— сердито проговорил Стучка.— Не хватает еще только доказательств, что серые социалисты вместе с правительством Ульманиса подписали расклеенный в Талсах приказ: «Расстреливать и вешать всякого, кто поддерживал какие-либо отношения или имел дело с советскими властями».

На Замковой Стучку догнала Марта Крустиньсон. Марта принарядилась, на голове красная косынка. Крустиньсон протянула Стучке пахнущие типографской краской листовки, тексты песен и брошюру довольно большого формата: «Первое мая 1919 года».

— Напечатали, все напечатали!—улыбалась она.—Наборщики добровольно проработали без отдыха двадцать четыре часа.

— Добровольно?

— Добровольно, а как же! Мы объяснили, почему все надо напечатать к утру Майского праздника, и они постарались. Мы их, конечно, премировали. Двумя пачками махорки из выданной на праздник работникам секретариата.

— Ну, смотрите! — Стучка вертел в руках листовки («Пролетарию и пролетарке все еще приходится скорее быть стрелком, чем рабочим. Поэтому надо действовать решительно, беспощадно и без лишних разглагольствований... И не допускать противника к управлению государством...»).

Стучка, читая, искоса взглянул на Крустиньсон. Отчего это она так покраснела? Понятно — перед праздником он, Стучка, на коллегии пропагандистов причислил печатников к рабочей аристократии. Сказал: материально они обеспечены лучше других, и поэтому им ближе социализм мелкобуржуазный, всякие там эсеровские и меньшевистские теории. Но Крустиньсон и ее подруги оспаривали это.

Ну и приятно, что он на этот раз ошибся.

К ним присоединились секретарь правительства Каулинь, комиссар Государственного контроля и ревизии Сукут, Янис Ленцманис, Виктор Крастинь, и все направились через город к Гризинькалну, к месту массовых митингов в революцию Пятого года, откуда начиналась сегодняшняя демонстрация.

Первый теплый весенний дождь умыл обшарпанную за годы войны Ригу. Тротуары и мостовые к празднику тщательно подметены под присмотром милиции буржуями, «фонами» и всякими другими бездельниками. Город, точно цветочными гирляндами, украсился алыми полотнищами и плакатами. На

высоких мачтах плещутся флаги революции. Много декоративных плакатов, изображающих стрелков и рабочих со вскинутыми винтовками, готовых к отражению удара, или баронов с вытянутыми от испуга лицами и переполошившихся буржуйских прихвостней. На площадях временные статуи и бюсты Маркса, Энгельса, Лафарга из папье-маше. Их сделали в мастерских Отдела искусства Комиссариата просвещения.

— А некоторые еще говорят, что Андрей Упит не признает романтической творческой фантазии,— говорил Ленцманис, показывая на временные памятники на площади перед Рижским исполкомом.— Все это дело рук сотрудников упитовского Отдела искусства. Памятники эти очень напоминают виденные на московских улицах и скверах в первую годовщину Октябрьской революции.

На улицах потоки людей, словно в Ригу уже вернулись и угнанные войной, рассеянные по просторам России жители. Куда ни глянешь, вокруг знамен и вымпелов толпы, группы, цепочки одетых по-праздничному людей. Ближние к Гризинькалну улицы до того забиты народом, что на мостовой и на выложенных известняковыми плитами и красными кирпичами тротуарах яблоку упасть негде.

Подходят и уходят демонстранты. Звучат революционные песни, боевые марши Пятого и Семнадцатого годов, походные песни стрелков. В некоторых колоннах — должно быть, советских служащих и работников учебных заведений — поют песни, завезенные с фронтов гражданской войны, они сопровождаются лихим притопыванием. Их усердно подхватывают самые юные демонстранты — подростки, скинувшие в безветренный, теплый день залатанные пиджачки и потрепанные шапки.

И только колонна почему-либо остановится, как сразу начинается летучий митинг. Оратор — пожилой человек с непокрытой головой, работник милиции, женщина в военной гимнастерке или стрелок — с крыльца или забора какого-нибудь дома поздравляет демонстрантов с первым международным пролетарским праздником победы, с праздником победы идей советского строя. Корчится в предсмертной агонии буржуазное общество, власть капитала, мы уже на вершине, с которой во все стороны земного шара налаживаются интернациональные связи, и Третий Коммунистический Интернационал уже протянул руки к знамени грядущих побед. Конечно, положение Советской Латвии еще трудное. Обстановка требует, чтобы каждый делал все, что в его силах. Любой промах, равнодушие, небрежность грозят новыми жертвами, новыми поражениями. В этом мы убедились на примере Елгавы и других городов: их пришлось оставить только потому, что люди усыпили себя, надеясь разбить врага без особых усилий.

Петерис Стучка слушает одного оратора, другого, следит за тем, какой им оказывается прием. И все снова поглядывает

наверх, на солнечное лазурное небо, которое кажется таким чистым, как никогда. Не зарокочут ли с запада, откуда доносится далекий орудийный гул, сеющие смерть птицы с крестовидными крыльями? Подействовала ли на немецкое командование угроза, переданная по радио?..

«Не посмеют... Не посмеют...»

Теперь он смотрит на пестрящие тысячами людей склоны Гризинькална, на выделяющиеся среди штатских группы военных. Какая из них — мобилизованный буржуазией батальон, который в конце апреля под Валкой поднял красный флаг и перешел на сторону Советов, а уже сегодня участвует в майской демонстрации вместе с рижскими трудящимися? Первый отряд белых, перешедший вместе с командирами на сторону Красной Армии.

Петерис Стучка шагает со своими старыми боевыми товарищами во главе праздничного шествия. Через всю рабочую Ригу, к площади Коммунаров. На Александровской к ним присоединяется комиссар кавалерийского дивизиона Фрицис Берновскис, он уже получил последние известия с Рижского фронта.

— На слокском участке раздавшийся из наших окопов «Интернационал» всполошил врага не меньше, чем петушиное пение черта. Бароны ответили пулеметным и артиллерийским огнем. Они думают, что так можно заглушить призыв к мировой революции.

У самой площади Коммунаров, на углу Елизаветинской, шествие ненадолго останавливается.

Петерис Стучка поднимается на ступеньки дома и произносит речь. Импровизированную речь на импровизированном митинге.

— ...Наша борьба еще не закончена. Первое мая мы празднуем с флагом в одной руке и винтовкой — в другой. Но день этот войдет в историю. Предадут огню летописи королей и кайзеров, даже забудутся рассказы о боях, предшествовавших победе Коммунистического Интернационала, но поколения потомков всегда будут помнить день Первого мая тысяча девятьсот девятнадцатого года.

13. «ПРОЛЕТАРИАТ РИГИ И ЛАТВИИ, БУДЬ НАЧЕКУ!»

(Сборник «1 МАЯ»)

— Ты?.. Ты не на лекции? — удивилась Катрина. Екаб ведь должен был быть в университете, на занятиях курса по политэкономии. А он тут на Бастионном бульваре, на лестнице Комиссариата просвещения. — Что случилось?

— А что, собственно, может случиться?

— У вас на курсах сегодня читает лекцию товарищ Эферт.

— Не пошел, — пробурчал он. И чуть ли не силой увлек Катрину за собой. — Идем!

— Так что же, в конце концов, случилось?

— Если не случилось, то случится. Я не потерплю, чтобы ты с этим...

— С кем это?

— Ну, с этим, с усиками и двойными ремнями, что волочится за тобой. Я все знаю. По утрам он тебе, точно барышне какой, норовит дверь открыть, после работы в штаб провожает. Вон уже приперся в своих хромовых сапожках, вертит головой, точно петух. Тебя ищет — куда девалась? — Екаб кивнул на ступеньки дома, на которых вертелся подтянутый военный.

— Екаб, ведь ты не думаешь, что у меня с товарищем Рудзе...

— Мне нечего думать. Уже без меня подумали, — Гробинь плечом подтолкнул Катрину. — Иди скорее...

— Екаб, что с тобой? — Катрина отскочила в сторону. — Ты ревнуешь?

— Если хочешь, так ревную.

— Ревность... буржуазный предрассудок, — засмеялась она, прошмыгнув мимо уличного фонаря, у которого стояло несколько девиц, таких же милиционерш, как она. — Ведь ты говорил, что любовь — это всего лишь выдумка сентиментальных буржуазных рифмоплетов.

— Ну... говорил, — ответил он, почти не раскрывая губ. — Теоретически, конечно. А на практике я не потерплю, чтоб этакий фрукт с тобой...

— Теория, Екаб, — это вывод из опыта, поднятый до обобщения. — Катрина опять шла рядом с ним. Как обычно, когда им удавалось проводить друг друга на какое-нибудь неспешное дело или в наряд красной милиции.

Началось это у них, когда Екаба выписали из больницы и они по Рыцарской улице шли в коммуну, на Столбовую. Екаб тогда был еще так слаб, что передвигаться без посторонней помощи не мог. А потом у них появились уже совсем другие причины для совместных прогулок. Например, необходимость сказать другу что-нибудь ласковое. И заодно порассуждать «в духе буржуазных предрассудков» о совместной жизни. Если б им попалась комнатушка в какой-нибудь из рижских коммун! Конечно, только там, а не в отдельной квартире. Катрина и Екаб мобилизованы революцией и убежденные сторонники коммунистического общежития.

Кроме того, каждый сознательный человек должен всецело посвящать себя мировой революции, а не...

— Признайся, ты совершил непростительную глупость! — попрекала Катрина Екаба. — Не пойти на такую лекцию!

В другой раз тебе послушать Эферта не удастся. И, кроме него, никто к семинару по этому вопросу тебе подготовиться не поможет.

— Да уж, да... — неохотно протянул он. Не признаться же: ты права, я вел себя как мальчишка. В это бурное время все заботятся о нем, как никогда. В милиции у него рабочий день короче, чем у остальных, чтоб он мог посещать в университете лекции, и рейды при патрулировании ему назначают меньше, более легкие. Однокурсники и Катрина помогают ему одолевать химию, естествознание и политэкономию... — Ну, подумаешь, раз не так поступил... С кем не бывает...

— Бывает, бывает!.. — Катрина хотела добавить еще что-то, но к чему зря мучить человека, если он и так осознал свою ошибку? И она заговорила совсем о другом: — Я сегодня патрулирую от двенадцати до шести. Как бы не пришлось с мародерами или пьянчужками сцепиться! Дьявол их разберет, где они вино достают! Все пивные и кабаки ведь закрыты! А за самогон — трибунал!

— И я пойду с тобой в отделение. Все равно лекция пропущена...

Екабу сделалось совестно. Днем Катрина работает в издательстве Комиссариата, выполняет всякие общественные поручения, а ночью патрулирует, проверяет у прохожих документы, задерживает распоясавшихся паразитов. Для отдыха и сна остается лишь несколько часов.

— Катрина, — сказал он, — ночной обход у меня, наверное, кончится к шести утра. Прибегу встретить тебя. Сходим в нашу чайную. У меня сегодняшний хлебный талон остался. Неужто опять продуктовый купон недействительным объявят... И... поверь мне, я больше не буду следить за тобой.

— Следи, если хочешь. — Не станет же она на такого славного парня сердиться. Да и ревность его не так уж неприятна ей.

* * *

— Гробинь, ты легок на помине, — сказал начальник милиции, завидев Екаба. — Я попросил, чтобы тебя на вечер из университета отпустили, так мне отказали. Тебя, мол, сам товарищ Стучка учиться послал. А у нас людей не хватает, хоть локти кусай.

— Что же нам этой ночью прочесывать? Еще нетронутые дома на Песочной и Кузнечной? Муку и крупу в кладовках и под кроватями у буржуев искать? — Екаб знал: в Риге с продовольствием сейчас совсем скверно. Дважды подряд отменяли выдачу по очередным талонам продуктовых карточек. В случаях нехваток товарищи проводят массовые обыски на квартирах буржуев. Вы, граждане любезные, на благо общества, мол,

не трудитесь, а сыты. Даже балы задаете. И поэтому — по праву пролетариата...

— Мелочами мы больше не занимаемся. — Начальник втянул в плечи квадратную голову и на минуту застыл в этой позе. — Сегодня выставим буржуев из роскошных квартир в центре, переселим их в рабочие районы. Пускай труженики хоть в человеческих квартирах поживут. Есть такое решение Исполкома. Цека партии и правительство свою печать приложили.

— Что ты? — Екаб свистнул. — Новая экспроприация экспроприаторов?

— Поначалу товарищ Стучка эту акцию не одобрил, — рассказывал начальник. — Но ландесвер в Курземе наступает, по Риге шныряют белые банды, скрываются по логовам классовых врагов. Это и заставило его изменить свое мнение. Когда идут бои и фронт через наш двор проходит, сказал товарищ Стучка, диктатуре пролетариата нельзя пренебрегать и оружием поострее. Рабочие совершили революцию, создают материальные и другие ценности, а живут так же бедно, как жили. Рабочие плохо обеспечены хлебом, одеждой. Так пускай хоть в человеческих квартирах поживут. Когда фронт отдалится, мы бездельников этих вышлем по решению суда, по закону. Сейчас нам такой сложной процедурой заниматься некогда. Ты сходи в караулку, — велел начальник. — Там ребят на команды разбивают. С каждой пойдет финансовый работник. Как только извозчики подъедут, махнем прямо к объектам.

В караулке, то есть в большей комнате отделения, собрались несколько десятков милиционеров и столько же красногвардейцев и товарищей в штатском — из финансовых органов. Готовились в путь. Подпоясывались, вооружались, просматривали распоряжения. Улица такая-то, дом такой-то, буржуйская семья такая-то.

— Хорошо, что ты пришел! — помощник начальника отделения Вайновский поздоровался с Екабом. Вайновский тоже из бывших стрелков; как и Екаб, попал в милицию после госпиталя. Обморозился в боях с белыми под Юрьевом, на Эстонском фронте. На войне он получил хороший урок: как бы ни устал и ни был голоден красный боец, он все равно не должен терять бдительности и выдержки в борьбе с классовым врагом. Иначе... Хотя бы в том же Алуксне, воспользовавшись усталостью красноармейцев, белофинны замучили и загубили более ста человек. Когда стрелки прогнали буржуйские банды, то нашли груды убитых товарищей и мирных жителей. Их свалили, как поленья.

— Право, хорошо, что ты пришел... — повторил Вайновский. — Такое важное дело! Если в какой-нибудь буржуйской квартире на бандитскую засаду наскочим, то с поднятыми ру-

ками нас не встретят. Господа буржуи так просто со своим добром не расстаются. Буржуй ради него на все готов. В Гулбене кулак родную дочь в колодце утопил только потому, что она указала красноармейцам, где папаша хлеб прячет. Родную дочь!

С улицы донеслись голоса извозчиков, цокот подков.

— Па-ашли, ребята! — крикнул начальник.

Быстро, но тихо, полушепотом, обмениваясь лишь отдельными словами, милиционеры и красногвардейцы выскользнули на улицу и, разбившись на группки, растянулись длинной вереницей вдоль извозчичьих повозок. И через несколько минут вороные и чалые лошадки, высекая подковами искры из мостовой, медленно зарысили к Старому городу и бульварам.

Дом за высокой чугунной оградой, который Вайновскому, Гробиню, трем красногвардейцам и товарищу из финансового учреждения предстояло освободить для рабочих, находился на бульваре Наследника. Светлый пятиэтажный дом с украшенным лепкой фасадом. Екаб однажды уже побывал здесь вместе с комиссаром политического отдела Исполкома. Ночью они присматривались, в каких домах допоздна горит яркий свет, музицируют и поют. Это было сразу после того, как наши оставили Вентспилс, Кулдигу и Талси.

Тогда в Риге стало известно, что в этих городах по отступающим красноармейцам стреляли из окон.

— Вы, товарищи, пока оставайтесь около подводы. Следите за улицей, если кто побежит — задержите, — приказал Вайновский одному из красногвардейцев. Другого он оставил на лестнице. Затем велел дворнику дома позвонить в дверь квартиры на втором этаже.

Из квартиры долго никто не отзывался. Замок и цепочка прогремели только после того, как красногвардеец стукнул прикладом по филенке двери.

— На основании постановления Исполкома Совета рабочих депутатов... — В комнате, похожей на салон, Вайновский прочел хозяину квартиры приказ о выселении. — Гражданин Мариенфельд и его семья переселяются из занимаемой ими квартиры на Заячий остров.

— Ничего не понимаю... — Мариенфельд, толстяк с розовым, круглым лицом и прилизанными волосами, смерил работников милиции взглядом, полным удивления и негодования. — Вашу так называемую трудовую повинность я уже отбыл. Меня на улице задержали две бабы с ружьями, я хотел сказать, две гражданки из милиции, сунули в руку метлу и совок, заставили мостовую вокруг часовни на вокзальной площади подметать. Дворнику это известно.

— Гражданин Мариенфельд, вы переселяетесь на Заячий остров.

— Но на Заячьем острове нам...

— Трудно придется? Худо вам там будет? Ну что ж? Рабочим всегда худо было. Из поколения в поколение. Они постоянно страдали.

— Сжальтесь! — бросилась вдруг к ногам Екаба пожилая женщина в обшитом рюшем домашнем халате. Испуганные глаза широко раскрыты. — Сжальтесь, будьте же людьми! Мой муж, мы все вашей власти ни капельки плохого не сделали. Мы тихо жили себе, тихо... — Пальцами она вцепилась в полу шинели Екаба и зарыдала, как ребенок. — Сжа-аль-тесь!

— Гражданка! — растерялся Екаб, не зная, как быть. Словно ожидая от кого-то помощи, он посмотрел на Вайновского, потом на красногвардейца, на прилизанного толстяка. Из соседней комнаты вышел мужчина лет тридцати пяти — сорока с густой шевелюрой, лицо насмешливо перекошено.

— Вставайте! — Екаб наклонился к опустившейся на колени женщине. — Вставайте и начните укладываться. Даем вам два часа на сборы.

— Товарищи, товарищи! — с другого конца комнаты, где стоял похожий на орган высокий, набитый посудой буфет, позвал представитель финансового управления. Он уже принялся осматривать роскошную обстановку, оценивать предметы искусства. (Обстановка квартиры и предметы искусства переходят к финансовому учреждению.) На буфете он нашел хлебные, продуктовые и супные карточки. Ворох карточек рабочих тяжелого труда.

— Выданы в Гильдии, в карточном бюро, — заключил Вайновский, рассматривая талоны против света. — У вас среди работников бюро друзья, ведь так?

— И не стыдно вам плакать и уверять, что вы пролетарской власти не сделали ничего плохого? — сердито спросил Екаб женщину, которую только что поднял с колен.

* * *

Екаб Гробинь уже было решил отложить в сторону документы, собранные в отчужденных баронских имениях, пойти в комитет партии и попроситься обратно на фронт, когда в распахнутую дверь просунулась курчавая голова коменданта.

— Партийцев собирают по тревоге, — сказал он хрипло и тяжело дыша. — Исполком созывает городское собрание коммунистов.

— В связи с чем?

— Это скажут уж те, кто созывает. В связи с фронтом, с Елгавой, с чем же еще?

— Наконец-то!

Казалось, сильная невидимая рука спихнула с плеч Екаба тяжесть. Тяжесть курземской катастрофы, навалившуюся на него, когда по городу распространилась весть: Елгава пала!

Немцы на подступах к Риге! Артиллерийская канонада на Замковой площади, авиационные бомбы, рвавшиеся на центральных улицах, не могли всполошить рижан больше, чем полученная девятнадцатого марта весть о том, что Железная дивизия и ландесвер прорвались к линиям окопов, отрытых еще в мировую войну, что немцы на подступах к Риге.

На улицах продавали свежий номер «Цини». «Революционная Рига в опасности!.. Рабочие, к оружию!» — призывал Центральный комитет партии.

«Все-таки я оказался прав, — рассуждал Екаб. — Коммунистам теперь место на фронте. Со всем остальным можно повременить. Теперь к ране на груди или испорченному сердцу уже никто придираться не станет».

Никогда еще Екаб не видел в Риге такое количество коммунистов, как на этом собрании. Здесь были и отозванные из командировок. И его знакомый Петерманис, который работает в Комиссариате промышленности инспектором по сельским уездам.

Кратким словом собрание открыл председатель Рижского комитета Симанис Бергис. Об угрожающем положении, возникшем на Рижском фронте, докладывал помощник военного комиссара республики Томашевич. Видать, он не одну ночь провел без сна: лицо пожелтело, осунулось, глаза воспалены, болезненно блестят.

— ...Шестнадцатый стрелковый полк, плохо вооруженные, измученные красноармейцы, из которых три четверти — недавно прибывшее необученное пополнение, не устояли против превосходящих сил ландесвера... Не устоял и Десятый стрелковый полк... Пятнадцатого марта немцы захватили Тукум... В борьбе с наступающей контрреволюцией со своими непосредственными обязанностями не справилось командование первой бригады первой дивизии, не разобралось в обстановке и не обеспечило связи с подчиненными воинскими частями... Заняв Тукум, ландесвер оттеснил Шестнадцатый и Десятый стрелковые полки к Слоке и в район Калнциема, в то время как три других стрелковых полка с приданными отрядами находились в районе Добеле, Бене и Элеи. Среди обеих группировок наших войск образовалась брешь... Мы бросили в нее снятый с Видземского фронта первый латвийский кавалерийский полк, однако немцы оттеснили его и восемнадцатого марта ворвались в Елгаву. Наспех сформированные для защиты города отряды не смогли оказать сопротивления... Немецкое командование выбрало особую тактику наступления — запугивание. Они совершают стремительные рейды. Небольшими группами: двадцать — двадцать пять солдат, два орудия, несколько пулеметов и бронемашин. Они действуют внезапно и используют слабость нашей связи...

— Так почему же руководство допускает это? Почему Во-

енно-революционный комитет не сменит ненадежных штабистов, невежд командиров? — После сообщения Томашевича начались горячие дебаты. Начались упреки — почему делали так, а не этак. Почему новобранцы получают такую плохую политическую подготовку? Почему комитеты стрелков не следят за мобилизованными в Красную Армию бывшими офицерами и унтер-офицерами?.. Почему?..

Зал кипел и клокотал, точно огромный паровой котел. От горячего дыхания и табачного дыма воздух так сгустился, что хоть рукой его хватай.

— Наведите революционный порядок! К дьяволу оппортунистов и всяких бывших военных спецов!

— Хватит речей! — Сверкая стеклами очков, Симанис Бергис встал перед столиком для ораторов. — Если мы долго будем так митинговать, белые на самом деле войдут в Ригу. Надо действовать, а не говорить. У нас нет войска, которое можно было бы послать на Курземский фронт. Все резервы уже давно исчерпаны! И Советская Россия сейчас не в состоянии помочь нам. Все свои силы она должна бросить против Колчака. Курземский фронт надо пополнить бойцами из нашей же среды. Предлагаю: пускай коммунисты, которые хотят прогнать контрреволюционеров, встанут слева!

Все зашевелились и перемешались, как два движущихся в разные стороны потока. Большинство устремилось налево, Екаб Гробинь тоже.

Когда Рижский коммунистический батальон кончил формироваться, уже было позднее утро. Хмурое мартовское утро. Небо было мрачное и низкое. С завыванием мчался морской ветер.

* * *

Двадцать девятого марта от дома городского комитета партии на Александровском бульваре выступал на фронт Отдельный Рижский коммунистический батальон. Часам к двенадцати вновь сформированный боевой отряд собрался на тротуаре — двести пятьдесят семь коммунистов. Строились повзводно, по командам, топоча и разбрызгивая месиво талого снега. Большинство бойцов батальона не обучены, не имеют почти никакой строевой подготовки, не умеют обращаться с оружием. Более опытные бойцы тут же на месте пытаются научить их самому необходимому. Это делает и Екаб Гробинь. Учит и возмущается непонятливостью товарищей, их «садовыми головами». Провозится с ними и не успеет даже как следует с Катриной проститься. Она стоит у железной ограды Кафедрального собора в толпе женщин и подростков, пришедших проводить коммунистический отряд. Вчера, в минуту, которую Екаб улучил, бегая по городу по делам батальона, он даже

не успел спросить у Катрины: «Куда писать тебе и куда ты будешь писать мне?» У нее на работе им мешали нетерпеливые и настойчивые люди, беспрерывно перебивали их. А когда он попозже зашел на командный пункт милиции, Катринин взвод посадили на подводы и в страшной спешке отправили в сторону Царского леса.

«Катрина сильно сдала. Когда она протягивает к костру руки, огонь просвечивает ее ладони». Уже в четвертый раз Екаб с раздражением показывал секретарю жилищного управления Копманису, как примыкать штык.

— Катрина! — вскрикнул он вдруг и, разбрызгивая мокрый снег, крупными шагами кинулся на другую сторону бульвара — винтовка на спине так и металась, так и прыгала.

— Катрина, милая, будь, пожалуйста, осторожна... Понимаешь!.. — Екаб стиснул ее руки потрескавшимися, шершавыми от мороза ладонями.

— Так кто же из нас на фронт уходит? — попыталась улыбнуться Катрина. Темные, запавшие глаза повлажнели. — Если будет минутка, напиши. Только...

Что «только» — она не досказала. С другой стороны бульвара настойчиво звали Гробиня.

— Это комиссар... Товарищ Симанис Бергис. Погоди, через минутку я снова прибегу.

Но он так и не прибежал. Когда Екаб справился с заданием комиссара (двух товарищей надо было сводить к начальнику обоза, помочь им обменять оружие), батальон уже растянулся в маршевую колонну, и провожающие двинулись от Кафедрального собора за ним. Екаб шагал мимо гранитного пьедестала памятника Петру Первому, облепленного плакатами, по Известковой, пристально всматривался в толпящихся на тротуарах людей, но среди женщин в солдатских шинелях Катрину не увидел.

— «Вихри враждебные веют над нами...» — В голове колонны несколько сильных голосов затянуло боевую революционную песню. Их сразу же поддержали остальные. И вот запели и не обстрелянные еще бойцы, отбивая ногами такт на камнях мостовой.

В Старой Риге обыватели и не выселенные из больших квартир буржуи открывают окна, опасливо глазея на бойцов.

— Сколько у красных еще войска!

* * *

На окутанном туманом болоте, поросшем осокой, хвощом и багульником, блестят бурые лужи. Виднеются редкие, хилые карликовые березки и небольшие, покрытые зеленой травкой бугорки. Отходящие стрелки используют их для короткого отдыха, чтобы окончательно не выбиться из сил, прежде чем до-

берутся до иссиня-зеленой лесной возвышенности на востоке. Но кто знает, может быть, там, на взгорье Селии, их уже обошли сухими окольными дорогами части ландесвера барона Таубе.

Где сейчас главные силы Рижского коммунистического батальона — роты и взводы, сколько в них осталось бойцов, Гробинь понятия не имеет. Он только знает, что батальону приказано отступить на восток через Тауркалнский лес или в обход. На берег Даугавы, на участок Плявиняс — Крустпилс. Ночью в хозяйской баньке в Даудзеве они у какой-то батрацкой семьи пытались выяснить, кто проходил по Скайсткалнской дороге — свои или белые, и узнали, что после обеда на Сеце прошли красные кавалеристы, а вечером в соседней роще было слышно, как лопотали немцы.

В отряде Гробиня уцелело семь человек. Вернее, пять взрослых и два подростка, из которых наиболее отощавший, веснушчатый Валдис Зеп только совсем недавно добровольно пристал к красным бойцам. Ластинь, Мейран, Шауринь, правда, бывалые бойцы, и перешедший в январе на сторону Советов ульманисовский солдат Бутевич — тоже. Плумис, елгавский рабочий-дружинник, и четырнадцать других бойцов погибли за одну неделю на подступах к Бауске, куда бросили батальон, чтобы не пропустить немцев в тыл рижской красноармейской группировки. Комиссар Симанис Бергис тогда планировал развернутое контрнаступление через Елгаву, собираясь перемолоть отряды Железной дивизии, рвавшиеся к столице республики.

За бауссвой операцией последовал отход, и Рига оказалась в руках немцев. Самые тяжелые потери отряд понес в окружении, переправляясь через верховье реки Мисы, потерял связь с батальоном и очутился между двумя крупными отрядами ландесвера.

Когда атаки ландесвера отбили, у Гробиня осталось всего лишь семь изнуренных, изможденных человек. Немцы уложили Тервуда, Лайвиня — расчет станкового пулемета. Екаб видел это собственными глазами. Но куда подевались Вейс и еще один, самый молодой партиец, бывший писарь Абрам? Екаб потерял их из виду, когда отряд перебежками двинулся против залегших в зарослях барончиков.

«Дезертировали? В самом деле дезертировали?»

Мысль о дезертирстве товарищей по оружию не оставляет Екаба и на болоте, когда стрелки его отряда, разбрызгивая холодную воду, бредут по зыбкому влажному мху, на котором человека может засосать коричневая жижа, если не хватит сил вытащить завязшую ногу, чтобы встать на более надежную кочку или корень сосны. «Дезертируют те, кто не верит в дело, за которое воюет. Когда борьба не составляет смысла их

жизни, их существования. Разве тот, кто в партии, может не верить в пролетариат? Но, может быть, его приняли незаслуженно? Может быть, он вступил ради выгоды, ради каких-то привилегий?»

«В партию начали рваться люди, стремящиеся занять должности, — сказала ему как-то с возмущением Катрина, когда он еще лежал в больнице. — Ох, сколько недостойных тянется за партийными билетами», — негодовала она.

«Но постановление Шестого съезда партии о порядке приема новых членов ведь закрыло таким путь», — возразил он тогда.

«Закрыть-то закрыло... Теперь, расталкивая других локтями, в партию не пролезешь. Но туда все равно пробрались и такие, которым в организации не место», — не сдавалась Катрина.

Екаб, слушая ее, иногда вспоминал слова старого Марата — Гроскопа, произнесенные им зимою восемнадцатого года в Валмиере: «Не надо смотреть на революцию через розовые очки. Вы думаете, стоит пролетариату замахнуться, прогнать буржуазию, и сразу потекут молочные и медовые реки... Плохой ты большевик, если на легкое надеешься!»

Гроскоп изучил историю революций разных стран, он понимал, какой вред причиняют общему делу товарищи с замутившимся сознанием.

— На этом островке мы можем отдышаться, — предложил стрелок Ластинь Екабу, прыгнувшему рядом с ним на кочку. — Ребятам надо переобуться, перемотать портянки. У большинства все ноги в крови, будто их скребком скоблили.

Ластинь — из старых стрелков. Отступал по разным дорогам, от калнциемских позиций до самой Перми. Не раз ранен, переболел тифом. Ластинь — бывалый солдат, он всегда верно советовал Гробиню. Делал он это обычно по-товарищески, с глазу на глаз, без излюбленных в ротах митинговых речей.

— Передохнем, — согласился Екаб. — Только боюсь, как бы мы слишком от батальона не отбились. Батальон на этой стороне Даугавы привала делать не будет. А Орловская дивизия обеспечит переправу поближе к Двинску.

— Выкарабкаемся из болота, тогда поднажмем. А сейчас, товарищ командир...

И он выразительно показал на красноармейца Зепа. Доброволец из Скайсткалнской округи привалился к полураспустившейся березке и, прерывисто дыша, обхватил узловатый ствол.

«Он чересчур тяжело нагружен», — только теперь Екаб сообразил, что оставшиеся боеприпасы и оружие нельзя было делить между всеми поровну.

На болотном островке, на клочке поросшей осинками, сосенками и березками подзолистой почвы, отряд в восемь человек задержался часа на два. Люди сушили портянки, перебин-

товывали потертые ноги, подкреплялись сухарями, приводили в порядок оружие.

Екаб, чтобы ободрить ребят, пересказывал им слышанное когда-то на Поворинском фронте от комиссара Ракстиня про защитников Парижской коммуны. Даже попытался спеть песню о коммунарах и белом генерале.

Но рассказ получился уж очень печальным. И когда Екаб кончил, Ластинь начал рассуждать вслух:

— Вот здорово это будет, думаю я, когда мы вернемся в оставленные врагу города. Встретят почище, чем третьего января в Риге. Хорошо помню этот день. На главном вокзале совсем чужие люди бросались стрелкам на шею, целовали их и плакали. Понимаешь, латыши плакали! Они обычно мокрые глаза другим не показывают.

* * *

...На опушке голубой цветок цветет,
Пригожая девчушка его жадно рвет...

«Прочь! Прочь слащавую песенку! Чего пристала, точно одержимая? Чего лезешь в уши?..»

От внезапного непроизвольного движения заболела раненая нога. Ее словно проткнули зазубренным штыком. На груди заныла старая рана, замлело сердце и закружилась голова, как в полете на качелях.

...На опушке голубой цветок цветет...

Сентиментальную песенку эту он впервые услышал в то неестественно тихое майское утро под Бауской. Ее напевала пастушка. Запав в памяти, эта песенка теперь, после боя, рвется наружу. Впервые Екаб услышал ее на занятой неприятелем стороне, верстах в пятнадцати за фронтом, когда он вместе с Ластинем, Мейраном и Вейсом прошмыгнул мимо огневых точек ландесвера. Расспросив ночью батраков на усадьбе, они ранним утром забрались в чащу на краю луга, неподалеку от большого шоссе, по которому, как им говорили, днем со стороны Литвы проходили немецкие обозы и живая сила. Напротив чащи, за ручейком, лежало пастбище. Сразу же после восхода там появилась пастушка с небольшим стадом. И запела тоненьким голоском о голубом цветке.

В другой раз он пропустил бы пение пастушки мимо ушей, как шорох листьев на утреннем ветру. Но весенний воздух, видимо, как-то неотразимо действует на человеческое воображение.

И вот, лежа с развороченной ногой в овраге под береговой кручей, недалеко от шумящей в мергеле Даугавы, Екаб опять услышал:

...Мне тоже нравится голубой цветок,
Что на опушке мирно цветет...

Бред, назойливый, непристойный для красного стрелка бред. Неужели он увязнет в нем?

— Зеп, где ты? — позвал он. — Где ты?

Ах, да, Зеп недавно ушел. Спустился к берегу, поискать, на чем бы перебраться на другой берег, после того как с большим трудом приволок Екаба сюда с переправы, где они вдвоем несколько часов подряд сдерживали наступление немцев. Выполнив задание, они уже хотели переправиться через Даугаву, но едва Екаб высунулся с ручным пулеметом из окопа, как провыла мина. Когда к нему вернулось сознание и рябой Зеп дотащил его к воде, оставленный для них плотик — два связанных колючей проволокой бревна,— покачиваясь на волнах, отплыл довольно далеко, в сторону Кокнесе.

«Командир, обхвати мою шею! — Зеп взвалил Екаба на спину. — Надо как можно скорее уходить. Пока наши с видземской стороны обстреливают берег. Спрячемся до темноты. А потом, уже ночью...»

Зеп, должно быть, протащил на себе Екаба несколько верст. На спине, согнувшись, ползком по окопам, оставшимся еще с первой войны, по межам, зарослям черемухи и изуродованным прибрежным лескам. Нес, пока в низине не затихла стрельба и с земли, точно с загоревшейся трясины, не начала подниматься дымка. Тогда Зеп спрятал Екаба в овраге, во впадине, где пахло гниющими листьями, шнуром привязал ему к поясу маузер и, ругая себя, что оставил на поле боя шинели, отправился искать помощи.

— Ничего, ничего! Нас им не одолеть. Очень скоро мы вернемся, — шептал Екаб, задыхаясь. — Барончики, прусские наемники, которые за десять марок в день в кого угодно стрелять готовы, над нами властвовать не будут... Ничего, ничего!..

...На опушке голубой цветок цветет...

Снова зазвучало в ушах! Казалось, это поет Катрина.

Катрина?.. Но в тот несчастный день, в то двадцать второе мая, Катрина с винтовкой в руках защищала Ригу.

14. «ЕЩЕ НЕ КОНЧЕН БОЙ И НЕ КОНЧИТСЯ...»

(Райнис)

«...Эти статьи из газет я старался включить в сборник даже без каких-либо изменений, чтобы показать, в каком именно виде они были напечатаны у нас — совсем не так, как пишут для широкой русской общественности...»

На припекаемом июльским солнцем крылечке, отодвинувшись за столом в тень, Петерис Стучка пишет предисловие

к книге «Пять месяцев социалистической Советской Латвии». Это книга полемическая. Она хочет дать отпор глупой болтовне и слухам, связанным с падением Риги. Нельзя допустить, чтобы обливали грязью созданную ценою крови и мук Советскую Латвию.

В то время, когда в Видземе и Курземе свирепствует страшная Варфоломеевская ночь, а в Риге рабочих убито почти столько же, сколько в пору Парижской коммуны, в «Петроградской правде» появляется информация: «Ригу предали, предали те, кто ею владел — цекисты» (то есть Центральный комитет партии). После такого Петерис Стучка молчать не смеет. И кто же это пишет? Члены секции латышских большевиков! Разве новая оккупация рабоче-крестьянской Латвии — результат предательства, легкомыслия латышского пролетариата? Мировая революция взвалила на Советскую Латвию непосильное бремя — разгромить превосходящие силы международной контрреволюции, отразить наступление по-современному оснащенных, хорошо обученных дивизий. И заодно справиться с буржуазными злодеяниями, с потоками дьявольски коварной клеветы, инсинуаций, наводнивших в критические для республики дни города и села.

В марте девятнадцатого года объединенные силы мировой реакции начали всеобщее, согласованное наступление на Советскую Россию, бросив одно крыло своих ударных войск на Прибалтику. А силы изнуренных затяжной войной латышских стрелков, голодных рабочих Латвии оказались чересчур малыми, чтобы разгромить захватчиков. Реальное соотношение сил на одном из участков фронта классовой борьбы, таким образом, оказалось роковым.

Глубоко возмущаешься, когда читаешь напечатанные в «Коммунисте» разглагольствования членов партийной секции петроградских латышей Мартинсона, Целминя, Лойи и других, повторяющиеся «Петроградской правдой». Если бы они ограничились поношением одного его, Петериса Стучки, то он мог бы и не полемизировать. Плечи у него широкие, и за пятьдесят четыре года на них в изобилии сыпались удары; к обидам, несправедливостям, к нападкам врагов и мнимых друзей он привык. Но петроградцы собираются перечеркнуть всю работу правительства Советской Латвии, ее Коммунистической партии.

Правда, в решении Центрального Комитета Российской Коммунистической партии от третьего июля сказано: «Признать, что нападки на ЦК коммунистов Латвии, имевшие место в печати, необоснованны». Решение принято единогласно. Спустя некоторое время это решение Центрального Комитета станет известно и окружным и губернским комитетам России. Но решение даже самого авторитетного комитета не в силах вычеркнуть зароненных в сознание многих тысяч читателей ядовитых слов — «предательство» и «предатели».

Поэтому как можно скорее надо опубликовать документы, показывающие, как коммунисты Латвии оценивали и решали то огромное количество вопросов, с которыми приходилось сталкиваться в то время, когда республика находилась в полосе почти беспрерывных военных действий.

Документы доказывают: очерненные недавно в печати «цекисты» Латвии были решительными противниками любых ультрареволюционных действий, любых призывов к скандалам и бунтам ради самих скандалов и бунтов. И так же решительно они выступали против всякой угоднической политики, «которая за чечевичную похлебку готова продать первородство революционных принципов социал-демократии», как писал покойный Розинь.

Ах, покойный Розинь!..

Друга Азиса катастрофа двадцать второго мая уже не коснулась. Сердце его перестало биться еще седьмого мая.

Уже тяжело больным он продолжал организовывать первые в мире крупные социалистические хозяйства, претворять в жизнь коммунистический идеал, защищать его. Так же, как защищали с оружием в руках Ригу и отдали за нее свои жизни комиссар флота республики Карлис Зиединь и заместитель комиссара труда Аллен.

Рига пала неожиданно, в результате внезапного наступления врага. Стучка за тридцать шесть часов до этого, перед выездом в Москву, куда его, Петерсона и Карклиня вызывал ВЦИК, совещался в вагоне с командирами курземской армейской группы. «Со стороны Елгавы Риге ничего не угрожает, — командиры казались воплощением самоуверенности, — И наступление красных сил в направлении Бауски развивается успешно». Но уже двадцать второго мая пронзительно зазвонил телефон и сообщили: «Рига в руках интервентов!..» Он, Стучка, сразу же по прямому проводу соединился с Двинском, с председателем Военно-революционного комитета республики Юлием Данишевским. «Да, это произошло...»

Когда он, Стучка, доложил о рижской катастрофе товарищу Ленину, Владимир Ильич изменился в лице. Помрачнел, обычно живо искрящиеся, пытливые глаза потемнели. Пока Стучка говорил, Ленин слушал, не перебивая его.

— Наступил один из самых критических моментов социалистической революции, быть может, даже самый критический, — сказал Ленин, когда Стучка кончил, и подошел к большому столу, на котором была разложена карта Советской России с нанесенными линиями фронтов. — В планы английских и французских империалистов по захвату Петрограда входят также контрреволюционные заговоры с участием русских монархистов, кадетов и эсеров. Видимо, не исключая и левых эсеров. — Он показал на очерченные дугами районы боев под Петроградом. — Но на неоккупированной части своей террито-

рии, в Латгалии, правительство Советской Латвии ведь будет продолжать действовать? — Вопрос прозвучал скорее как пожелание.

— Будет продолжать, Владимир Ильич. Соберет силы и прогонит захватчиков из Лифляндии, Риги, из всей Латвии.

Позже, связавшись с прибывшими в Великие Луки товарищами, Стучка дознался, с чего все началось, как протекало. Из Великих Лук ему также сообщили, что Доре удалось спастись и что она находится в пути.

Несколькими днями позже медленно, словно измеряя вечность, Дора переступила порог его комнаты и по высохшему, скрипучему полу подошла к ближайшему стулу, опустилась на него и тут же принялась рассказывать, какие из бумаг правительственной канцелярии она успела в последнюю минуту сунуть в сумку, когда немецкие пулеметы уже тарахтели чуть ли не у самого Рижского замка.

— Баронам достались лишь маловажные донесения, заграничные телеграммы, ну и газетные вырезки, — проговорила она. И еще рассказала, что видела, когда ехала вместе с товарищами, что слышала от других отступавших. Из Риги спешно уходили беспорядочной колонной, вместе с обозами артиллерийского дивизиона и санитарного отряда.

С некоторых зданий по уходившим пролетариям стреляли диверсанты, такие же мрачные, как каменные совы, орлы и хищные волки, украшающие дома немецких патрициев. Шли тысячи людей: женщины, раненые, молодежь. За Ригой, в сельских местностях, к ним присоединялись новые тысячи — из советских хозяйств, из волостей, городков.

Бывшие батраки имений гнали в сторону Латгале мычащих коров и телеги с плугами и другим скарбом советских хозяйств. Местами отступающим приходилось отбиваться от баронских наемников, которые пытались остановить их выстрелами из засад.

Поток работников имений на пыльных большаках напоминал толпы курземских беженцев в пятнадцатом году. Только это уже были не тогдашние отчаявшиеся курземцы. Стрелкам, пытавшимся купить у них коров для пропитания бойцов, они говорили: а с чем же они вернутся в свои имения? Какие же это будут коммуны — без скота?

Дора все рассказывала и рассказывала, притворяясь, что не видит вопросительного, умоляющего взгляда мужа: «Скажи наконец хоть слово и о себе!»

Но, понятно, Дора иначе и не могла...

Солнце безжалостно печет. В молодости, летом в Латгале, Петерису даже в самую засушливую пору не приходилось терпеть такого дикого июльского зноя. Даже дуновение ветра,

изредка долетавшее до крылечка, кажется обжигающей магмой. Высохшие стены домика пронзительно потрескивают.

Трудно работать, трудно сосредоточиться.

Он взглянул на свои видавшие виды карманные часы. Если как следует поднатужиться, то статью сегодня можно и закончить.

Что еще следовало бы подчеркнуть? Двадцать второго мая истек срок, данный Антантой немцам для подписания мирного договора. Взятие Риги оказалось для немцев хорошим козырем за столом мирных переговоров. Завоевание Риги играло видную роль в общих планах империалистов по разгрому большевиков. Немецкое радио еще двадцатого мая кричало о взятии Риги. По приказу фон дер Гольца это сделали два красных полка, перешедших на сторону немцев.

Белые, несомненно, подкупили кое-кого из командиров, из бывших офицеров. Командующий Рижским фронтом — полковник Мангулис, который в семнадцатом году сказал стрелкам: «Я с вами!», — перешел к врагу.

Резекне, город, который до полудня обычно бурлил, как осенний базар, разморенный зноем, ленив и тих, словно притомившаяся в поле женщина. Только редкий конный связной стрелок, поднимая пыль, проскачет по улице мимо окруженных частоколами домов, где-то у вокзала пропыхтит вконец осипший паровоз, а с журчащей в городе реки доносятся всплески — это женщины полощут белье. Ни криков, ни гомона, ни переклички голосов, даже и там, где за огородами горожан виднеются навесы, поставленные над телегами видземских и рижских беженцев, шалаши и палатки и где всегда шумно митингуют, как только среди беженцев появляются крестьяне из латгальского села или бородачи из ближних старообрядческих деревень.

«Скоро, скоро подадимся назад, на свои заводы, на свою работу в советских хозяйствах,— не перестают беженцы агитировать латгальцев. — Армии Советской Латвии надо только привести себя в порядок, накопить силы... Контрреволюционеры, помещики, паны против пролетарского кулака — не сила, да и немцы и англичане тоже, какими могучими ни казались бы. О революционном восстании на французских военных судах в Черном море слыхали? Так послушайте: моряки на французских военных кораблях, что ввели в Черное море — подавить пролетариат России, кричат теперь: «Руки прочь от Советской России!» Поднимают красные флаги, гонят к черту своих золотопогонных поработителей. Стало быть, ксендз тебе говорил, стало быть, старшина сказывал?.. Так скажи им: «Воде в гору не потечь, и камню не ожить!..»

О революционной убежденности пошедшего за красными стрелками гражданского населения с похвалой отзывается за-

меститель комиссара просвещения товарищ Эферт, когда возвращается из волостей, где организует библиотеки и клубы. «Нет среди них таких, которые сомневались бы в том, что наша свободная, непобедимая поступь снова загудит на широких дорогах, что мы вернемся, точно морской прилив», — восторженно говорит он.

Эферт еще больше осунулся, посерел лицом. Еще больше сгорбился, одно плечо, кажется, стало ниже. От винтовки, видимо. В дни отступления заместитель народного комиссара, не отставая от бойцов, шагал босиком, с натертыми до крови ногами, глаза болели от напряжения, но он еще подбадривал усталых, подавленных страхом.

— Вместе с армией захваченную контрреволюционерами территорию оставили без малого сто тысяч человек гражданского населения,— рассказывал Эферт Петерису Стучке. — Наиболее здоровая часть латышского народа. Вера их в непобедимость дела Латвийской коммуны подтверждается и тем, как решительно они отказываются менять денежные знаки Рижского городского Совета... «Пригодятся, когда вернемся домой»,— говорят они.

Поговорив со Стучкой, Эферт медленно и тщательно вытирает бледный, не загорающий на солнце лоб и собирается в другое латгальское местечко, в отдаленную волость — агитировать местную интеллигенцию за социалистическое культурное строительство. «Да, ксендзам, националистической буржуазии Латгале кажется краем, в котором каждый колодезный журавль, каждый дорожный столб, как и каждая церковная колокольня, указýют темному люду путь на небо. Но Латгале полна мятежных Донатов, потенциальных комиссаров коммуны».

В сенях проскрипели покоробившиеся, пересохшие двери, и вошла Дора с только что прибывшей почтой и газетами.

— Я, друг, остановилась на твоей напечатанной в «Цине» статье «Ни вперед, ни назад». — Дора показывает мужу переведенные на русский язык полосы газетных гранок. — Думаю, что им в сборнике не место. С профессиональной точки зрения они написаны очень умело. Один подзаголовок чего стоит — «Естествоведческий очерк о разных породах эсеров». Статья лишний раз подтверждает, что за два дня до сдачи Риги председатель правительства Латвии был уверен в скором переломе на фронте в пользу сил красных. Однако сама по себе полемика с эсерами, повторное перечисление их подлостей, может, по-моему, навести читателя на ложные мысли. Может показаться, что революционеры мелкобуржуазной фразы на самом деле пользовались большим влиянием среди рабочих Латвии.

Стучка пробежал взглядом содержание статьи.

Это так. Дора права: в самом деле, он оказал бы чересчур много чести этим мелкобуржуазным горлодерам.

— Пускай будет по-твоему. А что в сегодняшней почте?

— Москва, Центральный Комитет Российской Коммунистической партии вызывает на работу Петериса Стучку и еще вот этих членов правительства Латвии. Петериса Стучку ждет также Бюро Коммунистического Интернационала.

— Значит, уже не на латвийской земле...

— Кроме того, есть еще очередные сообщения. Из-за линии фронта, от наших красных партизан. Об отрядах Грицманиса и Кретулиса, о рейде группы Иоаса в Малиене и первые сведения о верхнекурземских товарищах.

— То есть о группе Роберта Вайняна?

— О вайнянцах, как же. И еще... — клочок тоненькой бумаги задрожал в ее пальцах,— сообщение из Риги. Подтверждается гибель Аугуста Сукута. Он был арестован и затем...

Дора подходит к окну и смотрит на дом напротив. На такую же, как эта, срубленную русским плотником постройку, с крылечком и наличниками, украшенными деревянной резьбой.

* * *

— Стало быть, вы завтра переправитесь через линию фронта? — спросил Петерис Стучка девушку, присланную к нему товарищем Зуковским. Они сидят друг против друга у окна на табуретах. В комнату сквозь стоящие на подоконнике герани и мирты проникает мало света.

Девушке лет девятнадцать, она блондинка, с открытым овальным лицом, острым, чуть выступающим подбородком, иссиня-серыми, словно подернутыми влагой глазами. Тонкие волевые губы стиснуты. По осанке и по городскому платью ее можно принять за учительницу или конторскую служащую. Дочь курземского крестьянина, Эмма Ратмане в пятнадцатом году ушла вместе с беженцами в Пермь, на Урал, и вернулась в Латвию уже партийным работником. После изгнания немцев работала в Елгаве, а теперь направляется на занятую контрреволюционерами территорию. Помогать восстанавливать... Эх, откуда знать заранее, какие трудные дела порою ожидают профессиональных партийных работников в подполье!

Еще в марте месяце, как только батальоны фон дер Гольца оттеснили красные части с Венты, Центральный Комитет Компартии Латвии начал засылать товарищей в занятые врагом уезды. Работу эту усилили сразу же после падения Елгавы и продолжают теперь, когда флаг Советской Латвии с эмблемой плуга и молота развевается лишь над тремя уездами бывшей Витебской губернии.

— Родную волость и Елгаву я буду стараться обходить,— говорит Ратмане. — Разве что если потребуют обстоятельства,

возникнет неотложная необходимость, ну тогда, конечно... Товарищ Стучка, можете мне поверить: я не робкого десятка. Ведь говорят: «Смелого сам черт не берет».

— Не берет,— улыбнулся он. Но все же с явной озабоченностью сказал: — Сейчас вы там, при опьяненной победой реакции, столкнетесь с совершенно непредвиденными трудностями. И опаснее всего сейчас, по-моему, психология несознательных, смущенных людей. Людишек, которые ожидали, что при Советах, сразу же после изгнания людендорфских войск, наступит всеобщее благополучие. Ожидали чуда. Как в сказке: улыбающаяся фея махнет платочком, и полегший от морозов луг превратится в усеянное розами поле. Как известно, этого не произошло. Поэтому еще в апреле в Риге и меньших городах часть рабочих стала выражать свое недовольство трудностями. Что же это, мол, такое? Мы голосовали за социализм, а где же ожидавшееся изобилие? Будь у нас чуть побольше времени, мы доказали бы свою правду трудом. Достаточно сравнить Ригу в день нашего прихода с Ригой в день, когда мы оставили ее. Когда больше работало фабрик? Когда меньше было безработных? В январе или в мае?

И таким непонимающим, смущенным людям пастор Ниедра и агроном Ульманис, доктор Калнинь и доктор Мендер, князь Ливен, граф Гольц и барон Мантейфель трубят: «Мы освободили вас от красного хаоса, мы прибыли с пароходом американской муки, с украинской пшеницей (ее в середине мая достало Советское правительство, но она попала в руки белых). Мы дадим вам хлеба и твердый порядок. Дадим — только помогите нам выловить большевиков. Не своими руками — достаточно указать их нашим молодцам из военных комендатур». В Валмиере один из дезертиров заслужил снисхождение тем, что ходил вместе с белыми по улицам и указывал на советских активистов.

Разумеется, людоедскому пиру придет конец. То, что теперь творят банды белых во главе с ульманисами и ниедрами, те тысячи трупов, которые подолгу валяются незахороненными на рижских улицах, прекрасно агитирует сейчас за большевиков. В свое время мы предупреждали и правых социал-демократов, и крайне левых эсеров: сначала контрреволюция расправится с нами, а потом и с вами. Наши предсказания очень скоро начнут сбываться. И тогда не один из тех, кто проклинал коммунистов, пока те были в Риге у власти, в своих молитвах на сон грядущий будет вспоминать о коммунизме как о спасении человечества.

Но сегодня это еще не так. Поэтому вы, товарищ, будьте как можно осторожнее. Конспирация и еще раз конспирация!

Стучка говорит, не спуская с Ратмане глаз. Словно пытаясь угадать, что она могла бы ему ответить. Возможно, что эта хрупкая, еще мало закаленная в подпольной борьбе девушка

знает, как пытали революционеров в казематах царизма, но даже не может представить себе, на какое инквизиторское изуверство способны современные поборники государственности и порядка. От того, кто хочет сегодня пойти по пути нелегальной борьбы, требуется титаническое упорство и самоотверженность.

— Товарищи вам уже говорили, что главное — это восстановить организацию помощи партизанскому движению. Держитесь вместе с молодежью. Только берегитесь ограниченности, сектантства. Не будьте опрометчивы, не прибегайте к чрезмерно радикальным призывам. Не отталкивайте так называемых «маленьких людей» среднего класса. Наши «радикальные» коммунисты обычно проповедуют борьбу против всех.

Особенно надо думать об этом в деревне. Радикалы будут называть мироедами каждого, у кого своя хибарка, лошаденка и коровка. Их послушать, так в нашей деревне большинство — богатеи. Это глубокое заблуждение.

Мы все делали и делаем для блага народа, для блага угнетенного, измученного большинства. Мы разгромили власть баронов, объявили войну не на жизнь, а на смерть героям средневекового мракобесия, уничтожили частную собственность на орудия производства, чтобы передать их трудовому народу. А теперь должны направить наш удар против тех, кто в контрреволюционной войне пришел к власти, кто стремится увеличить прибыли английских, американских и доморощенных капиталистов.

Помните: после великих жертв, которые нам пришлось и еще придется нести, наша деятельность в Латвии возобновится не с того места, с которого она началась в январе, а там, где она была оборвана в мае.

* * *

— Она пошла по самому трудному, быть может, роковому пути своей жизни,— едва слышно говорит Петерису Дора.

Она стоит рядом с мужем на крылечке и тоже смотрит вслед промелькнувшей на повороте дороги за сероватыми купами сирени фигуре уходящей девушки.

— Она пошла по пути идейного борца,— отвечает Петерис. И думает: «Какими самоотверженными все же должны были быть латвийские работницы, девушки, которые днем работали, а ночью с винтовкой в руках, почти не зная отдыха, защищали революцию.

Но пройдут годы, и поэты будут создавать о них поэмы, а старики рассказывать легенды...»



Я ВЕРНУСЬ

1. НОВАЯ АРМАДА СПУЩЕНА НА МОРСКИЕ ПРОСТОРЫ

(Я. Судрабкалн)

Эмма Ратмане уже большую часть дня провела в пуне на дворе Силавниеков. Дремлет на набитом трухой, изгрызенном крысами мешке с повозки и все боится, как бы кто не приметил ее.

«Нынче ведь и родных детей остерегаться надо...» — предупредил ее связной партии Мазсилавниек, когда она перешла линию фронта. Спрятал ее в этом закутке и, уходя, заложил дверь жерновом от ручной мельницы — серым полевым камнем, который только взрослому, сильному человеку с места сдвинуть впору.

«Только отступили наши,— шепотом рассказывал он,— два брата — наследники усадьбы Дуненов — побежали в разные белые комендатуры доносить друг на друга. И из обеих примчались головорезы, одни одного увели, другие — другого, а теперь старый Дунен, обливаясь слезами, обивает пороги пасторского дома, чтобы выпросить позволения похоронить сыновей на кладбище.

Уездный комендант Индан,— продолжал Мазсилавниек,— издал приказ: местным жителям незамедлительно доносить о каждом замеченном чужом человеке. Как только пришли белые, хозяева в трехдневный срок должны были подать в комендатуру полные списки тех, кто заправлял в исполкоме, состоял в коммунистах, комсомольцах или же поддерживал коммуны. Зеленые партизаны, всякие банды — к ним бежит теперь каждый, кто сродни этому чертову отродью,— только и норовят пронюхать, где, на каком дворе чужое лицо появилось. «Цель наша,— говорят офицерики, хозяйские сынки,— стереть с лица земли всех большевиков, все большевистское».

Ландесверисты, русские драгуны князя Ливена или еще какого-нибудь царского полковника, Паневежский литовский батальон, польские роты — все это отъявленные бандиты. Стреляют, вешают, грабят... А зеленые, ульманисовцы, и того

хуже — свора бешеных псов. Истинные оборотни, упыри, как сказали бы старые люди.

Не будь в лесах красных партизан Вайняна, что в Дунаве зеленых потрепали, дигнайскую комендатуру выкурили и самых отпетых головорезов убрали, так мы все давно уже на перекрестках на деревьях болтались бы.

Как только красноармейцы ушли, националистские заправилы без всякого суда расстреляли коммунаров Дигнайской волости — Стуриса, Лаздиня и Квиесиса,— продолжал рассказывать Мазсилавниек. — Балтманиса дома не нашли, так отца забрали, избили и в Валмиеру угнали, в концентрационный лагерь. Ульманисовцы там устроили застенок. Туда, за колючую проволоку, точно в Германии пленных, людей со всех концов Латвии посажали. И из Риги, и из Нижнего Курземе. Морят голодом, издеваются, ни за что ни про что жизни лишают. Арендатор из имения Менке все это моему соседу сказывал. Ездил на гужевую повинность, пленных и конвойных возил...

Тебе, дочка, тут до завтра, а то и до послезавтра маяться придется,— сказал он, уходя.— Пойду осмотрюсь, принюхаюсь, чем воздух пахнет, попытаюсь с умным человеком потолковать. Тебе перво-наперво паспорт надежный нужен. Лучше всего немецкий. С фотографией и отпечатком пальца... Ульманисовцы немецкие документы уважают».

Вот Эмма Ратмане и томится в пуне, ждет завтрашнего дня, ждет возвращения Мазсилавниека.

В Резекне Силавниеки указаны ей как первое пристанище в занятом белыми Верхнем Курземе. Фронт теперь проходит по Даугаве, от Ливани и дальше вверх. Усадьба Силавниеки лежит в лесистой дигнайской местности, на поляне, посреди чащи из елей, черной ольхи, берез и лип. Весною здесь, наверно, трубят олени, заливаются на току глухари. Кукуют кукушки, и долбят дятлы, зимними ночами завывают волки, а днем на голых яблонях пронзительно кричат пунцово-зеленые сойки.

Усадьба Силавниеки возникла, видимо, в далеком прошлом. Лет двести назад, после великого мора, когда в Верхнем Курземе вымерло почти все население. С ведома господ, а то и без него, в безлюдную округу забрел предприимчивый переселенец и осел здесь. Перевернул дерн, спасаясь от лесного зверя, обнес поле плетнями, к которым привалил большие пни; поставил шалаши и срубы. Постепенно обзавелся многочисленной семьей, которая из поколения в поколение все плодилась и размножалась. Нечто в этом роде об усадьбе в Дигнайском лесу говорил Эмме человек из центра красных партизан, помогший ей переправиться с латгальского берега на курземский.

Он же снабдил будущую подпольщицу сведениями «с другой стороны», которые, надо сказать, сильно отличались от рассказанного Мазсилавниеком.

«Провозглашенная независимой, подвластная интервентам,

подпираемая меньшевиками, Ульманисландия мечется в предсмертной агонии. Теперь и несознательные слои народа, колеблющиеся обыватели начали понимать, что́ за символами нового государства — за латвийским солнышком и красно-бело-красным флагом кроется. Молодчикам из баронской роты, немецкого ландесвера и Железной дивизии обещано каждому по фольварку на латвийской земле, если будут ловко убивать латышских рабочих и безземельных крестьян.

В так называемой независимой Латвии теперь протрезвились и те, кто, казалось, было уже совсем одурел и запутался в силках Крестьянского союза и социал-демократов, клюнул на обещания раздела земли. Каждому сулили свой уголок, свой клочок земли, а вместо этого снова бароны на шею сели. И в июне под Цесисом и Рауной полчищам фон дер Гольца перешибли хребет не хозяйские сынки, набранные бывшим обозным начальником Балодисом, а ненавидящие баронов трудовые крестьяне Латвии. В Ульманисландии происходит стремительное отрезвление умов. И антантские полковники, еще в апреле и мае спокойно взиравшие на избиение бандами Гольца латвийских революционных рабочих, приказывают теперь немецким войскам оставить Лиепаю и Вентспилс, убираться в их фатерланд.

Конечно, не говори «гоп», пока не перепрыгнешь, но в общем...

Еще немало пролетарской крови прольется на латвийской земле. В верхнем Курземе, как и за Даугавой, продолжают бесчинствовать разные банды — немецкие, польские и белогвардейцы Булака-Балаховича. Бойцам Советской Латвии с ними еще придется скрестить оружие. А те несколько взводов хозяйских сынков и другие обвешанные оружием бездельники только воздух портят.

Нет, нет, я ульманисовцев из числа опасных противников не вычеркиваю. Они в своем бессилии способны на самые большие подлости. И беззубый враг смертельно укусить может — ядовитым дыханием отравить».

Через Даугаву Эмма переправлялась ночью, в непроглядной тьме, на замаскированной ивами плоскодонке, тихо гребя одним веслом, то и дело меняя направление.

На курземской стороне она долго брела по заросшему кустарником берегу мелкого ручья. Согнувшись, чуть ли не ползком, порою касаясь руками земли.

На лугах и пашнях, подходивших местами к самому ручью, под ноги попадались сухие ветки. Они так трещали, что Эмма сжималась в комок и замирала, как испуганный еж,— казалось, вот-вот зальются лаем дворовые собаки, вспыхнут огни фонарей в руках преследователей.

На рассвете полный страхов путь кончился. Эмма приближалась к липам усадьбы Силавниеков. Лоб, щеки и руки обво-

лакивала росистая паутина. Кругом пели птицы. Лес, луг и поля звенели, словно она ступала по струнам цитры...

— Надо в Экенграве портниху нанять, — вдруг услышала Эмма за стеной пуни женский голос,— Волдиню новый школьный костюм нужен, Юлине — платье перелицевать... Люди собственными глазами видели, как Латиню Брок вместе с другими в саусcердские сосны угнали. Ни за что ни про что человека загубили. Подсвинка отдавать не хотела. Грабителями обозвала.

— А кто на ее месте язык за зубами удержал бы? С таким трудом достала поросенка. Кормила, поила. От себя кусок отрывала. Чтоб зимой приправа была и что̀ на соль, на керосин можно было выменять. Об этом Латиня только и говорила. У кого сердце из груди не выскочит?..

Эмма припала к стене пуни, чтоб сквозь щель между досками увидеть говоривших — двух крестьянок в подоткнутых полосатых юбках и светлых, сдвинутых на затылок косынках, с граблями в руке.

Женщины уходят, и Эмма опять опускается на мешок. Темнота наступит нескоро, ждать еще долго...

«Но я ведь могу выдать себя за портниху...— осенила ее мысль.— Для конспирации это даже лучше выдумки о потерявшейся матери, которую ищу. Надо только достать ниток, иголок, большие ножницы, наперсток и аршин. В нынешние смутные времена и настоящая портниха без швейной машины обходится. Скажу, что сломалась или украли... Кроить и шить я умею... Беженкой в Перми в швейной мастерской чуть ли не мастерицей была...»

Мазсилавниек возвращается под утро.

— Получишь настоящий, надежный паспорт,— говорит он, поторапливая ее: пускай скорее уходит, пока не проснулись домашние.

— Мне портняжные принадлежности нужны, которые можно в баульчике унести.— И Эмма делится пришедшей ей вчера в голову мыслью. Почему бы ей в дороге не спрашивать, не продает ли кто ручную машину?

— Это уж как знаешь,— ворчит в ответ Мазсилавниек,— об этом ты на усадьбе поговори, куда я отведу тебя.

Якобштадт как будто счастливо обойден. Справа остаются виднеющиеся сквозь редкие сосенки пригородные пустыри и мрачные, одинокие кирпичные постройки — дворы садовода, кузнеца, хозяина склада лесоматериалов. Позади — своеобразные дымные запахи и отзвуки густонаселенного городка.

Между попорченными весенним паводком ивами лениво журчит известково-желтая река — это, видимо, Малая Сусея. Самый большой приток Даугавы до Яунелгавы. За рекой начинается опустошенная войной Селспилсская волость, куда молодчики из белых комендатур заглядывают редко. А там рукой подать до селения, где товарищ поможет Эмме найти уце-

левших большевиков. Может быть, местным товарищам доступна какая-нибудь типография или хотя бы шапирограф. Эмма считает, что с этого и надо начинать нелегальную работу. Как вода, как воздух, рабочим Латвии сейчас нужно печатное слово партии, оно должно рассеять неведение и страх, нагоняемый контрреволюцией. Народу надо сказать, что белогвардейский генерал Юденич не занял и не окружил Петроград, как болтают ульманисовцы. Народ должен знать, что Колчак, точно побитая собака, повизгивая, потащился обратно в Сибирь. И что армия Советской Латвии продолжает борьбу, что правительство Латвийской коммуны еще действует...

За немногие дни, которые Эмма находится на захваченной белыми стороне, она и сама убедилась, как людям необходимы партийные листовки. Партизанский штаб Вайняна делает в этом смысле совсем мало. Может, он считает, что это дело не военное, что партизаны должны заниматься разведкой, диверсиями, готовиться помочь Красной Армии в ее ожидаемом наступлении.

Эмма спустилась к самой речке. Положила на сухое место свою ношу — плетеный камышовый туес, туфли, чулки, жакет. Подоткнув юбку, вошла в воду. Как крестьянка, которая обычно ходит босиком, а обувается, лишь когда подходит к рынку, церкви или местечку. Эмме нужно перейти мост через Сусею, но было бы глупо соваться туда, не оглядевшись. Откуда знать, что ее ждет в покосившейся, сколоченной немецкими оккупантами полосатой будке. Лучше уж побродит по воде. Пока не появится какой-нибудь прохожий или проезжий.

«Там в минуту опасности твоим верным оружием будут только твое коммунистическое убеждение и находчивость. Находчивость и хладнокровие»,— поучали ее в Резекне старшие, закаленные на каторге партийные работники. Так говорил товарищ Ленцманис, об этом же напомнил ей представитель Партизанского центра на восточном берегу Даугавы. «Находчивой, милая, надо быть! А не повезет, так не стони, будь тверда как кремень! До конца!»

«Я буду осмотрительной... Буду как кремень!» — все говорила она себе. И старалась владеть собой, хотя не всегда это удавалось. Например, в позапрошлую ночь на сеновале усадьбы на лесном острове, когда к ней пришел партизан от Вайняна и принес надежный паспорт.

«Привет, ягодка!» — и сразу полез обниматься, точно он хозяйский сынок, а она батрачка. Попытался даже в губы чмокнуть. Словно присуха она ему какая, девчонка на танцульке.

«Еще чего!— Эмма вырвалась из цепких, пахнувших горелой землей и крепким табаком рук.— Лапы прочь!»

«Бах... прямо в лоб!..— засмеялся партизан. В темноте сеновала Эмма различила лишь его сверкающие глаза, темные брови, усы, тонкие губы, которыми он, выговаривая слова, при-

чмокивал, словно смаковал какое-то лакомство.— Не кусок мыла ты, не убавится от тебя!»

Она так обозлилась, что парень ничего не успел сказать в свое оправдание. «Давай сюда, что принес, и проваливай! А я думала, только сознательные в красные партизаны идут. Никогда не поверила бы, что среди партизан бывают такие нахалы... Если у вашего начальника штаба товарища Липа Тулиана такой связной, то я...»

Теперь Эмма, разумеется, понимает, что напрасно так разошлась. От партизана она могла бы все же узнать что-нибудь полезное. Ведь обстановка здесь, на оккупированной земле, совсем не такая, какую она представляла себе в Резекне. Ну, хотя бы эти же частнособственнические настроения, разогретые в батраках и поденщиках ульманисовцами и меньшевиками. Люди мечтают о своей хибарке, о своем «клочке земли», на котором можно сеять ячмень и горох, сажать картошку, выращивать овощи.

«Кому охота, чтоб им вечно помыкали? А в своем хозяйстве что хочешь, то и делай, — говорила встретившаяся ей на дороге жена мелкого хозяина. — Большевики баронов прогнали, с властью попов кончили. Спасибо им за это. Но и они нас, крестьян, арендаторами сделали, хотели у батраков коровок отнять».

От вайнянца Эмма так и не узнала, как отвечают на это партизаны. А надо было бы.

Но уж такая она. Вольностей не выносит. Если дружба, так настоящая. Большая, волнующая, как песня.

Со стороны Риги ей навстречу неторопливо шел мужчина с клюкой и котомкой за спиной; из Якобштадта, вздымая столб пыли, кто-то ехал на грохочущей телеге. Пеший, видимо, подойдет к мосту первым, и если там застава белых, к нему выйдет часовой. По тому, как часовой поступит с ним, она и поведет себя.

Эмма вышла из воды, собрала свои пожитки и, не обуваясь, поднялась на дорогу. Идущая к мосту насыпь покрыта известняковым щебнем. Он колет ступни. Эмма идет нога за ногу, как немощная старушка, с трудом несущая груз своего тела.

— Эй, садись, подвезу!— услышала Эмма негромкий, низкий голос. Перед ней остановилась телега, вокруг которой еще курилась серая пыль. Эмме пришлось прикрыть глаза, она так и не разглядела седока. Это, кажется, пожилой человек, видать из крестьян.

Мотая головой и постукивая копытами по дощатому настилу моста, буланая тащит телегу к другому берегу. К двум стоящим за мостом мужчинам. Один из них — замеченный ранее спутник, другой — молодой, длинный, как жердь, парень в русской солдатской гимнастерке, с винтовкой на ремне. Видно, он из комендатуры — роется в поставленном перед ним развязанном мешке.

Эмма полезла за паспортом. Сейчас проверят. И заодно ее хладнокровие.

— Обойдется,— слегка коснулся мрачноватый возница Эмминого локтя. Он, видимо, исподтишка наблюдал за ней и заметил ее волнение.

— Чего это ты, Адам, один сегодня?— спросил он часового, осадив лошадь.

— Рябого в Елгаву отозвали,— ответил долговязый парень и, сделав знак мешочнику: обожди, мол,— пошел к телеге.

— Угощайся! — Возница наклонился в сторону Эммы, протянув часовому раскрытую пачку папирос.— Майкапаровские!

— С ума сойти!— осклабился часовой.

— На еще парочку, бери, бери! На дороге такое добро не валяется.

— Известно, не валяется!

Возница и себе берет папиросу; неторопливо достав из кармана самодельную зажигалку из патронной гильзы, высекает огонь, сперва подносит часовому, затем закуривает сам. Затягивается, пускает дым и говорит:

— Думаем на этой неделе рожь косить.

Этим он дает понять долговязому, что почти по-городскому одетую женщину нанял в работницы.

— Ну, бывай здоров! Домой спешить надо, к старухе, оголодал я. У буланой тоже брюхо к спине липнет.

— Возил по волостям господ военных и сборщиков займа независимости,— заговорил он, когда мост с часовым остался уже далеко позади.— В Якобштадте уездные начальники заставили каждый крестьянский двор на несколько сот рублей облигаций купить. Сборщиков человек тридцать назначили. А ты всех по крестьянским усадьбам вози. Да еще к барышням, к самогонщику. Попадется спесивый седок, так сам намаешься и коня загонишь, да еще грубостей всяких наслушаешься. Значит, в Селспилс тебе? Кажись, так сказывала? — спросил возница после затянувшегося молчания.

— Я женская портниха.— Теперь Эмма поняла, что, садясь на телегу, зря сказала: «Может, и подальше...» — и поспешила рассказать придуманную версию. Приехала, мол, к родственникам, переболела лихорадкой, хотела в Экенграве подработать. Но что портнихе там голыми руками делать, когда в местечке есть мастерица с зингеровской ножной машиной? Слышала, что в вигантской округе портных не стало, вот и собралась туда. Там будто охотно натурой платят. Ведь теперь ремесленники непременно натурой требуют.

— Требуют,— согласился возница. И, словно подхватив последние слова Эммы, заговорил о жизни в Селспилсе. О том, как люди в николаевскую войну под немецкими вахмистрами оказались, что волостной Совет при коммуне затевал и что́ обещают сторонники нынешних порядков.

— Земля эта латышская, и уже никому латыш вовек не уступит ее... В Латвии свои порядки будут, своя правда...— повторил он прочитанное в воззвании или циркуляре или услышанное на каком-нибудь собрании землевладельцев. Затем, кинув на Эмму беглый взгляд прищуренных глаз, сбивчиво, будто извлекая слова из глубины памяти, принялся рассказывать, как из Якобштадта красные отступали, как туда белые вошли — на пустынных улицах появились эстонцы, по запертым ставням домишек загремели удары прикладов, и какой приказ объявил белоэстонский офицер жителям, согнанным на рыночную площадь. В тот же день в песчаных карьерах, за красным зданием городской школы, расстреляли милиционера Трапана, прозванного Трапанчиком. Он все с ребятишками возился. Игры с ними водил.

Эстонцы, конечно, в Якобштадте никого не знали. Свои предали. На Трапана хозяин гостиницы Вейнберг донес. Другие подлипалы — на остальных советских служащих. Кто на кого. А в Крейцбурге латышский обер-лейтенант приказал порешить жениха приглянувшейся ему девицы. Вон с чего они свои порядки начали,— заключил возница.

— Спасибо, что подвезли,— сказала Эмма, когда телега перестала грохотать, миновав устланный кругляком отрезок дороги, и на взгорье показался перекресток шоссе.— Пройдусь, попытаю свое портняжье счастье. На дворах пасторской мызы. Большое, большое вам спасибо!

Ехать дальше с чужим возницей для конспирации, казалось, не годилось. Эти двадцать три — двадцать четыре версты до дома кузнеца соседней волости разумнее идти как можно дольше, чтобы здесь успели узнать о ней как о портнихе.

* * *

Тонкие пальцы допрашивающего подносят к губам папиросу, он с наслаждением затягивается и, кажется, совсем забыл о стоящей перед ним женщине. Эмма глубоко вдыхает воздух и смотрит на растущий в горшке на подоконнике комнатный клен.

Да, красная в черную крапинку букашка, божья коровка, все на том же месте, где была, когда Эмму втолкнули сюда. Разве что подползла чуть ближе к стебельку зубчатого листа. Это, конечно, суеверие, что божья коровка — хорошая примета. Глупое суеверие. Как и то, что перебежавшая дорогу черная кошка или вылезший из своего укрытия до полудня паук приносят несчастья.

Но, видимо, человек уж так устроен — в минуту опасности его может ободрить даже крохотная красная букашка на зеленом листе.

«Я портниха, ходила искать работу... О каких-то красных, об их штабах понятия не имею...» — все повторяла она. И тем, кто ласково увещевал ее, и тем, кто угрожал ей. Вначале она говорила это сдержанно-удивленным голосом, а потом уже с раздражением оскорбленной, возмущенной женщины. Сперва на повороте дороги в Бирзгале — задержавшему ее патрулю, а теперь — настойчивому следователю, блондину лет двадцати пяти, с блеклыми, невыразительными глазами на длинном, словно застывшем лице. Он в офицерском френче с кирпичными петлицами, пересеченными по диагонали белым просветом, в центре которого поблескивает белая же металлическая звездочка.

Когда Эмму ввели к нему, офицер стоял боком к столу и с занятым видом наливал из кувшина в стакан бледно-желтую жидкость. Слушая старшего патрульного, он чуть повернулся и уставился на ноги «шпионки», словно по ним мог определить, верно ли ему докладывают.

— Можете идти! Задержанная останется у меня,— сказал он, выслушав солдата. Затем презрительно посмотрел Эмме в лицо. Отодвинул кувшин и принялся выкладывать содержимое карманов: курево, записную книжку, ножик, помятый носовой платок, горсть патронов. Наконец достал револьвер. Взвесил его на ладони и, не выпуская из рук, уселся за стол.

— До Даугавпилса ты ехала поездом. Оттуда — в товарном вагоне до Ликсны или Ерсики. Ночью переправилась через Даугаву. Так ведь?— Он левой рукой подкинул в воздух, как сучок, наган и поймал его правой. — Видишь, нам все известно. Точка в точку.

— Я, господин офицер, портниха. Шью новое, переделываю старое, перелицовываю. Меня ни за что задержали. На дороге, когда к заказчице ходила... — Она старалась говорить как можно спокойнее. Но основание для беспокойства было. Путь ее до переправы через Даугаву офицер описал правильно.

— Значит, к заказчице шла?

— В Бирзгале.

— Откуда?

— С экенбергского фольварка. Я барышне-садовнице там кофточку шила, а соседям жакет переделывала. — В этой волости ей во всяком случае алиби обеспечено. Хоть Эмма и не знала, что дом кузнеца находится под негласным надзором, она, придя в волость, миновала его. Остановилась по соседству, справлялась, нет ли какой работы, спрашивала, на какую бы ей обратиться усадьбу. И услыхала, что кузнец...

— Значит, в Экенберге это было?

— Хорошие заказчики мне там попались. И деньгами, и натурой платили. Господин офицер, удивляюсь, как это можно — порядочного человека в чем-то незаконном подозревать.

— Удивляешься, значит?.. Удивляешься?— надменно пере-

спросил он. И поднял руку с револьвером.— Хватит комедию ломать! Нам и так все ясно: ты должна была в лесу с красными бандитами встретиться, а мы с этим сбродом расправились, и ты осталась на мели. Ну, признайся!

— Неправда! Господин офицер, ей-богу, я не та, за кого вы меня принимаете!— продолжала она отпираться. (О поездке из Резекне они, может, и узнали... Но куда она на этой стороне ходила — нет!..)

Офицер долго целился ей в лоб. Минут пять, десять... Затем черное дуло скользнуло вниз.

— Уж ты все расскажешь. Как по писаному. Ты ничем не лучше других...

Наступила гробовая тишина. У Эммы от нее заболели уши. Она непроизвольно сдавила руками грудь, старалась дышать как можно тише. Посмотрела на офицера, на комнатный клен, затем снова на офицера и снова на комнатный клен... Надо выдержать!.. Даже если будут пытать...

На дворе, возле подвод, судачат солдаты. А за самым окном, привалившись, должно быть, к стене, кто-то напевает тоненьким мальчишеским голоском:

За горы, за долы
Воины ушли...

Офицер взглянул на ручные часы, швырнул на пол окурок, выпрямился, схватил со стола револьвер, подошел к окну, распахнул его:

— Сержант! Свяжись с группой немецкой комендатуры. Доложи обер-лейтенанту, что отряд национальных войск в Стелпской волости приступает к операции по очистке Вейцмуйжниеков.

* * *

— Такую кучу народу не потянуть даже застоявшемуся жеребцу имения. Семеро душ в повозке. Кобылка моя уже совсем загнана.

Возница дернул вожжи, чмокнул губами, но лошаденка даже не шелохнулась.

— Ты!.. Я тебе!— заорал лейтенант. Но он и сам понимал, что отощавшая коняга, которую уже полдня гоняли по ухабам Вейцмуйжниеков, канавам и обвалившимся мостам в погоне за красными, не в силах тащить четверых парней из комендатуры, его самого, возчика и задержанную. Обругав подводчика, он приказал двум конвоирам и «шпионке» слезть и пешком добираться к повороту дороги, что за домом лавочника (оттуда видна виселица с двумя повешенными), и там дожидаться его, лейтенанта, возвращения с усадьбы Ретайнисов.

— А эта будет присутствовать при казни красного Ретайниса. И смотрите мне за арестованной, побежит — стреляйте!

— Ко всем чертям! — Старший конвоир, коренастый крикливый детина с черной щеткой усов, пришел в ярость. Ну и врезали ему! По самую кость! Стереги теперь эту юбку и торчи черт знает сколько у канавы. Пока тот из Ретайнисов с висельником вернется. Так и будет тебе председатель вейцмуйжниекского волостного исполкома сидеть и ждать, чтоб его за горло схватили. Но главного не высказал: поехали без него большевиков ловить, добром из шкафов и кладовых поживиться... Полные карманы себе набьют, а он...

От наплыва жалости к самому себе старший сорвал с плеча винтовку и ткнул Эмму прикладом в плечо.

Она, застонав от боли, споткнулась, но не упала.

«Теперь меня пристрелят за попытку к бегству...» — мелькнуло у Эммы в мозгу, и она попятилась к конвоирам.

— Ну, ну! — закричал младший конвоир, но не оттолкнул ее. Это Эмму немного успокоило. Если бы офицер намекал на то, чтобы ее прикончили, то ее погнали бы за канаву.

«Будешь выть от страха, будешь мучиться, не зная, в какую минуту выстрелят в тебя», — издевался офицер, ведя за собой «шпионку» на «ликвидацию красных». Через центр Вейцмуйжи, через железную дорогу, что идет на Бауску, мимо опушки Даудзевского леса. Издевался и сегодня утром, когда его молодчики тащили на рыночную площадь истерзанных за день до того на допросе Круминя и Клявиня — отцов ушедших в Латгале членов местных Советов.

«За то, что сыновей-большевиков вырастили и дали им убежать от справедливого суда Латвии! В острастку жителям волости крестьяне Круминь и Клявинь приговариваются к смертной казни через повешение!» — певучим, как у причетника, голосом огласил сержант согнанным на площадь людям «справедливый приговор».

Во время экзекуции — пока старого Круминя вздергивали на вожжах на телефонный столб посреди рыночной площади, а старого Клявиня вешали на иве у речки — лейтенант пальцами сжимал Эммино запястье, видимо надеясь, что она чем-то выдаст себя.

— Тащись теперь с ней... Как с камнем на шее... — сплюнул старший конвоир. И, засунув руки в карманы, покачиваясь и вертясь, вышел на середину шоссе, оглядел окрестные дворы Вейцмуйжниеков.

На другом берегу речки у конюшни старой корчмы остановилась повозка с немцами. Солдаты с торчащими кверху карабинами и офицер в фуражке с высокой тульей и в темном плаще.

— Ревизоры из бausского немецкого батальона... Черт бы их побрал! — Старший выпятил грудь и, приминая пыль на шоссе, направился навстречу немцам.

— Отойдем в сторону, — ткнул Эмму другой конвоир. Он велел идти через дорогу, к домишку под деревьями, что за жи-

вой изгородью обломанных сиреневых кустов. Если начальник ушел, то какого черта подчиненному торчать словно напоказ под открытым небом? Поднялся ветер, поди знай, еще дождь польет.

Эмма, прислонясь к дереву, незаметно присматривалась к местности. Беспорядочно разбросанные домишки с огородами, обнесенные плетнями прогоны, берег речки и лесок от пригорка до края болота. Если шмыгнуть к риге, что на пригорке, то оттуда одним духом до леска пробежать можно. Весной, этой же весной в Елгаве, когда они с Мартой Бите шли на свою комсомольскую явку, их чуть не схватили выбежавшие из Большой улицы солдаты в касках и сизых мундирах. Она успела шмыгнуть в какую-то садовую калитку; прячась за кустами, забором и пристройками, вышла к каналу.

Когда вернется лейтенант со своими палачами, кончатся допросы и ее перестанут таскать с места на место. Игра в кошки и мышки всегда имеет свой конец.

Прошел бы конвоир хоть еще немного вперед! До больших деревьев...

Ветер понемногу усиливался. Он уже вздымал на дороге столбы песка и мусора, гнул и тряс деревья. Иву у мостика, с перил которого лейтенант велел спихнуть с петлей на шее старого Клявиня. Когда ветер пробегает по серебристым листьям дерева, оно грозно шумит и, пытаясь выпрямить согнутые ветви, трясет висельника. Эмма едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Тело удавленного словно ожило и снова дернулось в предсмертных судорогах.

Конвоир остановился спиной к арестантке, но ружье у него наготове, ничто не отвлекает его внимание.

Старший конвоир и немцы, держась бочком к ветру, ходят по рыночной площади: немец в фуражке с высокой тульей широко шагает впереди, конвоир — за ним, на носках, словно переступая с кочки на кочку. Они минуют телефонный столб посреди площади, на котором болтается повешенный, осматривают дома с закрытыми ставнями; достигнув большака, поворачивают к мосту и направляются сюда.

Видимо, немецкий офицер о чем-то расспрашивает конвоира — тот то и дело забегает вперед и, жестикулируя, что-то отвечает.

Когда ива с висельником уже осталась довольно далеко позади, группка остановилась. Старший конвоир пальцем поманил напарника:

— Сюда идите!

— Живей! — Солдат навел ружье на арестантку.

«Прикончат все же, не дожидаясь лейтенанта».

— За что тебя арестовали? — похлопывая кожаной перчаткой, спросил по-латышски немецкий офицер подошедшую Эмму. (Судя по выговору, он из курземских немцев.)

— Дас ист айн irrтум, айн ферзеен! [1] — быстро ответила Эмма. И, насколько ей позволяло знание языка, объяснила: она портниха, шла к заказчицам, а ее ни с того ни с сего задержали вооруженные латыши. Гонят из одной волости в другую, по-всякому обижают. Не изволит ли господин немецкий офицер приказать прекратить это насилие?

— Унд ду бист кайне шпионин, кайне партизанин? [2] — спросил немец.

— Какая чушь! — изобразила Эмма крайнее удивление. Открыла свою сумку с портняжными принадлежностями, ножницами, потрепанным немецким журнальчиком с рисунками мод, выпрошенным у дочки садовника. Она портниха, и только. Может, ее задержали потому, что она берет за работу натурой, салом, например?

— И ничего такого у нее не нашли? — спросил немец старшего конвоира.

— Как будто не нашли. Но лучше нашего офицера спросите.

— Можешь поклясться, что ты не партизанка? — Немец вперился в Эмму сверлящим взглядом.

— Никакая я не партизанка. Это правда, как то, что я стою перед вами.

— Гут. Ду бист фрай! [3] Немцы всегда за строгий рехт унд орднунг [4]. — И он по-латышски велел старшему конвоиру отпустить женщину. Офицер рассуждал политично: в тех случаях, когда белые латыши перегибают, прибалтийским господам, немцам, не худо показать себя в роли великодушных рыцарей.

— Ду канст геен, шнайдерин! [5]

— Гроссен данк, гер официр! [6] — Эмма сделала книксен, как манерная барышня. И пошла недавно присмотренной тропой — вдоль огородов и живой изгороди, в сторону Даугавы. Если вздумают позвать обратно, она тут же скроется.

2. С ПЫЛКИМИ СЕРДЦАМИ

После заката солнца с холмов, с моховых болот встает туман. Все густея, набивается в ложбины, окутывает кустарники, выгоны и закоптелые латгальские баньки, наставленные у речек и озер.

---

[1] Это ошибка, недоразумение *(нем.)*.
[2] И ты не шпионка, не партизанка? *(нем.)*.
[3] Ладно, ты свободна *(нем.)*.
[4] Закон и порядок *(нем.)*.
[5] Можешь идти, портниха *(нем.)*.
[6] Большое спасибо, господин офицер *(нем.)*.

Туман принес прохладу, тяжелым сырым покрывалом ложится она на плечи людей.

Екаб Гробинь, чтобы согреться, слез с подводы и, размахивая руками, зашагал обочиной дороги рядом с повозкой. Шинель он оставил на возу с военным имуществом. Не искать же ее. Какой он был бы вояка, если не перетерпел бы свежести летнего вечера?

В лазарете Екаба лишь подлечили и выписали негодным к строевой службе. «Простреленное бедро на марше может забастовать... Да и ранее поцарапанному сердцу настоящей нагрузки не выдержать»,— сказал военный врач. Но Екаб так приставал к товарищам из Военно-революционного комитета, из комитета Пятнадцатой армии, что в конце концов они уступили.

— Надоело нытье твое слушать. Вот тебе бумага и ступай! На вилянский участок. Там ничего серьезного, кроме разведок и перестрелок патрулей, не происходит. Зато у коммунистов большие возможности для политической агитации, разъяснять латгальской сельской бедноте, что такое классовое сознание. И агитировать воюющих на стороне белых видземских тружеников — чтобы переходили на сторону братьев по классу. Надо также помогать красным партизанам, которые перебираются через линию фронта, ну, и кое-кому из наших вояк мозги вправлять. Скрывать нечего, некоторые в этом нуждаются. Особенно после поражения, после того, как многие бывшие офицеры к белым переметнулись. Партия должна заботиться, чтобы в армии у нас не было идейно неустойчивых. Газеты, брошюры, листовки и другой агитационный материал будешь получать ежедневно. Поедешь в часть, захвати в политотделе «Манифест Коммунистической партии» на латышском языке. Брошюры со статьями Ленина и номер нового журнала «Коммунистический Интернационал». Чтобы был под рукой, чтобы ты мог правильно освещать политические вопросы и надавать по шеям меньшевистским социал-предателям, если такие попадутся.

Потом товарищ из штаба отвел Гробиня к обозникам артиллерийского дивизиона, прибывшим в город из Вилянской округи, и Екаб на пароконной подводе отправился в путь, в свою будущую батарею. В низменную местность, где в нейтральной, шириною в несколько верст, зоне проложены тропы партизан и красных разведчиков. Стрелки ходят туда косить и копнить сено. А по ночам охраняют его, держа наготове ружья и связки гранат, чтобы белые не увезли припасенное сено.

Обо всем этом Екабу в пути рассказал старший из обозных — Ляуден, большой говорун. Хвастал, будто на родной стороне, в Верхнем Курземе, Первого мая организовал «пролетарское шествие». Демонстранты шагали в выкрашенных в красный цвет лаптях. Показали гидрам контрреволюции, как сельские коммунисты за мировую революцию борются. В мае, когда нем-

цы и белоэстонцы перешли в наступление, Ляуден вместе с частями Красной Армии отступал через Крустпилс и добровольно пошел в стрелки. Но его, как пожилого и необученного, зачислили в обоз. Ляуден негодовал: «Свинство какое! В командиры стрелков, в партийные комитеты бюрократы и оппортунисты затесались, не иначе! В этом я больше не сомневаюсь. А что сейчас на фронте творится? Стрелки топчутся на месте, не наступают, вместо того чтобы стереть белых с лица земли. Чему учат великие революционные вожди, что они говорят о революционной войне? Наступать надо! Оборона — это поражение. Вот как!» Он, Ляуден, выступал на красноармейских митингах, писал в Военно-революционный комитет товарищу Петерсону. Если ничего не изменится, то напишет самому военкому.

Знает ли товарищ Гробинь, как в занятой белыми Латвии с пролетариатом расправляются? Немецкая железная дивизия и ландесвер в Курземе без разбору избивали рабочих. Расстреливали, вешали, топили в колодцах. На рижских улицах задерживали каждого, кто похуже одет. Тех, у кого руки в мозолях, расстреливали на месте. «Так должны мы отомстить или не должны? Разве не заслужили убийцы эти, чтобы их уничтожили вместе со всеми ближними и дальними родственниками?»

«Уж и вместе со всеми дальними родственниками...» Екаб мог поспорить, что там, где Ляуден до падения советской власти заправлял в волостном Совете, он немало навредил делу коммуны.

Гробинь и сам много читал и наслышался в Латвии о расправах контрреволюционеров с рижскими коммунистами. Ему это больно. Больно за Катрину. В лазарете, куда Екаба доставили после ранения, работала сотрудница Комиссариата здравоохранения Латвии. Та рассказала ему, что незадолго до сдачи Риги в больницу, во время ее дежурства, привезли раненную белобандитами женщину-милиционера. Когда в город ворвались немцы, всех больных вывезти не успели. Екаб писал в разные учреждения, в места поселения эвакуированных латышей, расспрашивал, наводил справки. Пытался хоть что-нибудь узнать об участи больных. Пощадили их немцы или же расправились с ними, бросив в одну из массовых могил на рижской окраине? В Латвии убитых людей гораздо больше, чем в пору разгула царских карательных экспедиций в девятьсот шестом году. Больше чем в Венгрии после разгрома Советской республики. Массовые убийства возмутили честных людей даже в капиталистических странах.

— Там, наверху, вон в той жалкой деревушке у рощи, командный пункт части — артиллерийского дивизиона,— показал кнутовищем Ляуден.— А эта белая постройка с колоколенкой, что за деревьями виднеется,— здешняя церквушка, часовней ее тут называют. Местный ксендз каждое второе воскресенье

сюда со своими проповедями лезет, контрреволюцию разводит. Дурные латгальские старики да старухи слушать его ходят. И молодых с собой тянут. В Латгале и без того в каждой деревне распятия наставлены, на дворах по утрам и вечерам молитвы читают. Не завязни здешние комитеты по уши в болоте оппортунизма,— он повернул к Екабу коричневое, с отливающими зеленью глазами лицо,— будь тут по-настоящему верные Интернационалу люди, этого вилянского ксендза уже давно к стенке поставили бы.

— А доказано, что он против революции агитирует?

— Всякий церковник — ксендз, поп или пастор — трудящимся враг. Что у Маркса о религии сказано? Религия — это опиум для народа, сказано у него. Отрава! А кто курит эту отраву — враги мирового пролетариата.

— Это еще доказать следует, что всех, без исключения, церковников уничтожать нужно. Когда наш полк в январе переходил из Даугавпилса в Ригу, мы в Ливанах провели митинг, и тамошний ксендз так за Советы агитировал, что любо было слушать. Так ты и его к стенке поставил бы?

— Меня ты демагогией не проймешь!

— К жизненным явлениям, к людям надо подходить конкретно, а не предвзято.

Проведенные в лазарете месяцы Екаб Гробинь не только лечился. Он попал в одну палату со знающими товарищами — с побывавшими с царской ссылке учителями, с газетчиком Фрейманисом, вернувшимся из эмиграции из-за океана, и с немцем Эрнестом Форсом, стрелком Интернационального отряда, сражавшегося в армии Советской Латвии на курземском фронте. Уже одолевшие труды Маркса раненые товарищи Екаба превращали душную, насыщенную испарениями карболки, йода, лазаретную палату в своеобразный дискуссионный клуб. В клуб крикунов, как говорили, возмущаясь, санитары. Спорщики, забинтованные, заштопанные, скованные шинами, лежали в разных концах палаты среди десятков стонущих, бредящих в беспамятстве, и говорили чуть ли не криком. Иначе как же услышать тебя товарищу в противоположном углу десятисаженного сарая имения? Бывшие комиссары и комитетчики обменивались малопонятными Екабу фразами:

«...по Гегелю это, а не по законам Марксовой диалектики. Любой скачок из количества в качество обусловливается конкретной ситуацией. Нашел что сравнивать: руководимую черным консулом негритянскую республику Гаити с восстанием угнетаемых в современной Голландской Индии? А восстание Уолта Тейлора в старой Англии и поминать нечего, когда речь о баварской революции идет».

«Я в голову не ранен, но ровно ничего не понимаю. Чего ради они так?— наслушавшись научных споров, обращался Екаб к своему соседу по нарам Форсу.— То диалектика Гегеля,

то диалектика Маркса. То восстание Тейлора или еще что-то. Разве кроме Марксовой диалектики есть другие? И кроме Парижской коммуны и нашей революции есть еще какие-то?»

«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов», говорит Маркс,— объяснял Форс.— Ты, товарищ, должен историю изучать. Историю революционной классовой борьбы трудящихся. Прошлое надо знать. Чтобы в будущем не ошибиться. Если хочешь, то могу кое-что рассказать тебе. Я, правда, не профессор, марксизм изучал в рабочих кружках да в кайзеровской тюрьме. Но кое-что знаю. Так если хочешь...»

И товарищ Эрнест, пока его не выписали из лазарета, объяснял Екабу законы материалистической диалектики: что такое количество и качество, тезис и антитезис, отрицание отрицания, единство противоположностей. Какие были революции угнетенных в далеком и недавнем прошлом. Товарищ Эрнест также научил Екаба песне германских ленинцев-спартаковцев:

Мы шли под грохот канонады,
Мы смерти смотрели в лицо.
Вперед продвигались отряды
Спартаковцев смелых бойцов! [1]

— И к революции надо подходить конкретно, а не предвзято,— сказал Екаб Ляудену.

Тот слова Екаба, казалось, пропустил мимо ушей... Щелкнул кнутом и, насколько это заметно было в сгустившихся сумерках, молча поморщился.

Миновав окутанную туманом ложбину и вкатив на пригорок, они очутились в деревеньке, где размещался отряд стрелков. В широких воротах крытого соломой бревенчатого гумна разведен костер. Над ним на жерди висят солдатские котелки, у которых хлопочет стрелок в расстегнутой гимнастерке, без шапки. Из гумна доносится многоголосый гомон и женский визг. Пока Екаб доставал с повозки шинель и мешок, в сарае запиликали губные гармошки и мужские голоса подхватили старую, времен Рижского фронта, песенку стрелков:

Ну разве это не потеха, не потеха?
У ксендза в окне прореха, прореха!

«У ксендза...» В знакомом тексте Екаб уловил изменение. В Бабите и Риге пели: «У пастора в окне прореха».

Курится раскаленная августовской жарой и орошенная грозовым дождем земля. Поднимающийся к небу пар мешается с синеватым дымом костра и чадом махорочных самокруток.

---

[1] Перевод с немецкого Мих. Светлова.

Курильщики — коммунисты батареи — сидят вокруг огня на полевых камнях, чурбаках, корягах. Сорок большевиков (среди них и вновь прибывший товарищ — Екаб Гробинь) слушают отчет секретаря партийного комитета дивизиона о первой конференции в Вилянском уезде и о подготовке к предстоящей в августе партийной конференции неоккупированной части Латвии. Секретарь говорит о том, что следует делать, чтобы поднять боеспособность красноармейцев, покончить с нарушениями дисциплины, с самовольными реквизициями. И как помочь волостным коммунистам повысить политическое сознание, общий культурный уровень неграмотных латгальцев.

У докладчика на коленях офицерский планшет, на котором лежит изрядно потрепанная записная книжка: секретарь то и дело перелистывает ее. Темное загорелое лицо почти такого же цвета, как заляпанные смолой и черные от сажи дверцы риги у него за спиной. Только белки глаз поблескивают.

— С падением Венгерской Советской Республики, с победой объединившейся буржуазии единственной базой международной революции осталась Российская Советская Республика, и партия поэтому должна приложить все силы к укреплению внутреннего положения. Надо обеспечить и повысить боеспособность Красной Армии, ликвидировать во что бы то ни стало продовольственный кризис и беспощадно бороться с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией.

— Наконец-то начнем в цель бить, контру трепать,— кивнул Ляуден Екабу. Говорил, мол, тебе сегодня?

— Дисциплина на партсобраниях обязательна для всех,— заметил докладчик. И начал излагать содержание остальных разделов принятой на конференции резолюции. И как согласовать их с нуждами и требованиями рабочих.

Надо добиться, чтобы еще очень инертные пока массы латгальских бедных крестьян и рабочих активно включились в укрепление диктатуры пролетариата. Надо помочь местным коммунистам, которых, кстати, еще очень мало, организовать в каждой волости читальни; красноармейцы, члены партии, в свободное время должны разъяснять населению цели борьбы коммунизма. Правда, библиотека коммунистической фракции полка осталась при отступлении в Риге; товарищи теперь собирают книги и восстанавливают библиотеку. Заодно надо доставать литературу для читален уезда, волости, деревни. Мы должны одолеть в Латгале безграмотность, религиозный фанатизм. С хваткой, присущей стрелкам. Из штаба бригады в дивизион ежедневно приходят газеты, члены коммунистических ячеек должны позаботиться, чтобы этот материал использовался для политпросвещения местного населения. Да, потом конференция постановила, что следует срочно и решительно позаботиться об издании популярной политической литературы на латгальском диалекте, а также создать рабочие и крестьянские клубы,

которые помогли бы приобщить молодежь из латгальцев и русских староверов к пролетарской культуре.

«Продовольственный вопрос, который одинаково остер как для Красной Армии, так и для местного населения, требует самых радикальных мер»,— прочел докладчик следующий абзац и, что-то отметив у себя в записной книжке, продолжал толковать отдельные параграфы постановления:— Будут созданы обязательные потребительские коммуны, все снабжение и торговля перейдут в ведение общества, что исключит какую-либо спекуляцию. В городах и местечках население будет снабжаться по классовым принципам. Надо покончить с любыми привилегиями при распределении продуктов питания. Самовольные реквизиции красноармейцам воспрещаются, даже в самых критических случаях.

— А что, если опять, как в июле, будет, когда кухни стрелков три дня ничего не получали. А тут же рядом, у богатеев или ксендза на фольварке откормленные свиньи хрюкают,— вставил Ляуден.

— Самовольные реквизиции запрещены в любом случае. Будем считать это предательством классовых интересов, контрреволюцией.

— Ну, мне, стопроцентному пролетарию, никто контрреволюции не пришьет!— вспылил Ляуден.

— Если хочешь, жми к белым за линию фронта,— вмешался стрелок Рудзитис, который по прибытии Гробиня в часть в сарае играл на губной гармошке.

— А что?— вскипел Ляуден.

— Товарищи, дебатировать потом!— рассердился председатель.— Ну и недисциплинированный же этот Ляуден! И зачем только приняли его в артиллерийскую ячейку, к настоящим большевикам...

— Так что при распределении хлеба до уборки нового урожая вводится строжайшая централизация, по строжайшему классовому принципу,— продолжал докладчик.— Вообще, как товарищи сами видят, дело идет на лад — красноармейцы хоть уже снабжаются одеждой и обувью. Пополнение из вновь мобилизованных теперь прибывает в части уже обмундированным. В банные дни в обмен на грязное белье выдают чистое.

— В обмен на вшивое,— засмеялся кто-то.

— Пускай на вшивое, но его тебе все-таки на чистое меняют. И еще конференция постановила: «Мелкие землевладельцы, ввиду своего социального и политического положения и интересов, не могут быть настроены враждебно к пролетарской диктатуре, и конференция признает необходимым, чтобы класс мелких землевладельцев не ликвидировался в принудительном порядке, насильно, поскольку ему, как таковому, все равно не существовать, не по силам будет соревноваться с общественным

производством, с ростом общественного благополучия пролетариата и дальнейшим развитием социального обеспечения...»

Ляуден, наморщив лоб, принялся ворошить в костре головешки.

«Постановление конференции противоречит его стопроцентно пролетарским убеждениям,— думал Екаб, щурясь на Ляудена.— Было бы неудивительно, если в волости, где Ляуден руководил Советом, батраков имения, вопреки постановлению съезда Советов Латвии, вопреки предостерегающим статьям в «Цине», заставили сдать коммуне единственную корову и мелкий скот».

В лазарете, в одной палате с Екабом, лечился тяжело раненный красноармеец Стуритис. Он в декабре восемнадцатого года добровольно вступил в Красную Армию, дрался с немцами в Курземе, с белоэстонцами под Валкой. Пока он защищал на фронте рабочую республику, в волости национализировали хозяйство его отца, в котором тот работал со своей семьей. Местные Советы увлеклись созданием сельских коммун. Отец Стуритиса написал товарищу Стучке, указав, что в волости земли трех имений не обрабатываются вовсе. Председатель правительства ответил, что такая национализация несовместима с принципами советской политики. Но и после этого какой-то местный товарищ продолжал цепляться за свое мнение.

Однажды Екаб патрулировал вместе с Катриной в Риге улицы; с курземской стороны временами доносился гул, похожий на ранний гром. Екаб на сумрачных, спавших беспокойным сном улицах рассказывал девушке о бестолковости некоторых ответственных товарищей на фронте, о предательстве бывших офицеров, об озлоблении мобилизованных сельских парней из-за выходок отдельных «сверхреволюционных» работников в волостях. «Бывает, что за претворение благородных идей берутся неблагородные, близорукие люди», — ответила ему Катрина.

У жестяного рупора, в который красноармейцы звонкими безветренными вечерами из нейтральной зоны агитируют белогвардейцев, помялся бок и вывалилась из ручки заклепка. Екаб Гробинь потащил рупор в деревенскую кузницу чинить. Агитация среди завербованных в ульманисовскую армию видземцев ведется беспрерывно. В воззваниях штаба армии, в устной пропаганде красных разведчиков, в беседах из окопов при помощи разных средств усиления им предлагается переходить к своим. Для этого обычно используются жестяные (иногда берестяные) трубы. Стрелки буквально рвут рупор друг у друга из рук. На выкрики белолатышей хочется тут же ответить крепким словцом из лексикона стрелков.

В прошлый вечер, когда Екаб Гробинь начал разговор с «несознательными тружениками из белых частей», с ульмани-

совской стороны отозвался какой-то идейный белолатыш, из студентов или офицеров, должно быть. Только Екаб прокричал в рупор: «Переходите к нам! У нас нет помещиков, нет капиталистов, у нас — полная свобода трудового народа!» — беляк заорал: «Идите к нам! У нас — учителя, инженеры, латышская интеллигенция. С большевиками только рабочие и темные массы. Потому-то вам и жевать нечего. А у нас каждый день пироги из американской пшеницы и жирная похлебка. У нас мир и порядок».

«Мир и порядок под палкой немецких баронов, под петлей виселицы, при проповедях черного пастора Андриева Ниедры!» — отозвался Екаб.

В эту минуту стрелок Рудзитис вырвал из его рук рупор и протрубил:

«Пошли вы знаете куда со своей американской пшеницей!»

И сразу же из огорода усадьбы, из окопов на буграх, что за полем, куда стрелки обращали свои агитационные призывы, открыли такую осатанелую стрельбу, что красноармейцы живо отползли к своим.

Рупор был нужен позарез. Вечером, если только не пойдет дождь, придется как следует поагитировать. Только что, двадцать шестого августа, полк латышских стрелков под Псковом прорвал фронт. Части Красной Армии гонят белогвардейцев и интервентов обратно в Эстонию. Надежда ульманисовцев, немцев и Антанты — царский генерал Юденич разгромлен. Эти события неплохо бы использовать в разговоре с другой стороной.

На двери кузницы висел замок от конских пут. Екабу ничего другого не оставалось, как идти к кузнецу на усадьбу.

Большие наружные двери не заперты. Екаб вошел в сени, переступив сильно износившийся бревенчатый порог. Толкнул дверь, она легко, бесшумно подалась. Он очутился в душной сумрачной комнате с закоптелыми потолочными балками. Между окнами в крестообразном переплете, прорубленными в задней и боковой стене, — огромный стол, подле него — широкие скамьи. В углу на стене — потускневшее изображение богоматери, обвитое увядшей гирляндой цветов. Почти полкомнаты занимает широкая и высокая печь с выступами и лежанками. На глухой стене — полка с посудой и туесами, на крючках — женская и мужская верхняя одежда. Кровать шириною с подводу. Из запечья торчит другая. Оттуда доносится игривый женский голос:

— Ты, наверно, захотел, чтобы я тебе за одно спасибо... Жди! Пойдешь со мной — тогда, а то...

— Не знаю, когда досужая минутка выдастся. Могут снова нарядить куда-нибудь... — ответил мужской голос.

— Тогда лучше не лезь.

— Аполя, ягодка, послушай!.. Ты уже удружила мне. Пока

я с твоим мешком соли возил тебя, белые к нашим стогам подобрались, чуть было не сцапали ребят, что за салом ходили. Мог под трибунал угодить...

Гадать, кто лежит за печкой, Екабу нечего было. Содум из второй батареи и родственница кузнеца — Аполония. «У девки ветер в голове, — как говорили стрелки. — А ты попробуй откажи ей в чем-нибудь, когда она перед тобой подолом машет!..»

Смазливая она, чертовка. Молодая, ядреная, волосы пышные, губы пухлые, пунцовые. Певунья и плясунья, не прочь целоваться с парнями, если, конечно, ее за это косынкой одарят или безделушкой какой, нужной в хозяйстве вещицей. Видно, она сейчас взялась доставлять соль из-за фронта. В вилянских деревнях соли и керосина теперь днем с огнем не сыскать, а по ту сторону Мурмастиенского болота, на заставах белых в Савиене и Одзиене, этими товарами торгуют вовсю. Спекулянты из интендантства соль и керосин оптом доставляют, а офицерики и ефрейторы продают их в розницу. Меняют керосин и соль на драгоценности, царские рубли и думские.

На той неделе, когда батарейный агитатор Гробинь в другом конце деревни сидел над приложением к «Латвияс Комунас стрелниекс», рядом с ним вдруг, словно из-под земли, возникла Аполя.

«Ну и здоров ты писать... — Она протянула к нему крепкие, круглые, пахнущие полевыми травами и коровьим молоком руки. — Отдохнуть тебе неохота?»

«Отдохнуть? В сенном сарае или на кровати?» — развязно ответил он, прижавшись к податливой Аполе.

«В комнате сейчас никто не видит».

«А твоя богоматерь?» — показал он на висевшее на стене изображение святой Марии.

«Переверну лицом к стенке, чтоб не косилась», — посмеялась Аполя и потянулась гибким телом.

«Лучше прямо скажи — о чем просить надумала?»

«Могу сказать. — Она не переменила позы. — Поздно вечером, когда со своей трубой пойдешь, ты не труби, а помоги мне на другую сторону перебраться. Я там чего-нибудь добуду, а потом поможешь мне вернуться...»

«Не на того напала!»

Оказался бы тогда у Екаба под рукой ком снега или кусок льда, пихнул бы бесстыднице за ворот, чтобы завизжала, остудил бы ее похоть.

А теперь Аполония завлекала Содума (или же делала вид, что он завлекает ее!), а Содум, видать, охотно поддавался ей.

На прошлой неделе шесть парней из батареи побывали в тылу у белых. Забрались в кулацкую клеть и конфисковали несколько копченых свиных окороков. Ночью, возвращаясь через нейтральную зону, где стояло накошенное стрелками сено, ребята неожиданно столкнулись с большим ульманисов-

ским патрулем. Белые окружили их, задержали, но обнаруженные у красных в мешке окорока на миг притупили бдительность патрульных, и стрелкам удалось избежать плена. При расследовании дела в дивизионе спросили, почему охранявшие сено не поспешили на помощь попавшим в беду товарищам. Оказалось, что сено охранял один Содум. От напарника он почему-то отказался. Да и самого его в это время на посту не было. «Увидел, мол, мерцавший на краю болота блуждающий огонек и полез посмотреть, что бы это могло быть...» — оправдывался Содум. Огонек вскоре пропал, но в темноте Содум сбился с дороги, и, пока он вернулся, стычка на лугу кончилась.

Содума поругали, осудили. Ребята решили: струхнул кореш... А загадочным огоньком в нейтральной зоне, за которым Содум будто гонялся, оказалась Аполя. А может, и не она одна.

Ну, на собрании батареи Екаб это так не оставит.

Он откашлялся и позвал:

— Эй, Содум!.. — и тут же осекся.

В деревне вдруг затрещали выстрелы, на командном пункте кто-то яростно заколотил в рельс.

— Тревога! Тревога!

— Что случилось?— Екаб вместе с товарищами мчался на батарею.

— Белолатыши! Белые наступают!

* * *

Хваленое ульманисовское наступление на позиции красных на нескольких участках латгальского фронта, в начале которого предательски бежали некоторые командиры (командир Первого полка Думпис, помощник командира Лиелбиксис и командиры других частей), кончилось для белых плачевно. Носители идеалов латышской Латвии — молодцы из роты Балодиса — и белонемецкие ландесверисты, отведав огня красных, показали пятки. Местами белые так проворно драпали, что командирам с трудом удавалось сдержать разошедшихся стрелков, которые хотели в один присест разгромить врага.

«Ребята, поддайте жару! Офицерикам на плечи — и прямо в Ригу! Белые — слабаки, так драпают, что хватит одной роты красных, чтоб панихиду по ним отслужить!»

Остановленные бойцы несколько дней подряд митинговали, сочиняли резолюции: «Мы, сознательные пролетарские бойцы, подчинились на этот раз революционной дисциплине. Но мы требуем немедленно привести в боевую готовность все воинские части Советской Латвии, начать наступление и гнать белых, пока вся Латвия не станет свободной!»

И тут вдруг разнеслась весть: правительство Советской России предложило прибалтийским буржуазным правителям мир.

Советское правительство официально выразило желание начать мирные переговоры с буржуазными правительствами Эстонии и Латвии.

«Опять пустили утку,— возмущались стрелки. — В июне буржуи вякали в своих газетах про взятие Резекне, про разгром Красной Армии и арест товарища Стучки, а теперь о мире запели...»

Пришлось созвать стрелков-коммунистов, чтобы обсудить предложение правительства Российской Федерации прибалтийским буржуазным государствам о мирных переговорах.

— Провокация! Явная провокация!— раздавались возмущенные возгласы, их сопровождали язвительные словечки.

— Товарищи, соблюдайте спокойствие! Соблюдайте дисциплину...— Нелегко было руководителю собрания успокоить крикунов. — Спокойствие! Выслушаем сначала секретаря политотдела товарища Нетте.

— А-а, Нетте! Ну, Нетте мы знаем. Ладно, пускай Нетте говорит.

Екаб Гробинь знал про Нетте только понаслышке. Говорили, что Нетте умный пропагандист. Старый партиец. Сидел в царских тюрьмах, после Октября работал в Наркомате иностранных дел, зимою был на советской работе в Елгаве. Теперь Нетте скажет о мире с контрреволюционными ульманисовцами.

Нетте начал так спокойно, словно и не было никаких выкриков возмущения. Заложил руки за спину и поблескивает стеклами очков, не спуская со стрелков сверлящего взгляда.

Нетте говорит о политическом положении в мире, на фронтах революционной борьбы. Об империалистических разбойниках, наступающих на страну диктатуры пролетариата, их силах и материальных возможностях. Об организованном Антантой походе четырнадцати государств против Советской России и декларации английского министра иностранных дел Черчилля, который хочет, чтобы Антанта создала в границах бывшей монархистско-помещичьей России государство контрреволюционной диктатуры, великую державу, управляемую генералами и капиталистами.

— Хорошо известно,— переходит он к главному,— что маленькие буржуазные государства, возникшие на бывших окраинах России, не хотят восстановления царской «матушки России» и заинтересованы в прекращении войны. Советское правительство, товарищ Ленин увидели это слабое место в объединенном фронте контрреволюции на прибалтийском участке и выступили с революционным предложением. Рабоче-крестьянской России чуждо, говорят они, стремление завоевывать и угнетать маленькие государства. Социалистические идеи возникают в самой жизни. Поэтому хватит воевать! Рабочие, бойцы, безземельные крестьяне Латвии, Коммунистическая партия Латвии не могут не одобрить точки зрения Советской России.

— Признание буржуазного правительства? — вспыхнул Ляуден. — Поддержку палачей народа Латвии?

— Советское правительство никогда не поддерживало палачей трудового народа и поддерживать не собирается,— ответил Нетте. — Этому не бывать. Но надо смотреть на события трезво. Совершенно ясно, что действительные правители Латвии — Антанта и говорящие по-немецки вооруженные банды — будут настаивать на том, чтобы правительство Ульманиса — Мендера не заключало мира с большевиками. Ульманисовская клика так и поступит. Но трудовой народ и слои мелкой буржуазии, противящиеся иностранному господству, постараются заключить мир помимо вождей националистских воротил и меньшевиков. Демократический мир в интересах трудового народа.

— Неужто это так просто? — вставил Рудзитис.

— Не просто, конечно. В классовой борьбе ничего просто не бывает. Но в теперешнем, очень сложном политически, опасном для Советов положении, когда социалистическая революция в Европе временно подавлена, выход, предложенный Лениным, целесообразен. Все равно Латвия когда-нибудь станет социалистической. Мы временно вынуждены отступить. И, отступив, собраться с силами, чтобы с еще большей энергией продолжать гражданскую войну до окончательной победы.

«Может быть, такой шаг в создавшейся международной обстановке и в самом деле наиболее правильный?.. — пытался Екаб переубедить свое второе «я», готовое кричать вместе со «стопроцентным пролетарием» Ляуденом. — Мирные переговоры с буржуазным правительством Латвии только поддержат угнетателей народа Латвии!» Для победы пролетарской революции, прежде всего и главным образом, необходимо объединение самых широких народных масс вокруг самых популярных лозунгов. И разве призыв к миру в Октябре семнадцатого года не оказался решающим? Мирные переговоры с буржуазной кликой безусловно задержат возвращение стрелков в Видземе, Курземе и Ригу. В Ригу, где Екаба, может быть, все-таки ждет...

— Теперь, товарищи, слово вам, для ответа, — закончил Нетте свое сообщение. — Одного вы мнения с Советским правительством, с товарищем Лениным или нет?

Наступила гнетущая тишина. Она затягивалась. Собрание стрелков проходило в гумне, и, хоть из-под ворот и сквозь щели в крыше тянуло прохладой, всем стало невыносимо душно...

— Что скажем? — выкрикнул Екаб.

— Уж лучше ружьишко в кусты.

— Нам одним хода мировой революции не изменить.

— Так умрем здесь героями, увенчанными славой парижских коммунаров...

— Но парижские коммунары стояли на страже всего человечества.

— Мы будем недостойны их, если свернем с пути, указанного Лениным,— возразил Нетте.

— Если все хладнокровно обдумать, то надо с Лениным согласиться,— говорит Рудзитис.

— Капитуляция!— Ляуден швырнул через головы сидящих впереди свою шапку.

— Никакая не капитуляция!

— Чего там артачиться? Зря кровь себе портить?— раздалось с разных сторон.

— Если товарищ Ленин предлагает, значит, будем голосовать «за». Когда же стрелки не шли за Лениным?

И коммунисты части проголосовали за мир.

Но большинство стрелков после этого было все же подавлено. И, чтобы скрыть это, они набросились на книги, на политическую литературу. Вгрызались в труды Маркса и Ленина. Читали Стучку. И брались посвящать неграмотных поселян в премудрости политической азбуки, «прививать» только что призванным в армию латгальцам принципы революционных бойцов:

«Пока стрелок жив, его оружие не перестанет громить врага. Каждый стрелок, пока его не списали, должен отправить на тот свет, по крайней мере, взвод врагов революционного народа».

«Ах, ты не можешь артиллеристом быть, едва из ружьишка стрелять научился? Глупости! Если партия потребует, и из пушки палить будешь! Скажи мне: а где рабочие России научились мировую пролетарскую революцию делать, если они у себя дома едва с тем справлялись, что у Европы уже давно было пройдено?»

«На массовых митингах в Риге, Вентспилсе, Лиепае и Кенигсберге мы, брат, с тобой; если надо, будем держать речи по-английски и по-немецки. Будем правду революции матросам и солдатам империалистических стран говорить».

«Сегодня наши ребята из ксендзовских паств обучают местных волостных партийных инструкторов, слушателей курсов народных учителей, советуют, как организовывать производственные союзы, потребительские кооперативы, сельские хозяйства. Через какое-то время, когда Курземе и Видземе опять будут свободны, вы, уже как рабочие коммуны, будете заниматься тем же в других округах. Деление тружеников на католиков и еретиков, на чулей и чангалов [1] — та же контрреволюция...»

Проходит август, и в первые дни сентября коммунисты рот

[1] Чули и чангалы — презрительные клички балтийцев и латгальцев.

и дивизиона уже обсуждают вопрос о переброске Латышской стрелковой дивизии на Южный фронт... На юге бушуют белополяки, к Москве рвутся деникинцы.

* * *

Стрелки уехали в сентябре, в бабье лето, когда латгальские озера отдыхают, тихие и голубые, как высокое небо над ними, когда в лугах пахнет сеном от отавы, на яблонях краснеют плоды, а цветники под окнами поселян расцветают желтыми рудбекиями, которые здесь называют холостяцкими розами. В Белоруссии стрелков встретили осенние дожди и ветры. Совершив пять длинных переходов, после схваток с белополяками на минском участке и на болотах у Березины, пехотинцы, артиллеристы, связисты в конце сентября, увязая истрепанными сапогами в торфяной земле и глинистом месиве, подталкивая плечами орудия и повозки с боеприпасами, грузились в железнодорожные вагоны, которые должны были увезти стрелков на Южный фронт. Навстречу отборным белогвардейским дивизиям генерала Деникина, навстречу бронированному кулаку, которым внутренняя контрреволюция и международный империализм замахнулись на Советы, чтобы нанести им последний смертельный удар и уничтожить самое Советское государство.

По плану Уинстона Черчилля (в конце августа о нем стало известно из статьи в стокгольмской газете «Фолксдагбладет политикен»), перепечатанной прессой белой Латвии, в Москве еще до начала зимы должен был состояться парад деникинских полков.

Грохоча на износившихся за годы войны железнодорожных путях, мчатся эшелоны, битком набитые латышскими стрелками. Люди мрачны и сосредоточенны. Кажется, что эти ребята никогда не шутили, не пели лихих, озорных песен. Не митинговали, не свистели и не галдели на собраниях.

Холодный дождь бьет в лицо стрелкам, стоящим в открытых дверях вагонов, ручейками он стекает с шапок на плечи и грудь. Но стрелки не замечают этого. Только смотрят и смотрят на скользящие мимо поля, деревни, дома, словно хотят впитать в себя как можно больше впечатлений,— поди знай, не видят ли они все это в последний раз. Там, на курско-орловской стороне, в каком-то чужом для них Дмитровском районе, им, может быть, суждено повторить последний подвиг парижских коммунаров. Стрелки верят в победу, в разгром сил контрреволюции, в неизбежность великого суда истории. И все же... На секторе фронта, на который сейчас перебрасывают латышскую дивизию, стянуты отборные силы противника. Они огромны. А у Красной Армии нет резервов. Стрелки вместе с другими направляющимися в Орел частями Красной Армии любой ценой должны добиться перелома в ходе войны... А то...

«А то не быть больше советской власти, не видать рабочим и крестьянам человеческой жизни, не быть маленьким народам самостоятельными». Люди в эшелоне понимают это.

Сознание этого пропитало мозг, кровь, поддерживает дух и силы.

Сознание этого родилось в Латгале, в чертовски ожесточенных диспутах между старыми стрелками и недавно призванными в Красную Армию, между коммунистами и беспартийными. Да и среди самих коммунистов.

— Никуда я не поеду. Не оставлю я Латвию... Сложить голову за дело пролетариата могу и тут. Для этого нечего мне на край света мчаться...

— Переброски латышских стрелков требует само существование советской власти. Никогда еще революционная Россия не была в такой опасности, как теперь, когда наступает армия Деникина. Призыв партии ты читал?.. — Екаб пытался разъяснить нежелавшим ехать, что первая обязанность пролетарского бойца — в любой стране, в любом месте, в любом случае воевать за цели трудового народа.

— Я говорю: сложу голову за революцию там, где родился.

— Но пролетарская революция только одна, неделимая. И разве «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» не наш лозунг?

— Меня на этом лозунге не поймаешь,— возражали Екабу. — Я, может быть, выкрикивал его на массовке еще тогда, когда ты только азбуку одолевал. Но лозунг этот не заставит меня проливать кровь в чужом краю. Еще пять дней тому назад такие, как ты, агитировали за разгром молодцов фон дер Гольца. Говорили: в Латвию приходят прибалтийские бароны и немцы из Германии, они хотят вернуть латышский народ в средневековое рабство. Мы должны прогнать завоевателей. Латвия у всех у нас одна. А теперь что? Как же с долгом перед Латвией? Не одна она у нас больше?

Екаб агитировал, разъяснял. Но до сознания многих его слова не доходили. Они казались горстью сыпучего песка. Может, именно потому, что и у него грудь теснили сомнения? Было ведь ясно, что бароны, ландесвер, белогвардейские наемники Антанты, войска Бермонта-Авалова мира между Латвией и Советской Россией не допустят. Латвийский народ окажет захватчикам сопротивление. А кто поможет ему, если не будет стрелков?

— У меня не хватает аргументов, чтобы расшевелить ребят... — признался Екаб в партийном комитете дивизиона, куда съехались товарищи из Военно-революционного комитета и парткома дивизии.

— Не хватает аргументов, говоришь?— подскочил к Екабу незнакомый товарищ в комиссарской кожаной тужурке, круглолицый, с довольно широким носом и светлыми глазами, лет сорока. — У старого фронтовика и коммуниста вдруг не хватило

аргументов? Что за люди в вашей части собрались? Одни новобранцы из староверов да латгальские селяне, что ли?

— Да нет...

— Или интернационалисты к националистам переметнулись?

— Ну, нет...

— Ладно, пошли к вам в часть!

— Товарищ Берновский, вы обещали вернуться сегодня в штаб,— возразил один из приехавших.

— Решение этого вопроса отменяет все мои обещания.

Два дня Екаб Гробинь с товарищем Берновским ходили по расположению стрелков. Берновский — председатель даугавпилского Военно-революционного комитета, член уездного комитета партии. Стрелки знали его как комиссара эскадрона, награжденного орденом Красного Знамени за отвагу, проявленную в начале года, при взятии Вентспилса. Берновский очень опытный партийный работник. Теперь Екаб сопровождал его в агитационных «рейдах». И все эти «рейды» в вилянском секторе кончались единодушной резолюцией ребят: «Поднимаемся! Едем на Южный фронт!»

«Разобьем белых головорезов в России, потом вернемся и выкурим белолатышей, баронских приспешников!»

Нельзя сказать, что товарищ Берновский влиял на ребят своим авторитетом подпольщика, политкаторжанина, лихого вояки или тем, что открывал им какие-то неизвестные до сих пор истины.

В беседах и на митингах он с какой-то особой, ему одному присущей интонацией повторял то же, что говорил Екаб и его товарищи, что писалось в газетах.

«Нескольким тысячам латышских стрелков, даже если бы у них в ротах были одни легендарные Курбады да Лачплесисы или одни герои Поворина и Казани, Латвии без поддержки Советской России от мирового империализма не защитить. Даже если бы мы отвоевали для красной коммуны все города и усадьбы по ту сторону Айвиексте и Даугавы. Надо сперва перешибить хребет Деникину, а то полки интервентов четырнадцати стран все равно одним ударом расправятся с рабочей Латвией. А защитников ее перебьют как кроликов. Что такое белый террор, как выглядит страна, усмиренная интервентами, мы знаем. И если даже кто-нибудь из нас уцелеет, отвернувшись ради этого, может быть, от рабочего дела, то в белой Латвии он все равно будет батрачить на баронов, кулаков или на заморских буржуев, явившихся в остзейскую провинцию Германии — в прусскую колонию. На это, очевидно, и метят призванные Ульманисом и Мендером наемники генерала фон дер Гольца. Наоборот, разбив Деникина, мы навсегда останемся людьми, сохраним человеческое достоинство. Обществу необходимы люди. Товарищи, и если бы случилось самое страшное —

если бы советская власть осталась в теперешних границах,— то и тогда мы, защитники Советов, по-прежнему будем надеждой всех угнетенных и жаждущих свободы, будем звать всех к борьбе».

Екабу очень хотелось разгадать секрет товарища Берновского, но это ему никак не удавалось. Хоть он и присутствовал при всех беседах председателя ревкома. И с шумливыми спорщиками, и с недоверчивыми ворчунами, и с угрюмыми молчальниками.

«Видно, мне еще сильно подтянуться надо, чтобы из меня вырос настоящий агитатор»,— думал он.

Пройдут годы, много десятков лет, и историки займутся исследованием битв гражданской войны, изучат в архивах коряво написанные боевые приказы и донесения, сохранившиеся на истлевших клочках бумаги, и расскажут о сознательности и дисциплинированности латышских ребят, лишь мельком упомянув про агитатора Екаба Гробиня. И про Фрициса Берновского, обладавшего завидным даром убеждать и вести за собой людей. Историки напишут: «Латышские стрелки шли против Деникина, как всегда верные своим интернациональным традициям. Еще в семнадцатом году латыши стали в строй борцов за социалистическую революцию под ее знаменем и не оставляли своего места во все эти суровые, долгие как жизнь годы гражданской войны, и благодаря их пролетарской сознательности и дисциплинированности их слава стала легендарной».

«А стопроцентный пролетарий Ляуден так и не уехал... — говорит про себя Екаб, вспоминая последние дни перед отправкой из Латгале. — Пристроился к тифозным, лег в изолятор. И Содума, кажется, Аполя к рукам прибрала...»

Когда эшелон сворачивает на другую ветку и дождь начинает хлестать стрелков, стоящих в распахнутых дверях, прямо в лицо, Екаб отступает поглубже в теплушку.

* * *

— Толкай... Толкай, хоть кровь из носа!.. —осипшим, застуженным голосом кричит Екабу Гробиню стрелок, навалившийся вместе с ним на орудие. Толкая трехдюймовую гаубицу, они выше икр увязли в ржавой, липкой, как тесто, глине; колеса приподнятого стрелками орудия снова засосало. Но орудие во что бы то ни стало надо продвинуть вперед, хоть саженей на двадцать, до бугра, с которого можно бить по накапливающимся на противоположном берегу оврага деникинцам.

— Взяли!— напрягая последние силы, отзывается Екаб, стараясь упереться скользящей в грязи ногой. — Взяли!

Зелено-серая металлическая громада продвинулась всего лишь на несколько футов. У Екаба на ногах, кажется, лопаются вены; плечи, позвоночник словно зажаты в тиски. Еще мгно-

вение, и он свалится под колесо. Но ребята поднатужились, и орудие, покачиваясь, заскользило вперед. Десять... двадцать... пятьдесят... сто... сто пятьдесят шагов.

Едва гаубица покатилась по более твердой почве и артиллеристы, даже не отерев пота, взялись за лопаты — готовить позицию, Екаб вместе с другими пехотинцами кинулся назад — помогать тащившим зарядные ящики артиллеристам. Лошади у них — загнанные клячи. На могилевской станции силач из второй стрелковой роты Рейнхолд, издеваясь над «одрами» артиллеристов, забрался коняге под брюхо, закинув себе на плечи ее передние ноги, и, как Ояр в рассказе Лерха-Пушкайтиса, протащил ее на себе сажени три.

Вместе с другими орудия тащит и стрелок второй роты Анна Свилле — «огневой парень». По дороге в Кромы ее привел в часть комиссар батальона, и в тот же день Свилле с винтовкой в руках широким мужским шагом пошла со взводом стрелков останавливать деникинцев — из полков генерала Корнилова или Дроздова. Железнодорожники на станции и бойцы из местной красной заставы уверяли, что наступает то один, то другой генерал, а иногда и оба вместе. (Худо дело: никто здесь ничего толком не знает о противнике. Просто не знают, где он, собственно, находится!) Когда авангард стрелков встретил несколько перепуганных, плохо вооруженных красноармейцев, Анна одной из первых кинулась останавливать их.

— Ружье в руки — и марш назад! — крикнула она плечистому бородатому казаку. — Где белые?

— Совсем, совсем близко! — Детина хотел было улизнуть, но пришлось идти со взводом обратно, туда, откуда он удирал.

Через час с лишним прискакали три стрелка из конной разведки.

— Белых нигде поблизости нет! — доложили они. — А в той деревне провозглашена коммуна, и сами селяне коммуну эту охраняют. Ждут подмоги от регулярной Красной Армии.

— Слышал, что селяне делают? — крикнула Анна бородачу. — А ты что? Драпаешь черт знает от кого!

— Ей-богу, там белые, офицерские полки... Броневики у них... Обмундированы, как на парад... Все у них, что для войны надобно.

— Самого главного у них нет — поддержки трудового народа, революционной силы.

В деревне, где уже успели создать коммуну, Анна выступила на митинге:

— Все мы на этом фронте принадлежим к регулярной Красной Армии. Нам во что бы то ни стало надо удержаться и разбить белых!

Потом, когда ударная группа, состоявшая из красных украинских казаков под началом Примакова, пластунской бригады Павлова и девяти латышских стрелковых полков, принялась

вбивать клин в линию фронта белых, Свилле в наступлении всегда была среди первых смельчаков. Выскакивала вперед парней и бесстрашно кидалась на огневые точки деникинцев.

— Я не схожу с ума,— отвечала она корившим ее за излишний азарт товарищам по роте и комиссару,— а выполняю свой долг.

Прозвище «огневой парень» Анна получила в ожесточенных схватках под Кромами, в которых стрелки, не переставая, колошматили дроздовские полки, прибегая к недавно придуманной тактике: пехотинцы залегали, а двигавшаяся за ними артиллерия открывала по белым огонь прямой наводкой. И только чванливые «завоеватели Москвы» начинали отступать, пушки замолкали, а стрелки косили и преследовали противника. Тем временем артиллеристы с приданными им в подмогу пехотинцами подкатывали орудия поближе, и опять шрапнель делала свое дело.

Немало наплескавшись в клокотавшей глинистой воде и форсировав реку Кромы, стрелки втащили орудия на раскисший от дождя крутой берег. Окончательно выбившиеся из сил стрелки сами не понимали, как это им удалось.

Зарядные ящики по ось застревали в вырытых артиллерией колеях. Быть может, в тех самых ямах, которые накопали артиллеристы, вытаскивая завязшие орудия.

— Нечего с зарядными ящиками возиться! Ну их к лешему! Хватайте снаряды и тащите к орудиям! Живо!— Усатый стрелок поднял упавшую в грязь винтовку и полой шинели вытер ствол. Видимо, он и возит боеприпасы.

— Живей, живей, пока офицерье не очухалось!

— Уже очухалось! Слышь, как костлявая засвистела!— Свилле передала Екабу плетенку из прутьев с двумя снарядами, схватила с повозки другую и, согнувшись, потащила к орудию.

— В самом деле костлявая засвистела!— только теперь Екаб понял, что в воздухе зашумело не от припустившего дождя, а от деникинских пуль, жужжавших, как растревоженный осиный рой. Изнуренные, выбившиеся из сил лошади заметались, задергались, забились в оглоблях.

Рядом с Екабом, застонав, упал плашмя на спину тащивший снаряды стрелок-усач, крикнувший, чтоб оставили повозку. Екаб, то и дело петляя, бежал изо всех сил, но Анну из виду не упускал. «Огневой парень» была уже у цели. (Как она это успела?) Едва опустив свою ношу к ногам артиллеристов, она бросилась вперед и легла в цепь стрелявших по белогвардейцам пехотинцев.

То, что теперь переносили стрелки, красноармейцы, было выше всяких человеческих сил. Екаб тоже лег рядом со стрелками и вскинул винтовку, целясь в наступающих, которые шли

плотным, широко развернутым строем. Екаб целился, ища в массе фуражек с кокардами одну — самую главную.

«Если бы мне раньше кто-нибудь сказал, что человек способен такое выдержать, я ответил бы ему: ложь! И поди знай, может быть, после войны, спустя годы, сами участники этих битв не поверят, что все было именно так. Что горстки красноармейцев обращали в бегство дивизии и корпуса белых».

Гремят выстрелы; разрывая сырой воздух, воют над головами стрелков снаряды. Вспыхивают оранжево-желтые огни, вверх летят комья земли, и не только земли...

Еще залп, еще... И вот залегшие в цепи стрелки вскакивают и бросаются на растерявшихся белогвардейцев.

— Куда ты, шальная?— крикнул Екаб Свилле, кинувшейся в сторону от взвода. К пригорку, что справа от белых. — У них там... пулемет!

Правильно, пулемет надо заставить замолчать. Чтоб не косил ребят. И Екаб помчался за «огневым парнем».

Сырой воздух вздрогнул, раздался словно звон разбитого стекла, Екаба будто придавило каменной глыбой. Перед глазами завертелись стрелки, деникинцы, пушки, которые он недавно тащил. Мелькнула грязная, клокочущая река Кромы, широкая, как Даугава... Затем — истоптанное лагерное поле в Трикате, позиции в степи под Поворином... Винтовая лестница в средневековом здании в Старой Риге... И — близко-близко — улыбающееся лицо девушки... И он провалился куда-то глубоко-глубоко.

3. ЕСТЬ ДНИ, К КОТОРЫМ ПАМЯТЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ

Петерис Стучка работает с юношеским задором. Совсем как в те далекие дни, когда он редактировал газету новотеченцев, когда разделывал предводителей Рижского латышского общества и дегенерирующих прибалтийских барончиков.

Управившись за день с неимоверным количеством работы — с лекциями, совещаниями, законодательными актами, программами,— он поздними вечерами и в ночные часы читал газеты и специальные издания белой Латвии. Читал официозы — «Латвияс саргс» и «Валдибас вестнесис», газеты крупной буржуазии, «Социалдемократс» серых социалистов, и рижский бульварный листок «Яунакас зиняс». Знакомился с официальными документами и полученными нелегальным путем, расшифрованными Дорой донесениями и письмами товарищей из подполья.

И писал. Политические, анализирующие статьи для газет, декларации, воззвания. Отвечал буржуазным заправилам и их писакам. Бичующей, саркастической публицистикой, фелье-

тонами, в которых высмеивал «защитников дела своего государства», их «откровения», явное предательство.

Вот в центральном органе меньшевиков «Социалдемократс» в номере от 20 сентября напечатан очерк профессора Карлиса Балодиса о том, как обеспечить городское население Латвии продовольствием. Балодис рекомендует по-новому вести хозяйства видземских и курземских имений. Страдающие от нехватки рабочих рук имения (батраки убежали или ушли с Красной Армией!) надо снабжать работниками из города. Путем принудительной трудовой повинности для городской молодежи. «Каждый городской молодой человек от 18 до 20 и девушка — от 16 до 18 должны отбывать двухлетнюю обязательную трудовую повинность в имениях». Ну, как тут журналисту удержаться и не прокомментировать такое сенсационное «научно-социально-экономическое» открытие? И Петерис Стучка с упоением пишет. Совсем как в молодости в редакции «Диенас лапа», когда он в только что принесенном рассыльным номере «Балтияс вестнесис» находил очередную благоглупость какого-нибудь адвоката из высших кругов.

«Это в самом деле будет замечательное сельское хозяйство,— иронизирует он,— когда городские барышни в атласных туфельках и декольтированных платьицах будут доить коров, а кавалеры в лакированных ботинках и белых перчатках — придерживать коровьи хвосты, чтоб не хлестали доярок по ушам...»

И он напоминает о том, чего коммуна в Латвии успела добиться революцией в сельском хозяйстве. Что было затеяно в Видземе и что осуществляется сейчас в Латгале. Направление аграрной политики коммунистов Латвии — крупные хозяйства с современной техникой на базе современной агрономической науки. Направление это доказало свое превосходство над раздробленными хозяйствами. Вопреки военной разрухе, нехватке и подлому саботажу специалистов! Пускай что угодно болтают контрреволюционеры, но и то немногое, что сделано, ясно говорит: Советская Латвия очень скоро стала бы краем образцового современного сельского хозяйства. Это гарантировалось бы не только достижениями науки и техники, которые нашли бы наилучшее применение, но и аграрно-революционным плановым хозяйством, затеянным покойным Розинем, коллективизмом, которого больше, чем черт креста, боится буржуазия всех стран. Боится и всегда боялась. Еще во Франции, когда крестьяне после Великой революции приступили к кооперативной обработке помещичьих земель, правительство сразу же объявило это незаконным и запретило! Что могут противопоставить коммунистам навязанные немецкими и английскими фельдфебелями руководители «свободного государства Латвии» вкупе с их лояльной оппозицией — социал-демократами?

Цвет меньшевиков Латвии — Мендер, Пауль, Клара и Бруно Калныни, Циелен, Бастьян, Целм, Вецкалн — так и просятся

в памфлет. Они, в самом прямом смысле слова, выносят за буржуями горшки! По этикету английского двора, выносящие королевские горшки приравнены по своему положению к министерским чиновникам в ранге директора департамента. Их латышские коллеги выносят нечистоты за националистской буржуазией и иностранными империалистическими коммивояжерами. Ибо главный враг меньшевиков — революционная партия пролетариата, большевики. Сами меньшевики утверждают это! Хвалятся своим откровенным антибольшевизмом. Вот «Социалдемократс» пишет, что в восемнадцатом году Мендер ездил вместе с Виннигом в Берлин вербовать наемников для борьбы против пролетарской Латвии. Империалистическое правительство оплатило Мендеру все дорожные и другие расходы. «Социалдемократс» не скрывает, что теперешний делегат Латвии на мирных переговорах в Париже — второй лидер социал-демократов Циелен — в свое время организовал в Казани контрреволюционное восстание, за что был вознагражден английскими и французскими эмиссарами. А затем по поручению Антанты вербовал в Сибири пособников для Колчака. Известно, что друг семьи Калныней и Циелена — доктор Микелис Валтер находится на содержании у Англии. Но этого господину министру, оказывается, мало, он планирует «независимое в квадрате» литовско-латвийское государство в ущерб Германии. В разбазаривании народного достояния и территории Латвии мендеровская социал-демократия не отстает от буржуазии.

«Свободные республиканцы» распродают Латвию оптом и в розницу. Распродают за наличные, за товары и бумажные гарантии, чтобы содержать двор Временного правительства, своих и наемных полковников и сержантов. Распродают Латвию за «помощь» Антанты, которая вооружает латвийскую армию для войны со Страной Советов. Эрнест Бланк в «Латвияс ритс» говорит о создании стодвадцати — стопятидесятитысячной армии, способной разбить втрое превосходящие силы русских! В белой Латвии заложено или продано все, что только можно заложить или продать. Леса, железные дороги, фабрики, лен. И часть территории: Валка с окраиной ее уезда и уголок Валмиерской округи — эстонцам, а доходы от лиепайского порта отданы полякам.

«У социализма нет в жизни никаких шансов, в настоящий момент он лишь иллюзия»,— щебечет Клара Калнынь в трепетной боязни перед революцией. Партия меньшевиков с первых же дней своего существования до смерти боится «опрометчивости пролетариата». Знамя этой партии — малодушие. Не зря симпатии серых социалистов Латвии всецело на стороне германского социал-буржуя Хазе». (Хазе в переводе на латышский — заяц!)

Юношеский подъем и увлечение оттеснили медлительность Стучки, он легко подбирает сравнения, пишет бойко, игриво.

Анализ событий приводит к обобщающему выводу: карточный домик, увешанный пряниками дядюшки Вильсона, рухнет при первом же порыве революционного ветра. Неминуемо! Несмотря на то что на ульманисовском фронте в придачу к собственному главнокомандующему назначен английский генерал и в некоторых ротах солдат обучают английские инструкторы, солдаты отказываются воевать против Красной Армии. Мобилизованные в курземский полк выпарывают из красно-бело-красного флага белую полосу и поднимают красный флаг...

В Рижском порту бастуют грузчики, в Лиепае — рабочие железнодорожных мастерских... Когда, после многих варфоломеевских ночей в Риге, на ее окраине состоялось первое массовое нелегальное собрание, в городе объявили осадное положение. После выхода первого подпольного номера «Цини» по городу прокатилась волна обысков. Директор департамента охраны (латышской охранки!) «секретно» пишет господину советнику Министерства иностранных дел Циелену о том, что в Риге и в деревне огромное количество народу ждет коммунистов, что следует объявить преступлением, подобным принадлежности к компартии, и «ждущих» заключать в тюрьму.

«Интересно, по каким приметам будут определять, кто ждет коммунистов? Может, будет достаточно того, что человек поглядывает на восток?» — спрашивает Стучка.

«Латвия по-прежнему является оплотом революционного движения, с которым не в силах были справиться ни российский царизм, ни германский империализм, ни английская «демократия»,— пишет он.

* * *

...Перед заседанием Центрального Комитета Ленин на миг задержал Петериса Стучку в приемной, чтобы узнать его мнение.

— Я, как и все члены латвийского Цека, против заключения мира!

— Неужели?— Ленин не скрыл своего разочарования. — Петр Иванович, как же это так?..

— Надо считаться с реальностью.

— С реальностью?— Ленин сдвинул брови. — С какой реальностью? Мы, правда, одолели Колчака, Деникина, Юденича. Разгром белогвардейских армий — решающая победа Красной Армии над главными силами контрреволюции. Прямое следствие этой победы — прорыв блокады Советского государства, затеянной империалистами. Но этого еще мало. Общее экономическое положение России для латышских товарищей не является секретом. Разруха в промышленности, на транспорте... Болезни, голод... Прибалтика для нас — окно в Европу. Прибалтика может предоставить нам возможность для товарообмена с западными странами.

— Но все же... — покачал головой Петерис Стучка.

В самые критические для большевиков минуты он всегда соглашался с Лениным. И тогда, когда стратег диктатуры пролетариата оказывался в Центральном Комитете на время в меньшинстве. Он, Петерис Стучка, держал сторону Ленина и в тех случаях, когда не был еще до конца уверен в обоснованности теоретических и стратегических наметок Ильича. Для Стучки обычно достаточно уже того, что вопрос, положение выдвинуты Лениным, который никогда не злоупотреблял своим огромным авторитетом и каждое решение, каждую точку зрения предварительно согласовывал с товарищами.

— Владимир Ильич, вы, кажется, не совсем понимаете латышских товарищей! — Но кто же лучше его в свое время понял тружеников и большевиков Латвии? Разве Ленин с самого начала революционного движения в Прибалтике не был вместе с рижскими рабочими, с революционными социал-демократами Латвии? И разве не понимал он стремления трудящихся, марксистов Латвии тоньше других интернационалистов?

В начале восемнадцатого года, обсуждая вопрос о брестских мирных переговорах, Ленин рекомендовал Центральному Комитету партии освободить латышских товарищей от голосования «за» или «против», поскольку мирный договор с Германией был для них трагедией. Во время эсеровского мятежа, когда каждый час могла решиться судьба советской власти, Ильич дал стрелкам отпраздновать Янов день и уже тогда поднял их по тревоге. Осенью восемнадцатого года Ленин настаивал на том, чтобы латышские коммунисты провозгласили свою независимую республику, и, после того как трудовая коммуна Латвии стала юридическим и территориально-государственным объектом, его отношение к хозяйственным и культурным особенностям даже вызывало недовольство отдельных деятелей Российской Федерации. Когда некоторые московские и петроградские схематики еще до того, как Советскую Латвию зажали в огненные тиски иностранные интервенты, принялись обвинять латышских большевиков в националистических «загибах» и «сепаратизме» (в недопустимых, как они считали, отступлениях от принятых шаблонов), Ленин напомнил крикунам, что своеобразие Латвии обусловливается высоким капиталистическим уровнем развития Прибалтийского края, что и предполагает известные особенности в структуре власти и хозяйственном устройстве.

После рижской катастрофы, когда на Центральный Комитет Компартии и Советское правительство Латвии посыпались обвинения (и даже в том, что коммунисты Латвии были слишком снисходительны к буржуям), Ленин заявил в Центральном Комитете Российской коммунистической партии, что эти нападки необоснованны. И Центральный Комитет единогласно поддержал его!

Стучка все это отлично помнил. И все-таки не мог согласиться с предложенным Лениным мирным договором. Советская Россия заключала мир с узурпаторами, попирающими достоинство латвийского народа, латышской нации. С ульманисами, чаксте, мейеровицами. С аферистами и спекулянтами, которые в самую критическую для нации минуту, в пору нашествия бермонтовских банд, удрали из Риги в Цесис, бросив на произвол судьбы поднявшихся на смертный бой рабочих и учащуюся молодежь. Ни во что не ставя какую-то независимую Латвию, из Риги, в роковой для нее час, удрала вместе с Ульманисом и «социалистическая оппозиция» белой Латвии — меньшевистские лидеры. И вот их вождь — доктор Мендер — направляется теперь в Москву в составе делегации, собирающейся договориться с Советским правительством об обмене заложниками.

(Серые социалисты лезут в ульманисовские заступники, домогаясь для буржуазного правительства территории всей Латвии, чтобы получить для своих партийных функционеров побольше высокооплачиваемых директорских и начальнических постов.)

Противно даже думать о равноправных переговорах с такими партнерами. Противно думать о том, что представители рабоче-крестьянской республики сядут за один стол с шулерами и тартюфами!

Кто дал право ульманисам, мейеровицам и калниням выступать от имени народа? Хваленый Народный Совет Латвии — всего лишь кучка набранных под надзором немецкого фельдфебеля выскочек из латышской буржуазии и клерикалов.

Что Центральный комитет Компартии Латвии, что он, Петерис Стучка, скажут тремстам тысячам латвийских беженцев, бывшим батракам имений, рабочим, ремесленникам, бывшим арендаторам, их семьям, добровольно эмигрировавшим в мае, после немецкого вторжения? Они требуют справедливой мести надсмотрщикам, душегубам — заправилам «латышской Латвии», вербующим по всей Европе убийц, чтобы науськивать их на своих соплеменников. Триста тысяч — это почти целый народ, маленькая нация. И эти триста тысяч верят, что над Ригой, Курземе, Видземе снова загорится звезда красной коммуны.

В зале заседания Стучка присоединился к группе товарищей из Центрального комитета Компартии Латвии, прибывших из прифронтовых районов: Ленцманису, Данишевскому, Карклиню, Бейке, Берце.

— На этот раз я первым говорить не буду,— сказал он. — Прошло уже несколько месяцев, как я из Латвии, из Латгале.

Он уселся с краю и поглядывал на Ленина.

Ленин слушал выступающих внимательно, даже пристально. Время от времени он поглаживал ладонью затылок — признак напряженной работы мысли.

Товарищи из прифронтовых районов рассказывали, что на-

род привела в ярость «опора порядка» белой Латвии — немецкие, финские, эстонские и польские проходимцы. В ульманисовских войсках наблюдается брожение, новобранцы переходят на сторону красных. Свирепствует белый террор, зверствуют этапные комендатуры и охранные роты. Созданы концентрационные лагеря, немцы помышляют о новой колонизации Латвии. Городская и сельская мелкая буржуазия в «собственном государстве» разочарована, единодушно бастуют рабочие, выражают свое недовольство безземельные крестьяне.

— У Латвии нет настоящего правительства,— заметил Стучка. — Всеобщие выборы там не состоялись. Давно обещанное Учредительное собрание так и не избрали.

— Да, все это так,— сказал один из членов Центрального Комитета.

— Дорогие товарищи,— начал Ленин. — Дорогие товарищи, война дело серьезное. Нам во что бы то ни стало надо покончить с войной на всех фронтах, в том числе и на латвийском. Мы должны постараться восстановить наше хозяйство... Вы знаете, что для заключения прочного мира мы сделали уступки всем входившим ранее в состав бывшей Российской империи государствам. Это и понятно, ибо одна из главных сил, заставивших народ ненавидеть империалистов и сплачиваться против них,— это угнетение национальностей. Не много найдется в мире государств, грешивших в этом так, как бывшая Российская империя и связанная с меньшевиками и эсерами буржуазная республика Керенского. Вот почему мы больше всего идем на уступки этим государствам, принимаем условия мира, за которые кое-кто из эсеров чуть ли не обозвал нас толстовцами.

Большинство Центрального комитета голосует за мир... Мир будет заключен... Стучка страдальчески поджимает губы. Свербит, ноет, колет где-то под лопатками, на левой стороне груди. Пока будет существовать человечество, человек будет страдать за свою родину...

* * *

— Эферту костюм куда нужнее... Эрнест ходит совсем ободранный. — Петерис попятился назад, и между ним и товарищем, принесшим сверток, оказался громоздкий коричневый мягкий стул. Петерис бросил беглый, но выразительный взгляд на Дору. (Понимаю, пожаловалась, что муж обносился!)

— Не забыт и Эрнест Эферт. — Гость, бывший председатель исполкома Рижского Совета рабочих и комиссар финансов правительства Советской Латвии Рудольф Эндруп, снял запотевшие очки в металлической оправе, протер круглые стекла, затем развернул свой сверток и положил его на спинку массивного стула. Пиджак, жилет и брюки из сине-черной материи.

— Нанка, настоящая нанка. Довоенный товар. Что такое нанка, Петерису Стучке надо бы знать. Помню, как эту грубую хлопчатобумажную ткань некий петербургский газетчик, писавший под псевдонимом Параграф, назвал в газете «Ародниекс», которую я редактировал, чертовой кожей. Писал, что городские рабочие Латвии носят платье из чертовой кожи. Но этот нанковый костюм мне, конкретно, поручили преподнести тебе резекненские пролетарии. Надо полагать, товарищ Стучка не причисляет резекненцев к непролетарским элементам?..

— Я попросил бы без демагогии.

— Примерим, — Дора засучила рукава своего жакета (в еле-еле протопленной квартире холодно, как на улице!), взялась за разложенную Эндрупом на стуле тройку, расстегнула на муже пиджак. — Если нанку посылают тебе резекненские рабочие...

— Это он, Рудольф, сам придумал,— продолжал сопротивляться Петерис. — Может быть, кому-нибудь из товарищей и на самом деле...

— Ничего я не придумал. — Эндруп принялся помогать Доре. — Думаю, что за пятнадцать лет совместной работы в партии Стучке следовало бы знать, что я больше всего не выношу подхалимства. И не будь, Петерис, католиком, не пытайся уверять, что тебе безразлично, как с тобой прощаются рабочие Латвии во время, когда между ними и Москвой возникают пограничные столбы, рвы и заставы... К тебе они относятся с искренней товарищеской теплотой...

— С теплотой отчуждения?— съязвил Стучка.

— От огорчения ты, Петерис, становишься несправедливым,— вмешалась Дора.

— Из-за этого мирного договора он даже с Владимиром Ильичем повздорил. (Это Дора сказала уже Эндрупу.)

— Слышал. — Эндруп принялся тереть лоб, словно у него вдруг разболелась голова. И стало видно, как постарел и устал этот обычно бодрый, крепкий земгалец. Не зная истории жизни Эндрупа, не зная, что он, один из основателей латышской социал-демократии, руководителей боевых дружин в девятьсот шестом году, много лет протомился на каторге и тюрьмах, можно теперь дать ему куда больше пятидесяти. Бодрость духа Эндруп, как и Петерис Стучка, сохраняет только благодаря сверхчеловеческой силе воли. — Слышал, как же! — Он опустился на стул. — Должен сказать, что на твоем месте и я, и многие другие противились бы этому точно так же. Подписывать договор с бандой насильников, с бандой, навязанной народу иностранными колонизаторами... Но...— на миг он словно задержал дыхание, — все же Ленин оказался прав. Советская Россия должна была заключить этот мир... Сознательность и выдержка рабочего класса и крестьянства России — не бездонный ларь из народных сказок. Когда-нибудь и о дно стук-

нешься. По дороге в Москву мы из Резекне сюда, к твоему сведению, путешествовали без малого четыре дня, и я до тошноты насмотрелся на разруху в России. По населенным местам словно промчались тайфуны. Ничто, ни камень, ни железо, не устояло против разрушителей. И людей каких я видел? Жалких нищих, изнуренных оборвышей. На станциях, на привокзальных площадях, на сельских дорогах. Да и тут, в Москве, чуть ли не в каждые двери стучится смерть. Всюду голодающие, всюду спекулянты. Много спекулянтов. Хотя иногда кажется, что без них еще хуже было бы. На Сухаревке, на Театральной площади в очередях к котлам с пшенной похлебкой стоят даже советские служащие. Платят спекулянтам по девяносто рублей за поварешку водянистого варева. Платят, потому что не может же человек прожить с семьей на одних пустых щах и кашице из мороженой картошки, которые выдают в общественных столовых.

Всюду очереди. Они тянутся чуть ли не верстами. К водоразборным колонкам на углах улиц, за санками, чтобы отвезти на кладбище покойников... Но Ленин твердо верит в творческие силы народов России, развязанные революцией. И если Ленин говорит, что справиться с военной разрухой, построить богатую, счастливую коммунистическую Россию возможно лишь при условии, что страна получит мир, то наш долг — помочь Ленину дать России мир. Даже жертвуя ради этого чем-то, для себя очень дорогим, своей кровью...

— Видно, человек не всегда может быть совершенно объективным,— пробормотал Стучка. — Абсолютно объективной и беспристрастной бывает только сама действительность, а люди обычно подвержены вполне человеческим слабостям.

— Однако человеку дана способность свои слабости преодолевать.

— Работой, в работе,— отозвался Стучка. — Это я и делаю. Судебным учреждениям Советской России я, разумеется, уделяю только часть своей деятельности. Другая — это книги... Ну, скажем, лекции по историческому материализму.

— А аграрная революция, коммунистическая аграрная политика? Кто из нас, кроме тебя, может написать продолжение к «Латышскому крестьянину» Фрициса Розиня?

— Ты посмотри,— повернулся Стучка к Доре. — Искушает, как Мефистофель Фауста. Я думал и об аграрной революции в Латвии. Собирался писать. Научно-популярную, полемическую работу. Разумеется, то, что я скажу, особым открытием не будет. Об этом, наверно, можно прочесть и у других авторов, и, возможно, даже в гораздо лучшем изложении. Но в свою книгу по аграрному вопросу в Латвии, о работе с землей я стараюсь включить новые или еще мало известные факты. И дать научно обоснованные ответы на все спорные вопросы, выдвигаемые оппортунистами и меньшевиками против революционного марк-

сизма. Концентрация в сельском хозяйстве, крупные и мелкие хозяйства, теория падения урожайности земли, вопрос земельной ренты, аграрный вопрос в эпоху пролетарской революции. Надо ясно заявить, что в наш век аграрная революция каутских и мендеров — не что иное, как призыв обратно, к старому порядку. А марксисты не смеют уводить земледельцев от достижений науки и техники. Для того чтобы земледельцы поняли свое положение, мы должны с марксистских позиций проследить всю аграрную историю до нашего времени и аграрные революции в Прибалтике. И раскрыть ошибки,— если такие были,— допущенные в сельском хозяйстве латвийской коммуной. Надо сказать, что лозунгом «свой уголок, свой клочок земли» еще тысячу лет назад демагогически оперировали римляне братья Гракхи и Сципион.

Мне как разорившемуся крестьянину, который, по утверждению столпов буржуазии, промотал отцовскую усадьбу и ушел в город в погоне за легкой жизнью,— иронизировал Стучка,— мне как коммунисту всегда казалось, что я в долгу перед своими прежними братьями по классу — крестьянами и нынешними безземельными крестьянами. Я в долгу перед ними, потому что убедительно, на фактических материалах, не разъяснил им правду о неизбежности социалистической аграрной революции. Но я хочу это сделать сейчас. Когда в Латвии осталось совсем мало теоретически всесторонне образованных партийцев и когда молодым членам партии приходится воевать и против национал-шовинизма, и против меньшевистской контрреволюционной аграрной политики. Товарищи в Латвии должны теперь знать марксизм гораздо глубже, чем знали его мы на заре своей деятельности. Должны знать Маркса, Ленина, должны знать исследования по экономике Латвии, историю...

— Которые мы велим напечатать в Пскове под грифом издания Коммунистической партии «Спартак». Пиши, Петерис, пиши!

Эндруп встал и направился в прихожую, где оставил свою сумку. Вскоре он вернулся с завернутой в газету парой юфтевых сапог.

— К новому костюму пойдет такая обувь.

* * *

— Владимир Ильич, товарищ Ленин... Мне... велели передать вам, что открытие Конгресса состоится часом позже, но я... — услышал Стучка из-за двери, ведущей из коридора в комнату фракции российских коммунистов, взволнованный женский голос.

— Но вы не могли найти меня, не правда ли?..

— Не могла, товарищ Ленин...

— В таком случае... — И по эту сторону лакированных дверей появился Ленин. — А-а, Петр Иванович? — он протянул руку. — Вы тоже пришли раньше времени?

— Я был на совещании представителей коммунистов прибалтийских стран.

— И товарищи из секретариата не знали, где вас искать? Это бывает. К сожалению, бывает. В организованности и дисциплине нам еще кое-чему не мешало бы поучиться. — Ленин пригласил Стучку в комнату, из которой только что вышел. — Мы с вами, Петр Иванович, давненько не беседовали в неофициальной обстановке. Может быть, воспользуемся этим внезапно подаренным нам часом?

«Теперь,— подумал Стучка,— теперь я признаюсь Ильичу: тогда, перед заседанием Центрального Комитета, я в разговоре с ним о мире с ульманисовцами был субъективен. Ибо что такое Латвия по сравнению с закреплением завоеваний революции в России и на Украине? И хотя точка зрения латышских коммунистов на буржуазную Латвию, на ее руководителей осталась прежней, мы, после того как вопрос решен Центральным Комитетом Российской коммунистической партии, ни публично, ни между товарищами против сделанных уступок не возражаем».

Но Ленин, кажется, и не помнил о разговоре, давившем Стучку, как предгрозовая духота.

— Вы, латышские коммунисты, у себя в Советской Латвии, повели дальновидную политику социалистического сельского хозяйства? — Ленин бросил на Стучку беглый вопросительный взгляд. И показал рукой на широкие приземистые кресла в углу за столом.

Комсомолка в очках, которые, казалось, еле-еле держались на носу, выкладывала на стол и громоздила стопками только что вышедшую «Детскую болезнь «левизны» в коммунизме» Ленина, доклады делегатов Конгресса и другие материалы.

— Расскажите, пожалуйста, еще раз конкретно о советских хозяйствах, созданных вами в бывших имениях. Если я не ошибаюсь, их было более двухсот?

— Двести тридцать девять, товарищ Ленин.

— Достойная внимания цифра.

— Бо́льшая часть баронских и церковных имений в Лифляндской и Курляндской губерниях, имений, площадь каждого из которых превышала триста пурных мест. В некоторых советских хозяйствах, хотя они в общем-то были созданы для широкого производства продовольствия, мы старались сохранить их прежний профиль, превратить их в питомники племенного скота, саженцев и семян. Там была занята наемная рабочая сила — бывшие сельские пролетарии: полеводы, скотоводы, садоводы. Они трудились сознательно: в зимние ме-

сяцы почти во всех имениях, хоть и сильно разграбленных оккупантами, хорошо подготовились к севу и весною землю в советских хозяйствах хорошо обработали,— рассказывал Стучка. — Мы старались дельно использовать потенциал сельского хозяйства Латвии и как можно скорее превратить латифундии в настоящие социалистические хозяйства, труд земледельца мы хотели преобразовать при помощи машин и, кроме того, призвать на помощь специалистов из города. В сельском хозяйстве мы, как и в промышленности, заботились о хорошей организации труда, ставя в основу всего хозяйственный расчет, рост производительности...

Он хотел еще сказать, о чем говорил в свое время с Фрицисом Розинем и другими энтузиастами латвийской сельскохозяйственной революции, к чему пришел недавно, работая над книгой «Труд и земля». Но удержался. Болтовня! Он, Стучка, решил разъяснять вопросы социалистической аграрной политики такому теоретику марксизма! Говорить ему о том, что во время политической революции нет ничего вреднее, чем непоследовательная, неуверенно направляемая политика, что все известные ранее в истории аграрные революции, под какое знамя ни собирали бы они крестьян, звали восставших обратно к прошлому, старому, в то время как аграрная революция социализма должна совершенствовать прогрессивное будущее, исходя из достижений современной науки. Что хватит звать крестьян назад к «счастливым временам отцов» — к патриархальному хозяйствованию!

Или что: если существует переходный этап между капитализмом и коммунизмом, который Маркс в письме к Брауну называет диктатурой пролетариата, то такой переходный вариант тем более должен быть в крестьянстве, в сельском хозяйстве вообще.

И Петерис Стучка только и сказал Ленину, что латвийские коммунисты строго придерживались Маркса: старались приравнять мелких крестьян к пролетариату. Мелкий земледелец, не взрослые еще или престарелые члены его семьи изнашиваются работой значительно интенсивнее и живут куда беднее наемных работников в имении. В опустошенной Латвии сельскохозяйственные рабочие советских хозяйств в девятнадцатом году пили цельное молоко, мазали на хлеб масло, что по сей день возмущает прибалтийскую буржуазию. Он привел факты: в стольких-то советских хозяйствах было сделано вот это, в стольких-то — вот то. А во второй половине года в Латгале, где такие же деревни, как в Белоруссии, еще и вот это.

— По-моему, латвийские советские хозяйства за время своего короткого существования полностью себя оправдали...

Ленин оживился.

— Чтобы увидеть по-настоящему, насколько они оправдали себя, потребовалось бы года три. Хотя в принципе вы, кажется, правы. А теперь о Конгрессе. — Он посмотрел в сторону. Вот в двери уже мелькнул курчавый вихор секретаря исполкома Коминтерна, а за ним просунул голову делегат из Китая. — Вам, Петр Иванович,— сказал Ленин, вставая,— придется участвовать в аграрной комиссии Коминтерна. Свяжитесь с венгерским товарищем Ракоши и другими избранными в комиссию товарищами. Подумайте о тексте резолюции.

Стучка искал делегатов Компартии Латвии. Виктор — то есть Крастинь — сегодня должен встретиться с товарищами, переправившимися из Латвии. Но латышей Стучка здесь не увидел и вышел в коридор, где толпились ленинцы России и пионеры коммунистического движения из разных концов света. Голландские транспортные рабочие, английские профсоюзные организаторы, немецкие спартаковцы, испанские синдикалисты, руководимые Грамши итальянцы, рабочие Америки, венгерские красноармейцы, революционеры из Индии, Кореи, Персии, Ирландии, Аргентины, Австралии. У некоторых из них — как у левой немецкой группы и голландской Паннекука-Хоретера — еще довольно смутное представление о том, что такое коммунизм, диктатура пролетариата, парламентаризм и боевая партия рабочего класса.

У фракции коммунистов России, у единомышленников Ленина, будет с ними на Конгрессе немало хлопот. Пока этот многоязычный конгломерат поймет, как необходимы идейно сплоченные, созданные по принципам централизма, боеспособные национальные коммунистические партии. Пока они придут к единодушному решению: в коммунистической партии оппортунистам и реформистам не место. Коммунистический Интернационал должен стать теоретическим и стратегическим центром борьбы пролетариата всего мира. Центром национально-освободительной борьбы угнетенных, колониальных народов.

Из города, сквозь окна Таврического дворца, словно шум разбушевавшейся Невы, доносятся звуки труб и все нарастающий гомон голосов. Петроградцы и съехавшиеся на Конгресс из губерний собираются на улицах и площадях для массовых демонстраций в честь Коммунистического Интернационала.

По Дворцовой площади гулким шагом проходит отряд моряков или молодежи. Они поют на мотив матросской плясовой:

Джим, подшкипер с английской шхуны,
Взвесил свой каждый шаг:
И во имя идеи коммуны
Поднял он красный флаг...

Стучка остановился и прислушался: «Погоди, они же поют... о недавнем революционном выступлении в черноморском порту. О матросах, которые с возгласами «Руки прочь от советской власти!» подняли красные флаги...»

— Я ни на что не жалуюсь. — Дора прильнула к мужу. Привлекла его голову к своей груди и натянула повыше одеяло вместе с накинутыми на него покрывалами (комната и постель сегодня опять холодны как лед!). — Я счастлива, что могу помогать тебе. Я хорошо понимаю, что природа не одарила меня незаурядными способностями, но мое существование оправдывается участием в труде другого, более одаренного человека. А если я теперь заныла, то потому, что над моей головой пролетели черные птицы. И прокричали о женской обиде... Ну... ты же знаешь, о чем я говорю. Когда я вижу матерей с малышами, мне становится обидно. И я думаю: если бы тогда в клинике оказались современные врачи, теперь, быть может, кто-нибудь называл бы меня мамочкой... Петерис, ты должен меня понять. — Она потерлась лицом о щеку мужа.

— Понимаю, понимаю... Ты... — Он осекся и не сказал «ты моя глупенькая». Пожилым людям такие нежности не к лицу. Не к лицу ласкательные слова. Хотя и старикам хочется порою ласки не меньше, чем молодым. — Я, друг, понимаю, как тебе трудно. — Стучка погладил худые плечи Доры, сдержав рвавшиеся с губ слова: «Тебе ничуть не легче, чем матерям, которым нечем утолить голод своих детей».

Но о голоде с Дорой лучше не говорить. Не бывает почти дня, чтобы она не отдала кому-нибудь свою обеденную похлебку. Товарищу, у которого большая семья, беженцу из Латвии... А сама довольствуется черными сухарями, которых Эйхе привез осенью из Латгале целый мешок, и бурым, безвкусным кофе. «Они нуждаются в лучшей пище,— оправдывалась Дора. — Они делают трудную работу, много ходят. А на это, как известно, требуется больше энергии. Было бы несправедливо, если бы такая домоседка, как я, поедала калории, без которых другим никак не прожить».

Петерис понимал альтруистические побуждения Доры — желание жить в соответствии с общественными принципами будущего, предполагающими постоянное сознательное подчинение личных поступков и потребностей индивида интересам общности, коллектива. Самосовершенствование личности, рост ее не происходят сами по себе, механически, вместе с развитием мировой революции. Человечный человек, великий демиург, бескорыстный, кристально чистый, о котором с завидным вдохновением говорили прорицатели будущего — поэты и мыслители, не возникнет из ниоткуда. Он возникнет в на-

шей общности, созданной нашей волей. А в создании чего-то нового решающую роль всегда играет пример, поступок живого человека.

Дора хотела быть полноценной коммунисткой и в отношениях с другими, и в требованиях к самой себе. Петерис может гордиться, что судьба подарила ему такую спутницу жизни. Только Дора вот уже столько времени больна, тяжело больна. (Гипертония, невралгия, больная печень!) Дору надо щадить, беречь.

Помимо всего, Дора его незаменимый помощник — она собирает материалы, корректирует, сверяет рукописи; без такого личного секретаря, как Дора, Стучке не осилить и третьей доли своих публикаций. Тем более теперь, когда приходится прямо обгонять время. Анализировать, оценивать все возникающее, нарождающееся, заниматься проблемами будущего. Быть готовым к стремительному чередованию мировых событий. Конгресс Коминтерна доказал, до чего мир полон очагами возможных взрывов социалистической революции. Доказал, что одно из последствий мировой войны — всеобщий кризис капитализма, из которого есть только один выход — коммунизм. Поэтому надо создавать средства теоретического, марксистского просвещения. Прежде всего следует заботиться о материалах политической агитации, требуемых местными условиями, для молодых товарищей. И для пролетариев Латвии, огражденных от строителей социализма пограничными рвами и колючей проволокой.

— Петерис,— Дора подвинула голову повыше на подушку.— Мать Сергея Лазо, Вера Григорьевна, знает о смерти своего сына?

— Думаю, товарищи ей этого не сказали.

— Но Вера Григорьевна может узнать правду от других.

— Может случиться.

— Петерис, ты так бесстрастно, спокойно говоришь об этом.

— Я сказал: может случиться.

— Не должно случиться. Нельзя допустить, чтобы мать товарища Лазо вдруг узнала правду об ужасной гибели сына. Что его живого бросили в паровозную топку.

— Контрреволюционеры, уничтожая своих противников, на все способны. Они стреляют, топят, сжигают. В июне белолатышские офицеры в Страдах Яунгулбенского уезда схватили Алму Вейсман — она была беременна,— связали ее и, живую, втолкнули в горящий дом.

— К жертвам контрреволюции мы должны быть очень чуткими. Петерис, мать Сергея Лазо нам надо взять к себе. Петерис, ты понимаешь, как это необходимо.

— Понимаю.

Она снова положила голову мужу на плечо.

Петерису не спалось. Он думал:

«После вступления в силу мирного договора масса видземских и курземских беженцев уезжает в Латвию. Среди них вертятся агитаторы из националистских агентур. Опаивают шовинистическим дурманом намытарившихся на чужбине людей. «Латвия... независимость... латышество, латышское усердие, латышское упорство будет творить на родине чудеса...»

Можно себе представить, какие небылицы про коммунизм и Советскую Россию, «по показаниям очевидцев», будут теперь сочинять продажные писаки буржуазной Латвии. А речи сагитированных приезжих и писания бульварных журналистов не могут не произвести впечатления на людей политически не опытных, на сознание молодежи».

4. «ЛАТЫШОМ Я БЫЛ, ЛАТЫШ Я ЕСТЬ...»

— Кар-тин-ка!

— Ножки, как у газели...

— Пардон! Какой же джентльмен, знакомясь с красоткой, начинает с ног?

— Настоящий архитектор всегда с фундамента начинает. Не правда ли, барышня?

И вот оба приставших хлыща, размахивая тростями, пошли рядом с Эммой Ратмане. Один из них, тот, что в черной шляпе, дохнул ей прямо в лицо дымом папиросы. Другой забежал вперед с согнутой в локте рукой, словно подставляя ее Эмме.

— Вы... Вы!..— Эмма осеклась.— Я... я... позову полицию! (Позвать полицию она, конечно, не решится.)

— Пардон! — трости словно по команде описали круг и гулко стукнулись о кирпичный тротуар. Оба приостановились в нерешительности; Эмма мигом перебежала на другую сторону улицы Кальку, к освещенной витрине посудного магазина. К ней степенной походкой как раз приближались двое господ. А за ними мельтешил третий. За магазином переулок. По нему она вышла из Старой Риги, где с наступлением темноты молодой женщине одной лучше не появляться. Если в других районах Риги до полицейского часа (до одиннадцати часов вечера) нужно опасаться лишь пьяниц и хулиганов, то в Старом городе, на Кальку и Грециниеку, как и на Дзирнаву и Марияс, нет спасения от назойливых мужчин.

Когда Эмма, прибыв в Ригу, установила конспиративные связи, женщина, познакомившая ее с представителем центра, предупредила, чтоб в «тех краях» по вечерам не ходила. Эмма помнила об этом, но сегодня задержалась за Даугавой и... Времени у нее в обрез: она должна встретить товарища, который ходил на манифестацию националистических воинов и студентов-корпорантов, устроенную в честь легионеров Пилсудского, занявших Даугавпилс и перешедших в наступление

на резекненском направлении. Товарищ этот слушал речи представителей английской, французской и американской миссий и визгливые бабьи вопли «самого» Ульманиса.

Так Эмма и оказалась на улице Кальку и натолкнулась на этих господ. Студентиков или чиновников из канцелярии какого-нибудь департамента. А может, и корпорантов (в Латвийском университете студенческих корпораций больше, чем факультетов), поведением и манерами подражающих гейдельбергским буршам или ловкачам из французских, немецких и американских фильмов. Посмотрит такой кинодраму «Семь поцелуев», ковбоя Тома Мика с дикого Запада, «душещипательные драматические сцены из жизни ночных клубов», насладится в кино «Маринэ» дивертисментом с полуголыми девицами или цирковым номером Лео Рата под названием «Американский патент» и подражает всему этому. Морочит головы портным и шапочникам, заводит модную трость, гнусаво, как истый француз, говорит «пардон». И непременно мнит себя неотразимым соблазнителем. «Демоном», прожигателем жизни, сердцеедом и, конечно, ниспровергателем коммунизма.

То, что «полная очистка Латвии от коммунизма» — первейшая заповедь патриотов «латышской Латвии», для Эммы Ратмане не было откровением. Об этом она слышала без конца еще до того, как попала в Ригу.

«Все советское надо вырубить топором, выжечь огнем. Лучше превратить землю в пустыню, чем оставить на ней хоть один Стучкин росток». («Все советское, коммунистическое — от русских, татар, от всяких азиатов. Азиаты — люди неполноценные! И наши девушки, наши красавицы, должны украшать венцом славы каждого, кто твердой рукой уничтожает красных. В комендатуре малиенской округи есть лейтенант, так он один семнадцать большевиков и приспешников их ликвидировал. Один — семнадцать!..»)

В хибарке балдонского шорника (Эмма останавливалась там перед бермонтовским наступлением) она в июльском номере «Латвияс саргс» прочла призыв послать ко всем чертям всякую там политическую демократию. «Для государства нет ничего опаснее демократии, за которой скрывается большевизм!» И граждане «свободного» латвийского государства, наверно, так и остались бы без выборов в городские и волостные самоуправления, если бы не операция князя Бермонта-Авалова на рижском направлении. (В том же номере «Латвияс саргс» ожесточенным нападкам за демократическую пропаганду подверглись сторонники «своего» государства — лидеры социал-демократической партии.) Но когда бермонтовцы начали в Курземе «водворять порядок», расстреливать крестьян и жителей местечек, арестовывать солдат белолатышских комендатур и гарнизонов и провозгласили о «вступлении в силу прав» балтийского дворянства, против них ополчились все

способные носить оружие мужчины. И патриоты вместе с верными народу частями армии остановили у Даугавы бронемашины и бронепоезда реставраторов губернаторства прибалтийских провинций. Партизанские рейды деморализовали тыл немцев, после чего их в ноябре прогнали из Курземе. Патриотическая антибаронская сплоченность народа, героизм всех воевавших потрясли основы политики «господ своей страны». И заправилы из Государственного совета не решались больше выступать против избранных народом самоуправлений. К тому же представители собственной интеллигенции — ученые, литераторы, публицисты — требовали демократических выборов. И осуждали богатых сельских и городских соплеменников, вселяющих в народную душу «досаду, боль и возмущение». Они писали: «В самую решающую минуту, какую когда-либо знала история Латвии, от крупной буржуазии разит разложением». Но и пойдя на уступки народу, пророки «латышской Латвии» остались, конечно, самими собой: убийцами мыслящих людей. После бермонтиады, в декабре девятнадцатого года, в Риге расстреляли более полусотни «антигосударственно мыслящих» солдат. Даже «Латвияс саргс» писала о небывалой смертности среди политических заключенных. (В Центральной тюрьме из каждых ста заключенных умирает семьдесят пять.)

В подворотне, в которую Эмма завернула, оборванный мужчина колол и складывал поленья.

«Безработный, перебивающийся продажей дров,— решила Эмма.— Ходит с санками по полям, на которых в войну нарыли землянок. Разворачивает перекрытия, брустверы на окопах. Пилит, колет и развозит по дворам. Зазывает покупателей, как и слоняющиеся повсюду торговцы сахарином, мыльным корнем, карбидом и баптистскими брошюрками. Безработных, торгующих дровами, в Риге стало больше, чем надо. Цены на дрова упали вдвое. Хотя на дворе стоит самый холодный зимний месяц и дороги за городом заметены».

— Здравствуйте! — поздоровалась Эмма с дровосеком.

— Здравствуйте! — Человек, прищурясь, пристально посмотрел на девушку. Пощупал рукой в перчатке карман пиджака и вышел из подворотни.

«Проверяет улицу. Может быть, свой...»

В конспиративную квартиру Эмма поднялась по узкой лестнице черного хода. Лестница так узка, что человеку с дровами надо быть все время начеку — не задеть бы встречного или стенку.

Эмма остановилась, прислушалась, глянула наверх, затем — вниз, на цементную лестничную площадку.

Кажется, все как надо. Сняла перчатку и тихо постучала в дверь.

Четыре раза в условленном ритме.

* * *

Заседание кончилось, но разногласия остались. Эмме казалось, что противоречия между товарищами даже обострились. Они спорили о главном: о политике партии, о ее стратегии и тактике. Какой держаться тактики в вопросе выборов самоуправлений и Учредительного собрания государства? И хотя участники заседания под конец признали правильным решения только что состоявшейся нелегальной рижской городской конференции, чувствовалось, что сторонники более гибкой тактики, чем теперешняя, были недовольны. Эмма инстинктивно чувствовала: единодушие при голосовании как бы должно было примирить личное убеждение товарищей с навязанным в порядке дисциплины решением вышестоящей инстанции. И понятно: в Прибалтике и по всей Европе политическая обстановка в тысяча девятьсот двадцатом году уже совсем не та, что в девятнадцатом. Советы в Западной Европе разгромлены, повсюду контрреволюция поднимает голову. Власть националистической буржуазии распространилась на всю Латвию, Советская Россия заключает со ставленниками Антанты мир. Прежнего боевого подъема в народе уже нет. А лозунг борьбы у Рижского комитета остался прежний: бойкотировать выборы в Учредительное собрание, городскую думу и другие самоуправления, призывать рабочие массы к вооруженному восстанию.

По правде говоря, и Эмма не знает, как, собственно, следовало бы действовать по-новому, это, наверно, неясно и тем, кто настаивает на другой партийной тактике. Они лишь понимают, что общественно-политические условия сейчас сильно изменились, и формы партийной работы поэтому тоже надо менять. В соответствии с требованиями революционной диалектики, как сказал бы товарищ Стучка. (Летом Эмме в Резекне довелось заглянуть в одно русское большевистское издание, где он так писал.)

Разве можно оставаться глухим ко мнению большинства — простых тружеников, рабочей молодежи Латвии?

Пока Эмма, выбравшись из Вейцмуйжниеков, скрывалась в окрестностях Елгавы, пока вместе с беженцами, уходившими от бермонтовцев на восточный берег Даугавы, окольными путями попала в Ригу, она наслышалась всякого. И в разговорах с бывшими сторонниками Советов, безземельными крестьянами и безработными.

«Какие из нас борцы?.. В Курземе, да и в других округах остались одни женщины, дети и старики. Говорят, англичане, американцы будто против баронов... А Народный Совет сулит безземельным землю. В листовках социал-демократов прямо говорится: поделят имения. К тому же социал-демократы обе-

щают социализм. Не такой, при котором одни будут работать, а лодыри жрать наравне с ними».

Правда, в Курземе есть имения, работники которых хотят, чтобы им дали обрабатывать баронскую землю кооперативно, инвентарем имения, обещают с лихвой отдавать государству что полагается. Того же потребовали от социал-демократов, от их лидера по сельскохозяйственным делам Линдиня и работники некоторых видземских имений. Но... это лишь отдельные случаи.

Эмма на услышанное в Земгале и Риге обратила внимание товарища из Рижского комитета. Сказала:

— Мне кажется, что в вопросе партийной тактики товарищи Ленцманис и Стучка придерживаются другого мнения.

— Ленцманис и Стучка, говоришь?.. Товарищ Ленцманис и товарищ Стучка сейчас в России. Не наделай они тут в свое время столько ошибок... Классового врага надо брать железной хваткой.

Эмме было трудно отстаивать свое мнение. Она не умела подкрепить его ни решениями организации, ни трудами Маркса и Ленина. (Как страшно мало она читала!) Может, она судит так потому, что собственными глазами не видела пережитого рижскими товарищами. Не видела тысяч людей, валявшихся на улицах с пробитой головой или грудью. Не видела широких рвов на песчаных холмах у Матвеевского кладбища, до краев забитых расстрелянными. Не видела трупов людей, убитых немцами только за то, что у них ладони были в мозолях, что они были в рабочих блузах. Человек, прошедший такое море крови, не в состоянии больше жить под одной крышей с идейным врагом.

По правилам конспиративной партийной работы, после совещаний или собраний надо расходиться по одному. Но на улице Эмму все же поджидал товарищ из портового района Капралис. Как и в прошлый раз, он все норовил взять ее под руку. Словно они не были лишь товарищами по нелегальной работе.

— Знаешь... Мне с тобой хорошо.

— Ты что? — притворилась Эмма, будто не поняла. Хотя слова Капралиса пришлись ей по душе. Видный, приятный парень. Когда он смеется, то обнажает ровный ряд белых зубов.

— Могли бы погулять так просто. До полицейского часа далеко еще.

— Я должна спешить. — Уже одна мысль о том, чтобы в такое время «так просто» слоняться с парнем, болтать с ним, пугала ее.

Эмма не знала, сколько времени она пролежала в беспамятстве и как очутилась в этой конуре — тесной, низкой и сырой. Вошла ли она сюда сама, или, оглушенная, свалилась на

цементный пол, или же ее притащили сюда те двое с бычьими шеями и толстыми красными руками, похожими на гладко отесанные ольховые стволы.

Еще там, в канцелярии, она потеряла на время сознание. Когда истязавший ее следователь, ничего не добившись, прокричал: «Прикончить!» — из соседней комнаты сразу выскочили эти двое, налетели на нее с дубинками. От ударов по голове она мгновенно лишилась сознания. Была минута, когда она уже перестала быть самой собой. Эмма поняла это, когда ее поставили на ноги. Более рослый из палачей потащил ее за волосы, словно утопающую из проруби.

— Кончай ее! — откуда-то издалека, сверху услышала Эмма.

Затем перед глазами мелькнул облипший запекшейся кровью кулак. Удар по шее, от которого, казалось, внутри все сломалось, потом — по ребрам, в живот. О том, что было дальше, она не помнит. Наверно, ее били, пока палачи не взмокли, пока им не показалось, что «с ней покончено». Они так делают. У них так принято и положено, слышала Эмма.

«Человек чересчур живуч...» — беззвучно выдохнула она, сдерживая стон.

Ей было больно уже от одного того, что она шевелила губами. Обжигала пронизывающая боль не только тогда, когда она двигала руками или ногами, достаточно было шевельнуть ладонью или коленом. Казалось, на теле нет живого места.

— Будешь говорить? Ты у меня заговоришь как по писаному!..— угрожали следователи со звездочками и без звездочек на петлицах, ударяя и колотя ее будто кузнецы по наковальне или крестьяне, крошащие в поле затверделые комья земли.— Говори все о себе, об организации. Про то, как покушались на государственную власть. Про вооруженный мятеж. Говори!..

Эмма попыталась шевельнуть набухшей шеей, повернуть голову, чтобы осмотреть свою темницу. Отчего здесь пол холодный как лед? И такой сырой, вонючий воздух?

Каморка эта, кажется, бывшая кладовка, пол выложен плитками. Или же — ванная, из которой убрали ванну, раковину и колонку. Ребристый, обитый жестью брус, что давит плечо, должно быть, основание убранной колонки, а концы труб под потолком, у зарешеченного люка,— остатки водопровода.

Взгляд Эммы еще не добрался до низа стены, как за ней хлопнула дверь, брякнул крючок. Кто-то гулко протопал коваными солдатскими башмаками.

«Латышом был, латыш я есть, латышом останусь вечно...» — донеслось гнусавое мурлыканье, тут же перекрытое клокотанием в унитазе.

«Уборная! Сырость оттуда!..»

Но то, что она брошена в закуток за клозетом, не казалось

ей столь противным, как пение мужчины в кованых немецких или американских ботинках, спускавшего в уборной воду. Должно быть, чиновник охранки, начальник караула или часовой.

— А-ах! — В бесшумно приоткрывшейся двери показался сухощавый человечек. Какой-то без времени постаревший подросток. Сияющая лысиной голова, блестящие черные, как у фарфорового китайского божка, усики. Одет в желто-зеленый французский офицерский френч.— Вздремнули немножко? — Он сдвинул брови, нижняя губа отвисла.— В таком неглиже? На цементном полу? Чего это вы, сударыня?

— Ваша работа.— Эмма, превозмогая боль, поднялась на локтях.

— Моя?.. Работа? — Человек открыл дверь настежь и ввалился в каморку, косолапо шаркая желтыми ботинками на толстой кованой подошве.— Моя...— Он узко-узко сощурил глаза.

— Да... Ваших палачей...— Собрав остатки сил, Эмма с трудом поднялась на ноги.

— Ну, послушай-ка...— Человечек сунул руки в карманы брюк и раскорячил ноги.— Какие палачи? У нас тут порядочное государственное учреждение, и я служу тут. Впервые вас вижу. Как я попал сюда? Ходил по своим делам, случайно открыл дверь, вижу, на полу дама в весьма неприглядной позе. А вы — «ваша работа», «палачи»!

— Да! Надо мной измывались палачи! — Эмма не совладала с собой.— В этом, как вы сказали, порядочном учреждении меня били плетьми, колотили кулаками, мне ломали ступни ног. А до того, по дороге сюда, меня и других семнадцать схваченных на улице человек били рукоятками револьверов, прикладами винтовок. Ночью, когда допрашивали, на всех этажах раздавались крики женщин. Крики их, наверное, были слышны на всю окрестность!

— Это невероятно! — поморщился человечек. Повернулся и вышел в коридор.— Господин начальник! Господин Шаберт!

«Шаберт? Социал-меньшевик Шаберт?..— Эмма привалилась к стене.— Неужели в политической полиции есть свой Шаберт? Или это тот же компаньон Бруно Калниня, проходивший на выборах по одному из социал-демократических списков?»

Статный, элегантный господин с зачесанными назад густыми волосами, вошедший вместе с плюгавым человечком, в самом деле оказался известным социал-демократическим деятелем Шабертом.

Он изобразил на лице удивление, даже изумление. Спросил, действительно ли гражданку... пытали? Здесь, в этом доме?

— У вас раны? — спросил Шаберт, когда Эмма рассказала, как ее истязали.

Разговор состоялся в помещении, меньшем, чем то, в котором ее допрашивали ночью. Обычная канцелярия. Конторский стол, несколько стульев, массивный дубовый шкаф. За письменным столом, на стене, в коричневой раме — временный герб белой Латвии: стилизованное лучащееся полусолнце с тремя желтыми звездами в его полукруге. Эмма усажена на стул против Шаберта, по другую сторону стола.

— Так где же ваши раны? — Он наклонился вперед, участливо глядя на нее стальными глазами. Шаберт сознавал, что он элегантен и неотразим. И не без самолюбования играл этакого либерального, чуткого интеллектуала. — Ах, синяки, внутренние кровоизлияния все-таки есть? Но синяки вы могли получить и в другом месте. Скажем, на улице. В первомайской потасовке...

— Когда полицейские и охранка избивали рабочих? — перебила его Эмма.

— Почему? — Шаберт откинулся на спинку стула.— Вспомним: Первого мая в Риге состоялась народная манифестация в честь созыва Учредительного собрания. И шествие государственно мыслящих рабочих. Но антигосударственные элементы, точнее выражаясь — коммунисты, это шествие хотели расстроить. Мирную демонстрацию они пытались превратить в анархистский погром. Призывали к мятежу. Демократические массы этого, конечно, не потерпели и погнали подстрекателей, извините, ко всем чертям. И не одними ласковыми разговорами, разумеется. Потому что...

— Потому что социал-демократическим вождям надо было выслужиться перед буржуазией. Доказать, что социал-демократические лидеры вовсе не такие, какими их изображали во время выборов в Учредительное собрание представители буржуазных партий, которые кричали: социал-демократов нельзя допускать к власти, многие из них чуть ли не большевики. Среди рядовых членов, конечно...

— Послушайте... вы!

И благодушного господина по ту сторону стола уже было не узнать.

— Кубулинь! Лейтенант Кубулинь! — он позвонил школьным никелированным колокольчиком с черной ручкой.— Увести!

* * *

— Агитируйте, разъясняйте солдатам... Пользуйтесь каждой минутой... Боритесь! Если петроградские коммунистки в восемнадцатом году убедили казаков перейти на сторону революционного народа, то мы должны быть в состоянии образумить какой-нибудь десяток вооруженных крестьянских парней...

Эмма Ратмане не знает, как зовут пожилую женщину с отечным, в сине-красных пятнах лицом, которая деревянно волочит ноги, словно у нее перебиты сухожилия, и шепотом убеждает согнанных вместе арестованных агитировать солдат.

Может быть, она одна из руководительниц организации или представительница района. Может быть, ее, бывшую каторжанку, оставили в мае прошлого года с конспиративным заданием, и она совершенно случайно попала Первого мая в облаву и... Во всяком случае — она борец.

— Не теряйте времени! Живым словом можно перевернуть мир. Уберечь нас от самого страшного...— говорит она напарнице Эммы. Это после того как обер-лейтенант на Церковной улице пригрозил арестанткам пулей, если будут разговаривать или попытаются бежать.

— Нас отвезут к советской границе и отпустят,— шепнула Эмме ее соседка, Милда Романе.

Эмма сидела вместе с ней в одной камере — в бывшей каморке горничной, с окном, оплетенным колючей проволокой (рижская охранка помещалась в мрачном каменном доходном доме довоенных лет). Милду предал провокатор, бывший рижский милиционер. Вначале ее вместе с другими районными связными держали в салоноподобной комнате с паркетным полом (на окнах, правда, были железные решетки), но вскоре, после ночного избиения, когда ее подруги по несчастью на весь дом звали на помощь, Романе перевели в каморку, наспех приспособленную под арестантскую. Романе знала, что на волю тайно передана жалоба, которая попала в руки полковника Балодиса, и что он приказал арестованных выслать из Латвии.

— Нас вышлют в Советскую Россию! — говорила Романе, поддерживая Алиду Карклинь, секретаршу профсоюза швейников, сотрудницу рабочего кооператива «Продукт», которая была изувечена больше других.

Карклинь арестовали вместе с Эммой Ратмане. Первого мая, около Эспланады, где партия организовала демонстрацию — митинг на местах могил убитых в девятнадцатом году коммунаров, хотя сами могилы еще двадцать третьего мая, сразу же после взятия Риги, сровняли с землей подручные Андриева Ниедры, Ульманиса и фон дер Гольца. При аресте Карклинь вывихнули руку, а потом нещадно избили.

— Вышлют, вышлют! — согласилась Эмма. И покосилась на конвоиров. Они плотно окружали арестанток, чуть ли не наступая друг другу на пятки, готовые в любую минуту разрядить ружья.

Ночь. Улица тиха и пустынна, словно подавлена скорбью. И темна. В редких газовых фонарях на верхушках корявых столбов тускло мерцают едва различимые огоньки. Кажется, куда больше света бросают сияющие над пустым, призрачным

городом блекло-красные звезды. Только слышен гул каменной мостовой. Ритмично стучат, высекая искры, кованые солдатские башмаки. Почти все одиннадцать арестанток двигаются неверным шагом, ковыляют, силясь совладать с непослушными ногами. А может, не все. Эмме кажется, что женщина, подбивавшая агитировать конвойных, держится лучше, ступает увереннее остальных. Может, только кажется, может, это зрительный обман. Человеку менее закаленному, менее выдержанному всегда хочется видеть другого более сильным, чем он сам. А незнакомая женщина, должно быть, не робкого десятка. Она из тех, кто всюду и всегда ободрит другого, заставит думать о чем угодно, только не о боли.

Арестованных ведут по улице Дзирнаву до железнодорожного переезда, затем между рельсами, к одиноко стоящему посреди путей товарному вагону.

— В цепь! — раздается команда. И другая женщинам: — Арестованные, в вагон!

— Без лестницы? — восклицает пожилая женщина. Она вдруг оказалась рядом с Эммой.— Где лестница?

— Вы в свой красный рай едете,— издевается начальник конвоя.— В рай обычно летят.

— Дайте лестницу!

— Сказано: арестованным — в вагон!

— Товарищи! — Голос протестующей женщины становится резким.— Над нами издеваются...

— Молчать! Не то...

— Расстреляете? Это только и умеете. Пытать да стрелять, стрелять да пытать. Меня хотели расстрелять еще на допросе. Я уже у стенки стояла. Рыла себе в подвале могилу. Ну, стреляйте! — кричит она.— Стреляйте, пускай Латвия слышит, как убивают латышских рабочих женщин!

То ли какой-то державшийся в стороне, не замеченный арестованными начальник подал знак, или же это было указано конвойным заранее, но солдаты схватили женщин и, не обращая внимания на крики, потащили к вагону. А из открытых настежь вагонных дверей уже тянули руки другие конвойные. И едва они дотягивались до женщин, как через миг те уже ковыляли по вагону, напоминавшему конские стойла. С отсеками и дощатыми нарами.

За несколько минут всех запихали в полутемный вагон.

Солдаты задвинули изнутри двери, щелкнули затворами винтовок и расселись на скамьях у двери, поругивая сумасшедших баб.

Один из них, видимо старший конвойной команды, зажег железнодорожный фонарь и обошел арестованных, указав самым изнеможенным более удобные места. Обещал позаботиться об отнятых вещах, достать воды.

— И парашу для неотложных нужд,— обещал он той самой

пожилой женщине, что кричала при посадке в вагон.— Львица, а не женщина,— сказал он Эмме.— Надо же, с лейтенантом Антоном сцепилась!

— Ну и что с того?

— Правая рука командира первого батальона Латгальской дивизии. Вам это ничего не говорит?

— Говорит, как же! — отозвалась Романе.— Ведь это он похвалялся: «Мы без шума отправляем на тот свет сотни коммунистов. И никто даже глазом не моргнет!»

— А газета Крестьянского союза «Брива земе» еще и аплодирует ему,— поддержала пожилая женщина.— Черным по белому писали, мол, наши ребята молодцы,— сами знают, как с коммунистами, с агитаторами поступать.

— Тихо!..— Конвойный понял, что такие разговоры могут далеко зайти.— Если не замолчите, то...— Он направился к двери и, сказав что-то одному из куривших солдат, выпрыгнул из вагона. И с грохотом задвинул снаружи дверь.

— Слава богу, мы уже на рельсах,— прошептала Романе.— Через день, самое большее два будем на границе.

— Не рано ли еще радоваться? — сипло отозвался кто-то из другого конца вагона. Кажется, Алида Карклинь, которую арестовали дома на Саркандаугаве. Когда Эмму однажды вели по коридору, она услышала, как Карклинь в одном из застенков ругалась со следователем. Тот орал на нее, а она пыталась перекричать его.

— Даже перешагнув границу, я еще не скажу «слава богу»,— сказала третья.— Вместе с нами, женщинами, взяли около сотни мужчин. А где они? Почему никого из них нет среди высылаемых?

— Может, их посадили в другой вагон, в другом месте. Или повезут в другой раз.

— Мало ли мужчин сидело в охранке на Церковной. В Латвии близким арестованных повсюду отвечают одно и то же: пропал без вести. И все.

— Молчать! — стукнул один из конвоиров прикладом об пол.— Ни слова больше!

— Зачем же так прытко? Правда — не птаха, ее не придушишь. Правда — она...

Но женщина не успела досказать. Раздался протяжный свисток, вагон дернулся и с железным лязгом тронулся с места. Арестанток зашвыряло, закидало из стороны в сторону... И опять залязгало железо, застучали буфера, и вагон, скрипя и вздрагивая, покатился все быстрее и быстрее.

Когда поезд спустя час остановился, в открытых дверях вагона показались головы в касках.

— Принимай воду! Прибери парашу!

Конвоиры подхватили и втащили в вагон бочонок и еще какую-то посудину. Затем снаружи раздалась резкая команда,

солдаты расступились и пропустили в вагон офицера. Долговязого усача с неестественно высокой грудью. За ним вошли четверо солдат.

— Конвоирам принять пост! — выпалил офицер.— Объект — железнодорожный вагон в движении. Арестанты — одиннадцать опасных государственных преступников. Режим охраны — строгий. При первой же попытке к бегству или бунту — стрелять!

Он махнул рукой, повернулся и спрыгнул. За ним спрыгнули и солдаты смененного конвоя. Стукнула задвинутая дверь вагона, солдаты обошли нары и осмотрели арестанток. Тем временем провыл паровоз, поезд двинулся. Солдаты расселись кто куда, зажав между колен оружие, и закурили.

«Этих не разагитируешь... Этих, кажется, специально подобрали...» Эмма свернула свой жакет, сунула под голову и растянулась на нарах.

Словно отгадав ее мысль, пожилая энергичная женщина встала (Эмма все еще не знала, как ее зовут), подошла к посудине с нечистотами, затем зашаркала к Эмме.

— Внимание и еще раз внимание,— едва слышно сказала она.— Ни в коем случае не дать спровоцировать себя!

— Правильно,— кивнула Эмма. Опершись на локти, она насторожилась. Как поведут себя конвоиры, если женщина подойдет еще к кому-нибудь. Еще к какой-нибудь товарке по несчастью...

...Эмма ломала себе голову над провалами. (Арестовано так много работников нелегальных организаций.) «Чем это вызвано?» — спрашивала она себя. Она старалась разгадать это после ареста, в полицейском участке, куда согнали товарищей, задержанных на Эспланаде и во время демонстраций на улицах. (Именно товарищей, а не первых попавшихся полиции и охранке под руку людей!) Думала об этом и в охранке, пока была еще в сознании и способна что-то соображать.

Двух мнений быть не могло: на этот раз людей арестовывали по каким-то приметам. Взяты почти только такие товарищи, которые состояли в руководимых социал-демократами профсоюзах или посещали Союз рабочей молодежи и старались эти организации революционизировать, агитировали там против участия в выборах в Учредительное собрание. Эти же товарищи были и наиболее активными на месте захоронения коммунаров.

Понятно, что провалы прошли не без участия провокаторов. Во всяком случае, сверхлевый организатор портовиков Микус, сторонник разных анархистских выходок, уж явно был полицейским осведомителем. Ведь в охранке у Эммы, между прочим, допытывались и о нелегальной технике: об «ундервуде» и гектографе, которые она прятала у себя. А Микус знал о них. Но подлости провокаторов и полицейских агентов не

могли быть единственной причиной повальных арестов среди товарищей, работавших в профсоюзах социал-соглашателей...

В стройную церковку входит девица;
В стройную церковку входит она...
Молиться за латышского воина...

Глухо поет один из солдат, привалясь плечом к столбу возле нар, на которых, согнувшись, примостилась Романе.

Ясно, что не собственного удовольствия ради и не от скуки подошел он к Романе. Хотя он тоже малость хлебнул, возможно, из той же фляги, из которой потягивали и остальные его товарищи, однако не опьянение привело его к арестантке. И не глоток горькой развязал ему язык. Он достает из кармана помятый газетный лист, разглаживает его на колене и, повернувшись к свету, принимается читать:

— «Было время, когда красный флаг звал в Латвии как боевой клич. Был идейным символом борьбы против насилия, против физического и духовного рабства... Но... красный флаг не принес человечеству ожидаемого счастья. И не принесет. В неимоверных муках человечество заново усваивает старую назидательную притчу о членах человеческого тела, повздоривших между собой и отказавшихся служить друг другу. Так продолжаться не могло...— Он наклонился к Романе.— Наконец истомившаяся душа народа пробудилась от летаргии. Горстка борцов подняла против красного флага рабства красно-бело-красный флаг свободной Латвии. Латвии не было, и вот она есть!» ...«Не было Латвии, и вот она есть!» — Размашистым жестом он обвел вагон, нары. Ну, как, мол, красные злодейки! Что вы скажете на это?

Арестантки молчали. Все.

* * *

— Вылезай! Вылезай, райские птички!

— Пошевеливайте крылышками! Чтобы улететь к берегам Волги — лед грызть. Ха-ха-ха!

На станции Мариенгаузен, на последней остановке железнодорожной ветки, высылаемых большевичек встречает толпа любопытных. Солдаты Латгальской дивизии и молодчики из охранных отрядов. Как и в Риге, лестницы к вагону не приставили. Понукаемые солдатами, помогая друг другу, арестованные выбираются из вагона. Это страшно веселит собравшихся. Они густо ржут, хлопают в ладоши, свистят, выкрикивают казарменную и площадную брань.

Перед гомонящей толпой, нахлестывая стеками по зеркальным голенищам, переминаются с ноги на ногу два офицера. Лейтенант и обер-лейтенант.

С видом знатоков-хозяев, осматривающих отобранную для рынка скотину, они оглядывают каждую вылезшую из вагона

женщину. Когда все арестованные уже вышли, их строят в ряд по росту.

— В землянку! — скомандовал лейтенант.— И если хоть одна попытается бежать, стреляйте по всем!

— Вы только и умеете расстреливать!

Эмма не знала, кто крикнул это — Романе или ее напарница. Но лейтенант и ту и другую огрел хлыстом.

— Пасть закрой!

Эмма инстинктивно втянула в плечи голову, словно уклоняясь от удара. «Мы в руках отпетых головорезов из батальона Латгальской дивизии. А этот лейтенант, наверно, Эглайнис, садист Эглайнис. Они близнецы с чудовищем Давусом из тайной царской полиции».

Эмме вдруг, как никогда, сделалось страшно за себя, за свою жизнь. В прошлом году в Вейцмуйжниеках и в Риге, на улице Церковной, с ней этого не было, а сейчас — страшно.

«Говорят, что свою пулю не услышишь...»

Землянка, к которой пригнали высылаемых, находится в нескольких верстах на восток, неподалеку от советской границы. Землянка была выложена неотесанными бревнами и покрыта дерном. Саженей двадцать длиною и две — две с половиной шириной. Низкий брусчатый потолок подпирает огромная, лежащая на опорах поперечная балка. Шесть окошек, глинобитный пол. Землянку строили, видно, для военных нужд, но уже давно никто не живет в ней. Она заброшена, это видно по выбитым оконным стеклам, сломанным нарам, по кучкам гнилой соломы и пробивающейся сквозь трещины в глинобитном полу траве. По запаху плесени и пестреющим трутовиками стенам.

В землянке драчливый лейтенант доложил другому офицеру:

— Господин обер-лейтенант, высылаемые государственные преступницы на проверочный пункт доставлены.

— Конвой, шаг вперед!

И приказ арестанткам:

— Раздеться! Догола!

— То-ва-ри-щи!

— Сударыни, прошу без волнения! — приосанился лейтенант.— Раздеться для осмотра! Для обыска, как сказали бы ваши! Службе охраны стало известно, что некоторые высылаемые хотят тайно доставить в большевистскую Россию кое-какие документы. Поэтому будьте любезны... Вы же не заставите господина обер-лейтенанта приказать солдатам раздеть вас силой.

— Это низко... Бесчеловечно! Даже в полиции, в тюрьме женщин раздевают и обыскивают только женщины! — закричали наперебой арестованные.

— Спокойно, спокойно! — Опять знак солдатам, щелканье нескольких десятков затворов недвусмысленно говорит о том, чего можно ожидать в случае сопротивления.

— Товарищи... У нас нет выбора. Пускай они еще поглумятся над нами,— сказала пожилая коммунистка, убеждавшая в Риге агитировать конвоиров.— Пускай! — нервными движениями пальцев она расстегнула кофточку, юбку. Стянула их, стянула рубашку. — Любуйтесь!

— Ой! — вырвалось у Эммы. До того изувеченного тела она еще не видела. Плечи, грудь, бедра в сплошных фиолетово-красных подтеках и коросте. Женщину словно долго катали по бороне.— О боже!

— Живей! — Лейтенант замахнулся стеком.

Прикусив губу и прикрыв глаза, Эмма развязала и распутала тесемки, стянула через голову рубашку.

Чья-то рука в замшевой перчатке подтолкнула ее, чей-то палец ткнул в бок, кто-то задрал ей подбородок.

— Вот эти четыре!..— услышала она чуть погодя голос обер-лейтенанта.

Эмма вздрогнула, глаза ее округлились. Эти четыре — пожилая изувеченная женщина, Карклинь, Романе и Пурвинь. Солдаты выталкивают их, голых, за дверь в другом конце землянки. Четыре солдата.

— Остальные могут одеться! — распорядился обер-лейтенант. И вышел из землянки.

— Обыск окончен. Все как надо! — щелкнул лейтенант стеком по голенищу. И повернулся — сперва на носках, потом на каблуках, словно разучивая какое-то танцевальное па. Когда Эмма кончила натягивать чулки, он негромко заговорил: — Теперь мы с солдатами будем наверху, в другом конце. У вас есть возможность бежать. Пока обер-лейтенант с теми там... в яме... Бегите через среднюю дверь и...

— Спровоцировать хотите? — вскинула Эмма голову.— Ошиблись! Вы должны отвести арестованных к самой границе Советской России. Должны отвести или...

Лейтенант замахнулся на нее. Затем приказал солдатам:

— Конвой, ко мне!

— Напрасно вы думаете, что народ о ваших зверствах не узнает, что Латвия не узнает, кто убивал рабочих,— не унималась Эмма.— Настанет час, и каждый холм, каждая лощина будет взывать о мести.

— Кошачьи проклятья до неба не доходят.

5. ЧЕЛОВЕК ИЩЕТ ЛЮДЕЙ

Медленно-медленно, как загнанная кляча перегруженную телегу, паровоз, пыхтя, тащит вагоны. Он с трудом втаскивает на подъемы состав, и местами поезд легко опережают даже идущие рядом с железнодорожным полотном пешеходы.

На станциях поезд простаивает неимоверно долго. В России паровозы теперь топят почти одними дровами, но все, что когда-то было припасено на узловых станциях, уже сожжено до последнего полена, и поездные бригады грузят на тендеры чурбаки, вытащенные только что из сплавочных садков. И все же поезда ходят. Перевозят грузы, людей. Главным образом — людей. Командированных и гонимых голодом, переселенцев и покидающих страну. Искателей лучшей жизни, граждан многоязыкой России и иностранцев. Да, и иностранцев. Рассеянных мировой и гражданской войной чехов, сербов, венгров, немцев, голландцев. И американских и западноевропейских промышленных рабочих, прибывших помочь первой в мире республике трудящихся восстанавливать индустриальное производство. Иностранные промышленные рабочие едут в Россию, чтобы объединить российскую революцию с высокой производственной культурой, с иностранной техникой. Поэтому иной раз к некоторым составам поезда Москва — Сибирь прицепляют пассажирский вагон с иностранными коммунистами — специалистами и их провожатыми.

На станции за Казанью такой вагон с иностранцами прицепили и к эшелону, в котором бывшие латышские стрелки Фрицис Реймер и Екаб Гробинь направляются в Новониколаевск.

В свободные минуты оба латыша идут потолковать с иностранцами. Жестами и мимикой они стараются дополнить свою скудную немецкую речь.

— Камрад! Гут камрад. Геноссе! Мы поможем,— объясняют иностранцы.— Революционеры России, идеи Ленина, американские, западноевропейские коммунисты — инженеры и мастера... О-о! Из этого что-то получится! Ин-тер-на-ци-о-нал!

— Враги Советского государства говорят: «Россия погибла. В России нет даже каменного угля, чем топить паровозы». А на копях Донецка и Кузбасса он лежит в земле. И доставать его революционным рабочим России помогут братья по классу с запада и востока. Если норвежскому буржуазному пацифисту Нансену удается расшевелить народы для благотворительной помощи голодающим России, то бригады всемирного сознательного пролетариата помогут большевистским рабочим заложить основы социалистического производства. О голландском инженере Рутгерсе слыхали?.. Да, да, об инженере, видном деятеле Третьего Интернационала... Вот у Рутгерса есть план относительно Урала, относительно индустриализации Кузнецкого бассейна... Он обращается с призывом...

— На сердце теплее и в желудке не так урчит, как послушаешь такое,— сказал Реймер Гробиню, когда они стали проталкиваться обратно в свой вагон, к своим полкам. В паровозной топке уже успели развести огонь, и облепленная людьми вереница вагонов со скрежетом и лязгом потянулась по рельсам.

— Смотри,— показал он пробиравшемуся за ним Екабу.— На твоем ложе кто-то уже устроился. Эй, вы! Не видите, что на полке шинель и другие манатки! Место занято демобилизованным инвалидом войны.

— А может, я демобилизованного приголубить желаю?..— протяжно проворковала женщина. Насколько можно разглядеть в полумраке, она молода и совсем не оборванка. В плюшевом пальто, на ногах сапожки.

— Конечно, если гражданка заболела или устала, то пусть на время попользуется. Только вещевой мешок, что под голову сунула, придется отдать.

— И пропуск на поезд пускай предъявит. Чека уполномочило нас проверять пропуска,— сказал Реймер так, чтобы его услышали вокруг.

Грозить мандатом Чека — это мальчишество, партия осуждает это как недозволенный прием. Но за долгие, как вечность, годы гражданской войны Реймер нашел самый верный ход для обуздания наглых и антисоветских типов. И распутных бабенок — от роскошных красоток до отощавших потаскух.

Как и Екаб Гробинь, он после ранения, полученного в боях под Кромами, попал в воинскую часть, которая трепала в Белоруссии контрреволюционные банды, билась с засланными из Польши диверсантами эсера Савинкова — пешими и конными,— преследовала политических и других грабителей. А у диверсантов и бандитов были подружки — молодые и совсем молоденькие. Одна подъедет к красному бойцу, будто прося заступиться за нее, другая — клянчит еду. Иную подсунет селянин, у которого комиссар на ночлег остановился. Иная в темноте и сама выползет из запечья и полезет к спящему.

— Ваш пропуск, гражданка?..— Реймер постучал кончиками пальцев по полке.

— Я каждому документы предъявлять не обязана,— раздалось в ответ. Но рядом с Реймером стоял его товарищ, в кожаной тужурке, с маузером на боку и ремнями через плечо. Да и пассажиры не собирались заступаться.

Поругиваясь, женщина слезла с полки. Ругалась она при этом, как заправская солдатская шлюха. Чуть ли не с испанской образностью. (Моряки уверяют, что никто не ругается изощреннее испанцев.) Но брань ни на кого впечатления не произвела. Только белобородый старец, странник из дальней деревни, прозванный пассажирами святым Фомой, удивленно поглаживал ладонью бороду и приговаривал:

— В-о-о! В-о-о! Вот это да!..

Женщина протолкалась к двери, и Екаб, с минуту помешкав, забрался на свою верхотуру. Лег и тайком от посторонних ощупал свой солдатский мешок. Там хранились завернутые в смену портянок несколько горелых ржаных сухарей. Неприкосновенный запас на самый чрезвычайный из чрезвычайных

случаев, какой только возможен. Наверно, еще долго после того, как костлявую губительницу — голодную смерть — изгонят из России и люди в городах и в далеких окраинных селах опять будут три раза в день черпать из полной миски густой суп, закусывая большими ломтями хлеба, они по-прежнему так же жадно, как теперь, будут подбирать каждую крошку, не в силах избавиться от страха перед «возможной неожиданностью».

— Возьми свою газету.— Екаб протянул товарищу сильно помятый номер «Криевияс цини». — Ничего особенного.

— А об уезжающих в Латвию? О возвращении беженцев? — Реймер вскарабкался на самую верхнюю, багажную полку.— Когда на станции мне попадаются курземские подводы или я вижу в уездном центре сопливых дядек, клянчащих разрешение на выезд, у меня сердце сжимается. Удирают из республики всемирного пролетариата!

— На родину!

— Стало быть, у пролетариев есть родина?..

— Да,— сказал Екаб, ухватившись рукой за железный крючок и задрав голову. — Сторона, на которой ты родился, вырос, страдал... боролся... К тому же в России сейчас страшно много лишений, а людей убеждают: в Латвии есть хлеб. Хлеб за работу в деревне — для каждого, кто способен работать. Видал, что напечатали в рижской газете, которую мы читали в Латышском клубе? Юрьев день уже прошел, настала пора полевых работ, а в Видземе все еще не хватает рабочих рук... И потом, раз мы уж заговорили об этом,— вместе с несознательными в Латвию вернутся многие наши товарищи, которые поведут там революционную работу.

— Ты опять о таких, как Андрей Упит, которые хотят погибнуть вместе с народом? — иронизировал товарищ.

— И о таких.

Екаб с Реймером об этом спорят уже давно. Спор этот начался у них при первом знакомстве — в отделе кадров Центрального комитета партии, куда их вызвали, когда ребятам пришлось снять красноармейскую форму. Екабу Гробиню в бывшей Шестнадцатой армии, а Фрицису Реймеру — после объединения военно-революционных трибуналов с губернскими судами.

В приемной отдела кадров было много ожидающих. Екаб и Реймер быстро познакомились, пошли взаимные расспросы и — как принято у бывших стрелков — разговоры о российской, латвийской и мировой революции.

«Да, так получилось: казалось, вот-вот поднимется девятый вал мировой революции. С интервенцией, с армиями внутренней контрреволюции уже справились. В Европе, в империалистической Америке, во многих колониальных странах возникают коммунистические партии... В Германии — вооруженное восстание рабочих... Еще разок замахнуться — и мир

охватит пожар всеобщего восстания, как поется в комсомольской песне:

Мировой пожар горит,
Буржуазия дрожит.
Раз! И больше ничего!

Однако смотри, как вышло-то! В Германии опять заправляют банкиры, генералы, прусские юнкера. С прислужниками, у которых в петлицах пиджаков красуются розетки Второго Интернационала: с носке, шейдеманами, зеверингами. Во многих капиталистических и колониальных странах коммунисты объявлены вне закона. Буржуазные и милитаристские клики опять душат трудящихся, бросают их в тюрьмы, вешают, стреляют, убивают на электрических стульях. В мире возникают два противостоящих друг другу военных лагеря — страна социализма и капиталистические государства. Долг каждого трудового человека, смысл его бытия — крепить Советскую Россию. А латышские беженцы, ушедшие из Латвии в девятнадцатом году во время наступления баронских банд, сельские и городские труженики и часть демобилизованных красных стрелков поворачивают оглобли в сторону буржуазной Латвии...»

«Шкурники, ренегаты, продажные души...» Екаб вспомнил слова, которые обычно употреблял Реймер. И такие писатели, художники, как Александр Апситис, как Андрей Упит, тоже.

«Только об Упите так говорить нельзя,— возразил он Реймеру.— Если народ возвращается тысячами, то и его писатели и художники должны быть вместе с народом».

«Что касается основных вопросов классовой борьбы, то у тебя, братец, каша в голове,— возразил Реймер.— Ничего удивительного, что люди, вроде тебя, вприпрыжку бегут в белолатышскую комиссию по эвакуации беженцев. Я еще послушаю, что ты скажешь товарищам в отделе кадров».

«Тебе тут не военный трибунал и ты не председатель дивизионного трибунала»,— рассердился Екаб.

Они затаили друг на друга обиду.

«Куда хотели бы направиться? В Астрахань или в Архангельск?» — спросили Екаба, когда подошла его очередь.

«Куда партия пошлет, туда и поеду».

«В таком случае Центральный комитет посылает вас в Сибирь. В Новониколаевскую губернию».

«Поехали вместе.— Получив мандат, Реймер в коридоре догнал Екаба.— И мне в Сибирь. В ачинскую Чека. Послушай, кореш,— он лихо щелкнул зажигалкой и поднес ее к потухшей махорочной самокрутке Екаба,— я предлагаю мир. Полный мир. Забудем все наши конфликты и недоразумения. Мы с тобой солдаты одной революции. С одной и той же контрой драться будем. Ты — в продотряде, я — в Чека. Это главное. А все остальное — дерьмо, дым и ненужная вонь, как говорили ребята при Николашке на Острове смерти. Не так разве?»

«Да, да»,— проворчал тогда в ответ Екаб. Хотя относительно возвращения беженцев в Латвию они остались при своих мнениях.

— Если ничего особенного не случится, послезавтра будем в Новониколаевске. — Реймер уперся ладонями в потолок вагона и подвинулся ближе к перегородке. Казалось, он хотел избавиться от едкого, вонючего махорочного дыма, поднимавшегося наверх, как чад с пожарища.

В Новониколаевске Екаб с Реймером расстались. Чекист в Сибири после только что затихшей гражданской войны... И уполномоченный по продснабжению...

Но Екабу хотелось вернуться в Латвию. В пролетарскую Ригу, где была Катрина.

Он почему-то верил, что во время кровавой вакханалии в мае девятнадцатого года Катрина осталась жива.

Ведь Вайновскому, под чьей командой Екаб в мае девятнадцатого года переселял буржуев из шикарного дома в центре Риги на Заячий остров, тоже сообщили, что его жена похоронена в какой-то общей яме в районе Матвеевского кладбища. А теперь жена Вайновского прибыла в Псков...

* * *

Работа уездного уполномоченного по снабжению началась для Екаба с митинга. Он приехал на крестьянской подводе из Новониколаевска, в губкоме его проинструктировал демобилизованный бригадный комиссар, коренастый властный украинец.

— В твоем распоряжении, — говорил он, — все тамошние работники. Девять человек. Они — вся твоя опора. Как хочешь, а Петрограду, Москве, голодающим районам нужен хлеб. Хоть кровь из носу. Сила, угроза, оружие для этого не годятся. Надо убеждать. И друзей, и врагов. У-беж-дать!

Ближайшими помощниками Екаба в уезде оказались комсомольцы Мария и Николай, кузнец Илларион и инвалид войны — однорукий Василий. Ораторы из них никакие. Кулакам рот не заткнут. А тут еще на крестьянские собрания, которые созываются уполномоченным по продснабжению и местными комитетами, почти всегда является кто-нибудь из шатающихся вокруг белобандитов или их кормильцев и укрывателей.

На митингах приходится говорить и о политике, и о международном положении. Бороться со слухами. И призывать людей «на бой кровавый, святой и правый» за хлеб.

Свои знания Екаб черпал из «Правды», «Известий», «Крестьянской бедноты», которые он читал, трясясь на крестьянской подводе, или же в какой-нибудь хибарке при свете коптилки. Прочитанное использовал в речах, перемежая собственными воспоминаниями из фронтовой жизни и в отрядах особого назначения в Белоруссии. И все это он еще подкреплял рево-

люционными лозунгами. Убедительно высказанными призывами.

Ибо только пролетарской страстностью можно увлечь массы.

Екаб Гробинь и сам толком не знал, где он, собственно, научился ораторскому искусству. У бывшего каторжника Гроскопа, который в семнадцатом году учил в Валмиере молодых большевиков, на лекциях университетских курсов в Риге или же у бывшего студента Бондаренко, работника особого отдела Шестнадцатой армии, с которым вместе прошли десятки верст по болотам в погоне за засланными Савинковым из Польши диверсантами.

Или... может, постигал это искусство по каким-нибудь перелистанным брошюрам (для вдумчивого чтения, право, не оставалось времени!). Может быть. Как бы то ни было, но умение выступать хорошо ему пригодилось.

Новый уполномоченный по продснабжению снискал себе репутацию бескорыстного, честного комиссара. После первых же посещений деревень.

Возница привез его на двор Егорова, на «комиссарскую» квартиру, хозяева приняли его со сдержанной любезностью, женщины сразу же загремели у печки горшками и сковородами.

— Комиссар блины уважает, правда?..

— А у вас еще пеклеванка водится, чтобы заезжих кормить? — он одновременно удивился и обозлился.

— Четыре мешка... Бывший уполномоченный велел оставить из обмолоченного для отправки. Кормить комиссаров и других начальников, что ездят по делам в деревню...

— В детдомах малыши с голоду мрут, в лазаретах тяжелобольным болтушку сварить не из чего, а тут... — И, не дождавшись утра, Екаб нарядил подводчика, который отвез «припасы» на станцию для отправки. А сам напился кипятку с ржаными сухарями.

Сейчас Екаб Гробинь вместе с кузнецом Илларионом ездил по Приалтайской низменности. Просторной, как Байкал, с раскиданными кое-где деревнями — кучками приземистых строений под лубяными и соломенными крышами, печально-серых, как полегшая трава на обочинах проселочной дороги. А на горизонте, над едва различимой вдали Алтайской возвышенностью, теснились иссиня-черные тучи.

Продснабженцы в деревнях этой округи заготовили до смешного мало хлеба. Что кот наплакал. Не больше, чем по нескольку возов с каждого селения, насчитывающего по тридцати и больше дворов. И привезли это одни бедные и разорившиеся крестьяне. Хотя земля у поселян на редкость плодородная. Сунь весной в нее дубину, и та распустится и расцветет.

— Крестьяне говорят — недород, — сказал Екаб своему попутчику, кузнецу Иллариону.

— Не крестьяне, а кулаки, контра...

— Неужели все кулаки контра?

— Те, что хлеб прячут, — все контра. А что кулаки в барнаульской латышской колонии выкинули?

Да, дурная слава о них по Сибири пошла.

— Твердили: нет у нас хлеба. Совсем нет...

А почти в каждом хозяйстве где-нибудь в поле яма, а то и две. Ровненько покрытые дерном. Кто не знает, и не приметит... Только вот когда мыши развелись, ясно стало, где зерно прячут. Стаи мышей замельтешили чуть ли не с версту шириною, точно вырвавшийся из-под шлюзов мутный поток, когда они от уже опустошенных ям двинулись к другим — в другие деревни.

Спрашивается, какими же огромными должны быть запасы спрятанного тамошними крестьянами в ямах зерна, если мыши так отъелись и расплодились? А Поволжью, Центральным и северороссийским голодающим губерниям из этого округа посылали одни отсевки. И голодной смертью умирали не сотни, а тысячи людей.

— Я посоветовал бы товарищу уполномоченному на этот раз остановиться у попа, — сказал кузнец Илларион, когда они въехали в село. — Народ здесь набожный, поп у них в чести.

— Разве это имеет значение?

— Имеет.

Екаб Гробинь был знатоком святого писания, библейских легенд и всяких чудес из Нового завета. У хозяина на видземском взморье, к которому он после смерти матери попал в полную кабалу и подчинение, принято было спрашивать пастуха, что он прочитал из «Дважды пятидесяти двух библейских притч» (эту книжку с картинками дала пастушку для «просветления души» хозяйка). Хозяин проверял его знания строго, с особым пристрастием, не выпуская при этом из рук кнута, на котором были завязаны узлы величиной с орех.

В своих беженских скитаниях Екабу в Тверской губернии случилось ночевать в одной баньке со старичком баптистом — начетчиком из лиепайской округи, проповедником скорого пришествия Христа. Старик то и дело читал сиротке какую-нибудь притчу из Евангелия по Марку, Луке или Иоанну.

Затем — конец двадцатого года в Белоруссии. Борьба с верующими фанатиками, когда Гробинь был прикомандирован к особой Чрезвычайной комиссии по изъятию золота у церквей и монастырей. В то время Советское правительство было вынуждено конфисковать часть церковного золота и драгоценностей. Хлеб в Америке и других капиталистических странах Советское правительство могло закупать только за валюту или чистое золото, а у пролетарского государства их не хватало.

Комиссии разрешалось конфисковать золотые предметы, не имевшие прямого отношения к церковным обрядам, к отправлению служб. Но чтобы определить, что к чему, коммунистам комиссии пришлось в пожарной спешке «освоить» сотни страниц культовой литературы. Разобраться, что для церковных церемоний необходимо, а что нет. Члены комиссии были обязаны не только терпеливо разъяснять верующим букву и сущность манифестов Советского правительства («Спасем голодающих! Спасем детей!»), но и доказывать ненужность для богослужения, причастия чуть ли не каждой конфискуемой чаши, блюда, золотого или серебряного предмета.

Так Екабу Гробиню, против воли, удалось накопить немалые познания в церковном укладе и библейских притчах.

— Да ты мог бы в протодьяконы определиться, — подтрунивал Реймер, послушав, как Екаб во время затянувшейся остановки поезда увлекся диспутом со странствующим проповедником. По виду — таежным охотником, а по речи — горожанином. — Почему бы тебе и в самом деле красным дьяконом не заделаться?

— А почему бы и нет, если бы партия решила, что религия, как и нэп, учит торговать,— ответил он шуткой. — Только вот Маркс говорит, что религия — опиум для народа.

Сельский поп, у которого остановился председатель уездной партийной комиссии по снабжению, был человек еще не старый.

— Мерсев, Григорий Семенович.

Он не обиделся на уполномоченного советской власти за намерение остановиться на несколько дней у него, у попа, не возражал против этого.

— Надеюсь, гражданин уполномоченный не превратит мой дом в свою канцелярию. Гражданину уполномоченному придется много с селянами толковать, а мне в доме тишина и покой нужны. К проповедям готовиться надо. Насколько мне известно, гражданин Ленин не запрещает радеть о душах верующих. — И поп вышел распорядиться, чтобы женщины принесли Екабу таз с водой и чистое полотенце.

«Гражданин Ленин... гражданин уполномоченный...» Екабу казалось, что этот видный сероглазый мужчина с сухощавым лицом и золотистыми, как у ребенка, кудрями как-то нарочно пытается подчеркнуть свое безразличие к нуждам государства.

— Постараюсь не мешать вам. Разве что сами селяне...

— Почему они?

— У вас зерно плохо сдают.

— Своя рубашка ближе к телу.

— А Христос учил: богово — богу, а кесарево — кесарю.

— Ненужное для церковных нужд золото наша церковь сдала на хлеб для голодающих без понукания чекистов. — Григорий Семенович сделал вид, будто библейского изречения и не

слышал. — Идемте, гражданин комиссар, укажу вам прямую дорогу к сельсовету.

В избе с высоким крыльцом уполномоченный по снабжению застал человек тридцать селян, созванных кузнецом Илларионом. Оборванные старушки, бабенки, лапотники-бородачи — ну прямо лешие с картинок в детских книжках. И ребятишки в изношенных, латаных рубахах. Все они подпирают стены, исподлобья, с любопытством поглядывая на комиссара в кожаной тужурке и со звездой на фуражке.

Екаб начал с того, что обычно говорил на митингах в каждой деревне. Темпераментно, во весь голос, как всегда, когда вопрос надо было ставить прямо:

— Разве для того рабочие и крестьяне отвоевывали свободное государство, чтобы рабочий люд по-прежнему с голоду дох? Как при власти помещиков и капиталистов. Когда из постигших недород мест люди с клюкой и нищенской сумой по миру уходили. Нет, не за это пролетарии кровь проливали!

Екаб знал по опыту: в округах, где еще сильно влияние кулаков, от спокойных речей толку мало... Толстосумам тогда кажется, что диктатура пролетариата сдает — а чего со слабым считаться-то? А те, кто победнее, поеживаются, опасливо озираются и ведут себя сдержанно с представителями советской власти.

Екаб говорит. Грозит международному империализму, контрреволюционной нечисти, тем, кто восхваляет прошлое. Говорит о крепнущей безопасности и авторитете Советского государства за рубежом. И одновременно старается уяснить себе настроение слушателей. Что совсем нелегко. Люди ведут себя так, словно обращаются не к ним, а к кому-то, слоняющемуся по улице мимо сельсовета.

Лишь пожилого крестьянина с белой, окладистой, словно шерстяной, бородой вроде бы проняли слова товарища уполномоченного. Он ерзает на скамье, подается вперед, опираясь на корявую клюку; поворачивает голову ухом к оратору, долго присматривается к соседям. Одет бедно — холщовые портки, длинная русская рубаха и лапти с лохматыми подборами, намотанными под самые колени.

«На побирающегося погорельца похож, — подумал Екаб. — Или на стрелка бывшего седьмого полка Тидера». Прослышав где-то, будто военком обещал демобилизованным, которые в Латвию возвращаются, новое обмундирование и золотую десятку, Тидер явился на эвакуационный пункт более оборванным, чем какой-нибудь босяк, околачивавшийся до войны на даугавской набережной. И все допытывался: «Где тут монету и барахлишко выдают?»

— Крестьяне села Смоленское! Ваше правительство, Советское правительство, призывает вас, не теряя ни минуты, помочь таким же, как вы, труженикам, попавшим в страшную беду.

Дайте хлеба! Хлеба голодающим! — закончил Екаб, широко взмахнув обеими руками.

— Ну, граждане селяне! Все ясно? Или, может, кто сказать хочет? — спрашивает кузнец Илларион.

— Да чего там говорить? — отзывается бородатый старик. — Пускай тот, кто с достатком, высказывается. А мы — нищие. Голы как соколы. Сами голодуем. — Стукнув клюкой, он поднялся и заковылял к выходу.

— Что за человек? — Екаб привык к тому, что на собрания, на которых идет разговор о сдаче зерна, все больше приходят бедняки.

— Медведев. Самсон Медведев.

— Богатей Медведев?

— Тот самый.

* * *

Медведев, казалось, говорил правду: семья слывущего богатеем селянина жила впроголодь. Не бедно, а именно впроголодь. Хлеба в доме ни крошки! Когда Екаб и представители бедноты вошли во двор, вконец отощавшая Медведиха копалась на огороде; в доме у очага над горшками, приторно пахнущими отваром овощей и ботвы, вяло хлопотала сноха с дочкой Медведева; в запечье хныкали трое ребятишек, опасливо поглядывая на чужих дядек, рывшихся на полках, в сундуках, мешках.

В закромах и ларях в клети богатея ничего, кроме лузги и сечки, сметок мякины, отрубей и мышиных следов, не нашли.

— Был бы хоть хлебца кусочек, боль под ложечкой у ребятишек унять! — Жена Медведева, пошатываясь, тащилась за хозяином, который повел уполномоченного продотдела по своим владениям.

Екаб Гробинь ходил за искавшими мужиками, постукивал по ларям, поднимал крышки на рассохшихся чанах, а про себя все обдумывал слышанное на заседании комитета. Там говорили: «Месяца два назад у Медведева зерна было — завались. И мужики сколько у него под отработки заняли! Еще когда сеяли, у этого мироеда всего вдоволь было. Втихомолку продать или свезти он, черт, не мог, да и не сожрал все. Оба сына ушли из дома в чем были...»

Сундуки пусты, квашни выскреблены, никто ими давно не пользовался. И к тому еще — голодные дети. Явно голодные. Неужто человек по скупости может и на жизнь собственных детей покуситься? Меньшая девчушка так ослабла, что она, кажется, уже давно у смерти в долгу.

— И все-таки зерна у Медведева была чертова тьма. Прячет он! — не переставали после обыска настаивать мужики.

— А где? Все ведь облазили. Разве что мусорную кучу на скотном дворе не переворошили.

Если бы не Медведев, уполномоченный продотдела уже уехал бы в другую волость. Крестьяне села Смоленское государству отдали все, что могли. Некоторые дворы — даже побольше, чем полагалось. Один Самсон Медведев...

На свою квартиру, в поповский дом, Екаб обычно возвращался уже поздно вечером и очень злой. Потягивая тепленький чай, оставленный хозяйками в самоваре, он рассеянным взглядом пробегает губернскую газету, едва понимая прочитанное. Поп уже в постели, лежит за занавеской, разделяющей комнату, и тяжело кряхтит, точно дает понять уполномоченному, что хозяин еще не спит. И охотно потолковал бы с гражданином из уезда. Хотя бы о том же, о чем они уже говорили в первые вечера. Об обезумевшем мире, о безрассудных делах человеческих. А то и о человеческих душах, о которых он радеет. Но гражданину комиссару это все кажется старушечьей болтовней.

— Вот вы, слуги господни, — говорит Екаб, — велите людям креститься, молиться, обожествлять знамение креста. Дурачите их. А что такое, собственно, священный христианский символ — крест? В Древнем Риме крест был тем же, чем в наше время виселица или петля палача. Может быть, так называемые пророки, спасители душ человеческих, захотели бы и петлю и виселицу спасительным знамением объявить? Колчак, японские интервенты и подобные им поборники «подлинного порядка» на Руси ставили виселицы чуть ли не в каждой сибирской деревне. Ну и немцы на Украине, англичане и американцы в Мурманске в этом от Колчака и японцев не отставали.

— Не одни праведники на свете живут, — отзывался поп. — На деревьях сада жизни попадаются и плоды, порченные червями.

— Самсон Медведев не только попорченный червями плод.

— Я говорю о мире, о людях вообще. Зло испокон веку — удел человека.

— В самом деле? То, что вы говорите, Григорий Семенович, как-то не вяжется с христианским учением о праведных и неправедных. Во всяком случае, не вяжется с библейскими легендами о сотворении человека. В Библии сказано, что, сотворив мир, господь посмотрел на труды свои и остался ими доволен.

— Верующие это место Библии толкуют иначе. Господь видел хорошо заложенные основы мира. А не каждое создание в отдельности. Человек как таковой слаб и беспомощен. Только вера дает ему силу преодолеть зло.

— У Медведева в доме висят иконы в золотых окладах, день и ночь теплятся перед ними лампады. А сам он с легким сердцем смотрит, как его ближние, родные внуки, умирают с голоду.

— Вас послушать, так весь мир на одном Медведеве клином сошелся.

— Неправы вы, гражданин служитель культа. Может быть, Медведев и ему подобные именно и считают, что они делают историю. Мы так не считаем. Медведев — ничто, ноль. Еще не успеет наше поколение оставить свой трудовой фронт, как медведевы будут забыты, точно загнившая на болоте коряга или высохшая в солнечный день лужа.

— А гражданин комиссар и впрямь искренне верит, что возможна счастливая жизнь на этой земле?

— Счастливая жизнь для всех трудящихся — это нечто другое, чем счастливая жизнь вообще. Только благодаря полезному, самоотверженному труду на благо общества одиночка становится нужным многим. Народу, государству, человечеству. А в чем, в конце концов, счастье человека? В сознании того, что он нужен другим, обществу, что он старается для народа, а не ради своей корысти.

— Сознание, бескорыстие... Это слишком красиво звучит. Но люди не могут служить обществу без страха перед карающей десницей носителя высшей нравственности и справедливости. Я допускаю возможность коммунизма, если...

— А я не только допускаю, но и верю: коммунизм будет — и без каких-либо «если».

— Вы, инородцы, не понимаете души русского человека, не понимаете души богобоязненного страдальца. Не будь русский крестьянин именно таким, инородцы не властвовали бы над ним.

— Стало быть, гражданин служитель культа считает теперешнюю власть в Советской России инородной? Новыми временами варягов, что ли? Враги трудового народа про это твердят еще с восемнадцатого года. Говорят: всякий сброд — китайцы, поляки, латыши, чехи... Подло это, да и только!..

И разговор оборвался.

Да и то верно, что может прийти в голову защитнику небесной монархии? Где понять ему пролетарский интернационализм, братство людей труда, которое возникло в кровавой борьбе, закалялось и крепло в боях за права рабочих! Такому ввек не понять, как труженик чужой страны, чужого народа может жертвовать жизнью ради свободы рабочих и крестьян другой страны, другого народа.

И какого только черта он, Екаб, послушал кузнеца Иллариона? Зачем остановился у попа? Только кровь себе портить.

— Я ухожу, гражданин служитель культа! — Екаб накинул на плечи тужурку, сунул под мышку свои скудные пожитки. — Заприте за мною ворота!

* * *

— Ползите! Ползите! А то нас вмиг порешат! Огонь такой — все видно. И скорей!

Девчонка, что ползла чуть впереди Екаба, обернулась и махнула ему рукой.

— Да, да!— Екаб ползет, отгребая ногами и руками комья земли, замерзшую стерню, которая ломается с сухим хрустом.

Он и без того понимает: мешкать нельзя. Нужно выбраться из села, где горит сельсовет, горят хибарка председателя и изба бывшего красноармейца, инвалида Ерохина, у которого ночевал кузнец Илларион. Из-за оград, из-за углов трещат выстрелы. Поджигатели и убийцы прежде всего хотят разделаться с председателем продкомиссии, красным комиссаром, который откопал яму с хлебом Самсона Медведева, созвал к ней селян. Разделаться с коммунистом, назвавшим на митинге Медведева выродком. Врагом трудового народа... Детоубийцей, которого будет судить революционный суд.

Когда и хорошее и попорченное навозной жижей зерно было засыпано в мешки, уложено на подводы и решено отвезти его рано утром в уезд, люди разошлись по домам, а Екаб в сумерках направился в другой конец села. К золовке медведевской снохи, куда изможденная жена кулака ушла с обоими малышами. Оголодавшими, хворыми. Яму с хлебом старого Медведева указала его сноха.

Екаб остался в доме на ночь. Лег он поздно — на селе уже пропели первые петухи. Укрылся тужуркой и — тут же вскочил. Где-то затрещали выстрелы, земля гудела от конских копыт, а за окнами вспыхивали огоньки, словно рядом темноту разрывали пулеметные очереди. Екаб быстро натянул сапоги и накинул тужурку. Схватив наган, он выскочил на крыльцо и наткнулся на попа.

— Они вас ищут! Там молодой Медведев.— Поп толкнул Екаба в тень крыльца.— Приходили ко мне, искали. Потом кинулись за помощником вашим, за Илларионом. Бегите, не упрямьтесь! Я проведу вас огородами. За околицей дожидается моя дочка... Она вас проводит дальше...

— Значит, слуга культа, Григорий Семенович, спасает коммунистов...

— Спасает, как видите. Только слушайте, что вам говорят. Своим наганом вы им ничего не сделаете.

Это Екаб понимал. Хоть сердцем он и рвался к дому, где кричали женщины, где, взметывая искры, пылала крыша.

— Нам бы только до речки,— говорит провожатая Екаба.— За излучиной можно на другой берег переправиться, а там — тропа к бийской дороге. Верст шесть-семь. Если не заплутаете. Тропа утоптана, вы только держитесь ее.

— А ты сама?

— Я вернусь к отцу. А вы не мешкайте! Может, в соседней деревне найдете красноармейцев из Чека...

6. «И ВСЯ-ТО НАША ЖИЗНЬ — ЕСТЬ БОРЬБА»

(Из песни времен гражданской войны)

— Сменим на горячий... Чай совсем остыл.— Вера Григорьевна убрала с подставки пузатый чайник, заменив его другим, с дымящимся, как большая трубка, носиком. И снова оставила Петериса наедине с его гостем.

— Ладно, побалуемся горяченьким.— Стучка потянулся за стаканом товарища. Но тот опередил его, взял свой стакан вместе с хозяйским. И весело рассмеялся, как подросток, удавшейся шутке.

— Товарищ Стучка, как-никак я помоложе вас!

— Опять: помоложе!

— Я не то хотел... не в том смысле... А вообще... Ведь я недавно говорил: всегда буду против скоропалительности молодых. Против утверждения, что старые свое отжили!

— Мы, кажется, договорились этой темы больше не касаться,— сказал Стучка.— Пропустим лучше горяченького.

«Пропустить горяченького» — довольно точное определение чаепития, вернее — употребления кипятка. Раньше, до войны, у латышей такой привычки не было. (Во всяком случае, исследователи этнических своеобразий, жизненного уклада народа за латышами пристрастия к чаепитию не примечали. Хотя почти триста лет писали о национальных кушаньях и обычаях латышей.) А теперь латыши в России пьют кипяток и дома, и в дороге. И за дружеской беседой, и наедине. И не столько в подражание русским, сколько для того, чтобы согреть и успокоить урчащий от голода желудок. В слякотную осень, морозную зиму и сырую весну они осушают чашки, кружки и стаканы чуть ароматного, слегка подслащенного коричневатого напитка.

Разговор с Паулем Бетлером происходит в рабочем кабинете Стучки. Окна комнаты выходят во двор, откуда временами доносится гомон ребят из кремлевской школы.

Директор рижского книжного издательства «Дайле ун дарбс» Пауль Бетлер нелегально прибыл из Латвии в Москву по делам издательства и книжной торговли. Несколько месяцев тому назад Бетлер через товарища Роберта (Роберта Пельше — председателя комиссии по реэвакуации военнопленных и беженцев) в весьма категоричной форме потребовал от партийного Заграничного бюро три миллиона рублей на издание книг. И, поскольку такое дело через курьеров не уладишь, директор рижского коммунистического предприятия нелегально переправился через границу к Петерису Стучке, к председателю Компартии Латвии, по инициативе которого и было создано легальное книжное издательство подпольной партии в буржуазной Латвии. Стучка добыл средства для создания предприятия, спланировал его работу, предложил проект объедине-

ния легальной деятельности издательства с нелегальной (вместе с изданием легальных книг снабжать бумагой и типографскими материалами подпольную «Циню» и другие партийные печатные издания). Стучка же предложил Центральному комитету поручить руководство этой особо конспиративной работой Паулю Бетлеру, старому социал-демократу, опытному профессиональному революционеру. Бетлер не был в Латвии с шестнадцатого года. Как участник социалистической революции, он был известен в Закавказье — в Баку. Бетлер мог смело отправиться в Латвию в качестве обычно возвращающегося беженца. Для доказательства его алиби партии не пришлось дурачить буржуазное правительство всякими порочащими статьями, как это делали, когда в путь отправился Андрей Упит.

Бетлер за очень короткое время создал в Риге, вопреки жестокому террору, товарищество по изданию книг и торговле ими, в которое в качестве ответственных членов вошли такие влиятельные лица, как инженер и предприниматель Альфред Разум, инженер Янис Чауле и самый большой латышский поэт Янис Райнис. И если Бетлер теперь испытывал денежные затруднения, то долг Петериса Стучки был помочь ему. Ради этого дородный, грузный человек (за почтенную осанку, приличное пальто и шляпу в Москве его уже успели обозвать «буржуем») сейчас и находится здесь и советуется с Петерисом Стучкой.

— По-моему, главной заботой издательства должны все же быть марксистские книги. Марксистская литература для молодежи,— вернулся Стучка к прежней теме. — Рабочую молодежь, тех, кто становится в ряды революционных борцов, надо хорошо вооружать теоретически.

— А мне хочется сказать, что товарищ Стучка плохо информирован о рижских возможностях.— Чайный стакан и блюдце звякнули в руках у Бетлера.— И не знает, какие у нас трудности при издании и распространении книг. Я уже говорил, как сложно обстоит дело с бумагой. В Латвии вроде бы существует свободная торговля. Но попробуй ты закупить в большом количестве типографскую бумагу, да еще такую, на которой можно печатать малоформатные газеты. В Латвии продолжают действовать не только законы царского времени о крамоле, но и изданные Керенским, и собственные законы о военном положении. На основании главы первой статьи семнадцатой закона от восемнадцатого года о военном положении, любой чин полиции может конфисковать издание печати, которое разрешено цензурой. Так министр внутренних дел поступил с Северо-Латвийским календарем, изданным в Валке Рауской. В календаре, дескать, напечатаны статьи антигосударственного содержания, сотрудники календаря, тот же поэт Лайцен, коммунисты — и делу конец.

Если наше издательство должно нелегально обеспечивать технически центральный орган партии «Циню», то «Дайле ун дарбс» не может допустить конфискации какого-либо своего издания. Поэтому мы «Капитал» Маркса издать не сможем. Тем более что это потребовало бы огромных средств. Но главные затруднения все же из-за переводчика этой книги.

— Я слышал... Мне рассказывали...— Стучка встал, подошел к окну и посмотрел во двор, где шумной гурьбой играли в снежки школьники.— Против напечатания Маркса возражает Райнис?

— Для него не секрет, кто переводчик «Капитала». Знает это также центральный комитет меньшевиков. А обо всем, что известно лидерам социков, сразу становится известно охранке.

— Разумеется, разумеется... Для калниней, мендеров, цееленов нет страшнее врага, чем коммунизм. Из ненависти к большевикам они настаивают на том, чтобы земли имений были поделены на луковые грядки. Спешат превратить безземельных крестьян в бобылей, надеются перетянуть мелких крестьян к противникам коммунизма. Но... при всем при том — издание теоретической литературы есть и останется главным полем деятельности издательства!

— Останется-то останется. Но лишь в пределах реальных возможностей. Не следует забывать, что издание классиков марксизма в Латвии требует огромных средств. Да и авторам художественной литературы «Дайле ун дарбс» платит солидные гонорары. А не какие-то гроши, как большинство тамошних издателей. Сокращать издание подлинной художественной литературы было бы неразумно. И без того книжные лавки Латвии завалены рассказами о похождениях грабителя Адамайтиса, бульварными романами, дневниками падших женщин, мемуарами белогвардейцев.

— Ну кто же спорит? Только... только где взять средства? Мы, здешние члены партии, и так обложили себя очень высокими взносами в пользу латвийской организации. Просить у Федерации было бы не по-товарищески и несправедливо. Надо искать другие возможности. Что-то придумать.

— Ввести свой нэп?— засмеялся Бетлер.

— Вы имеете в виду хозяйственное начинание?— оживился Стучка.— Знаете, совсем неплохая идея.

— Да, но... говорят, что после объявления нэпа в России кое-кто из товарищей в знак протеста порвал свой партбилет.

— Отдельные случаи были... Горячие головы встречаются и в нашей партии. Вы посмотрите, посмотрите на этих озорников!— показал Стучка на двор.— Кидают снежками в товарища Дзержинского.

— А какой галдеж!

— О, ребята доставляют немало хлопот обитателям Крем-

ля. Некоторые классы находятся над самой квартирой товарища Ленина. И на переменах там стоит сплошной гам. Мария Ильинична пыталась утихомиривать ребят. Комендант Кремля даже хотел перевести школу в другое место. Но Ленин запретил...

* * *

Стучку товарищи знают как человека выдержанного, уравновешенного, не подверженного переменчивым эмоциям. Со школьных лет в рижской бюргеровской гимназии Петерис привык не выказывать другим своих чувств — ни радости, ни разочарования, ни огорчений. Не жаловаться и на болезни. И только одна Дора знает, как тяжело Петерис переживает упреки, нетактичные выходки, своеволие, грубость отдельных товарищей.

После отъезда Бетлера (перевод «Капитала» Маркса напечатают в Советской России) Петериса все преследовали мысли о позиции молодых товарищей относительно того, что принято партийцами старого поколения в некоторых вопросах тактики и стратегии. Бетлер прав: молодые в своих суждениях порою чересчур категоричны и непримиримы. «Мы так считаем!» И все это без всестороннего анализа фактов, без строго научного обоснования. Аргументация, что социализм — это прежде всего наука, кажется им старомодной, излишней. В России пролетарская революция уже победила! В мире идет последний решительный бой! И слова Маркса об иронии истории, преследующей социалиста, если он в действительности лишь подчиняется слепой прихоти, будто бы относятся только к прошлому. Мы, молодые, мол, не признаем косности. (А тут еще Троцкий аплодирует авангардизму молодых!)

«Нет, дорогие! Так называемые старики не добиваются себе почета безгрешных маститых старцев. И вовсе не хотят стать чем-то вроде библейских патриархов, каждое слово и жест которых следует принимать как высшую мудрость и непогрешимость. У этих противоречий совсем другая подоплека. Это показал Десятый съезд партии. Показала программа строительства социализма и ее повседневная практика. Для группы Троцкого социализм то же, что отвергнутый жизнью военный коммунизм. Бухарину и его сторонникам кажется, что законы политической экономии при социализме потеряли силу. Достаточно одного желания коммунистов для того, чтобы труженики пользовались всеми благами, которые может дать высокоорганизованное общественное производство. И декретов государственной власти. Слова Ленина о том, что политэкономия как наука о законах экономии общества сохраняется и при коммунизме, они игнорируют. Точно так же оппозиционеры забывают о требовании рабочих и крестьян соблюдать принцип материальной заинтересованности. Вопят, что теперешнее руковод-

ство партии отрывается от масс. Противник ленинской линии Шляпников дошел до того, что заговорил о том, что новая экономическая политика Ленина будто бы является отказом от целей революции. А троцкист Сосновский в свою очередь твердит: мол, Советская республика капитулирует перед мелкой буржуазией. Ленинцы ведут государство к крушению, которого не миновать, если Россия не будет спасена революцией в Европе.

В полученных недавно в Москве документах из архива Энгельса есть интересные статьи, в которых Энгельс критикует левых оппортунистов из молодых литераторов и студентов в социал-демократическом движении Германии, называет их исказителями Маркса, чье искажение граничит с безумием.

Членом коммунистической партии не может быть человек, который не хочет понять, что теория социалистической революции способна превратиться во вредный для великой идеи шаблон, если ее не применять диалектически, творчески. Мы исключали крикливый лозунг Троцкого о перманентной революции. Ленин прав: «Социализм в России какое-то время придется строить во враждебном капиталистическом окружении. Мы должны добиться успехов в одиночку...» Но добиваться успехов в одиночку в условиях отсталой, неграмотной России можно только в тех формах, которые приемлемы, даже если они и не совпадают с формами, возможными в высокоразвитых странах».

Свет настольной лампы замигал, затрепетал — вот-вот погаснет. Стучка подергал приспособленный под электрическое освещение корпус керосиновой лампы.

«Видно, какая-то проволочка отстала»,— решил он. Поднялся и направился в другую комнату за отверткой.

— Петр Иванович, я, наверно, вам помешала?..

Только теперь он заметил, что Вера Григорьевна сидит за роялем и чуть слышно перебирает клавиши. Черно-белые клавиши словно уводят ее на просторы Молдавии, в заросшие кустарником леса — кодры.

— Нет, Вера Григорьевна, вы не мешаете. Вы доставляете нам с Дорой Христофоровной удовольствие. Играете совсем как моя мама...

Мама...

Мать Сергея Лазо и в самом деле стала в семье Стучек матерью. Внимательной, доброй, заботливой. К ней сразу привыкли, словно вместе прожили всю жизнь, всегда всем делились.

Дора вначале было хотела подготовить мужа к определенным неудобствам, которые возникнут с приходом в семью нового человека. Но поступаться ничем не пришлось. Это стало ясно с первой же минуты, когда Стучки встретили на Казанском вокзале очень скромную, но опрятно одетую интеллигент-

ную женщину Дориного возраста. Когда разговор зашел о смерти сына, о материнском горе, она была очень сдержанна. В квартире ей ничего не показалось непривычным. И в первый же вечер Вера Григорьевна за чаем заявила не терпящим возражений тоном, что хозяйство она берет на себя. Целиком.

И теперь в квартире Стучек всегда был порядок. Утром и вечером на стол вовремя подавался чай. Петерис мог спокойно писать, готовиться к лекциям в университете, заниматься государственными и партийными делами. Доре ничто не мешало работать в библиотеках: переписывать документы и читать корректуры, и она не опасалась упустить очередь за суточным пайком. И еще оставалось время позаботиться о «ребенке» — Эрнесте Эферте.

— Ему в этом холостяцком общежитии даже спать не на чем,— ужасалась Дора, после того как она заглянула однажды в комнату, где Эферт ютился вместе с несколькими товарищами из латвийских работников.— Такой больной человек — и спит на полу, на газетах и книгах, укрывается тонким демисезонным пальто! Ни у кого ничего не просит, и никто поэтому им не интересуется. Туфли изношены. У одной отстала подметка, и он подвязывает ее бечевкой — как в девятнадцатом году, при отступлении из Риги. Товарищи, правда, хотели выхлопотать Эферту пальто и ботинки, но он наотрез отказался: у других, мол, ничуть не лучше, сейчас наше государство не может одеть и обуть всех. И для него как коммуниста нельзя делать исключения. Если Эферт будет так жить дальше, он погибнет. А у латвийской партии есть только один Эрнест Эферт. Пропагандист, ученый, писатель, педагог. Петерис, надо обязательно позаботиться об Эрнесте!

И Дора сама старается. Заботится об Эрнесте, как мать о взрослом, но беспомощном сыне. Водит к нему врачей, достает лекарства, старается, чтобы у больного были хотя бы сносные домашние условия.

Петерис тоже старается, хотя у него своих дел невпроворот. Вот-вот коллегия Комиссариата юстиции должна решить вопрос о советских судах в условиях новой экономической политики. И придется отстаивать принятую в восемнадцатом году марксистскую систему суда, теорию советского права. Отстаивать ее в условиях нэпа.

Под влиянием ленинских статей он развивал в своем курсе лекций по праву тезис о том, что сейчас в России нужны не столько «чистые» юристы, сколько коммунисты, то есть люди с революционным сознанием, и это надо сейчас обосновать трудами основоположников марксизма. Изучая рукописи классиков, текстологи нашли работу Энгельса, датированную 1887 годом, где он отождествляет буржуазное право с буржуазной идеологией. Говорит, что буржуазии присуще мировоззрение юридическое, а не религиозное.

Мировоззрение. Опирающееся на частную собственность, на эксплуатацию человека, мировоззрение, выраженное посредством юридических норм. Тезис Энгельса доказывает, что правы Курский, Стучка, Козловский, а не их оппоненты.

В вопросе революционного права Петерис Стучка и его единомышленники вовсе не своевольники, как о них раструбили меньшевистские и эсеровские юристы.

И сказанное в начале восемнадцатого года, что все старые законы надо сжечь, не дешевая ораторская фраза Петериса Стучки. Еще во Французскую революцию Вольтер советовал буржуазии сжечь старые законы свергнутых феодалов.

* * *

— Прошу слова! Дмитрий Иванович, прошу слова!— воскликнул Стучка, прежде чем кончил выступавший товарищ.

— Записываю,— отозвался председательствующий, нарком юстиции Курский, и кивнул выступавшему:— Извините, пожалуйста!

Стучка мрачно уставился на край стола, подумал, что уже кому-то приходится извиняться за его нетактичность.

Чтобы хоть как-то приглушить досаду на самого себя, он посылает записку своему единомышленнику Николаю Крыленко, председателю трибунала ВЦИКа:

«Взбаламученная нэпом грязь мелкобуржуазной стихии уже брызжет в лицо. Временные законы нэпа — это лишь маленький шаг назад, а вовсе не возвращение к правовым нормам, установленным капитализмом и буржуазией. Все проблемы сегодняшнего дня, все неясности мы должны видеть только в аспекте революции, а не уступок. И народный суд, советские юристы должны понять: постановления рабоче-крестьянского правительства и Центрального Исполнительного Комитета рабочего парламента обязательны. Не только внешне, но и как диктат в интересах будущего класса...»

Послышался смех... Петерис Стучка поднял глаза. И увидел обращенные на себя насмешливые взгляды.

Так и есть, выступавший кинул камень в Стучкин огород. Осуждение последовательных взглядов стало сейчас чуть ли не криком моды. Ортодоксам новая экономическая политика Ленина кажется явным доказательством утверждений западных социал-реформистов о том, что, для того чтобы социализм экономически привился, врос, надо дать капитализму полную свободу, развивать его до предела. Авангардисты, те в свою очередь долдонят, мол, нэп в экономике России доказывает лишь одно — что кое-кто из западных теоретиков поумнее нас. Они понимают надклассовую сущность права. Как, например, «корифей» социалистической мысли Карл Каутский с его утверждением, что защищать доход — это древнейшая функция права.

И людям, которые с серьезным видом изрекают такие благоглупости, кажется, что они марксисты. Неужели они никогда не изучали истории и ничего не знают об общественных ломках в древние и средние века и порожденных ими революциях в области права? Молча выслушивать глумления над марксизмом недостойно коммуниста.

«И гор блаженства мне не надо, если хоть граммом лжи за них обязан я»,— так примерно сказал Гейне. Поэт немарксист.

Мысли Петериса были прерваны председательствующим:

— Сейчас следовало бы дать слово Арону Шольцу, но, кажется, товарищ Стучка очень уж рвется в бой.— Курский постучал карандашом по столу.

— Как говорится, революция, по сравнению с прошлым, переворачивает все с ног на голову,— начал Стучка с некоей игривой интонацией.— Когда во время великого восстания в Германии революционные крестьяне выступили против своих угнетателей, по их терминологии грабителей, то они объявили войну не на жизнь, а на смерть трем категориям разбойников: разбойникам с большой дороги, разбойникам-купцам и разбойникам-юристам. И это было логично и закономерно, ибо юристы, церберы феодального насилия, грабили крестьян именем законов феодальных господ.

Мы, марксисты, в понимании сущности права всегда стояли и будем стоять на противоположных с защитниками общепринятой юрисдикции позициях.— Насмешливая интонация в его голосе уже исчезла.— Мы говорим о законодательной монополии государственной власти, понимая под государственной властью всю ее совокупность. В нашем понимании объективные элементы законов составляются общественными отношениями. Утверждать, будто революция была лишь узким правовым актом, а не социальным переворотом, могут лишь буржуи, а не марксисты. Восставший народ в России не провозглашал новой государственной власти «в рамках конституции империи», как это произошло в Германии в восемнадцатом году, где псевдосоциалист Эберт узурпировал немецкие Советы солдат и рабочих. Мы в новой России похоронили понятие вечности права, провозглашенное буржуазией в пору своего расцвета. Однако, отрицая понятие вечности права, мы одновременно боремся за новую, качественно высшую законность, за пролетарскую классовую законность, установленную революцией трудового народа. За границей сейчас в моде венский профессор права Менгер со своей теорией о законном врастании пролетариата в государственный аппарат. Менгер обходится без марксизма, считая его устарелым. И у нас кое-кому высказывания Менгера кажутся чуть ли не последним словом науки. Этим горе-теоретикам кажется, что новая экономическая политика в России тоже ведет к социализму через капитализм. Выходит, что лучшие представители пролетариата «врастают» в государственный

аппарат. С другой стороны, иностранные социалисты, а с ними и наши эсеры и кадеты, в один голос кричат о том, что социалистическая надстройка и капиталистическая экономика являются нетерпимым гибридом, несовместимым с действительностью.

Нет, марксисты и в условиях нэпа должны поддерживать социалистическую надстройку, воевать за ее совершенствование. А деятельность частных предпринимателей должна находиться под контролем государства. История учит, что законодательство, начиная от распада первобытной общины до наших дней, является лишь оформлением общественно-революционных актов, укреплением экономико-политических позиций нового, взявшего в свои руки власть класса. В то время как апологеты правовой автономии, вечности законов напоминают римское божество Сатурн, пожирающее собственных детей. Тогда, если уж следовать ходу мыслей автономистов, получается, что право нового, победившего класса и его законодательные акты пожираются старыми?

Стучка имел в виду колеблющихся юристов и их разные оговорки.

— К чему все это? Ведь земля круглая! — как писал Гейне,— иронизирует Стучка.— Мы будем снова там, откуда начинали!

Затем он приводит высказывание Салтыкова-Щедрина, что напрасно помпадуры трудились, пытаясь в законодательном порядке остановить течение реки; упоминает Фердинанда Лассаля, написавшего два толстых тома о проблемах права, в надежде добиться своими рекомендациями переворота в социальных отношениях людей.

— Но к проекту Лассаля общество отнеслось как к любой причуде. Все осталось по-прежнему. И сегодня немецкий социал-реформист в журнале «Нойе Цайт» пишет совсем как в долассалевские времена, что для богатых и для бедных существует только одна юрисдикция. Как один бог и одна религия. Нет, товарищи, и в условиях новой экономической политики государства повседневная задача советских юристов — закрепление установленных социалистической революцией социальных отношений, норм, элементов власти, поддержание всеобъемлющей революционной законности, чего можно добиться, совершенствуя права класса пролетариата и вовлекая массы трудящихся в управление государством. Недаром Ленин сказал, что государство сильно сознательностью масс...

После дискуссии, длившейся более пяти часов, участники совещания небольшим большинством голосов решили создать комиссию по разработке декрета о единой системе прокурорского надзора для всей территории Российской Федерации. Одним из членов этой комиссии становится Петерис Стучка.

* * *

На заседание Заграничного бюро[1] Компартии Латвии, на котором обсуждался вопрос Конгресса Коминтерна, Петерис Стучка пришел с опозданием почти на полчаса и удивился, что бюро еще не начало работу.

— Я ведь звонил... Мы договорились, что начнут без меня,— обратился Стучка к секретарю Латсекции Карлису Крастиню (Виктору).

— В ночь с десятого на одиннадцатое их... в Риге...— протянутая Стучке бумага мелко дрожала в пальцах Виктора. Сам Виктор был болезненно бледен. И остальные товарищи были взволнованы.

— Их?— Он все еще пытался отогнать это холодящее сердце известие. Но, всмотревшись в крупные машинописные буквы на коричневатой бумаге с пересекающей ее вдоль красной линией, Стучка все понял: произошло неотвратимое. Расстреляны члены Центрального комитета Компартии Латвии, редакторы «Цини» и секретари партии — Янис Шильф и Аугуст Берце, которых Российская Федеративная Республика пыталась обменять на арестованных в России контрреволюционеров, подопечных буржуазной Латвии. Но почему в телеграмме фигурируют еще и другие имена? Алкснис, Бергманис, Эглитис, Куперманис, Легздинь, Лидум, Миеркалн? В какой связи?...

— Охранка белой Латвии к «делу» товарищей Берце и Шильфа присовокупила и «дело» других арестованных в последние месяцы коммунистов,— объяснил Виктор.

— Это для пущей убедительности в связи с разглагольствованиями о терроризме Центрального комитета Компартии Латвии. О вооруженной попытке свергнуть правительство Латвии.— Давид Бейка подал Стучке взятый со стола лист бумаги.— Пожалуйста, вот тебе юридическое обоснование приговора.

Стучка пробежал глазами немецкий текст. Сфабрикованную для заграничного пользования мотивировку Рижского военно-полевого суда.

— Какая чушь! Центральный комитет Компартии Латвии и никогда не существовавшая коммунистическая террористическая группа... которая будто бы действовала в согласии с председателем Совета Народных Комиссаров Советской России Ульяновым и членами Совета Народных Комиссаров... и по-

---

[1] Заграничное бюро — представительство Центрального комитета КПЛ за границей (с местопребыванием в Москве), которое поддерживало связи с Исполкомом Коммунистического Интернационала, издавало партийную литературу, помогало нелегальной КПЛ решать вопросы тактического и организационного характера. В разговорном языке, а порою и в статьях Заграничное бюро называли Латсекцией. Но это, в сущности неверно, ибо на самом деле Латсекция — это КПЛ, как составная часть Коммунистического Интернационала.

ставила себе целью — с оружием в руках свергнуть существующий в Латвии государственный строй... И это пишут юристы! Где и какое было оружие у Шильфа и Берце?

— Оружия не нашли и у семерых остальных товарищей, арестованных в другой связи,— заметил Берзинь-Андерсон, представитель латвийской партии в Западной Европе.— Уликой были лишь пропагандистские материалы, политическая литература и показания провокаторов — агентов охранки. Но какое это имеет значение для латышских националистов? Разве не расстреляли они как террористов участников нелегальной комсомольской конференции в Валмиере?

— Буржуазная клика пользуется моментом, чтобы выслужиться перед своими зарубежными хозяевами,— сказал Виктор.— Рост авторитета и мощь Советской России страшат империалистов. У Советской России есть договор о дружбе с Ираном и Афганистаном, налаживаются торговые связи с Англией, Италией, Австрией и Норвегией. Во многих странах уже действуют коммунистические партии. Коммунистическое движение крепнет, и его пытаются скомпрометировать, во что бы то ни стало скомпрометировать! А когда латышские надсмотрщики и доезжачие не кидались угодливо выполнять приказы своих хозяев? Господам капиталистам желательно оболгать правительство Ленина? Пожалуйста! Рады стараться!

— Мерзкое угодничество,— согласился Бейка.

— Только от этого нам, нашей партии, ничуть не легче,— отозвался Стучка.

— И не станет легче, пока руководство Компартии Латвии будет продолжать действовать так, как теперь,— вставил Карлис Кауфманис, известный в партии под кличкой Сом.

— В каком смысле?— недоумевал Виктор.

— Наше руководство ведет себя чересчур робко. Слишком ненастойчиво в центральных учреждениях Федерации. Мы только мямлим о необходимости выдвинуть решительные требования.

— Товарищ Сом хорошо знает, что для спасения Шильфа и Берце было сделано все возможное,— сказал Стучка.— Я написал товарищу Ленину, и он срочно поручил наркому иностранных дел Чичерину повлиять на правительство белой Латвии. Добиться обмена арестованных. По поручению Ленина Чичерин телеграфировал в Ригу нашему полпреду Ганицкому, сделал его лично ответственным за обмен. Было уже получено согласие ульманисовского министра иностранных дел Мейеровица, есть соответствующий документ...

«Что это с Сомом?.. — подумал Стучка. — Наше руководство чересчур робко ведет себя в центральных учреждениях Федерации. Мы мямлим... Кауфманис в организации не новичок. Пропагандист Центрального комитета. Участвовал в

октябрьской борьбе, был заместителем Эндрупа в Рижском горисполкоме... Член Заграничного бюро Центрального комитета и секретарь горкома партии в Пскове... Допустим, Кауфманис недоволен мной, Петерисом Стучкой. Допустим, Сому хотелось бы видеть во главе партии более энергичных людей. Это все можно понять. Но нельзя, непозволительно так безответственно швыряться словами в адрес братской партии...»

— Сейчас не время спорить о тактике,— вмешался Круминь. — Мы должны срочно решить, как ответят латвийский и международный пролетариат на совершенное в Риге убийство?

— Воззванием к рабочим Латвии. Воззванием к всемирному пролетариату. Призывом к трудовому народу протестовать,— перечислял Данишевский. — С особым меморандумом надо обратиться к делегатам Конгресса Коминтерна. Пускай товарищ Параграф напишет его на иностранных языках.

— Не возражаю! Но я в этом меморандуме предъявлю суровое обвинение социал-демократам Латвии. Социал-демократические лидеры знали о том, что ульманисовские молодчики решили расстрелять двух членов Центрального комитета Компартии Латвии. Знали, но отказались предпринять что-либо для их спасения. Они были слишком заняты собственными делами. В то время когда арестовали Шильфа и Берце, в белой Латвии шел торг правительственными портфелями и правое крыло социал-демократов Латвии любой ценой хотело усесться в министерские кресла. Это обстоятельство надо непременно подчеркнуть в наших воззваниях, в статьях для печати. Социал-демократы поддерживают расправу с революционным народом Латвии и даже сами проявляют в этом инициативу. У нас пока, правда, еще нет документа, который подтвердил бы подлую провокационную роль, которую сыграли в аресте Шильфа-Яунзема Бруно Калнинь и другой член центрального комитета меньшевиков — Шаберт, но то, что Бруно опознал в охранке Яунзема, это мы уже знаем.

— О контрреволюционной политической практике меньшевиков Латвии в Пскове получены новые материалы. От перешедших границу и беженцев из белой Латвии,— вставил Сом. — Например, о только что назначенном министре юстиции — тоже социал-демократе. Он открыто поддерживает арест депутата Учредительного собрания, члена социал-демократической фракции Дерманиса, который якобы является коммунистом. Кроме того, лидеры социал-демократов утверждают, что прибалтийские помещики будто подкупили коммунистов, чтобы те агитировали сельскохозяйственных рабочих, из-за чего правительство сейчас не может осуществить обещанное распределение земель имений...

Пока товарищи совещались, Стучка набросал в записной книжке вопросы, требующие срочного решения.

1. Договориться с центральными комитетами коммунистических партий прибалтийских стран о согласованной тактике борьбы против националистической контрреволюции. (Возможно, создать постоянно действующий центр?)

2. Посоветоваться с живущими в России партийцами о том, чтобы создать для латышей Российской Федерации производственные предприятия, прибылью которых можно было бы поддерживать подполье Латвии и ее печать.

3. Любой ценой добиться выпуска легальной партийной газеты в Латвии. Пусть с самым скромным содержанием. Пусть еженедельное издание, если чаще нельзя...

7. БУДНИ

— Секретаря Киргизкома сегодня не будет. Ушел на длительное совещание. Но он, товарищ, велел передать вам вот эту бумагу. — Секретарша-машинистка передала Екабу Гробиню серый листок с тремя строчками фиолетовой жирной машинописи.

«Заявка...» — Екаб вгляделся в напечатанный в разрядку заголовок. Заявка... Значит, Киргизком просит зачислить бывшего красноармейца в кандидаты на рабфак. Просит экзаменовать его вместе с остальными желающими. То есть...

— Здорово! — Екаб так пожал машинистке руку, что та даже ойкнула. И на его руку посыпался горячий табачный пепел от похожей на обрубок самокрутки, которую курила сухопарая женщина. — Черт побери!.. Только бы к началу экзаменов не опоздать!

Бумажка с фиолетовыми строчками сейчас значит для Екаба не меньше удачи в бою. Из-за этой бумажки — мандата, путевки, заявки (называй как хочешь) — он даже лишился аппетита, что казалось совершенно невозможным в пору, когда люди живут впроголодь. Еще утром он не питал ни малейшей надежды.

— Нельзя, товарищ! По вашему округу контингент кандидатов давно исчерпан!.. — ответили ему на рабфаке.

В Москву учиться его, уездного уполномоченного по продснабжению, направил секретарь губкома, сказав:

— У тебя, брат, в рапортах такой русский язык... Мозги вывихнешь, прежде чем сообразишь, что ты сказать хотел. Да и то приблизительно. В массовой агитации, на митингах ты держишься на нужном уровне, но с документами, с бухгалтерским учетом... А знаешь, что товарищ Ленин об учете говорит?.. Социализм — это учет. Вот как! Знаешь, тебе бы учиться. Практики резолюции, вроде тебя, должны поступать

на рабфак. В Москве есть такой и с латышским языком обучения. Ехать согласен?

— Не только согласен. Хочу учиться.

— Тогда сдавай дела заместителю.

А в Москве — не тут-то было! Молодежи с путевками из Сибири, с Урала оказалось значительно больше, чем на рабфаке мест.

— Я ведь из Прибалтийского края приехал,— убеждал Екаб.

— Это из Сибири, а контингент сибирских и уральских округов давно исчерпан,— ответили в секретариате рабфака. — На сотню мест около четырехсот кандидатов.

— Как же мне быть?

— Поезжайте обратно или обращайтесь в отдел кадров Цека.

Наверно, у Екаба в тот миг был совсем убитый вид. Глаза его, должно быть, отражали отчаяние, ибо сидевший за соседним столом брюнет в старом офицерском кителе, с эспаньолкой, стремительно встал.

— Я секретарь рабфака. Что за беда у товарища?

— Еще бы! Мне на дверь указали.

— А товарищу очень хочется учиться?

— Очень.

— Надо подумать. — Брюнет достал из нагрудного кармана записную книжку. — Кажется, есть только одна возможность. — Екабу на плечо легла увесистая ладонь. — Свой контингент еще не использовал Киргизский округ. В Москве находится Исполком Киргизии. Сходи к председателю Киргизкома. Попроси путевку.

Киргизком Екаб нашел сразу, но председатель куда-то отлучился. Пришлось обратиться к секретарю.

— Где с белыми дрался?

— Всюду. На Волге, на западе, на севере. С бандитами на Алтае.

— А в Киргизии не воевал?

— В Киргизии не довелось.

— И в окраинных с Киргизией округах — тоже нет? Скажем, в Оренбургском?

— Не доводилось.

— Тогда дело твое табак. Точно. Я с председателем, конечно, поговорю, но твои данные не подходят. Все равно, зайди завтра на всякий случай...

И вот у Гробиня в руках заявка Киргизкома с печатью и подписью председателя. Дверь на рабфак для него теперь открыта.

Приемные экзамены сдавались в одной из старых московских гимназий. Принимал их учитель средней школы для взрослых — Дмитрий Никанорович. Тщедушный седоватый

человек с бойкими глазами, которые так и поблескивают за овальными стеклами очков, когда он разговаривает.

— Ну, что ты знаешь?

— Кое-что знаю.

— Дроби знаешь?

— Знаю. — Екаб недоумевал, с чего это экзаменатор его о ружейной дроби спросить вздумал? Ему и невдомек было, что учитель имел в виду совсем другое.

— Тогда запиши задачу: за шестьдесят минут машина делает... скажем, сто оборотов. За какое время она проделает одну пятую этих оборотов?

Пока Дмитрий Никанорович диктовал задачу следующему кандидату, Екаб уже решил в уме: двенадцать минут.

— Ну, покажи. А почему у тебя нет решения?

— Я так, без бумаги.

— Нда, запиши тогда другую задачу...

И опять Екаб вывел на листке только результат.

— Нда,— вздохнул опять экзаменатор. — Голова у тебя работает, только... техники не хватает. Тех-ни-ки! Ладно, посмотрим, как с остальным дело пойдет.

По русскому языку писали сочинение на тему: «Как я провел весну». Весну? Какую весну? В прошлом или позапрошлом году? Или, может, последнюю, когда он воевал с бандитами? Когда его спасла поповская дочка и когда он из деревни Вишневка с группой красноармейцев преследовал контрреволюционеров по Алтаю. Перебирался через клокочущие в горных ущельях ручьи. Карабкался по гранитным глыбам, громоздившимся циклопическими стенами. А... пули бандитских обрезов шлепались о камни над самыми головами. Наконец, когда, казалось, бандиты были загнаны в ловушку и им ничего не оставалось, как поднять руки, рядом взрывом гранаты сорвало груду камней. Просто удивительно, как он уцелел.

Екаб невольно вздрогнул. И принялся писать про все, что тогда было.

После письменного начался устный экзамен: читали и пересказывали. К вечеру объявили оценки за сочинение.

— Кто рассказал вам все то, о чем вы написали? — спросил Екаба экзаменатор. Тоже старичок, только пополнее первого и гладко выбритый.

— Что со мной было, то и написал.

— Вот как!.. Само изложение... терпимое, но ошибок, ошибок-то!

Старичок поднял обе руки. Хуже, мол, и быть не может! И снова принялся изучать сочинение Гробиня, нацарапанное химическим карандашом на вырванном из конторской книги листе в красно-синюю линейку. Вертел, перекладывал. Затем

достал из лежащей под рукой папки записку Никаноровича и долго изучал ее.

— Ладно, попытка не пытка... Зачислим вас в группу «Б». Завтра придете в секретариат, возьмете справку и отправитесь на Садовую-Самотечную. К старосте группы, там вас поместят в общежитие, зачислят на довольствие...

В канцелярии, украшенной портретами Маркса и Энгельса, самодельными лозунгами и плакатами времен гражданской войны, Екаб Гробинь встретил своего бывшего спутника в Новониколаевск — Фрициса Реймера.

— Гробинь! Скажи пожалуйста! Поступил на рабфак? И правильно сделал. Следуем лозунгу о культурной революции, объявленному Лениным. Так тебе староста нужен? Придется подождать. Носится по городу. Ищет доски для столов и стульев. Пока явится, можешь свои партийные дела уладить. Это в моем ведении. Присядь, запишу тебя в лист учета. Первый вопрос: чистку, то есть партийную проверку, прошел? На открытом собрании, в присутствии беспартийных масс? И все было как полагается?..

* * *

— Надо поаккуратней работать. Кому захочется садиться за стол, который отесан топором? Неужто товарищу Стропиню самому не противно? Подумал бы немного о красоте!

— А что такое красота? Ненужный пролетариату буржуазный предрассудок! — Ножовка стукнулась о шершавую столешницу. Стол мастерит парень лет двадцати двух — двадцати трех, детина в выцветшей солдатской гимнастерке, со скуластым квадратным лицом; словно не полагаясь на устойчивость своего тела, он лениво привалился к стене и повернулся к девице в темно-синей сатиновой юбчонке и кофточке, которую она, казалось, носила еще с девчоночьих лет или же взяла у меньшей сестренки. — Гнилой интеллигентщине, вот кому красота нужна. — Стропинь взмахивает кулаком. Он, видимо, не в состоянии говорить без привычных митинговых жестов.

Гробиню запомнилось выступление Стропиня днем раньше на собрании рабфаковцев:

— Мы в своей пролетарской бригаде вопрос о нравственном и безнравственном решаем просто. Большинством голосов. По принципу: служит это революции или это ей не служит. Если не служит, так на кой черт далась нам эта нравственность! Как та же тряпка, которую кое-кто себе на шею повязывает. Какая от этого галстука польза революции? В нашей бригаде никаких галстуков не признают!

Работу Стропиня критиковала и Эмма Ратмане. По мнению Екаба, девица очень умная. На собрании, на котором

рабфаковцы спорили о нравственности, Ратмане костила Стропиня на все корки:

— Коммунисты и комсомольцы обычным голосованием такие важные для трудового народа вопросы не решают. Что сказал Маркс о социализме и личном счастье? А то, что при социализме счастье, благополучие человека, духовное преобразование личности неотделимы от счастья и благополучия коллектива. И социалистическая нравственность включает в себя также ценности, созданные трудящимися в прошлом. А что создано, рабфаковцам это надо еще узнать и оценить. И только после этого они смогут поднимать руку и голосовать «за» или «против». А носить галстуки или нет — это вопрос совсем несущественный.

На собраниях рабфаковцев спорили много. О всяком. И о любви. Кое-кто утверждал, что любовь и всякие там шуры-муры — это мещанство самой чистой воды... Пролетарий должен тратить свои силы не на любовь, а на общественную работу! И опять взяла слово Ратмане и разъяснила по Марксу. Екаб Гробинь, правда, предпочел бы более конкретное, более доступное объяснение, он не успел еще так глубоко ознакомиться с Марксом и другими революционными теоретиками...

Теперь Ратмане упрекает Стропиня за небрежность в столярной работе, которой сейчас заняты почти все первокурсники рабфака. Они пилят, обтесывают, строгают собранные по дворам доски, крестовины, подпорки от складских полок, рейки от обшивок домов. И найденными где-то ржавыми гвоздями сколачивают столы, скамейки, нары, полки и тумбочки.

Еще в начале учебного года к новым рабфаковцам обратился заведующий школой:

— Изнуренная империалистической блокадой, болезнями, голодом, разрухой гражданской войны, Советская республика не может обеспечить сейчас все учебные заведения оборудованием. Но для нормального учебного процесса и для сносной жизни рабфаковцев нужны скамьи, столы, полки, койки. Есть только один выход: сделать это своими руками, собственными силами.

И раздался клич:

— Поднять столярный авангард!

Рабфаковцы разбились на рабочие группы: на снабженцев и столяров (из ребят, которые когда-то держали в руке долото и рубанок). Руководить столярной бригадой взялся Шутка, прозванный Шуткой Галифеистом за свои синие галифе. Шутка умел строгать, сколачивать столы и даже знал какую-то песенку ремесленников цеховых времен: «Столяр один поделки мастерил». Он умел ободрить товарищей: «Какой позор, латышские студенты без мебели! А ну, навались!»

И ребята наваливались. И Стропинь тоже. А тут явилась Ратмане и принялась совестить:

— Речь не о моей красоте, а об отношении товарища из пролетарского коллектива к выполнению задачи. — Слова Стропиня Ратмане, казалось, приняла на свой счет. — Сознательный пролетарий никогда не одобрит небрежную работу, сделанную холодным клеем и горячими гвоздями, как до войны шутили в нашей стороне старые ремесленники.

— Ах, старые ремесленники! — покривился Стропинь. — Может, еще и старые буржуи да бароны?

— Только несознательный индивид может смеяться над серьезными вопросами трудовой жизни пролетариата,— не отставала Ратмане. — Человек, у которого в голове идеологическая неразбериха.

— Это у меня в голове идеологическая неразбериха? И это ты говоришь мне? Стрелку, который бил белочехов, громил Юденича под Петроградом? Кровь за революцию проливал? В то время как некоторые девчонки...

Обмен колкостями грозил перейти в совсем уж непролетарский диспут. И товарищи поспешили разнять спорщиков.

— Товарищи, прошу без личностей! — вмешался Екаб Гробинь. — Това-ри-щи! Мы лишаем вас слова!.. О красоте при диктатуре пролетариата и всемирной революции мы устроим серьезную дискуссию. С участием специалистов. Пригласим из Культпросвета, из редакций.

— Эмма, тебя какой-то товарищ спрашивает,— Луринь увела Ратмане, оглядываясь и лукаво щурясь при этом. Словно у них с Гробинем был какой-то тайный, одним им известный уговор...

Джим, подшкипер с английской шхуны,
Плавал двенадцать лет,—

бывший работник харьковского клуба Роберт Энгис затянул сочиненную неизвестным автором песню о мятежном английском моряке. Екаб подхватил ее:

Знал моря, заливы и лагуны,
Старый и Новый Свет.
Как-то раз вечернею порою,
Как-то в свободный час,
Джим услышал у ночной таверны
Странный морской рассказ.

Есть Россия, Советская страна,
Всем защитой служит она,—

грянули припев остальные.

Зажигательная песня о Джиме, который пошел бороться за революцию и поднял во имя идей коммуны красный флаг. Хотя Джим в своем революционном порыве одинок и контрреволюционные офицеры приказывают повесить его на рее,

эскадра империалистической Англии вынуждена покинуть Одессу. Правда, мелодия песни казалась Екабу чересчур игривой. В ней было что-то от модных песенок, распевавшихся в открытых нэпманами ночных ресторанах на Тверской. И все же песня эта сразу запоминается.

Прибрав мастерскую, столярная бригада отправилась на занятия. В классы, где мест за столами в лучшем случае хватало лишь нескольким десяткам человек.

Во время перерыва организатор партийной группы Реймер объявил:

— После занятий — всем на общее собрание рабфаковцев. На повестке дня резолюция протеста против фашизма в Италии. Против зверской расправы Муссолини с революционным трудовым народом...

* * *

Рабфаковцы повалили из латышского клуба суетливой гурьбой. Толкая друг друга, перекликаясь, обгоняя тех, кто застегивался от метели, натягивал перчатки. Рабфаковцы еще находились под впечатлением только что услышанного и увиденного.

Вот это был диспут!.. Ну и ответил же он этому верховоду оппозиции! Недостаточно упирать на историю партии, надо знать и ее факты! Ха, ха, ха!

«Что верно, то верно»,— мысленно соглашается Гробинь с товарищами. Кое-что из сказанного Кнорином оказалось для Екаба откровением. И как просто, доходчиво Кноринь охарактеризовал экономическую и политическую борьбу во второразрядных капиталистических странах, развитие коммунистического движения в Западной Европе, формы классовой борьбы в Китае, на африканском континенте.

Конечно, Кноринь — марксист высшего класса, под стать «старикам», таким, как Пауль Дауге, который самый сложный политический вопрос растолкует простыми словами. Говорят, что и Карлис Печак такой. Это рассказывали те, кто слушал Печака в московском латышском клубе. (Екаб в тот вечер был занят в другом месте.)

Нельзя объять необъятное. Рабфаковцу день всегда кажется чересчур коротким, всегда не хватает нескольких часов, чтобы успеть самое необходимое.

За три учебных года надо как-никак одолеть полный курс средней школы. Подготовиться к высшему учебному заведению. И книги читать тоже надо. В театр — хотя бы в латышскую «Сцену» — сходить. И участвовать в агитбригаде... Выполнять общественные поручения... Присутствовать на бесконечных массовых собраниях! Особенно в последние месяцы, когда в партии опять ведется такое множество политических дискуссий. Нэп, децисты, троцкисты, бухаринцы...

А еще разногласия в Коммунистическом Интернационале и отдельных компартиях... Агитатор должен разъяснять массам суть только что созданной Конституции Союза Советских Республик, объяснять, какие будут отношения между центральными и местными органами власти...

И требовать свободы Сакко и Ванцетти, жертвам полицейского произвола, борцам за права рабочих Америки, свободы арестованным ульманисовской-мендеровской кликой латвийским рабочим и безземельным крестьянам. Коммуниста, комсомольца Советской страны касается все, что происходит на фронтах борьбы труда и капитала. А то грош цена была бы нашим словам о пролетарском интернационализме.

— Черт подери! Проклятый забор! — ругнулся Екаб.

Дворники, сгребая с улицы снег, кидали его в кучи к стенам домов, к оградам садов и скверов. Под снегом оставались решетки обвалившихся заборов, камни. В прошлое воскресенье — тогда Екаб еще топал в старых, обвязанных проволокой солдатских сапогах — он в районе Никитских ворот крепко исцарапал себе щиколотку.

А теперь у правого ботинка отвалилась подошва... Екаб обул эти ботинки всего второй раз. Он получил их из американской организации помощи. Желто-коричневые, на шнурках с блестящими латунными крючками.

— Ты их береги! — предупреждал Екаба уполномоченный советской стороны в американской организации помощи (АРМО) латыш Земитис. — Хоть и посылают их люди, которые хотят отправить в Россию как можно больше полезных вещей для нуждающихся, но массовая продукция буржуйских фабрик всегда была и будет дрянью. Я в свое время в эмиграции видел, как там фабрикуют товары для народного рынка. Так что смотри в оба, товарищ Гробинь. Других ботинок тебе не дадут, не жди. Шлепать в этой обуви по воде не рекомендую...

По воде Екаб в американских «танках», конечно, нарочно не шлепал.

Сейчас он старался не поднимать ногу в ботинке с отвалившейся подошвой.

Налетел порыв ветра, и шедшая рядом Эльвира Мейра решила спрятаться за спиной Гробиня.

— Гробинь, укрой меня! Будь кавалером!

Екабу следовало бы сказать, что сам в беде. Но признаться в этом Эльвире не мог. Другой девушке, даже умнице Эмме Ратмане, которую все парни очень уважают, может, и признался бы, но не бойкой певунье агитколлектива — Эльвире Мейре.

Хоть Стропинь и уверяет, что любовь всегда была и будет буржуазным предрассудком... бесполезной для пролетариата

тратой энергии, Екаб неравнодушен к Эльвире Мейре. Даже очень. Правда, не так, как когда-то к Катрине... Но все же.

Почему Екабу понравилась Эльвира? Спроси его об этом даже самые близкие товарищи, он толком ничего не ответил бы. Нравится — и все. А когда и с чего началось...

Хотя Екаб хорошо помнит, как он однажды почувствовал, что пьянеет...

Как-то после обеда они оказались свободны... Ребята пошли в общежитие девушек пить чай. Болтали, шутили. Вспоминали дни бурной «юности». Много смеялись, пели песни времен гражданской войны и новые куплеты (в комсомольских агитбригадах сочинялось немало пародий на романсы и на избитые мотивы). На прощание Эльвира Мейра решила поставить на стол еще один котелок с кипятком. При этом у нее подвернулась нога, и она, наверно, упала бы, если бы ее не поддержал Екаб Гробинь.

По кружкам разлили горячий, горьковатый отвар яблоневых листьев и мяты, и, пока питье остывало, Магда Луринь развлекала компанию: рассказывала, как они, девчата, добыли себе материю на кофточки, в которых теперь щеголяют. В одном из арбатских переулков, в архиве какого-то заброшенного учреждения, наткнулись на рулоны географических карт царского времени. Взяли сунули карты в ванну с водой, отодрали, постирали, погладили полотно... Затем скроили и сметали...

Слушая Луринь, Екаб поймал себя на том, что не сводит глаз с Эльвиры.

Случалось, что потом Екаб часто оказывался рядом с Эльвирой. В культпоходах, на субботниках, на выездах агитколлектива они всегда бывали по-товарищески любезны друг с другом. Но до любовных объяснений у них так и не дошло.

И вот Эльвира протягивала Екабу руки. Именно сейчас, когда у него оторвалась подошва.

— Я... У меня... Знаешь, это так глупо... — пролепетал он.

— Глупо? Это глупо... — Эльвира отпрянула, словно ее отбросил ветер, который отчаянно скрипел жестяными вывесками. — Спасибо за откровенность!

И бросилась бежать.

«Проклятый ботинок... Чертова заграница!»

Екаб стоял в снегу. Ухватил отставшую подошву. Хотел отодрать ее совсем. Но она оторвалась только до каблука. Видно, каблук был прочно прибит. Или же привинчен латунными шурупами, как на тех английских ботинках, которые при Керенском, в семнадцатом году, выдали солдатам Двенадцатой армии, когда их погнали в «победоносное наступление» против немцев.

— Черт бы побрал эти ботинки. — У Екаба чуть не навернулись на глаза слезы.

* * *

Эльвира Мейра на виду у всех дружила теперь с Фрицисом Реймером. Они вели себя так, будто были уже мужем и женой. Правда, ни Эльвира, ни Реймер никому не говорили, что они вот тоже... но люди не слепые. Особенно Екаб. Эльвира всегда улыбается Реймеру, а он — Эльвире. Даже во время столь серьезной дискуссии, которая идет на рабфаке. Дискуссия о пролетарской культурной политике, о пролетарской литературе и пролетарских писателях. К рабфаковцам пришел поэт Алвил Цеплис. До того они смотрели в латышском театре «Сцена» пьесу бельгийского мистика Лерберга «Пан», читали новые стихи Райниса... Правда, стоило Екабу Гробиню высказаться одобрительно о пьесе Лерберга, как Реймер встал и заявил, что некоторые товарищи в вопросах культуры совершенно лишены твердой пролетарской линии...

В дискуссии о «пролетарской линии в искусстве» рабфаковцы дошли до резкостей, и тогда было решено поднять вопрос на более высокий идейный уровень. Пригласить на обсуждение компетентных и авторитетных старых членов партии. Скажем, лектора Коммунистического университета народов Запада Эрнеста Эферта или члена Коммунистической академии Пауля Дауге, искусствоведа, преподавателя Коммунистического университета Свердлова — Роберта Пельше, Симаниса Бергиса или Вильгельма Кнориня...

Самый знающий из них, конечно, Петерис Стучка. Ветеран партии. Видится с Лениным. Писал о вопросах национальной и пролетарской культуры, о Райнисе — как о революционном поэте. Лучше не придумаешь. Если бы только он мог выкроить для этого время. Ему приходится работать в Центральном Комитете партии, в Исполкоме Коминтерна, Коммунистической академии, в созданном недавно Верховном Суде Российской Федерации, во многих международных и национальных комиссиях. И еще Стучке надо читать лекции в высших учебных заведениях и на разных курсах, он также является редактором газет, журналов, энциклопедических изданий, сотрудничает в латышской, русской и зарубежной революционной печати. А тут еще бремя лет и болезнь — уже и трость появилась — тоже дают знать о себе...

— На товарища Стучку и не надейтесь. — Реймер считает это пустым разговором. — Пойдет он в какую-то рабфаковскую группу!.. Как-то заикнулся об этом в одной партийной инстанции, так там...

— Где?

— В Латсекции, если хотите знать. Мне прямо сказали, что зря стараюсь. И не кто-нибудь — компетентный человек. Товарищ Кауфманис.

— А я все же настаиваю на товарище Стучке,— не отсту-

пала Ратмане.— Он такой бескорыстный и симпатизирует молодежи. И уверена, что не откажет. Настолько я его, товарищ Реймер, знаю. И если мне поручат, я договорюсь с ним.

...И вот рабфаковцы собрались в самом теплом классе, за учительским столом — Петерис Стучка. Приветливо кивает всем, кто с ним здоровается. Эмме Ратмане, Екабу Гробиню... Эмма сидит рядом с Екабом и, сияя от счастья, шепчет ему, как она «выклянчила» у Доры Стучку. Та помнила ее по девятнадцатому году, по Резекне. Стучка и сам расспрашивал о рабфаковской жизни и сразу согласился пойти.

— В Видземе в семнадцатом и восемнадцатом,— прошептал в ответ Екаб,— люди тоже, если им не удавалось поладить между собой, обычно говорили: «К нашему Петерису съездить надо. Уж он скажет, что и как. Постарел он, правда, за последние годы».

— Мне говорили, вы, товарищи, много дискутируете о пролетарской культуре вообще и латышской в частности,— начал Стучка. Екаба Гробиня поразил необычно тихий тембр его голоса. «Раньше Стучка говорил куда громче!» — Это признак здорового рабочего коллектива. Признак революционного коллектива. Если люди ломают голову над завтрашним днем, над нуждами будущего. Кому же еще думать об этом, как не новой советской интеллигенции. Теперь вы учитесь на рабфаке, через год-другой будете студентами. Окончите высшие учебные заведения, станете педагогами, инженерами, экономистами, историками. Будете работать в России, набираться опыта в строительстве социализма, в преодолении небывалых в истории трудностей. Ибо пролетарская революция, прежде всего, направляет трудовой народ на творческую деятельность. Затем, когда настанет время,— а мы верим в новый триумф всемирного революционного движения,— когда настанет время и труженики Латвии вернут себе похищенные у них свободы, вы, теперешние рабфаковцы, будете строить бастион коммунизма на Даугаве.

Исходные позиции нашей политики — пролетарская революция, стимулирующая творческий труд масс. Но не будем забывать, что пролетарская революция должна одновременно решать также один из сложнейших вопросов общественной жизни — национальный вопрос. Самостоятельность наций, дальнейшее развитие наций, дальнейшее движение их самобытных культур. А с этим пролетариату в один присест не справиться.

Почему я остановился именно на этой, всем нам, наверно, хорошо известной проблеме? Потому что пролетарская революция неотделима от национально-освободительного движения народов, потому что работа партии пролетариата неразрывно связана с политикой партии, политикой пролетариата в хозяйстве, в национальной культуре.

Напомнив о статье Ленина «Партийная организация и партийная литература», Стучка обратился к латышской литературе и искусству.

— Вся революционная борьба латышского пролетариата — яркое свидетельство преданности трудового народа Латвии принципам интернационализма. И мы сегодня боремся со спекулянтом — немцем, евреем, русским, латышом не как с евреем, немцем, русским, но как со спекулянтом. И любим рабочего — русского, еврея как рабочего. Такова наша «вера», «вера» латышских коммунистов в национальном вопросе.

Партия и в вопросах искусства занимает определенную позицию — позиция эта подкрепляется не общими выражениями, декларациями о пролетарской культуре, а марксистским анализом конкретных явлений. К примеру, в вопросе о поэте латышского трудового народа Райнисе. В двадцатом году Райнис вернулся в Латвию из эмиграции. Сейчас он депутат буржуазного сейма по списку социал-демократов, занимает пост директора Национального театра белой Латвии, там изданы многие его возносимые буржуазией произведения. Как нам относиться к Райнису? Борьба за творчество художника органично связана с великой борьбой пролетариата в целом,— добавляет он, словно вспомнил то, о чем забыл сказать раньше. — Значит, наша проблема: Райнис и пролетарская культура. У нас, как и в конце девятнадцатого года, некоторые товарищи утверждают, что Райнису чужды сегодня устремления пролетариата. Будто нам следует пересмотреть наше отношение к нему и открыто признать, что восхищались им зря. Товарищи эти даже задаются вопросом, принадлежал ли вообще Райнис когда-нибудь пролетариату.

— Есть такие, есть! — глухо отзывается Эмма Ратмане.

— Я решительно отвечаю, что своими более глубокими мыслями, своими великими страданиями Райнис принадлежит пролетариату, и поэтому пролетариат не может отдать его своим врагам.

Стучка напоминает, что́ он писал об этом в газете Компартии Латвии в двадцатом году, что́ тогда говорил. Останавливается на исторической сущности проблемы. На специфике поэзии как искусства слова. Говорит о своеобразии ее средств выражения, языка по сравнению с публицистикой. Что образы, речь героев, взгляды персонажей не следует отождествлять со взглядами, позицией автора. Все это очень сложно. И из чего прежде всего надо исходить при оценке личности поэта? Из позиции, занимаемой поэтом в борьбе пролетариата. Именно это и характеризует его, а отнюдь не отдельные произведения, созданные под влиянием субъективных переживаний и заблуждений. К тому же национальную восторженность поэта не всякий раз нужно отождествлять с той болезнью, которая может вылиться в национализм.

— В последние годы многие произведения Райниса не достигают уровня его поэтического творчества как пролетарского поэта. Но Райнис принадлежал и будет принадлежать пролетариату. Отказаться от Райниса следовало бы только в том случае, если бы он создавал произведения, служащие чуждым нам идеям.

Поговорив об отношении Маркса и Энгельса к Фрейлиграту и Гейне, Ленина — к Горькому в пору идейных колебаний последнего, Стучка перешел к другой теме.

— А теперь поговорим о недавно созданном нами культурно-просветительном обществе «Прометей». Как вам уже известно, эту организацию основала группа ветеранов Компартии Латвии. Программа «Прометея» состоит в том, чтобы помогать партийным организациям и учреждениям вести культурную работу среди латышского населения, не изучившего еще русского языка, а также оказывать идейную и моральную помощь Коммунистической партии Латвии в труднейших условиях подполья, снабжать трудовой народ Латвии революционной литературой.

«Как это здорово, что у нас, латышей, есть Петерис Стучка...» — написала Эмма Ратмане в открытой тетради Екаба.

* * *

Казалось, чем злее становился мороз, тем больше на московские улицы стекалось людей, которые строились для шествия к Дому Союзов.

Двадцать четвертого и двадцать пятого января у прибывших с делегациями из Петрограда, Тулы, Харькова, Витебска, Казани женщин индевели ресницы и брови, у мужчин — смерзались усы и бороды. А двадцать шестого, в день, когда Второй Всесоюзный съезд Советов постановил создать Мавзолей Ленина и переименовать Петроград в Ленинград, на центральных улицах столицы заполыхали сотни костров. Все живое и все одетое в камень и металл обжег настоящий северосибирский мороз. Люди — старики, молодежь, подростки — в большинстве своем были чересчур легко одеты для такой лютой стужи, но не думали покидать ряды траурного шествия.

Кем для народов России — для разных национальностей и поколений — был Ленин, как никогда, стало ясно теперь, на московских улицах в день прощания с ним. Необозримые массы народа двигались к Дому Союзов, где в Колонном зале, на задрапированном черным и красным возвышении, в гробу лежал Владимир Ильич.

У едва двигающегося траурного шествия было мало общего с такими же шествиями, при прощании с дорогими людьми. Тоже талантами, тоже гениями. Вглядываясь в пос-

ледний раз в застывшее лицо вождя революции, каждый испытывал не только уважение, благоговение, безутешную скорбь, но и вел трудный разговор с самим собой. Со своей совестью. О всемирной ответственности, которую теперь должен взять на себя он и его товарищи.

Утром двадцать второго января в коридоре общежития рабфака раздался душераздирающий крик Магды Луринь:

— Не может этого быть!.. Как без него жить дальше?

В самом деле: как жить дальше?.. Как мы будем жить дальше? Что будет?.. С государством, с народом, партией?..

Этими вопросами рабфаковцы в то утро встречали и провожали лектора Дерманиса, Карповица, Прейса, Гангнуса. Словно дошкольники или подростки, а не солдаты революции, пережившие мировую и гражданскую войны, интервенцию, ужасы голода.

— Как без Ленина будет существовать государство диктатуры пролетариата? Как?

После траурного митинга рабфаковцы, стараясь бывать среди людей, группками и в одиночку слонялись по московским улицам, ездили в трамваях, ходили на вокзалы. Смешивались с толпами людей у фабричных ворот, у витрин редакций «Правды» и «Известий».

«Физическая смерть Ленина не есть смерть его духа»,— говорилось в воззвании к партии, ко всем трудящимся, опубликованным Центральным Комитетом.

Но его самого — великого мыслителя, организатора, провидца, одаренного стальной волей — нет больше среди живых. Зато остались и горячие политические дискуссии, и хулители программы Центрального Комитета. Есть люди, которые призывают к бунту против политики Ленина в хозяйственном строительстве, против политики культурной революции и монолитности партии. Люди, которые навязывают партийным организациям, а также слушателям рабфаков и высших учебных заведений отвратные дискуссии с группой «сорока шести», с троцкистскими платформами. Призывают к авантюристической международной политике, ратуют за какую-то отвлеченную надклассовую демократию.

Как теперь без Ленина поведут себя группы, отстаивающие политическое направление, опасное для будущности революции, для существования Советского государства? Как поведут себя те, чьи платформы с неопровержимой логикой, с научной убедительностью отвергал дальновидный Владимир Ильич?

Уже не поднимется его предостерегающая рука.

— Настало время для пролетариев — для идейных единомышленников — общими силами продолжать начатую им политику,— словно ответил Екабу Гробиню на его невысказанный вопрос пристроившийся к колонне латышских рабфаков-

цев бывший стрелок Иоас, член или сотрудник Заграничного бюро Компартии Латвии. (Екаб не знает точно, кто он именно. И знать ему не полагается. Иоас ведь на конспиративной работе!)

У Оскара Иоаса, знакомого многим рабфаковцам еще по походам стрелков, по боям с контрреволюционерами в Малиене в девятнадцатом году, слава легендарного героя. Неуловимый красный резведчик, гроза белых в Лубанской низменности. Жизнерадостный, красноречивый... И герой. В конце девятнадцатого его прозвали «ходячим арсеналом» (он был обвешан полдюжиной гранат, грозным парабеллумом в деревянной кобуре, наганом, браунингом и еще каким-то оружием), не раз стоял под дулами вражеских винтовок, но всегда уходил от своих преследователей и палачей. Ребята заслушивались рассказами Иоаса про боевые операции, про разведчиков, про разгром белогвардейцев. И рабфаковские девушки не успокоились, пока руководители общественных организаций школы не разыскали Оскара.

Сейчас, в прощальном шествии к Ильичу, Оскар присоединился к рабфаковцам.

— Мы, оставшиеся после него, будем держаться собственными силами. Коллективной мудростью, коллективным сознанием, как писал в «Правде» товарищ Стучка. Будем бесстрашно, ни на что не оглядываясь, идти вперед,— говорит Иоас.

И Екаб Гробинь соглашается с ним: именно так, только так!

— А знания товарищей? А марксизм? — спрашивает Эрнест Эферт. — А как с диалектическим применением марксизма? Разве это не его, Ленина, слова, что коммунист всегда проверяется по умению правильно применить на деле знание марксизма?

«И это, и это...»

* * *

По совету Эммы Ратмане Екаб Гробинь все свое свободное время проводит в обществе «Прометей», которым руководит бывший комиссар отдельного дивизиона армии Советской Латвии и председатель Даугавпилсского Военно-революционного комитета Фрицис Берновский. Екаб помогает работникам только что организованной секции массового политического воспитания и культурной работы. Секции «Прометея» в сотрудничестве с Народным комиссариатом просвещения, с местными комсомольскими и партийными организациями проводят политико-воспитательную работу в клубах латышских рабочих и сельских коммунистов, помогают местным работникам в борьбе с кулаками и другими классовыми врагами. Эмма Рат-

мане — ярая сторонница всех начинаний «Прометея». Среди рабфаковцев она пользуется большим авторитетом, и ее совет для Екаба Гробиня почти как партийное поручение.

Работать в секции интересно, и люди там интересные. Тут работает и какая-то хрупкая, немного близорукая студентка. Большая говорунья, завзятая книжница. У нее чертовски симпатичные карие глаза. Кроме того, Гробинь часто видится с директором «Прометея». Читает собранные им воспоминания латышских революционных стрелков. Екабу очень лестно работать вместе со славным политработником Красной Армии, одним из первых награжденным орденом Красного Знамени.

Однажды, когда Екаб в одиннадцать часов вечера возвращается в рабфаковское общежитие, товарищи велят ему сейчас же идти к секретарю партбюро Реймеру.

— Сейчас же? На ночь глядя?

— Не мешкай. Дело срочное...

Реймер сидит, склонившись над бумагами, и что-то торопливо пишет. Не то отчет, не то протокол.

— Ты стал где-то шататься,— услышав, что Екаб вошел, Реймер сдвинул очки на лоб.

— Небольшая, но существенная поправка, товарищ секретарь: я не шатаюсь, а занимаюсь общественной работой. Что там стряслось, что в такой поздний час человека вызываешь?

— Получше разбирался бы в политике, тогда бы не спрашивал, что стряслось. Садись. И ответь на вопрос. На политический вопрос. За кого ты в качестве члена организации голосовал бы как за руководителя большевистской партии? За Сталина или Троцкого?

— Ты что?..— Екаба будто по голове стукнули.— Да разве можно так вопрос ставить?

— Можно.— Реймер уперся кулаками о край стола.— Именно так вопрос и ставится.

«Должно быть, оппозиция стремится расколоть партию, затеяла что-то безумное,— у Екаба лихорадочно заработала мысль.— Берновский в «Прометее» на днях сказал: «За границей вся печать капиталистического мира кричит о развале Коммунистической партии. Через несколько недель после смерти Ленина Российской большевистской партии не станет. Видимо, партийным организациям надо что-то решать. Надо решать, как...

Троцкий авантюрист, в то время как Сталин... Сталин умеет увидеть в политике главное, найти связующее звено направляющей цепи...»

— Я за Сталина!

— Правильно! — смягчился Реймер. Он еще говорит что-то о работоспособности Сталина. О еще не оцененных заслугах Сталина в борьбе с контрреволюцией...

8. «НЕ ДЛЯ ТОГО Я РЕВОЛЮЦИОНЕР, ЧТОБЫ ЖИТЬ В ТИХОМ МЕСТЕ»

(П. Стучка)

— Друг, ты все же очень... очень...

— Консервативен, хотела ты сказать.— Петерис отложил только что открытую белолатвийскую газету.

Дора открыла чемодан мужа и обнаружила там нанковый пиджак, привезенный в девятнадцатом году Эндрупом из Латгале, весь перештопанный Верой Григорьевной.

— В самом деле! — Это прозвучало как безнадежный вздох.— Я могу понять твою привязанность к привычной вещи, но ты, как сам говоришь, сжился с костюмом, который носил столько времени, но не понимаю твою безответственность.

— Ну, женушка...

— Не понимаю твою безответственность. Тащить за границу лохмотья. Ведь не для того, в конце концов, чтобы любоваться этой «бумажной» одежкой?

— Я собирался пользоваться ею только дома.

— Чтобы дать повод позлорадствовать немецким буржуазным писакам: «Смотрите, как ужасно живут в коммунистической России!» На восьмой год ленинской революции председатель Верховного Суда ходит в лохмотьях!

— Дорочка, ты склонна к преувеличениям. Я ведь уже говорил тебе: нанковый пиджак я собирался надевать там только дома, по вечерам. Когда будем с тобой одни. Ты ведь знаешь, как плохо я чувствую себя без привычных вещей, привычной одежды. Хочешь, называй это консерватизмом, консерватизмом латышского крестьянина, но изменить натуру старому человеку...

— Ты всегда найдешь себе оправдание. На то ты и юрист.— Дора вздохнула уже не так тяжко. Но досада все же не исчезла.— Разве ты не знаешь международную обстановку? Мы же едем в Среднюю Европу...

— Мы едем в Германию лечиться.

— Не только лечиться. Если б только лечиться, мы нигде не останавливались бы. В Берлине, Лейпциге...

— Зато по Латвии мы мчимся, как на бегах,— пытался он обернуть в шутку неприятный разговор. Ибо Дора упрекала его не без основания.

— Да, мчимся, но я не понимаю, почему ты не попросил у правительства буржуазной Латвии транзитной визы? Разрешения остановиться в Риге или Даугавпилсе?

— Петерису Стучке ульманисовцы навряд ли разрешили бы это. А если бы и дали мне визу, то сейчас, во время выборов в Латвийский сейм, я оказал бы медвежью услугу нашим товарищам. Это послужило бы реакционерам лишним поводом для нападок на левые профсоюзы. Скажут, что коммунисты

под вывеской левых профсоюзов рвутся в сейм, а Петерис Стучка пожаловал из Москвы руководить ими, снабжать их деньгами. Видишь, в газетах, которые нам на резекненском вокзале купил проводник, и без того полно небылиц о московских деньгах. Забастовка на складе лесоматериалов, трудовой конфликт на местечковой мыловарне,— все это, получается, замешено на золоте Коминтерна. Любой мало-мальски левонастроенный человек непременно подкуплен Москвой. Революционные профсоюзы рабочих, левые культурные организации содержатся на капиталы, переправляемые через границу в Зилупе! Это не только версия архиреакционных демагогов. Смотри, что сегодня, в тысяча девятьсот двадцать пятом году, пишет «Социалдемократс»: «На выборах в сейм любой список несоциал-демократических рабочих следует рассматривать как маскировку нелегального коммунизма».

— Да, это так.— Нехотя, словно ее заставили, Дора сунула обратно в чемодан только что вынутый пиджак.— За то, что мы не предали свой народ, родина оказалась для нас за семью замками. А каждого сударика с висельной горы, перевертыша, пившего кровь народа, встречают хлебом-солью. И все же...— она закрыла чемодан и обернулась,— и все же, когда я через окно вагона смотрю на родные поля, меня так и подмывает выскочить на каком-нибудь полустанке из вагона. Пробежаться босиком, побродить по росной траве. Вот остановится поезд в Гриве, и я пройдусь до лип в конце перрона. Они теперь цветут, гудят от пчел. И если, как в юности, под ними будут стоять встречающие своих деревенские мамаши или парни, я поздороваюсь с ними.

— А потом на них накинутся вон те.— Петерис приподнял край занавески и показал на перрон станции Даугавпилс-Второй, к которому подходил поезд.

По вымощенному гравием перрону между штатскими и железнодорожниками сновали полицейские в темных униформах. Железнодорожные айзсарги из кулацкой полицейско-военизированной организации, в коричневой форме со сверкающими дубовыми листьями в петлицах. По официальным документам айзсаргские отряды насчитывают более тридцати одной тысячи обученных молодчиков, которые охотятся за «антигосударственными элементами».

— Скажи, подручные Поне, нацклубисты, тоже носят айзсаргские формы? — спросила Дора.

— Те щеголяют в черных, перетянутых ремнями рубахах. Наподобие муссолиниевских головорезов.— Петерис опустил занавеску. Упоминание о латвийском национальном клубе вызвало в нем неприятные воспоминания о тактике и стратегии нелегальной Компартии Латвии... Об искажениях в практической политике партии. Сперва — бойкот выборов в Учредительное собрание, затем — демонстративный уход из объеди-

ненных профсоюзов рабочих. И уже недавно — ошибочная позиция в связи с убийством Масака.

Правда, латвийские фашистики — активные националисты, как они сами себя называют,— обратили свои нападки против легальных организаций — социал-демократов. В прошлом году молодчики Поне избили социал-демократического лидера — председателя сейма Фрициса Весманиса, а также наставили шишек нескольким десяткам рижских и провинциальных социал-демократов. И наконец, в феврале, во время выборов в самоуправления, застрелили члена Союза рабочих спортсменов Александра Масака. Рабочего парня. Убийство молодого рабочего вызвало всеобщее негодование рабочих Латвии. В городах и деревнях состоялись массовые митинги, стихийные собрания протеста. Возникла долгожданная благоприятная ситуация, при которой Компартия могла бы создать единый антифашистский фронт рабочих. Единый фронт коммунистов и социал-демократов — через головы социал-демократических лидеров, если бы те воспротивились воле своих рядовых товарищей. Но руководство Рижской партийной организации заявило:

«До сих пор социал-демократы были против сотрудничества профсоюзов. Социал-демократы выгнали нас из Совета конгресса внешкольного просвещения. Социал-демократы отказались блокироваться с левыми рабочими на выборах уполномоченных больничных касс... Так пускай социал-предатели получают от фашистов то, что заслужили. Мы сохраним незапятнанными благородные лозунги классовой борьбы!»

Латсекция быстро сделала все возможное, чтобы исправить ошибку рижских товарищей. Однако мендеры, калнини, вецкалны получили в руки козырь для самой беззастенчивой демагогии:

«Коммунисты не хотят бороться против фашизма! — вопили социал-демократические лидеры.— Коммунисты заодно с националистскими террористами!»

Товарищи из московского Заграничного бюро и он, Петерис Стучка, хорошо понимают и разделяют негодование рижских товарищей против председателей, директоров, секретарей партии серых социалистов. Трудно найти политический документ Компартии Латвии или посланный за границу зарубежным революционерам и демократической общественности манифест, в которых руководители социал-демократов не квалифицировались бы как провокаторы или пособники белого террора. Таковы факты. И все же не может быть ничего более опрометчивого, чем механичность в классовой борьбе, чем догматика в разоблачении исказителей марксизма. Если общественный борец не хочет преждевременно устареть, он должен почаще перечитывать сказанное Марксом о сущности диалектической философии. О том, что в действительности в жизни нет ничего

установленного навеки, бесспорного, кроме становления и гибели, бесконечного подъема от низшего к более высокому.

С двадцатого, двадцать второго года в мире сильно изменился политический климат. Если раньше для буржуазии крушение пролетарской революции было вопросом лишь нескольких месяцев или лет, то теперь их чванливой самонадеянности пришел конец. Советская Россия все крепнет, становясь путеводной звездой, образцом для рабочих капиталистических стран. Но тонущий корабль капитализма продолжает торпедировать массы рабочих своей идеологией. На сей раз «национальным социализмом», лозунгами «единения народа». А при такой политической ситуации тактика коммунистов должна быть как можно эластичнее.

«Он не знал никаких застывших формул... Именно ему рабочий класс обязан разработкой учения — о роли и природе партии. И все это богатство было в руках Ленина не мертвым капиталом, а живой, несравненной практикой». Стучка вспоминает воззвание Центрального Комитета Российской коммунистической партии к трудящимся в связи со смертью Ленина. Да, Ленин не признавал закоснелых формул. А сколько раз латвийские коммунисты в течение нескольких лет...

Конечно, в латвийском подполье досадно мало творческих марксистов, получивших революционную закалку, работников такого масштаба, как Шильф, Арайс, Зандрайтер. Да и членов-то всего в нелегальной организации теперь человек пятьсот. А года четыре-пять назад их насчитывалось куда больше тысячи. К тому же некоторые земгальские организации, будто опасаясь провокаторов, перестали принимать в партию тружеников с предприятий. Замкнулись в семейном кругу. Есть ячейки, которые характеризуются их организаторами так: «Работаю я, мой зять и свояченица».

— Прости мне, друг, мой недавний разговор,— неожиданно прервала его размышления Дора.— Про консерватизм... Ведь я решила избегать всего, что могло бы огорчить тебя, моего самого хорошего...

* * *

«Мой самый хороший...»

Еще давным-давно, лет двадцать тому назад, когда у Стучки дома часто раздавались звуки рояля, а доктора были редкими гостями, Дора наедине с мужем обычно говорила: «Мой самый хороший!» Позже она стала лаконичнее или, как шутил Петерис, пришла к более точной формулировке, но это, в сущности, ничего не изменило.

Для Доры Петерис оставался тем же, кем был для нее в их молодости,— единственным, несравненным, самым лучшим.

А для Петериса — Дора.

Они жили первой самозабвенной взаимной привязанностью, стремясь быть рядом друг с другом — и в работе, и в часы досуга. И хотя Петерис в дореволюционные годы в компании друзей любил напевать арию из оперетты Кальмана «Мы влюбляемся не раз», он влюбился по-настоящему только однажды. Влюбился, а не увлекся обаятельной женщиной, что вовсе не одно и то же.

Может, кто-нибудь недоверчиво покачает головой: нечего, мол, сказки рассказывать! Ромео и Джульетта — лишь плод поэтического воображения. В семье главное — привычка. Муж и жена привыкают друг к другу, как пара лошадей, идущих в одной упряжке.

Только Петерис, как и в молодости, все еще восхищал Дору, будил в ней бурные чувства. Если бы потребовалось, она и теперь, как в девяностые годы, ни минуты не думая, помчалась бы на край света, чтобы встретиться с ним. Подаренные Петерисом цветки (в Москве, в годы лишений это случалось редко, но случалось!) она хранила как реликвию, пока они не рассыпались в прах. Дора могла быть резкой и злой с каждым, кто неуважительно отозвался бы о ее муже. Нет человека лучше, чище, вернее и, конечно, умнее Петериса. И для Петериса нет никого лучше Доры. «Дорочка». Имя жены — вслух и мысленно — он по сей день произносил с той же интонацией, подсказанной молодым восторгом в далекую летнюю ночь под рижскими липами. Дорочка — любимая. Дорочка — друг. Дорочка — товарищ.

«Наверно, это так, потому что мы нашли друг друга в ту минуту, когда каждый из нас сам по себе понял, для чего человек должен жить, открыл для себя сущность жизни и поклялся посвятить себя счастливой будущности трудового народа»,— отвечал он, когда друзья допытывались: «Откуда это у вас?» Такими же примерно словами они обменивались между собой.

«Для меня существуешь одна ты,— говорил Петерис. И он не льстил.— Наша тогдашняя влюбленность была необычной, не похожей на традиционные взаимные чувства двух молодых людей,— пытался он объяснить их отношения.— Наша близость возникла как часть нашего с тобой общественного бытия и общественного сознания. Жизнь — это борьба за лучшую жизнь, рассуждали мы тогда. А поскольку наше с тобой общественное сознание осталось верным идеалам нашей молодости, то отчего бы измениться нашим чувствам?»

«Ты — мой двойник, мое второе «я», которое в нужную минуту удерживает меня от опрометчивых поступков»,— еще говорил он.

После смерти Ленина Петерис, возвращаясь поздно домой с заседаний и совещаний, много рассказывал Доре о происходивших за день спорах. О стычках с идейными противниками

и самонадеянными товарищами. Однажды он признался: «Разговаривая с тобой, я вижу все произошедшее за день словно бы со стороны. Завтра я к тому или иному конфликту отнесусь уже сдержаннее. Да, Ильича у нас больше нет... Нет того размаха мысли, тактической гибкости и чисто человеческой чуткости. И поэтому каждому из нас в своей повседневной и теоретической работе надо особенно тщательно взвешивать каждое слово, каждый шаг».

Стучка говорит это потому, что многое из писанного и говорившегося им когда-то вдруг оказывалось в центре шумных идеологических споров. Издание в двадцать четвертом году в Харькове с предисловием Стучки книги Карла Каутского «Аграрный вопрос» рассматривается как чрезвычайное происшествие.

Издать Каутского? Каутский — ренегат! Как это посмели? Но обличители забыли незначительную мелочь: труды Каутского, доренегатского периода, высоко ценил Ленин!

На метод Петериса Стучки — последовательное противопоставление Советского государства и советского права буржуазному государству и праву, на борьбу Стучки в труде о советском праве с рецидивами так называемого юридического мировоззрения (то есть мировоззрения буржуазного) в последнее время начали нападать реформисты всевозможных толков, так называемые либералы. И вместе с ними кое-кто из невежд в марксистской юриспруденции, считающих, что любое беззаконие можно узаконить, стоит лишь прилепить к нему ярлык «революционный» или «советский». Они поносят и громят выпущенную прошлой осенью в свет книгу Стучки «Классовое государство и гражданские права». Монографию, в которой он критикует постулаты буржуазных юристов о неизменности правовых норм, о вечности государства, гражданского и уголовного права. Он писал: «В законах нет ничего вечного, установленного богом или созданного имманентными силами». Казалось бы, что мог возразить против такого исторического подхода, диалектического анализа ученый, юрист, выдающий себя за поборника революционного марксизма? Но, оказывается, может! И в какой еще форме!

Сперва на семинаре по социологии в университете Свердлова, затем в книге «Теория марксистского права» Подволоцкий утверждал, что Стучка утопил право в экономике. Не отличая базис от надстройки, отнимая у последней ее активную, творческую роль. Свои «утверждения» Подволоцкий обосновал обыгрыванием отдельных слов и фраз, искажая и «усекая» при этом цитаты. Если у Стучки сказано, что право — это система общественных отношений, отвечающая интересам господствующего в данное время общественного класса, то Подволоцкий слово «система» опускает.

Возражая, Стучка разъяснил марксистскую постановку вопроса, показал ошибочность и метафизичность аргументации Подволоцкого. Критик, мол, оперирует установками, против которых в свое время выступал Гегель. И все же Подволоцкий остался при своем. И сейчас у него нашелся и заступник в лице порвавшего в двадцатом году с меньшевиками юриста Вышинского...

Обо всем этом Стучка думал и по пути в Германию.

Дора ему что-то говорила, рассказывала, но слова скользили мимо его сознания, как мелькающие за окном деревья, телефонные столбы, железнодорожные сторожки.

— А кто обещал не думать во время отпуска о московских делах?

— Прости, ибо не ведаю я, что творю,— смеясь, ответил он библейским изречением. Взял Дорины руки и поцеловал. — Прости! Больше не буду. Эти два дня в Берлине мы проведем беззаботно. Посетим места, по которым бродили с тобой в молодости, отыщем кафе, где заключили когда-то наш брачный союз. В Берлине мне предстоит лишь один короткий деловой разговор с немецкими товарищами.

* * *

Беседа с членами Центрального комитета Компартии Германии у Стучки была, правда, одна, но далеко не короткая, как он уверял Дору. Петерис Стучка — председатель Контрольной Комиссии Коммунистического Интернационала. Комиссия несколько лет занималась расследованием дел антипартийной группы германских коммунистов (Исполком Коминтерна помог товарищам освободиться от старого руководства и избрать ленинский Центральный комитет), но и в новом Цека от межгрупповых трений и политического авантюризма осталось столько еще подрывного материала, что одно его рассмотрение потребовало многих часов. А другие актуальные политические вопросы: разгул реакции (Гинденбург стал главой государства), рост влияния германских фашистов — национал-социалистов и буржуазно-патриотическая деятельность «старой, славной» социал-демократии.

Беседа с Эрнстом Тельманом и его товарищами затянулась до самого вечера. На улицах уже вспыхнули разноцветные огни реклам. На фасадах домов, над магазинами и ресторанами, ночными заведениями замелькали зеленые, красные, фиолетовые, фантастические фигуры и надписи, на прохожих обрушивалась целая Ниагара боевиков, маршей, мелодий. И призывы: купить, забыться, развлечься.

«Дора, наверно, уже заждалась. — Петерис сдерживал себя, чтобы не торопить шофера такси. — Я должен это исправить. Только надену чистый воротничок, и мы отправимся в

наше кафе. И первое, что закажу там,— это музыку того далекого вечера: Шуберт, Шопен».

Но, открыв дверь в свой гостиничный номер, Петерис Стучка увидел перед собой секретаря Компартии Латвии Берзиня-Андерсона.

— Каким ветром?

— Северным, предвыборным,— тихо ответил Берзинь и отступил в глубь комнаты. — Избирательная комиссия сейма отклонила списки левых рабочих. В Латгале полиция арестовала всех кандидатов списка левых рабочих — и членов партии, и беспартийных.

— Предвидя такую возможность, Латсекция, незадолго до моего отъезда, с согласия Исполкома, направила в Ригу мое письмо. Оно уже должно быть в Цека.

— Из-за этого письма я и помчался за тобой... Понимаешь, ваше письмо...

Загремела музыка: визгливая субретка запела в сопровождении оркестра что-то очень модное.

Петерис оглянулся и увидел Дору у патефона, недавно вошедшего за границей в моду. Утром, когда они занимали номер, этого ящика здесь не было. Откуда он взялся и почему Дора именно сейчас вздумала завести американский боевик?

— Для конспирации,— шепнула она ему на ухо. — В гостинице уже интересуются твоей персоной. Мне кажется, что из коридора следят за нашим номером. Внизу есть прокатная контора, взяла там я патефон. Когда пришел Берзинь, поняла, что у вас будет с ним серьезный разговор.

— Умница...— улыбнулся Петерис. И за руку повел Берзиня к дивану, подле которого стоял столик с патефоном.

— Видно, в Латвии с нашим письмом не согласны?

— Не согласны некоторые члены Цека. Особенно рижский организатор. — Берзинь, словно страдая от ревматической боли, захлопал себя ладонями по коленям. — Не понимают, как это мы можем призывать рабочих голосовать за кандидатов социал-демократов, когда меньшевики выступают против коммунистов?

— Партия призывает голосовать за кандидатов списка социал-демократов, которые обещают бороться за минимальные требования рабочих, за восьмичасовой рабочий день, за ревизию аграрной реформы и налоговой системы, за обеспечение рабочим политических свобод.

— Этому товарищи не верят. Они говорят: зачем создавать у масс иллюзию, будто социал-демократы могут быть и не такими, какие они на самом деле. Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит.

— А какой, по мнению этих товарищей, должна быть тактика партии в конкретном случае, когда списки левых рабочих к выборам не допускаются?

Может, повторить объявленный во время Учредительного собрания бойкот выборов, заведомо навредив делу революции? В прошлом году таких же взглядов, кажется, держался и товарищ Андерсон?

— И теперь тоже. Некоторые руководители организации, в Латвии в том числе, очень недовольны неустойчивостью Латсекции. Коль скоро партия квалифицировала социал-демократов как социал-предателей, то у нас не может быть с ними ничего общего. Некоторые считают, что в условиях борьбы за диктатуру пролетариата вообще нечего считаться с исторически пройденным в рабочем движении этапом.

— Но пока на этом исторически пройденном этапе еще находятся массы,— вспылил Стучка.— Довольно широкие слои сельских и городских трудящихся еще не видят в социал-демократических лидерах агентов буржуазии. Мы должны открыть им глаза. А совместная избирательная платформа и ее реализация...

— Если ее надо реализовать...

— Но условием для социалистического переворота является всеобъемлющее движение масс, борьба масс.

— Товарищ Параграф разговаривает со мной, как с полным невеждой в теории марксизма. — В голосе Берзиня послышалась обида.

— Прости, прости, пожалуйста...— Стучка понял, что погорячился.

В последнее время с ним это случалось не раз. Это было в диспуте с профессором Рейснером, коллегой, которого он хорошо знал еще до революции. Теперь Рейснер член партии и взялся в своих статьях популяризировать постулаты теории психологического права буржуазного либерала Петаржицкого. Не сдержался он, Стучка, и в полемике с правоведами Московского университета старшего поколения, которые не видят «ничего плохого» в том, что в юридических вопросах «в головах людей еще остается малая толика идеализма». Шумел он этой весною и в споре с открывателями «красного», затем «чекистского права». Из-за нервозности, вызванной физическими недугами, болезнью, он в дискуссиях срывался, говорил колкости, преувеличивал. Делал именно то, чего боялся, остерегался...

— Другими словами, товарищам в Риге кажется, что письмо Латсекции недостаточно продумано. Верно я понял?

— Да, верно. Они хотели бы развернутого, компетентного разъяснения. Разъяснения авторитетного товарища.

— Может быть, предписание, директиву?— сухо засмеялся Стучка. — Мое это письмо не директива, а лишь товарищеская рекомендация, предложение, согласованное с Исполнительным Комитетом Коминтерна. Обычное предупреждение избегать сектантских уклонов. Но ведь имеется постановление

Цека партии, а затем партийной конференции от двадцать второго года об организации единого фронта. Ладно,— сказал он. Встал и подошел к столу.— Завтра утром я передам тебе для них письмо. Попытаюсь объяснить, почему тактику Латсекции неустойчивой считать нельзя. О, смотри-ка, ты привез нам иллюстрированное чтиво! — Стучка занялся лежавшими на столе рижскими изданиями: «Атпута», «Илустретайс журналс». — Интересно, какую хронику дают «патриотические» рижские газетчики.

«...В Риге гостит английская эскадра... В Риге гостит итальянская эскадра... В Риге гостит голландская эскадра...» Во время избирательной кампании в сейм! Это должно напомнить латышам о том, кто настоящие хозяева их «свободного государства».

«...Министр иностранных дел Латвии Зигфрид Мейеровиц путешествует по Западной Европе...», «Мейеровиц в Лондоне...», «Мейеровиц в Риме, у фашистского дуче Муссолини...»

Факты, которые заставляют задуматься!

И... военный министр Бангерский на кокнесской водяной мельнице «в своем родовом поместье». В родовом поместье, скажи пожалуйста!

«...В Риге с 19 июля по 2 августа состоится пятая Международная выставка-базар»,— читал Стучка на страницах другого журнала. — Тут тебе и общий вид выставки. И изображение павильона Советской России. А это уже нечто положительное!

— Отчасти. Только отчасти. Националистическая молодежь и корпоранты уже сейчас запугивают обывателей небылицами об экспонатах советского павильона. Дескать, Москва пришлет бочки соленого человечьего мяса,— говорил Берзинь.

— Негодяи. Впрочем, враги Советов всегда плели разную чушь. Но интереса людей к советскому павильону им все равно не сдержать. И посетители выставки увидят экспонаты, которые расскажут об успехах социализма. Кроме того, в павильоне Советской России будут хорошо подготовленные, смышленые гиды.

— Конечно...

Стучка раскрыл еще один журнал:

— Рассказ Яунсудробиня... Стихотворение Аспазии. Стихотворение Плудониса... Плудониса? Да, мы в Латвии так и не сумели привлечь Плудониса к фронту революционно-демократической литературы. Плудониса, который в мае двадцатого года, после кровавой расправы с демонстрацией рабочих, написал стихотворение «В чаду террора».

Все им крови мало...

— Товарищ Стучка, кажется, знает, что в этом направлении сделано партией. Но успех зависит не от нас одних. В данном случае много значат гонорары. Что, например, может предложить «Виениба» — журнал Центрального бюро профсоюзов и другие руководимые партией издания, когда у нас порою не хватает средств на типографские расходы? Членские взносы — это сантимы, на них гор не сдвинешь.

— Верно. И... у латышей в Советском союзе тоже нет ничего, кроме собственной заработной платы,— сказал Стучка. И отложил кипу журналов. — Значит, договорились. Письмо будет. Завтра в восемь, потому как товарищ Берзинь захочет вернуться в Ригу дневным поездом.

— Вот видишь,— сказал Петерис жене, когда Берзинь ушел. — Хотели мы с тобой походить по Берлину, думали...

— Зачем оправдываешься? — Дора коснулась ладонью губ мужа. — Есть вещи гораздо важнее развлечений... Велю принести нам кофе. Когда у тебя письмо будет готово, я перепишу его. Давать Берзиню написанное твоей рукой нельзя. А потом уже прямиком, без пересадки, на баварский курорт...

* * *

Товарищ Иоганн — большой патриот Пролетарского театра, патриот немецкой рабочей революционной сцены. Поэтому предложение берлинского партийного центра показать гостям из Советской страны — «геноссе и геноссин Стучка» — Пролетарский театр он воспринял и как честь и как счастливый случай поговорить о предмете своей страсти. И, даже не поинтересовавшись, известно ли товарищам из России о революционном театре, Иоганн завел пространнейший рассказ о германских, и прежде всего берлинских, революционных театральных спектаклях. Изложил основные принципы пролетарской сцены, чем они отличаются от традиционных принципов буржуазной...

Товарищ Иоганн даже не поинтересовался, был ли когда-нибудь «геноссе Стучка» в Германии, посетил ли он в бытность свою недавно в Баварии Мюнхенский театр. Все объяснял и объяснял.

По дороге в театр, в автомобиле, Иоганн, повернувшись к собеседникам, все говорил и говорил. Он продолжал говорить и в театре; едва заметно шевеля тонкими губами, но слова и фразы произносил отчетливо. Будто специально обучался где-то мастерству речи. Быть может, товарищ Иоганн и в самом деле когда-то учился в театральной студии. Что-то в этом роде говорил о нем функционер из берлинского городского комитета, приведший его к Стучкам в гостиницу.

— Немецкий пролетариат не ищет в театре трюков, сменяющих друг друга с кинематографической быстротой корот-

ких номеров, хотя и хорошо принимает постановки типа «Синей блузы»,— объяснял Иоганн. — Наш пролетариат хочет видеть в театре силу и правду, персонификацию своего класса в художественных образах. Правда, не все посетители театра едины в своих вкусах, часть обнищавших, разоренных кризисом буржуа тянется к революционным силам, но в них живы еще прежние склонности,— пояснял он Доре и Петерису, которых все же больше разговоров Иоганна привлекала публика в театре.

Беседу с товарищем Иоганном поддерживала одна Дора. Она с интересом задавала вопросы, переспрашивала. Просила поближе охарактеризовать отдельные спектакли, игру актеров, спрашивала об авторах текстов и песен, художниках, режиссерах (которые делят сцену на три горизонта: на верхнюю сцену, среднюю и нижнюю). Если не считать живого обмена мнениями о хулиганских выходках гитлеровских молодчиков, свидетелями которых в Баварии оказались Стучки (в Мюнхенском театре, на представлении революционной пьесы Брехта, национал-социалистские хулиганы кинули вонючие бомбы), Петерис оставался неразговорчивым, словно ушел в себя.

Сейчас его заботило развитие политических событий в Латвии. Компартии Латвии опять не повезло. Казавшаяся совершенно верной тактика не оправдала себя.

Когда в июле, направляясь на курорт, Стучка написал письмо в Ригу, он был готов спорить с каждым, кто усомнился бы в правильности тактики.

Тогда он подчеркивал: буржуазные партии себя скомпрометировали, скомпрометировали себя и социал-демократические лидеры, которые срослись с буржуазным государственным аппаратом и стали частными собственниками. Распоряжениями кабинета министров, изданными согласно статье 81 Конституции (в обход законодательного сейма), буржуазия старается перейти к управлению путем диктатуры. В такой ситуации трудовой народ, социал-демократические рабочие не могут не прислушиваться к предостережениям коммунистов, не могут оставаться в стороне от борьбы за права рабочих, за демократию.

Возвращаясь с лечения, Стучка получил в Берлине конспиративной почтой письмо из Риги:

«...На выборах в сейм социал-демократы добились на два мандата больше, чем на предыдущих... Представитель нашей партии посетил вновь избранных социал-демократических депутатов, но они отказались выполнить требования избирателей... В политических кулуарах поговаривают о правительственной коалиции антикоммунистического толка социал-демократов с другими мелкобуржуазными группами... Следовательно, наша тактика — призыв голосовать за социал-демократических кандидатов — была грубой ошибкой...»

«Была ошибкой... грубой ошибкой...» — не оставляют Стучку мысли об этом письме. — К чему такие опрометчивые выводы? Хорошо, представитель от Компартии встретился с социал-демократическими депутатами, и они не обласкали его. Но своего слова ведь еще не сказал избиратель! А где наша массовая работа, где борьба среди членов социал-демократической партии? Что делаем мы для реализации избирательной платформы, чтобы в конце концов создать в Латвии единый рабочий фронт?

В классовой борьбе нет ничего упрощенного, подчиненного какому-либо предположению! Истина обычно рождается в муках. Правильные лозунги борьбы механически к желанному исходу не приводят.

Было бы скверно, даже очень скверно, если бы рижане, писавшие это письмо, приучили молодых членов организации и комсомольцев Латвии мыслить такими недиалектичными, схематичными категориями. Если бы социализм, марксистская наука в их понимании превратились в разложенные по полочкам абстрактные истины и тезисы.

А если это происходит, то молодых товарищей, возможно, ожидает разочарование. Как только в партийной работе, в тактике борьбы возникнут моменты, не соответствующие трафарету. Наверное, теоретический журнал партии должен больше уделять внимания диалектике, истории партии... Если в Москве не найдется никого другого, то Стучке надо будет самому взяться за очерк о «демократии» буржуазной Латвии. Может быть, под заголовком «Кризис парламентаризма»?

Начался спектакль. Актеры выходят на сцену с боевой песней спартаковцев: «Мы шли под грохот канонады...»

* * *

— Если не считать восемнадцатый и девятнадцатый, минувший двадцать шестой год был, пожалуй, как никакой другой насыщен угрозами контрреволюции и войны, — говорил Ленцманис товарищам на проводах старого года. Но тут же добавил, что он был и не менее значительным по размаху революционных акций в разных странах мира. — Всеобщая забастовка английского пролетариата — выступление пяти миллионов рабочих само по себе огромное событие! А еще забастовки в других странах! Революция в Китае, национально-освободительная война в Индонезии, восстания в Африке. Весь прошлый год мы чуть ли не каждый день ощущали во рту привкус пороховой гари. В начале года нам пригрозил интервенцией сам нефтяной король Генри Детердинг, туз монополистического капитала заявил, что с большевистской Россией будет покончено еще в этом году. Затем рокоты броневиков, маневры крейсеров, ультиматумы с парламентских

трибун и из резиденции дирижеров локарнского договора, ливень шантажа и политических убийств. С единственной целью — спровоцировать Советскую республику. И убийство нашего товарища Теодора Нетте под Ригой преследовало ту же цель: создать атмосферу, при которой у англо-франко-польского блока был бы повод послать свои армии для спасения «бедняжки» Латвии от грозящего ей «большевистского вторжения».

— Нервы руководителей Советского государства оказались крепче, чем надеялись господа империалисты,— махнул рукой Петерис Стучка. — Провокация с Нетте не удалась потому, что господствующая в Латвии клика не решилась пойти за своими зарубежными хозяевами — отказалась от союза с Польшей. Знали, что трудовой народ Латвии против Советского Союза воевать не станет.

— И в результате — черное как смоль правительство Ульманиса уступило свое место явно серому. Или серовато-бледно-розовому, как шутят в Риге.

— Другими словами — тысяча девятьсот двадцать седьмой год Латвия начинает под флагом коалиционного правительства социал-демократов и буржуазного центра.

— В теперешней политической ситуации, когда над миром нависли мрачные тучи антисоветского военного похода и фашистского переворота, это «левое правительство» все же маленький шаг вперед — к улучшению отношений между латвийским народом, Латвией и Советским Союзом,— убеждает Петерис Стучка.

Но некоторые товарищи из Заграничного бюро думают иначе:

— Чем же социал-демократы лучше Крестьянского союза и бергистов? Разве мало в социал-демократической партии приспешников капитала? Разве министр иностранных дел теперешнего «левого правительства» Феликс Циелен не подписал в рижской бульварной газете заявление, из которого ясно, что сущность политики социал-демократов — антикоммунизм?

— Не надо упрощать! — стоял на своем Петерис Стучка. — Законы революционной диалектики распространяются и на рабочих, состоящих в латвийской социал-демократической партии, как и на все остальное под солнцем. Социал-демократы сегодня против войны и фашизма вместе с сознательной частью трудового народа. Они жаждут мирной жизни, они не хотят, чтобы толпы безработных толпились у ворот заводов и лесопилок. Если «левое правительство» белой Латвии захочет вести политику, хоть сколько-нибудь приемлемую для трудового народа,— развивал он свою мысль,— ему придется перестать бряцать оружием, к чему его вынуждает лакейское угодничество перед Англией, Францией и Польшей. «Левому правительству» придется подумать об улучшении жизненных

условий неимущих слоев населения, об увеличении занятости. Придется повернуться лицом к восточной границе.

Советский Союз готов заключить с Латвией торговый договор на условиях наибольшего благоприятствования. Благодаря заказам, которые рижские и лиепайские заводы получили от России, железные дороги и порты Латвии будут обеспечены перевозкой товаров.

Стучке кажется, что в конкретной ситуации (если «левое правительство» договорится с Советской Россией на экономической основе) Латвия даже смогла бы стать неким буферным государством. Вроде той Дальневосточной республики, что в начале двадцатых годов существовала на территории восточнее Байкала. Конечно, эволюция в Латвии протекала бы куда медленнее, чем в свое время на востоке России. Ведь с Латвией гораздо больше связаны интересы империалистических великих держав и малых окраинных государств (Польши, Румынии, Швеции, Финляндии). Да и ветры времени дуют в мире теперь переменными порывами.

Петерис Стучка хорошо знает политиканов Латвии, этих националистских дельцов. Их идол и совесть — торговля, нажива. Им безразлично, что покупать и продавать!

Не следует скидывать со счетов и тех социал-демократических министров, которые не вросли в буржуазный государственный аппарат и не стали в свое время директорами банков, крупными землевладельцами, частными собственниками. Например, министра народного благополучия Рудевица, изучавшего «Капитал» Маркса, или министра просвещения поэта Райниса — Яниса Плиекшана-Райниса, как пишет рижский «Валдибас вестнесис».

На Райниса Петерис Стучка надеется больше всего. Правда, Райниса осыпают в Латвии почестями. Многие мелкобуржуазные партии и группы добиваются его расположения, как бедные женихи согласия наследницы шестиэтажного дома. Но ничего не говорит о том, чтобы Райнис изменил любви своей молодости — идее социальной справедливости.

— Нет, мой брат не изменился,— считала Дора. — Я вижу это по его письмам, по тому, что о нем рассказали Пауль Дауге и Роберт Пельше. И товарищ Анна Запровска, которая до высылки из Латвии часто бывала у Райниса дома. Янис нигде и никогда не солидаризировался с Феликсом Циеленом, Бруно Калнинем и им подобными политиканами. Он всегда выступает от имени всего рабочего класса и не подпевает буржуазным подхалимам, которые щеголяют с красной гвоздикой в петлице.

Все эти годы Райнис сотрудничал с организациями левых рабочих. Он один из основателей нашего издательства «Дайле ун дарбс», почетный председатель Комитета организации рабочих Латвии, помогавшего голодающим Поволжья. Кроме

всего, он является председателем созданного по его инициативе в Риге общества сближения культур народов Советского Союза и Латвии. В прошлом году Райнис побывал в Минске. На конференции Института культуры Белоруссии...

— Откуда Аспазия срочно вызвала его обратно в Ригу, опасаясь, как бы Райнис не принял приглашения Москвы и не остался там,— заметил Петерис и добавил: — Но в то же время Янис член центрального комитета социал-демократической партии, ее почетный председатель. И партийная дисциплина для него свята. Поэтому он не выступил против грязных махинаций социал-демократов на выборах президента государства — позволил выдвинуть свою кандидатуру; в первом туре он не получил нужного количества голосов, а во втором мендеры, калнини сторговались с буржуями и президентом выбрали реакционера Чаксте.

— Но я никогда не поверю, чтобы Янис на посту министра согласился на какие-то нечестные политические сделки.

— Я тоже.

Теперь Петерис Стучка ежедневно звонил в Наркоминдел, в Коминтерн — справлялся, какие вести из Риги.

Министр просвещения старался вести явно демократическую политику, содействовать сближению Латвии и Советского Союза. Райнис воюет с черными генералами — Гоппером, Радзинем и Бангерским, которые противятся демонстрации кинофильма Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». Райнис хочет разрешить в Риге гастроли московской «Синей блузы»... Но в других вопросах все остается по-прежнему. И вот, наконец, пришла долгожданная весть: в ближайшие дни в Москву направится правительственная делегация Латвии, чтобы заключить торговый договор с Советской Россией.

Петерис нали.. себе рюмку водки и залпом осушил ее. Потом еще налил и с бутылкой в руке опустился на диван. Дверь в смежную комнату была приотворена, и Вера Григорьевна видела, как Петерис подошел к шкафчику, в котором хранилась бутылка (врач Казаков советовал «иметь под рукой» спиртное, чтобы в случае сердечной слабости пригубить капельку).

— Сейчас же отдайте! — Вера Григорьевна взяла у него бутылку и рюмку, подошла к аптечке, к книжному шкафу, проверила, не хранит ли Петерис где-нибудь еще спиртного, и бросила: — Не оправдывайтесь! Как скверно бы ни было на душе, этим утешаться нечего. Это для безвольных... А от вас я уж никак не ожидала...

Вера Григорьевна принесла подушку и одеяло.

— Разуйтесь, разденьтесь и прилягте. Дора Христофоровна в архиве Института Ленина, будет дома часа через

полтора. К тому времени вы должны выветрить из головы хмель. Думаю, что вы не захотите огорчать ее.

— Вера Григорьевна... — Петерис хотел было извиниться, но стыд мешал ему это сделать. Он только сказал: — Спасибо вам!

Добрая Вера Григорьевна тысячу раз права. Так бороться с превратностями жизни недостойно человека. Тысячу раз права... Только... так уж получилось...

С ним обошлись грубо. «Вас не звали... Ваше мнение о споре товарищей Вышинского и Крыленко нас не интересует. Товарищ Сталин вам ничего не поручал».

Он, Петерис Стучка, пришел в секретариат, чтобы выяснить важный вопрос партийной жизни. Пришел как старый член партии, которого беспокоил несовместимый с нормами партийной жизни спор по теоретическому вопросу. Ранила адвокатская, небольшевистская аргументация Вышинского. Нет, он не собирался копаться в прошлом Вышинского. Он вообще против начавшегося в последнее время копания в биографиях. Но он не может оставаться безразличным, когда демагогически нападают на старого члена партии, на человека, у которого неоценимые заслуги в создании пролетарского правосудия. Крыленко — один из первых председателей революционных трибуналов. Крыленко — автор декретов и законов о судах социалистического государства. Крыленко — главный государственный обвинитель в важнейших политических процессах.

Он, Стучка, лишь хотел обратить внимание на принципиальный вопрос. Просто сказать несколько слов. Как иной раз Ленину...

Нет, надо думать о другом, о том, что «левое правительство» Латвии создало военно-полевые суды. Для политзаключенных в тюрьмах введен усиленный режим принуждения.

А тут еще министр внутренних дел белой Латвии распустил девятнадцать левых профсоюзов. Откровенное нарушение даже записанных в буржуазной конституции прав.

9. «ТОВАРИЩИ, ДЕРЖИТЕСЬ В СТРОЮ, ДЕРЖИТЕСЬ!»

(Лайцен)

Руководитель колонны все поторапливает студентов, топчущихся на тротуарах перед зданием университета. Размахивает рукой, красная повязка сползла к самому низу рукава серой шинели:

— То-ва-рищи! То-ва-рищи! Стройтесь скорее! Пора двигаться к месту сбора.

Екаб Гробинь пристраивается к однокурсникам, несущим транспарант (на четырехугольном плакате — увеличенный рисунок художника Дени: среди знамен рабочий со вскинутой над головой винтовкой и поверх этого надпись: «Защитим СССР!»). Продолжая спор, Гробинь кричит отставшему Реймеру:

— У тебя подход формальный! Сектантски формальный! Одна показуха!

— Да хватит тебе! — Эмма Ратмане потащила Екаба в колонну. — На собраниях и митингах еще не наспорился. Еще на улице вздумал. Сколько можно?

— Сколько можно? — насмешливо повторил Екаб. Взглянул на Эмму и пробурчал: — Я тоже хочу знать! Еще с одной дискуссией не покончили, а уже вторую затевают. И так без конца и краю. Но молчать, когда на ответственном собрании товарищ с трибуны из пустого в порожнее переливает, я не могу. Понимаешь!

— Поди не деревенщина какая-нибудь, понимаю... Вот твоя Гриета! — показала она. — Веди ее сюда, пока...

«Пока Гриета Длинному Крастиню на глаза не попалась»,— хотела добавить Ратмане. Длинный или Харбинский Крастинь, как его еще называют, любимец девчат, в последнее время стал уж очень внимателен к Гриете Кезбер. Всегда сидят рядом на лекциях или в читальне, и в столовой вместе стоят в очереди за гречневой кашей, овощным супом или кружкой морса. По вечерам Екаб иногда гуляет с Гриетой, тогда койка его в студенческом общежитии пустует. Ни Гриета, ни Екаб близости своей напоказ не выставляют, о загсе не думают, но это ничего не меняет. Они — отличная пара. Екаб Гробинь, как сказали бы старые стрелки,— «кореш что надо», а Гриета Кезбер — тоже настоящая фронтовичка. Пускай будут счастливы!

Но все это нипочем Харбинскому Крастиню, белокурому атлету с внешностью актера, мастеру декламировать Есенина, рассказывать про экзотику Приморского края и про всякие восточные чудеса. Крастинь вырос в Забайкалье, учился в Дальневосточном университете, знает китайский и японский. И вообще личность его окутана тайной. «Есть вещи, о которых не полагается болтать»,— отвечает он обычно тем, кто интересуется подробностями его биографии. Но все же дает понять, что жизнь его не была прогулкой по солнечному бульвару. В Москве он сейчас пользуется накопленным за долгие годы отпуском и счастлив, что может видеться с латышами, разговаривать на родном языке.

«Харбинец хлебнул горя»,— вздыхали студентки. И Длинный Крастинь пользовался сочувствием хорошеньких девиц.

— Эмма Ратмане тебе что-то сказать хочет... — Екаб догнал и окликнул бойкую горбоносенькую Гриету.

— Эмма? — фыркнула она. Голубые глаза озорно заискрились.

Гриета казалась сейчас Екабу такой же задорной и привлекательной, как в тот апрельский день на экскурсии в Загорск, когда они на берегу реки случайно отстали от остальных студентов. Гриета в шутку швырнула в Екаба свернутым пояском. Он увернулся, и поясок упал в воду. «Ой, утонет!» — вскрикнула Гриета. И Екаб в чем был бросился в речку. А когда выбрался на берег и подал Гриете мокрый поясок, то неожиданно поцеловал ее.

— Эмма, говоришь? — переспросила Гриета. И добавила: — Дурень ты!

Колонна двинулась. В одном ряду с Ратмане и Екабом теперь шагал Шутка Галифеист; он учился на первом курсе. После окончания рабфака работал на Украине, но на собраниях, в культпоходах, на демонстрациях всегда держался товарищей по рабфаковской группе.

— Оппозиционеры выпустили новый листок.— Шутка показал напечатанное на гектографе воззвание величиною с почтовый лист.— Платформа самой оголтелой антипартийной деятельности: лозунг строительства социализма в Советской России — видите ли, мелкобуржуазный обман. Если Россию не поддержит победивший в западных странах пролетариат, то существование нашей диктатуры рабочих бессмысленно. Советская экономика, мол, бессильна против мировой капиталистической системы...

— Ты мне эти пакости лучше не показывай,— вскинулась Эмма. — Пачкать руки стряпней Троцкого и Зиновьева и тебе не советую.

— Да разве я что...

Слова его перекрыл грохот духового оркестра. Звон медных тарелок, призывные звуки корнетов, альтов, контрабасов, слившиеся в общий слаженный ритм походной боевой песни:

Мы — армия труда...

У Садового кольца студенческая колонна латышей примкнула к другой колонне демонстрантов, которая хором скандировала: «Позор английской буржуазии», «Позор предателю революции китайского народа Чан Кай-ши!» Демонстранты поднимали над головой плакаты с карикатурами Дени на вождей Второго Интернационала. На западных и русских социал-демократов, виднелись надписи: «Вандервельде — цепной пес капитализма», «Макдональд — слуга английского империализма». Оркестр латсектора перешел в голову общей колонны, и латышские студенты уже могли нормально переговариваться.

— Я начинаю сердиться на тебя,— Гриета сжала руку Екаба. — Нужен мне этот харбинский пижон?

— Сердце красавицы склонно к измене,— запел Екаб.

— Перестань, или я...

— Перестал, уже перестал. Ты послушай, как Эмма Шутку уму-разуму учит.

Эмма Ратмане и в самом деле поучала Шутку:

— В воплях оппозиционеров я вижу одно: мелкобуржуазный страх перед объективными трудностями. Троцкисты и те, что вокруг них, хватаются за головы, причитают: «Что происходит? Мы добились пролетарского государства, а бед и лишений меньше не стало. До революции мы говорили народу: будет у нас социализм, и все пойдет как по маслу! А что творится теперь?..» Вот и впадают в пессимизм. А пессимизм, как сказал товарищ Стучка, признак старения. Правда, Троцкому, Зиновьеву, Рыкову и Радеку, а также нашему Смилгису кажется, что они молодые. В чем их теоретическая платформа, если вникнуть поглубже? Да в том, что если России одной построить социализм не по силам, то пролетариат должен отказаться от социализма, от Советского государства! Логично! Так что незачем, и даже вредно, тратить время на то, чтобы без конца обсуждать декларации оппозиционеров. Поэтому я и говорю: хватит дискуссий, довольно болтовни. Всюду — в первичных партийных организациях, на конференциях, на пленумах Цека большинство проголосовали против оппозиционеров. Они разбиты. Коминтерн высказал свое порицание. Чего еще?

— Это было бы нарушением демократии. И так за границей кричат о подавлении свободы личности в России.

— Нам ли, коммунистам, слушать буржуазных крикунов, когда дело касается только нас самих?

— Все же запрещать дискуссии...

— Но, когда говорить уже не о чем, те, кто навязывает дискуссии, заявляют, что они против построения социализма. Против завоеванного нами кровью и муками права собственными руками строить социализм.

— Бесконечные дискуссии, которые нам навязывают, превращаются в никому не нужную нервотрепку,— вмешался Екаб. — Разве так товарищ Ленин ставил вопрос о критике и самокритике?

— В латышской организации в этом перегибе виноват и один из товарищей Латсекции — Кауфманис,— сказала Гриета Екабу. — Собрал товарищей из латышской Красной профессуры и нескольких партийных секретарей учебных заведений и предложил по-новому повести борьбу с оппозицией.

— Потом расскажу тебе, что мне рассказала подружка Кауфманиса — Элга Тетерис,— шепнула она. — Хвастался, мол, Стучка стареет, он будет вместо Стучки.

— Да ты что!

— Потом, потом...— И она пожалела, что не вытерпела, не обождала, пока они останутся наедине.— Послушай, там поют марш Коминтерна.— И она тоже запела:

Товарищи в тюрьмах,
В застенках холодных,
Вы с нами, вы с нами,
В одних мы колоннах...

* * *

В Латвии продолжались аресты... Арестована большая часть руководителей левых профсоюзов — членов нелегальной компартии, а также коммунистов — членов забастовочных комитетов. В Латсекции говорят, провалились областные организаторы и молодежные руководители. Оборвались конспиративные связи. Директор «Прометея» Берновский жаловался: «Не знаешь, каким путем литературу посылать можно, каким нельзя...»

— Эмму мы теперь долго не увидим!.. И увидим ли вообще? — сказала Гриета Екабу. — Лучше ее на людях больше не вспоминать...

— Значит — она ушла... — Теперь Екабу ясно, почему Ратмане в последнее время так замкнулась в себе. Почему так часто ходила в Латсекцию Коминтерна.

— Эмма просилась обратно в подполье,— рассказывала Гриета. — Работать там теперь так же трудно, как после падения Советов. Но у нее в этом деле уже есть опыт... Ты знаешь: мы дружим с ней с девятнадцатого. Одно время Эмма работала в Латгале, в детской колонии в Адамове.

— Это там, где ты старалась перевоспитать атамана подростков Бориса...

— Старалась — и перевоспитала. Борис начал помогать воспитателям и комсомолу справляться с бродяжками и воришками. Если бы мы успели его эвакуировать, он тоже учился бы теперь на рабфаке или в педтехникуме.

— Возможно,— согласился Екаб.

Из-за бывшего воспитанника детдома Бориса Гриету грызет совесть... Она, воспитательница детдома в Адамове, во время внезапного наступления белополяков на Резекне в январе двадцатого года не успела эвакуировать Бориса, ставшего уже сознательным советским юношей. А не успела потому, что комиссар Эрбе ее саму поднял ночью с постели, посадил перед собой на коня и, проскакав версты четыре, запихнул в последний вагон уже отходившего поезда. Гриета обещала Борису поддержать его, помочь стать пролетарским бойцом, а она не смогла забежать за ним на соседний двор.

— Ну да,— снова заговорил Екаб. — На это трудное, рискованное дело Эмма пошла добровольно. Своей самоотвержен-

ностью она напоминает Эферта. Она даже не позволила себе полюбить кого-нибудь, с тех пор как ее друг погиб. Не то что я...

— Не говори так!

Они сидят на скромной, застланной серым солдатским одеялом койке. (На положенной на четыре чурбака раме с проволочной сеткой под тощим тюфячком.) Но им хорошо, как только может быть хорошо двоим, когда их не видят и не слышат посторонние. Они могут помечтать о том, как пойдет их жизнь после того, как им вручат дипломы советских специалистов. Как они будут собираться в дальнюю дорогу на место работы на окраине России, укладывать книги и пожитки. Возможно, что пока они кончат учиться, на Западе уже успеют одолеть эксплуататоров, и над рижским замком опять запылает красный флаг пролетариата. В политической обстановке происходят бурные перемены. Еще вчера Россия задыхалась в рабстве, а уже сегодня она озарена солнцем свободы. Разве еще месяц тому назад можно было предположить, что сегодня в Корее, Марокко, Египте вспыхнут народные волнения?

— Гриета...

— Екаб!

Но, мечтая вслух, они все же должны быть осторожны. Жилье Гриеты — часть комнаты в бывшей купеческой квартире, поделенной дощатыми перегородками на «жилые площади». В «закутке» Гриеты есть, правда, высокое, в сажень с лишним, окно, похожее на магазинную витрину, зато сквозь тонкие, оклеенные старыми газетами перегородки проникает любой звук. Любой вздох, даже когда за стеной дуют на горячий чай.

— Живете вы ничего... Хотя наши буржуи сказали бы, что комната у вас все равно что угол, который в Риге бедные люди сдают одиноким мужчинам и женщинам,— охарактеризовал жилье Гриеты старый рижский профсоюзный деятель, один из членов латвийской рабочей делегации, которая прибыла из Латвии на празднование десятой годовщины Октябрьской революции. В ее составе был и левый поэт Линард Лайцен. По просьбе матери Гриеты рижанин разыскал в Москве дочку Кезбере, которую в «год великих смут» занесло в Россию, и навестил ее. — Может, постель в Риге будет получше,— добавил он,— но в общем ничего. Надо надеяться, что соседки ваши за перегородкой люди хорошие.

— Конечно, хорошие,— ответила Гриета. — Работают в советских учреждениях, посещают курсы, ходят в театры, на выставки. Одна даже спортсменка. Парашютистка. В позапрошлом году ее чуть было не взяли в экипаж самолета «Латышский стрелок», который летел в Монголию и китайскую столицу. Может быть, слыхали: бывшие латышские стрелки

и латышские студенты в России пожертвовали средства, на которые построили первый советский пассажирский самолет.

Что верно, то верно: Гриетины соседи по коммунальной квартире люди достойные. Из тех, что могут сказать: «Мы строим социализм. Собственными руками, собственными средствами. В этом году хотя бы — внутренний государственный заем, добровольные отчисления от заработной платы, студенческих стипендий дадут десятую часть всех бюджетных средств Советской России».

— Мне мамочка написала,— похвалилась Гриета Екабу через месяц после отъезда из Москвы латышской рабочей делегации. — Она очень хочет меня видеть. Пишет: единственное, чем она живет,— это надежда дождаться дочери. Не знаю, если попытаться съездить на несколько дней в Ригу. Когда мы расстались, мне едва исполнилось семнадцать. Мама даже предлагает мне деньги на дорожные расходы.

— И ты надеешься, что посольство даст тебе въездную визу?

— Надо узнать. Сперва посоветуюсь в парткоме и в других инстанциях.— И они заговорили о другом.— Скажи мне, как ты представляешь себе любовь при коммунизме? Она и тогда останется такой же, как теперь?

— Возможно, что в чем-то человеческие чувства изменятся. При коммунизме будет другая надстройка. Значит, возможна и новая этика, новая мораль...

— Товарищи, основательно изучившие философию, утверждают, что любовь между мужчиной и женщиной, такая, как теперь, в будущем вообще исчезнет.

— Так рассуждали и в первые годы революции. Когда проповедовали свободную любовь.

— Но марксисты должны видеть общественные явления в перспективе их развития. Некоторые умные люди видят будущее как большую, всеобъемлющую коллективную деятельность. Никакой обособленности, никакой частной собственности. Общие орудия производства, общие средства к существованию, общие библиотеки, детские ясли, детские сады. Обособленность в семье, в быту станет анахронизмом.

— Интересно, кто это такие премудрости изрекает?

— Длинный Крастинь.

— А-а! — Екаб отодвинулся от Гриеты. — Это он тебе говорил?..

— Да не мне. Соседке по квартире — Люции из Комиссариата иностранных дел. Позавчера вечером Крастинь был у нее. И я... невольно подслушала. По-моему. Крастинь принес вино, фрукты и еще какие-то лакомства. Люция влюблена в Крастиня. После нахваливала его: «Какой интересный мужчина. Культурный такой...»

— Шах! Еще один! Ой, какой рассеянный.
— Задумался.
— В шахматы играют, чтобы сосредоточивать мысли, развивать их,— сказал партнер Екаба.
— Я же говорил, что являюсь игроком детского класса. Мастер фигуры двигать.
— Поэтому для тебя самое время повысить свой класс. Мат!
— Черт подери!
— Если хочешь, называй это детским матом.
Партнер Гробиня — Петерис Винтинь выпрямился. Посмотрел на часы.
— Где же это Берновский пропадает? Третий час, как ушел. А сказал — выйдет только на минутку.
— С ним это бывает.
— Даже очень часто,— согласился Винтинь. Отвалился на спинку стула и уставился куда-то вдаль. Могучей мускулистой фигурой Винтинь напоминает кузнеца, отдыхающего после тяжелых трудов у наковальни. Рот чуточку приоткрыт, словно собирается выразить мысль, которую долго вынашивал.
Петериса Винтиня, писателя Вейниса, Гробинь знает еще с той поры, когда работал уполномоченным продотряда в Сибири. В двадцать втором году Винтинь в Омске редактировал латышскую газету «Сибирская циня» и уговаривал Екаба писать информацию о латышских поселках, в которых он бывает. С двадцать пятого года Винтинь пропагандист Центрального Комитета Российской Коммунистической партии, временами он наведывается в Университет народов Запада, в московские латышские организации и редакции. Сейчас он готовит к печати книгу литературных очерков и составляет сборник избранных стихов Вейденбаума. Сегодня у Винтиня назначена встреча с директором «Прометея» Берновским.
— В семнадцатом году на Рижском фронте у нас был бравый оружейный мастер,— начал Екаб. — Так он часто корил ребят за то, что они неумело регулируют пружину затвора. «Этакую пружинцию,— оружейник любил выражаться изощренно,— нельзя чересчур загружать. А то она раньше времени эластичность потеряет, действовать откажется». Люди, коллектив, конечно, не металлическая пружина; и закономерности природы не всегда и к человеческому обществу применимы. Но некоторая аналогия все же допустима. И я порою начинаю опасаться, не делаем ли мы кое-что слишком механически — словно чересчур сжимаем пружину. На войне мы — партийцы и фронтовики — не раз попадали в так называемые безвыходные положения. Но тогда наши комиссары, наши комитетчики, да и мы сами не допускали болезненной тревоги, какая порою охватывает нас сегодня, когда мы прибегаем к критике сверху и снизу.

— Не надо забывать одного: международного положения. И закрывать глаза на невиданное в истории России движение масс, связанное с производственной революцией в промышленности и сельском хозяйстве. С пятилетними планами. С культурной революцией, которая за короткое время должна обеспечить социалистическое производство миллионами интеллигентов. Надо избавиться от деревень с избами под соломенными крышами и изрезанных межами полей, построить крупные производства сельскохозяйственных продуктов, уже это одно, братец...

— Может иногда попутать и людей разумных,— подхватил Екаб. — Понимаю. К этому я мог бы еще добавить кое-что из лекций Кнориня, Печака в партийных организациях и на рабочих собраниях, что в условиях нашего революционного роста в любую минуту можно ожидать наступления армий империалистов на Советскую Россию. И тогда сразу поднимут голову внутренние враги, экспроприированные экспроприаторы, бандиты. У нас уже есть дело о массовом вредительстве горных инженеров, раскрыты заговоры эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов... На Дальнем Востоке назревает вооруженный конфликт на Восточно-Китайской железной дороге, вместе с китайцами в Амурскую область ворвались белогвардейские банды...

Все ясно и понятно. В таких условиях партия должна действовать бескомпромиссно и решительно. На передовом участке фронта на линии огня не место неженкам и пустозвонам. Таких надо железной рукой... Другого выхода нет. Но поносить товарища, который тебя и сотни других вел в самых кровопролитных боях, был для тебя и тысячи других, преданных коммунизму, старшим советчиком, помощником...

— Ты прав,— вставил Винтинь.— То, что случилось с Петерисом Стучкой, более чем прискорбно. Я тоже считаю, что новый директор поступил не по-товарищески. В области права он не специалист, а взялся руководить научным Институтом советского права, созданным таким эрудитом, как Стучка. И начал это с требования, чтобы Петерис публично признал и подверг критике свои ошибки. Требует, чтобы один из основоположников теории права во имя марксизма отрекся от того, что он сделал. По-моему, Стучка ответил по существу: «Политика это одно дело, но историю, правду надо все же знать!»

— Ответил-то он ответил, а толку... Я слышал от разных людей... — нерешительно начал Екаб,— что у этого руководителя две довольно несимпатичные черты. Не выносит возражений, не выносит людей, которые противоречат ему. Ему свойственно высказываться в форме изречения абсолютных истин...

— Слышать и говорить можно что угодно.— Винтинь встал со стула.— Но на события надо смотреть трезво. Товарищ Сталин привлек его на руководящую работу как выдающегося

организатора, который никогда и нигде не был заодно с оппозицией, ни с правыми, ни с левыми противниками генеральной линии партии.

— Я не об этом,— перебил Екаб.— Мы гнали и будем гнать оппозиционеров, ренегатов, политических проходимцев, но для идеи может стать не менее опасным стремление безоговорочно принимать любые высказывания и поступки какой-нибудь личности. Особенно, когда эти высказывания и поступки научно никак не обоснованы. Марксизм — это наука, марксистская экономика, марксистская история, марксистская юриспруденция — все это самостоятельные отрасли науки. Так учит партия, классовая борьба. Меня заинтересовала биография этого товарища, и я прочел все, что о нем написано. И остался в недоумении. Как можно в одиннадцать лет стать сознательным большевиком? Как он без глубокого знания марксизма мог самостоятельно держаться всегда правильной политической линии, руководить организацией в самых сложных политических условиях?

— Не всегда биографии правильно раскрывают облик человека. Его духовные способности, характер... Да, видимо, товарища Берновского мне сегодня уже не дождаться.— Винтинь еще раз глянул на часы и собрался уходить. Даже не спросив Екаба, останется ли он ждать.

Петерис Винтинь работник системы Цека. Работник аппарата, как принято говорить. А в отделах «аппарата», в секретариате со времени разгрома антипартийных групп, со времени последнего съезда и пленумов Центрального Комитета очень резко выступают против критики руководства.

Время, условия заставляют руководителей поддерживать дисциплину. Однако в сомнениях таких товарищей, как Екаб Гробинь, есть тоже своя крупица правды. Ибо общественный пост, должность, доверенные товарищу, не превращают его во всезнайку, в непогрешимого выразителя неоспоримых истин. Погоди, кто же из корифеев марксизма писал о величии человека? Кажется, Энгельс. Как это у него?.. «Когда великий человек умирает, легко случается, что его менее значительного соратника начинают оценивать выше, чем он того заслуживает...» «Менее значительного соратника начинают оценивать выше, чем он того заслуживает»? И, кажется, тому же Энгельсу принадлежат слова: «История в конце концов все поставит на свое место».

* * *

— Эмма провалилась!..— Екаб запыхался от быстрой ходьбы. Едва войдя в комнату, он с порога сообщил Гриете услышанную только что новость.— Перешла границу, села на поезд, а в Крустпилсе ее схватила охранка. Не успела даже встре-

титься со связным. Что-то в последнее время таких внезапных, загадочных арестов среди подпольщиков стало много. И провалов при переходе границы тоже. Берновский был у Виктора, встретил там товарища Стучку...— Екаб сдерживал волнение.— Люди в Латсекции ходят сами не свои. Упрекают друг друга невесть в чем. Среди бела дня всюду горит свет, никто этого не замечает. Для расследования обстоятельств провала будто бы назначается комиссия...

— Выйдем...— Гриета не дала Екабу говорить. Она в темно-синем бостоновом жакете, который обычно надевает, когда отправляется на службу и должна в Наркомпросе встретиться с иностранцами. Видимо, Гриета только что вернулась из комиссариата и с нетерпением ждала Екаба.— Пойдем!

— Разве там... кто-нибудь есть?— шепотом спросил он.

— Идем!

Молча лавировали они по пахнущему плесенью и старьем коридору, забитому вещами обитателей коммунальной квартиры — ящиками, туесами, мешками, обносками. Закрыли за собой широкие, скрипящие на заржавленных петлях двери. На площадке и на лестнице никого не было, но Гриета все равно требовала, чтобы Екаб молчал, и заговорила, когда они уже были на Покровском бульваре, далеко от дома. Но и теперь она говорила вполголоса.

— Представь себе: Длинный Крастинь...

— Оставил с носом еще одну сороку, которая уцепилась за его клетчатые штаны. И это событие мирового значения — святая тайна...— не сдержал недовольства Екаб.

— Тише ты! Мы ведь находимся в общественном месте,— сдержанно ответила Гриета.— А вообще-то не стесняйся! Выкладывай все, что имеешь против меня. Потом я скажу, почему дома я не могла доверить тебе того, что должна сказать как члену организации. А теперь продолжай! Продолжай!

— Если так... Если... я...— Екаб понял, что ляпнул совсем не то. Гриета милая, сообразительная девушка, но упаси бог обидеть ее несправедливым словом.

К счастью, обида у Гриеты быстро прошла. Только они завернули в сквер на Чистых прудах, она заговорила как ни в чем не бывало.

— Длинный Крастинь шпион. И уже на Лубянке. Действовал по заданию белолатвийской и, наверное, других буржуйских агентур.

— Вот это да!..

— Да, да. Прикидывался юбочником, соблазнителем!..

— Ну, прикидываться особой нужды не было, это у него получалось само собой.

— Впрочем, не всегда и не с каждой,— отрубила Гриета.

— Но откуда ты все это узнала?

— А вот и узнала,— вскинула голову Гриета.— Понима-

ешь, моя мама...— заговорила она, немного помолчав.— Она просила меня приехать к ней в Латвию. Ты ведь знаешь, я написала прошение и отнесла его в посольство. Мне велели зайти через две недели. Потом еще через одну. Когда я пришла снова, меня заставили ждать в прихожей. Там ко мне подошел один из посольских, атташе какой-то. Спрашивает, почему я, единственная у матери дочка, не переберусь на родину. Если очень захотеть, то в этом нет ничего невозможного. Я, конечно, отказалась. Но и тогда мне опять сказали: «Зайдите в другой раз».

Когда я снова пришла, чиновник, который занимался моим делом, куда-то отлучился. Я стала ждать. Вскоре через приемную пробежала в посольскую библиотеку какая-то барышня и оставила дверь туда приоткрытой. И тут я слышу, как в библиотеку через другую дверь вошли двое мужчин. Они продолжали фамильярный разговор. Голос одного показался мне знакомым. Я тихонько подкралась к двери и заглянула... Харбинский Крастинь! А его собеседник — секретарь посольства, тот самый, что принимал у меня документы. Судя по тому, как и о чем они болтали, Длинный был в посольстве своим человеком. Я настороженно слушала, пока меня не позвали в кабинет. Позвали и заявили: «Рига вам визы не дает!»

Сказала «спасибо» и «до свидания».

Об увиденном и услышанном я, конечно, сообщила на работе в отдел кадров. Пришел товарищ с Лубянки. Рассказала все и ему. Он выслушал меня и сразу же принялся расспрашивать о моей соседке по квартире. Длинный Крастинь провел у нее не одну ночь. Я, конечно, рассказала все, что мне было известно. Мне велели никому, даже тебе, ничего не говорить, а за соседкой следить. А сегодня сказали: «Крастинь арестован за шпионаж». Поблагодарили за помощь. Вначале я обрадовалась. Но когда вспомнила про девчонок Латсектора, мне сделалось страшно за поклонниц Харбинца.

— Они тоже... задержаны?

— Да нет! Но ты знаешь секретаря парторганизации Латсектора. Какой он сверхбдительный и старается быть принципиальней самого принципа. Если будем этот вопрос обсуждать, он товарищеским разбором не ограничится. Ему захочется показать себя.

— Не будем преувеличивать! У нас есть Устав партии, постановления съездов, пленумов Центрального комитета. Демагогических выпадов товарищи не допустят. Коллектив организации Латсектора не какая-нибудь аморфная масса.

— Все же э т о т т о в а р и щ постарается. Как Сом в деле Петериса Стучки.

— Вопрос о Стучке оставим. Тут последнее слово еще не сказано. Говорят, собираются отмечать его шестидесятипятилетие. Стучку будут чествовать как партийного деятеля и как

организатора и теоретика. Будут, наверно, присутствовать и представители Центрального Комитета и Коминтерна. Стало быть... Но что касается Харбинца, то это дело тяжелое. Может, не такое, как предательство, раскрытое недавно Чека, но все равно тяжелое. И оскорбительное для латышских коммунистов. Как мог отъявленный негодяй так долго вращаться среди нас, и никто его не разоблачил?! Но я не хотел бы верить, что он играл такую же роль, как тот шпик, который в двадцатом году в Пскове пролез в латышскую портняжную мастерскую и подбирал лоскуты, оставшиеся от одежды, что шили для товарищей, которые готовились к работе в Латвии... Но Крастинь явно что-то натворил!

Два молодых человека бродят по бульварам столицы, по окраинным переулкам, тупикам, избегают толчеи. Они сторонятся шума, потому что их мучает одна мысль. Хотя поделенная беда — полбеды, но все же...

Может, кое-кто из поколения, которое будет жить после них, удивится им. Возможно. Но они принадлежат к тому племени, которое на грани двадцатых и тридцатых годов нынешнего века самоотверженно строило первое в мире социалистическое государство и берегло его, как свое счастье, как свою жизнь...

10. «ЕСЛИ Я ЧТО-ТО СДЕЛАЛ, ТО ЭТО НЕ МОЯ ЗАСЛУГА»

(П. Стучка)

Писать юбилейные статьи для газет он обычно не соглашался. Даже в тех случаях, когда ему доказывали, насколько это необходимо для «агитации в Латвии».

— Я против юбилеев! Это грустные вечера, а произносимые там речи не что иное, как генеральная репетиция к надгробному слову. Зачем напоминать, сколько ты живешь на этом свете? В древности таких глубоких старцев, как я, умерщвляли.

Решили обойтись без принятых в подобных случаях статей. Только собрали в одну книгу написанные за тринадцать лет существования Советского государства очерки и отдельные речи Петериса Стучки программного характера по вопросам марксистского права. Ничего в текстах не изменив, не исправив даже в тех местах, которые затем получили более глубокое толкование. Ибо нельзя фальсифицировать историю. И читателям, особенно молодежи, на которую Стучка ориентировался прежде всего, надо было дать возможность проследить за исканиями и развитием советских юридических теорий, марксистской юрисдикции.

Уговорить Петериса Стучку написать что-нибудь «подходящее для этого случая», хотя бы в форме размышлений или

воспоминаний, газетчикам не удалось и за ужином после затянувшейся официальной части. Чтение речей, торжественных адресов, приветствий, телеграмм и выступления делегаций заняли более двух часов... После этого требовалось поздороваться с отдельными участниками вечера, которых в Красном зале Московского комитета собралось не меньше, чем на революционном митинге в семнадцатом году.

В конце официальной части Стучка, поблагодарив товарищей за добрые пожелания, сказал:

— Такие речи немного искажают суть дела. Одному человеку приписывают больше, чем он того заслужил. Если я что-то сделал, то это не моя заслуга, а — Маркса, Энгельса и Ленина. Насколько это было в моих силах, я претворял в жизнь их мысли, их диалектику...

Ужин прошел непринужденно и весело. Совсем как в годы молодости Петериса и Доры, в пору новотеченцев и музыкальных вечеров в Витебске и Петербурге. Товарищи сыпали остротами. Сам юбиляр тоже не оставался в долгу. Рассказать что-либо смешное в стиле восточных анекдотов Петериса упрашивать не нужно было... Делал он это искусно. С мастерством журналиста и фельетониста. К тому же в белолатвийских газетах в эти дни, как нарочно, публиковался анекдотический материал: о шестидесятилетии издателя рижской бульварной газеты, спекулянта и продажного политикана господина Беньямина. Какой это благодетель латышского народа! Какой меценат писателей, художников, ученых! И как восхваляли Беньямина и какими нарядами блистали поздравительницы «друга народа».

За столом к Стучке опять подсел сотрудник московского латышского журнала:

— Написали бы все-таки, товарищ Стучка, что-нибудь. Только что я говорил с товарищами Рудзутаком и Берзинем-Зиемелисом. Велели не оставлять вас в покое. Видите, товарищ Рудзутак — он сегодня представляет тут Центральный Комитет партии — ободрительно кивает вам с другого конца стола!

Но Стучка решительно отказывается.

Однако спустя несколько недель на заседании правления «Прометея», после сообщения редактора журнала «Целтне» Пауля Виксне («Очередной выпуск журнала почти целиком посвящался юбилею товарища Стучки!»), он предложил статью.

— Ну, наконец-то,— улыбнулся Юлий Данишевский.

— Тебе это кажется смешным?

— Так ты же все время противился этому, как упрямый козел.

— Правильно, Петерис, пиши! — похвалил Ленцманис. — Пиши и задай перцу тем, кто вздумал отвергать твою теорию советского права. Кто даже настолько не разбирается в наследии Маркса и Энгельса, что не знает, откуда в твоих статьях

взялась формулировка: «юридическое мировоззрение буржуазии». Говорят, в университете Вышинский пулей вылетел из аудитории, когда кто-то из студентов на семинаре процитировал формулировку из твоей статьи. В связи с юбилеем сторонники Вышинского распускают слухи, будто твое шестидесятипятилетие было использовано как повод для публичного спасения твоей пострадавшей популярности. Поэтому будет разумно, если ты нажмешь на соответствующие педали.

— Да. Только не на те, которые ты имеешь в виду. Послушать тебя, так может показаться, что товарищ Кенцис вполне доволен тем, что́ мы, живущие в России латышские большевики, делаем для пропаганды планов социалистической индустриализации Союза среди пролетариата Латвии.

— Кенцис вовсе не доволен,— сказал Ленцманис.— В популяризации постановлений Шестнадцатого съезда мы, Заграничное бюро, и издательство «Прометей» добились в самом деле мало. Это можно оправдать объективными причинами. Аресты в Латвии, частые провалы товарищей, которых посылает Латсекция: только человек переберется через границу, как его тут же хватает охранка. От этого, между прочим, у Виктора голова кругом идет. Политическая атмосфера наэлектризована и продолжает накаливаться. Наверное, слышал, что на Виктора легло подозрение?

— Я не верю, что Виктор виноват. Мы, старые члены партии, знаем Виктора с первых его шагов на революционном поприще. Наплести можно что угодно. Недавно в одном письме из подполья мне был адресован вопрос: «Почему товарищ Параграф до сих пор так упрямо противится созыву очередного партийного съезда?» Очевидно, там, в Латвии, в какой-то организации считают, что созывать или не созывать съезд зависит от прихоти одного товарища. Но не о таких мелких проблемах буду я писать для юбилейного издания. На торжественном вечере я сказал, что ориентируюсь не на стариков, а на молодых. На пионеров, комсомольцев Латвии, у которых пока еще мало знаний в теории марксизма, но которые доведут начатое нами дело до победы. Практика социалистического строительства в Советской России сейчас становится важным источником теоретических выводов для рабочих капиталистических и колониальных стран. Не будем касаться писаний Карла Каутского последних лет, в которых немощный старец подпевает Социалистическому Интернационалу, призывающему рабочих России восстать и «спасти» свою революцию. Оставим его книгу «Der Bolschewismus in der Sackgasse» [1], в которой он утверждает, будто большевизм оказался бессильным создать жизнеспособный общественный строй, что революция в промышленности будто бы является карикатурой, а коллективизация

---

[1] «Большевизм в тупике» *(нем.)*.

сельского хозяйства — откровенной контрреволюцией. А как освещается ход социалистического строительства Советской России в Латвии? Мы, латышские марксисты, не можем обойти это молчанием. Не смеем оставить без отпора дезинформацию латвийских буржуазных и социал-демократических листков. Центральный орган Крестьянского союза «Брива земе» и мендеровский «Социалдемократс» соревнуются друг с другом во лжи, точно знаменитые врали из народной сказки. Если «Брива земе» запугивает крестьян жуткими небылицами о том, что в России грызут древесную кору, что там процветает каннибализм, то «Социалдемократс» стращает трудовой народ по-иному. Мол, в Совдепии с производством «не клеится: русские рабочие бастуют, а иностранные бегут, дорогие заграничные машины поломаны». А иногда обе конкурирующие партии поют дуэтом: восставшие колхозники сжигают все, что можно; Коммунистическая партия раскололась на три группировки — на старых, средних и молодых. В России сейчас новые бонапарты, новоявленный бонапартизм. Вот на эти проблемы и следовало бы нажать журналистам.

После этого за несколько ночей возникла статья Стучки «Революционные перспективы»:

«1930 год принес большие события, события, которые поднимают вопрос не только в масштабе СССР, но и всего мира, события, на которых приходится снова и снова останавливаться...»

Рассказав об обсуждении мирного договора между Латвией и Россией на заседании Центрального Комитета ВКП(б), Стучка обращается к сути темы:

«...Что произошло нового в России? Позади первые полтора года пятилетнего плана, которые свидетельствуют о том, что пятилетний план будет выполнен в четыре года».

«...Словно вырвавшийся из подземелья огненный столб, поднимается социалистическая революция бедных крестьян и батраков, которые, ведя за собой среднего крестьянина, уничтожают кулаков как класс, переходя на основу социализации сельского хозяйства — коллективизацию».

Он упоминает также о том, что многие руководители областных комитетов спешно, в административном порядке, пытались добиться коллективизации всех крестьян. Говорит, что Сталин и руководимый им Центральный Комитет одернули этих товарищей, но не вспоминает того, что он сам и другие правоведы-коммунисты отстаивали строгое соблюдение советской законности в борьбе с противниками коллективизации. Не вспоминает потому, что это не столь существенно в титаническом деле преобразования общества.

Прежде всего следует увековечить в памяти человечества: в Советской России начато плановое хозяйствование. Целенаправленная деятельность миллионов говорящих на разных языках людей в области материальной и духовной жизни, опира-

ющаяся на достижения и законы общественного развития... Смело задуманные творческие хозяйственные планы Советской России для капиталистического мира гораздо опаснее надвигающегося всеобщего экономического кризиса. «В истории человечества еще ничего подобного не было, — удивленно пишут нью-йоркские, лондонские и берлинские газетчики. Вопреки экономическим светилам своих стран, которые утверждают: «Абсурдно планировать и производить по плану, развивать в России не существовавшие ранее хозяйственные отрасли, готовить из мужиков-лапотников специалистов самой высокой квалификации». Более дальновидные газетчики спрашивают: «А если этот абсурд будет претворен в жизнь хотя бы в течение пятидесяти лет, то чем это угрожает западной цивилизации?»

«...Пока на этой одной шестой части земного шара революция добилась большего, чем любая революция в мире, а в будущем базис социалистического производства станет выше базиса капиталистического», — пишет Стучка, характеризуя размах социалистического творчества, перечисляя сделанное за полтора года.

Смотрите, какой огромный вклад внесли труженики России, чтобы восполнить богатства, утраченные человечеством. До того огромный, что озадачили крупнейших буржуазных ученых. «Благодаря передовой промышленности,— признают они,— СССР станет непобедимым на военных фронтах. Станет самым опасным конкурентом на рынках Азии, будет играть решающую роль на мировом рынке сельскохозяйственных товаров. Этим он готовит основы для большевизма в Европе».

«Вот видите, господа буржуазные всезнайки! Некультурные рабочие, темные крестьяне, как вы называете трудящихся России, не только не умерли с голоду, но уже начинают угрожать вашему хозяйственному всемогуществу».

«Какие мы из этого всего должны сделать выводы? Что можно рекомендовать рабочим Латвии, товарищам? Защищать Советский Союз. Укреплять авторитет Советского Союза. Как можно больше знакомить тружеников Латвии с борьбой советских людей. Рассказывать о социалистическом соревновании, в результате которого выигрывают сами рабочие. Защищая Советский Союз, Компартия Латвии поднимет сознание тружеников своей страны, сплотит массы. И разоблачит агентуру буржуазии в рабочем классе — социал-демократов. А социал-демократы Латвии в клевете на коммунистов стоят на втором месте в мире. Сразу же за контрреволюционными меньшевиками Германии и их центральным органом «Форвертс».

Только не забывайте одного: разоблачение социал-демократов должно быть деловым и конкретным. Нет ничего более неверного, чем механически понятая критика в адрес серых социалистов».

«Во всем мире пришла в движение великая армия револю-

ции, — писал Стучка в заключение. — Как небольшая составная часть этой армии, Латвия должна быть подготовлена к тому, чтобы пойти в ногу с авангардом революции. Для этой подготовки нам надо еще проделать большую и трудную работу... Большую и трудно осуществимую работу...»

Написав последнюю фразу, он повторил ее вслух. Это был лишь высказанный иными словами вывод из написанного им, Стучкой, нового проекта программы Компартии Латвии, в которой говорилось о конечной цели революционной освободительной борьбы трудового народа Латвии. Над проектом новой программы он проработал более года. Обсужденные сперва товарищами статьи он окончательно сформулировал после жестоких мысленных споров с самим собой из-за каждого слова, которое хоть и легко ложилось на бумагу, но все казалось недостаточно метким и объемным. Ведь в споре с самим собой легче увидеть, как следует излагать истину. В голову приходит крылатое изречение Фейербаха: что он не жил в тот день, в который ни с кем не спорил.

Стучка положил последний лист рукописи к другим, взял синеватую папку, открыл ее, полистал машинописный текст проекта программы и остановился на абзаце, в котором была указана конечная цель борьбы КПЛ — построение коммунистического общества... Независимо от того, как будет протекать пролетарская революция в Латвии, она приведет к установлению советской власти... После победы социалистической революции в Латвии КПЛ вступит в ряды ВКП(б) и примет ее программу.

* * *

— Только не пугайтесь, если я, вместо того чтобы сказать что-нибудь, закричу по-лошадиному, — проговорил, улыбаясь, Стучка, после того как гость уселся на пододвинутый к кровати стул. При этом Стучка показал на дымящуюся в миске молочную кашу. — Врачи хотят отучить меня от человеческой пищи. Ничего не разрешают, кроме курземского овсяного отвара.

— Из-за почек?

— Так говорят эскулапы. Ну-ка, покажите, на что теперь похож наш документ! — Он попытался сесть.

— Петр Иванович... — растерялся Нисон Вишняк, помощник председателя Верховного Суда. — Я думаю... Вам следовало бы соблюдать предписания врачей. Ничего не случится, если наш документ опубликуют неделей позже.

— Неделей позже многое уже будет нами упущено. Положение слишком серьезное, чтобы опубликование постановления пленума Верховного Суда ставить в зависимость от болезни одного члена президиума суда. Постельный режим был у меня и раньше. Когда один дипломированный юрист заявил, что он искренне желал бы, чтобы право было поскорее забыто,

тогда товарищи не сочли мою болезнь препятствием для ответного выступления, где я напомнил, какие истины положил в основу науки о государстве и праве Ленин, и сказал, что во время самой ожесточенной классовой борьбы немедленное провозглашение отмирания роли государства — просто бескультурье. Прежде чем государство отомрет, прежде чем право отомрет, они должны укрепиться в своей значимости, должны достичь совершенства. Этого требуют основные принципы революционной диалектики. Насколько мне помнится, товарищ Вишняк тогда, против того чтобы я писал, не возражал. А теперь — отложим на неделю. Или товарищ Вишняк хочет отказаться от должности адъютанта Стучки? Так ведь вас называют за глаза? — Серьезный разговор Стучка кончает, как и начал, шуткой.

— Петр Иванович, вы меня...— Рыжеволосый Вишняк стал поправлять очки. На щеках у него выступили красные пятна, и он заговорил быстро-быстро, как большинство его соплеменников, хотя Нисон Вишняк на еврея мало похож. Длинное лицо, прямой нос и тонкие губы.

Бывший красноармеец и председатель гарнизонного суда Нисон Вишняк — помощник и близкий товарищ Петериса Стучки. Отличный организатор, прекрасный управляющий делами. Судебные материалы, справки, рекомендации у Вишняка не залеживаются. Своевременно попадают на стол председателя суда. А иной раз также нужные материалы, не запрошенные председателем.

Вишняк хороший психолог с отлично развитым диалектическим мышлением. И как раз это качество еще молодого годами судьи нравится Петерису Стучке. Как и бескорыстие Вишняка в работе, его отзывчивость, готовность помочь товарищу или постороннему.

Вишняк пришел, чтобы рассказать больному Стучке новости советских судов. Что сделано в Верховном Суде, чем в университете студентам юридического факультета заменяют часы, отведенные на лекции профессора Стучки. Как идут дела в редакции Энциклопедии Советского государства и права. Сейчас из типографии поступает верстка, сотрудники хотели бы внести кое-какие существенные поправки, но ждут выздоровления главного редактора Энциклопедии.

Потом Вишняк заводит речь об общих знакомых и товарищах из числа правоведов. Они опять недовольны товарищем Крыленко. Его чрезмерно педантичным, как они уверяют, расследованием контрреволюционных дел. Говорят:

— Вредители засели чуть ли не во всех отраслях советской промышленности. Существование контрреволюционной организации установлено, арестованные в общем-то свою вину признают, связей с заграницей не отрицают. Какие же еще доказательства нужны прокурору.

— Ну конечно, конечно...— Стучка пальцами обеих рук вцепился в край одеяла.— Коль скоро возникла теория о немедленном отмирании государства, об отмирании права...— сказал он, но открывателя этой странной «теории» революционного права не назвал.

«В своем общем разъяснении права ортодоксальный Петр Стучка скатился к экономизму,— утверждал тот.— Стучка поставил знак равенства между правом и экономическими отношениями, ликвидировав таким образом право как особую общественную категорию».

Вышинский стремится ввести новый принцип в судебном следствии: принцип косвенного доказательства виновности арестованного. «Что является решающим в работе следователя? Особая интуиция юриста. Пролетарская интуиция следователя безошибочно подскажет ему, виновен или невиновен обвиняемый».

Кажется, Петерис Стучка так тяжело и опасно заболел только из-за своей борьбы с «новым открытием», которое навязало ему мучительный анализ и проверку всего, что сделал он сам, покойный Козловский, Крыленко и другие «ортодоксы».

«А что, если мы в каком-нибудь из наших обоснований исходили из неправильно понятых выводов Маркса и Энгельса? И какая-нибудь из наших концепций опирается на неточное толкование ленинской идеи?..» — думал он.

Борясь с мелькающими мыслями, точно с бредовыми призраками, он даже по ночам вскакивал с постели, шел к книжному шкафу, рылся в трудах классиков. Читал и вникал в оригинальные тексты, сравнивал переводы. Как петельку с петелькой он связывал каждое положение о Советском государстве, гражданском и уголовном праве с предпосылками основополагающей теории, из которой они вытекали, чтобы убедиться, нельзя ли истолковать их как-нибудь иначе, по-другому. В пору своих сомнений Петерис Стучка, бывало, утром — если только не мешало какое-нибудь неотложное дело — заходил к члену суда и члену Центральной Комиссии партийного контроля Арону Сольцу, с которым работал с самого семнадцатого года, и вместе с ним пытался добиться ясности в вопросе, на который ему не удалось найти ответа в бессонницу.

Сейчас Петерис Стучка слушает Вишняка и в то же время не перестает думать о другом. Его мучает мысль о том, что в определенной исторической чрезвычайной обстановке узаконение принципа косвенных доказательств виновности может вылиться в субъективизм и даже в произвол. Из-за совпадения внешних обстоятельств человек может стать жертвой несправедливости. Если иметь в виду, что в нашей действительности еще процветает и самолюбие, и корысть, и личные обиды, и самомнение. И уверенность отдельных работников в своей абсолютной непогрешимости...

— Попросите у товарища Сольца его замечания по делу, рассмотренному Контрольной Комиссией в двадцать третьем году, по которому она консультировалась с Владимиром Ильичем. Сольц поймет, что к чему. Я хочу написать еще раз. Категорически следует отвергать любую ревизию Маркса и Энгельса в вопросе о государстве и законности. В статьях Ленина последних лет вы не найдете ничего такого, что было бы истолковано иначе. Социализм не строят, искажая или разжижая основные установки марксизма. Мечущаяся магнитная стрелка не может показать верного пути для претворения идеи.

— Петр Иванович, я с вами согласен,— откашлялся Вишняк.— Надо писать, надо апеллировать к партийному активу. Только я опасаюсь за ваше здоровье. Врачи обеспокоены. Говорят, что вы просто сжигаете себя.

— Словно жизнь имеет какой-то смысл без борьбы, без работы!

* * *

«...Всю свою долгую сознательную жизнь я открыто выступал против врагов. В схватке я всегда стремился стоять лицом к лицу, чтобы убедиться в надежности своего оружия, в остроте своего ума, как это принято было еще в старину. И если только я не оказывался на поле боя в одиночестве, я заботился о том, чтобы мне не приходилось опасаться за надежность своего тыла.

С тех пор как я загорелся этой единственной, самой высокой, не признающей снисхождения к себе идеей, я говорил: против тебя враг. Но с флангов тебя прикрывают и с тыла охраняют идейные товарищи, твоя братская семья. Друзья и соратники по общей борьбе. А не коварные хитрецы, помышляющие напасть на тебя из-за угла. Да, история знает и такие случаи. В буднях нелегальной борьбы. В конспиративные организации пробирались эксплуататоры и контрреволюционеры. Такое случается в классовой борьбе в капиталистическом обществе. Но для меня, старого члена партии, совершенно непостижимо, как может исподтишка напасть на тебя товарищ».

— Петерис, что с тобой? Петерис!..

Испуганный голос Доры словно вернул его из небытия.

Она трет ему виски то влажно-холодными, то горячими, словно опаленными, пальцами.

«Милая, наивная...» Стучка прикрыл глаза. Доре кажется, что сказанное о ее муже на Первом Всесоюзном съезде государственных работников — это невероятно. Ничего хуже этого она себе и не представляет.

«...Извращение ленинских принципов... Вредный подход при формулировании сущности права... Стучка в семнадцатом году требовал сожжения законов...»

Такое говорили на съезде в прениях после директивного доклада Кагановича, который резко критиковал Петериса Стучку и Евгения Пашуканиса. За то, что первый будто бы ошибочно переоценил значение государства. А Пашуканис — экономики.

Литовский юрист выступил потом с покаянием. А Стучка деловито изложил свои взгляды на основные вопросы ленинского права и выдвинул требование о необходимости единства всех советских юристов: «Эпоха, общество, логика исторического развития велят нам, правоведам, сплотиться в едином строю для защиты завоеваний Октябрьской социалистической революции».

После этого произошло то, о чем его предостерегали некоторые товарищи из Верховного Суда: критика Стучки не ограничилась рамками съезда.

Это Стучку травмировало. Дора теперь разговаривала с ним вполголоса, осторожно подбирая слова. Она видела, что у Петериса в научной деятельности не стало прежнего размаха и энтузиазма. Не раз он поднимался из-за рабочего стола, не написав и двух страничек текста к рукописи последнего, третьего тома курса советского гражданского права.

— На этот раз, Дорочка, это не из-за съезда. Просто сердечная слабость. Небольшая стенокардия. Ты знаешь, что с сердцем у меня порою бывает... — И, совсем как пытающийся замести следы напроказивший мальчишка, спрятал неказистую брошюрку. Сунул ее под листы оберточной бумаги, под свою книжку о программе Компартии Латвии, присланную по почте вместе с этой поносящей его брошюрой. Петерис пытался отвлечь внимание Доры. Раскрыл страницу книжки со своей критической оценкой причин поражения социалистической Латвии. Указал на формулировку, над которой Петерис немало поработал вместе со своими ближайшими товарищами по событиям девятнадцатого года — Ленцманисом, Данишевским, Бейкой, Эндрупом. «Советская власть пала, потерпев поражение от вражеских войск из-за допущенных армией ошибок, из-за предательства войсковых командиров...»

— Ну, видишь...— Словно большой восклицательный знак, он положил в конце длинного абзаца ручку.— Звучит жутко, но правдиво.

Но обмануть Дору ему не удалось. Она властно отстранила руку мужа, достала спрятанную брошюру, раскрыла ее и принялась листать. И в ее голосе любопытство постепенно сменялось изумлением и возмущением:

«...Стучке недостает ленинского понимания аграрной революции...»

«...Стучка неизбежно ведет на путь оппортунизма...»

«...В оценке революции 1905 года Стучка не исходил из принципов ленинизма...»

— Кто это написал? — Она взглянула на титул брошюры: — «К. Сом. Аграрная политика КПЛ и программные вопросы аграрной политики».

И она снова принялась изучать брошюру. Вчитывалась в отчеркнутые мужем места.

— ...«каутскианец...», «троцкист...», «богдановец...» С ума сойти, Петерис, ты каутскианец?..

— Я, конечно, мог бы ответить. Все это опровергнуть. Пункт за пунктом.— Он выпрямился.— Разлитую воду не соберешь. Брошюра распространена.

— Но автор говорит о тебе как о политическом враге!

— Ты права. Таким оскорблениям со стороны товарища я еще никогда не подвергался.

— И книжка издана... в серии «Библиотеки пропагандиста». За нее заплачено деньгами партии. Брошюра выпущена с партийным грифом! Без ведома председателя партии...

— Об издании какой-то книжки Сома мне говорил товарищ Виктор. Он сказал, что Сом критикует мою книгу «Труд и земля». В аспекте вопросов, подлежащих рассмотрению на предстоящем съезде. Автор будто требует опубликования брошюры в срочном порядке, но обещает предварительно прислать мне оттиски набора. Я ответил, что какие у меня могут быть возражения против критики? Со стороны члена партии, моего единомышленника?

— Значит, брошюра вышла с ведома Виктора?..

Дора, держась за стол, наклонилась над ним. Затем обошла его, решительно выпрямилась и сняла телефонную трубку.

— Можно попросить товарища Ленцманиса? Пожалуйста... Кенцис, дорогой, ты читал книжку Сома-Кауфманиса? Ах, ты уже был у Виктора?.. И Пауль Дауге звонил?.. Совершенно верно: «Библиотека пропагандиста» издает литературу для повышения теоретических знаний членов партии, но работу Сома наш Центральный комитет не санкционировал, на редакционной коллегии издательства она не рассматривалась. Согласна с тобой: совершенно небывалый в истории партии прецедент. Ты прав: это фракционизм.

— Послушай, Кенцис.— Стучка взял из рук жены трубку. Он говорил сдержанно, подавляя чувство личной обиды.— Требую, чтобы до съезда Компартии Латвии было созвано заседание Центрального комитета партии и Заграничного бюро. Прежде чем выступить на съезде с отчетом, ЦК должен решить все принципиальные вопросы и принципиальные разногласия. Если между членами старого руководства существуют расхождения во взглядах, съезд должен получить об этом полную и объективную информацию. И о брошюре Сома тоже. Считаешь, что заседание можно провести уже первого января? В таком случае я сейчас же поговорю с Виктором... Вот именно: с Виктором разговаривать буду я!

* * *

— Видите, приступ прошел, пульс, как вы сами уверяли, становится нормальным. О ваших указаниях, доктор, я помню, но объективная действительность требует, чтобы я вернулся на съезд. Вы сказали, что человек подчиняется неизменным законам природы, а я скажу, что он, как член общества, в свою очередь подчиняется еще и законам общества. И мне небезразлично, прибавится или не прибавится к обрушившейся на меня критике еще и обвинение в саботаже.

Он встал с постели, оделся, отыскал в карманах пиджака очки, взял со стола листки с записями.

— Одно я вам твердо обещаю,— сказал он врачу, который уже протянул было руку к телефону.— Туда я поеду. И попрошу съезд разрешить мне высказать все, что я должен сказать, вне всяких списков и регламентов. Вы, доктор, сами коммунист и понимаете: в жизни члена партии может быть такая минута, когда он не смеет не участвовать в работе коллектива.

— Пусть будет по-вашему, Петр Иванович, только с одним условием: на съезд вы поедете в автомобиле, а не общественным транспортом.

— Дипломатия не исключает компромиссов.— Петерис не стал возражать и Доре, которая настаивала, чтобы он оделся потеплее. От слегка курящихся заиндевелых окон в комнате веяло прохладой. Судя по всему, на дворе было градусов двадцать мороза.

«...Извинюсь, что беру слово вне повестки дня,— мысленно говорил себе Петерис Стучка.— Моим критикам Сому и Немиеру отчасти уже ответил товарищ Кирш. Конечно, в другом случае и при других обстоятельствах я «принципиальные тезисы» Сома разбил бы в пух и прах. Но ведь не критика, направленная против Стучки, должна быть главным предметом дискуссии на съезде партии.

Мы, латвийские коммунисты, должны смотреть вперед, а не назад. Какой смысл в наших длинных речах об ошибках, допущенных десять, двадцать пять, тридцать лет назад, важно делать выводы, мобилизоваться на борьбу за более эффективную революционную работу в будущем».

В вестибюле здания, где проходил съезд, к Стучке подошел член Центрального комитета Зандрайтер.

— Сторону Сома держат не только отдельные люди, как мы думали. Лозунг Сома: «Ищите ошибки! Раскрытие старых ошибок — основа нашей работы!» — в своих речах повторяют и товарищи из латвийского подполья, и местные. Ошибки в девятнадцатом году, ошибки в революцию пятого года, ошибки при организации масс в буржуазной Латвии. Всюду оппортунизм, оппортунистическая линия, оппортунисты-руководители...

— А знаменосец оппортунизма — товарищ Параграф? — усмехнулся Стучка.— Так, что ли?

— Не... всегда.

— Пожалуйста, не утешай.— Стучка направился в комнатку, где собирался президиум съезда.

Там сидели Роберт Эйхе и двое гостей: представитель Компартии Польши Грогошевский и финский делегат Сирола. Гости курили. Эйхе пересказывал им содержание речи делегата, только что окончившего свое выступление.

— Буду говорить вне очереди,— сказал Стучка.— Думаю также коснуться того, что сказал в своем приветствии товарищ Сирола,— пускай латыши учатся на ошибках своих соседей. В Финляндии пришел к власти фашизм; латвийская партия должна позаботиться, чтобы в Латвии этого не случилось.

— Я вынужден просить съезд выслушать меня сперва по личному делу, хотя в прениях кем-то было замечено, что я не только личность.

Стучка старался говорить перед делегатами как можно громче. Правда, во вред своему голосу, который у него так же ослабел, как и весь измученный болезнью организм. Если слушать врачей, то голос надо беречь. Но сейчас он должен говорить так, чтобы его услышали и в последних рядах. Чтобы услышали подпевалы Сома. По его мнению, большинство подпевал — это напуганные неудачами партии, прокатившейся в Латвии волной арестов здешние и незакаленные товарищи из латвийских организаций. Кажется, что затеянная Сомом с большим размахом «тактика разгрома» руководителя Центрального комитета напугала многих делегатов. Если, мол, Сом и еще некоторые уважаемые товарищи так нападают на товарища Стучку, то, наверно, уж случилось что-то очень, очень скверное.

Против натиска Сома не устоял и товарищ Крастинь. Если называть вещи своими именами, то сообщение Виктора о деятельности Заграничного бюро было скорее слезливым перечислением неудач, глубоким раскаянием в католическом духе, чем деловым обзором.

Стучка рассказал делегатам, как появилась брошюра Сома и как Сом исказил цитаты из его, Стучки, книги «Труд и земля».

— Мне приписывают, будто я старался создать впечатление, что всегда соглашался с Лениным.— Он повернулся к Сому, который сидел, мешковато развалившись на стуле, со скрещенными на груди руками.— Да, с тех пор как я познакомился с Лениным, я всегда делал все, что было в моих силах, чтобы популяризировать ленинские идеи. Я этим горжусь. Других заслуг у меня нет.

Делегаты съезда напряженно молчали. Только слышен был скрип перьев за столиками стенографисток.

Стучка глянул на ветеранов революционного движения Латвии — Пауля Дауге, Берзиня-Зиемелиса, Эндрупа, Лутера-Бобиса, Гавениса, Рудзутака.

— В революцию рабочие Латвии шли по верному пути,— продолжал он.— Их действия положительно оценил Ленин. Для меня оценка Ленина важнее того, что говорит Немиер. Говорю это потому, что наши дебаты надо поднять на более высокий уровень. Съезд латышских коммунистов — историческое событие. Съезд — это школа для членов партии, наши русские товарищи приходят на свои съезды, как на курсы партийной работы.

Коснувшись дискуссии об ошибках, Стучка привел слова Маркса о том, что недостаточно покаяться в грехах, а что надо на деле доказать, что свои ошибки исправил.

— Говорить надо о том, как объединить легальную работу с нелегальной? Как лучше организовать массы для отпора фашизму?

Кажется, главное сказано. Теперь — о молодежи. Об ориентации на молодежь. Пессимизм — это примета старости. Компартия Латвии всегда была и остается организацией, постоянно обновляющей ряды своих бойцов.

Петерису хочется верить, и он верит: съезд вынесет достойное латвийских большевиков постановление, разработает новую, выдержанную в боевом духе, ленинскую программу партии. А все мелочное будет предано забвению, как только раздастся клич: «В бой за Советскую Латвию!»

* * *

Лампочка в прихожей бросает тусклый свет. Совсем неярко, кажется, загорелся и светильник в кабинете; когда Петерис раздвинул портьеру, закрывавшую открытую дверь в другую комнату, то и там увидел лишь желтовато-бурый отблеск неравномерно расколотого светового круга, падавшего на ночной столик и пол возле мягкого кресла. Блеклый, как проросшая в подвальной темноте ботва картофельного клубня, свисает со стола шнур электрической плитки... Услышав шаги Петериса, в кресле шевельнулась Дора, протянула руку к настольной лампе, абажур которой накрыт сатиновой косынкой. И Петерис увидел на плитке семейную реликвию — старый кофейник.

— Ожидала тебя, задремала.— Дора нащупала кофейник и тут же потянулась со шнуром к розетке.— Кофе совсем остыл. Ты все это время был на бюро?

— Заседали.

— И что же решили?

— Отстранить Виктора от работы.— С минуту он помешкал, затем резко произнес:— Поскольку он уже арестован.

— Арестован?

— Во время заседания нам позвонил товарищ Пятницкий. Сказал, что секретарь Латсекции Карлис Крастинь арестован на основании бесспорных доказательств.

— Невероятно.

— Невероятно и невозможно!..— пробормотал он. Снял пиджак, разулся, пошел к постели и тяжело повалился на спину...— Еще в начале заседания, когда товарищ Цитрон предложил срочно решить дело Виктора...— голос его доносился глухо,— я, как и раньше, в марте, когда Виктора отправили в отпуск, был против. Сказал, что это или страшное недоразумение, или же подлая провокация! Виктор и предательство — вещи несовместимые. Я ему доверяю... Но... после всего этого...

— Ты ведь не станешь утверждать, что есть... доказательства?

— У товарища Пятницкого будто бы имеется написанное Крастинем признание, что он состоял на службе в полиции белой Латвии. Регулярно докладывал резиденту о переходах подпольщиками границы, выдавал конспиративные адреса, пароли, пути нелегальной почты. И что в двадцать первом году его чуть не разоблачила записка товарища Шильфа из Латвии. Кажется, я говорил тебе — Янис тогда сообщил, что появился предатель, некий Крастинь. Личность его осталась невыясненной, а теперь, пожалуйста...

— Какой ужас!

Дора была взволнована. Кажется, у нее вот-вот подкосятся ноги. На глазах у Петериса она стала с лица желтой, как воск.

— Как же ты будешь теперь дальше работать?

Ах, милая Дорочка, ее волнует его будущее. Как поведет себя коллектив с товарищем, который нагло защищал «провокатора и предателя».

В самом деле, ужасно, другого слова здесь не подберешь. Только он об этом не думал. Не хотел думать. Мысль об этом оставалась где-то далеко. Его не заботит то, как к нему завтра отнесутся товарищи по работе. Судебные, редакционные, коминтерновские работники, люди Заграничного бюро. Как отнесутся коллеги-юристы. И студенты, которых Стучка учил революционной принципиальности, партийности. Все горести и беды, которые обрушились до сих пор на голову Стучки, по сравнению с этим кажутся пустяком.

И все равно в этом, казалось бы бесспорном, вопросе все же много фактов, говорящих о невиновности Виктора. И факты эти не позволяют вычеркивать человека из живых. Не совсем убеждает «письменное признание» Виктора, из-за явной декларативности. (Разоблаченный преступник не станет так плакатно выражаться!) Тем более что раньше никто никогда не сомневался в искренности Виктора, скажем, когда тот узнавал о гибели товарища, заброшенного на работу в Латвию. (При-

творство, игру бывшие конспираторы в таких случаях улавливают совершенно инстинктивно!) И наконец биография Виктора как борца. Жизнь, отданная революции рядом с латвийскими ветеранами марксизма, без тени карьеризма, идейных метаний, виляний. Янис Берзинь-Зиемелис знает Виктора по революционной борьбе с десятого года. «Еще в довоенные годы,— показал Зиемелис следственной комиссии,— товарищ Крастинь был в рядах социал-демократии Латвии одним из самых идейно выдержанных большевиков, да и потом никогда не сходил с большевистских позиций».

Благонадежность Виктора проверена в подпольной работе, в тюрьмах царской России, в сибирской ссылке, во время немецкой оккупации в восемнадцатом году, на работе в социалистической Советской Латвии. И позже — на работе по восстановлению и укреплению партии в буржуазной Латвии и в последние десять лет — в Заграничном бюро и в Исполкоме Коминтерна. Личная жизнь Виктора всегда была на виду у членов партии и тоже не дает основания подозревать в нем двуличия. Он всегда вел скромный образ жизни. Вином не увлекался. Легкомысленными женщинами — тоже. В комнате Виктора в секретариате Латсекции была простота и скромность. Только самые необходимые предметы быта, книги, карандашные наброски портретов Шильфа-Яунзема и Арайса-Берце над изголовьем постели...

Какая причина, какой подспудный толчок побудили Виктора предать идеалы, в которых был весь смысл его жизни? Такое можно объяснить лишь вмешательством какой-то сверхъестественной силы в прямом и переносном смысле. Но это опять же исключается самой жизнью, самой действительностью. Ведь человек не является механической частицей общества. Общество формирует и направляет его деятельность, его стремления, его любовь и ненависть.

И все же Виктор подписал признание, а это дает любому судье — стороннику теории косвенных доказательств — возможность осудить его.

После проведенной в кошмарных раздумьях ночи Петерис Стучка утром в обычное время отправился по обычному маршруту от Кавалерского корпуса в Кремле к Верховному Суду...

Направился в обычное время обычным шагом...

Но обычным ли?

Он ступал медленно, тяжело наваливаясь на трость, которая казалась чересчур короткой для него. Хотя это все та же старая трость с кривым, отполированным за долгие годы ладонью набалдашником.

В это утро Петерис Стучка проходил мимо многих знакомых и не замечал их.

11. Я ВЕРНУСЬ...

Конец января тридцать второго года. Мороз в Москве далеко не такой суровый, как в двадцать четвертом году, когда хоронили Ленина. И все же люди, шедшие за траурными знаменами на Красную площадь, мерзли не меньше, чем восемь лет назад.

Хоронят Петериса Стучку.

Хоронят «нашего Петериса», «нашего ветерана», «первого знаменосца ленинизма в Латвии».

В шестьдесят шесть лет у него был бодрый творческий ум. Точно у тридцатилетнего. Еще совсем недавно, в октябре прошлого года, и без того перегруженного обязанностями — университетского лектора, члена Центрального Комитета, газетчика, ученого, члена ВЦИКа, председателя Верховного Суда Российской Федерации, редактора и пропагандиста — Петериса назначили еще и директором только что открытого Московского института советского права. И он усердно занимался учебными и административно-хозяйственными делами этого высшего учебного заведения. Хотя врачи уже тогда говорили: «Чудо, как он еще живет».

Вчера в переполненном большом зале здания ВЦИКа, где на фоне траурной драпировки и знамен стоял гроб с ветераном латвийской революции, Екаб Гробинь в толпе, в которой были партийные работники из разных советских республик и других стран, журналисты, правоведы и ученые, услышал о покойном много нового. Главным образом — в комнате, где собирались товарищи, ожидавшие своей очереди, чтобы занять места в почетном карауле у затянутого алым кумачом гроба. Среди этих товарищей были соратники покойного: Я. Ленцманис, Ю. Данишевский, Р. Эндруп, Я. Круминь-Пилат, Д. Бейка, П. Виксне, П. Дауге, Я. Ковалевский, В. Дерманис, члены правительства Советской республики, руководители секций Коминтерна, члены Центральной Контрольной Комиссии. Военные — Эйдеманис, Янелис, Апинис, представители коллектива «Прометей», профессора московских высших учебных заведений. И бывшие студенты Стучки — героиня романа Фурманова, пулеметчица чапаевской дивизии Маруся Попова, и сын польского революционера Козловского. А секретарь Верховного Суда Нисон Вишняк то и дело появлялся в зале, чтобы посмотреть, как чувствует себя Дора Христофоровна. (Вишняк взял на себя заботы о Доре, помог перевезти пожитки и библиотеку Стучки в новый Дом Советов на берегу Москвы-реки.)

Юристы, коминтерновцы вполголоса обменивались обрывистыми фразами. Екаб не до конца улавливал смысла говорившегося:

— ...В недавней дискуссии о революционной юриспруденции он признался, что на самом деле повторил формулировки

Маркса и Энгельса, только после того как оппоненты упрекали его в искажении марксизма.

— ...Его любимое сравнение — с тремя китами, на которые опирается теория права: на совокупность общественных отношений, классовость и на революционно-диалектический метод,— в двадцать пятом, на публичной лекции, ведь повторил Подвойский.

— ...Каждый месяц он писал политические статьи или фельетоны для нелегальной печати Латвии. Не будет преувеличением сказать, что со временем расшифровка безымяных журналистских работ Параграфа станет предметом диссертаций не одного ученого.

— ...Не говоря уже о статьях в русских и зарубежных коммунистических изданиях.

— ...А сколько интересных тем он подарил журналисту Михаилу Кольцову!

— ...Прямо диву даешься, когда он успевал прочесть такую уйму художественной литературы! Экономические и политические постулаты в своих книгах он иллюстрировал образами из немецких, швейцарских, русских романов и пьес.

— ...Энциклопедист и диалектик.

Отстояв в почетном карауле, Екаб по широкой лестнице спустился во двор ВЦИКа и очутился в одной толпе с Кауфманисом и другими незнакомыми ему людьми.

— Так глупо было с его стороны защищать Виктора!..— говорил Кауфманис.— Отстаивать свое мнение, когда уже есть авторитетное мнение... Заступничество за Виктора и статья в «Правде» перечеркнули все... Нравится это или нет, но Параграф вознес себя на пьедестал вождя и учителя латвийских коммунистов...

У Екаба прямо язык чесался, хотелось бросить ему в лицо что-нибудь забористое, хлесткое. Спросить бы, как он свою брошюрку, критику аграрной политики Компартии Латвии, в печать протащил? Как пытался на съезде мутить воду? Екаб и его товарищи никак не могли понять, как может большевик превратиться в такого остолопа?

Только похороны не место сведения счетов. Как-нибудь в другой раз... Правда, Сом может с такой же легкостью, если это будет ему выгодно, переметнуться и на сторону почитателей покойного. Существует такая порода людей.

«Черствость, недоброжелательность, низкая зависть похожи на сорняки,— сказала как-то Гриета.— Садовник истребляет, выпалывает их, но стоит остаться хоть одному поганому корешку, как, глядишь, сорняк снова разрастается».

Вечером двадцать седьмого января на залитой светом прожекторов Красной площади, при скорбно склоненных знаменах, у гранитных плит Мавзолея Ленина открылся траурный ми-

тинг, посвященный Петерису Стучке. Из четырехугольных, напоминавших большие граммофонные трубы громкоговорителей, установленных на карнизах здания ГУМа и на Кремлевской стене, над разлившейся полукругом человеческой массой звучат слова оратора:

— Принципиальность, последовательность в решении вопросов и строгая партийность в любом деле — вот качества, которые всегда отличали Петра Стучку. Смерть товарища Стучки большая утрата для всемирного пролетариата...

— Кто это говорит?— Рядом с Екабом оказалась Гриета. Отыскала-таки. Нашла в толпе, запрудившей чуть не всю площадь от Спасских ворот до Исторического музея.

— Вильгельм Пик от Исполкома Коминтерна,— шепнул он Гриете.— Ты что, не была на открытии митинга?

— Трамвай подвел. И Мартиня задержала. Все рассказывала, где и когда встречалась с Петерисом, на каких конференциях и съездах слушала его. Рассказывала, как товарищи в Рижской тюрьме тайно изучали переведенный Стучкой «Капитал» и писали ему коллективное письмо. Мартиня харкает кровью, и с моей стороны было бы нехорошо не дослушать ее.

— Конечно... До Пика выступили товарищ Крыленко, Винокуров, Пашуканис от Комакамедии и Нахимсон — заместитель Петериса Стучки в Верховном Суде,— сказал Екаб.

— Берзинь-Зиемелис будет выступать последним.— Гриета начала пробираться сквозь толпу.— Мы принесли цветы по поручению политзаключенных Латвии.— Она помахала белым бумажным кульком с отогнутыми краями. Белым душистым цветком мирты. Вырастила его приехавшая в Москву, изувеченная в застенках буржуазной Латвии Мартиня. Оставшаяся в Рижской тюрьме подруга Мартини — Эмма Ратмане велела ей посадить по приезде в Советский Союз вечнозеленое деревце. «По старому латышскому обычаю!»

— Они оттуда, оттуда!— пропускали люди Екаба и Гриету с цветком.

— Петерис верил, что вернется в Советскую Латвию. И эта вера помогала ему жить,— услышал Екаб чей-то голос.

Когда Екаб и Гриета добрались к Мавзолею, траурный митинг уже подходил к концу.

Из громкоговорителей лилась печальная, знакомая Екабу мелодия. Кажется, в шестнадцатом году ее в Петрограде играл на рояле покойный, когда Екаб находился на его попечении.

К автомашине, на которой стоит урна с прахом, подходят ближайшие друзья покойного. Пауль Дауге и его жена ведут под руки Дору Стучку. Друзья снимают с задрапированного красным кумачом катафалка носилки с серой каменной урной и вчетвером на плечах несут к Кремлевской стене, где в красно-бурой кладке темнеет ниша. На Доре, не по январскому морозу, легкое старомодное, сильно приталенное пальто. Не

иначе как сшитое в начале их совместной с Петерисом жизни. Помнится, на празднование шестидесятипятилетия Петериса она пришла в подвенечном платье. Не отрывая от носилок глаз, Дора идет в ногу с несущими урну. Она ступает словно в полузабытьи.

* * *

— В предательство Крастиня, товарища Виктора, я не верю так же, как не верил Параграф. Говорят, что упрямство Стучки прибавило ему врагов и ускорило смерть. Думаю, что история с Виктором явилась лишь последним ударом. Кроме остальных, которые достались ему, когда он выступал против нарушения норм партийной жизни. Для Петериса критерием всего были коллективные, научно оправданные выводы. Он все настаивал на диалектическом анализе, как этого всегда требовали Маркс и Ленин.

Мартиня заговорила громче, но ее тут же начал донимать сухой кашель. Он сжимал горло, душил. Мартиня вытянула бледный подбородок, прижала ладонями грудь и так закашлялась, что на глазах выступили слезы. И успокоилась только после того, как пришла сестра с лекарством.

— Я сама... Сама... — сказала Мартиня, когда сиделка начала упрекать Екаба, что он разволновал больную. — Не прогоняйте его. Я не сказала ему всего... Только несколько фраз... Дорогой товарищ, — Мартиня попросила Екаба придвинуться с табуреткой поближе, — я просила Гриету позвать тебя, потому что дело касается того, другого, Длинного Крастиня, которого тут осудили и которого потом правительство белой Латвии обменяло на арестованного на той стороне работника коммунистического движения. Гриета сказала, что Длинный Крастинь много знал о Латсекции, о товарищах, которых готовили для нелегальной партийной работы в Латвии. И у меня вкралось подозрение, что в буржуазной Латвии могли использовать Длинного Крастиня для провокации против нашего Виктора. В Латвии хватает прожженных политических махинаторов и дошлых шпиков. Среди них немало живодеров из бывшей царской охранки и обученных в шпионских школах Англии и других стран. Не зря же ездят в белую Латвию перенимать шпионский опыт шпики из Румынии и других европейских стран. Когда я сидела в Рижской тюрьме, Эмма Ратмане рассказала мне странный случай. В охранке, на Альбертовской, Эмму повели на допрос. И она услышала, как охранник сказал кому-то: «Мы позвали Крастиня, и он опознал приятельницу». Виктор в то время находился здесь, в Латсекции. Ты это, дорогой товарищ, запомни. У меня не хватает вещественных доказательств, чтобы сказать о своих подозрениях вслух. Но в гражданскую войну я работала в Чека, и с тех пор у меня появился особый

нюх. Когда ты, дорогой товарищ, будешь там, помни, что можешь встретиться с Длинным Крастинем. Он знает тебя, знает остальных наших. Знает, где они переходят границу, знает, что в нашей речи нет слов местных жаргонов. И много, много всяких мелочей. Прежде всего, дорогой товарищ, ты должен перебраться туда как-нибудь иначе.

— Я это и собирался сделать...

«С ума сошел! Разве можно об этом кому-нибудь заикаться. Даже человеку, который видит смысл жизни только в том, чтобы вернуть советскую власть на захваченной реакционерами родине, человеку, которого как неизлечимо больного выпустили там из тюрьмы при обмене политическими заключенными. Решено уже в основе изменить обучение подпольщиков. Секретность в са́мой категорической форме! Изоляция от кругов Латсекции».

— Это, дорогой товарищ, не мое дело! — Мартиня заметила смущение Екаба. — Я говорю вообще. Но по другую сторону Зилупе всегда и всюду убеждай наших изучать теорию. Для Петериса Стучки одной из гарантий победы революции была теоретическая подготовленность пролетариев. «Социализм — это прежде всего наука», — любил говорить он. В Латвии кое-кому изучение марксистских книг кажется ненужной тратой времени. Со мной в одной камере сидела Броня из Даугавпилса, которая не хотела участвовать даже в семинарах коллектива. И вовсе не из страха. Мол, будет учиться после революции — в настоящих советских школах, у настоящих педагогов...

Двор весь в лужах от растопленного солнцем снега. Небо высокое и чисто-голубое, словно только что вымытое. Воздух звонкий и бодрящий, будто его принесло из гор. Екаб перепрыгивал через лужи, оглядывался на здание больницы, в голове пронеслась мысль: «Переживет Мартиня эту весну или нет? Она сейчас напоминает товарища Эферта в последние дни».

* * *

У Екаба возникла идея — попасть в Латвию по Даугаве на плоту. Он назвал Янису Ленцманису своих бывших боевых товарищей по белорусскому фронту, которые теперь работали в Витебске и Полоцке, и Ленцманис вспомнил, что витебские коммунисты когда-то помогли Фрицису Берновскому доставить на русских плотах партийную литературу.

— Разумная мысль! — поддержал Ленцманис. — Почему бы не испробовать этот путь? Так мы избежим риска на границе и на железной дороге. Сейчас в Латгале шпики и айзсарги допрашивают чуть ли не каждого незнакомого путника. Отпало бы уж очень сложное и опасное путешествие на пароходе в Эстонию или Литву. В то время как Даугава... Насколько помню, Берновский знает одного крустпилсского кормщика,

главного на плоту, который каждую весну прибывает с помощниками в Полоцк, принимает по доверенности рижского стивидора, или как его там, русский экспортный лес для сплава. Знакомый Берновского один из самых умелых плотогонов. По даугавским порогам он ходит чуть ли не с закрытыми глазами. Правда, он не из наших, но помочь делу трудового народа, наверное, не откажется. Надо поговорить с Берновским. Пускай попытается сосватать тебя с ним. Попытка не пытка!

Берновский сосватал. Как он это сделал, осталось для Екаба тайной.

И вот Екаб — рыжебородый айвиекстский плотогон Андрей Лейшмут (паспорт у него настоящий, насколько вообще может быть настоящей такая бумага!) — с багром и топором в руках и связкой прутьев на плече в излучине Двины, где-то между Полоцком и Дрисой, помогает на счалке кормщику Гравитису, осматривает с ним бревна. Гравитис здоровенный детина средних лет, с медвежьими лапищами и загорелыми, точно только что обожженный кувшин из красной глины, лицом и шеей. Блекло-голубые и глубоко посаженные глаза напоминают родники, но цвет их и блеск меняются, когда кормщик сердится или покрикивает на сплотщиков или гребцов — братьев Калниней. Последние недовольны, что Гравитис привычного рулевого заменил новым.

Екаба кормщик от себя ни на шаг не отпускает, вступать в разговоры с братьями Калнинями не позволяет.

— Зря не болтай, — поучает он Екаба, тыча багром в бревна, скрепленные скрученными из сучьев связями. — Калнини ребята неплохие, но малость болтливые. Особо, если хватят лишнего. Отчалим на рассвете. А тогда уж каждый будет привязан к своему веслу, как лошадь к коновязи. Если не ворочать до седьмого пота веслом, вмиг на камни выбросит. И прощай, матушка! Вы там покруче концы вяжите. — Гравитис отсылает Калниней к последней счалке. — А ты будешь грести рулевым веслом, — объясняет он Екабу. — Сноровку, которой нет у тебя, возместишь силой, беречь ее не позволю. Весло, как видишь, из цельного елового ствола. Этим летом вода в Даугаве сильно падает. Надо успеть проскочить плявинские пороги. Чтобы не пришлось на помощь с берега звать. Ведь сам черт не разберет, с кем свяжешься.

«Вы об айзсаргах или легавых?» — хотелось Екабу спросить, но промолчал. Гравитис только что говорил о болтливости братьев Калниней и, кажется, намекнул на что-то... Дело Екаба — соблюдать конспирацию.

А вообще-то для него важны каждая мелочь, каждый пустяк, которые позволяют лучше понять тамошние условия. Людей, их отношения и мысли. Узнанное в Москве, из печати белой Латвии, усвоенное на занятиях подпольщиков еще не есть действительность. Кроме читанного, слышанного или увиден-

ного на журнальных иллюстрациях, есть еще очень много незнакомого, неведомого. Екаб оставил Латвию одиннадцать лет тому назад. С тех пор в Латвии менялись и манеры, и покрой одежды.

Когда Екаб в Москве садился в наушниках к радиоприемнику и слушал Ригу, ему часто попадались незнакомые, непривычные слова и термины. А ведь в Латвии бытуют еще и местные наречия и политический жаргон. Кроме того, на прошлогодних выборах места в сейм Латвии оспаривали более сорока буржуазных партий.

Вместе с Гравитисом Екаб по многу раз обходит длинный, счаленный из четырех звеньев плот. Тычет багром в скрепленные цепями бревна, проверяет прочность проволоки и пробоев, прощупывает свободно подвешенные с обеих сторон узкими концами стволы, которые не должны дать плоту зацепиться за береговые камни. И так до темноты. Затем он ест и ложится спать. Под двускатным камышовым навесом, на подстилку из хвои и соломы. Братья Калнини забираются в другой шалаш, у входа в который стоит широкий, неглубокий, наполненный песком ящик — очаг плотогонов.

От запаха сухих стеблей камыша слегка першит в горле. Запах, как на гумне, где треплют лен. Снизу, из-под настила, несет смешанным духом сырых бревен, смолы и сырости. Плот чуть колышется. С берега, с ближнего склада, где пылают разведенные рабочими костры, доносятся звуки гармошки и гомон молодых голосов. Молодежь поет песни времен гражданской войны, но только на новый лад.

— Спи, не ворочайся, — ткнул Гравитис Екаба. — Завтра рано вставать. До седьмого пота вкалывать придется, пока не перевалим верхние пороги.

Утром они и в самом деле вкалывают так, что жилы звенят.

— Клади право!.. Бери лево!.. Лево!.. Право!.. — кричит кормщик.

И плотовщик, ухватившись руками за огромное весло, заносит его почти до самых бревен. Упирается ногой в поперечное бревно и изо всех сил тащит или отталкивает от себя весло.

— Раз, два, три, четыре, пять... — считает Екаб: согнуться, разогнуться, удар веслом, откинуться назад. Он словно тянет бесконечную чугунную цепь.

Река течет по извилистому руслу, бурлящие, мутные весенние воды с шипением налетают на плот, пытаются выкинуть на яр забрызганные пеной бревна вместе с налегающими на весла гребцами.

— Налегай дружней! Бери ле-во!

Почти тридцатисаженный плот, извиваясь и прогибаясь, несется мимо крутого лбища суши к ухабистому, изрезанному оврагами противоположному берегу. Может быть, мелькающие между деревьями на зеленом выгоне хибарки — одна из бело-

русских деревень, которые с 1920 года оккупирует Польша. Екабу сейчас некогда спросить об этом.

Кормщик то и дело отдает распоряжения:

— Налегай! Налегай!

Лишь совсем короткие минуты река несет их плот спокойно, тогда плотовщики переводят дыхание. Только изредка выпадает минута, когда можно дать отдохнуть рукам и присесть покурить.

— Впереди Большой камень!.. Гра-ни-ца! — протяжно прокричали братья Калнини.

Гравитис кидается к веслу Екаба.

— Вороти влево!

— Впереди камень! Направо свернуть надо!

— Налегай! — Гравитис сделал вид, что не расслышал Калниней.— Поддай жару, парень! Ульманисовских пограничников можно миновать, только если идти вдоль польского берега,— шепчет он, толкая весло.— Ни один зеленофуражечник туда на лодке не сунется. Пороги тут наши союзники!

— Гребите, чего смотрите! — кричит Гравитис Калниням. Плот заметно развернулся, переднее звено уже приближается к буруну посреди реки, вокруг которого, как в кипящем котле, клокочет и пенится вода.— Лево! Если вам жить не надоело!

В ответ с носа несется отборная плотовщицкая ругань. Но весла Калниней поднимаются и трещат, расплескивают бурую воду. И плот, вздрагивая, приближается к левому порожистому берегу.

* * *

Ниже Даугавпилса, после остановки против Илуксте, глаза старого латышского стрелка замечают как и на латгальском, так и на курземском берегу следы прошедшей войны. Разрушенные снарядами каменные дома и корчмы, развалины опустошенных крестьянских дворов с призрачными, ободранными и обгоревшими стволами побеленных яблонь и ясеней. На латгальской стороне, на обочинах дорог кое-где виднеются словно кем-то нарочно перекошенные распятия, местами уже заросшие окопы и траншеи. На левом берегу немецкие, на правом — русские, служили эти окопы и защитникам латвийской коммуны.

Выше Даугавпилса, набушевавшись в излучинах и на порогах, вдоволь пошвыряв плоты по каменистому руслу, Даугава устало несет свои темные воды, и плот спокойно скользит мимо едва тронутых первой робкой зеленью берегов. Только кое-где, возле песчаных отмелей, приходится браться за весла. А вообще делай что хочешь. Хочешь — кури и смотри на скользящие мимо пейзажи. На латгальские сосняки, рощицы, деревенские хибарки и вновь созданные хозяйства с жильем и хлевом под

одной крышей. Или на верхнекурземские леса, что стоят рядом с рекой, простираясь на запад, до самого подернутого дымкой горизонта.

А развалин, разрушений, следов отгремевшей войны на обоих берегах Даугавы и впрямь немало. В памяти Екаба они воскрешают прошлое: друзей, товарищей, события, которые возникают, едва различимые,— из курящейся воды, из дальней синевы, из обвалившихся на берегу блиндажей... Екаб видит парней в серых шинелях, видит друга, который кричит срывающимся голосом в рупор в сторону неприятельских окопов: «Камрад, фриден! Камрад, шлусс мит дем криг!» [1]

Екаб видит товарищей по взводу, повернувших оружие в противоположную от немцев сторону. А над холмом с городищем Ерсик Екабу, как в летний вечер девятнадцатого года, словно слышатся слова тридцати красных стрелков, которые, повернувшись лицом в сторону Курземе, скандируют: «Мы стоим здесь на страже всего человечества!» Затем ребята покидают берег, политый кровью латышских тружеников, чтобы на полях России, на овеянной песчаными бурями черноземной Украине, на выжженных солнцем среднеазиатских просторах или в снегах Сибири доказать, что лозунг парижских коммунаров стал для стрелков их убеждением, их бытием. Что они готовы в любой части земного шара сражаться за освобождение угнетенных и порабощенных.

«Я был, я есть и скоро вернусь!» — пели вместе со Стучкой в московском Латышском клубе латышские красногвардейцы. Пели и мысленным взором видели Даугаву, пролетарскую Ригу, красную Валмиеру, Лиепаю, где никогда не затухала революционная борьба. И далекий Новосибирск, штаб Латышской секции, куда приходили бывшие разведчики, пулеметчики и приносили боевые документы и воспоминания для комиссии, занявшейся историей стрелков. Латышские стрелки поклялись в первую же пятницу после революции встретиться в Латвии — на ассамблее красных стрелков. На ассамблее рабочих и крестьян, которые, одетые в солдатские шинели, прошли далекие дороги ради победы революции.

— Флаг! Красный флаг на телефонном проводе! — закричал младший Калниньь.

Екаб, вздрогнув, глянул на берег, затем вверх. Высоко над самой Даугавой он увидел пламя! Полыхает на одном из провисающих проводов, которые тянутся между деревянными мачтами с одного берега Даугавы к другому, от низменного курземского — к крутому латгальскому,— там сквозь сосняк виднеются одноэтажные лачуги, фабричные каменные стены и трубы. Кажется, это Ливаны, один из самых крупных промышленных городков бывшей Витебской губернии! Флаг мечется

---

[1] Мир, товарищи! Кончай войну! *(нем.)*

на ветру, словно летит: то повернет к правому берегу, то к левому. Его хорошо видно с обоих берегов и уж непременно с парома, который ниже, в сторону Риги, пересекает сейчас бурлящее и клокочущее течение реки. Паромщик, возницы и пешие машут руками и что-то кричат. Намного, правда, сдержаннее, чем люди возле телефонного столба на ливанской стороне.

— К Первому мая, не иначе,— говорит старший Калнинь.

— Черти эти коммунисты! Как только умудрились? Из лодки никаким шестом не достать. С аэроплана подвесили, что ли?

— Может, и с аэроплана, а может, и нет,— пожимает плечами Гравитис. — Теперь у людей всякие штуки есть. А коммунисты... Куда угодно тебе флаг прицепят, им это раз плюнуть. Как в прошлом году в Селспилсе? На берегу, куда мы на ночь пристали. Министр внутренних дел, господин Юрашевский, с инспекцией туда пожаловал, а коммунисты на самой высокой сосне красный флаг подняли. Да еще не один. Тогда согнали айзсаргов и полицейских из целых двух уездов.

— Ну и молодцы! — воскликнул Екаб.

— Кто молодцы? — обернулся младший Калнинь.— Коммунисты?

— Мы молодцы.

— На весла, молодцы, на весла! Жи-во! — крикнул Гравитис парням.— Сейчас устье Дубны будет, за ним ливанские пороги начинаются. Грести надо!

— Видали каков! — возмущается Калнинь.

— У усадьбы Браки в Абелях плотовщики обычно ночуют.— Гравитис встал рядом с Екабом, чтобы помочь ему управиться с веслом.— От той отмели, что против устья Нереты, до Крустпилса меньше десяти верст. Калнини сойдут на берег. Им на усадьбу за харчем сходить надо и еще кое за чем. А по соседству с Калнинями зиланский кирпичник, старый Бренькис живет. Его сын там у айзсаргов за командира роты...

«Стало быть, как только Калнини на берег сойдут, мне смываться надо»,— решил Екаб.

«Гравитис не из наших,— сказал в Москве Ленцманис,— но дело наше ему все равно близко. Красного Знамени коммуны он не замарает».

Да, Петерис Стучка был прав, когда писал: «Второй приход Советской Латвии не за горами».

СОДЕРЖАНИЕ

Янис Янович Ниедре

ВЕТЕРАН

М., «Советский писатель», 1977, 656 стр. План выпуска 1977 г. № 279. Художник *З. Я. Зузе*. Редактор *М. Х. Парунакян*. Худож. редактор *Д. С. Мухин*. Техн. редактор *Л. П. Полякова*. Корректоры *Л. И. Жиронкина* и *Л. Г. Соловьева* Сдано в набор 24/VI 1976 г. Подписано в печать 6/XII 1976 г. А09236 Формат 60×90¹/₁₆. Бумага тип. № 1. Печ. л. 41. Уч.-изд. л. 43, 53. Тираж 100 000 экз. Заказ № 704. Цена 1 р. 59 к. Издательство «Советский писатель». Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

1р. 59 к.



ЯНИС
НИЕДРЕ
ВЕТЕРАН